Валентин

РАСПУТИН

Деньги для Марии



Деньги для Марии: повести, рассказы

Валентин Григорьевич Распутин

Аннотация
Валентин Распутин. Деньги для Марии: повести, рассказы
Повести
- Дочь Ивана, мать Ивана
  - Часть первая
  - Часть вторая
  - Часть третья
- Деньги для Марии
- Пожар

Рассказы
- Что передать вороне?
- Наташа
- Не могу-у…
- Тетка Улита
- Женский разговор
- Из цикла рассказов о Сене Позднякове
  - Сеня едет
  - Нежданно-негаданно
  - В ту же землю…
  - Новая профессия

Изба
Под небом ночным

Аннотация

Имя Валентина Распутина широко известно и в России, и за ее пределами – его книги переведены на многие языки мира.

Писатель задается вопросами о смысле жизни, о соотношении нравственности и прогресса, о смерти и бессмертии. И о том, что делает человека человеком: о мужестве и достоинстве, о терпении и вере. В. Распутин создает образы русских женщин, носительниц нравственных ценностей народа, его философского мироощущения, развивающих и обогащающих образ сельской праведницы.

Пронзительная искренность, трагизм и исповедальность его прозы потрясают не одно поколение читателей.

Валентин Распутин
Деньги для Марии: повести, рассказы

© Распутин В. Г., 2013
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

* * *

Повести

Дочь Ивана, мать Ивана
Часть первая

Кухонное окно было над подъездом, над его визгливой дверью, голосившей всякий раз, когда входили и выходили. В том нетерпении, горевшем огнем, в каком находилась Тамара Ивановна, она бы услышала звук двери из любого угла, даже из спальни на другой боковине квартиры, где уснул муж, но уже несколько часов продолжала стоять у окна, точно вытянувшаяся струна, направленная в улицу и ожидающая прикосновения. Но там было темно и глухо. Световое пятно от лампочки у подъезда едва доставало до низкого штакетника, которым огорожен сквер и детская площадка в нем среди высоких, шатром разбросавших ветви, старых тополей. И никто в него, в этот недвижный и блеклый световой круг, не входил. Тамара Ивановна была так напряжена, и сама пугаясь продолжительности накала внутри, до сих пор не испепелившего ее, что заметила бы любую тень в темном дочерна сквере и услышала бы любой скрад шага из-за угла, если бы они только явились. Но нет, все

замерло и оцепенело. С улицы, загороженной и приглушенной спящими домами, поначалу еще пошумливали машины: точно запоздавшие птицы снимались с кормежки, теперь и там вымерло.

Самый глухой час ночи, наверное, уже больше трех.

Муж спит. Как же все-таки по-разному устроены мать и отец: разве она могла бы уснуть? В детях, может, и есть половина отца, да только малая она, эта половина, без вынашиванья и без того вечного, неизносного присутствия в своем чреве, которое чувствует мать. И, рожая дитя свое, превращающееся затем во взрослого человека, не все она в родах и корчах выносит наружу: впитавшееся в стенки то же самое дитя остается в ней навсегда. И не сердце одно болело теперь у Тамары Ивановны, а вся она превратилась в сгусток боли, все в ней исходило в пытке. Но скреблось что-то и отдельно, особой болью, скреблось и скреблось, разрывая ткани и выстанывая одно слово. Скреблась она, Светка, зовущая мать…

Вечером, когда началась эта пытка, Анатолия, мужа, дома не было. Но Тамара Ивановна знала, что он у Демина, они затевали какое-то

общее дело, уже с месяц дальше разговоров никуда не продвинувшееся. Заводилой был Демин, более решительный и опытный в новой жизни. Он сразу же, как только покатилась старая жизнь с высокой горки, грохоча, кувыркаясь и разбрасывая обломки, ушел с автобазы, где они с Анатолием сошлись до дружбы, поработал где-то снабженцем, а теперь имел свой киоск на центральном рынке и торговал всяким шурум-бурумом от электролампочек и краски до запчастей к автомашинам. Анатолий же застрял на базе, которой отдал двадцать лет, все реже и реже выезжал в рейсы, да и то пустяковые, возвращался обратно — стыд сказать! — то с дровами, то с навозом, а то и совсем порожняком. Терпел, терпел и дотерпелся до того, что выставляли его теперь на улицу. Отрубалась безжалостно за ненадобностью не только часть жизни, но и часть души: там, на автобазе, и встретил он Тамару, три года она рядом с мужиками крутила баранку.

Тамара Ивановна отыскала его по телефону у Демина уже после одиннадцати вечера. До этого она сбегала на соседнюю улицу к Светкиной подружке Люсе, рослой и пышной девчонке, которую можно было принять за совсем вызрев-

шую женщину, если бы не откровенно кукольное лицо — круглое, с большими вращающимися глазами и щеками-подушечками. И по этому лицу, делано испуганному и одновременно восторженному, нельзя было понять, говорит ли девчонка правду, будто она видела Светку только днем. Видела на рынке, они ходили спрашивать про работу, с ними была и Лида Тополь. Работы не сыскалось, и она, Люся, уехала, оставив подружек возле торгового комплекса. Когда уходила, заметила, как к Светке и Лиде подошел какой-то парень кавказской национальности в джинсовой куртке.

Один был толк от этого похода: Люся назвала адрес Лиды Тополь, та жила далеко, в микрорайоне.

После того, возвратившись домой, Тамара Ивановна и позвонила Анатолию и уже без всяких сомнений сказала, что Светка потерялась. Такого еще не бывало, чтобы она приходила позже девяти. Этот час и был ей указан как домашний порог, и задержаться где-нибудь по своей воле после девяти она бы не решилась. Ивану, младшему на год, дозволялось больше, он мог летом, как сейчас, носиться хоть до полуночи, и никого это не пугало: парень. И совсем иное дело — дев-

чонка шестнадцати лет, хорошенькая, нетвердая, любопытная, уже и к этой поре соступившая с проложенной дороги. Она пошла в школу рано, шести лет, и рано же, после девятого класса, бросила школу, заразившись поветрием, невесть откуда налетевшим, что учиться необязательно. Пошла на девятимесячные курсы продавцов, поближе к красивой жизни. Закончила эти курсы, а на работу не берут: несовершеннолетняя. И вместе с подружками, с которыми училась на курсах, принялась похаживать на рынок, выпрашивать торгашеское занятие, трясти перед покупателем хозяйским товаром.

Вот так.

Анатолий приехал с Деминым, в деминской машине. Тамара Ивановна, не находя себе иного места, вот так же стояла возле кухонного окна и видела, как беззвучно и валко, вышаривая в густых сумерках дорогу в узком и дырявом, яма на яме, проезде, подплыла «семерка» и выскочил Анатолий, а выскочив, застопорил, поджидая Демина. Так легко было догадаться: не хотелось ему одному подниматься сейчас в родное гнездо с нагрянувшей туда угрозой и встретить испуганный и требовательный взгляд жены. Но и Тамара Ивановна вздохнула легче, увидев Демина. С ним

надежней. Демин выбрался из машины и, как всегда, горбатисто, клонясь вперед, со свисающими с плеч длинными руками, похожий на первобытного человека, каким рисуют его в школьных учебниках, первым шагнул в подъезд. А войдя в открытую дверь, поняв по напряженному лицу Тамары Ивановны, что девчонки по-прежнему нет, сказал по обыкновению гулко и с хрипотцой:

— Не паникуй. Рано паниковать. Время-то еще детское.

Но все услышали, в том числе и сам он, что это были только слова. Ненужные слова.

Оставили дома Ивана, наказав ему не ложиться, пока они не вернутся, дежурить неотлучно у телефона, и вышли.

Поехали.

Ночь наступала теплая, темная и вялая, должно быть, к дождю. Прохожих уже и не было, зато разудало, почуяв свободу, неслись машины, в три-четыре года свезенные сюда со всего света, чтобы устраивать гонки. И эти гонки на чужом были теперь во всем — на тряпках и коже, на чайниках и сковородках, на семенах морковки и картошки, в обучении ребятишек и переобучении профессоров, в устройстве любовных утех и публичных

потех, в карманных приборах и самолетных двигателях, в уличной рекламе и государственных речах. Все хлынуло разом как в пустоту, вытеснив свое в отвалы. Только хоронили по-старому. И так часто теперь хоронили, отпевая в церквях, что казалось: одновременно с сумасшедшим рывком вперед, в искрящуюся и горячую неизвестность, происходит и испуганное спячивание назад, в знакомое устройство жизни, заканчивающееся похоронами. И казалось, что поровну их — одни, как бабочки, рвутся к огню, другие, как кроты, закапываются в землю.

Ехали молча, только Демин покряхтывал, когда подрезали его иномарки или ослепляли мощными встречными фарами, не считая нужным переключаться на ближний свет. Спустились в центр, по старому мосту перескочили на левый берег Ангары, повернули вправо и оставили город позади. По сторонам встала темнота. Чтобы не оцепенеть, Тамара Ивановна на заднем сиденье, пригибаясь и выворачивая перед стеклом голову, принялась высматривать в небе звездочки. Их не было, широко стояло там, в высоте, как болотная ряска, радужно-гнилое свечение от электрического разлива города. Тамара Ивановна, не отыскав звездочки, стала вспоминать,

загадывала ли она что-нибудь, высматривая их, но не могла вспомнить, словно разошлась, разделилась уже на две части, меж которыми слабое сообщение.

— Тихо едем? — по-своему понял ее шевеление Демин.

— Да нет, Демин, не тихо. Торопиться раньше надо было, — уже себе сказала она. А ему добавила: — Как въедем, у второго или у третьего светофора направо.

— Точней некуда, — хмыкнул Демин. После молчания они рады были любым словам.

— Да… вот… — начал и Анатолий, и не сложилось у него, что он хотел сказать.

— Где «вот»? — не понял Демин.

— Где что?

— Ты сказал: вот. Где «вот»?

— Вот не знаю. Я тут не бываю, — сказал Анатолий так простодушно, что Демин хохотнул.

Долго искали улицу по названию Черемуховая; если судить по названию, должна была она находиться на краю микрорайона и быть деревянной. Сворачивали и у второго светофора, и у третьего, утыкались то в болотину, то в ангарский берег, у каждого перекрестка останавливались, наводили свет на угловые дома и заборы, чтобы

отыскать надпись, но микрорайон в этой стороне на постороннего человека не был рассчитан и имена своих улиц не оставлял. Спросить было не у кого, шел первый час ночи. Только однажды разглядели они фигуру, крадущуюся по тротуару вдоль забора; Демин, опустив стекло, окликнул ее с дружелюбием, на какое был способен, но фигура, походившая на подростка, вдруг сделала мгновенный прыжок и провалилась сквозь землю. Деревянные дома лежали в темноте, какой-то особенно плотной, словно из освещенного центра она вся отступала сюда; в каменных, этажных домах освещенных окон было больше, но попробуй достучись, доберись до них за двойными и тройными запорами.

Тамара Ивановна из машины не выходила. Отвалившись на спинку, упершись коленями в переднее сиденье, в странной напряженной забывчивости ждала, когда найдется нужный дом. Тупо смотрела она в темноту и еще тупей в запутанные ходы тоннеля, по которым, вспарывая перед собой фарами черную плоть, колесила машина. Замечала и не замечала, как мигает светом Демин редким встречным машинам, прося остановки, не возмущалась и не удивлялась, чувствуя в этом какое-то даже утешение, когда

те проскальзывали мимо и прибавляли ходу. Наконец одна, храбрая, затормозила. Демин зашагал к ней, к нему вышел коротышка, похожий на бочонок, и, разминая ноги, точно приплясывая перед огромным Деминым, принялся крутить руками.

Черемуховая оказалась вовсе и не в стороне, а рядом с центральной улицей, протянувшейся через весь микрорайон, и оказалась она переулком всего с несколькими четырехэтажными домами. Остановились у подъезда, конечно же, забронированного железной дверью, совсем темного, во мраке как бы вдавленного внутрь. Демин на ощупь воткнул в круглую дыру один зубристый штырь, потом второй — дверь щелкнула и подалась.

— Мне идти? — спросил он у Тамары Ивановны.

— Не надо.

И вот перед нею и Анатолием вторая Светкина подружка — с вытянутым вперед узким зверушечьим лицом на сдавленной по бокам голове и с живыми, мечущими мгновенные взгляды, круглыми мигающими глазами. Высокая, черноволосая, сметливая, старшая рядом со Светкой и Люсей, она бывала у Воротниковых.

Тамара Ивановна мимоходом присматривалась: кто из них верховодит? И не высмотрела, все они притягивались друг к другу какой-то равно невеликой силой — как временные попутчицы, ищущие общих занятий. Но эта, Лида, была хитрее. Встроен был в нее особый инструмент, дающийся не всем, на котором она умела играть. Есть люди, нисколько не скрывающие, что они хитрят, хитрость у них написана на лице, выдающем поиски замысловатых боковых ходов, но так она располагающа, такой она кажется невинной и бестолковой, более того — приятной, что никаких подозрений она не вызывает.

Лиду подняли с постели, и теперь она, испуганная, с нервно двигающимися тонкими губами, в коротком и узком застиранном халатике, едва сходящемся на скромной груди, стояла возле круглого голого стола рядом с зашторенным окном. По другую сторону стола сидела мать, вялая и невыразительная женщина с таким же, как у дочери, вытянутым лицом, подавленная не приходом непрошеных гостей среди ночи, а подавленная чем-то давно и безысходно. Глаза ее смотрели пронзительно и устало, с какой-то пронизывающей тупостью. Тамару Ивановну и Анатолия усадили на диван, уже раздвинутый

для сна, со скатанной в валик постелью.

Лиду застали врасплох, она не знала, как отвечать. И отвечала осторожно, выдавая недосказанное подергиваниями плеч, то ли себя выгораживая, то ли Светку. Прежде чем говорить, спросила: а что сказала Люся? Сказала, что она уехала? Нет, не обманула, вправду уехала. А к ним возле торгового комплекса подошел парень. Он на рынке фруктами торгует, приезжий. Как зовут? Он сказал, как зовут, я нерусские имена не умею запоминать. Говорил? Он к Светке приставал, говорил, что она ему понравилась, он к Светке не в первый раз подходит. Говорил: зачем ты меня обманула, тебя зовут не Марина. Сказал… город ему понравился, просил показать город… Я, говорит, поймаю машину, вы мне покажете. Нет, не согласились. Мы уходим, а он не отстает, прилип. Кое-как убежали. Потом Светка пошла к дяде Володе, а я поехала домой.

Дядя Володя — это Демин, у него на рынке киоск, куда Светка и верно забегала частенько.

Расспрашивал Анатолий, Тамара Ивановна не вмешивалась. Она и слушала, казалось, вполуха, занятая пристальным и тяжелым изучением обстановки в этом жилье. Двухкомнатная квартира была запущенной, до последней бедности

оставалось немного. Ржавые потеки с отставшей известью на потолке, когда-то зелененькие обои, выцветшие, померкшие, разлохмаченные в швах. Мать пьющая, взгляд застывающий, невидящий. Пьющая, должно быть, не в последней стадии, есть еще куда падать. Продолжает обманываться, что устоит. Мать с дочерью не в ладах, доходит до крика, а потом мать плачет перед дочерью, а потом дочь плачет в одиночестве. И рвется вырваться, и боится опоздать, рано услышав в себе беспощадный отсчет времени. Большой рыжий кот трется о ноги, вычесывая шерсть, и просительно задирает голову, в глазах тоска…

— Все рассказала? — спросил Анатолий.

— Все.

И тогда, уставив беспощадный взгляд на подружку дочери, Тамара Ивановна отчеканила:

— Вот что, милая. Ты рассказала… как ты рассказала — нам надо сейчас ехать в милицию и писать заявление. Светки-то нет, она пропала. Ты была последняя, кто ее видел. Дядя Володя внизу в машине, Светка к нему не приходила. Мы напишем заявление, и еще до утра милиция приедет с допросом. Там другой разговор будет. Так что давай-ка дальше. Ты не все рассказала.

— Я все рассказала.

— Когда вы со Светкой разошлись?

— Не помню точно… часов в пять.

— А когда ты приехала домой?

Лида молча вела какие-то подсчеты; мать ответила за нее:

— Часов в девять. — И сказала дочери без нажима: — Рассказывай, Лидия, затаскают.

Видно было, что девчонка струсила, уже не только по губам, а по всему лицу стали прокатываться судороги, подсчеты подходили к тому концу, куда направляла их Тамара Ивановна.

— Вы вместе куда-то пошли или поехали? — наступала она.

— Поехали…

И рассказала, сначала под продолжающимися вопросами, а затем уже и без них, говоря и испуганно взглядывая на Тамару Ивановну, пугаясь ее вида и говоря уже с отчаянием, — рассказала подружка, что кавказец, узнав, что они продавщицы без товара и ищут работу, предложил им поехать к своему двоюродному брату, тот ищет таких, как они, потому что ему надо срочно распродать большую партию китайских товаров. Они долго не соглашались, но парень настаивал, показал какой-то документ, говорил, что это

недалеко и они скоро вернутся, у него яблоки на прилавке, ему задерживаться нельзя. Пока они раздумывали, он остановил машину, затолкал упирающихся девчонок и сказал шоферу, куда ехать. Ехать действительно было недалеко, на бульвар Постышева, в общежитие для малосемейных. В однокомнатной квартире был старик, он сразу ушел. Никакого брата не оказалось. Они просидели часа два, пили чай, парень предлагал вино. Но вино не пили. Всякий раз, когда они поднимались уходить, он кричал: «Придет! Придет!» Это он о брате. Потом стал говорить, что он знает, где брат, надо поехать к нему, тут тоже недалеко. Чтобы выбраться из этой квартиры, они согласились, хотели обмануть его. На машине ехать отказались, пошли на трамвай. Парень взял Светку под руку и не выпускал. На трамвайной остановке было много народу, но он все равно не выпускал, как она ни вырывалась. Там, на остановке, она от них, от этого кавказца, вцепившегося в Светку, сбежала.

Ко всему была готова Тамара Ивановна, но все равно как топором ее оглушило. Анатолий расспрашивал, как найти это общежитие для малосемейных; девчонка, повторяя «визуально», «визуально», нравящееся ей, очевидно, звуча-

нием, как и большинство чужих слов, довольно толково рассказала, где оно и как отыскать квартиру.

Возле общежития Тамара Ивановна и из машины выходить не стала, сидела, уставившись в темноту, дышала с подсвистом, как больная, и ничего, кроме затвердевшей, туго спеленавшей ее черноты, не ощущала. Чувствительность и боль нахлынули потом, когда, воротившись домой ни с чем, встала она в одиночестве возле кухонного окна под наплывающие и все жуткие, все обдирающие сердце картины того, что могло быть со Светкой.

* * *

Муж называл Тамару Ивановну телеграфисткой. Она и верно начинала в городе с того, что работала после курсов на телеграфе и усвоила, не будучи от природы словоохотливой, четкий и сжатый стиль разговора. На болтливость она смотрела как на распущенность, как на неумение владеть собой, и попервости, как сошлись, нередко с удивлением и даже с некоторой завистью к не свойственному ей таланту, останавливала Анатолия, любившего пускаться в длинные рассуждения:

— Удила бы тебе от уздечки под язык, чтоб поменьше молол! Гнет бы какой, чтобы он усталь знал, не балаболил, как заводной, — и прищуривала свои красивые карие глаза, видя, казалось, всю гору мякины, которую мог он намолоть, если не остановить.

Он не оставался в долгу:

— На меня уздечку, ладно, уздечку, а тебе подрезать бы его маленько, язык-то твой, — подрезают же ребятенкам в детстве, когда он врастет в гортань, как полено. А эту девочку упустили, она только и знает, что тпру да ну!

— Тпру-у! Замолчи, ботало!

— Вот-вот.

И — как накаркала Тамара Ивановна: в последние годы прикусил Анатолий язык. Такой гнет свалился на них, так придавил, что и сказать оказалось нечего, всякое слово, если не произносилось оно для самой простой житейской надобности, стало представляться не просто пустым, а и чужим, словно бы сказанным по наущению через тебя для твоего же унижения.

Они оба были крепышами, прочно и аккуратно сбитыми по одной мерке, вызывающими, когда шли рядом, удовлетворенные взгляды — как от хорошего сорта чего бы то ни было. Она ходила

по-мужски, уверенным и размашистым шагом, «ступью», как говорили раньше, желая сказать о весомости шага, чувствуемого землей. Да и все делала с заглубом, с запасом: если разводила стряпню, то на две семьи; картошки накапывали, капусты насаливали больше, чем могли съесть, и корила себя за это, и ничего не могла с собой поделать, а оказалась права, когда наступили времена, что любого запаса стало мало. К Анатолию присматривалась почти год, прежде чем сказать «да» и позволить себя обнять; через год после дочери родила сына и сразу же пошла на третью беременность, да жестокая желтуха заставила отказаться от родов. Почти до тридцати годов носила русую косу во всю спину — из одного только упрямства, из сопротивления моде, по которой весь женский пол поголовно смахивает косы, как связанные овцы шерсть, — пока не прочитала в одном из старых журнальных советов, что невысоким и широколицым девушкам коса не идет. Ну, не идет так не идет — всему старому она доверяла больше, чем новому, — и смахнула, а потом долго смотрела на себя в зеркало с досадой, будто все сразу в ней, и без того не рослой, стало короче — и ноги, и руки, и шея. И больно кольнуло, когда Светка в пятом, кажется, клас-

се запросилась под ножницы: ну как девочке без косы, прямо разор какой-то, ведь не косу она в малолетстве убирает, а жизнь направляет. Мода? Да что это за владычица такая, что все перед ней на колени, никто устоять не моги?! Торговка это, устраивающая перемену товара, наживающаяся на всесветном раболепии. Но и сама одевалась хоть и не броско, но по моде, дав моде притереться в народе, приглядевшись, что в ней хорошо и что нет. Джинсы — да ведь это крепчайшая, хоть на камнях дери, ткань; эту моду давай сюда. Кожаные куртки пошли — да ведь кожа испокон была у нас в носке, забыли о ней по великой бедности, а миновала нужда, и о коже пора вспомнить. Она и представить себе не могла, что совсем не за долгими годами суждено ей быть закройщицей на фабрике, да не на какой-нибудь, а на кожаной, и фабрика эта к той поре станет называться фирмой.

Она рано убежала из деревни, еще и семнадцати не исполнилось. Все они рвались тогда в город, как бабочки на огонь, и сгорали в нем. Сгорали одни сразу, в первые же годы, другие позже, но кончалось, за малыми исключениями, одинаково — загубленной жизнью и бабьей обездоленностью. Повыдергают у не опытной

еще, еще не запасшейся умишком девчонки перышки, а там лети. Тамара Ивановна могла считать себя везучей — при надежном муже и неиспорченных детях, умевшая оберегаться и от безоглядного сломяголовства в опьянении новизной, и от цыплячьей доверчивости, этими двумя нетерпеливыми вожатыми, которые и приводят деревенских девчонок к беде. Тамара Ивановна продвигалась вперед неторопливыми и выверенными шагами, выстраивая свою судьбу как крепость, без единого серьезного ушиба, только дальше и дальше.

Но странная это была прямоходность — не подхватывающаяся из одного в другое, не выматывающая одну нить, все обрастающую и обрастающую новой нажитью, а топорщилась эта нить на подвязах узелками. И все подвязы имели начало там, в деревне. Родилась девочкой — значит, должна была, в свою очередь, рожать, обихаживать и воспитывать детей, натакивать их на добро. И никаких ошибок тут, если дети живы-здоровы и знай себе растут под родительской опекой, казалось, и быть не могло; не считать же за ошибку повторяющуюся беременность… Но и это только казалось. В телеграфистки пошла — запала в память прочитанная в детстве книжка

о молодых радистках на войне. Читала она ее летом на сеновале, прячась, чтобы не нашли и не помешали. Все вокруг звучало и пело в торжестве сытой природной жизни, надрывались петухи, утомленно и гулко трубили возвращающиеся с поскотины коровы, напевали ласточки над головой на крыше, тарахтел трактор на холостом ходу, то взвывая мотором, то переходя на усталый бормоток. В воздухе стоял сплошной гул от мухоты; от дыха низкого вечернего солнца похаживал по сеннику, по сухому, измятому в лепешку прошлогоднему накосу, слабый ветер. И мать кричала с крыльца, растягивая «а»: «Томка-а-а!», прерывая себя коротким и нетерпеливым на «о»: «Томка, лешая, куда ты запропастилась!» А Томка, как в младенчестве, уткнувшись лицом в открытую книгу, чтобы ее не было видно, выжидала, когда стихнет зов, и снова хватала, хватала воровато куски из книги и никак не могла насытиться.

Ничего в памяти из книги не осталось, кроме того, что героиня в чувственном отчаянии посылает в эфир признание в любви молодому лейтенанту, отозванному в другую часть, те самые слова, которые она не решалась сказать при встречах с ним. Но осталась затаенная меч-

та тоже что-то посылать в эфир, в это могучее и прекрасное пространство, посылать личное, несказанное, такое, отчего вознеслась бы сразу и расцвела вся ее неказистая жизнь. Остался звучащий на разные голоса, но одно выпевающий, одно обещающий, как оркестр, небесный простор, и то счастливое до блаженства состояние, когда она, покачиваясь, как на волне, вздымаясь и опускаясь, плыла и плыла по его золотистому безбрежью. И, наткнувшись в городе на объявление о наборе на курсы телеграфисток, ни минуты не сомневаясь, она по нему и пошла.

Два года проработала на телеграфе — все не так, как мерещилось. Сначала нравилось, но больше, пожалуй, от тихой гордости собой: захотела и исполнила свою грезу, ничто не смогло остановить. Потом стало обручем давить однообразие работы и унылые тексты телеграмм, которые можно уложить всего-то в десяток образцов: поздравления, оправдания, просьбы, похороны, рождения, приезды и отъезды… Стали замечаться и дым коромыслом в туалете от курящих девчонок, и неинтересные, неискренние разговоры в коридоре, и грубость старшей по смене, и выжженный электричеством воздух в операторской. Оказалось, кроме того, что и душу ей послать в эфир

некому. Она ушла из телеграфисток, так и не взлетев ни разу в это великолепное и гулкое пространство, по которому лучиками и звездочками мчатся навстречу друг другу неземной любви признания.

Отец научил Тамару в четырнадцать лет водить мотоцикл, в пятнадцать она села за машину. Поэтому, недолго размышляя, чем ей заняться, пошла она после телеграфа на курсы шоферов, а потом устроилась на автобазу облпотребсоюза, где и встретилась с Анатолием Воротниковым, своим будущим мужем. Он, как это и заведено было среди мужиков, все звал ее в напарницы для дальних рейсов, пока она не ответила насмешливо:

— Зовешь, а сам боишься: а ну как соглашусь!

Он кивнул с растерянным смешком:

— Боюсь. Заклюет братва. Но и не хочу, чтоб ты к другому пошла в напарницы. Тогда уж лучше ко мне. Я не обижу.

Кончилось тем, что она пошла к нему в напарницы для самого дальнего и тяжелого рейса — для жизни.

В шоферах ей нравилось. Любила она, когда в дороге на нее оглядывались — женщин за баранкой тяжелых машин тогда было раз-два

и обчелся, и на тракте, во встречном потоке, парни в мгновенном ухажерстве вскидывали дурашливо руки, округляли глаза, сигналили, а пожилые, с большим стажем, водители, должно быть, фронтовики, одинаково склоняли головы и прикладывали руку к виску, отдавая честь. Нравилось ей это дорожное братство людей, занятых тяжким и важным делом. Любила ровное гудение мотора, свист разрываемого воздуха, стукоток кузова за спиной, научилась чувствовать, будто в себе самой, и натяг мотора, и тяжесть груза, и то, как он уложен, и меру сцепления резиновых скатов с асфальтом. Особенно любила утренние и вечерние часы в дороге; утром свежо, воздух упругий, тело после ночи отдохнувшее, ловкое, жаждущее движения, словно бы разматывающее и разматывающее, как лебедка, силы, и машина тоже все разбегается и разбегается, становится все мощней и послушней, и вздохи ее при переключении скоростей все легче. Вечером, особенно осенью, при заходящем солнце, оно, большое, наплывшее, играет с нею, перекидывается с левого борта на правый и обратно, приседает совсем низко к горизонту и вдруг откидывается, ищет для прислона неколючий выгорбок; в небе плавно качаются большие

птицы; кружатся перед глазами разряженные перелески; капот разрисован травяной пыльцой причудливыми картинками. Вечерами в уставшем теле является какая-то особенная, спокойная и зрячая, все замечающая, на все откликающаяся, любовь к жизни.

Ей досталась крепкая, ходившая в хороших руках, машина ЗИЛ-130, и она года два не знала с нею горюшка. А если где в дороге приходилось притормаживать и задирать капот, склоняясь над ходовым хозяйством, уж как пить дать скоро кто-нибудь подъезжал и предлагал помощь. Тогда это было делом обычным. Но она и сама хорошо разбиралась в машине, тоже с деревни еще, от отца. Да и в дальние рейсы ходила мало: не приспособлены они для женщины. На постоялых дворах одно мужичье, так что и места не найти, назойливое внимание, грубые шуточки. И она стала соглашаться только на поездки, укладывающиеся в день. На базе их, женщин за рулем, было всего трое; одну, разбитную безмужнюю Клавку, называли почему-то Брашей и распевали:

Куды Браша, туды я,
Туды я, тудыт меня…

Вторая, с двадцатилетием стажем за рулем, крупная, с вырубленным грубо лицом, пугающая Тамару своей мужиковатостью, бесстрашная и громкая Виктория Хлыстова не боялась ни начальства, ни мужиков, ни дорог, ни постоев. И начальство, и мужики ее побаивались. Глядя на нее, бабе можно было поучиться постоять за себя в мужичьем коллективе, но заодно надо было учиться и не перебирать в этом умении до потери в себе женщины. Главный же урок, который выучила Тамара Ивановна, присматриваясь к Виктории, было понимание, что нельзя тут, среди этого неженского дела, задерживаться надолго, иначе и сама не заметишь, как превратишься в железяку.

Она уходила по беременности, но на родившейся девочке не остановились, вслед за первой беременностью решились под запал на вторую — и ушла совсем. Маленьких надо было устраивать в ясли — и устроила бы, упорства ей не занимать, но как представишь: утром чуть свет бегом тащить их, полусонных, силою вырванных из постели, одну на своих ножонках, упирающуюся и всхлипывающую, второго на руках, а потом вприпрыжку на работу, вечером надо вовремя поставить машину, вовремя забрать ребяти-

шек домой, а что такое на разъездной грузовой машине «вовремя», там все часы, весь порядок кувырком; как представила все это, надрывающее ребятишек и себя, и с решительностью, привыкнув все делать решительно, устроилась рядом с ними нянечкой. После шоферов — попки вытирать; после мужской, полетной удалой работы — внаклонку, чуть не ползком, в глухих стенах, всегда с мокрыми руками; после упругого, струйного, песенного звука мотора — беспрестанно вязкий и надрывный крик. «Ну, развели опять ораторию», — добродушно ворчала заведующая, рыхлая и томная бурятка с печальными глазами и больными ногами, по имени Олимпиада Иннокентьевна, всегда, зимой и летом, кутавшаяся в пуховую серую шаль. Тамара Ивановна, толком не зная, что такое оратория, воображая только, что это должно быть что-то громкое и напыщенное, что поется в театре, полюбила это слово; пройдет три года, она сама поднимется до заведующей и, точно так же входя в ползунковую группу, с которой начинала и в которой никогда не стихал надсадный ор, будет с удовольствием повторять: «Развели опять свою ораторию» — и с насмешкой смотреть на себя в большое, в рост человека, дымного стекла

зеркало в прихожей, не переставая удивляться, как она здесь оказалась. У нее было острое, как у животного, чувственно сильное восприятие жизни с необыкновенно развитым обонянием, перелившимся, должно быть, из глубокой древности, еще в детстве она различала запахи даже в ключевой воде, которую пила; ей казалось, что она чувствует приближение опасности из самого воздуха, когда он только еще занимается тревогой, и шесть лет, отданных садику, казались ей не жизнью, а робким и невнятным топтанием возле жизни, словно ходишь, ходишь кругами рядом, а решимости проникнуть внутрь не хватает. Ей этого было мало, ее натура требовала большего. Но что же! — отслужить эту службу ради ребятишек надо было, и Тамара Ивановна ни разу не позволила себе пожалеть о своем затянувшемся сидении с сопливыми ангелочками.

Потом ребятишки пойдут в школу, и быстро рассеются у нее воспоминания о яслях-садике, будто их и не было. Останется в памяти почему-то рослая грудастая деваха Евдокия с широким красивым лицом и тяжелыми руками и ногами, с напористым эхозвучным голосом, за который ее прозвали Сормовской — в честь знаменитого волжского завода. Дуся Сормовская числилась

воспитательницей в садиковой группе и в свои восемнадцать лет нажила закоренелую страсть не ставить ни во что мужиков. Всякий раз, изготавливаясь к атаке, она находила против них столь серьезные доводы, что спорить с нею было трудно. Ясельные и садиковые группы соединял тоннелеподобный полутемный кирпичный коридор с узкими и высоко задранными бойницами окон, гулкий и неуютный, из него и выплывала Евдокия с припухшими от скуки большими ленивыми глазами, не знавшими краски. Ее тут же кто-нибудь поддевал:

— Не влюбилась, Сормовская? Никакой мужчина еще не зауздал тебя, кобылицу?

— Муж-чина, — презрительно растягивая слово, Дуся кривила полные, аккуратным ровиком округлявшие рот губы. — Вы только посмотрите: мужчина… А почему мужчина? Это слово женского рода. Женщина, к примеру, это она, она и есть женщина. И мужчина тоже она, а не он.

— Как же не он? А кто? Что ты городишь? — обязательно находился кто-нибудь, и не из девчонок, а из поживших, пожилых баб, кто тут же втягивался в спор.

Дуся неторопливо выбирала место, где шевелящихся под ногами карапузов было меньше,

прочно устанавливалась на нем раздвинутыми ногами под короткой юбочкой в обтяжку и принималась вразумлять:

— Название-то не мужское. Посмотрите. Мужчина. Скарлатина с таким же окончанием — это она, скарлатина. Скотина — она. Щетина, ангина, равнина — все она…

— Дружина, дрезина, резина, калина-малина, стремнина, осина… — наперебой начинали подсказывать воспитательницы.

— Пропастина, образина, кручина, лучина, пучина, картина, турбина…

— Вот! — торжественно провозглашала Дуся. — И что из этого выходит?

На Дусю смотрели насмешливо и обескураженно: в самом деле что-то не то выходит. Ползунки и те, взволнованные собранием, задирали головенки и застывали.

— Не может быть! — подавался опять голос в защиту мужчины. — Должны быть мужские слова.

— Говори, если должны быть.

— Сразу на ум не приходят.

— И не придут. Нету таких слов. Русский язык давно разобрался с этим мужчиной. Кисель он, студень… одно выражение мужское. Выраженец.

— Евдоки-и-я! — раздавалось из садикового

отсека. — Сормов-ска-а-я! Эй вы, ясельки! Турните вы ее от себя, чтоб место знала! Христом Богом молим: турните! У нее ребятишки убиваются, а она дурью своей бродит трясет!

Дуся сочувственно кивала на крик и выстанывала мощный, трубный вздох из одной истинной правды. Бабам не хотелось отпускать ее победительницей.

— Что ты так на них окрысилась-то? — спрашивали ее. — Как на вражину! Чего тебе от них надо?

— Чего надо! Мужика хорошего надо. Чтоб промял до кости, повытряс гонор-то. Сразу шелковой станет.

— Ребятенков своероженых надо. Втрескаться надо так, чтоб из глаз искры сыпались.

Дуся, уходя, отдразнивалась:

— Тю-тю-тю, тю-тю-тю. Прозявили жизнь попусту, а теперь оправдание себе ищете.

…Ушла Тамара Ивановна из садика, когда вслед за Светкой подоспел к школе и Иван. Больше ей делать там было нечего. Будто вместе с выросшими дочерью и сыном вышла она из возраста, который доставлял удовольствие и терпение возиться с малышами. Как у роженицы появляется грудное молоко для кормления ребенка, а потом

в свой срок исчезает, почувствовала она в себе вычерпанность от долгой нутряной истяги. Будто однообразные и невыразительные круги крутила над солнечной сердцевиной жизни. Захотелось движения, жизни, физической усталости от здоровой работы.

* * *

Утром, так и не приклонившись к подушке, она подняла Анатолия рано: надо было что-то делать. Он, поспавший, но не выспавшийся, пил крепкий чай и, зевая, оглаживая лицо, снимая с него сон, одурь и нерешительность, сидя в кухне напротив окна, угрюмо смотрел в него на тополя, только-только выпустившие зелень. Воздух, окаймлявший ее, был фиолетовый, без солнца. Подошла Тамара Ивановна и села напротив.

— Ну что, отец, делать будем? — требовательно спросила она, выставив руки и сцепив пальцы в замок.

— Не знаю, мать, — в тон ей ответил он и отвел глаза. — Не знаю.

Она посидела еще, маятно откидываясь назад и оборачиваясь к окну, возле которого ночью высмотрела глаза до синяков под ними, и вдруг стукнула кулаком по столу, крикнула в никуда:

— Да как же так!.. — и вышла, удивленная собой.

Анатолий соскабливал с лица выросшую вдвое гуще за вчерашний вечер щетину, когда позвонил Демин. Он даже и вопроса не задал, ждал, что скажут.

— Нету пока, — сказал Анатолий каким-то новым, прыгающим голосом.

— Я у себя буду, в киоске, — объяснил Демин. — Если часам к десяти пришлете мне кого-нибудь из девчонок… лучше ту, которая видела его вблизи… Мы бы с ней прошлись по рядам.

— Понял.

Иван спал, поднимать его не стали. Спал он на узком и длинном диване, занимавшем в проходной комнате, которая считалась гостиной, почти всю лобовую стену, едва оставив место для двери в Светкину комнату, сейчас прикрытую… Дверь в родительскую спальню была слева, в двух шагах от дивана, из нее и падал свет на погруженного в сон парня. Окно в гостиной оставалось зашторенным. Иван развалился на спине, свесив правую ногу и чуть покачивая ею, точно баюкая себя; лицо с тонкой девичьей кожей подрагивало — как от пробегающих сновидений. Тамара Ивановна постояла возле него,

слепо и натужно всматриваясь: вот он здесь, а где сейчас Светка? — и решительно направилась к выходу.

На улице уже было людно — торопились на работу. На остановке стояли большой покорной толпой, развернувшейся влево, откуда ждали троллейбуса. Беспрерывным потоком, припуская и с ходу приседая, катили машины; поток этот где-то впереди запрокидывало и разворачивало второй стороной улицы обратно. Небо в дымчатом, тонкорунном покрове быстро белело и таяло, взблескивая голубыми провалами. Троллейбус постоянно дергало со скрежетом, плотно один к другому стоящих в проходе грузно раскачивало, оживляло до вскриков. Второй троллейбус, в который пересели возле кинотеатра на пересечении двух потоков, заполнен был пожилым энергичным народом — дачниками, выбиравшимися за город. Они без стеснения перекликались, громко обсуждали пользу лунного календаря для посадок на грядках, уговорили кондукторшу, вьюном вьющуюся среди них молодую низкорослую девчонку с хриплым голосом, притормозить троллейбус между остановками, откуда было ближе до пригородного автобуса, — вели себя, словом, как именно те люди, дело которых аб-

солютно правое. И ехали в двух троллейбусах не более получаса, а уж небо очистилось, последние кудряшки с облаков стягивало за горизонт за рекой. Солнце открылось, трепетала от его тяги мелкая, еще не раскрывшаяся листва на тополях и кленах, и стоял в них воробьиный гвалт. День обещал быть жарким.

Нашли опять общежитие для малосемейных, в котором ночью побывал Анатолий. Подняли опять старика, хозяина однокомнатной квартиры в конце правого коридорного рукава на третьем этаже. Коридор был узкий, запущенный, с закопченными избитыми стенами, доведенными до такого отчаяния, когда на них появляются неприличные надписи. Запущенной оказалась и маленькая квартира, где все было стеснено до последней степени — и комнатка, и кухонка, и низко нависал потолок, и тускло смотрели в улицу всего два окошка. Старик стоял перед ними в донельзя заношенной, сетчатой от дыр, майке и в щеголеватых спортивных штанах с фирменными надписями вдоль по штанинам. Лицо заросшее, неглупое, мелкие слезящиеся глаза в мутной ряске.

— Что не спрашиваешь, кто идет? — напористо начал Анатолий. — Или все кому не лень к тебе

идут?

— Все идут, — скрипуче и спокойно отозвался старик и продолжал смотреть на Анатолия.

— Я ночью у тебя был… не помнишь?

Старик нехотя вспомнил, махнул рукой, чтобы проходили, проследовал поперед по коридорчику в два шага и скрылся за дверью в кухне, зашумел там водой. В комнатке Тамара Ивановна мгновение осматривалась, решительным движением подняла с пола валявшуюся на боку крепкую, выкрашенную зеленой краской, табуретку, увидела, что сиденье чем-то, должно быть, топором, истерзано до щепы, с бряком вернула ее в прежнее положение и опустилась на нее — будто подсеклась. Перед нею был журнальный столик с остатками еды на газетах, и она, прямя спину, отшатываясь, все смотрела и смотрела неотрывно на засохшие куски хлеба и вспоротые консервные банки. Кончики ее рта, выдавая сильное волнение, подергивались.

Вышел старик, приободренный умыванием, с продравшимся из глаз взглядом, в постельном ворохе на низкой лежанке за журнальным столиком отыскал рубаху, которая ночью служила ему наволочкой, повертел ее, донельзя изжульканную и засаленную, в руках и кинул обратно.

Анатолий продолжал торчать на ногах; старик все так же неторопливо, не теряя какого-то последнего достоинства, сгреб ночные тряпки в угол лежанки и пригласил:

— Садитесь. В ногах правды нету.

— У тебя тут ее ни в чем нету, — Анатолий продолжал говорить требовательно, напористо.

— У меня тут единая правда, — не согласился старик, вздергивая голову в сторону одного угла комнатенки, потом другого. — В таких хоромах врать не тянет. Да и вообще… кто теперь самые честные люди? Кто до края дошел. Ползают, как черви, портят картину, но если украл кто у такого же, как он сам, две пустые бутылки… спроси его: украл? «Украл», — скажет и отдаст две пустые бутылки обратно. А к другому, к серьезному воровству нашего брата не подпустят, за нашим братом такой надзор, будто это он и съел великое государство.

— Из интеллигентов, что ли?

Старик покивал Анатолию:

— Из них. Я понимаю вашу иронию: любить их не за что. Я тоже их не люблю. Но я-то больше из разночинцев буду, — поправился он с усмешкой, показавшей редкозубый рот. — Много чинов перебрал. А вот друг мой… это он здесь хозяин,

не я… он из интеллигентов, из них, да… бывший интеллигентный человек.

— Ты не хозяин? А где хозяин?

— А помер, — весело сообщил старик, переводя засиявшие глаза с Анатолия на Тамару Ивановну. — Мы с ним друзья были не разлей вода, — он хохотнул, сделав ударение на последних словах. — Вместе приходили, вместе уходили. Вместе об землю падали, вместе на ноги подымались. Один раз было… вместе по лесенке скатились. У одного правая щека рассеченная, у другого левая. Пожалуют к нам гости, мы рады. Приедут, придут — уходите, старики, на два часа. А то на всю ночь. Денег дадут… уходим. Только скажем: ключик оставьте у дежурной, внизу. И дежурную побалуйте, она старица бедная, конфетку любит. А летом хозяин, друг мой, помер… Он был до того одинокий, что совсем без родни жил.

Анатолия передернуло. Взглядывая на Тамару Ивановну, неподвижно и прямо застывшую на боковине лежащей табуретки, он продолжал допытываться:

— А ты, значит, выдаешь себя за хозяина и живешь в его квартире?

— Я ни за кого себя не выдаю, — с удовольстви-

ем отвечал старик. — Я прихожу и ухожу.

— И никто не догадается турнуть тебя отсюда? Развел притон и доволен?

Тамара Ивановна перебила мужа, рывком подаваясь к старику:

— А вчера… вчера на сколько было сказано уйти?

— Сказано было: до восьми часов. Я уж в сумерках пришел — фатера моя свободная.

— Сколько их было? — опять Тамара Ивановна, уже подымаясь.

— А комплект. Два парня, две девчонки.

Анатолий поправил, замирая:

— Один парень, две девчонки…

— Как так? Один парень, две девчонки попервости пришли, второй парень потом подошел, я еще тут был.

Анатолий содрогнулся так, что подскочили плечи:

— Убивать надо таких!..

— Да надо бы, — согласился старик и уступил дорогу: гости торопливо уходили.

Обманула подружка Лида. Поймали на вранье, пригрозили милицией, она чуть добавила правды, чтобы звучало убедительней, и все-таки обманула. Бросились, поймав частника на зеле-

ной «Ниве», опять в микрорайон, долго звонили во входную дверь, за которой жила подружка, принялись колотить в нее кулаками — открыла наконец заспанная, в тяжелой полудреме от чего-то дурного, мать подружки, не сразу признала в Тамаре Ивановне и Анатолии ночных пришельцев, а вглядевшись, признав, не говоря ни слова, развела руками: нет Лиды. Покорно пропустила мимо себя рванувшегося вперед, уже ничему не верящего Анатолия и не пошла за ним, ждала, привалившись со сморенными глазами к стене, пока не выйдет. Так и стояли по разные стороны распахнутой двери две матери, не глядя друг на друга и не понимая уже, почему они так стоят и что происходит.

Нет, сколько ни откладывай, а надо заявлять в милицию. Частник, толстогубый мужик лет пятидесяти, с иссеченной в мелкую сеточку кожей на толстом лице, истомившийся за дорогу в микрорайон от тяжелого молчания, когда дальше адреса разговор не пошел, встретил своих пассажиров вопросом:

— Нету?

— Нету, — сказал Анатолий.

— А чего нету? — оживляясь от ловкости, с какой поймал он молчунов на крючок, подхватил

частник, оборачивая к своим пассажирам на заднем сиденье плутоватое лицо.

— А ничего хорошего, земляк, нету.

Тамара Ивановна сразу опять оцепенела, уставившись глазами прямо перед собой на дорогу. Но ничего, кроме воспаленного солнечного пятна, прыгающего перед машиной, она не видела. Внутри, там, где полагается быть чувствам, сменяющим одно другое, залег камень, и он начинал раскаляться. Она физически ощущала этот нагрев от пыточного огня. Верилось, что можно еще отодвинуться от него, что для этого надо лишь сделать усилие над собой, но не было никакого желания искать себе облегчение.

Потом она долго будет вспоминать это мгновение. Вдруг какая-то торопливая и вороватая истома, невесть откуда взявшаяся, ворвалась в нее, пробежала сверху вниз от груди на живот и, настегивая себя, напетливая холодными лапками, закружилась там, пока не нашла ход и не скользнула в него, пронзая жутью. Тамара Ивановна замерла, такого с нею не бывало. Она перегнулась в животе, чтобы придавить этот мышиный катышок, но продолжала чувствовать, как схватками ноет и ноет внутри, опускаясь все глубже и неприятней. Это происходило с нею и в

ней и как бы не в ней, как бы в какой-то скрытой раздвоенности и повторенности, в каких-то притаенных створках, до этой поры не дававших о себе знать. Катышок все метался, все тыкался в стенки и точно раздвигал их, в исподе чутливо отыскивал свой испод, проникал внутрь, затихал ненадолго и вдруг суматошно принимался кружиться, как бы догоняя свой хвост и заполняя круговоротом норку — и от этого крутящегося клубка, пускающего электричество, по всему телу проносились колючие пронизи. Тамара Ивановна вся сжалась от переполнявших ее гадливости и испуга: откуда-то ведь это должно было взяться? Что это, откуда, почему? Она уже готова была остановить машину, чтобы выйти и хоть на голову встать, но стряхнуть с себя эту пакостливую тварь, но постепенно стало отпускать, постепенно под руками, сдавившими испуганное место, наступило затишье.

Возле дома Тамара Ивановна вышла из машины одна, Анатолий поехал на рынок к Демину. Когда требовалось идти на что-то совсем уж тяжкое, она невольно нагибала голову, изготавливаясь пробить ею любую стену, — так и теперь, набычившись, она решила, что телефонные звонки возьмет на себя. А уж после… И после

того, как повидаются с Деминым, после того, как ничего другого больше не останется, пойдут подавать в розыск.

Это походило на веревочную лестницу, раскачивающуюся на убийственной высоте, по ней, не сорвавшись, надо подняться на твердую площадку с поручнями. Устроившись перед тумбочкой с телефоном на детской табуретке, которую мастерили когда-то для нее же, для Светки, Тамара Ивановна набирала номер за номером, слушала резкие, требовательные гудки, доставляющие ее в разные концы города, потом отзывался голос, всегда женский и всегда недовольный, который заставлял ее однообразно думать: «Стервы же мы, бабы!» — голос на минуту-две отступал, перебирая бумаги, и со сдержанной, подобревшей переменой от результатов поиска сообщал: «Нету такой». Еще одна ступенька извивающейся под ногами веревочной лестницы оставалась позади: Светки в этой больнице не было. Ее не оказалось ни в одной больнице, которые перебрала Тамара Ивановна, и, дав себе передышку, она осторожно и тупо, не надавливая на слова, жевала не ахти какой мысли жвачку: «А хорошо ли это, что ее там нет? Не лучше ли было бы, если бы какая-никакая, а была?»

Она снова взялась за телефон, и веревочная лестница под нею закачалась еще сильней от порывов ветра, поднятого словом «морги». Тамара Ивановна нашла его в справочнике, выписала с четырех столбцов цифры, на разный манер повторяющие его, и принялась накручивать на диске эти цифры, гулко отдающиеся в сердце и в той пустоте, куда они улетали. Теперь отвечали молодые мужские голоса, ни один из них не был ни пьяным, ни ироничным, но трое, как машины, произнесли совершенно одинаковое «не присутствует», а четвертый, должно быть, постарше, взялся объяснять, что девочки этого возраста к ним попадают так редко, что можно сказать, не попадают совсем. Содрогнувшись от перенесенного испытания, Тамара Ивановна поднялась с низкой табуреточки, ноги ее, затекшие в неудобной позе, заплелись, и она едва успела ухватиться за диван. Так и ткнулась лицом в измятые Ивановы простыни, стоя на коленях, бессознательно потеребила их в руке, вспоминая, когда она в последний раз видела сына, и, встав на ноги, с тяжелым и пристальным вниманием осмотрелась вокруг, как в незнакомом месте. И уходила — будто спрячивалась от чего-то, по-хозяйски расположившегося

в квартире… Она не могла понять, почему Иван, парень аккуратный, так же, как и Светка, не прибрал за собою постель и выскочил куда-то в такой спешке, что, похоже, не помнил себя.

* * *

Сколько помнила себя в детстве Тамара Ивановна, кормились они лесом да Ангарой. Кормились во всех смыслах, потому что отец был лесничим, огромные владения, числящиеся за лесничеством, располагались на левом берегу Ангары, а деревня лежала на правом, в тех местах, где балаганская степь переходила в тайгу. Уже через пять-шесть десятков километров тайга побеждала полностью, только и оставалось от степи, что большие поляны, отороченные березой, клином вонзающиеся в леса, с высокими травами для покосов. Но в тех местах, за пять-шесть десятков километров по сбегу Ангары, Тамара Ивановна не бывала, она знала только левобережную тайгу, которая и напротив степных раздолий стояла сплошной стеной. Здесь тоже поднималась вода и селениям тоже пришлось перекочевывать, но, в отличие от низовий, недалеко, распах запруженной в Братске Ангары здесь уже терял свою мощь. И Ангару не перестали называть

Ангарой, в море, хоть и рукотворное, разливом она не вытягивала. Только очень изменилась, запустила и зарыхлила свои раздвинутые берега, затянула песочек тиной, извела родную рыбку — хариуса да ленка, при воспоминании о которой бежала слюнка, остановила свой бег, постарела. Но переселение деревни не оставило тяжелых впечатлений: в тех же жили избах, в том же порядке стояли улицы. И небо осталось в том же растяге, без углов и запаней, какие появляются над искривленной землей.

Отец Тамары Ивановны Иван Савельевич Радчиков прошел войну счастливчиком: два ранения и оба легких, домой вернулся в целости-сохранности, жену взял из деревни неподалеку, из Чичково, об этой деревне говорили, что там девки «чичкастые». Он умел все — и плотничать, и слесарить, и выгнуть лодку, и управляться с любыми машинами, и брать зверя, и прийти ему на помощь в тяжелые снежные зимы, и ночевать в снегу в клящие морозы, и сложить печку, и затянуть песню. Сын такого же многорукого отца, он перенял от него умелость и сметку с той же наследственной легкостью, как черты лица. Был несуетлив, приглядист, учил дочь: «Ты сначала нарисуй себе в голове, что надо сделать, до вся-

кой загогулины нарисуй, а уж опосле и берись без оглядки». И еще наставлял: «Всякое дело имеет свой ход, его чуять надо. Поторопишься — сяко так может выдти, задержишься — размер сорвешь. Всякое дело надо в свой размер уложить».

Отец без скидки учил свою Томку тому же, что давал сыновьям. Один брат был старше ее на три года, второй на два года моложе. Дочь принялась льнуть к отцу рано, еще не опали ангельские крылышки за плечами, почуяв чистым сердечком его доброту и покладистость и разглядев особое непрекословие в отношениях с матерью. Мать была упрямой, вспыльчивой, от нее «летели искры», и отец не однажды острил, что ему спички не нужны, «дети, где мои папиросы, прикуривать буду от нашей Степаниды Петровны». Он подтрунивал над матерью, что без него она, «чичковская столбовая дворянка», кипятится больше, а он действует на нее успокаивающе. Было, конечно, наоборот, но даже опытная по части его проделок мать становилась в тупик перед его непробиваемой безмятежностью. У отца было свое объяснение того, как, каким макаром и до деревни докатилась мода в семьях командовать бабам. Он считал, что произошло это от смертельной усталости мужиков, воротившихся с фронта

и свалившихся без задних ног подле своих баб. И вот пока фронтовики от чистого сердца и не чуя беды дрыхнули, бабы успели заседлать их и давай рвать губы железной уздой. «Вот та-ак», — горько вздыхал Иван Савельевич и поводил своей крупной, под машинку выстриженной головой, проверяя степень свободы. Отец взял за правило в споре не добиваться своего, он своего добивался за спором, кружным путем, и мать не замечала, как, каким образом она опять скатывалась с высоты, на которой только что гордо крылила, и опять шла на приступ. От этой новой атаки отец принимал такой несчастный вид, что дочь приходила в восторг, в восторге била ножкой о пол или забавно, надувая и без того толстые щеки, закатив глаза и пришлепывая губами, фыркала как-то странно и резко, по-совиному. Мать бросалась ее успокаивать, а отец исчезал и оставался при своих интересах.

— Ты знаешь, Степа, — говорил он чуть погодя миролюбиво, — Томка у нас в тебя. У нее будет сильный характер, на ней не поездишь.

Характер у Тамары Ивановны и верно был материнский, но как бы обработанный отцовскими инструментами, всякими там крошечными напильниками, наждачными шкурками, лоб-

зиками — всем тем, что в огромном количестве, частью приведенном в порядок, а частью разбросанном как попало, жило в мастерской. И все же там, внутри характера, находился кремень. С годами она научилась управлять своим настроением, оно не вспыхивало и не взрывалось разом, как молния и гром, а натягивалось, подобно мороку, постепенно и шумело без накала.

В двенадцать лет дочь хорошо стреляла из тозовки и из берданки, в пятнадцать села за руль лесхозовского «уазика», через год освоила трактор, сначала колесный «Беларусь», затем гусеничный «ДТ-54». И начиная с пятого класса стала учиться хуже, хотя и без двоек, и так до последнего, до восьмого. В школе ей было неинтересно, хотелось воли, движения, удовлетворения практического интереса, приближения к опасности; в школе она отбывала повинность, которая чем дальше, тем становилась тяжелей. В последние деревенские годы очень сдружилась с младшим братом, Николаем; в семье про него говорили, что он не от мира сего: мягкий, затаенный, с постоянной задумчивой улыбкой и продолжительным взглядом. Любил уплывать с ружьем за Ангару и совсем еще мальчишкой уходить в тайгу с ночевкой, а то и с двумя, стрелял редко

и особо скроенную свою душу заполнял тихими и тревожными наблюдениями. Однажды пропал кобель, который был ему за друга, Курган, и он как по увиденному пошел за двадцать верст к Сухому ручью и вынул его из петли на медведя уже бездыханного, а после этого заболел и провалялся в горячке неделю, не изъявляя никакого желания подниматься. Отец стал смотреть на него с печалью: непонятный, скрытный вырастал мужик, впустивший в себя неизвестное терзание. Тамара Ивановна запомнила на всю жизнь, как он сказал при ней, ни к кому не обращаясь, ни от кого не ожидая ответа, с подступившей самотеком тревогой:

— Одна в парня пошла… хорошо ли это? Одна в парня, а другой — в кого? Что же вы, детки родные, из себя-то повыбирались, как из дырявого мешка?

Но эти слова еще больше подтолкнули ее к Николаю. Он читал книги, и она принялась читать, пересказывая ему из своих книг самое интересное, доставшее ее до сердца. Старший брат, Василий, не понял бы, да он и далеко жил от надуманных книг, занят был серьезными практическими делами и наперед выкроил свою судьбу. Как выкроил, так потом и сбылось. Сна-

чала в город в техникум, затем армия, после нее завод и заочная учеба в политехническом институте, диплом инженера и со временем должность начальника цеха. На Николая он смотрел как на мямлю или как на порченого; старше Николая на пять лет, он чутьем сумел угадать в парнишке расстроенность, которая может испортить жизнь. Тамара брала младшего под защиту, а это, как водится по таинственным законам взаимоотношений, дало Василию право не стесняться: уж если защищаешь, то надо, чтобы было от кого защищать.

Лесничим тогда каких только планов не давали: и веники вязать, и сок березовый набирать, и травы целебные, и грибы, ягоды, орехи. Это помимо того, что надо было косить сено, рубить осинник для зверя на случай снежной зимы, ставить зимовья, торить тропы, делать подсечку, отводить лесосеки, много чего еще из основной работы. Все лето вся радчиковская семья, кроме матери, не выходила из леса, там, на лесхозовском подворье за Ангарой, и жили, там и баня стояла с каменкой, ухавшей таким жаром, что кожа, как под иголками, потрескивала и волосы на голове секлись. Но как хорошо было в ягодниках и сосновых пустошах, державшихся недалеко

от берега, чтоб подгонять рыжик густыми, дающими рост, туманами; как ловко и ладно смотрелись Тамаша и Николаша, когда, подобранные, одноростые, круглолицые, в форменных темно-зеленых куртках и штанах, заправленных в кирзовые сапоги, с непокрытыми русыми головами и с горбовиками за спинами, вставали они на тропу и оборачивались к Ангаре, чтобы видеть деревню на том берегу, где оставалась мать.

Вот так бы и всегда, не дальше этой тропы. Так бы устроиться, чтоб по утрам, вставая на нее, оборачиваться на родную деревню и ступать потом уверенно, как под благословением. Но тропа для деревенской молодежи уже набита была в другие тайги. Первым ушел по ней Василий, через два года засобиралась и Тамара. Отец на про́водах выпил больше, чем обычно, и прослезился. В вымощенной плахами ограде он отвел ее к заплоту, за которым начинался скотный двор, встал напротив и, покачиваясь, размахивая перед своим носом разбухшим от работы указательным пальцем, точно не ей указывал, а себе, отрывисто говорил:

— Томка, помни, помни, куда едешь. Там пропа́сть — что плюнуть! Там только споткнись — разотрут тебя и не заметят. Держи там себя в уме

и строгости. Будешь держать — тебя же и уважать станут. А нет — и тебя нет. — Он вытер ладонью глаза, откашлялся и вдруг совсем трезвым голосом продолжил: — Ну а мы потом куда? Колька уедет — что тут нам делать? Для кого все это? Кольке-то совсем бы не надо уезжать. Выберет там себе стерву… это уж обязательно, таким, как он, это на роду писано… и будет она на нем безвылазно ездить…

Как в воду глядел Иван Савельевич. Уехал в свой черед и Николай, поселился под Иркутском, и в том же поселке купили себе потом дом отец с матерью. На глазах у них и тянулась тяжелая подневольная жизнь Николая с криками, слезами и бесконечными ультиматумами; то сходились, то расходились, то прибегал он среди ночи в домашних тапочках, то занимал деньги, чтобы купить себе возвращение к ребятишкам. Затем свалились и вовсе дурные времена, ни работы не стало, ни денег. За три месяца до того, как случиться у Тамары Ивановны несчастью с дочерью, дошел Николай до последнего отчаяния и поднял на себя руки. Но выжил, притих под тяжелым душевным гнетом и не выходил из отцовского дома. Матери к тому времени уже не было.

* * *

То, что казалось страшным и непристойным, произошло обыденно и быстро. Подать заявление о пропаже собственной дочери — да это представлялось Тамаре Ивановне из себя вон, чтобы вытерпеть все оголенные расспросы, язвительные замечания и пугающие намеки. Ничего похожего не произошло. День был жаркий, час пополуденный в четыре, когда вязкое пекло и из камня выдавливает влагу и пригашает порывы. Но суббота есть суббота, и в отделении милиции оказалось людно, возле перегородки, за которой сидел перед тремя телефонами бравый сержант с багровым лицом и воловьим терпением на этом лице, толпились люди и стоял гул. Стены в узком коридоре были облеплены стоящими, возле дверей в кабинеты на выставленных обшарпанных стульях можно было устроиться, лишь развернув ноги на сторону по ходу коридора.

Каждое помещение имеет дух и вид той жизни, которая в нем происходит. В милиции, даже только что отремонтированной, даже только что отстроенной и обставленной новой мебелью со всеми необходимыми для справления закона приспособлениями и удобствами, уюта создать

нельзя. Хоть мраморные колонны ставь, выстилай полы дубом, а стены оклеивай персидскими мануфактурами, но стоит только открыть хоть и хрустальные двери для несчастного народа, проходящего через милицию, и вся эта роскошь через две-три недели примет скорбный и донельзя безутешный вид. Надышит несчастный народ своим горем, обмусолит бедностью и лукавством, натрет домашними раздорами, обнажит раны и язвы. От иных рассказов стены здесь трескаются и потолки качаются, от иных криков привидения мечутся по коридорам. Точно знают это всё ответственные люди и дают под милицию самые тесные, темные и бросовые помещения: все равно придет к тому же концу. И несчастные, вливающиеся сюда день за днем беспрерывно, теряют последнюю надежду и рвутся скорее обратно на солнце или уж дальше по этапу судьбы, но прочь от этой забившей воздух тревоги.

Тамара Ивановна и постояла в коридоре минут пятнадцать, пока Анатолий пробивался к дежурному, но за это время провели мимо группу ребятишек лет от восьми до одиннадцати, имеющих варначий и веселый вид, очень довольных тем, что их сграбастали и будут вести с ними воспитательные беседы, глубоко уже погрязших

в пороке, с мордашками, на которых впечаталась ранняя опытность. Все они были с сумками, в которых что-то трепыхалось, в майках, с голыми, уже черными от загара ногами, почти все обуты в спортивные разбитые кроссовки — точно собрались в пионерский лагерь имени Дзержинского. Был такой, Тамара Ивановна помнила, и находился он неподалеку от поселка, в котором теперь жил отец. Старушка у противоположной стены, маленькая и сухая, бодренько вертевшая непокрытой головой с остатками примазанных белых волос, шевеля губами, вздохнула им вслед. Пожилой, с трещинками, задиристый голос от той стены, возле которой держалась Тамара Ивановна, заинтересовался старушкой:

— Что, бабка, за пенсией пришла?

— За пенсией? — Она, должно быть, так много думала и говорила о пенсии, что не удивилась вопросу. Лишь чуть замешкалась с ответом: — В тюрьму проситься пришла.

— А чего в нее проситься? Ты, бабка, туда не торопись.

— А жить негде. Выдавляют меня из фатеришки.

Прошли двое: высокий, плотный капитан в форменной рубашке с темным пятном на спине

и подпрыгивающий перед ним, заглядывающий ему в лицо и торопящийся что-то досказать, хромой парень с собранными на затылке и подвязанными волосами. Они свернули к лестнице на второй этаж, и уже оттуда, с высоты, под отчаянный визг ступенек, послышался бас капитана:

— Счас зайдем — чтоб не верещал. Сиди и помалкивай. И глазки от стыда опусти. Я буду говорить.

— А кто из квартиры-то выдавляет? — продолжал разговорившийся мужик с надтреснутым голосом, и Тамара Ивановна подумала: чего-то боится, страх в себе заговаривает.

Она рассмотрела через головы, что Анатолий близко от дежурного, и стала продираться к нему. Дежурный никак не мог отвязаться от какого-то образованного гражданина в синей тенниске, который, называя законы, все говорил и говорил. Дежурный уже не слушал, подняв глаза вверх, и только делал ему огромной рукой ленивые прощальные движения.

— Что у вас? — спросил — как подвинул к себе замешкавшегося Анатолия.

— Дочь потерялась. Она…

Дальше сержант не слушал. Он подтянул к себе дальний телефон, поднял трубку и тою же рукой,

не выпуская трубки, принялся набирать номер.

— Товарищ лейтенант? В розыск. Отправляю к вам.

В кабинете на втором этаже, квадратном, с голыми стенами, за одним из трех маломерных, как в школе, столов сидел в одиночестве, упираясь животом в столешницу, чернявый лейтенант и пил пиво. Двустворчатое окно было настежь открыто, за ним в тупой бездыханности лежала улица. Лейтенант делал глоток, ставил бутылку и наблюдал, как над горлышком вспучивается пенистая пробка.

— Пишите заявление. — Он подвинул бумагу, указал на соседний стол и вздохнул: пива оставалось мало.

Писал Анатолий, он еще мог хоть что-то объяснять на бумаге, Тамара Ивановна не могла. Заявление заняло полстраницы, но лейтенант долго в задумчивости сидел над ним, не желая расставаться с приятными ощущениями от напитка, снова вздохнул, на этот раз очень решительно, подвинул к себе лист бумаги и принялся расспрашивать и записывать.

Обратно они уходили вместе с участковым, молодым толковым парнем, еще не уставшим от службы и, по-видимому, добросовестным, счи-

тавшим, что он должен знать Светку, вспоминавшим раз за разом, какая она, и все ошибающимся. Вместе они по заданию лейтенанта должны были найти подружку Лиду и прочесать все места, тайные и явные, где могла находиться Светка. Но прежде всего решили заглянуть к Демину.

Возле деминского киоска металась разлохмаченная, вспотевшая и испуганная подружка Лида. Увидев подходивших Светкиных родителей, она острым и бешеным голосом закричала:

— Поймали! Поймали!

— Светка где? — закричала, в свою очередь, Тамара Ивановна, схватив девчонку и тряся ее, вытряхивая из нее единственное, что нужно было ей знать.

— Здесь, в милиции, которая на рынке!.. Вон там!..

* * *

До замужества Тамара Ивановна нередко смотрела на себя с удивлением и тревогой. Но с еще большим удивлением и тревогой она о себе думала. В деревне они жили в большом пятистенном доме, уходившем глубиной своей во двор, где дочь и занимала дальнюю выгородку, долго остававшуюся без дверей и укрываемую тяже-

лой бордовой шторой. И только года за два до ее отъезда отец навесил двери и выгородка приняла наконец вид комнаты. Туда втащили трюмо с облупившейся с изнанки краской, косившее, рябившее, когда искали перед ним красоты и опрятности, но продолжавшее служить. Перед сном, закрывшись на крючок, Тамара поднимала перед мерклым зеркалом ночную рубашку и всматривалась в себя с тою удесятеренной пристальностью, с какой почти всякая девочка-подросток чуть ли не в таинственном обмороке следит в себе за всеми переменами, возвещающими приближение женщины. Не больно она себе нравилась: невысокая, плотно сбитая, с поднятыми плечами, ноги крепкие, мускулистые, подлинней бы, подлинней, да и всю ее хоть чуть развернуть бы и пустить повдоль. Ей представлялось, что женщина вся от начала до конца должна быть выстроена снизу вверх, к небу и солнышку, которое высоких, поднявшихся выше обычного порядка, приласкивает больше, и что даже клетки женского тела должны напоминать вытянутые зерна ржи. Тогда они чувствительней, нежней, радостней и притягательней.

Не сразу она смирилась с тем, что высокой ей не быть. Но и «самоваристой» быть не хотелось,

и кой-какие меры она для этого приняла, кой-какие руководства для себя составила. И не это теперь ее волновало, когда в чем мать родила приближалась она к зеркалу. Это происходило только на самый первый взгляд, входной. Но вот она входила, узнавая себя и растирая тело, готовя, оглаживая его продольными движениями, и прикрывала глаза.

Так хорошо было в этом томительном и чутком ожидании. Медленной волной, осторожно наплескивающей по бокам, проходила сверху вниз истома, пробуждала глубины и низы, сладко закручивалась в каких-то теснинах, снова распускалась и ответной волной, уже уверенней наглаживая, шла вверх. Там все натягивалось, замирало, струило, дыхание слабо колыхало ее откуда-то со стороны, и, разбуженные, растворенные, наперебой пульсировали токи. Она вся точно наэлектризовывалась, телесный цвет податливо переходил в мягкое свечение — и точно изнутри доносилась притаенного голоса почти беззвучная, баюкающая песня: должно быть, она ее когда-то слышала:

Тихая, тихая
Реченька текла.

Дождика, дождика
Много набрала.
Ой люди, ой люди,
Речка, не бурли.
Воду свою светлую
Не му-ти.

Ее волновала женская тайна, в ней же заключенная, но не то физиологическое, тоже непонятное, жуткое, но и одинаковое для всех, а то невидимое, нутряное, более чувственное, чем физиология, запаленное особым духом: или тихое, сонное, едва шевелящееся, нежно перебирающее грудь, или вдруг окрыляющееся, распирающее ту же самую грудь, поднимающее от волнения на цыпочки. Словно что-то, не смеющее открыться, жило в ней, что-то счастливое уже тем, что его чувствуют и ищут. Песни она слышала из себя не однажды, и все того же тонкого тоскующего голоса. Она терялась от мысли, что она совершенно себя не знает. Все видимое имеет какую-то функцию, все пойдет в дело, для жизни и продолжения жизни, но нельзя же всю женщину, сколько ее есть, определить в постель и на кухню. Она вся туда не поместится, и не все будет принадлежать мужу. А что же есть то, что останется свободно,

что-то сверхчувственное, не плотское, держащее себя в чистоте, устраивающее хозяйский обход, ласкающее женщину, когда не хватает ласки, и тихо-тихо перебирающее ее струны? Бывало, Тамара Ивановна стыдилась себя перед этой сокрытой в ней частью, где она возгорается не огнем желания, а огнем чистого вдохновения и вся-вся порывисто и неудержимо приготавливается для счастливого подвига. Одна из многих и многих миллионов женщин, похожих на нее, она, благодаря этой особой сверхчуткости, этой способности самопроникновения, могла считать себя единственной: такая и не такая, кое-что есть и еще.

Отец, провожая ее в город, прикинулся пьяным больше, чем был, чтобы предупредить: до мужа, дочь, блюди себя как зеницу ока. Сказал другими словами, но что же было переводить: она поняла их именно так и даже обиделась на отца за то, что он заставил себя их говорить. Но наступило время, когда и ей пришлось повторить их для Светки; как же, Господи, быстро свершаются сроки, в которые суждено детям, в свою очередь, быть родителями взрослых детей, выходящих на самостоятельную дорогу, полную ловушек. Светка выслушала ее, пряча от стыда и нелов-

кости глаза, но это-то так и должно было быть: в таких понятиях они все остались недотрогами, даже Анатолий. Грубые слова и бесстыдные разговоры не только не были заведены в семье, но сорвись они у кого из посторонних, загремела бы гроза. Демин и тот побаивался Тамару Ивановну и, когда требовалось произнести незаменное слово, к восторгу тогда еще маленьких ребятишек, принимался нечленораздельно вылаивать его, это слово, после чего, то есть после надругательства над его привычным языком, Демина бил кашель. С приходом свободной жизни, когда из телевизора, как из волшебного горшка, полезла каша, состряпанная из гадостей, а слово, чтобы остановить ее, перевалившую через порог и забившую улицу, — слово это потеряли, Тамара Ивановна, не долго катаясь умом, грохнула телевизор о пол и вымыла руки.

— Не перестарайся, мать, — сказал более спокойный Анатолий. Они, как почти и во всех семьях, где поднимаются ребятишки, невольно называли друг друга «мать» и «отец».

Она отошла и заплакала, стоя перед окном и по-девчоночьи размазывая по лицу слезы. И, как всегда после подобных взрывов, на весь день окаменела, говорила медленно и тяже-

ло. Тамара Ивановна тогда только что пришла работать после детсадика на почту, и вид привозимых почтарям из типографии и с вокзала красочных газет с неслыханными историями и невиданными картинками ее потряс. Журналы шли не лучше; на обложках книг, продаваемых здесь же, на почте, торчали красотки с задранными ногами и презрительными ко всему свету ухмылками. Она пришла на почту по старой специальности — телеграфистки; изменились и тексты телеграмм: пошлости, скрытые и явные угрозы, ругань, какая-то абракадабра, словно проверяющая, до каких пределов дозволяют дурость и издевательства. Но ничто больше не запрещалось, все шло открыто, свободно, беспощадно — будто торопились выявить всех безобразников, сколько их есть, безобразия их собрать воедино и уничтожить, а самих их отправить по этапу… Но куда? Отправлять было некуда, не осталось ни одного угла, не охваченного этой проказой.

В первые годы этой сошедшей с каких-то крутых гор грязной лавины Тамара Ивановна от бессилия, от невозможности загородиться, убежать от этого бурлящего, кипящего нечистотами потока, на гребне своем вздымающего

издевательское ликование, впадала в слезы: сдавливало грудь, боль неподвижным валуном залегала внутри и на часы перехватывала дыхание. А поплачет, польет слезами испуганное сердце, погреет ими, горючими, камень-валун, он вроде и подвинется, освободит дыхание. Но надолго слезами спасешься? Она как-то поймала себя на том, что размышляет — заплакать, не заплакать? Значит, могла не заплакать, не поддаться бабьей слабости. Почему же в таком случае научилась поддаваться, обманывать себя, верить в невольное облегчение, в истечение той горячей тяжести, что забивает нутро? Слезами, что ли, можно изгнать заместившего все и вся, превратившегося в родителя, учителя и государственного служащего, бесстыдство? Нет, все, хватит мокроту разводить!

И все чаще в поисках крепости, где можно было бы найти спасение, вспоминала Тамара Ивановна свою деревню на берегу Ангары, широкую луговину, заставленную березой и сосной, в белой кипени майскую черемуху по обочью, сладкий дух ее в деревне, черемуховые метели после цветения, покрывающие улицу белизной, высокое, вынашивающее землю под собой, небо, а под ним на закатной стороне разлив ангарской

воды, тяжелый и покорный, с глухими и все-таки родными берегами. И все это сходилось в одно, переливалось, играло, шумело, набегало друг на друга и расходилось, виделось отовсюду, откуда ни зайди, приближало и подставляло под разгляд все, что ни попроси… И все это так ярко, живо и больно влипло в Тамару Ивановну, подобно коже, не знающей забывчивости, что она боялась доискиваться, у всех ли такое бывает и не дана ли ей эта неизносная память в пытку. Во сне к ней несколько раз приходила покойница-мать и, оглядываясь, торопясь, чего-то боясь, рассказывала, в свою очередь, о своей покойнице-матери, бабушке Тамары Ивановны, которая чего-то добивалась от матери Тамары Ивановны. Никак нельзя было понять, чего она добивалась, но жутко становилось оттого, что там тоже продолжаются какие-то отношения. Вот так же приступами наплывала картина деревни и всего ее опояса по полям, заречью и широким боковинам с огороженным выгоном для скота. То надвинется лесхозовское подворье за Ангарой и вытоптанная глубокая сходня к воде, то однобокая, с обломанным вторым отростом, береза напротив деревенского дома, которую ветер треплет так, что изогнутой вершиной она

напоминает на древке полотнище. Но это еще понятно, это из памяти. Но чудно и непонятно было то, что являлось иногда или напрочь забытое, или не бывавшее при ней вовсе, происходившее, должно быть, уже после ее отъезда. Вот идет она по луговине энергичным шагом, деревня и Ангара справа, слева открывшиеся за оголенным леском выкошенные поля, воздух прозрачный, по-осеннему стекленеющий, иглистый, подходит к одной из старых берез с потрескавшейся Кориной и видит, что на нижний сук перекинута прялка. Ну и что? — прялка да прялка, за ненадобностью вынесли и пристроили напоказ — может, кто приберет, чтоб не пропадало добро. Но не было прялки в прежних видениях, а уж Тамара Ивановна и в них, в видениях, с такой памятливостью исходила все тропки, что незамеченным ничто остаться не могло. Стали появляться лица ребятишек, родившихся на свет уже после нее. «Ты чей?» — «Зыряновский». Карапуз смотрит на нее с любопытством, он тоже удивлен встречей с незнакомой тетей. — «Чей зыряновский?» — «Люсин». Тамара Ивановна долго перебирает в памяти, есть ли у зыряновских Люся, и не вспомнит. Но, стало быть, есть, если этот гражданин последнего деревенского

замеса с такой уверенностью называет свою фамилию и имя матери. Ясно, что не из сказки они взялись.

«Все Ангарой пронесет — и детство, и старость, и радость, и горе», — философски изрекалось у них в деревне. И жизнь проносила, и долю намывала новую, и такие сказки по камешкам насказывала, пока была проточная вода, что только дивуйся. Теперь все на дно уходит, илом затягивает. Тамара Ивановна невольно задумывалась об этом, ей и впрямь казалось, что от того, какой Ангара полнится водой, чистой и говорливой или тяжелой, стоящей неподвижной запрудой, зависит и наполненность ее поселенцев. Да, все уходит на дно безразборно и безразлично. И что же потом из этого будет? Что за месторождение, для какой надобности оно станет разрабатываться не представимым в далях будущего человеком?!

Мать была верующей, правда, без икон и молитв, но имя Божье в обиду не давала и поминала его часто. «Богу надо показаться послушницей, — внушала она дочери, — чтобы он заметил и взял тебя под защиту». Тамара была уже большенькой. «Но как же Бог может всех нас знать? — спрашивала она в задумчивости. — Ведь нас много,

прямо сплошные тыщи». И тут встревал отец. У него было свое объяснение небесного учета земных дел. «А мы все ходим воду пить на реку, — полушутя-полусерьезно, присаживая голову, покивывая себе, говорил он. — Без реки, без Ангары нашей, никто не проживет. А все реки мимо Бога протекают. Он в них смотрит и, как в зеркале, каждого из нас видит. Поняла?» Что же было не понять? Она кивала и замирала, уставив перед собой неподвижный взгляд. Но сколько потом вспоминались эти слова, как они зацепили душу, когда по утрам открывала она кран в городской квартире и вода застоявшейся пружинистой струей, слепой и затравленной, выфыркивала из трубы, как из преисподней. Какое уж тут зеркало, какое попечение, целение?! Богатые люди не напрасно этой водой из-под крана брезгуют, ездят с пластмассовыми ведерными бидонами то на Байкал, то на источник. Они разборчивы, как и в еде, как и в воздухе, которым дышат, знают прекрасно, что телесные болезни набираются от пищи и воды.

Эх, жизнь-самокатка, катится-то сама, да не барыней ты сидишь в ней, понукающей весело солнышко в небе, а по камням, по грязи и иному бездорожью тобою же продирается след, оставляя

непоправимые раны.

И опять возникала в Тамаре Ивановне песня, печальная и чистая, затаившаяся в душе, сама собой натекающая под невольным наклоном. Опять тонкий, чуткий, не плеснувший ни в одном звуке, голос выводил:

Легкая, легкая
Лодочка плыла.
Горькие слезы я
В лодочке лила.
Ой люди, ой люди,
Сердце, не слези,
Долю мою счастную
Не сро-ни.

Тамара Ивановна с жалостью к себе вздыхала, неопределенно и ищуще думала, но мысли по привычке скоро подгибались все к тому же: чего там «не срони», когда в глубокую пропасть столкнули… С усилием вздымая грудь, она выправляла их, невеселые свои мысли, и старалась настроиться на обнадеживающий лад. Но и в нем трудно было задержаться надолго. То представлялось ей, что от недавнего прочного мира, в котором прожила она сорок лет, теперь уже

ничего не осталось, все вокруг, как после гигантского смещения породы, завалено обломками, часть их рельефно благополучной грядой выжало наверх, другую, бóльшую, часть разбросало в жалком беспорядке, но там и там не только не противоположные силы, а вовсе никакие не силы, а лишь руины, застывшие в непохожих формах. То вдруг картина менялась и руины получали осмысленное построение, выстраивались в незнакомый, но все-таки порядок, по крайней мере, в очередь к порядку, и казалось, что надо только перетерпеть это страшное время, охранить детей и собственные души — устроится же когда-нибудь жизнь, не может не устроиться!.. Так хотелось дотянуть до этого, так хотелось отдыха еще в жизни! И — подхватывалось струистым, мягко облекающим пением:

Тихая, тихая
Реченька текла.
Слезынек, слезынек
Много напила.
Ой люди, ой люди,
Речка, не бурли.
Лодочке дороженьку

По-сте-ли.

* * *

Светка стояла по одну сторону стола, который занимал почти всю вытянутую от двери к окну комнату, оставив только проходы по бокам, — стояла в оцепенении, вздрагивая и отшатываясь от совсем уж диких криков, а по другую сторону, напротив нее через стол, извивался, визжал и кричал что-то неразборчивое кавказец в джинсовой куртке, черный, безростый, с бешеным лицом и кипящими большими глазами. Такими и увидела их Тамара Ивановна в милиции, куда они прибежали чуть не бегом с Анатолием и участковым. Перед Светкой, загораживая ее, стоял в торце стола Демин, всклокоченный, с еще более длинными, чем всегда, взмахивающими руками, и тоже что-то кричал. Тамара Ивановна не отодвинула Демина и не бросилась к дочери — она вонзилась в нее глазами и высмотрела ее всю. Потом перевела тяжелый и пронизывающий взгляд на кавказца и его тоже высмотрела до печенок. У Светки был огромный, чуть не в половину лица, синяк под правым глазом, верхняя губа рассечена, она стояла сжавшись, с выдвинутыми вперед плечиками, которыми пыталась

прикрыться, сгорбившись и втянув в себя голову. Взглянула на мать и вздрогнула крупной судорогой, прокатившейся по всему телу. Рукав джинсовой куртки на кавказце был наполовину оторван; когда парень кричал и размахивал руками, дыра на рукаве, как уродливая пасть, с жевом открывалась и закрывалась. Во главе стола у окна сидел капитан, молодой еще, с жидкими волосами и шишковатым лицом; он ни о чем не спрашивал и ничего не записывал, брезгливо смотрел на кавказца и Демина. Кавказец по взгляду Тамары Ивановны догадался, что пришла мать, и, обращаясь к ней, показывая на Светку, так же заносчиво, бешено, но, позаботившись о том, чтобы его поняли, прокричал:

— Она врет, плохо врет! Фу! — пыхнул он злобой в сторону Светки. — Ей не жить, если будет врать!

Демин перегнулся через стол и сжал кавказцу плечо так, что тот заверещал как поросенок.

— Руки! — прикрикнул капитан.

Потом они оказались в прокуратуре, всего-то в ста шагах от рынка. Присесть было некуда, стулья в коридоре почему-то не полагались; отирая стены, переминаясь с ноги на ногу, ждали… Кавказца увели, Светку допрашивали в кабинете

неподалеку. Было семь часов, восьмой, жара спала, в воздухе висела прозрачная, спекшаяся плоть. Двери по коридору хлопали все реже, машинный рев с улицы доносился волнами — то набежит, то затихнет по воле светофора. Демин опустился на подогнутые колени и, задирая голову, оборачивая ее вправо, к Тамаре Ивановне, и влево, к Анатолию, терзал сигарету и говорил:

— Вы ушли, мы со Светкиной подружкой еще раз сделали обход по рядам. Нету. Светкина подружка, видно, что в страх впала. Прибежит-убежит, прибежит-убежит. И у меня на весь день только три покупателя. Я и тем не рад. Выйду и кружу кряду не знаю сколь раз. Как предчувствие было. И вот стою смотрю… не знаю уж, куда и смотреть. И вижу: Светка на меня идет, а рядом бабенка, видно, что не сама по себе, что со Светкой. Светка меня увидала, подбежала, прячется за меня. Бабенка слиняла. Лицо такое у Светки, что лучше и не расспрашивать. Дрожит, оглядывается. «Он меня, — говорит, — бил и не велит отходить от него, он нас за водой отправил, а я сюда повела». — «Где он?» — «Там, торгует». — «Пойдем, покажешь!» — «Нет, я не пойду, я боюсь, он кричит на меня». — «Да что было-то, что он на тебя кричит?» — «Все, — говорит, — было».

Тамара Ивановна дернулась от сильного нутряного толчка, но продолжала все так же тупо смотреть налево по коридору, где одновременно вышли из кабинетов напротив один другого две женщины с бумагами и разговаривали, помогая руками, будто обмахиваясь от жары. Демин замолчал, курить ему хотелось невыносимо. Анатолий ухнул в себя и сидел не шевелясь.

— Дальше, — не оборачиваясь, подтолкнула Тамара Ивановна.

— Покурить-то никак нельзя? — взмолился Демин к проходившей мимо женщине, одной из тех, с бумагами.

— Нельзя! — бросила она.

— Дальше интересней было, — почему-то решил Демин повеселить свой рассказ. — У меня ладонь чесалась. У добрых людей к деньгам чешется, у меня обязательно к драке. Я уж не помню, когда в последний раз дрался, и она помалкивала, не зудилась… — Демин как-то сумел послушать себя со стороны и застыдился, оставил игривый тон. — Ну вот… Я кричу Светке: «Идем — покажешь». Она боится. «Он меня убьет» — да и только! А на нас уж оглядываются, я ее за руку держу. Я шипеть на нее уж потом стал. «Иди, — говорю, — поперед меня, чтоб я тебя из виду

не выпускал, и где он, как-нибудь мне кивнешь». Пошли вдоль рядов. А их там, этих чурок, через одного. Замечаю — показывает мне. Она-то показала на кого надо, а я совсем на другого кинулся, перевернул ему всю торговлю. Пришлось ей подскакивать ко мне и уж не таясь показывать. Тут я сграбастал его от души. Зол злодей, а ты позлей злодея будь. Через минуту милиция как из-под земли. Мне того и надо. Он Светку заметил и быстренько смекнул, что к чему. Хотел мальчишкой безвинным прикинуться, а из меня разбойника сделать. Я кричу: «В милицию нас, в милицию, там разберутся». Милиционер засвистел, еще один подскочил. Повели.

Долго молчали. Тамара Ивановна и Анатолий с разных сторон с мучительным вниманием наблюдали, как Демин выдавливает из сигареты на пол табак.

— Ну и что, Демин, нам теперь делать? — спросила потом Тамара Ивановна с пугающим спокойствием.

— Теперь не вам делать, теперь с вами будут делать. Теперь закрутилось — не остановишь. Вытерпеть надо. Или ты хотела остановить? — спросил Демин.

— Не-е-ет! — протянула с такой решимостью,

что зазвенело в воздухе. — Я тебя не о том спрашиваю. Я спрашиваю, как жить-то нам теперь?

Демин не ответил. Смотрел в пол и возил вывернутыми губами.

— И почему это на нас? Почему это на нас, Демин?

— Надо не так говорить. Если уж на то пошло, надо спрашивать: почему это бывает? А раз бывает, с кем-нибудь да бывает…

— Ну да, с кем-нибудь, это понятно. Но это с нами… это непонятно. Слух со стороны дойдет, — продолжила она после паузы, — так слуха одного боишься, прячешься от него. И думать боишься, что же теперь с ними — с ней где-то там, далеко, с родителями. От чужого горя и то жутко. А тут не слух, а тут не с чужими. Как это-то вынести? От этого сбегать надо на край света.

Анатолий поднял голову, во все время этого разговора опущенную, и сказал:

— Куда бежать-то?

— Где ни одного знакомого нету.

— Для этого надо и нам с тобой друг друга не знать. И себя забыть.

Отпустили домой Демина, всю последнюю ночь из-за них же он не спал. Ждали еще долго, до темноты на улице. Светку выводили из кабинета,

провели в какой-то другой кабинет и снова вернули в прежний. Без Демина и вовсе не говорилось. Тамара Ивановна раз за разом уходила в такое оцепенение, в такую пустыню с непроницаемым воздухом и мертвенным светом, что, опоминаясь, подолгу не приходила в себя и не узнавала, где она, что за мрачный коридор перед нею, из какой он жизни. Анатолий дважды заглядывал в дверь, за которой держали Светку, и снова пристраивался рядом. Не всякая беда сближает мужа и жену, от этой они вдруг почужели, говорить не хотелось. И двигаться никуда не хотелось Тамаре Ивановне, так бы стояла и стояла неподвижно, стояла бы и день, и два, лишь бы не приближаться к тому, что будет дальше.

Но двигаться пришлось — Светку наконец выпустили. Она вышла с бумажкой в руке — с направлением на медицинское освидетельствование. Его нужно было пройти сейчас же, не дожидаясь дня. Под самую ночь поехали в трамвае к тем особого рода врачам, которые дежурят круглые сутки в ожидании «потерпевших». В трамвае было много молодежи, возвращающейся с удовольствий, они стояли группами или парами, но разговаривали нешумно, без выкриков, утомленные бурными и напряженными часами.

И так же, сдвинувшись друг к другу в кружок, тесно, лицом к лицу, стояли и они — мать, отец и дочь. На лице Светки под глазами крапинами вдавились внутрь высохшие слезы. Тамара Ивановна не знала, что сказать ей, чтобы не сделать больно. Только и спросила:

— Ты спала сегодня?

Светка испуганно, быстрыми движениями покачала головой: нет.

— А ела?

Показала, что ела.

Что-то говорил дочери отец, силясь улыбаться, приближая голову. Тамаре Ивановне хотелось лишь одного — ехать бы и ехать, но не подъезжать — пусть бы бесконечно визжал на поворотах и дергался трамвай, люди входили и выходили на остановках, как это происходит и вообще в жизни, а ей бы только смотреть на них и не двигаться.

— Что вы так на меня смотрите? — спросил вдруг очень высокий, с тяжелым подбородком парень, стоявший к ней лицом.

— Я не смотрю, — коротко ответила она, удивившись, откуда он взялся, она его и не видела.

Домой вернулись в пятом часу. Заметив, что Светка готовится упасть в постель, приказала:

— Вымойся! — и сама набрала в ванну воды.

Иван спал, когда пришли. Что же это: уходили — спал, днем заходила — не было, и теперь спит? И так неуютно и горько показалось ей в родных стенах, будто не она здесь хозяйка, будто сдали, как это ныне водится, квартиру кому-то чужому и неприятному, который все в ней переиначил и изгадил, а они тайком в глухой час пришли убедиться в этом. Она не смогла бы заснуть, сердце стучало глухо и тяжело, удары его отдавались во всем теле. Вспомнив, что можно добыть чай, она вскипятила чайник и долго и жадно пила, пытаясь горечью крепкой заварки перебить в себе чужесть, пронзившую все тело, — будто это ее изгадили.

* * *

Светка росла слезливой, мягкой как воск, любила приласкаться, засыпать у матери на руках, сказки позволяла читать только нестрашные, и не про детей, подвергавшихся колдовской силе, не про братца Иванушку и сестрицу Аленушку, о судьбе которых начинала страдать заранее, прижимаясь к матери, а про козляток да поросяток. Была чистюлей и аккуратисткой, в ее игрушечном уголке каждая тряпочка знала

свое место и каждая кукла вела разумный образ жизни, не валяясь где попало с растопыренными руками и ногами. Над вымазанным платьем Светка ревела ручьем, брату, пока он не вышел из ее повиновения, бралась отстирывать с мылом ссадины на руках и лице. В детском саду Тамаре Ивановне пришлось запретить своим детям по всякому пустяку искать у нее защиты и приклеиваться к материнской юбке — Иван скоро и легко принял это правило, а Светка, не спуская с матери зареванных глаз, отходила в уголок, чтобы казаться окончательно несчастной, и истекала слезами, делая порывистые движения в сторону матери и не смея нарушить запрет. Она мало читала в детстве и развивалась какими-то собственными, вызревавшими в ней, впечатлениями, подолгу затаенно и чутко прислушивалась к ним, медленно, в такт чему-то, поводя красивой головкой с закинутыми за спину пшеничными увязками кос. Знала много песен, и народных, и под народные, ее обучала им бабушка Евстолия Борисовна, мать Анатолия, жившая в трех кварталах от них в одиночестве своей квартирой. Был у них коронный номер, исполнявшийся при гостях и всегда вызывавший восторженный смех. «Вот кто-то с горочки спу-

стился…» — басисто, тягуче, мощно начинала бабушка и умолкала, закатывая глаза и откидывая крупную, гладко причесанную голову, а внучка чистым, звонким, хрустальным голоском подхватывала, вся превращаясь в восторженное сияние и вытягивая шейку, точно высматривая: «Наверно, милый мой идет…» — «На нем защитна гимнастерка…» — взревывала после ангельского Светкиного вступления Евстолия Борисовна, а Светка, испуганно приахнув, артистически затомившись нетерпением, приложив ручонку к груди, округляя сердечком губы, уж совсем на пределе нежного и самозабвенного звона признавалась: «Она меня с ума сведет». Слушать их, смотреть на них было уморительно: одной рано выглядывать «миленького», другой поздно, и голоса, слишком разные, не соединимые ни в одном звуке, выдающие у одной колодезные заросли прожитого, а у другой — только что выбившийся из-под земли ключик хрустально-счастливого плеска, — удивленно и простодушно заявляли о невинности той и другой.

Иван в малые годы был более самостоятелен и умел настоять на своем. Захочет чего — вынь да положь ему. Тамаре Ивановне постоянно было некогда, она, торопясь отойти, уступала, и пар-

нишка все набирал и набирал твердости. С трех лет он басил, да так по-мужски, будто голос из мехов выходил. В детсаду поражались: «Ты, Тамара Ивановна, своего бурлака хоть медом бы, что ли, подкармливала, чтоб горло помягчело, он же пужает ребятишек. Как труба ерихонская, ей-богу, что с ним потом-то будет, какие страсти?!» Но, заявив о себе, погудев для острастки, гуд прекратился и голос опал, сделался почти как у всех мальчишек и все-таки покрепче, потуже, в тон характеру.

Во все годы Иван учился хорошо. В круглых отличниках не ходил, но ему это и не надо было; он рано приметил в отличниках почти рабское преклонение перед высшим баллом, постоянную напряженность и выструненность ради оценки. Велят стараться — они и стараются до потери сознания. В круглых пятерках, считал он, несвобода, чрезмерная исполнительность, стесненное дыхание. Вот почему когда снялись в школе все ограждения и хлынула в нее дикая свобода, отличников почти не стало. В школу ворвался Гаврош с сигаретой в зубах, в грязной заграничной куртке, с выписанными по груди и спине загадочными словами, отодвинул от стола учительницу и крикнул: «Айда, ребята, там стреляют,

там делай что хоть!» И ребята посыпались из-за парт, собираясь в отряды, шныряющие по вокзалам, рынкам и помойкам, обживающие чердаки и канализационные ходы. И как знать, не от худшего ли еще они сбежали? В школу, как новую мебель, натащили новые науки, появились учебники с откровенными картинками и призывами вроде: «Бейте лампочки в подъездах, люди вам спасибо скажут», набрались неведомо откуда экзотические преподаватели, едва говорящие по-русски, а родную литературу, историю, русский язык принялись сталкивать на обочину, превращая их в третьестепенные предметы и наполняя новой начинкой…

Светку после девятого класса Тамара Ивановна сняла из школы, послушалась ее — и не спасла. Иван оставался в школе, теперь уже в десятом, — и неизвестно, спасется ли. Одна надежда на его твердый и самостоятельный характер, на крепость собственного закала. Только такие теперь и выстаивают.

К шестнадцати годам Иван поднялся в высокого и красивого парня. Все в нем сидело плотно, спина не прогибалась, как обыкновенно у высоких подростков, руки и ноги не вихлялись, будто плохо ввинченные, шея не вытягивалась

по-петушиному. Недорослем его не назовешь. Больше всего Тамара Ивановна гордилась ростом сына: она и Анатолий обошлись средним ростом, Светка вышла в них, а Иван — надо же! — как на опаре поднялся в полную и завидную стать. Лицо у него было чуть вытянутое, голову носил высоко, задирая подбородок, глаза смотрели внимательно, без спешки. Ботинки покупали ему сорок пятого размера. Об одежде заботился мало и ничего модного не выпрашивал, любая рваная майка сидела на нем как родная, зимой бегал в коротком и тонком китайском пуховике, в котором свистел ветер. Мать со скандалом заставляла его идти с собой на барахолку, в царство яркого и дешевого китайского изобилия, чтобы не стыдиться его дыр, а он и не замечал обновки. Так же не замечал он голода: усадят за стол — съест с короб, не глядя, что ест; не найдут, не усадят — и не вспомнит, что полагается обедать. И при этом худым не был, не выбегивался, кости не выставлял. Все было при нем. Он не отказывался помогать ни по дому, ни по даче, но ему надо было напоминать: сделай это, это и это — сам он сделать не догадывался, мог пройти мимо слетевшей на пол книги, не заметить, что на столе нет хлеба. Тамару Ивановну

это возмущало, она пробовала стыдить сына, а он хлопал невинными изумленными глазенками, не понимая, чего от него добиваются.

— Ты говори, — даже и не оправдывался он, а искренне не мог взять в толк, почему бы его, как всякое требующееся движение, не подтолкнуть. — Ты говори, я сделаю.

— А без «говори» ты не можешь сделать? Как же ты без меня-то, без нас собираешься жить?

— Я сам себе буду говорить.

— Так ты и теперь сам себе маленько говори.

Он умел найтись, ой умел:

— Но ты же у нас диспетчер…

— Что-о-о?!

Мать под горячую руку могла и затрещину отвесить; сына как ветром сдувало. И, зная, что она высматривает его в окно и наставляет, как орудие назидания, кулак, он вставал перед окном в боксерскую стойку, делал уморительную рожицу, показывал язык и вприпрыжку удалялся.

— Ну, мать! — как-то незадолго до этой истории, уже по сухой зазеленевшей весне, воротясь домой, с воодушевлением взялся рассказывать Анатолий. — Иван-то у нас, а! Счас идем по улице — так заглядываются на него невесты-то! Теперь это у них без стеснения — сами загляды-

ваются, глазки вострят! Вот увидишь: все девки будут его.

— Зачем ему все девки? — Это было в субботу, собирались на дачу, и Тамара Ивановна вся была в хлопотах. И отозвалась — как мяч, летящий на нее, отпаснула.

— Да красивый у нас парень-то растет! — не унимался Анатолий. — Красивые у нас дети. Вообще народ, если на молодежь смотреть, красивей становится, какой-то отбор происходит.

До народа Тамара Ивановна не стала подниматься, не до того; об Иване сказала, распрямляясь из согнутого положения, — она собирала в мешок рассыпанную под столом картошку, которая проращивалась для посадки:

— Зачем ему красота?! — А раз уж выпрямилась, бросила из-за пустяка дело, то и пошла в наступление: — Зачем парню красота? Парня портить? Ему не красота нужна — умнота. На умноту-то, поди-ка, не заглядываются! И рассмотреть не умеют.

— Да и умнота есть. Не дурак. Что это ты? Умеешь глядеть — гляди.

— А ничего пока увидать не могу. Глаза стали плохие.

— Ну, это ты зря, Тамара Ивановна.

Это словно клавиши музыкального инструмента — то, как мужья и жены в разные минуты обращаются друг к другу. Анатолий не часто, но называл все-таки иногда свою жену и Тамарой Ивановной — когда надо было с легкой дразнящей иронией приподнять имя к «Ея Величеству»; называл и просто Тамарой — в ровные и безоблачные будни, напоминающие о молодости; и «мать» говорил — при детях, как это с возрастом бывает у многих, и «голубушка» — чтобы внешне безобидным, но чувствительным скребком снять лишнюю накипь, и «подругой дней моих счастливых» — когда счастья хотелось больше и лучшего качества… Тамара Ивановна называла его то Толей, то Толяном, то «отцом», то — очень редко и вне себя — «супругом», точно предъявляла свидетельство о браке, которое может быть выброшено. Вот и теперь Анатолий выбрал «Тамару Ивановну» — стало быть, имел к ее мнению нешуточные претензии.

— Это ты зря, Тамара Ивановна. Парень у нас хороший вырос. Я о нем меньше беспокоюсь, чем о Светке.

Но и Тамара Ивановна беспокоилась о нем меньше. И потому, что парень, а значит, опасностей сразу вдвое меньше, и потому, что мог уже,

не обделенный силой, постоять за себя. Но больше всего — какая-то прочная сердцевина, окрепшая в кость, чувствовалась в нем, и на нее, как на кокон, накручивается все остальное жизненное крепление. Понятно, что это крепление ложилось пока слабо, кое-где топорщилось, кое-где высовывались петли, но оно было на месте, на котором и надлежало ему быть. Это главное, Иван, как и все подростки, ходил на дискотеку, но она не захватила его с руками и ногами, не проникла вместе с ним в дом и не загремела на все пять этажей, как исчадие ада. Все, на что фанатически бросаются другие, его настораживало. В школе все учили английский язык, чтобы проложить им дорогу к красивым и сытым занятиям, он среди всего четырнадцати таких же «поперечных» ходил во французскую группу. Все набрасывались на порнофильмы, с горящими глазами и почесывающимися выпуклостями собираясь по передовым хазам, — чтобы непременно вместе и непременно в учебных целях, — он сходил за компанию раза два, почувствовал какую-то внутреннюю морщь и слизь, стыд, удивляясь удалым и неприятным комментариям товарищей, и больше не пошел. Все, старые и малые, валили огромными океанскими волнами на «Ти-

таник» — он удержался, не желая быть каплей того же состава, — которые вздымаются рекламным ветром в слепые и кровожадные валы, снова и снова атакующие обреченный лайнер и испытывающие удовольствие от предсмертных криков. Одно время у Ивана случилось странное для парня и хранимое в секрете увлечение — он собирал фотографии принцесс и королев здравствующих монарших семей — шведской, датской, испанской, португальской, английской, японской, — он вглядывался в их лица, чтобы понять, что за особый такой отпечаток накладывают аристократизм, династическая порода, считающаяся спущенной с небес, и восторженное почитание. Но после того как лучезарной звездой просияла принцесса Диана, изменявшая мужу на глазах у всего впавшего в неистовое любопытство мира, Иван выбросил свою коллекцию и вспоминал о ней со стыдом всякий раз, как снова и снова возносили скандальную принцессу как богиню аристократической свободы.

Этим он был в мать. Иван даже стеснялся этого сходства и в решительности своих поступков старался сыскать другие причины. Мать могла сгоряча наломать дров, нередко так и происходило. Сгоряча, к примеру, разбомбила и выставила

телевизор, как забывающегося гостя, поведшего себя неприлично. Выставила и только навредила: Светка повадилась бегать под телевизор к подружкам; Евстолия Борисовна, признаваясь, что она «не вылезает из телевизора», приходила совсем редко. «Так не делается, — считал Иван. — Прежде остынь, потом решайся на размашистые движения». Его поступки, считал он, вызываются волевым решением. Дискотека — это детская болезнь, так же как пакостливые заглядывания в чужую постель, от нее, от этой болезни, все равно придется освобождаться, и чем раньше, тем лучше. «Титаник» — результат массового психоза, «что все, то и я», а он собирался быть человеком самостоятельным. Французский… французский понадобится, конечно, меньше, чем английский, и к английскому когда-нибудь придется вернуться, но сегодня английский — это для сбитого с толку поколения загон, где ему помогут расстаться с родной шерсткой. О принцессе Диане и говорить нечего, она не одну себя отдала на съедение хищникам, а вместе с собою повела миллионы, многие миллионы дурочек, жаждущих мятежного примера.

В последние месяцы у Ивана появилось новое увлечение. Его, впрочем, и увлечением назвать

нельзя, оно сразу показало себя не пустым занятием, а интересом, за которым открылся совсем рядом лежащий потайной и увлекательный мир. Это было совсем не то, что ищут, чтобы чем-нибудь себя занять. Однажды он катал-катал случайно подвернувшееся слово, которое никак не исчезало, — бывает же такое, что занозой залезет и не вытолкнешь, — и вдруг рассмеялся от неожиданности. Слово было «воробей», проще некуда, и оно, размокшее где-то там, в голове, как под языком, легко разошлось на свои две части: «вор — бей». Ивана поразило не то, что оно разошлось и обнаружило свой смысл, а то, что настолько было на виду и на слуху, настолько говорило само за себя, что он обязан был распознать его еще в младенчестве. Но почему-то не распознал, произносил механически, безголово, как попугай. Недалеко оказалось и другое, летающее рядом с воробьем, столь же очевидное и самоговорящее: «ворона», «вор — она». Вспомнилось, что «спасибо» — это «спаси Бог». Вот уж верно: «Спаси и вразуми нас» произносим как пустышки, как фишки, как номера какие, которые имеют условное обозначение, требующее запоминаний.

— Мама, ты знаешь, что такое сволочь? —

погуляв перед матерью петухом, придав себе важности, спросил Иван, улучив момент, когда Тамара Ивановна вечером перед сном, уставшая и размякшая, опустилась на диван.

— Сволочь она и есть сволочь, — мрачно ответила она.

— А что такое подонки?

— Чего это тебя потянуло туда: сволочи, подонки?

— Слушай, мама, и запоминай. Сволочь — это такая дрянь, которую надо стащить, сволочь с дороги, где люди ходят. Слово «сво́лочь» — от «своло́чь», убрать с глаз. Переставляешь ударение, и все ясно. А «подонки» — осадок по дну посудины, несъедобные, вредные остатки, их только выплеснуть.

— Гли-ка! — слабо удивилась Тамара Ивановна. — Сам разглядел или кто подсказал?

— Я теперь к каждому слову прислушиваюсь. Вот «бездна». Что такое «бездна»?

— Ты у меня, что ли, спрашиваешь?

— У тебя. Посмотрю на твое развитие…

— Я те покажу развитие… Доразвивались… дальше некуда. Ахнули в пропасть — вот тебе и бездна.

— Правильно: «про́пасть» — от «пропа́сть»,

и она «без дна» — вот и «бездна».

— Учись, — вздохнула Тамара Ивановна. — Так учись, чтоб не пропасть. Счас все шиворот-навыворот — ой, разбираться днем с огнем надо. Слова взялся разгадывать… разгадай-ка сумей, где хорошее и где, ой, нехорошее. Ой, Иван, берегись. Счас матери с отцом углядеть вас — никаких глаз не хватит. Сам берегись. Теперь детишкам хуже, чем в детдоме. В детдоме досмотр был, там, может, ласки не хватало, а досмотр был. А счас и при живых родителях сиротство: все под смех да под издевки пошло.

И сама же, спустя недели две, вспомнила:

— Ну, что еще разыскал? В словах-то? Какие там еще разъяснения?

— Разъяснения мне больше неинтересны, — ответил Иван, напуская на себя опытность. — Я в этом предмете в следующий класс перешел. Я теперь интересуюсь, как слова меняют свой смысл. Вроде как взрослеют. Вот, к примеру… вот, к примеру, «злыдни»… Ты знаешь, что такое «злыдни»?

— У нас в деревне говорили: последние злыдни выгребли. Значит: остатки, деньги там или продуктишки, на черный день приготовлены.

— Да, теперь так. Но если смотреть на слово —

это «злые дни». Сначала оно, видать, жило с этим значением, а потом потихоньку-потихоньку перешло в запас для тяжелых, для злых дней. Или слово «равнодушный». Оно относилось к человеку равной с другим, равновеликой, души, а сейчас это бездушный человек. Вон куда уехало.

Тамара Ивановна покивала, с усиленным вниманием разглядывая сына, и спросила:

— Так ты, может, по этой части и пойдешь после школы? Ишь как завлекло! — Она вздохнула. — Только не кормежное, однако, это дело, это твое гадание на словах…

— Языкознание называется. Конечно, не кормежное. — Иван вдруг заливисто, притопывая ногами, рассмеялся. — Не кормежное — еще бы!

— Чего ржешь-то как жеребец! Кормить-то кто будет?

— Да мне ведь еще год в школе…

— Школу-то не задумал бросать?

— Нет, не задумал. Я мог бы, конечно, самостоятельно… — «Хвастунишка, — подумала Тамара Ивановна. — Сразу то и другое заедино: и хвастунишка-мальчишка, и взрослый уж, серьезный человек». — Мог бы самостоятельно, — выхвалялся сын, — но мне аттестат зрелости не повредит.

— Вот чего бы Светке не учиться?.. Школа — плохо и без школы — плохо.

— С нами плохо, а без нас тоже плохо, — поддразнил Иван.

— И правильно! — решительно подтвердила Тамара Ивановна. — Ты надо мной смешки не строй, я тоже разбираюсь. Правильное — оно и будет правильным, как ты его не обсмеивай. Этим твоим горлопанам, этим твоим дуроплясам надо бы знать: правильное правильным и останется. Они в дым превратятся, в фук, в вонь, а оно стоять будет.

— Да с чего они мои-то? Ты с чего их мне в родню-то записала?

— Потому что они для тебя стараются!

— Они и для тебя стараются!

— Меня им не взять!

— А если меня взять — плохо ты меня воспитываешь!

— Ничего, я вас воспитаю! Вы у меня шелковые станете!

— Ма-а-ма! — миролюбиво протянул Иван, лицо его поехало на сторону от смеха. — Как называются первые огурцы?

— Чего-о-о?

— Как называются первые огурцы, помидоры,

ну и так далее?

— Чего ты меня дуришь?

— Ну, как они называются — знаешь?

— Так и называются. Первые они и есть первые. Первый ребенок — первенец. Первый огурец — тоже, поди, первенец.

— Поди… Вот тебе и поди. Огурец-то — это, поди, не ребенок. Первые овощи, мама, — начатки. А как называется беременная женщина? Она называется: непраздная. Вот так. Тоже мне: не кормежное дело… А вспомнишь, что начатки, и огурцы вкуснее.

— Хоть русские слова — и то ладно. А то сейчас понатаскали всякую дребедень, будто мы уж не дома, и скалят под нее зубы, и скалят…

— А почему девушку называют красной? — не отставал Иван; очень ему нравилось учительствовать перед матерью, так и приплясывал он перед нею, наигрывая головой, так и брызгали его глаза веселым нетерпением. — Красна девушка — это что?

— На морковке да на свекле со своей грядки возросла — вот и красная.

— Красная — это красивая. Так в старину говорили. Красная площадь в Москве — не от морковки же она красная… А потому что выстро-

ена красиво.

— Площадь, может, и не от морковки, а красна девушка от морковки, — уперлась Тамара Ивановна. — Тут уж ты меня не перебьешь. От огородного, от таежного, от чистого воздуха — вот она откуда, краса. Никакой мазни не надо. Лицо белое — от коровки, щеки жаром пышут — от чего же еще, как не от нее, не от морковки; глаза чисто глядят — утром встанет пораньше да умоет свои глаза свежей росой, они и радырадешеньки. А ежели еще коса на месте… Коса на месте — все на месте, так и запомни.

Иван на торжественной ноте продекламировал:

— У красной девицы, мама, не глаза, а очи: жгучие очи. Не щеки, а ланиты: бархатные ланиты. Губы алые, шея лебединая, груди — это перси: трепетные перси…

— Что еще за персы? Рано тебе трепетать от всяких персов. Ишь, туда же! Имей стыд-то! Заповзглядывал куда не просят! Персы!

— Не персы, мама, а перси-и. Это по-старорусски. Когда хотели возвышенно сказать о женщине, наградить ее неземной красотой…

— Чем земная-то плоха стала?

— Да посмотри: с ланитами да персями, с оча-

ми да веждами совсем по-другому смотрится женщина. Боярыней смотрится. Павой. Знаешь, что такое пава? «А сама-то величава, выступает словно пава». Помнишь?

«Пава» почему-то обидела Тамару Ивановну:

— Ладно, хватит выставляться-то перед матерью. Учись да не заучивайся, дальше ума не лезь. Ишь, пава… Придет время — не паву себе ищи, не на персы глаза пяль, а душу почуй. Душа-то, поди, себе имена-фамилии не перебирала… Перебирала или нет?

— Не знаю. Кажется, нет.

— Ей это и не надо. Она скромницей живет. Терпеливицей. А паву твою я и знать не желаю.

* * *

На следующий день после возвращения Светки пришлось идти в прокуратуру с самого утра. В этот раз их, Тамару Ивановну и Светку, вызвали вместе, Тамару Ивановну как законного представителя потерпевшей. Вот кто теперь они, дочь и мать: одна законная потерпевшая, другая — законный представитель потерпевшей. Таков язык в этих стенах, видевших и слышавших такие истории, что никакие слова и никакие происшествия тут никого покоробить не должны, и, если,

по несчастью, это происходит, значит, человек плохо представлял себе, куда он шел.

Следователь, сидевший за столом, был из того распространенного типа мужчин, в который в схожих условиях и со схожим образом жизни к сорока годам попадают многие: рыхлое и посиневшее крупное лицо, лысина на голове, которую уже и маскировать нечем, нарочито замедленные движения, поскольку в неконтролируемом положении они нервны и суетливы, и мутный взгляд много повидавших глаз. Фамилия его была Цоколь, он назвал себя сразу же, как только усадил перед собой Тамару Ивановну и Светку. Светка села напротив следователя, Тамара Ивановна в углу стола, справа от дочери. Имя не сказал, тут это не полагалось. И их имена записал только на лицевой стороне протокола допроса и впредь легко, нисколько не затрудняясь в обращении, обходился без имен.

Кабинет был сурового и холодного вида: кроме стола Цоколя в левом углу у окна, еще один стол по правой стене ближе к двери, окно, невеселое, выходящее во двор, на покрытую металлическими листами и крашеную суриком крышу хозяйственного пристроя. Одинаково громоздко подпирали боковые стены большой темный

шкаф справа и большой железный сейф слева, тот и другой давно миновавших, но поразительно прочных образцов. Тамару Ивановну эта мрачная обстановка удивила. Она считала, что если новая власть купается в сказочной роскоши, а закон истово помогает новой власти нарушать правосудие, то и его служба должна оплачиваться щедро. Оказалось, судя по обстановке в прокуратуре, это совсем не так.

Цоколь хлюпал носом: спасаясь от вчерашней жары, он, должно быть, неосторожно подставил себя сквозняку. Окно и теперь было приоткрыто, и в него наносило приторным запахом растопленной на пристрое краски. Но сегодня и жара донимала меньше, солнце горело вполнакала.

Цоколь спрашивал и записывал. Записывал шариковой ручкой, машинки в кабинете не водилось. Он предупредил Светку, как и Тамару Ивановну, об ответственности, сказал о правах и обязанностях. Здесь упоминание о них казалось единственно к месту, не то что на площадях среди одуревших от свобод митингующих. Тамара Ивановна поняла только, что она не должна мешать допросу. А чего бы ради ей и мешать? Жалея девчонку, она так и не расспросила ее… да и когда бы, как бы она стала расспрашивать?

Под утро пришли чуть живые; сегодня, пока не постучала к ней Тамара Ивановна, Светка из комнаты не выходила, а сон ли ее свалил после двух страшных ночей, или рвала она на себе волосы — как знать! Да и что прикидываться: Тамара Ивановна, откладывая разговор, не только Светку жалела, но и себя. Пытать, добиваться подробностей — это хищной птицей расклевывать сердце дочери и свое. И вот теперь она вынуждена была слушать.

Светка встретила, оказывается, этого парня, азербайджанца по имени Эльдар, еще в четверг. «Еще в четверг», — повторила про себя Тамара Ивановна, отмеряя это временное удаление двумя разными мерами: так давно это было, на краю какого-то прежнего летоисчисления, а потом — так близко, всего-то три дня прошло, за три дня ничего слишком уж тяжкого не должно было произойти, ведь это не стихийное бедствие. Из этих трех дней дочь потерялась на сутки. Сутки эти, пока они выворачивались из-под земли, пока в терзающем оголении проносили они каждую минуту, выросли в вечность, но теперь, когда они остались позади, они представлялись чем-то вроде тонкой завесы, которую надо было только догадаться приподнять, чтобы увидеть, что

за нею происходило.

Девчонки, Светка с двумя подружками, стояли на площади возле торгового комплекса, а наверху, на площадке перед входными дверями, торчал кавказец в джинсовой куртке, засунув руки в карманы зеленых спортивных брюк, и уставился на них. Под его слишком уж пристальным показным вниманием они захихикали, а он, словно только этого и ждал, сбежал к ним вниз и уставился уже на одну Светку… Наигрывая плечами, нащелкивая пальцами, он объявил ей с акцентом, что она ему нравится. Девчонки еще пуще засмеялись; парень в толстой куртке и толстых штанах в совсем жаркий день, с черным узким лицом, с вихляющейся фигурой на неподвижных ногах был забавен. Его этот смех разозлил, в глазах появилось бешенство. Без всяких подступов и ухаживаний он решительно велел Светке быть вечером в семь часов там же, где стояли. Говорил он с сильным акцентом и злился еще и оттого, что его плохо понимали. «Приду», — со смехом пообещала Светка, чтобы отвязаться. «Приходы!» — еще более требовательно, с угрозой повторил он и направился в сторону рынка.

«Это все торгашество, все оно, подлое… — спохватно думала Тамара Ивановна, слушая Свет-

ку. — Все профессии, все специальности — вон, ничего не надо, кругом одно торгашество! И где она была, какой бес отнял у нее разум, когда согласилась она на курсы продавцов, на которые нацелилась Светка, после того как бросила школу?! Потому и нацелилась, потому и бросила, что все кругом, вся жизнь перешла в шумный и липкий базар. Где она, мать, была, почему не сообразила она, что выйдет девчонка с курсов — на работу ее, малолетку, не возьмут и может повадиться она ходить на эти бесчисленные базары-ярмарки и искать любое купи-продай, любую мелочишку из любых рук в любые руки. Так оно и вышло. Что ни день — как на биржу труда, туда, к торгашам, пять дней впустую, а на шестой какой-нибудь проныра-хозяин поставит на угол совать прохожим китайские заводные игрушки и зазывно, не набухшим еще голоском, выкрикивать, чтоб подходили… Господи, девчонка заворотила глаза — ей простительно, а она, мать-то, где была, почему тоже заворотила глаза на эту всесветную барахолку?! Вот оно, наказание-то, вот оно, принимай, мамаша», — неожиданно чужим голосом, издевательским и назидательным, ткнула себя Тамара Ивановна в грязный стол, за которым, как приговор, заполнялся протокол допроса.

— А на следующий день ты тоже случайно встретила его, этого кавказца? — равнодушно спрашивал следователь, быстро водя ручкой по разлинованной бумаге.

— Тоже случайно, — согласилась Светка и умолкла.

— Рассказывай, — подтолкнул Цоколь, мельком взглянув на Тамару Ивановну, сидевшую в неподвижном и как бы прочно замкнувшем себя положении: склонившись над столом и опершись на него обоими локтями, она одной рукой ухватилась за щеку, вобрав ее в кулак, а второй подпирала лоб.

— Он искал меня, — продолжила Светка, — а для меня это было случайно. Я работала у входа на барахолку. О нем забыла. В четыре часа сдала остатки хозяину, он велел в четыре, он куда-то торопился… Я сдала ему и пошла к торговому комплексу…

— Почему опять туда?

— Там Люся Кудашкина работает. Мы договорились встретиться. Я нашла на барахолке Лиду и сказала ей, что пойду к Люсе. Лида тоже пошла со мной. Мы подошли к комплексу, и я увидела: опять там, у дверей, стоит этот парень. Мне показалось, он меня не заметил. Я кинулась за угол

и вошла в комплекс с другой стороны, со стороны рынка. Стала подниматься по эскалатору, а он на втором этаже стоит у эскалатора и ждет меня. Схватил за руку и держит. Говорит: «Пойдем гулять». Но не злой был, улыбался. Не отставал от меня. Пришлось с ним вместе подходить к Люсе, она уж ждала. Там и Лида была. Мы при нем разговаривали с Люсей о работе. Чтоб нас на улицу на россыпь поставили. Люся хотела с кем-то договориться. У нее не получилось. Он слышал наш разговор. Когда на улицу вышли — он, Лида и я, — он говорит: «У нас много работы, у моего двоюродного брата. Давайте поедем к брату, это рядом, брат вам на полгода даст работу». Понимать его было трудно, он плохо говорил по-русски. Кричал: «Брат скажет, брат скажет!»

— И поехали — так, да? — опять подталкивая умолкнувшую Светку и выдержав, не взглянув на Тамару Ивановну, которая все так же, еще шире раздвинув по столу локти и еще ниже склонив голову, сидела неподвижно.

— Я хотела сбежать!.. — загорячившись короткой вспышкой и переходя опять на покорный тон, говорила Светка. — Я хотела сбежать, но он держал меня за руку, спрашивал: «Почему ты меня боишься? Я тебе дурного не сделаю». Он мне

был противен, я боюсь их, этих… Я попросила Лиду не бросать меня. Я повела их к киоску дяди Володи Демина — киоск закрыт. Дядя Володя был где-то недалеко, машина стояла на улице. Мы минут пятнадцать ходили вокруг, я думала, он придет. «Съездим к брату, поговорим с ним и обратно», — повторял он, этот… Говорил, что у него яблоки на прилавке, ему задерживаться нельзя. Мы с Лидой пошептались, что если вместе, то не опасно…

— И куда поехали?

— В общежитие для малосемейных, на бульвар Постышева. Там старик был, он ушел ненадолго и привел второго кавказца, старше. Звали его Эдик. Эдик принес водку, одну бутылку, консервы, колбасу. Тот, который с нами пришел, стал требовать, чтоб пили и ели. Но никто не пил, он один выпил полстакана и сделался совсем злым. Стал кричать на меня, хватал за руку. Когда Эдик хотел его успокоить, он кричал на Эдика. Мы с Лидой хотели уйти — он вскочил, закрыл дверь на ключ, сказал: если мы подойдем к двери, он выбросит ключ в окно. Уже было больше семи часов, я заплакала. Он схватил меня за руку и потащил в туалет — будто умыться. Говорил: умойся, умойся, не плачь… Он… я…

— А где был старик?

— Он ушел раньше.

Светка замолчала и уставилась в стол. Лицо ее сделалось мелким, жалким и посинело, словно от синяка под глазом краска под давлением разошлась по всему лицу, и покрылось точечными капельками пота. Она была в легкой темной спортивной курточке, волосы на затылке перехвачены резинкой, фигура надломленная, глаза забиты воротившимся при воспоминании страхом. Тамара Ивановна взглянула на нее и быстро убрала взгляд, ужаснувшись тому, как быстро психика или что там еще у дочери отозвались на подготавливавшийся момент прыжка в пропасть, перед которым она застыла. Светка подошла в своем рассказе к самому страшному; теперь надо было только оттолкнуться и пролететь уже испытанным падением: так же с высоты удариться об острые камни, раниться, биться о них раз за разом, снова лететь, обдирая тело, по откосу и не иметь ни вздоха, ни сил, чтобы зайтись отчаянным воплем.

Из коридора время от времени слышались шаги — точно крадущиеся по случаю выходного, в открытое окно налетал ровный и спаянный гул города, идущий, казалось, из какого-то одного

источника. Посвистывал больным носом следователь, нарочито размашистым движением заглядывал в отложенную страницу и, делано сопереживая, вздыхал.

— Ты сказала ему, что ты несовершеннолетняя?

Светка мелконько, дрожью, затрясла головой.

— Не сказала?

— Я еще раньше сказала, что я девочка. А там я не могла говорить. У нас уж там не разговор был…

— А что у вас было? — Цоколь покосился на Тамару Ивановну и добавил: — Я понимаю, тебе тяжело говорить. Но у нас здесь тоже не дружеская беседа. У нас допрос. И мне нужны подробности. Рассказывай.

Светка тяжело подняла голову из наклона, лицо ее еще больше и гуще усеялось настолько мелким потом, что он не срывался и неподвижно лежал сплошной крапчатой сеткой.

— Пусть мама выйдет, — медленно, растягивая слова и произнося каждое слово с разной интонацией, как это бывает у маленьких детей, выходящих из истерики, сказала она, ни на кого не глядя.

— Мама не может выйти. Она здесь не для сво-

его удовольствия сидит.

Дальше пошли короткие вопросы и короткие ответы. Когда Светка поняла, что спасения не будет и здесь, она как через порог в себе переступила и отвечала бесстрастным, выжженным голосом, которого хватало лишь на короткие фразы. И от этого голоса, от выдираемых изглубока слов Тамару Ивановну проняла жуть, она и слыхом не слыхала, прожив на свете сорок лет, что в мире, под которым ходит солнце и просушивает-проветривает все-таки человеческую грязь, могут существовать такие немереные бесстыдство и гадость. Вся натянувшись, обмерев, она уставилась на Светку как на что-то ужасное, как из-под смерти, из-под ада выбравшееся и принявшее образ ее дочери, и все сглатывала, сглатывала застрявший в горле воздушный комок и никак не могла протолкнуть его внутрь. Следователь раз за разом спрашивал: «Но почему?..» — Светка неживым голосом отвечала: «Я боялась, он грозился убить». Вопросы продолжались, продолжались и ответы. После одного из ответов, совсем уж неслыханного, молния сверкнула в голове Тамары Ивановны, возвещая конец ее терпению, — она стукнула кулаком по столу, вскочила и для себя же, для себя, не для

кого другого, крикнула в нестерпимой муке:

— Да как это можно?! — и выскочила в коридор.

Следователь вернул ее, дал отдохнуть ей и Светке. Он закурил, вежливо осведомился, не мешает ли им дым, встал у окна, спиной к ним, отставив назад правую руку, разминая затекшие от писания пальцы. Тамара Ивановна и на руку его с растопыренными пухлыми пальцами смотрела с ужасом, как на надвигающегося огромного паука или скорпиона. Но нет, как известно, пределов человеческому терпению — смирила себя и она. И когда допрос продолжился, она успела в себе что-то закупорить, что-то замкнуть на прочные запоры и сидела неподвижно, но вполне в памяти. Хуже, страшнее того, что услышала она, быть уже не могло. Но и все остальное было не многим лучше.

Около полуночи кавказцы оставили тесный притон в общежитии. Своих девушек они вели под руку. По теплой погоде и только-только смеркшемуся дню на улицах было почти людно, по большей части молодым, не чурающимся приключений, народом. Трамвай долго не подходил, и на остановке то в одной группе, то в другой вспыхивал крик. Подруга Лида не обманула,

что здесь она и оставила Светку с ее кавказцем, уехала домой, но она знала, куда везет Светку кавказец. Тот не скрывал, что его постой находится недалеко от рынка, за травматологическим институтом, в деревянном доме. Туда он и подругу Лиду с Эдиком тянул, размахивая руками и быстро лопоча что-то на своем языке, когда обращался к Эдику. Но тот был испуган происшедшим в общежитии и торопился сбежать подальше от своего родственника, который, конечно, братом ему не был, даже и двоюродным, но все они, выходцы из горного края, на стороне считали себя братьями.

— Ты могла от него сбежать? — спрашивал Цоколь.

Светка попыталась задним умом понять, могла ли, но и теперь по ее телу прошел испуг.

— Я боялась.

— Но ты могла, если бы не боялась?

— Я не знаю. Я боялась. Я на остановке хотела, но он предупредил, что догонит и зарежет. Там много кричали… если бы я закричала, никто не помог бы…

— А где он грозился зарезать — на трамвайной остановке?

— И там тоже. И потом… в деревянном доме.

Там он заставил ее выпить стакан водки. Расцепил зубы, зажав поднятую вверх лицом голову, как кочан капусты, и влил водку до последней капли. Молодая бурятка, хозяйка квартиры, и друг ее, еще один кавказец, высокий, с оспяным, чешуйчатым лицом и тяжелыми, в глубоких впадинах, глазами, смотрели, как дергается, захлебывается и обвисает в судороге юная пленница, с любопытством. Чего не происходит, когда гулянка, как гармошка, разыгралась так, что не унять, каких только красавиц не нахлещет сюда ее переборами! Домишко был маленький, в одну комнату с отгороженной кухней, посреди комнаты стоял стол, вытянутый к окну, а по обе стороны от стола к стенам прижимались две старые деревянные кровати, застеленные суконными солдатскими одеялами. Стол отодвинули, откуда-то загремела музыка, и он, этот Эльдар, заставлял Светку плясать по-ихнему, по-кавказски. Она не умела, и он с кровати, изгибаясь телом и выбрасывая ноги, пинал ее в такт дикой музыке.

— Неужели ни одного ласкового слова он не сказал тебе? — вздохнул следователь, наглаживая левой, свободной, рукой лысину. — Неужели все таким зверем?

Светка припоминала:

— Не знаю, может, у них это ласковые… «Ты меня любишь?» — спрашивает. Я говорю: «Нет». Он ударит: «Любишь меня?» — «Люблю». — «Родишь мне сына?» — «Нет». Бьет. Говорю: «Рожу». — «Любишь меня?» — «Люблю».

Тамара Ивановна выдержала все. Только жалкий какой-то голос — есть, оказывается, в человеке самоговорящий голос, не мысленный, не угадывающийся, а совершенно самостоятельный, — только этот жалкий голос, по тону Светкин, но и не Светкин, как бы ее самой, но и не ее, в продолжение всей второй половины допроса тыкался ей под сердце и путано наговаривал: «Ничего, ничего… это ничего… это к нам, принимайте гостей… мы гостям завсегда рады, мы со всяким нашим удовольствием… мы ничего… мы такие…» Этим голосом кто-то, как бы раздвоившийся в ней и счастливый от раздвоения, нахлестывал ее, издеваясь и ликуя, по-свойски находил, где ударить больнее, слащаво поддакивал удару и затаенно ждал, когда в разговоре появится новая подробность, чтобы принять ее с восторгом и значением.

— И что дальше? — спросила Тамара Ивановна у следователя, когда допрос наконец был окончен

и листки протокола подписаны. — Где его будут судить?

Следователь с жалостью посмотрел на нее, заметил, что она, поднявшись, пошатывается, и уклончиво ответил:

— Судят по месту преступления. Но до суда еще дале-ко-о.

Последнее слово он невольно, ни на что не намекая и ни к чему не склоняясь, отправил в недосягаемые выси.

— А что — почему так далеко? — Тамара Ивановна и не заметила, что она отозвалась не на смысл, а на интонацию.

— Много чего требуется. Я еще свидетелей не опрашивал. А свидетели есть. Есть свидетели.

* * *

Началась рабочая неделя, наступил понедельник, последний день мая. Ранняя жара наконец спала, распустив зелень до последнего листочка, и тополя, клены стояли в новых и роскошных складчатых одеяниях. Ими наигрывал слабый прохладный ветерок, и молодые листочки мелко трепетали, все разом радостно наговаривали. Небо было в тучах, тяжелых и рваных, солнце то показывалось, то пряталось, небо стояло высоко,

отодвинувшись от большого города, который всю зиму коптил его нещадно, а теперь перешел на летнюю норму копчения. В квартире свет был пригашен не от туч, а от густой, стоящей стеной, зелени в сквере, куда смотрели три окна из четырех.

Утром, часов в десять, позвонил Цоколь, следователь, и попросил Светку прийти к нему после обеда. Разговаривала с ним Тамара Ивановна. Цоколь успокаивающе сказал, что встреча нужна для прояснения некоторых обстоятельств дела и что он будет разговаривать с потерпевшей наедине. Пусть разговаривает наедине, согласилась Тамара Ивановна, но Светку она одну не отпустит, в прокуратуру они пойдут вместе. Спустя примерно час раздался новый звонок, на этот раз разговаривал Анатолий. Он зашел в кухню к жене взвинченный, лицо напряглось и покраснело. Зашел и вышел, глянув на жену и пожалев ее. Но тут же вернулся.

— Предлагают деньги, — сказал.

— Кто-о-о? — почти спокойно спросила Тамара Ивановна, оборачиваясь от окна, возле которого проводила теперь часы, будто все еще высматривала и ждала ту, прежнюю, Светку, ушедшую из дому в пятницу. Почти спокойно спросила —

больней ее боли не бывает.

— Мужской голос был, с акцентом. Предлагают тысячу… тысячу долларов, если заберем заявление обратно.

— Что ты ему сказал?

— А что я ему мог сказать? Послал подальше.

После этого решили идти в прокуратуру втроем. Стояли в коридоре, подпирали стены, пока Светка была у Цоколя… Уже и не маялись, высматривая потерянные часы, — обреченно стояли и молча ждали, что будет дальше. Быстро сновали по коридору работники прокуратуры — все с бумагами и все в спешке, и медленно, затягивая шаг, вступали в него с лестницы приглашенные, озирались, тревожным взглядом обводили коридор из конца в конец, вытягивая по-гусиному шею, заглядывали в нужный кабинет, чтобы показать себя, и, если оставались незамеченными, отыскивали место, где пристроиться. Из кабинетов доносился трезвон телефонов, иногда голоса людей, если переходили они на повышенный тон, но временами вдруг все умолкало, движение прекращалось, и тогда Тамара Ивановна делала усилие, чтобы понять, где она.

Силы ее были на исходе: три ночи без сна. Синяки под глазами, как растворимая под горем

краска, расползлись по лицу, превратив его в сплошное темно-фиолетовое пятно. Камень внутри накалился так, что, казалось, уже и трескался; перед глазами порхали разноцветными бабочками вспышки; пойманной птахой трепыхалось сердце, подбито опадало, исчезало совсем; озноб просекал все тело, казалось, что и конец уже… Но нет, дыхание, спотыкаясь, возвращалось, и в глазах опять ненадолго прояснялось…

Цоколь вышел из своего кабинета с чрезвычайно занятым и обремененным видом, не глядя на Тамару Ивановну и Анатолия, в два шага пересек коридор и скрылся в кабинете прокурора. Он пробыл там считаные минуты и только тогда, на обратном переходе, позволил себе заметить родителей потерпевшей и на ходу бросил:

— Прокурор хочет переговорить с вашей дочерью.

— Мы тоже пойдем! — крикнула ему вслед Тамара Ивановна.

— Нет, прокурор будет разговаривать с вашей дочерью с глазу на глаз.

Потом, спустя две недели после того, что произойдет на следующий день, придется и прокурору района давать свидетельские показания по этому делу следователю областной прокурату-

ры, и она, прокурор района, скажет:

— В понедельник 31 мая следователь Цоколь доложил мне, что подозреваемый и потерпевшая допрошены, подозреваемый отрицает насилие. Со слов следователя явствовало, что по предварительным данным девственная плева у потерпевшей не нарушена. По окончательному заключению медэкспертизы это оказалось недействительным, но я тогда об этом не знала. Кроме того, Цоколь сказал, что у него есть сомнения в показаниях потерпевшей. Я спросила, на чем они основаны. Он ответил, что у потерпевшей и ее матери сложные отношения, мать держит свою дочь в строгости, дочь ее боится и в связи с этим в показаниях не договаривает. Она несовершеннолетняя, но не учится, часто бывает с подругами на рынке. Я попросила следователя, чтобы он прислал потерпевшую ко мне. С нею хотела войти ее мать, но я не разрешила. Я считала, что если действительно мать оказывает давление на дочь, то это помешает. С потерпевшей я разговаривала наедине. Потом согласилась принять ее родителей».

Это была женщина немолодая, крупная, затянутая, двигающаяся осторожно, находящаяся в стадии борьбы со своими формами, выпира-

ющими, как тесто из квашонки, с загрубевшей темной кожей на лице и жестким голосом. Все в ней было большое — руки, ноги, грудь, голова, все подготовлялось для жизни значительной. Положение ее и было значительным, но, как и все в эти годы в сдернутой с копылков стране, не было оно достаточно прочным. Сидела она за обычным канцелярским столом, явно не подходящим для ее размера, в обычном кабинете, давно не видевшем ремонта; и такой же, как в кабинете у Цоколя, двустворчатый шкаф, забитый бумагами, ютился у стены, и такой же в углу массивный мрачный сейф, не содержащий ни единого секрета хотя бы по той причине, что секреты в этой стране были отменены, и такие же голые, без вождей и авторитетов, стены.

— О чем вы хотели со мной говорить? — не стесняясь, бесцеремонно поторапливая, спросила она, как только Тамара Ивановна и Анатолий устроились перед нею на стульях.

Тамара Ивановна молчала, невидяще уставившись в лицо прокурора. В самые последние минуты, перед тем как войти в кабинет, там, в небольшой приемной без секретарши, глаза у нее кое на что прозрели. В дверь, открывавшуюся вовнутрь приемной, несколько раз

заглядывали, пока Тамара Ивановна с Анатолием ждали приглашения в кабинет. Тамара Ивановна поднимала голову, уставляла на заглядывающего невидящие глаза и снова опускала их в покорном ожидании. Она подняла и опустила их и в этот раз и, уже опустив, уже за закрытой дверью, увидела высокого, плечистого кавказца, оставшегося недовольным сидящими в приемной. Из-за спины его выглядывал еще один уроженец гор. Она подержала их лица перед собой, соображая, зачем они могут быть ей нужны, и вдруг быстро поднялась, открыла дверь. В коридоре их не было. Осторожно приоткрыла она дверь в кабинет Цоколя — они, загородив собою следователя, стояли перед его столом. Ее могли заметить — она прикрыла дверь, оставив щелку, и прислушалась. После гортанных, одновременно вырвавшихся слов, послышался голос Цоколя.

— Меру пресечения решает прокурор, а не я, — торопливо говорил он. — Уберите это от меня! — вдруг перешел он на требовательный и растерянный шепот. — Уберите немедленно. Не я решаю. Завтра мы приведем его на санкцию. Сегодня я ничего не могу обещать. Завтра.

Только Тамара Ивановна вернулась в приемную, прокурор вызвала их. И вот теперь, словно

увеличившись перед Тамарой Ивановной в размере, она спрашивала, уже во второй раз, для чего они добивались с нею встречи. Анатолий заторопился:

— Дочь у нас… Подверглась изнасилованию. Мы пришли узнать…

— Что пришли узнать?

Тамара Ивановна отчеканила:

— Пришли узнать, что будет с насильником?..

— Для нас он подозреваемый, — назидательно сказала прокурор, откидываясь на спинку низкого кресла, отчаянно скрипнувшего под ней, но устоявшего. И в этом скрипе Тамара Ивановна услышала: фигу вам!

— Пусть он для вас будет хоть святой. Насильник есть насильник. Он изнасиловал несовершеннолетнюю, нашу дочь. Нашу дочь! — подчеркнуто повторила она, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сорваться и не сказать лишнее. — И мы пришли узнать, что будет с насильником. Вот!

Прокурор перевела глаза с Тамары Ивановны на Анатолия и опять на Тамару Ивановну. Она тоже удерживала себя от резкостей.

— Вот что, уважаемые родители, — подчеркнуто спокойно сказала, не потеряв самообладания, и в голосе послышалось удовлетворение собой. —

Я познакомилась с делом вашей дочери. Через этот кабинет проходят десятки… да! — десятки таких дел, и мы научились в них разбираться. Следствие еще не закончено, но вот что я вам скажу. А вы уж стерпите, мы тут пустыми словами не бросаемся. Если бы ваша дочь не захотела с самого начала иметь дело с этим… с кем она легкомысленно поехала… А потом: если бы она захотела убежать от него, а потом — позвать на помощь, — она бы это сделала. У нее была не одна возможность избежать случившегося. Она ни одной не воспользовалась…

— Она боялась… — осторожно перебил Анатолий.

— Чего она боялась? На трамвайной остановке десятки людей, она сама это показывает… Броситься к людям за помощью боялась? Или раньше еще, на рынке, где ступить негде от народа, боялась не поехать с неизвестной личностью? Когда боятся, поступают наоборот. Я понимаю ваши родительские чувства, но правосудие должно руководствоваться не чувствами, а намерениями и поступками…

— Да как же не бояться-то! — вскричала, вскочив, Тамара Ивановна, раненная этими двумя стрелами — словами «правосудие» и «боять-

ся — не бояться». — Правосудие! Вот и дайте нам правосудие! Как же не бояться?! — оглядываясь вокруг, обращаясь не к прокурору, а к стенам, еще горше вскричала она. — Среди бела дня убивают — ничего, ни преступления, ни правосудия! Круглые сутки грабят — ничего! Воруют, насилуют, расправляются как со скотом… хуже скота! Нигде ничего! Вы что думаете, — задыхалась она, — что, если бы она, наша дочь, на трамвайной остановке бросилась искать защиту, — помогли бы ей? Вы уверены? А я не уверена! И дочь моя была не уверена! Мы что, не знаем, как человека убивают середь толпы, и толпа разбегается! Не знаем мы, как от крика «спасите!» люди шарахаются и зажимают уши! Правосудие! Люди до того напуганы, что они уж и кричать от страха не могут. А вы здесь: он, видите ли, подозреваемый, он несчастный, наша дочь его в несчастье втянула… Мы его поймали, привели вам, преступление как на блюдечке, а вы боитесь его оскорбить не тем словом. Но почему вы не боитесь оскорбить нашу дочь?.. Ведь ее избивали, насиловали, как бы вы ни крутили это дело! Это вы привыкли, что насилуют — вообще, везде! А мы не вообще, у нас дочь! Ее же изнасиловали, и она же теперь у вас подозревае-

мая… наравне с этим бандитом!

— Успокойтесь. Или оставьте кабинет, такой тон я выслушивать от вас не желаю.

Тамара Ивановна села, задыхаясь, сердце билось у нее задним ходом. В эту минуту и почувствовала она толчок изнутри, мгновенный и решительный, который придавил ее к стулу и заставил замереть. И то, что сказалось ей или приказалось, что отчетливо прозвучало в ней, заставило ее, как только она пришла в себя, по-другому взглянуть и на прокурора, объяснявшего что-то Анатолию, и на проводимое этой женщиной правосудие, и на шумящую за окном жизнь, изо дня в день шагающую по своим законам. Казалось, со всем она примирилась и всему поняла цену. Прислушавшись, она стала различать слова прокурора:

— У нас сейчас только показания потерпевшей и подозреваемого. Свидетели допрошены не все, нет окончательного заключения эксперта. Когда следственные мероприятия будут закончены, тогда и будет решаться вопрос о пресечении меры содержания.

«Дело ясное, что дело темное», — подумала Тамара Ивановна и спросила на удивление спокойно:

— Что такое санкция?

— Какая санкция?

— Ну, что такое привести на санкцию?

— Привести на санкцию значит объявить подозреваемому его дальнейшее положение по истечении срока задержания, — всматриваясь в Тамару Ивановну и настораживаясь от ее вопроса, ответила прокурор. — Вы хотите знать, какие могут быть санкции? Может быть или заключение под стражу, когда это необходимо, или, когда это допустимо, освобождение под залог.

— И пока ничего не ясно, как повернется дело?

— Пока ничего не ясно.

— Могут и отпустить?

— Под залог. Я сказала: когда это допустимо. Такая мера пресечения предусматривается законом. — Прокурор поднялась, оставив последнюю фразу для большей четкости быть произнесенной на ногах. — Если вы не доверяете нам, у вас есть право обратиться в областную прокуратуру.

Тамара Ивановна взглянула на нее с укоризной:

— Никуда мы обращаться не будем.

Выйдя от прокурора, заторопились к телефону позвонить Светке. Светка давно была дома, ее, как и договаривались, привез Демин, но отвечал

по телефону Иван. Он говорил с набитым ртом, и понять его было трудно. Тамара Ивановна вяло прикрикнула на сына, сказав, что она надеется, что уши у него не забиты жвачкой и он слышит ее, и приказала, чтобы он не выходил из дома, пока они не вернутся. Жвачка в ушах развеселила Ивана; сглатывая, он смеялся и кашлял одновременно, но обещал быть дома и дверь посторонним не открывать.

Вечером стало теплее и мягче, вместе с западающим солнцем, совсем освободившимся от облаков, горой стоящих над головой, натекала совсем летняя спелость нагретой земли. Тамара Ивановна, невесть с чего приободрившаяся, вдруг решила, что сегодня надо сделать ужин. «Сделать ужин» означало, что они не станут обходиться чем попало, как всегда в последнее время, а устроят что-нибудь повеселее. Анатолий обрадовался и испугался: что это — приходит она в себя, приказав себе смириться со случившимся, или просто решила отделить жирной чертой последние черные дни от наступающих, ведущих неизвестно к какой, но развязке? Тамара Ивановна смотрела перед собой тяжелым решительным взглядом и шла быстро, встречный народ обтекал ее с опаской. Анатолий едва поспевал за нею;

они почти не разговаривали. На рынок заходить не стали, тошно было смотреть на рынок, да он уже и пустел. Недалеко от дома зашли в большой гастроном, Анатолий взял бутылку водки и бутылку вина; Тамара Ивановна — сосисок, яблок и большой пышный торт, над какими сама же всегда и издевалась, называя их «парфюмерией». Но издевалась не потому, что брезговала, а кошелек в кармане не велел. Но сегодня — эх, изобилие! Эх, мать его растак! и так! и так! и так! — подумала и взяла еще связку бананов, брезгливо, на вытянутой руке, подержала ее, приняв с весов за отросток, и кинула в широкий зев сумки. Наполненная сумка заинтересовала ее; Тамара Ивановна отыскала столик, не выпуская из левой руки коробку с тортом, правой потеребила сумку, расправила ее, всматриваясь в нутро и размышляя. Сумка была черная, вместительная, продолговатая, с легко и ловко ездящим замком, из прочной искусственной ткани, как теперь все они; она могла казаться маленькой при малой загрузке, а могла быть большой. Оглянувшись, найдя Анатолия взглядом уже возле выхода, подхватила сумку, расчетливо встряхнув ее в руке, и заторопилась.

Светка не вышла на голоса; Тамара Ивановна

решительно толкнула дверь в ее комнату — Светка в полумраке, с зашторенным окном, полусидела-полулежала, навалившись на спинку кровати. Она даже головы не повернула к матери. Пока ее дергали, заставляли куда-то идти, что-то говорить, она шла и говорила, изымала из себя и выставляла свой позор, муку свою смертную, надрывала сердчишко, но вот оставили ее на несколько часов в покое, и начался молчаливый, страшный, доклевывающий сердце, разговор с собой. Там ее спрашивали, что с ней было, здесь она спрашивала себя, что с ней будет. Там ее ответы заносили на бумагу, здесь же какой-то неумелый самописец, не зная, что писать и не слыша ответов, рвал и рвал на куски обожженную душу. До сей поры она и не подозревала, какая бездна, недремная и безжалостная, скрывается в человеке и какие изнуряющие ведет она беседы.

Тамара Ивановна положила дочери под руку связку бананов.

— Чего это ты? — дрогнувшим голосом удивилась Светка.

— Ешь! Не пропадать же теперь! Нет, девка, теперь надо быть сильной. Сильнее себя. Ешь и выходи, ужин будем делать. Я и торт купила.

— Сластить будем? — Светка выговаривала слова вязко, через слипшееся горло.

Тамара Ивановна будто и не заметила вырвавшегося Светкиного вызова. Отчаянным взмахом руки слева направо она перечеркнула перед собой все, что навалилось, и сказала:

— Пожуй и выходи. Нечего тут залеживаться, нянькаться в себе… — она не договорила, никакое просившееся сюда слово произносить не хотелось.

Опять больно пронзило ее, как изменилась дочь всего в несколько дней: маленькая, как у подростка, голова, слабая, раздавленная грудь и сжатые неналившиеся ноги. Почувствовав этот взгляд и угадав, о чем думает мать, Светка решилась:

— Мама, можно, я сегодня пойду к бабушке ночевать?

— Почему? — было отчего подкоситься ее ногам; Тамара Ивановна опустилась рядом с дочерью.

Было отчего: она сама собиралась отправить Светку на эту ночь к Евстолии Борисовне, Светка могла помешать ей сегодня. Но она собиралась заговорить об этом позже, при всех за столом, чтобы и тени подозрения не вызвать, будто это нужно ей. Вот, пожалуйста — как подслушала

Светка.

— Можно?

— Иди, если так хочешь. Но вечер пробудешь дома. К ночи пойдешь.

Ивану Тамара Ивановна заявила, выходя из Светкиной комнаты:

— А ты, дружок, сегодня из дома ни ногой. Понял?

— Понял. Но жду разъяснений! — энергично отозвался Иван.

— Побудем вместе сегодня. Вот и все разъяснения.

— Маловато, но на сегодня хватит.

— Почисти картошку. Ужин будем делать, — уже в который раз за вечер, как заклинание, повторила Тамара Ивановна.

А что было и делать?! Сварили картошку и сосиски, достали из холодильника банку с огурцами, наткнулись там же, в холодильнике, на банку грушевого компота с большими склизкими кусками груш и тягучим соком, остатки сыра, остатки клюквы из морозильника, остатки конфет в коробке, залежавшиеся еще со дня рождения Тамары Ивановны в апреле.

Светка по зову матери вышла натереть свеклу и морковь, постояла, постояла с теркой в руке, си-

лясь отыскать в памяти, как это делается, — и не отыскала, спряталась опять в своей комнатке. Тамара Ивановна махом натерла сама, добавила в эту кашицу еще и тертого чеснока, заправила майонезом и снова окликнула Светку, заставила ее накрывать на стол. Выставили все, что было; словно больше ничего и понадобиться не могло; натыкались в тесной кухонке друг на друга и друг друга задирали; Светка завизжала девчоночкой, когда мать, как в детстве, оттянула ее с размаху ладонью по выставленной в наклоне попе, Иван неестественно громко смеялся, отец покрикивал, торопя и потирая руки. Стол накрыли в большой комнате, придвинув его к дивану; Светка и Иван устроились рядом на диване, мать напротив, поближе к кухне, отец сбоку, поближе к спальне. Светка утонула в мягком диване, только головенка торчала над столом, и обрезанное лицо ее, выглядывающее откуда-то издалека, из чужих приютов, было как бы и не ее: затертые пудрой ссадины, заострившиеся скулы, подернутые пленчатой зыбью глаза. Но у них у всех лица были не свои, они все с болью смотрели друг на друга. Один Иван выглядел молодцом и, только спохватываясь время от времени, обводил всех тревожным взглядом.

— Кто как хочет, а я водочки, — заявил Анатолий, налил себе полстакана, окликнул жену, и она кивнула в ответ, протянула для звона маленький хрустальный стаканчик с вином и сказала детям:

— А вам нельзя! Рано еще. Подрастите, ума наберитесь. — Она испытующе смотрела на Ивана. — Совершеннолетними станьте. Не торопитесь.

Иван сказал — должно быть, потому, что мать обращалась к нему:

— А вы, значит, раз вы совершеннолетние, выдуете у нас на глазах две бутылки с воспитательной целью?

Анатолий громко и облегченно, с удовольствием освобождая от тяжести грудь, загоготал.

— Язва же ты! — сказала Тамара Ивановна Ивану, чуть усмехнувшись, помолчала нервно, теребя щеку, и вдруг позволила: — А хотите, так и выпейте маленько, для памяти.

Последние слова, чтобы не послышалось в них ничего подозрительного, она произнесла быстро, успев поджевать их.

— Да мы и не хотим вовсе, — пробурчал Иван. — Успеем. Подождем совершеннолетия. Нам это нипочем. Правда, Светка?

Светка с испугом взглянула на брата и еще больше втянула голову в плечи и склонилась над столом.

— А я так и совсем не собираюсь пить, — продолжал Иван и покосился на мать: не подумала ли она, что он брякнул свое решительное заявление впопыхах, чтобы выйти из неловкого положения: Светке сейчас задавать такие вопросы не следовало. — Я из чувства противоречия не буду пить, — пришлось настаивать ему. — Потому что все пьют. А я не буду.

— И не надо! — с лихостью подхватил Анатолий. — Молодец! У тебя и гены с моей, с отцовской стороны, не подорванные…

— С моей, что ли, подорванные? — не пропустила Тамара Ивановна.

— И с твоей целехонькие. Хоть на базар неси.

— На какой еще базар?! Что ты мелешь?

— Да это только так говорится. Когда продукт хороший, чтобы выдать знак качества, — вот и говорят. А так-то, конечно… какой базар? Ты правильно постановил, Иван. Это бедствие сейчас: пьют беспробудно и даже без закуски. С пьяным народом каши не сваришь. Кому-то надо пример показывать.

— У нас в школе их «горнистами» зовут. На пе-

ремене голову запрокинут, бутылку с пивом в зубы… совсем как горнисты на пионерской зорьке! На глазах учителей. И те молчат. Торопятся мимо проскочить, будто не видят.

— По губам бы их, по губам бы. — тихо и бессильно отозвалась Тамара Ивановна.

— Свобода, мама, права человека. Теперь выпускной экзамен такой есть: ЧиО — человек и общество. О правах человека. У нас недавно один пятиклассник в суд на директора подал.

— А это еще что такое? — хохотнул Анатолий, пристально вглядываясь в свой опорожненный стакан. — По загривку, что ли, схлопотал малецто? Не вытерпел директор?..

— Нет, за рукоприкладство его бы четвертовали. Наш директор дал указание убирать мусор на школьном дворе. Выгнал на воскресник. Массовая эксплуатация детского труда. Теперь по загривку-то ему дадут.

— Господи! — без страсти, уставшим, тусклым голосом взмолилась Тамара Ивановна и решительно откинулась на спинку стула, покачалась, дав ему поскрипеть. Ни на кого не глядя, сказала, отвернув глаза в окно: — Пьянство и трусость, пьянство и трусость! Куда мы на таких рысаках управим?! Что будет?

— Что-нибудь да будет, мать…

— Мне не надо «что-нибудь». Сколько можно: «что-нибудь» да «что-нибудь». Даже у зверя, у птицы, у червя есть, наверное, воля, характер… и он уползает или отбивается, а не лапки вверх…

Говорили… и о чем говорили — бог весть! Лишь бы не задевать свое, кровянившее сердца, лишь бы дать хоть немножко притихнуть боли. И все равно задевали, вздрагивали испуганно от неловкости и забывчивости, направляли разговор на постороннее, где, казалось, никак уж невозможно коснуться раны, — и опять касались, опять принимались взглядами предостерегать друг друга. Тамара Ивановна слушала строго и рассеянно, встревая редко, вслушиваясь не в слова, а в голоса, и по голосам определяя, кто как держится, у кого остались еще силы и у кого уж не осталось ничего, кроме тяготы перемогания. Светка умница, она чутьем раненого зверька поняла, что лучше всего свои раны ей зализывать не дома, где от каждого ее вздоха содрогается вся семья и где одни взгляды станут постоянно бередить душу. Да какая она умница, господи, какая она умница?! — простодырая она дура, больше никто! Но и этот голос пресекала в себе Тамара Ивановна, и его принималась она гонять,

как бесенка, чтобы и духу его не осталось.

Она почти ничего и не ела — поковыряла сосиску и поклевала клюкву. Не до еды было и Светке; Светка намяла в тарелке невообразимую кашу из картошки, огурцов, сосисок, бананов и ягод и забывчиво смотрела, что у нее получилось. Иван успевал говорить и намолачивать, за три дня, в которые в доме все пошло кувырком, он успел нагулять аппетит. Анатолия выручала водка, он выпил еще полстакана, забивая в дальний угол какое-то колючее осколочное напряжение, терзавшее грудь, и решительными взмахами набрасывал в опустевший желудок порцию за порцией. Разговор продолжался, Тамара Ивановна услышала, как Светка сказала, не владея голосом, — хотела подтрунить над братом, а получилось жалко, слезливо:

— Иванка у нас философ!

Анатолий, теряя пыл, поддаваясь усталости, но по-прежнему шумно — лишь бы не оборвался этот сторонний разговор, лишь бы не остаться им, боящимся друг друга, наедине — возражал Ивану:

— Это ты, философ ты наш, загнул. Как это можно: все ошибаются, а один не ошибается? Одному, да будь он семи пядей во лбу, против

всех не устоять. Все равно точку зрения всех принимать придется. В тебе счас задира сидит, тебе лишь бы спорить.

Ивану и верно это было в удовольствие — спорить. Он говорил:

— Точка зрения всех… А что такое точка зрения всех? Это же не истина… И все — это, конечно, не все, а большинство. Как один — это не один, а меньшинство. А большинство внушению поддается легче. Разве не так? Оно этим и утверждает себя: нас много, мы не можем ошибаться. Да вы потому и ошибаетесь, что вас много. В толпе думать просто невозможно, там порыв, извержение эмоций… И получается пустое множество. Арифметическое: раз-два-три-четыре-пять, и сто, и тысяча, и пять тысяч… Да нет, даже не один-два-три-четыре-пять, не целые числа, а дробь. В числителе у этой дроби, где личность, значение личности, там мизер… А в знаменателе, где подчинение общему мнению, там да-а! там такая сила, такие аргументы и факты, только головой верти…

— Ты бы, дружок, поосторожнее с дробью-то… — решил предостеречь отец. — А то загнут тебе салазки, сделают из твоей единицы колесо.

— А почему я должен осторожничать? Что есть,

то и вижу. Что вижу, то и беру в расчет. Это и есть взгляды — самому смотреть, а не слушать, что на уши вешают.

Тамара Ивановна из своего далека спросила:

— Где это ты такого гладкого ума набрался?

— А нам, мама, теперь некогда до тридцати лет на печке лежнем лежать.

— Выучись сначала, отслужи, женись, а уж потом и забивай себе голову.

Иван хмыкнул:

— Да ведь и служить, и учиться, и жениться тоже надо с умом.

— Ум в самой жизни… как живешь. А не в словах.

— Вот мы свои слова-то и отдали кому попало. Теперь слушаем чужие.

Зазвонил телефон; Анатолий, не поднимаясь, подпрыгал вместе со стулом к тумбочке, снял трубку, мгновение ждал в тревоге, с изменившимся, приготовленным для тяжелого разговора лицом и вдруг просиял:

— А-а, мать! Это ты? А это мы. Сидим, чай пьем, я даже водочки немножко принял. Все хорошо у нас, все хорошо. Скоро за торт возьмемся. Дела идут. Что ты говоришь? Отпустить Светку к тебе? Погоди, выясню.

— Скажи, что отпустим и приведем, — велела Тамара Ивановна.

— Отпустим и приведем! — доложил Анатолий. — А то пришла бы к нам сама на торт. Ноги болят? Так они у тебя давно болят, уж хватит им болеть. Ты, мать, им поваду даешь. Ты им не давай повады, командуй ими. Ладно, жди. Отпустим и приведем.

Тамара Ивановна пытливо взглянула на дочь, та отрицательно покачала головой: нет, они с бабушкой не договаривались. Это что же тогда? Как по заказу. Уж больно подозрительно выстилается дорожка. А ведь совсем узкой казалась она, не продраться, и вдруг чуть ли не выходные ворота раскрываются. Пожалуйста! Это для чего же они так широко раскрываются?

Она быстро, через «не хочу», набросала в себя еду: силы ей понадобятся. Звонок Евстолии Борисовны подстегнул: а ведь пора заканчивать застолье. Засиделись. Пора выставлять на стол торт, так неожиданно нагрянувший в такой день в гости. Им, этим изделием сладкой жизни, и отпечатается потом в памяти навсегда сегодняшний грустный вечер. Горе-горькое тоже любит взблеснуть чем-нибудь этаким, вроде жемчужного зерна.

Она никого не торопила, а заторопились вдруг все сразу, точно неслышный сигнал прозвучал, отсчитавший положенное время. Торт съели без остатка, но в спешке, без восторженных восклицаний и удовольствия. Перестал умничать Иван и обиженно замолк, никто его рассуждения больше не поддерживал; натужно, то вздрагивающим, то соскальзывающим от усталости взглядом осматривалась вокруг Светка. Ей не терпелось уйти. Тамара Ивановна опять почувствовала в себе подталкивающее жжение: дальше, дальше! Отдохнули, побыли вместе, поиграли словами, чтобы ничего не сказать, пободрились всяк на свой манер — Господи, да разве этим притворством унять боль, разве заделать какой-то там кратер, из которого она выбрасывается?!

Она приобняла Светку, когда та уходила, приподняла обнимающей рукой ее лицо и заглянула — и ей для памяти, и себе. Светка убрала глаза. Обычным голосом, не позволив ему дрогнуть, сказала дочери, чтобы она отоспалась и без ее материнского звонка никуда не выходила. Самой Тамаре Ивановне было не до сна. Чтобы отдаться сну, надо вместе с одеждой взять и выпростаться из себя, как из кукольной оболочки, а она в такие

была закована кандалы, что, как ни сдвигай их, как ни укладывай в поисках облегчения, они не переставали выгибать ее в муке.

Но прежде всего: предстояло Тамаре Ивановне в эту ночь еще одно дело, и было оно сильнее двухсуточного изможденья без сна.

Утром, в самом начале рабочего дня, она была уже возле прокуратуры, прохаживаясь на противоположной стороне улицы вперед-назад и не выпуская из виду обычную, слишком скромную для этого пугающего заведения дверь, безвкусно обитую узкой вагонкой. День опять собирался быть жарким, угарная сушь настаивалась в воздухе и надувала пыль на только что распустившиеся тополя. Одним концом, близким, улица выходила к рынку, вторым в центральную магистраль, которая делила старый район города на две части: одна прилегала к Ангаре, другая к горе. Туда и сюда перед Тамарой Ивановной народ двигался густо и невесело, с выражением общей и привычной повинности. Над рынком, над всеми его торговыми окраинами и рукавами, как над чадящей печью, висело мутное желто-мглистое облако. Автомобильное движение на поперечной улице перед рынком было одностороннее, убегающее влево, и машины,

припуская от светофора, взревывали так, что саднило в ушах.

Из дому Тамара Ивановна ушла рано — пока не поднялся Анатолий. Она оставила ему записку, что будет в прокуратуре, чтобы он не бросился ее искать. А в прокуратуре — значит тягомотина бескрайняя. Она тут и была, приготовившись к какому угодно ожиданию. Больше всего она боялась, чтобы из прокуратуры не вызвонили и не вызвали Светку. Светка могла ей помешать. Поэтому в записке Тамара Ивановна еще раз оставила для дочери наказ, чтобы ни под каким вызовом от бабушки она не выходила, пока не услышит ее, материнский, голос.

Прошел Цоколь, вышагивая с размеренным гусиным достоинством; дверь за ним закрылась бесшумно. Долго не было прокурора, и Тамара Ивановна забеспокоилась, не пользуется ли она каким-нибудь незаметным служебным входом, чтобы избегать нежелательных встреч. Прокурор приехала в одиннадцатом часу, тяжело выбралась с заднего сиденья черной иномарки, которых расплодилось, как саранчи, так много, что в названиях их Тамара Ивановна давно уж не разбиралась. Даже на улице прокурор имела величественный вид: прямая, с высоко взбитой

прической, в светлом костюме. Кто-то выходил и придержал ей дверь. Тамара Ивановна напряглась: вот теперь не зевай, теперь в любую минуту могут доставить твоего… Как его назвать? Никак его не хотелось называть, скоро у него должно быть новое название.

Улица была заставлено плотно — и все магазинами, киосками, ресторанами; никакому иному учреждению, кроме прокуратуры, сюда бы не втиснуться, а прокуратуру для того, надо думать, и подселили в это торгово-развлекательное царство, чтобы население его, падкое на грех, о законе и возмездии не забывало. Удавалось ли неподкупным блюстителям закона произвести впечатление на ловких рыночников — неизвестно, наяву же было то, что прокуратуру и видно не стало, и слышно не стало, и надо было пять раз пройти мимо сиротского вида двери, прежде чем удавалось разглядеть столь же, как дверь, малоприметную вывеску.

Не прошло и получаса после приезда — прокурор вышла и уехала.

Тамара Ивановна испугалась. Что бы это значило? Какие там случились перемены? Или «санкция» откладывается? Но, кажется, ее нельзя отложить даже на завтра, трехдневный

срок после задержания заканчивается сегодня. Не наступил положенный час или там какие-то хитрости? Она вдруг ощутила сильную жажду, терпение ее потребовало, чтобы его смочили, почти физически она представляла, как по нему, по ее терпению, коробом поднявшемуся где-то внутри, пробегают трещины. Но как зверь, обходящий свой участок, она подошла прежде к прокуратуре, постояла, всматриваясь в дверь, и только потом направилась на рынок. Пока шла, что-то прояснилось внутри, и пить захотелось не чего угодно, не какой угодно отравы, лишь бы залить жажду, — захотелось острого, до печенок пробирающего, кваса. Вот такими заданиями и надо держаться, пока не дойдет до дела: отыскать и напиться квасу, посмотреть, что просят перед новой картошкой за старую, потом что-нибудь еще. Хорошо, что успели посадить картошку. Чем бы ни обернулись ее планы, а картошка без едоков не останется.

Встал перед глазами отец, потому что картошка высаживалась в его огороде и была под его присмотром, но Тамара Ивановна, морщась от боли, которую предстоит испытать отцу, стряхнула это видение. Сейчас ни до чего такого, что могло бы ее расслабить. Сейчас ей никто не нужен.

Зажав сумку под мышку, старательно оберегая ее, она дважды прошлась по рядам в крытом рынке с высоким прозрачным потолком, заглядывая за спины продавцов, где выстроены были на полках целые полчища банок и бутылок с яркими наклейками, и только потом сообразила: квасу среди них быть не может. Не вышел породой. Надвинулось чужое изобилие, и все местное в год исчезло, спряталось стыдливо или вовсе прекратило существование. Она вышла в уличные ряды, где и торговый народ, и товар были попроще, обошла и их, только чтобы занять себя, то забываясь до полного непонимания, что ей здесь надо, то спохватываясь и начиная опять ощущать сухость в горле. И с каким-то странным утешением поняла: бесполезно искать. «Все правильно», — думала она, стоя сбоку от закрытого ларька, воняющего краской, и озирая бесконечную торговлю, которая перед воспаленными от бессонницы глазами вспучивалась как огромная и радужная муравьиная куча. И уточнила: «Все у меня правильно».

Она вернулась в крытый рынок, отыскала возле правой боковой стены краник над раковиной и, наклонившись, выгибая неловко и больно голову, приникла к нему. Пила и плескала в лицо,

пила и плескала. Под крышей, как под небом, порхали голуби и воробьи. «А где же здесь птица-то пьет? — стала размышлять. — Еды здесь натряхивается вдоволь, а вся вода закупорена, до нее не добраться. Или в крыше есть дыры? Но если бы были дыры, птицы сюда, под сытую жизнь, набиралось бы тучами. Вот ведь как: куда человек, туда и голубь с воробьем. Человек повалил из деревни в город, — и эти, пернатые-крылатые, полетели вослед. Человек в городе устремился за прилавок — и воробей тут, начирикивает: торгуй, торгуй! А ведь было время — подбадривал: паши, паши!»

Гул стоял плотный, вязкий, отупляющий. Не вырывались из него ни вскрики, ни удары, все перемешивалось и тонуло под безостановочным движением тяжелых лопастей. Картины наплывали одна на другую, кружение людей кружило голову, фигуры становились несоразмерными, то очень маленькими, детскими, то пугающе большими, с огромными лицами. Тамара Ивановна прислонилась к стене, боясь упасть, и ухватилась глазами за сидевшего неподалеку спиной к ней на металлической тележке парня. Постепенно все установилось на свои места и вошло в свои размеры. Постояла еще, прислушиваясь к себе,

проверяя глазами надежность людского круговорота, и вышла.

За какие-то полчаса все как бы онемело в ней. Как бы коркой покрылась сплошная рана и слабо понывала в глубине, присасывая и подсушивая кровянящий испод. Должно быть, боль тоже устает болеть и дает себе отдых, когда у жертвы кончаются силы. Жара набухала, солнце, взобравшись в зенит, откуда никакие городские нагромождения не могли его загородить, слепило нещадно. Но удивительно: Тамара Ивановна то ощущала жару, то не ощущала, словно то входила в раскаленную зону, то выходила, и солнце перед нею то горело в обруче ярким кипящим пламенем, то разлохмачивалось в дымный клубок. Пора было возвращаться. На торговой улице, несмотря на жару, народ сновал еще гуще и, как всегда в многолюдье, не обращал внимания друг на друга, бессознательно обтекая друг друга с помощью какого-то особо развившегося навигационного чутья, — и, значит, вызвать подозрение она не может. И вдруг испугалась, подходя к двери, что там, за дверью, время в ее отсутствие могло двигаться быстрее, чем здесь, на улице, и много чего там могло произойти. «Ротозея», — сказал кто-то ей бесстрастно и внятно.

Стараясь не торопиться и не боясь больше обнаружить себя, она вошла внутрь, по широкому и длинному маршу с ажурным металлическим ограждением поднялась на площадку, с которой прямо уходило небольшое крыло с кабинетами по одну сторону, а влево остаточным довеском подняты были еще четыре ступени в основной коридор, где и размещались кабинеты прокурора и Цоколя. И тот и другой были замкнуты. Следовало подумать, что бы это значило. Неужели эту самую «санкцию» решили устроить где-то в другом месте? Бывает такое или нет?

На улице она заставила себя успокоиться и нарочито замедленным шагом принялась вымерять метров двести в одну сторону и столько же в другую, пока такая маета не показалась ей совсем уж бессмысленной: не в клетке же она в самом деле, не на поводке же! Она почти в панике стала искать, куда пристроить себя, заходила в магазин запчастей, натужно всматриваясь в кучу железяк на полках и в витринах, что-то напоминавших и предлагавших свои названия, устремлялась в огромный, на весь квартал, хозяйственный магазин и тут же выскакивала, чуть не бегом бежала к оставленной двери и заходила внутрь. Цоколь вернулся, перед ним кто-то сидел, Тамаре

Ивановне показалось, что это старик из общежития для малосемейных; прокурора по-прежнему не было.

Рядом, напротив прокуратуры, сжатый домами, был малозаметный проход во двор, и там, на задах ухоженной архитектуры, лепился свободный пейзаж из складских, подсобных и прочих сооружений неизвестного назначения: низких, вдавленных в землю, с плоским верхом, крытым то шифером, то толью, то ржавыми железными листами, где кирпичные, где деревянные, где с одним-двумя подслеповатыми окошками, где совсем без них, — все обветшавшее, скособоченное, вцепившееся друг в друга, чтобы не упасть. Тамара Ивановна заглянула сюда случайно, тычась в любой угол, в любую щель, лишь бы убить те короткие промежутки в десять-пятнадцать минут, которые она позволяла себе между проверками прокурорского кабинета. Возле глухой кирпичной стены одного из бесформенных сооружений, уныло обживших двор, стояли мусорные контейнеры, доверху набитые картонными коробками, за ними куча битого кирпича. «Вот тут и пристроиться, тут и дать ненадолго отдых ногам», — решила Тамара Ивановна. Возле мусора — это даже и хорошо, ее

будут принимать за бомжиху, караулящую добычу. Этого ей и надо, на бомжих даже внимание обращать брезгуют. Она соорудила из кирпичей сиденье, подстелила сверху чистый лист картона и с пристоном опустилась, вытянув ноги и прикрывая ладонью от солнца глаза. «Вот и хорошо, вот и хорошо», — приласкивала она себя, чуть раскачиваясь и обирая этими осторожными движениями изнутри страхи и неприятный едкий нагар, которым она, казалось, пропахла до самых печенок. Дверь прокуратуры отсюда не видна была, надо было подниматься и за десять шагов выходить на прямую обзорную линию. Так и придется делать, только такой отдых с подпрыгами она и может себе позволить.

Дважды она поднималась, смотрела поверх двигающихся голов, в разрывах этого бесконечного движения отыскивала влипшую в стену дверь и скорей опускалась обратно.

Жара уже стала не жара, а какое-то мягкое колыхание, обвевающее и укутывающее приятным прикосновением волн. Уличный шум поднялся в высоту и ходил там приглушенными однообразными порывами. Где-то неподалеку сыто наговаривал голубь. Нагревшаяся земля, не забитая здесь асфальтом, отдыхивалась забро-

дившими испарениями вековых нечистот. Перед глазами поплыло марево, сквозь него маячили серые громады выходящих в улицу зданий; марево, уплотняясь, превратилось в туман, плывущий белыми лохмами, улица в нем опрокинулась, преображаясь в выглаженное пустынное поле. И только уж после обросло оно скудной жизнью.

Это даже и не поле, а большая покатая поляна на спуске с горы, заваленная с краю вросшими в землю каменистыми валунами. Внизу земля выравнивается и снова идет на подъем, там густо зеленеет кустарник, цветущий мелкой желтой россыпью. По окружью поляны лес, но редкий, обдерганный, как на брошенных лесосеках. Небо тусклое, бело-дымчатое, воздух в расплавленном горячем солнечном свете.

Тамара Ивановна, что-то высматривая, отыскивая, бродит среди валунов в меднистых крапинах, и на какой она взглянет, тот начинает до боли в глазах искриться. Она прикрывает глаза ладошкой и смотрит сквозь щели между пальцами, во все нарастающем нетерпении продолжая что-то искать. Что? — никак не может вспомнить, уверенная, что увидит — узнает. Никогда прежде она не бывала здесь, и все для нее здесь чужое, властно затянувшее ее сюда по какому-то тайно-

му сговору. Она кружит слепыми движениями, то чуть поднимаясь в гору, то спускаясь, но не сбиваясь с направления, которое ведет вдоль склона к двум корявым и низкорослым соснам с редкими, широко растопыренными ветками. Сразу за соснами земля круто уходит вниз, и они четко вырисовываются в пустоте, как входные ворота в пугающую и манящую неизвестность. Тамара Ивановна на них и не смотрит, как пойманная на крючок рыба не видит рыбака и, делая под неспешным подтягиванием лески подныры то влево, то вправо, продолжает неумолимо приближаться к встрече. Но нет в Тамаре Ивановне ни отчаяния, ни страха, и, кажется, ей доставляет утешение, даже радость уже то одно, что она может самостоятельно загибать то в одну сторону, то в другую и, обманывая себя, всматриваться под ноги, отыскивая что-то совсем бессмысленное и лишнее в ее положении. В желтых цветочках на низком кустарнике она узнает курильский чай, валуны начинают обрастать мелконьким и ломким мхом-ягелем, похожим на прохудившуюся, истыканную солнечными стрелами, бересту; возвышение слева вдруг отступает, и одновременно полоса кустарниковых зарослей в сырой низинке разворачивается

и круто уходит вправо. Перед Тамарой Ивановной в одно мгновение открывается огромный и пустынный простор с лысыми сопками в солнечной дымке далеко впереди и полукружьем лесистого берега по краям обрыва. А что там, в этих обрывистых берегах за соснами, — озерная ли вода в горах или давний-предавний разлом, обшитый корнями деревьев и трав, — понять нельзя. Ветер при ее приближении к соснам бьет короткими и душными порывами.

Неожиданно доносится глухое, пробующее голос, ворчание грома. Гром почему-то пугает Тамару Ивановну больше всего, словно, готовая к чему угодно, его-то она и не ожидала. Она сбивается с ноги, оглядывается, тянет голову, чтобы скорей отыскать что-то, так и не найденное, захлебывается горячим воздухом. И раз за разом приостанавливается, ждет: вдруг это вовсе и не гром, вдруг это всего лишь камень сорвался и прокатился гулко по заваленной щебенкой гряде? Или вдруг это так исказило далекий крик зверя? Но гром рявкает так близко и с таким отчетливым вышним рыком, раздающимся прямо над сосцами, что Тамара Ивановна едва не падает на колени. И прислушивается. Гром еще катит перед собою стукоток, перемещаясь вправо, где

и туч нет, где солнце только теперь испускает из себя радужную маревую завесу, как вдруг невесть откуда, кажется, что сразу отовсюду, слышится человеческий голос, отчаянный, надрывный, торопящийся предостеречь:

— Томка-а-а-а!

Это голос отца, Тамара Ивановна узнала бы его где угодно, и слышится он точно бы из детства. Разве не может быть такое, что предостережения наших родителей, которым мы в свое время не вняли, блуждают в горах и лесах до той самой поры, до той совпадающей черты, когда требуется их точное повторение. Ошеломленная, Тамара Ивановна замирает.

— Томка, воротись! Томка-а-а! — истошно зовет отец, и гром опять грозно гремит вослед его словам.

Тамара Ивановна понимает, что надо торопиться, и успокаивается. Торопиться не возвращаться, как велит отец, а вперед, только вперед. Другой дороги ей нет. И, больше уже ни на что не отвлекаясь и не оглядываясь, чувствуя лишь душное дыхание солнца, с окаменевшим сердцем, уверенно, как по расстелившейся тропке, шагает в сторону двух стоящих на краю обрыва сосен.

— Томка-а-а!

Голос отца еще стоял в ушах, в глазах еще продолжали мерцать очертания двух корявых, изломанно торчащих на каменистой земле деревьев с короткими верхушками и вразнобой торчащими ветками, еще бухал уныло гром, так и не добившись дождя, когда Тамара Ивановна разомкнула глаза и огляделась. Не сразу вспомнила она, где оказалась. Сон был так тяжел и так липок, такой душной пеленой застелил он сознание, что и выдираться из него пришлось долго и мучительно, не понимая, откуда и куда выдираешься. Но когда наконец выдралась, когда с тяжелым вниманием огляделась и вспомнила, кто она и где она, в ужасе она давнула себя так, приподняв и молотом опустив верхнюю часть туловища на нижнюю, что захрустели косточки. Шел четвертый час пополудни. Она проснулась в поту, больше часа плавилась под кипящим солнцем, теперь ее продрал озноб. И все же прежде чем подняться, огляделась еще раз. Был ли голос отца только оттуда, где разгуливала она по лесной пустыни, не соединился ли он, как и гром небесный, еще постукивающий в отдалении, с реальностью отсюда? Не прячется ли где отец, наблюдая за нею, не его ли оберегающее заклинание прозвучало для нее громким криком?

Она медленно поднялась со своих кирпичиков и вдруг рванулась в развороте: здесь. Сумка, остававшаяся за спиною все это время, пока она спала, была на месте. Ее, спящую, уткнувшую голову в колени, должно быть, и верно приняли за бомжиху, утомленную лазаньем по городским свалкам. Схватив сумку и нащупав в ней знакомые очертания, Тамара Ивановна медленно, запретив себе торопиться и не веря уже ни в какую удачу, сделала те самые десять шагов, которые позволяли увидеть на противоположной стороне улицы дверное бельмо, — и увидела: возле двери толкутся трое или четверо кавказцев. Не помня себя, пересекла она улицу, расчетливо обошла с правой стороны, ближней к стене, кавказцев, убедившись, что ее парня среди них нет, отодвинула одного из них плечом, чтобы протиснуться и показать себе, что никого и ничего она не боится. Так же медленно, стараясь не сбиться с полусонной неповоротливости, обманывая ею себя и стараясь обмануть кого-то еще, поднялась в прокуратуру. Коридор был почти пуст, только в дальнем его конце маячили две фигуры. Дверь к прокурору прикрыта и безмолвна. Тамара Ивановна с безжизненным спокойствием подала ее от себя и в образовавшуюся щель увидела:

как раз там, возле самой двери справа, где только вчера сидела она сама, маясь в нетерпении, когда их с Анатолием примет прокурор, сидел теперь тот, кто и был ей нужен. В синей джинсовой куртке, с обросшим лицом и хищно опущенным носом, он стал поднимать глаза. Успел ли он их поднять и узнать ее, она не знала, но за дверью было по-прежнему тихо. Вот теперь все сжалось и напружинилось в ней до предела; казалось, еще мгновение, и она бы вырвалась из чего-то удерживающего и взвилась в воздух, но за это мгновение она успела поднять к груди сумку, на ощупь отыскать и наготовить в ней то, что было нужно, и выставленной вперед сумкой снова приоткрыть дверь. Теперь он узнал Тамару Ивановну, лицо его перекосилось то ли от брезгливости, то ли от ужаса. Сумка грохнула выстрелом. Тамаре Ивановне на всю жизнь запомнилось: парень, казалось, начал привставать, чтобы броситься на нее, но это грудь его приподнялась в последнем вздохе, и, прихватив ее рукой, он откинулся на спинку стула, тотчас оттолкнулся и медленно повалился вперед. Упав, он придавил дверь, за которой сидел конвоир, приведший его на «акцию». Когда конвоиру удалось выскочить в коридор, там никого, кроме

перепуганных посетителей в дальнем его конце, не было.

Тамара Ивановна успела заскочить в кабинет напротив. Она совсем не помнила себя, но что-то вроде величайшего удивления последней волной окатило ее, когда навстречу ей с не меньшим удивлением поднялся из-за стола Цоколь. Столбняк поразил обоих. В кабинете был еще один человек, кавказец, он пытался спрятать в ладонях пачку денег. В ярком, брызжущем искрами, беспамятстве Тамара Ивановна бросила сумку с вырванным от выстрела боком посреди кабинета и, крикнув: «А теперь меня спасайте!» — кинулась к открытому окну и перевалилась через подоконник на крышу хозяйственного пристроя. Грохот раздался такой, будто разверзлась земля. По грохочущему покату крыши, высоко задирая ноги, она добежала до края и, не глядя, не примеряясь, скинулась вниз. Упала неловко и по-куриному распласталась, разбросав руки, точно крылья, не делая попыток подняться.

Потом ее тронули за плечо — огромным усилием она подняла глаза. Над нею стоял пожилой человек в синей форменной рубашке с короткими рукавами. Он наклонился, заглядывая ей в лицо, и, подавая руку, сказал хрипловато,

с неподдельным участием:

— Пойдем, милая!

Часть вторая

Анатолий с работы вернулся рано и никого дома не застал. Он потом многажды невольно соединял эти мгновения: в те же самые секунды, когда он открывал дверь квартиры, недоумевая, куда все подевались, Тамара Ивановна открывала дверь в приемную прокурора. По времени совпадало: примерно половина пятого. Он мог бы не ходить на работу, как это сделала жена, позвонив еще накануне и предупредив, что ее не будет, да поверилось ему, что после возвращения дочери жизнь, пусть и в жестокой ране, да все-таки прилегла к их общему семейному телу. Долго еще будет болеть и саднить, и никогда нельзя будет неосторожным движением прикоснуться к месту этой раны, но надо же как-то и выздоравливать. А для этого для начала надо вернуться к прерванным занятиям, восстановить порядок жизни, и чем раньше, тем лучше.

Но никакой из него был не работник, и, потолкавшись неприкаянно среди таких же, как он, не знающих, чем заняться, шоферов, он еще боль-

ше убедился, что надо уходить с автобазы. Делать там нечего, работы нет, договоров нет, половина машин разобрана на запчасти. Но очень уж некстати было уходить именно сейчас: по ране раной, по разрыву еще один разрыв. В таких случаях лучше держаться последовательных действий. Как при ходьбе: когда одна нога отрывается от земли, чтобы перенестись вперед, тяжесть тела в это мгновение опирается на вторую, установившуюся ногу. И так по очереди: одной-второй, одной-второй — можно уйти далеко при любой лихорадке и претерпеть многое. Отказала одна опора, обопрись на другую, но не обе же сразу прочь с копылков.

Он не знал еще, что как раз в эти минуты судьба нанесла по его семье, не дав опомниться от первого, второй удар, еще более непереносимый.

Было ли у него предчувствие новой беды, какая-нибудь стискивающая душу тоска или сбивчивые удары сердца, передающиеся от запаленного сердца жены? Может быть, и было. Сыновья постель опять оказалась неприбранной, в Светкиной комнате пахло нежилым, в кухне тоже стоял какой-то странный запах, точно побывало что-то чужое. К остаткам вчерашнего пиршества, затолканного в спешке как попало в холодиль-

ник, никто не прикасался. Анатолий взял рукой холодную сосиску, пожевал, обходя снова комнаты и вглядываясь в их выстуженность, потом позвонил матери. «Да, — ответила Евстолия Борисовна, — Светка здесь, у меня, Тамара Ивановна звонила и приказала Светке без ее зова сидеть безвылазно, кто бы ее ни потребовал». — «Давно звонила?» — «Давно, перед обедом». — «Как Светка? Не плачет?» — «Ой, Толя, да лучше бы она поплакала… Когда слеза есть, она все, любой камень, растопит». Не прощаясь, он положил трубку, машинально, не зная, куда себя деть, опять поднял и долго слушал напористые гудки.

В седьмом часу он не выдержал и поехал в прокуратуру. Суматоха там еще не улеглась. Следы случившегося были уже подтерты и прибраны, коридор освобожден от постороннего народа, и громкие голоса затихли. Но никто не расходился, женщины из различного вспомогательного и письмоводительного звания, озираясь, переходили из кабинета в кабинет и продолжали обсуждение, гулко, с каким-то странным детонирующим эхом, гремели телефонные звонки, в распахнутое окно прокурорского кабинета набрасывало порывы ветра, а в приемной прокурора две мужские фигуры на четвереньках

ползали по полу и по заметам мелка растягивали рулетку и делали замеры. Кто-то невидимый и важный вышагивал по коридору, всем казалось, что они слышат его шаги, и, когда женщины выходили из кабинета, они, не отпуская дверной ручки, прежде осматривались, где он может быть, а уж после возле самой стены скользили к следующей двери.

Все тут существовало во имя преступления, для того, чтобы распутать его или, напротив, запутать, снять с него мерки и назвать его точный размер, по которому и определяется мера наказания. Не будь преступления, не было бы и этого учреждения. Но все преступления, какими занималось оно, происходили где-то на стороне — во дворцах и ночлежках, на улицах и в парках, в магазинах и на рынках, в укромных местах и на открытых площадях многолюдного города. Это там катился, никогда не прекращая своего жадного вращения, огромный клубок человеческих страстей, оттуда они, вычлененные и отсортированные, названные по именам и отжатые от слизистой скверны, которая тоже переходила только в названия, перемещались сюда и укладывались в канцелярские папки под номерами. Конечно, и здесь, как всюду и везде, не обходи-

лось без собственных правонарушений, но они были вторичными, происходящими от сомнительного или уж бессомненно неправильного использования служебного положения, носили умозрительный характер и делались без шума, шито-крыто. По большей же части здесь творится тяжелая и грязная по своим подробностям работа, истину приходится порой выуживать из таких мерзостей, что не всякий способен их вынести даже и в словесном переложении. Но выстрелы здесь не звучат, и кровь здесь не проливается. Это все там, там — в подземельях и трущобах морали, в пристанищах корысти и грубой праздности. И когда это по редкостному недоразумению попадает сюда, раз в тридцать, пятьдесят или даже сто лет, когда по окончательному невежеству умывальник путают с унитазом и гремит здесь выстрел, по полу прокурорского кабинета растекается кровь, совмещая воедино место преступления и место расследования, это производит на блюстителей закона столь сильное впечатление, что они приходят в растерянность гораздо большую, чем простой обыватель на улице.

В прокуратуре еще не опомнились, когда сюда в поисках жены пришел Анатолий. Как ни странно, никто его после столь громкого проис-

шествия, которое не должно было в этих стенах случиться, но случилось, — никто его при входе не задержал, и по монументальной каменной лестнице он поднялся наверх, постоял в недоумении перед раскрытой дверью в приемную прокурора, за которой как раз происходили замеры, и только после этого постучал в дверь Цоколя. Никто ему не ответил. Чтобы убедиться, что она заперта, Анатолий с силой толкнул ее — все двери тут открывались вовнутрь — она распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Цоколь вскочил из-за стола, вскочили на ноги и возившиеся в приемной с рулеткой. Анатолий повинился за переполох в ту и другую стороны; Цоколь, не слыша, закричал на него:

— Вы что?!

— Я невзначай, — по-детски отвечал Анатолий, замирая, начиная уже кожей ощущать покалывание повисшей в воздухе тревоги.

Цоколь узнал его и опустился опять на стул. Но продолжал смотреть на Анатолия неотрывно, с растерянной строгостью, будто узнать-то узнал и определил уже место Анатолия в своей калейдоскопической жизни последних дней, но не мог отыскать хода, которым можно было бы извлечь этого человека из круговерти проходивших пе-

ред ним несчастных людей и поставить его уже на законном основании так, как он стоял перед ним. Одутловатое лицо Цоколя напряглось и покраснело, шишковатый кадык челноком ходил по шее вверх-вниз, толстые вывороченные губы, слепляясь и разлепляясь, примеряли какую-то подступающую мысль.

— Я зашел узнать, — сказал Анатолий, глядя на лежащий на столе неподвижной приплюснутой змейкой крапчатый галстук Цоколя, — зашел узнать: вы сегодня мою жену вызывали?

— Вы что! — закричал Цоколь отчетливым и страшным выдохом. — Не знаете, что ваша жена убила тут человека?! Не знаете?

Анатолий смотрел на Цоколя, Цоколь на Анатолия. В голове у Анатолия метались отчаянные вспышки сложений и вычитаний в поступках Тамары Ивановны с того самого часа, как вышли они вчера отсюда, и по их результату он понял: правда. Цоколь увидел это на его лице, перевел взгляд на то место на полу между ним и Анатолием, куда со стуком была брошена сумка и в дыру сумки на глазах его выползло дуло обреза, и не удержался, взглянул еще и на окно, теперь плотно закрытое, за которым в пыльную жестяную крышу впечатались кругляшки от кроссовок. Он

вышел из-за стола прикрыть дверь, и из коридора его спросили:

— Позвонить?

— Позвони, — согласился Цоколь.

Где-то допрашивали в это время Тамару Ивановну, где-то срочно решалось, кому в прокуратуре более высокой инстанции поручить это громкое дело, в котором все на виду с самого начала, все карты вверх картинками, следствия и причины не придется искать далеко, и вся деликатная сложность которого заключается в том, чтобы, не пряча истины, не дать ей полной откровенности, а закону, как самонаводящейся ракете, указать координаты только видимой цели, не обнаруживая выявивших ее причин.

Анатолий сидел на подставленном ему стуле все в том же кабинете Цоколя и ждал. От огня, плеснутого в него страшной новостью, часть его сознания выгорела, и он лишь разрозненными мятущимися наплывами вспоминал изредка дочь и сына, но жена так же, как вчера перед прокурором, стояла перед ним во всей своей измученной и справедливой грозе, пытающейся получить ответы, и говорила, говорила, натягивая голос до полного беззвучия. Анатолий сжался и молчал. Ни себе, ни из себя сказать ему было

нечего. Такая в нем была глушь, такая пепельная пустыня, что нечему было там, внутри, даже и задраться, чтобы вызвать занозистую боль.

Уже совсем поздно, в глубоких сумерках, трепле-мых разгулявшимся ветром, попал он домой в сопровождении следователя, назвавшего себя Алексеем Васильевичем, фамилию Анатолий не расслышал. Немногословный, с выражением внимания и терпения на крупном лице, только-только начинающем колоситься морщинами, с прихваченными до мутной илистой белизны висками на короткой стрижке, следователь объяснил, пока шли от троллейбуса, что он всего лишь «сегодняшний» на этом деле, дежурный, должный кое-что посмотреть в квартире обвиняемой по горячим следам, а завтра за дело возьмутся люди из областной прокуратуры. Сказал это, не извиняясь и не выставляясь, а просто чтобы сообщить, кто он такой есть и что дальше требующегося от него сегодня он не полезет. Но сегодня ему потребуются понятые, осмотр надо будет производить при них.

Открыл Иван, настороженно взглянул на чужого человека и решил уединиться в кухне. Но кухня-то как раз и потребовалась следователю для осмотра. Он встал в дверном проеме, быст-

ро выхватывая глазами, где что стоит в кухне, убеждаясь, что стоит именно так, как ему было сказано, и поторопил застывшего за его спиной Анатолия:

— Кто тут у вас толковые соседи? Пойдемте-ка вместе, мобилизуем, пока не заснул народ. Теперь народ, сами знаете, засыпает рано.

— Почему засыпает рано? — спросил Анатолий.

— Делать нечего. Когда нечего делать — что остается? Спать.

В понятые мобилизовали боцмана Василия Афанасьевича с третьего этажа, красномордого живого старика, то ли тридцать, то ли сорок лет сплавлявшего грузы в Якутию, и соседку со второго этажа Веру Постнову, два года назад похоронившую мужа и оставшуюся с двумя малыми ребятишками. Боцман согласился с удовольствием и в две минуты был у Воротниковых, поддергивая на крутой живот атласные спортивные штаны и докладывая следователю, что он уже в третий раз за свою жизнь становится понятым и что все обязанности ему известны… Веру Постнову пришлось долго уговаривать, она всего боялась. Никаким боцманом Василий Афанасьевич не был, но был он при невеликом

росте плотен, могуч, ходил враскачку, не вылезал из тельняшки, как истинный боцман, десятки навигаций сопровождал один и тот же бесценный на севере груз — спирт — и любил рассказывать о способах его незаметного изымания в пути из цистерн и бутылок. Вера Постнова, с испугу натянувшая на голову темный платок, когда привели ее и объяснили, что от нее требуется, и вовсе была близка к обмороку.

— Теперь давайте вместе смотреть, — призвал следователь понятых и обратился к Анатолию: — Есть у вас оружие?., одностволка двадцатого калибра?

— Есть... была, — поправился Анатолий, уже составивший представление, что за работа шла в кухне ночью, когда он спал, и с чем, с какими «доводами» ушла утром жена в прокуратуру.

— А давайте смотреть: есть или была?

Где искать, ему было известно. Справа от окна за газовой плитой под наброшенной тряпкой оказалось белое пластмассовое ведерко, а в нем вставленные стоймя две пилки — по дереву и металлу, опиленный по шейке приклад и трубка от укороченного ствола — все то, что потребовалось, чтобы изготовить обрез. Опилки, те и другие, были аккуратно собраны в полиэтиле-

новый мешочек. Тут же, перед ведерком, веник и совок. Рядом, перед окном, крепкая старая табуретка с едва заметным надрезом сбоку. Все было учтено, все приготовлено для неоспоримого свидетельствования, чтобы ни своим, ни чужим не доставлять лишних хлопот.

Следователь неторопливо выуживал все эти явные доказательства намеренного преступления из ведра, называл их: это ножовка по дереву, это по металлу, это опиленное ложе… сложил в ряд на столе, дал полюбоваться и спросил у Анатолия:

— Не знал?

Не размыкая губ, Анатолий дернул головой: не знал. С тяжелым любопытством следователь задержал на нем взгляд: видно, что не знал; но как же так, браток, — не знал!..

— Все, значит, подготовила честь по чести, пошла и стрелила! — зычно и торжественно подвел итог боцман, с восторгом озирая на столе вещественные доказательства. — Ну, молодец баба!

— Стрелила и что… убила? — с трудом подала голос Вера Постнова.

— Наповал! — подтвердил боцман. — Такая не промахнется!

— Но этого быть не может… Она всегда была

такая справедливая…

— Ты, Вера, добрая баба, но как человек ты непрофессионалка, — внушительно сказал Василий Афанасьевич. — Ты знать должна: чего быть не может, то и бывает.

Когда ушли, Анатолий крадущимся шагом, ставя ноги так, будто он слепо поднимается по лестнице и нащупывает ступени, направился к сыну, торопливо вышедшему навстречу ему из Светкиной комнаты, сделал движение, чтобы обнять его, и не обнял, каким-то фальшивым голосом, тужась, с невесть откуда взявшейся хрипотцой, сказал:

— Ты понял, сын, что случилось?

Иван кивнул.

— Мама наша… — Анатолий не договорил и, махнув в отчаянии рукой, пошел в свое укрытие всех последних дней — в темную спальню. Там он долго стоял перед окном и, уставив глаза в улицу и ничего не видя, кроме сильно раскачиваемых ветром тополей и сползающих вниз обломанных тяжелых веток, пытался что-то добыть, выскрести из своего нутра. Не много же он добыл, когда вышел опять к сыну, сидевшему на диване и ждавшему его… Только и сказал:

— Она хоть спать сегодня будет… она все сдела-

ла. А мы? А мы-то как? Что нам-то делать?

* * *

Что делать? — надо было как-то жить, протискиваться сквозь теснины, видимые и невидимые, обдирающие до мяса и крови сердце, проходить через казнь бессонных ночей, днями в тягучем кисельном воздухе хватать дыхание, куда-то и зачем-то торопясь среди толпы со стертыми лицами, нырять в ворота и двери, никуда не ведущие, проталкивающие мимо себя с автоматической бесстрастностью и везде торопящие до спотыка и грязного тумана в глазах. Надо было как-то жить, не веря ни воспоминаниям, ни утешительным взглядам вперед, а только околачивая день за днем безвольными движениями. Демин заставил Анатолия взять на автобазе отпуск без содержания, он зачем-то поехал и взял, хотя с тем же результатом мог бы не мять ноги: никакого содержания там давно не водилось. Он же, Демин, посадил Анатолия в свою машину и повез на оптовый рынок, один из тех, которые вползли теперь в цеха почти всех крупных заводов, и на свои деньги, не скупясь, набрал кормежки. Часть отвезли Евстолии Борисовне со Светкой, часть оставили осиротевшим мужикам. Анатолий

не спорил, но и не мог понять, зачем нужна эта заготовительная экспедиция: если он изредка и брал какой кусок в рот, то не помнил. Светка так и оставалась у Евстолии Борисовны, Иван то бросался читать умные книги, то норовил сбежать из дома. К Тамаре Ивановне не пускали, но она передала на половине тетрадного листочка записку, доставленную к ним домой сильно припадающим на правую ногу долговязым парнем. В записке было: «Ко мне тут относятся хорошо, не беспокойтесь. Не выпускайте Светку из дому». И все, больше ни слова. Анатолий показал эту записку Светке, она, некрасиво дергая ртом, ткнулась испуганно в материнские слова и торопливо вернула листочек. Он смотрел на Светку, сидящую перед ним с поднятыми коленками в расшатанном и продавленном кресле: посиневшая, в неделю опавшая до худобы, с мучительным взглядом сузившихся, не желающих ни на что смотреть глаз. Евстолия Борисовна при ней же, как малая на большую, жаловалась: не дает ей Светка смотреть телевизор.

— Оно, Толя, и вправду там буйный дом, одна стрельба да неприятности, — басила она, — но я уж привыкла. От меня все это как от стенки горох, а попереживать люблю. Нас, стариков,

из жизни ведь теперь совсем исключили — чем нам заняться? Спасибо твоему Демину, продукты прислал… а то мне в магазин сходить — как на Тутурскую гору влезти.

Анатолий сквозь туман в голове вспоминал: Тутурская гора — это что-то старинное и невсподъемное, до чего никогда не добраться.

— Потерпи, мать, — только и мог он сказать ей, прося пощады и оглядывая, как всегда, на прощанье маленькую однокомнатную квартирешку, выстаревшую до морщин на стенах, и поднимался. Не сиделось и тут. Нигде не сиделось. Только в маете на ногах и мог он еще как-то забываться.

Часто, очень часто стиснутым, на одно направленным воображением он пытался представить, что сейчас, в эту и эту минуту, там, в огромной, как овечий загон, камере может делать жена, и морщился от боли. Всегда казалось само собой разумеющимся, заложенным в основание человеческой жизни, что мир устроен равновесно и сколько в нем страдания, столько и утешения. Сколько белого дня, столько и черной ночи. Вся жизненная дорога выстилается преодолением одного и достижением другого. Одни плачут тяжелыми, хлынувшими из потаенных недр слезами, другие забывчиво и счастливо смеются, вы-

плескиваясь радужными волнами на недалекий берег. Да, впереди всегда маячил твердый берег, и в любом крушении всегда оставалась надежда взойти на него и спастись. Теперь этот спасительный берег куда-то пропал, уплыл, как мираж, отодвинулся в бесконечные дали, и люди теперь живут не ожиданием спасения, а ожиданием катастрофы. Исподволь, неслышимым перетеканием, переместились горизонты восхода и заката солнца, и все, что подчинялось первичному ходу тепла и света, неуклюже и растерянно оборотилось противоположной стороной. Стал замечать Анатолий, что если и смеются вокруг, то натужно или грубо, без трелей серебристого чувственного выплеска, который прежде и в посторонних людях умел заразительно затронуть потаенные колокольцы, а уж если страдают, то бездонно и горько. Лица унылые, скорбные или уж нахальные, ко всему готовые, но те и другие как две стороны одной искаженной действительности.

Он и прежде не мог не замечать, в какой спешке люди ограждаются оконными железными решетками и бронированными дверями, а богатые еще и протягивают над бетонными заборами в два человеческих роста колючую проволоку, по углам возносят сторожевые башенки с воору-

женной охраной. Но прежде это было приметой неспокойного и беззаконного времени, теперь вдруг выставилось в печать мученичества. В самом деле — как много, до ужаса много этой зарешеченной жизни! Как много страха, безумия, безнадежности! Невинные люди сами себя заточают в клетку, преступники разгуливают на свободе. И уж совсем по-другому, чем раньше, начинал думать Анатолий о тех несчастных, кто в тесных камерах с удушливым смрадным воздухом и горькими выкриками, не жалеющими друг друга, живут рядом с женой. Господи, взними в них остатки добрых сердец, дай им силы претерпеть все, что насылает судьба! Дай им ума понимать и не обижать друг друга!

Два дня после того, как забрали Тамару Ивановну, ни его, Анатолия, ни детей не трогали. Потом стали вызывать в областную прокуратуру и добиваться: бывали ли у Тамары Ивановны вспышки невменяемости, какой характер носили и доходили ли до крайностей вспышки гнева? Почему-то там хотелось показаний, что да, бывали и доходили, к этому сына и дочь и подталкивали, но сказать им было нечего. Могла вспылить, могла крикнуть, по-девчоночьи иногда выставляла фигу, чтобы показать, что

не выйдет по-ихнему, с размаху топала о пол на Ивана ногой и, отбив ногу в легкой войлочной обувке, с оханьем подпрыгивала к дивану или стулу и стучала о колено кулаком, вразумляя теперь уже не сына, а себя… Кто сейчас сохранил спокойствие и безмятежную душу, кто способен не кричать от боли в себе или из себя и не надрывать сердце? Вызвали и Ивана Савельевича, отца Тамары Ивановны, и тоже: страдал ли кто в их роду психическими заболеваниями или другими помешательствами? Иван Савельевич заехал после этого к Анатолию и, швыркая чистый, без молока и сахара, чай только что с огня, потея и краснея, обирая ладонью с морщинистого бугристого лица и растрепанных усов влагу, рассеянно размышлял: пойми теперь, где помешательство и где не помешательство? Такое вокруг помешательство, такая свистопляска! — никаких концов не сыскать.

— Вот у меня было два ружья, с Ангары привезенные… — со стоном от чая и горя говорил он. — Два ружья было — шестнадцатого калибра и двадцатого калибра. Одно вам сюда от греха подальше переправил, другое у себя спрятал. Так его Николай, от кого спрятал, все ж таки разыскал и пальнул в себя. Другое висело-висело… сколь

годов висело… теперь Томка из него пальнула. Два ствола было — и обои не по цели стрелили. Это помешательство или что? Э-эх! — безнадежно и гулко крякнул он и отдышался. — Спрашивает меня… этот, допросчик-то седнишний, говорит: «Как узнал, как отнесся?» — «Узнал, — говорю, — в тую же ночь, зять приехал, сообщил. А отнесся, — говорю, — как родной отец, а не как чужой человек».

Анатолий рассказал:

— Охранник, который привел этого парня к прокурору, он за дверью находился. Он в этот момент поднялся, ключ в кармане искал, чтобы наручники разомкнуть. Парня выпустили бы, это теперь они вид делают, будто собирались его обратно в камеру воротить. Охранник один бы ушел. Но ишь ведь как получилось-то: охранник-то не ушел пустым. Ему же и пришлось обратным ходом сопровождать Тамару.

Иван Савельевич поразился:

— Чтобы не было, значит, пустого прогона?

— Так вышло.

— Во как все в дело идет! Будто у хорошего хозяина. Кто же это так хорошо хозяйничает, Толя? Кому мы не угодили? Э-эх! — привычным вздохом подытожил он и зашевелился подниматься,

ему тоже не сиделось, в движении было легче.

Анатолий удержал его:

— Погоди, отец. — Редко-редко, раза три или четыре за выпивкой, в минуты чувствительной растроганности, когда весь мир хотелось взять в родню, называл он отцом Ивана Савельевича. И вот теперь, когда хоть на обочину многолюдной улицы выскакивай и зови на помощь, придвинулся, жалея себя и старика, ближе. — Я спросить хочу: ты Светку недели на две не возьмешь к себе?

Иван Савельевич насторожился:

— Эти пужают?

— Нет. — Анатолию не хотелось договаривать. — Это я на всякий случай. Береженого Бог бережет. Грядки тебе будет полоть.

Вглядываясь в Анатолия сильно провалившимися глазами, Иван Савельевич не поверил. Подергал свои неопрятные, как неродные, усы, размышляя, надо ли выпытывать, и не стал. Сказал:

— Привози хоть седни, хоть завтри. Но с умом привози. Эх, зятюшка, зятюшка, — вздохнул опять, стараясь и в тоне обойтись без упрека.

«Эти пужали» странно. Они меняли машины, подъезжали то на белой «Волге», то на блестя-

щей небесным лазурным сиянием новенькой японской «Тойоте», то на «семерке» со свежеободранным боком и старались показать себя: двое молодых, лет тридцати, похожие друг на друга, как братья, с небритыми лицами в короткой, словно после стрижки, черной щетине, невысокие, быстрые, с наглыми глазами, и третий постарше, за сорок, с подобранным крепким телом, — они ставили машину то перед прокуратурой, когда Анатолий провожал туда сына или дочь, то перед домашними окнами в детском скверике, куда въезжать, конечно, не позволялось и где никто ни разу не сказал им ни слова. Они ставили машину, опускали стекла и выглядывали или прогуливались рядом. В скверике же Анатолий подошел к ним и, не владея собой, прокричал:

— Вы добиваетесь, чтобы теперь я пристрелил кого-нибудь из вас? Вы этого добиваетесь? Я пристрелю!

— Дорогой! — вскричали весело молодые, высовываясь из окон «Тойоты» и перебивая в восторге друг друга. — Ты так знакомиться пришел? Давай знакомиться! Ты так друзей встречаешь?

Тот, что постарше, сидел за рулем, смотрел на Анатолия холодными, спокойными и жесто-

кими глазами. Они отрезвили Анатолия: этих не испугаешь, и в той игре, которую они затеяли, нужно быть осторожным или уж действительно стрелять.

Он стал подумывать, где взять оружие.

С трудом заставил себя пойти в милицию и рассказать о кавказцах, о их «художественном» запугивании, стал сбивчиво объяснять, что боится не за себя, а за детей. В милиции отмахнулись: не угрожают? Вот когда станут угрожать — приходите. И Анатолий вспомнил об Алексее Васильевиче, том самом следователе, которого приводил домой за «вещественными доказательствами» и к которому у него оставалось доверие. Кое-как пробился к нему, но пришел в неподходящую минуту: в комнате было шумно и дымно, толпились взволнованные люди — случилось что-то нерядовое, — и Алексей Васильевич, слушая Анатолия вполуха и обратив к нему прищуренный левый глаз, правым косил в сторону разгорающегося спора. Только и спросил:

— По телефону звонят?

— Дважды звонили еще при Тамаре Ивановне. Предлагали деньги, если мы заберем заявление. Теперь звонят, чтобы только голос услышать, сами не говорят…

— Хорошо, — торопливо, чуть не выпроваживая, Алексей Васильевич попрощался. А вечером позвонил и глухим, не потерявшим доброжелательности голосом сообщил, что разговаривал с кем-то… с кем, Анатолий не понял, и с завтрашнего дня за ними будут присматривать.

Присматривали или нет, Анатолий не мог сказать наверняка. Или делали это так ловко и профессионально, что он не замечал, или всего-то успокоили его, чтобы он меньше боялся. Но кавказцы исчезли. Едва ли они исчезли куда-то дальше глаз его, да и то продых. Светку они с Деминым поздней ночью отвезли к Ивану Савельевичу, сын, оставшийся без дела, уверял отца, торопливо кивая на тумбочку с толстыми книгами, что теперь он безвылазно будет сидеть дома за словарем Даля. Любым обманом, любой хитростью готов был обмануться Анатолий, лишь бы утишить внутри поддувало, раскаляющее боль.

* * *

Демин жил в одиночестве, бобылем, и так же в одиночестве жила его «боевая подруга», как он называл ее, известная в своем кругу по отчеству — Егорьевна. Демин любил перекраивать — Объегорьевна. Ни он, ни она съезжаться

не хотели, но обойтись друг без друга не могли. У Демина была большая комната в «коммуналке по-новому», когда дети после смерти родителей не сумели договориться, как разделить большую родительскую квартиру, и жили в ней двумя семьями: сестра с мужем и двумя девчонками занимали три комнаты в глубине общего коридора, у Демина была комната возле входной двери. Он поставил в ней электроплиту и умывальник, отгородил бамбуковой вьетнамской шторой под кухню уголок по левую руку и поставил отдельный телефон. Ночевал он нередко у Егорьевны, но отдыхать приходил сюда. Отдыхать он мог только в одиночестве, оттого и не заводил семью. Его Егорьевна, сдобная, белотелая, крутозадая женщина в возрасте «бабы ягодки опять», была замужем дважды и не скрывала, что это она виновата в разводах как в первый, так и во второй раз, и не без гордости восклицала в игривые минуты: «Я баба угарная». Уже в новые времена, курсируя с огромными баулами то в поезде, то в самолете в Китай, Корею, а раза два и в Турцию, она купила квартиру сначала сыну, потом дочери и барствовала в двухкомнатной квартире старого широкого покроя одна. Где-то там, в кругу таких же расторопных и ловких, она поднялась

в своем положении и больше уже баулы не ворочала, отдаваясь делу, которое несведущим, далеким от этой деятельности людям разъяснить невозможно. Если бы не Егорьевна, деминский киоск с железяками и мазями давно пошел бы ко дну. Но, будучи оборотистой, была она еще и осторожна и, не умея разглядеть, чем могут закончиться новые порядки, старалась держаться в тени.

Демин зазвал в гости к ней Анатолия в выходной, среди бела дня. Теперь, когда оказался Анатолий без дела и без работы, в одном непролазном мытарстве, невзлюбил он выходные. Нужны они людям рабочим, а находящимся в бессрочной увольнительной они в упрек. А у него все пошло мимо дела. На даче, требовавшей рук да рук, пришлось бы отвечать на вопросы соседей, выслушивать подбадривания — и не ехал. На место несуществующей работы идти было незачем — и не шел. К Тамаре Ивановне не пускали — и не настаивал, боясь встречи с нею, снова и снова спотыкаясь о взгляд, каким она его встретит со своего высоко поднятого лобного места. За что бы он ни взялся — все было не то, куда бы ни пошел — не туда. Ему легче было, когда звонили и требовательно вызывали или в про-

куратуру, или к матери, или к университетскому профессору, занятому судебно-психологической экспертизой подсудимой. Так же требовательно позвал с собой Демин — и Анатолий с тем же безразличием и угнетенностью подчинился.

Сидели за круглым столом посреди комнаты, обставленной под гостиную. Над головами свисала хрустальная люстра, и от гудящего голоса Демина тонко и пугливо принимались названивать вытянутые под дождевые капли подвески. За спиной у Анатолия стоял диван, низкий, тяжелый, с выгорбленной спинкой и тоже горбатистым, еще не продавленным сиденьем и одного с ним семейства два низких и широких кресла с массивными подлокотниками. Большое, сплошного стекла, окно смотрело в разрыв между двумя пятиэтажками далеко и поверх деревянных кварталов на окраине города доставало до небольшой березовой рощицы, тускло светящейся в мареве жаркого дня.

Демин, как всегда и везде, не находя себе места, не мог долго высидеть и за столом, поднимался то курить, то размять спину, вышагивал стреноженным в тесноте шагом и пытался размахивать руками.

— Далеко вам еще идти, товарищ прохожий? —

невинно и серьезно, будто в первый раз, спрашивала Егорьевна с другой стороны стола, водя головой за его маятниковыми движениями. «Угу, подхожу» — так же серьезно отвечал он и действительно опускался на стул. А через десять минут снова вскакивал.

— Он, Толя, дубовую кровать мне расшатал, это ладно, — по-свойски, на всякий случай напуская на себя застенчивость, жаловалась Егорьевна. — Но он ведь мне и квартиру, как ведмедь, расшатал…

— Шатун, — с напускной мрачностью соглашался Демин. И обращался к Анатолию: — Ты знаешь, почему она говорит «ведмедь», а не «медведь»? Она у нас натура романтическая. Проста — дальше некуда, но кому сейчас нужна простота, всем охота быть с вывертом, с фокусом… Завораживать охота, колдовство, чары напускать. Ведьмой быть. Они почему-то считают, — Демин намекал на круг новых людей, из которых теперь происходила и Егорьевна, — они считают, что ведьма — это что-то волшебное, хорошее. Не Баба-Яга, а Василиса Прекрасная. Понимаешь, Толя? У нас как было: у-у, ведьма! — в лоб говорили бабе, что она нечистая сила. А у них: «Ой, как она умно все обделала, как красиво!

Настоящая ведьма!» У них и медведь — не тот, кто сначала человека задерет, а потом медком побалуется, у них это милый шалопай рядом с ведьмой — ведмедь.

— Фу! — фыркнула Егорьевна, и губы ее еще больше округлились. — Ты сам же говорил мне, что ведмедь — это ведун.

— По меду! — коротко и зычно хохотнул Демин.

Круглое лицо с блестящими, искристо просверкивающими глазами, с аккуратным, луково вздернутым носом и чуть выпяченным, розанчивым ртом, придававшим иногда совсем детское выражение, лоснилось у Егорьевны и от печного жара, и от плотской сытости, и от удовольствия принимать гостя. Грудастая, с полными руками и с ямочкой на чувствительной шее, сразу за которой начиналось изобильное плато, рослая, раздобревшая, но не раздавшаяся, словно бы только размягчившаяся от доброго нрава, она оставалась в той спелости, которая еще брызжет соком. Изредка она взглядывала на Демина поделовому, словно спрашивая, так ли все идет, как надо, и Анатолий уже не сомневался, что со стороны Демина тут не обошлось без инструкций.

Ели, пили, говорили о чем придется — и вдруг стыдно стало Анатолию: что же он тут делает, в укрытие, что ли, ушел? Какое ему может быть укрытие, какой праздник, какой выходной? Из этой же комнаты, перебравшись в кресло возле журнального столика, на котором горбился матово-сиреневым жуком телефонный аппарат, он позвонил домой. Иван был дома, ответил. Ответил обиженным, натянутым голосом, недовольный тем, что отец не пустил его сегодня на дачу. На даче работы невпроворот, но ведь не грядки же полоть рвался туда парень! А зачем рвался, Иван и сам, скорей всего, не знал. И мог нарваться. Пусть посидит дома. Спросил у сына, не звонил ли Иван Савельевич? Это хорошо, что нет. А в дверь не звонили? Тоже хорошо. А ты выходил? И понял по сопению, из которого никак не мог выбраться внятный ответ, что, несмотря на запрет, выходил. Не стал выговаривать, а со вздохом положил трубку. Парня не удержать, он и при нем мог, хоть кричи закричись, подняться и выйти. Позавчера не мог, вчера не мог, а сегодня отец, такой отец, ему не указ.

Через полчаса он опьянел совсем ни с чего, с двух рюмок водки. Рюмки, верно, были вместительные, пузатенькие, с какими нужна осторож-

ность, но для мужика это все равно только легкая разминка. Значит, вконец вышел мужик, ничего не осталось. И когда Егорьевна потребовала от Анатолия здравицу, вспомнив, что тост — это чужое слово, пускай под него чужаки и пьют, он забормотал:

— Да какая от меня здравица? От меня одно расстройство. Конечно, я желаю вам… я вам много чего желаю… да толку-то от моих пожеланий! — И, обращаясь к Демину, заговорил отчаянней и тверже: — А ведь это я, Демин, должен был сделать… что она сделала… что Тамара моя сделала. Это мужик должен был сделать, отец. А мужика не оказалось, он спать ушел… устал сильно. Он и помнить забыл, что у него ружье двадцатого калибра за шкафом висит, а в шкафу два патрона с картечью уж который год, как часы, тикают. Я слышать должен был, как они тикают. Ну, какой это мужик, — с еще большим нажимом повторил он, — если жена среди ночи ствол обрезала, а он сил набирался, чтобы назавтра наблюдать, как этого поганца… он в семью нашу ворвался и всю ее испоганил… как этого поганца станут отпускать на все четыре стороны. Мужик сил набирался… А ведь вроде не трус. Ну, это мы еще разберемся, трус или не трус? — пригрозил

Анатолий, морща от презрения к себе лицо. — Чудно: как-то так струсил, что и не догадался, что струсил.

— Вот так здравица! — растерянно ахнула Егорьевна. — Это никакая не здравица, это я не знаю что… Вы, Анатолий, все не так понимаете. Честное слово. Демушка, скажи ты ему…

Демин мрачно, наклонив рюмку с водкой и вздувая в ней волну, не глядя на Анатолия, спросил:

— Все сказал? Или про запас еще маленько оставил? А теперь слушай, как мы это понимаем. Для начала спросить хочу: зачем ты это говорил?

— Как зачем?

— Ну, зачем? Утешения захотел? Хотел, чтобы мы тебя успокоили: мол, все это не так и ты, дорогой друг, поклеп на себя возвел… Да тебя сейчас нельзя успокоить, ты сам это должен понимать. Тебя потом, позже, жизнь сама успокоит, да и то — как успокоит? Не успокоит, а закалит, будет долго еще бить тебя и мять, мять и бить, раз уж ты под руку ей попался. Она любит нас, дураков, учить.

— Для того и говорю: из ружья не выстрелил, так теперь хоть дерьмом выстрелю.

— Слушай и запоминай. — Демин поднялся,

встал напротив Анатолия рядом с Егорьевной и, простирая над столом руки, заставляя Анатолия отшатываться, бросал рублеными, чеканными фразами: — У меня будет во-первых, во-вторых и в-третьих. Освободи там у себя место, чтобы все вошло правильно, одно за другим. Во-первых… Во-первых и в главных: тебе не дали бы стрелить. Не дали бы! Твоя Тамара Ивановна сколько там… часов семь невидимкой терлась возле стен, пока не привели этого вашего турку. Ты бы так не сумел, тебя бы десять раз разоблачили: чего это он тут скрадывает, что это у него там в сумке? Сграбастали бы, как миленького, и цель твою тебе не показали. Что может баба, мужику ни в жисть не смочь. Стрелять — да, это дело мужицкое, но тут еще надо было подкрасться, чтобы стрелить… для этого ты бы не годился. Ни ты, ни я не годились бы… Спроси вон у Егорьевны, почему мужики, которые поначалу тоже кинулись в «челноки», не сдюжили? Силенки маловато? Да нет, силенка еще имеется. Но силенка там — не все, там, может, главнее — исхитриться, разжалобить, дипломатию развести, всяких надувал надуть. У мужика не получается. Спроси, спроси Егорьевну, она скажет: не получается. Не та натура, не те извилины в голове. Это во-пер-

вых… — Демин щелкнул перед носом Егорьевны пальцами, и она тотчас поняла и налила ему в рюмку. Не приглашая никого присоединиться к себе, он выпил, хрюкнул удовлетворенно и продолжал: — А теперь слушай второе. Слушай! Даже если бы эти остолопы из прокуратуры дали тебе выстрелить и ты бы убил — закатали бы тебя без всякой пощады… ты бы убийца был и больше никто. А мать она и есть мать. Где мать имеет право не выдержать, отец терпи и не рыпайся. Ты бы убил, и через полгода забыли бы, что за дочь убил, честь родной дочери спасал, а помнили бы только, что убил… ни за что убил.

— Тамару Ивановну очень жалеют, — подтвердила Егорьевна, показывая жалость на лице, сморщив его и собрав на лбу аккуратные скорбные морщинки. — Очень. Весь город об этом говорит. Она у вас героиня. Я бы так не смогла, я бы струсила. А она героиня. Раньше рожать надо было, рожать и рожать каждый год, чтоб стать мать-героиней… А теперь вот: защитить их, роженых, надо. У нас говорят… я Демушке уже сказала… у нас говорят: соберем деньги на адвоката. Сколько надо, столько и соберем. Велят передать: это пускай будет за нами. Самого лучшего надо взять. Не отказывайтесь.

— Не откажемся, — заверил Демин, принявшийся опять расхаживать вокруг стола, вытягивая над ним и без того гнутую фигуру, чтобы зацепить вилкой закуску. — Это вы правильно: бедным и несчастным помогать надо. Бедным и несчастным вообще всегда надо помогать, а тут дело особое. Тут дело такое: не поможете вы сегодня — завтра и до вас доберутся и из вас сварганят бутерброд на закуску. Это же не случайно, это же нашествие — все эти черные, желтые, пегие… они ведут себя как завоеватели, мы для них быдло. Да! Но я не досказал! — вострубил он сердито, обращаясь к Анатолию. — Я не до конца вправил тебе мозги. У меня еще есть в-третьих. В-третьих и в главных. Слушай. Это тоже всех нас касается. Но сначала давай ухнем. Разговор у нас серьезный. Разбередил ты мою душу.

Выпили; Егорьевна быстрее и ловчее мужиков, поглядывая после этого на них со снисходительным терпением, пока они охали, кряхтели и сопели, прежде чем наладить дыхание. Демин продолжал:

— Вот ты говоришь, что струсил и сам не заметил, что струсил. Себя, значит, заклеймил и душу свою на лоскуты рвешь. И собираешься рвать до победного конца, пока от нее живого места

не останется. Да ведь мы все, разобраться если, струсили. Струсили и не поняли, что струсили. Когда налетели эти… коршуны… коршуны-то какие-то мелкие, вшивые, соплей перешибить можно было… Но хищные, жадные, наглые, крикливые… И подняли гвалт несусветный, что все у нас не так, все у нас по-дурному, а надо вот так… А мы вместо того, чтобы поганой метлой их, рты разинули, уши развесили. И хлопали своими слепыми глазенками, пока обдирали нас как липку, растаскивали нашу кровную собственность по всему белу свету. А нас носом в развалины: вот тебе, вот тебе, ничтожество и дикарь, знай свое место. Ну и что? Стерпели, как последние холопы. Если кто и пикнул — не дальше собственного носа. Как-то всенародно струсили и даже гордиться принялись: мы, мол, народ терпеливый, нам это нипочем, мы снова наживем. Дураки? Нет, не то: дураки, да не последние же… В водочке захлебнулись? И это есть: может, на треть захлебнулись. А остальные где? Где остальные?

— Где остальные? — как эхо отозвалась Егорьевна.

— Вот и я спрашиваю. Где-то должны быть и нигде нету. И кажется мне, что мы какую-то штуковину в себе обронили. Какую-то деталь-

ку… она с момента выпуска, видать, плохо была закреплена, а по нашим дорогам еще больше расслабла. И вот где-то на хорошем ухабе ее окончательно скинуло. А деталька такая, что без нее все ходовое хозяйство теряет натяг. Хлябает, трется. Да. Я раньше как размышлял… — Демин вздохнул глубоко, поводил глазами по столу, но удержался, не стал наливать. — Я раньше немножко по-другому смотрел на причину… я думал, мы по той причине не уважаем себя, что нас… ну, как бы обчужили, втерли в нашу шкуру всякие там вещества, чтобы она на чужое отзывалась с полным нашим удовольствием, а на свое не отзывалась, к своему, значит, была нечувствительна. На чужое клевала, а от своего нос воротила.

Не вытерпел, встрял и Анатолий:

— А что — не обчужили, что ли? Еще как обчужили!

— Было. Ясное дело — было. И никуда не сплыло. Сегодня в сто пятьдесят пять раз больше втирают, чем было. Раньше в кожу втирали, а теперь в душу. Способы такие появились — в душу втирать. Но мы-то… тут я спотыкаюсь… да нешто мы настолько никуда не годимся, что не понимаем? Не может такого быть! Мы понимаем…

и раньше понимали, когда в кожу втирали… Конечно, молодежь падкая, на нее процентов десять-пятнадцать отдавать надо. Но не больше, не вся она падкая. Мы все ж таки в себе остались. В нас кровь по-другому ходит, ни турками, ни американцами мы сделаться не можем. Ни по каким причинам. — Демин опять гулко вздохнул и поморщился. — В себе-то мы остались, а штуковину потеряли. Где, когда потеряли — никто не скажет. А без нее… то ли трусость, то ли безразличие. То ли жилы надорвали, то ли трын-трава.

— Найти надо эту штуковину! — чересчур бодро, выдавая этой бодростью свою усталость от умничанья Демина, воскликнула Егорьевна. — Найти и вставить на место. Чтобы натяг был. Правда, Демушка?

— Найти и вставить, только и всего, — с усмешкой согласился Демин. — Натяг нужен, без натяга нельзя. Водку пей, но песни свои пой. Сначала свое, а уж там… у нас натура широкая, в нее много чего войдет.

Боясь, чтобы он не сбился опять на путаные рассуждения, Егорьевна торопливо, точно за хвост поймав упоминание о песне и с маху окунув голос в жалостливость и игривость, затянула:

Голова ль моя, головушка!

До чего ты довела –
Говорили раньше: вдо-овушка,
Говорят теперь: вдова-а.

— Нету такой песни, — решительно отзывается Демин и косится на ее раскрасневшуюся огнедышащую грудь. — Где ты ее взяла? Сама, что ли, сочиняешь?

— А я ни одной песни не знаю, — с удовольствием признается Егорьевна и смеется. — Правда, до конца ни одной не знаю. Поют, а я подмыкиваю, как корова. Я в молодости дура дурой была, песню принимала за забаву, я только недавно и поняла, какая в ней радость.

— Сначала родила, потом забеременела.

— Фу ты! Такое даже и представить нельзя, о чем ты говоришь.

— А ты все-таки пыталась представить?

— Ну, конечно, пыталась, раз тебе нравится, — соглашалась она, поднимаясь собрать грязную посуду.

То она кажется недалекой, простушей из простуш, круглые глаза выставляются пленчатым блеском целомудренной наивности и грубых желаний; грудь вздымается — потому что мехам ее приходит время воздушной прокачки, а не от по-

рывов глубокого волнения; темно-коричневое лицо, подвяленное от продолжительного бывания на свежем воздухе, ровно заполнено по всем заводям от внутреннего штиля, и житейские бури туда пробиваются разве что в исключительных случаях; то вдруг в одну минуту все в ней меняет выражение и глаза смотрят внимательно и умно, лицо оживает и отзывается на происходящее чувственными переливами, губы сами собой округляются и растягиваются, тугие щеки волнуются от дыхания…

— Мы вас совсем бросили, — говорит она Анатолию, возвращаясь к столу и окликая Демина, вышедшего курить на балкон. — Совсем, совсем вас бросили. Демушка, шатун, как нехорошо! При даме пускаешь дым ей прямо в лицо, а чуть дама отошла — вспоминаешь о приличиях. Теперь что — так принято?

— Да, — соглашается он, прикрывая балконную дверь, — принято. В связи с происшедшими в даме изменениями.

— Какими изменениями?

— Такими, что мы скоро пощады запросим: не курить при нас. Зачадили весь белый свет.

— Странно. Кто из нас курит — ты или я?

— Это ни о чем не говорит.

— Да как же не говорит?!

— А так, что мы с тобой, как два сапога пара, не в счет. Ты сапог с левой ноги, задержалась в развитии в одну сторону, а я сапог с правой ноги, я задержался в развитии в другую сторону.

— Я сапог с левой ноги… Спасибо. Я, значит, задержалась в развитии в левую сторону. И в каком, интересно, виде я теперь нахожусь?

Демин загоготал и, вытянув над столом руки, ухватил Егорьевну за плечи и усадил ее.

— Конечно же, — пошел он на попятную, — ты избежала дурного развития и сохранилась в образе самой непорочной женщины.

— Спасибо.

Быстро же она умела меняться! Только что стояла в напряжении, тянула слова, выговаривая их четко и требовательно, вот-вот, казалось, готова была опасно забренчать чайными чашками, и вдруг отставляет чашки, засмеявшись и затомившись, превращается опять в простушку, прижимает руки к груди и, выкачиваясь на стуле перед Деминым, запевает сочно и фальшиво:

Совушка-вдовушка,
Где же ты летала?
Или над могилкою

— Нету такой песни! — возмущается опять Демин. — Где ты их берешь?

— Ну, конечно, нету, — радостно соглашается она. — А может, и есть, я точно не знаю. Я же говорю… я только те песни и знаю, которых нету. Но похожее что-то ведь есть, правда? Скажите вы, Анатолий… он не песенный человек, хоть и бурлак… он не знает. — Анатолий тоже не знает, есть ли похожая песня, и пожимает плечами. — Я ее в хорошие минуты частенько напеваю. Так хочется иногда быть вдовушкой.

— Мужиков пожалей, — бурчит Демин. — Пусть живут.

— Ну, конечно, пусть живут. Я им желаю долгой-предолгой жизни, я их люблю. Но вот найдет: хорошо бы стать вдовушкой. Что-то сладкое в этом есть. Это ведь судьба русской бабы — быть вдовой… оттого нас, наверно, туда и тянет. Вдова по улице идет… не идет, а вышагивает, она не суетится, не хватается за судьбу, она полного своего положения уж достигла.

— Не приведи Господь!

— Не приведи Господь, а вот тянет, как дурочку!

Демин громко чихает, хмыкает на радост-

ный возглас Егорьевны, закричавшей: «Правда, правда, вот видишь, правда!» — вытягивает из кармана огромный платок и гулко сморкается вслед этой радости. Говорит, теребя нос:

— Снять бы счас ремень, заголить одно место да выпороть тебя прямо при Анатолии.

— При Анатолии не надо, — канючит она по-девчоночьи, морща лицо и с деланым испугом отъезжая на стуле от стола. — Не надо при Анатолии, Демушка! Не будешь?

— Отстань!

— Но не будешь при Анатолии? Мне стыдно будет.

Потом пьют горячий зеленый час, вкус к которому хозяйка вывезла из Китая и никакого другого уже не признает. Демин тоже привык и не морщится, а Анатолий подслащивает каждый глоток порцией пирожного. Стол от сладостей ломится, уже без всякого порядка навалены на него и торт, и пирожные, и конфеты в круглой жестяной банке, и мармелад, и орешки в меду… И до всего этого хозяйка оказалась охотница. Она уже говорит неторопливо, лениво, бархатным голосом, вкладывая и в слова удовольствие от еды. Рассказывает, как прошлым летом в последний раз ездила за товаром в Корею и как, спроворив

закупки, забежали они, три иркутские бабехи, в Сеуле в японский ресторанчик. Там на русский говор подсел к ним пожилой господин, очень пожилой, высокий, поджарый, с умным бескровным лицом, но очень подвижный, легко вскакивавший и легко говоривший, оказавшийся русским эмигрантом из Токио.

— Мы ели мороженое, а оно плохое, водянистое, во рту на колючие сосульки разваливается. Ну и говорим ему, что у нас мороженое лучше. «Да, — говорит, — мороженое лучше, а конфеты хуже». — «Нет, — мы хоть бабехи-распустехи, а патриотки. — Нет, конфеты тоже лучше». Он вскочил и отошел, и, пока мы сидели, привозят огромную картонную коробку, а в ней разных сортов конфеты, сортов десять или пятнадцать. Он что… он оказался конфетным фабрикантом. Распечатывает нам, кажется, три коробки: ну-ка пробуйте. На вид конфеты не очень, беловатые такие, как наша помадка… «Ну что?» — спрашивает. Мы жуем, а понять не можем. «Какие-то не такие». — «Но какие не такие? Вкусные?» — «Вкусные». — «Ваши конфеты, — говорит, — хороши, но одно в них плохо, много в них валят сахара. В два раза надо меньше сахара — и они будут и полезней, и вкусней». Вручил нам эту

коробку, довез до отеля, приглашал в Токио. Я его часто вспоминаю. Он все дивовался на нас. А мы и правда, как на подбор, одинаковые: бокастые, горластые, мужикастые. Те же бабы, да не те. Не легковые, а уж грузовые, с дороги не столкнешь. Прощаемся, он говорит: «Вы меня, бабоньки, успокоили, теперь я знаю, что есть в России сила».

— Наездились вы, насмотрелись, — с благодарностью говорит Анатолий, уже совсем отрезвевший, изнывающий от желания подняться и распрощаться, повторяющий про себя раз за разом: «Везде хорошо, где меня нету». И сам же неосторожно, от неловкости за свое молчание, дает новый ход разговору, припомнив:

— Я утром радио слушал. В Англии, — сказали, — двадцать процентов женщин не желают выходить замуж. Двадцать процентов — это много, это целый поход получается.

Демин, опустив голову и пристально глядя себе в переносицу, словно считывая оттуда результат, докладывает:

— Двадцать не двадцать, а десять и у нас наберется. И все они потом мечтают стать вдовушками.

— Жалко тебе, что ли? — отзывается хозяйка

и лениво поднимает на него волоокий взгляд.

— Да нет, не жалко, но не по порядку, не по справедливости.

Она мощно вздыхает, восстанавливая недостающую справедливость, с молчаливой важностью наливает себе из новомодного стеклянного заварника чай, кивком спрашивает у Анатолия, не налить ли и ему. Он, покачав головой, отказывается. Демин наливает себе водки и тем же способом, кивком, обращается к Анатолию. Тот отказывается и от водки.

— Я тоже желаю рассказать… из заграничных впечатлений… — выпив, говорит Демин с усмешкой, обращаясь к Егорьевне. — Интересная там жизнь. У нас она теперь тоже интересная, но там все равно интересней. Потому что там все передовое, а уж мы потом следом, вприпрыжку. Я там видел… и вот теперь думаю: может ли у нас быть такое?

— Где и что ты, Демушка, мог видеть? — с милой иронией спрашивает она и, подперев рукой щеку, клонясь на правый бок, ближе к Демину, принимает благосклонное выражение.

— Видеть я мог в заграничном государстве Молдова в позапрошлом году. Мы с тобой тогда еще не были близко знакомы, а то бы я, конечно,

не поехал, мне бы хватило твоих рассказов. Летал я туда дядю хоронить. Он у меня был последний дядя, с отцовской стороны, а жил в Кишиневе, он там сорок лет братьям-молдаванцам помогал промышленность поднимать. Еще бы пожил, да молдаванцы не велели. У них там на фронтоне одного дома лозунг такой… сам видел. Аршинными буквами на русском… вообще-то русский они там метлой поганой везде повыметали, а тут для нас, чтобы мы читали… выведено огромными буквами: «Русских за Днестр (в Россию, значит), евреев в Днестр, хохлы сами разбегутся». — Демин пошлепал губами, изображая, до каких границ может дойти разгулявшаяся дурость, и продолжал: — Дядю своего я опоздал похоронить, на три часа опоздал. Без меня похоронили. Зато насмотрелся, пока жил там до девятин. Октябрь, теплынь, еще лето, народ на улицу высыпает, народ там очень общественный. Ну и я посередь него шмыгаю.

— Как мышка, — пропела Егорьевна.

— Как коломенская верста. Но и коломенская верста будет шмыгать, когда объяснят ей, что по-русски на улицах разговаривать опасно. Пришибут ненароком, как вражеского шпиёна. Солнце светит, город красивый, я в нем и раньше

бывал, к дяде же после армии приезжал. И народ раньше был нормальный, а тут сделался прямо злой, ходят и высматривают, на кого бы наброситься. Я стараюсь не обращать внимания на обстановку, гуляю. Замечаю: парк Пушкина остался под этим же названием, памятник Пушкину тоже стоит, хоть на него и было покушение. Ну, думаю, и я должен уцелеть. Слышу: смех, музыка, праздник. Недалеко от парка Пушкина памятник Штефану Великому, он раньше в парке и стоял, но его перенесли… чтобы не было, значит, подчинения. И русские буквы с памятника срезали, свои, самостийные, наклеили. Штефан этот в Средние века жил. Стоит на высоком постаменте огромный свирепый дядька, правда что великий, правой рукой крест над собой поднял, в левой меч держит. А вокруг свадьба. Я протиснулся, гляжу: невеста в этой… как ее? — в фате белой, а сама потрепанная такая, двадцатидевятилетней свежести, по лестнице на постамент взобралась… это ведь надо было — лестницу из дому приволочь!.. взобралась к Штефану и к ногам его льнет. А выше достать не может, размеры не позволяют. Думаю: фотографируется на память. А жениха не видать. Невеста чего-то покричит, покричит в толпу, азартно так, не по-

свадебному, и опять к ногам Штефана… прямо богатырские ноги, толще, чем у слона. Замечаю: веселье вокруг не так чтоб уж свадебное, но цветы, цветы, все завалено, коробки с подарками. Она ползает в ногах у Штефана, а он стоит, ноль внимания.

— Кино снимают, — вставил свою догадку Анатолий.

— Кино, да не то, шоу, да нехорошоу. — Демин покосился на Егорьевну, она, делая вид, что рассказ ей совсем не интересен, закатив глаза и нажевывая конфеты, уморительно вытянув губы, за которыми, слизывая налипшую конфетную кашицу, метался язык, откинулась на спинку стула. Невозможно было удержаться — и Демин машинально тоже повозил языком и только уж после этого направил его по назначению, чтобы продолжить рассказ. — Догадаться-то я догадался, что это не кино, а спросить… молчу. Слышу, две старушки рядом шепчутся по-нашему: с ума, мол, сошли… Так что оказалось! — Демин мрачно взглянул на Егорьевну, продолжающую самозабвенно крутить во рту языком. — Вечером по телевизору передают: какая-то фокусница, самая большая у них там задира против русских… стихи сочиняет… специально разошлась

с мужем, чтобы в патриотических целях выйти замуж за Штефана. Вот как бы, например, — жестом приглашения наклоняясь к Егорьевне и протягивая ладонь, сказал Демин, — вот как бы ты захотела замуж за Петра Первого. Она за своего Штефана Великого, а ты бы, чтобы утереть всем им нос, за нашего Петра Великого. С ними только так и надо. А?

— Придется подумать, — ласково отозвалась Егорьевна.

— Карусель ты моя ненаглядная! — постарался он сказать с грустью. — На все-то ты согласная… жила бы страна родная! Нет, что это все-таки делается — ты можешь ответить? Что надо бабам? Живых мужиков уж совсем ни во что не ставят, каменные, с трехэтажный дом, фигуры им подавай! Что вы в них находите?

Напросился Демин на ответ и незамедлительно его получил:

— Что надо, то и находим.

Самое время было подниматься, и Анатолий стал прощаться. Демин вышел из-за стола и, вытянув голову, поворачивая ее то в сторону Анатолия, то в сторону Егорьевны, топтался, не зная, куда двинуться.

— Посуду мыть, Демушка, посуду! — распо-

рядилась хозяйка, приходя опять в деловое настроение.

* * *

Иван Савельевич жил в большом и бойком пригородном поселке, через который проходили две дороги на Байкал: одна из Иркутска делала дугу и возвращалась на накатанный Байкальский тракт, а вторая тянулась больше ста километров на западный берег. Дугу эту дачники любили: тут хороший хозяйственный магазин, тут выпекался вкусный хлеб и тут же самосевом пророс небольшой базарчик на площади, откуда южная и западная байкальские дороги расходились в разные стороны. Все, что требовалось для ремонта и огорода, для стола и развлечения, тут и добиралось без толкотни в десять-пятнадцать минут, после чего, сбежав от городской тесноты и светофоров, можно было катить спокойно дальше.

Изба Ивана Савельевича стояла в сторонке, по дороге в пионерский лагерь, давно заброшенный и разграбленный, в редколесной сосновой рощице. Вразброс в ней стояло еще несколько изб с огородами; рощица, потеснившись для них, их же потом и защитила: поселковым сходом

решено было для дальнейшего заселения ее закрыть.

Три прямоствольных сосны с высоко задранными ветками гнулись-шумели под ветром и во дворе Ивана Савельевича. А двор всегда был забросан ноздреватыми шишками, которые шли потом в дело для топки самовара. Скотину Иван Савельевич, оставшись в бобылях, давно уже не держал, но по весне привозил с птицефабрики молодок, летом у него были яйца, а по осени мясо. Жил он с Николаем, младшим сыном, а в это лето у них гостила дочь Николая десятилетняя Дуся, девочка, как говорил Иван Савельевич, «на два лица»: то квелая, постоянно зевающая, глядящая вокруг себя пустыми глазами, а то, как по погоде, кудахтистая, что-то наговаривающая и напевающая, играющая роль хозяюшки. Дусю, как и младшего братца ее, мать после развода с Николаем увезла в Ангарск — и вдруг отправила ее к отцу и деду, к их несказанной радости, даже не предупредив. А теперь вот и Светка с ними, которую от беды подальше спрятали, считалось, за высоким забором. Забор из потемневших плах был, но так себе, и кобель сигал через него почем зря, едва перебрав лапы.

И, как давно уже не было, стало уютно Ивану Са-

вельевичу в доме — эх, если бы еще отгородиться совсем от мира и унять израненное сердце. И Николай, поднимая руку на себя, стрелял в него, и Тамара Ивановна, наводя свою справедливость, тоже часть картечи выпустила в отца. Но вот собрались здесь возле него эти две несчастные девчонки, тоже подбитые выстрелами, и поверилось осторожно, что, быть может, самое страшное позади и должно же из горя горького выпечься утешение. Ему уже было за семьдесят, два года доходило сверх того, лицо, исхлестанное уличными ветрами и нутряными пытками, словно бы окорилось с выщербами, грудь опала, руки и при хороших глазах, а у него все еще были хорошие глаза, часто тыкались слепо, мимо цели. Но, проведя полжизни в лесу, запас сил он в себе еще ощущал, и земля под ним еще не шаталась. Если бы не горячило постоянно и не взбрыкивало испуганно сердце, примериваясь, как ему придется выпрягаться… Если бы не стискивало временами голову так, будто в нее вкручивают металлический обод…

Он поднимался после ночи рано и, глянув через щель в заборке на спящих в соседней комнате девчонок, шел во двор искать работу. Невелико хозяйство, но она находилась всегда — накачать

воды в бочки для огородного полива, прибрать одно, другое, пятое, десятое, накормить молодок, которые вот-вот начнут нестись, поговорить с ними, а потом поговорить и с кобелем, еще не омужичившимся, игривым, ревновавшим Ивана Савельевича к молодкам и гонявшим их так, что они разлетались от него, как перья. А потом в летней кухне вскипятить чай и, отдыхиваясь облегченными, снизывающимися с какого-то мотка вздохами, долго пить его на крылечке с растворенной за спиной дверью и ощущать, как втягивает туда, внутрь, уличный воздух.

Девчонки поднимались поздно. Ни та, ни другая на улицу за ворота не рвались. Дуся привезла с собой огромную, как Библия, «Энциклопедию женщины» и утыкалась в нее, забравшись с ногами на продавленный диван в прихожей и часто и гулко перелистывая тяжелые страницы. Ивана Савельевича все подмывало взглянуть в эту «библию», чтобы разобраться, полезна ли она для подростка, но рука не поднималась: не его это дело. Ну и высмотрит, ну и что — запретит? Да нет, только отодвинет от себя девчонку. С ними теперь надо как-то по-другому, чем «можно» или «нельзя». Вон морковка нынче выскочила

чуть не на две недели раньше обычного срока — и разберись: или семена такие, или общая атмосфера потянула. Ох, эта общая атмосфера!., чтоб ей было пусто.

Не понуждал Иван Савельевич девчонок и к огороду, но к вечеру, когда ослабевало солнце, они раскачивались сами; младшая, Дуся, при этом делала заявление: «Дедушка, мы идем полоть! Дедушка, ты слышишь?» Ей требовалась похвала еще до начала работы.

— Ну и ступайте, — отзывался он. — Дело хорошее. Не перестарайтесь только. Вы хоть морковку от морковника сумеете отличить?

— Они в малом возрасте не отличаются, — к его удовольствию толково отвечала Дуся. — Пускай подрастут вместе, потом разберемся.

Светка на тонкой шее тянула голову и вслушивалась, она все еще не пришла в себя и смотрела вокруг с пристальностью глухонемой.

О, Господи, спаси и помилуй неразумная чада Твоя! Так их много, вся земля устелена ими от одичавших злаков! Для чего, Господи, предназначаешь Ты столь щедрый урожай? Для кучного выправления или для единовременного выкоса, чтоб пресечь недостойное?!

Николай летом дома бывал мало. Он подсажи-

вался на лесовоз, отворачивающий с дальней байкальской дороги на лесосеку, и на старых вырубках, которые тянулись на многие десятки километров, сходил. И во всякую пору что-нибудь да подбирал: черемшу, травы и корни, ягоды, кедровую шишку. Где-то там были у него схроны от непогоды, свои, скрытые от чужих глаз, деляны, свои тропы. Людей он чурался, пряча в тайге искривленное, поведенное на левую сторону, обезображенное выстрелом лицо. За черемшой, за ягодами заходила во двор к Ивану Савельевичу бабка Суслониха, прозванная так за ровно стекающее с маленькой головки широкое становище, установленное на короткие и крепкие ноги; она ехала с таежным урожаем на городской рынок и продавала. И они, Николай с Иваном Савельевичем, полгода этим жили, и она, продавалка. Николай ходил без ружья, хватит — настрелялся, и пропадал иной раз по неделе, а осенью и больше. Но и дома отмалчивался, отвыкая от слов; когда узнал о случившемся с сестрой, заплакал, из вытекшего левого глаза побежала струйка желтой слезы. «Она бы лучше мне сказала», — выговорил с трудом и тут же испугался своих слов, замотал головой. Светку, когда привезли ее, погладил рукой по плечу и тут же спрятался.

Анатолий приезжал через день, новости не могли быть утешительными: Тамару Ивановну судить не торопятся, от адвоката она отказывается, говорит, что защищать ее не нужно, никому она не верит. Областной следователь топчется на месте, ждет окончательных результатов судебно-психологической экспертизы. И все-таки есть одно, непроверенное… но как знать!.. В Москве застрелили депутата Думы от Иркутской области, чеченца, и в Иркутске спустя несколько дней стреляли в его брата, тоже какого-то главаря. И вполне может быть, что кавказцам, которые преследовали Анатолия, теперь не до него, в последнее время охоту за ним они, похоже, сняли. Иван Савельевич предостерег:

— Но ты Светку все-таки не торопись забирать.

— Нет-нет, пускай здесь побудет. Как она — оживает?

— А не знаю, Толя. Не пойму. Рана там глубокая, заживы долго может не быть. Иной раз глядишь: то ли от боли морщится, то ли силится улыбаться. Это хорошо, что они тут с Дусей вместе.

Сидели в избе, в прихожей, где прохладнее, Иван Савельевич за столом на скамейке у окна, опершись локтем о подоконник и сцепив на животе руки, Анатолий напротив, задрав высоко

колени и утопив зад, гнулся на продавленном диване. Только что отчаевничали, посуда была еще не убрана, и над нею кружила пчела. Дверь в сенцы была отворена, и в прихожей гулял ветерок, пузырем втягивая в комнату девчонок сквозящие от стирки ситцевые занавески. В избе было прибрано и все-таки сиротливо без хозяйки, сам жилой дух казался горчащим. Тамара Ивановна, наезжая, и скребла тут, и мыла, навешивала на окна свежие занавески, вытирала в межоконье рамки с фотографиями под стеклом, смахивала тенетистые узоры с потолочных углов, вытряхивала домотканые, еще с Ангары привезенные, половики и коврики, но проходило несколько дней, и вновь проступала серая, золистая испоть, и опять все покрывалось сиротством. А без Тамары Ивановны что станется, и говорить нечего.

Солнце сдвинулось и перестало бить в окно, возле которого сидел Иван Савельевич, нагретый воздух перед глазами Анатолия в четко очерченном квадрате окна курился, дрожал. И в этом струении марева казалось, что свисающий с ближней сосны шест, которым поднимали на высоту скворечник да так и оставили там, легонько качается стоймя, чтобы, раскачавшись,

спрыгнуть. Самого скворечника не видно, но Анатолий знал, что он пустовал. Его из году в год зорили вороны. Прежде их отпугивали ружьем и навсегда разогнали малых пташек, а большие, вороны и дятлы, до сих пор били клювами в пустующий домик и пытались столкнуть его вниз. Пойми эту жизнь… ничего-то нигде, оказывается, понять нельзя.

Уже неделю как жара не донимала сильно, дни стелились солнечные и яркие, но не гнетущие. За другим окном, на восток, цвела в палисаднике сирень, рас клонив по сторонам тяжелые ветви в убранстве горящих фиолетовым огнем свечей. Обломанная сирень в банках с водой красовалась везде — и в спальне у девчонок, и в летней кухне, и в сенцах, и рядом с собачьей будкой на двуногой, с отростом, березовой чурке.

— Даже в самовар, вертихвостки, натолкали, — рассказывал Иван Савельевич. — И снует эта, меньшая-то, и снует: — «Деда, когда самовар кипятить будем?» — «Да кипятите, — говорю, — когда вам охота: не маленькие». А чего не маленькие — маленькие! Им охота, чтоб я ткнулся, увидал да ахнул погромче: «Эк она где, холера, проросла!» Мы ведь как разговариваем, Толя… Спросишь ласково — не знают, как отвечать.

А разворчишься — это им то самое, глядишь, и по душе отзовутся.

Хлопнула с маху калитка во дворе — Иван Савельевич, вздрогнув, обернулся — никого, должно быть, выскочила Дуся. И спросил:

— Свидание-то не дают?

— Нет пока.

— А Ванюшка-то что ж не приедет сюда?

— Я пока его дома держу. За книжками сидит.

— Я уж перестал понимать, Толя, хорошо ли это — книги? Говорят: плохому не научат… смотрю я: запутать могут, хорошее с плохим воедино смешать. — Иван Савельевич опять оглянулся во двор: кто там мог проскочить в калитку? — и продолжал: — Николай у нас книжки читал… я радовался, пускай умнеет парень. А он вишь до чего поумнел! Шире головы. Он еще там, дома, — домом Иван Савельевич до сих пор называл деревню на Ангаре, — блажить стал. Задумываться начал. Наманят, наманят книги, насулят с три короба, а жизнь, она другая. И вот я думаю: человек от рождения, от родителей направлен по одной дорожке, по родословной сказать, а книжки его выгибают на другую. Ломоносов за рыбным обозом пешком из Холмогор ушел, так он Ломоносов был, кругом его по ученой-то

части редколесье было. Он почему еще не сбился с пути… он в котомку себе родной холмогорской землицы набрал и все законы из нее вывел. А наши что? Они прямо в чащобу устремляются таких же, как они, без царя в голове, они все голодные до незнаемой жизни… И вот он, Коля наш… Впопыхах женился, какую-то чудь в ней увидел, а она, чудь-то эта смазливая, зубастая оказалась, клыкастая, на нем же ездила и его же ни в грош не ставила.

Иван Савельевич вздохнул тяжело, с мыком, помолчал, облизывая сухие губы, и спросил у Анатолия:

— Ты не закурил?

— Нет.

— А я покуриваю. Думал, что до смерти освободился, а не смог. Да-а, — с горечью протянул он, возвращаясь к прежнему разговору, — начудили. Я ему, Николаю, еще в те поры, как разглядел хорошенько его чудь, разъяснял… Говорю: вот поставь ты передо мной двадцать девок, двадцать невест, и я тебе без всякого испытания скажу, какую выбрать. На самую добрую покажу. Выбирать надо добрых, а не показных.

Анатолий представил себе этот осмотр, Ивана Савельевича, прохаживающегося перед строем

выставочных невест, и засмеялся:

— А почему надо двадцать, а не десять?

— Десяти может не хватить. Лучше двадцать. Доброта у девки на лице написана, ей и мазаться не надо, чтоб себя красивой сделать. Природу не спрячешь, она себя обязательно покажет.

Иван Савельевич тяжело вылез из-за стола, потоптался на месте, наставляя затекшие ноги, и пошел посмотреть, где девчонки. Светка в летней кухне играла с котенком и раззадорила его до того, что он напрыгивал на нее, взобравшуюся с ногами на голый деревянный топчан, она вскрикивала, перебирая ногами; котенок, пушистый комок из желтого и белого, отскакивал, не разворачиваясь, шлепался на спину, взвивался вверх, чтобы приземлиться на лапы, делал стремительный разбег и снова кидался на Светку. Иван Савельевич от порожка полюбовался и, когда Светка, ухватив котенка за шкирку, выставила его за дверь, за спину Ивана Савельевича, спросил:

— А Дуся где?

Девчонок так часто приходилось спрашивать, где одна и где другая, что и они тоже научились не выпускать друг друга из виду.

— Где-то за воротами, — задышливо, пятясь

от котенка, приседавшего для прыжка через порог, отвечала Светка и ждала, когда Иван Савельевич отойдет.

— Шла бы, посидела с нами, пока отец не уехал.

— Ну, потом, — отговорилась она и, оставшись в кухне, прикрыла дверь. Пойми от кого — от котенка или от деда.

Воротившись, Иван Савельевич, посмеиваясь, рассказал о Светкином занятии, порылся на полочке возле двери, отыскал жестяную банку с табаком, пахнувшим ядреным едким духом, и принялся сворачивать самокрутку. Сигареты он не признавал, а папирос не стало. Закурив, сделав несколько жадных затяжек, отдышался и опять приободрился.

— Ничего, Толя, как-нибудь. Не может быть, чтобы свернули нас в бараний рог. Я вот тебе расскажу…

И рассказал Иван Савельевич историю, которая вспомнилась ему, надо думать, раньше и вспоминалась не однажды в эти дни, а теперь запросилась наружу.

— Это сколько же годков минуло? — спросил сам себя и прикинул: — Да уж не меньше тридцати. Томка тогда с Дусю была, может, немножко

постарше. У нас в деревне вскорости после смерти Сталина угнездилась одна семья. Сам он, хозяин-то, был в наших краях на высылке, а как дали ему вольную, ворочаться не стал, откуда вышел, а выписал себе жену с погодками-ребятенками… мальчишка и девчонка были… и осел как вольнопоселенец. Кряжеватый такой мужик, рожа хмурая, все попервости в зеленых галифе ходил, в отместку, поди, тем, кто его в лагере караулил. Звали Ефроим. Заняли они избенку в три окна на верхнем краю деревни, последний парнишка уж у нас народился. Заняли избенку-горемыку, а потом и давай строиться, и давай. И это по тем временам, когда мужика гнули в бараний рог: на заем последнюю копейку отдай, молоко от коровы на молоканку отнеси, яйцо от курицы в сельпо сдай, огородные сотки еще и до Хрущева обрезали. А он в рост и в рост. В колхоз не пошел, устроился сначала бакенщиком, а опосле, как Ангару запруживать вознамерились, по зоне затопления каким-то чинодралом заделался. Но это уж потом. А до того при самой нашей глухой бедности… она его не касается, наша бедность… На задах избенки поставил времянку, да крепкую, не хуже этой избенки, а избенку смахнул и давай на том месте поды-

мать крестовый дом. В два лета поднял, откуда что и взялось. Баба некорыстенькая, росточку небольшого, а тоже пятижильная, так и снует, так и снует. Дом поставили под шифер, у нас этого еще и в заведении не было, у нас контора была под тесом… Обнес свое поместье глухим забором, в улицу — высокие теремчатые ворота под навесом. Только ахай! У первого у него мотор на лодку, у первого мотоцикл «Урал» с коляской, у первого нарезная винтовка. Боролись, боролись с кулачеством, а он посередь голытьбы возрос как чирей на ровном месте.

Иван Савельевич говорил неторопливо, с улыбчатой усмешкой, подкивывая себе и морща и без того морщинистое лицо. И последние слова подвел, прямо как к воротам, к вопросу.

— А с чего возрос-то? — спросил Анатолий, слушавший невнимательно, с усилием, как и все теперь делавший с усилием, перемогавший какую-то налипшую изнутри, как грязь, тяжесть. — С приисков, что ли, явился?

Иван Савельевич с готовностью подхватил:

— С приисков, говоришь? Ну да, с приисков. С тех, где под конвоем водят. Сам он не признался бы, но слух такой стоял: когда мы Украину от немца отбивали, он в лесах против нас пар-

тизанил.

— Ну, за это так скоро не выпустили бы…

— А там тоже после Сталина порядка не было. Одних за колоски в землю вбивали, других из-под самой страшной статьи втихомолку выводили. Умел он, значит, и там себя поставить. Такие нигде не растеряются, повсюду найдут кума и брата.

— Но откуда же у него взялись деньги? Не в огороде же он их нашел?

— А вот этого никто не знал, — быстро и уверенно отвечал Иван Савельевич, ответ у него был готов. — Слухи разные ходили, да из слухов, сам знаешь, дело не сошьешь. А я так думаю: это ему баба с родины доставила. Он оттого, думаю, и не захотел на родину ворочаться, что не мог там ими распорядиться, они у него запашок имели. Он для того и изъял оттуда семью, что хотел следы замести. На войне в тех местах чего только не бывало.

— А потом он, значит, с тобой воевал?

— А его, Толя, со всей деревней мир не брал. Не любили его, а поманит, покажет бутылку — идут беспрекословно. А опосле еще больше не любят. Но он во внимание не брал, любят его, не любят. И сам никого не любил, жил в бирю-

ках без нужды в людях. На подмогу, я говорю, зазывал, а так, чтобы по душам поговорить с человеком, этого в нем не водилось. Мы для него были люди десятого сорта.

Вошла Светка, юркнула за занавеску в свою комнатку, а потом встала в дверях, придавив одну полу занавески спиной, а другую жгутом держала в руке.

— Послушай, послушай, Света, — сказал ей подбадривающе Иван Савельевич, — какую мы оказию с твоей мамой прошли. Она тогда еще на подросте была, босыми ногами пыль на дороге взбивала… Ты дверку в кухню прикрыла?

— Прикрыла.

— А то кобель бы не полез. Он у нас из варнаков.

Иван Савельевич продолжал рассказ, а Анатолий посматривал на Светку, не слушавшую, уставившуюся в окно, за которым, кланяясь, тяжело раскачивались яркие гроздья сирени. Оттуда же заглядывало и солнце, и Светкино лицо в обрамлении золотисто-смиренного закатного потока выпечатывалось особенно четко. Не было на Светке ее лица, слезло оно — так же, как слезает, меняя черты, кожа в тяжелой болезни. Все в этом новом лице обострилось и распалось:

глаза, глядевшие тускло, сами по себе, ставший совсем маленьким и некрасивым нос, сам по себе, и крепко сомкнутые, вдавленные одна в другую губы, тоже сами по себе. Все на месте, и все сдвинуто, не соединено: во всем видна стылость донельзя измученного человека. «Чем бы развлечь здесь дочь, что бы придумать? — стал размышлять Анатолий. — Может, телевизор сюда привезти? Евстолия Борисовна свой, конечно, не отдаст, он для нее весь свет в окошке. Но теперь у многих по два, по три телевизора; если поспрашивать — найдется, поди… Сидели бы девчонки, смотрели…» И услышал голос Тамары Ивановны: «И что бы они смотрели? Не насмотрелись еще, что ли, не отравились до конца жизни? Не надо, Анатолий, не смей!»

Иван Савельевич говорил:

— Парнишка этого Ефроима, Гошка, все на мотоцикле гонял. И все нашу Тамару пугал. Разгонится и прямо на нее. Она отскочит… Пока мотоцикл разворачивается, то убежит, то на забор запрыгнет. Ухватил я его как-то на ходу за воротник, поставил на ноги. «Ты, парень, что делаешь? Ты же ее изувечишь!» Зубы оскалил и на меня, как звереныш: «гы-ы»! Не подействовало. Снова руль на девчонку. И опять, и опять. Кончилось

тем, что наскочил и ободрал ей ногу чуть не до кости. В район, в больницу я ее возил. Зашили, замотали — месяц на ногу не приступала. Пошел к Ефроиму: так и так, уйми своего парня. Он на меня в точь так же зубы: «Гы-ы, у них это, можа, любовь». И меня же высрамил, что у меня девчонка по улице шляется.

Стукнула калитка; Иван Савельевич, прерываясь, крикнул в окно:

— Мы все здесь.

Вбежала Дуся, раскрасневшаяся, с короткой мальчишеской стрижкой, в короткой майке, по моде не закрывавшей пупа, и в шортах, получившихся из обрезанных, одна штанина короче другой, джинсов. Глаза ее блеснули удивлением от неподвижно расположившихся фигур, и она заявила:

— Хочу поесть.

— Ты только не расхоти, — сказал Иван Савельевич. — Погоди чуток, мы вот скоро закончим, я расскажу, чем дело кончилось, и мы твоему хотению дадим свое имение.

— Как это?

— А что имеем, то дадим. А чего нет, того и не будет. Сядь, прижми свою вертушку. — Небольно-то и вертлявой была Дуся, и сказал Иван

Савельевич… для всех ребятишек заготовленными словами сказал. — Сядь и слушай. Сейчас и про папу твоего будет.

— А что про него будет?

— Не забегай вперед, слушай. Садись вот рядышком со мной.

Произошло общее перемещение. Иван Савельевич подвинулся на скамье, и Дуся сбоку водрузилась на нее с коленками; Анатолий подъелозился к диванному валику, облокотился на него, приняв удобное полулежачее положение, а возле другого валика устроилась Светка.

— И пошла у нас самая настоящая вражда, — вернулся к рассказу Иван Савельевич и с укоризной почесал седую клочковатую голову. — До последнего случая я вроде сильно и не вражевал на него, думал: дурость и дурость, должна же она затихнуть, эта дурость, ведь рядом живем. Ан нет, Толя, тут не простая обнаружилась дурость. Он, этот Ефроим, он что… он подсмотрел нашу слабость. Не он один подсмотрел… если на теперешнее время оглянуться — много кто подсмотрел. Мы, русские, большой наглости не выдерживаем. Маленькой, гонору всякого, этого и у нас самих в достатке, а большую, которая больше самого человека, то ли боимся, то ли

стыдимся. В нас какой-то стопор есть. Вот и я долго так же: сердце зажму и отойду. Я отхожу, а он все наглей, уж никакого ему удержу. Я к той поре уж в лесничество перешел. И знал, что зверя он берет в пору и не в пору, охранного закона ему не писано. Наши егеря поймали его с поваленной стельной изюбрихой, послали протокол куда следует. Отвертелся и на меня же прокурором смотрит. Идешь с поклажей на Ангару, чтоб на тот берег переплавиться… у нас там уж большое хозяйство расчалось… идешь, он на берегу, на каменишнике, с веслом в руке, волком смотрит.

— Ты когда, — спрашивает, — утопнешь?

Вот до чего у нас дошло! Он Ангару за свою собственность стал считать. Я креплюсь, а вовнутри-то кулак хороший отрастает. Ответишь ему только: не дождешься, мол, утопленником меня зреть, а в самом закипит: чем бы тебя, вражину, погладить?

— А когда папа будет? — поторопила Дуся.

— Вот сейчас и будет. Потерпи. Сейчас мы с твоим папой сядем в лодку и поплывем. Плавали мы туда-сюда часто, хозяйство там, дом здесь. У нас в лесничестве были две грузовые лодки, широкие в борту, вроде карбаза, на волне стойкие. И мо-

тор «Вихрь» дали, этот мотор в ту пору казался зверем. Рычит и прет скрозь любую непогоду. И вот так же мы с папой твоим, а ему в ту пору годков десять исполнилось, так же с левого берега на правый рулим. А уж сумерки, вода в Ангаре темная, и низовка тянет. Но сумерки пока светлые, в них видать даже дальше, чем на солнце, и волна еще не разошлась. Идем поперек реки, Коля в носу, спиной к ходу, я в корме за мотором. Вижу: с правой стороны, от верхнего острова лодка повдоль реки. Ходко бежит, носом по волне настукивает. Вглядываюсь: Ефроим. Лодка у него хоть и ходкая, на манер шитика, а верткая. Да и легкая. Сближаемся, я гляжу по ходу шитика, что я успеваю проскочить. Но Ефроим поддал газу и прет прямо на нас. На таран идет. Он-то, конечно, рассчитывал, что я струхаю и отверну. «Ах ты, гад! — думаю. — И тут захотел меня в грязь носом». Кричу Кольке: «Падай!» и руками машу, чтоб падал в лодку. И только-только успел нос развернуть под шитик…

Иван Савельевич сделал полагавшуюся паузу. Светка, откинувшись на спинку дивана, смотрела на него во все глаза, голые ее пятки, высовывающиеся из босоножек и едва касающиеся пола, выплясывали нервную чечетку. Дуся, вытяги-

вая шею и морща от напряжения нос, пыталась поймать себя в висящем над диваном зеркале. Анатолий спросил:

— Перевернулись?

— Шитик отбросило метра за три от нашего карбаза и перевернуло. Мотор оторвало, Ефроим вынырнул еще дальше. Я, как испуг отхлынул, соображаю: если Ефроима к себе в лодку из воды поднять, он, чего доброго, и меня, и парнишку поскидает в Ангару. Испуг отхлынул, злость прихлынула: ты хотел, чтобы я слабость свою перед тобой показал — на же: подгребаюсь к нему, сбрасываю конец, чтоб ухватился, и плавом, как бревно, тяну к берегу. Таким вот манером и доставил. В ангарской водичке он присмирел, едва на берег выполз. Хотел еще зуботычину дать, да ладно, думаю…

Анатолий подождал и опять подтолкнул Ивана Савельевича:

— Ну и какое у вас дальше соседство было?

— Друг на дружку не смотрели. Я Кольке наказал никому не сказывать об этом происшествии и сам помалкивал. Признаться, побаивался. От него всего можно было ожидать. Злого человека от зла отучить нельзя! — Дуся нетерпеливо подталкивала Ивана Савельевича плечиком,

напоминая о своем голоде, и он поднялся, уже на ногах закончил: — А он недолго после того и оставался в нашей деревне. Началось затопление, вся Ангара на дыбы, он чем-то поруководил-поруководил, а когда началось переселение, снял свой дом и увез. Говорили, в город увез. Где он теперь, живой ли, не знаю.

— Учить таких надо, да, дедушка? — как поняла Дуся, так и спросила.

Иван Савельевич подумал.

— Учить надо, — осторожно ответил он. — Но сдается мне, что поодиночке не выучить. Всех вместе надо. А как — не знаю. Сейчас вот про Бога вспомнили… Так к Богу-то пошли несчастные люди, которые от злодея терпят. Злодей к Богу не торопится. А власть, она вишь, какая власть, она распояску злодею дала, с ним по совести не поговоришь. Как на фронте было, — обращаясь уже к одному Анатолию, добавил Иван Савельевич. — Кто кого: перекрестимся втихаря да с криком «За Родину, за Сталина!» — в атаку. Вот так-то бы и теперь всем оставшимся народом!

Уже в темноте уходил Анатолий. Все вышли за калитку, договаривая, задержались на выбитом ногами плешивом пятне перед воротами.

Светка, оттиснув отца в сторонку, быстро, напряг-шимся голосом, спросила:

— Папа, когда маму можно будет увидеть?

— Не знаю, — удивленный ее напористостью, ответил Анатолий. — Лицо Светки в зернистом свете электролампочки с дорожного столба было решительно, панцирной неподвижностью отблескивала на нем кожа. — Не знаю, — повторил он. — Может, на следующей неделе, а может, и нет.

* * *

Прошло два дня — и вдруг Светка исчезла. Иван Савельевич с ночи встал по обыкновению рано: накрапывал из безнебья, из низкого серого сумрака, дождь тихой моросью, сильно и вязко пахло в ограде сиренью, а в огороде дикой коноплей. И, пока не разошелся дождь, прикатил Иван Савельевич на тачке три возка черной земли на огуречную гряду, чтобы заглубить уже поднявшиеся всходы. Под дождем оно хорошо, сразу же и породнит старую засыпку с новой; после этого обошел раза три огород, размечая в памяти, что надо будет сделать самому и на что направить девчонок. Дождь не расходился, и подставлять ему, слабо сеющемуся, голову

и лицо было приятно — как помазание мягкой редкошерстной кисточкой происходит, и руки, творящие его, выбирают самые чувствительные места. Потом, как всегда долго, пил Иван Савельевич чай, шикая на куриц, вспрыгивающих на порожек летней кухни, и слабым поминаньем, не торопясь выстраивать их в черед, касался своих житейских туч, то отдергивая память, то снова заставая ее подле больного места.

И долго не шел в избу, чтобы не потревожить девчонок. Досидел, пока не вышла Дуся и, зевая, от позевоты сгибаясь и разгибаясь, будто в поклонах, раздутыми словами, с трудом скатывавшимися из широко раскрытого рта, выговорила:

— А где-э Све-эта?

— Где ей быть? — посмеиваясь над девчонкой, сказал Иван Савельевич. — Возле тебя где-нибудь. Вы вместе почивали.

— Не-э-ту.

Иван Савельевич заглянул в избу, прошел в огород, уже в тревоге выскочил в улицу: нету. В том же порядке, с зачастившим сердцем, заставляя себя не торопиться, обошел с полным обыском все, где Светка могла находиться, — нигде ее не было. Сунул Дусе стакан горячего чая, все остальное сыщет сама, и бросился на авто-

бусную остановку. А прибежав, понял, что бежал без головы: если бы Светка решилась уехать, за утро она бы уехала десять раз, а в небольшой очереди, сидящей возле магазина на крылечке и толкущейся рядом, ее быть не могло. Поспрашивал в магазинах, в том и другом, — не видели. Обратно домой; Дуся встревоженно и молча следила из летней кухни, как он мечется, и продолжала в испуге намазывать на хлеб варенье и слизывать его языком, выгнув над столом голову и глядя в раскрытую дверь.

Иван Савельевич присел рядом с нею. Украли Светку? Но как ее могли украсть — не из постели же вытащили?! Схватили, когда Светка вышла из избы? Но она бы закричала! По тихому утру он бы услышал ее откуда угодно. Сама, не сказавшись, сбежала? Но почему? Зачем по следу одной беды догонять другую?

Он решил: подождет час, а потом надо ехать в город. Час он дал себе на всякий случай: а ну как вздумалось Светке погулять по рощице, которая еще за двумя дворами переходила в лес. Через час надо бить тревогу. Но как ехать, бросив здесь Дусю? Куда ее? Тащить с собой? Пугать своим испугом? Да и что там, в городе, будет?

Он выждал час, прибавил еще полчаса и бросил-

таки девчонку, решив, что по дороге на автобус забежит к Суслонихе и попросит ее приглядеть за Дусей. Но Суслонихи дома не оказалось; бухал матерой глоткой кобель, таская грохочущую цепь; от крыльца, со ступенек, уставил на Ивана Савельевича маленькие глазки поросенок, склонив короткую голову набок и шевеля прозрачно-розовыми ушами; с поката над сенцами уже струилась вода. Дождь томился, томился да расходился. И Иван Савельевич, перекрестив про себя Дусю, не стал возвращаться: будь что будет.

Он поехал уже в двенадцатом часу; из пористого замшелого неба сыпало вовсю. В городе по обочинам дороги налились лужи, люди под зонтиками, по-куриному вытягивая шаг, кралась и подпрыгивали. Все было мокро, мрачно, все погрузилось в тяжелое ожидание. У Ивана Савельевича и внутри будто отсырело от разлившейся смертной тоски. Если он не застанет сейчас Анатолия дома, что ему делать? А если и застанет, вместе они, потелефонив туда-сюда, уложат на коленях руки в оцепенении: что дальше?

А вышло, что и Анатолия он не застал, дома был Иван, и осторожные их звонки Евстолии Борисовне и в прокуратуру ничего не дали.

В прокуратуру они звонили не в ту, а Евстолия Борисовна первой спросила, когда приедет Светка. Иван, еще больше вытянувшийся в последний месяц, с длинными руками и огромными босыми ногами, задумчиво хлопал глазами и пытался вспомнить, что говорил ему перед уходом отец. Кажется, собирался пойти в какую-то мастерскую. Надо было искать Демина и уж тогда выходить на след Анатолия. С тем и снарядил Иван Савельевич внука, а сам, как побитая собачонка, не сослужившая самой простой службы, поплелся в обратную дорогу.

Да и не поплелся, а погреб. Дождь полоскал без устали, из трубного зева водостоков вода выфыркивала залпами, залитый асфальт пузырил, люди попрятались, машины медленно проплывали, отваливая на стороны волны. «А это к чему?» — огромным, ко всему приложимым и ничто по своей безответности не говорящим вопросом мучился Иван Савельевич, преодолевая потоки.

* * *

Эти два дня после отъезда отца прожила Светка в непрерывном нетерпении, точно что-то нагорало в ней и нагорало, превращаясь в золу, но под

золой не затухли и теперь принялись горячить угли. Она продолжала оставаться вялой и неразговорчивой, все так же смотрела перед собой пристально и невидяще, но и лицо ее от внутреннего напряжения морщилось, и плечи судорожно вздрагивали. Светка ждала отца, считая, что должно что-то обязательно произойти и он привезет новости. А что должно произойти и какими могут быть эти новости, она не представляла. Но если занывает так в непрекращающейся муке — значит, занывает неспроста. Однако отец, по обыкновению пропустив один день, на второй не приехал. И Светке стало совсем нестерпимо и за дедушкиным забором, и в своем нездоровом почужевшем тельце. Ей чудилось, что от нее и пахнет нехорошо — и чем дальше, тем больше. Прождав отца до вечера, утром она решила ехать. Ничто не могло остановить ее — ни переполох, который поднимется здесь и дома, ни опасность, от которой ее прятали, ни унижение, которого не миновать, едва лишь она начнет добиваться своего. Хоть что, хоть в тысячу раз больней, но только не так, как теперь, в дошедшем до края изнеможении.

А решившись, она и спала хорошо, и проснулась рано. Услышала, когда Иван Савельевич

вышел, зная, что теперь до позднего утра в избу он не вернется, высмотрела в окно, что нашел он занятие в огороде, и выскользнула в калитку. В легкой беленькой курточке на плечах, в тонких летних джинсах с подвернутыми штанинами, в разношенных шлепанцах и с белой маленькой сумкой в руке, в которой ничего, кроме мелких рублей да носового платка, не было. Накрапывал дождь, гулко, будто соскользнувший и разметавшийся по земле гром, мычали коровы. Со стороны города, как к ночи, вставала темнота. На автобусной остановке Светка еще издали заметила Суслониху, низкую и громоздкую, как животное, мотающую маленькой головой, и отошла, а потом, когда автобус подкатил, бегом вбежала в последний момент в заднюю дверь и отвернулась, уставившись в стекло на убегающую дорогу. На автобусной станции в городе сидела в углу зала с опущенным лицом, прикрывшись ладонью, делая вид, что дремлет, изредка вскидывая из-под пальцев глаза на стенные часы со звучно прыгающей секундной стрелкой. Вскоре она и верно задремала, успокоившись, ощутив и в себе часовой механизм, отбивающий секунды и умеющий насторожить ее на время, когда нужно будет подниматься. Хлестала дверь, плавал

от стены к стене гул голосов, слышались объявления — и все это превращалось в чеканный ход часов, стерегущий среди многолюдья ее жалкое укрытие. И так ей наконец было хорошо в эти полчаса, когда совершенно забылась она, столь сладкое она испытывала забвение, так укачало ее это спокойное людское волнение, что, придя затем в себя и оцепенев от возвращения, она еще долго набиралась решимости, чтобы подняться. Объявили посадку сразу в два больших автобуса, ползала зашевелилось, заторопилось к дверям, и только тогда общий порыв подхватил и ее. Она вышла, окунулась в настегивающий ливень и пешком побрела в сторону центра.

В небольшое, в три этажа, аккуратное белое здание, сохранившее свою белизну даже в ливень, мирным своим видом больше похожее на какое-нибудь скромное благотворительное общество, чем на областную прокуратуру, Светка прошла беспрепятственно. Охраны здесь не водилось, доверительным расположением небольшого уютного фойе она, казалось, и не была предусмотрена, а за столом дежурного слева от входа напротив мраморной лестницы никого не оказалось. Светка задержалась у дверей, давая стечь с себя воде и глядя под ноги, и почувство-

вала, что туда же, под ноги ей, на происходящий непорядок, смотрит кто-то еще… Он, этот человек, окликнул Светку с противоположной стороны фойе и спросил, к кому она пришла. Спросил вполне дружелюбно, но переживая, казалось, за коллегу, в кабинет которого может переместиться это истекающее водой существо. «К Николину», — слабым голосом ответила она; это было у нее первое слово за весь день. Человек подошел к столу дежурного, поднял трубку телефона и набрал номер. Только теперь, протерев глаза ладошкой, она рассмотрела его, и больше всего на его лице, белом, нисколько не загоревшем, поразили ее очень густые и очень лохматые брови, из-под которых с трудом выглядывали маленькие глаза. Николин в трубку удивился: «Разве я вызывал вас?» — «Мне надо», — сказала Светка и после продолжительной паузы, способной напугать, услышала: «Поднимайтесь и ждите, сейчас я занят».

Перед дверью Николина на втором этаже она прислонилась к стене и почувствовала себя почти так же хорошо, как на автостанции, когда она полностью забылась в себе, будто в уютном гнездышке. С волос продолжала стекать за шею вода и щекотливыми струйками сбегала по спин-

ному желобку вниз, и куртка, и кофточка влипли в тело, оно зудилось, выгибалось и вздрагивало. И все равно было хорошо, всякое страдание в ней умолкло, поддалось смирению и терпению. Впервые, еще не различив, не назвав ее, Светка коснулась истины: ожидание события сильнее самого события.

Минут через двадцать Николин крикнул через дверь, чтобы она заходила.

Он был немолод, с седыми висками и подсушенным правильным лицом, с прямой высокой фигурой и твердым взглядом глубоко посаженных глаз. В деле Тамары Ивановны обвиняемая была видна ему как стеклышко самого простого изготовления, но он с жалостью и даже с некоторым раздражением смотрел на ее дочь, начало и причину всей этой истории. В отличие от матери крепкого орешка из дочери не вышло. Беда невелика, если бы по множеству самых неуловимых примет не распознавалась эта слабость в людях силой и грубостью. В благополучном обществе с действующими нравственными и юридическими законами эти противоположности сдвинуты, сильный становится терпимей, а слабый сильней, но как только люди выходят за установленные границы, неминуемо просы-

паются самые грубые инстинкты и низменные страсти, и те законы, которые действовали в условиях «мирного» времени, становятся недостаточными не только по букве, но и по смыслу. Когда верх берет вырвавшаяся наружу грубая сила, она устанавливает свои законы, неизмеримо более жестокие и беспощадные, нежели те, которые могут применяться к ней, ее суд жестоко расправляется с тем, что зовется самой справедливостью. Ее, эту грубую и жестокую силу, начинают бояться, даже прокурор в суде заикаясь произносит вялый приговор, который тут же отменяет общественная комиссия по помилованию. Правосудие не просто нарушается — его подвешивают за ноги вниз головой, и всякий, кому не лень, с восторгом и бешенством, мстя за самую возможность его существования в мире, плюет ему в лицо.

В такой обстановке, считал Николин, любая слабость, происходит она от государства или человека, провоцирует на новое преступление, и всякий слабый человек притягивает к себе преступника как магнит.

Кто виноват: у хозяина содержалась во дворе кормилица, волк забрался и, недолго думая, зарезал ее, а хозяин, державший для защиты

берданку, пальнул в волка, когда он терзал свою жертву, и не промахнулся. Волк не может быть никем иным, кроме волка, стало быть, и спрашивать с него, коли он существует в природе, нечего. Корова или овца в стайке тоже не могут быть никем иным, кроме коровы или овцы, они защититься от волка не в состоянии. Хозяин с ружьем не способен возносить молитвы за волка, чтобы он переменился и побратался с овцой. Так кто же виноват? Если бы не было в этом дворе овцы, волк побежал бы дальше, пока не отыскал овцу в другом дворе; если бы не было волка — тем более обошлось бы тихо-мирно, а если бы не было хозяина с ружьем — не было бы и выстрела, и отсутствие слопанной бесхозной овцы никто бы не заметил. Выходит, виноват хозяин, он своим грубым поступком принудил закон вмешаться и готовить последнее слово. Конечно, в деле Тамары Ивановны расположение фигур несколько иное, но схема та же самая. Не из дремучего леса явился хищник, а из общества, объявленного цивилизованным; не овца, бессловесная тварь, стала жертвой его, а родная дочь хозяина или хозяйки; хозяйка решилась наводить свой суровый приговор не тогда, когда хищник крался к жертве, хотя намерения его и тогда были

ясны, но не было еще состава преступления, а лишь после того как преступление свершилось, и даже после того как стреноженного хозяйкой и переданного в руки правосудия преступника вознамерились отпустить на все четыре стороны, чтобы следующей же ночью он набросился на новую жертву. Однако убийство случилось, волка в маске человека не стало, и этот конечный и исключительный факт затмил собою предыдущие события. Да, затмил, но ведь не отменил, не вошел в противоречие с ними и явился ничем иным, как их неоспоримым следствием.

Об этой истории много говорили, в том числе и у них в прокуратуре. Душою жалели Тамару Ивановну, служебным положением осуждали за превышение… за превышение чего? — материнских и человеческих чувств, за превышение чувства справедливости? Но как еще можно противостоять бешеному разгулу насилия и жестокости, если государство своих обязанностей не исполняет, а правосудие принимается торговать законами, как редькой с огорода? Как? Тамару Ивановну жалели и втайне ее оправдывали; о дочери же ее, как только заходил о ней разговор, неопределенно вздыхали, не желая договаривать: слишком большую приходится

платить за ее честь цену — будто эту цену запрашивает она сама или будто слабость виновата в том, что она слабость.

С тем же чувством жалости и невольной брезгливости смотрел теперь и Николин на сидевшую перед ним Светку. Вид у нее после дождя был как у ощипанной курицы: и волосы влипли в голову, и одежонка в тело. Слабые грудки ужались так, что не топорщили кофточку, серое лицо вздергивалось, когда она простуженно швыркала носом и испуганно уставляла на следователя глаза; сидела она с плотно сжатыми коленками, придерживая их руками. Несчастная, на что-то решившаяся, чем-то подстегивающая себя девчонка, больше ничего в ней не было.

— Что еще случилось? — спросил он, показывая, что после случившегося все, что могло случиться вдогонку, большого значения не имеет.

— Мне надо повидать маму! — с отчаянной решимостью выпалила она.

— Надо повидать маму?

Кивнула всем дернувшимся телом.

— А ты представляешь, сколько мне всего надо, когда тебе надо, а мне не положено? Ты, голубушка, этого не представляешь, иначе ты бы не пришла сюда с таким заявлением.

— Я не могу больше.

Конечно, в это можно было поверить. Есть предел человеческой выносливости. Ей выносливость потребовалась дважды, раз за разом без передышки, и второй удар был не легче первого… Если представить человеческую выносливость в виде витой, как веревка, жилы, протянутой между двумя какими-то креплениями, то она у этой девчонки должна превратиться в лохмотья, держащиеся на волосинках, и эти волосинки, ободранные и нагие, выглядывали из всего жалкого облика девчонки, даже стали ее обликом и молили о помощи. Николин, представив, что такое теперь сидит перед ним, подумал: «Я смотрю на нее как на помеху, срывающую мои сегодняшние планы, а ведь она вышла, чтобы сказать «мне надо», из таких зарослей, из такого отчаяния, что и представить нельзя. Бывают положения, когда человек чувствует себя ровно так, как говорят его слова. «Мне надо» — и больше ничего в ней теперь нет».

Николин со свистом выдул из себя набранный воздух, еще раз удивился этой невесть откуда взявшейся в нем манере подавать сигнал о принятом решении и сказал:

— Иди побудь еще в коридоре, я позову.

И он подвинул к себе телефон. Уговаривал, настаивал, взывал к человеческим чувствам, грозил карой небесной, обещал, на кого-то ссылался, кому-то напоминал, что тот его должник. Дважды выходил за какими-то бумажками, с заходившими к нему расправлялся быстро и решительно. Светка, сцепив замком на груди руки и затаившись, влипла опять в стену. Она слышала голос Николина из кабинета, могла бы слышать и разговоры, потому что говорил он громко, но ничто не подсказало ей, что можно вслушиваться в слова и составлять из них смысл, и она оставалась безучастной, выполняя лишь то, что было ей сказано. Проходя мимо, Николин возбужденно бросал: «жди!» — и она сжималась еще больше, веря, что оттого, как она будет ждать, зависит, чему быть. Так продолжалось около часа; наконец Николин вышел с зонтиком в руках и закрыл дверь на ключ. «Поехали!» — сказал, торопливым шагом направляясь к лестнице.

Ехали на старенькой «Ниве» Николина минут двадцать и все вброд, вброд, и представлялось порою, что вплавь. Дождь то примолкал, то припускал вдруг с такой яростью, что под сплошным его боем становилось совсем темно и глухо. Ехали молча, Николин только покряхтывал от досады,

еще не окончательно смирившись с тем, что день у него пошел наперекосяк, а Светка и соображала плохо, где она и что с нею происходит, не помня, что происходит на этот раз по ее воле. Подъехали к трехэтажному зданию, окованному с обеих сторон тяжелой бетонной стеной с колючей проволокой; сбоку, отдельно от общего входа, отыскалась невзрачная дверка, облегчившая проникновение внутрь, по узкому коридору попали в проходную комнату, где вдоль стен сидело несколько человек, тоже пришедших с улицы. Николин оставил здесь Светку и скрылся в другой, противоположной двери. Вокруг Светки сидели в молчании и терпении, каких там, за стенами, не бывает, — совсем никуда не торопясь и ни о чем не спрашивая. Когда в очередной раз принимался нахлестывать дождь за окнами, еще теснее сжимались, еще больше опускались на дно своих тяжких дум или уж окончательного бездумья пожилые женщины, каждая в обнимку со своим горем-злосчастьем. И Светка среди них, равных ей по закаменевшей боли, опять отдалась удобному и глухому оцепенению: так хорошо ей было в беспамятстве и безволии, почти и на грани бездыханности.

Но вернулся Николин и повел ее за собой —

опять по коридору, опять через двери и двери. Завел в кабинет: обшарпанный стол перед единственным окном, два старых стула с решетчатыми спинками подле стола, два у стены. И больше ничего; стены голые, окно затянуто дремучей вековой пылью. Какой-то маленький человек при их появлении поднялся из-за стола, что-то негромко сказал Николину и вышел. Николин сел на его место, поднял трубку черного допотопного телефона с пронзительным, как у сирены, гудком, что-то невнятное буркнул, дождался ответа, выждал еще отведенное время и, подмигнув Светке, тоже вышел.

В ту же минуту вводят мать. Человек, сопровождавший ее, от двери сурово оглядывает Светку и исчезает. Не помня себя, не способная соединить во внятную последовательность все происходившее с утра, Светка не узнает и мать, смотрит на нее с ужасом, потом со сдавленным и пронзительным вскриком бросается к матери и оседает у нее на груди.

Тотчас приоткрывается дверь, и вставленное в ее проем лицо чеканно командует:

— Ти-ха! Раз-веду!

Тамара Ивановна осторожно отстраняет вцепившуюся в нее Светку и вдавливает в свои глаза

слезы. Светка пытается успокоиться, но едва лишь мать берет ее руку в свою, чтобы усадить на стул возле стены, плечики ее опять принимаются подпрыгивать от сдерживаемых, клохчущих рыданий. Она умоляюще оглядывается на дверь, показывая, что сейчас этот приступ пройдет, сейчас, сейчас… как только она справится с собой. Тамара Ивановна рядом на стуле гнет голову к стене, ища опоры и твердости, и бормочет:

— Ниче, ниче… Это что же? Это ты откуда взялась?

Она в темной застиранной рубахе с накладными карманами и в темной же юбке в крупную коричневую клетку, на ногах старые кроссовки с короткой шнуровкой, те самые, в каких она ушла из дома. Волосы забраны сзади под резинку. Лицо почерневшее и почужевшее, глаза смотрят с силой. Жадно и пугливо всматривающаяся в нее Светка замечает в углах ее губ вскипевшую смолку.

— Ничего, — повторяет Тамара Ивановна уже спокойней и отирает пальцами губы. — Надо же — пробилась! — опять удивляется она. — Отец знает, что ты здесь?

— Нет.

— А мне тебя и надо было повидать. Ты как почуяла, что тебя-то мне и надо.

— Здесь страшно, мама?

— Да почему же страшно? Не страшней, чем там, у вас. Те же самые люди.

Светка тычется головой в материнские колени; Тамара Ивановна выдвигает свой стул поперед, удобнее устраивает на коленях лицом к себе Светкину головенку и, наглаживая, прижимает ее к животу. Светка всхлипывает совсем по-детски, но слова, которыми давится она, выговариваются со дна беспросветного отчаяния.

— Мама, как же мне теперь жить-то? — спрашивает Светка. — Как? Я сама себя ненавижу. Я с собой не знаю, что сделала бы…

Тамаре Ивановне хочется, в свою очередь, спросить: «А мне как жить? Мне-то как жить, дочь ты моя родная?» Но не спрашивает. Разве можно сыскать такие слова, которые бы их утешили, дочь и мать, сброшенных куда-то, где нет ничего, кроме пытки… Самые справедливые, самые надежные слова, способные дать утешение, не утешив, спекутся в том же пекле, в каком горят они. Больно, больнее боли больно. Все нутро выгорает. Тамара Ивановна нянькает на коленях дочь, затверженно повторяя: «Ниче, ниче»,

наглаживает ее волосы, вытирает пальцами с глаз ее и свои слезы. Надо бы говорить какие-то напутствия, распоряжения, надо бы… много чего надо бы, коли подвернулся такой счастливый случай, но Тамара Ивановна боится вспугнуть Светкину доверчивость, нежность ее и беззащитность… нет, не надо ничего говорить… так больно и так хорошо! И когда слышит Тамара Ивановна едва различимые Светкины слова: «Мама, ты меня не презираешь? Скажи, мама, скажи!» — она и на них не отзывается, а только еще крепче прижимает к себе Светку и раз за разом нагибает голову, чтобы поцеловать ее в мокрые глаза.

Когда, стукнув в дверь, входит Николин, они, выпрямившись, сидят рядом; Светка со склоненной на материнское плечо головой, кажется, измученно дремлет.

— Наговорились? — спрашивает Николин.

Отстраняя от себя осторожно Светку, Тамара Ивановна поднимается.

— Наговорились.

И чужим, излишне бодрым голосом, точно продолжая разговор, наказывает дочери:

— И мужикам нашим скажи, чтоб обо мне не беспокоились. Скажи, что я тут даже комиссарю немножко…

— Об этом и мы наслышаны, — с иронией соглашается Николин и дает ей знак, чтобы она выходила.

Тамара Ивановна приподнимает со стула Светку, еще раз целует ее и направляется к двери, за которой ее ждут. Светка только теперь понимает, что мать уводят, и, не в силах совладать с собой, кричит: «Мама!» Тамара Ивановна уже за дверью вытянутой назад рукой делает ей прощальный взмах, как это бывало в детстве, когда ей надо было уйти, а они, ребятишки, не пускали, и тяжелая, глухая и тупая дверь закрывается за нею.

На улице Светка не замечает ни солнца, согнавшего тучи и ярко блестящего в лужах, ни шумного и веселого воробьиного гвалта на маленькой пустой площади, ни плывущего над городом сладкого боя церковных колоколов. Она с трудом взбирается с помощью Николина на высокое сиденье «Нивы», и рыдания снова принимаются сотрясать ее маленькое изнуренное тельце, пляшут даже ноги. Николин, набросив руки на баранку и не делая попыток успокоить Светку, терпеливо ждет. Он слишком хорошо понимает, что у девчонки это прощание с собой, и с тою, какой она была раньше, и во что

превратилась в последний месяц, и что это в корчах и муках рождается новый человек. Каким он будет, неизвестно. Но чем страшнее муки, тем больше перемены.

* * *

После свидания с матерью Светка в деревню не вернулась, осталась у бабушки, у Евстолии Борисовны. Скрываться больше она решительно отказалась, и ни отец, ни Иван Савельевич уговорить ее не могли. В ней вдруг появилось спокойное и непробиваемое упрямство: нет и никаких! Анатолий растерянно уступил, Иван Савельевич подавил-подавил на зятя, чтобы он употребил отцовскую власть, но, видя, что ничего тот употребить не может, в конце концов отступился. И от обиды почти перестал бывать в городе. За весь июль приехал лишь однажды, привез с огорода зелень и полдня промаялся перед окнами: никто не отвечал, полное запустение, полный разброд без Тамары Ивановны.

Иван перебрался на дачу и в город глаз не казал. Анатолий недоумевал: то пряником парня туда не заманишь, то не выманишь; Иван, рывками насаживая на крепкую шею голову, как всякий раз, когда требовалось выкрутиться,

и, научившись простодушно выставлять свои невинные зенки, объяснял с глубокомысленным вздохом: «Земля потянула». Ну, как же — земля его потянула! — случилось что-то, что заставило его искать там укрытие, не иначе… Если так — не больно надежное укрытие. Анатолий попробовал по-отцовски поговорить — не получилось. И заговорил вяло, не зная, как ему теперь разговаривать с детьми, и, услышав отговорку, настаивать не стал. Он теперь ни на чем не настаивал и ни до чего не допытывался, а только скользил по дням-горушкам, как выпавшая из употребления деталь, ни на что в отдельности своей, вне сборки, не годная и постоянно получающая беззлобные и болезненные пинки. Иван, присматриваясь к отцу, невольно спрашивал: а мог ли он, отец, решиться на поступок, совершенный матерью? Не трус ли он? И отвечал себе: нет, отец не трус и на любой решительный поступок он способен, если… Если до него додумается. А он мог и не додуматься, не от недостатка ума, а от какого-то особого положения ума, не посягающего на взлеты.

Друзей Иван после домашних несчастий растерял, и все больше нравилось ему оставаться одному. Дома он по требованию отца и в «санитарных

целях», как изъяснялся Демин, также участвовавший в воспитании Ивана, высидел только неделю, да и то не без отлучек, чтобы не страдало самолюбие, а затем взял полную волю и уходил куда глаза глядят. Оставаться в домашних стенах, сразу осиротевших без матери, онемевших без ее голоса и решительных шагов, стало невмоготу, а уезжать на дачу… на дачу тогда еще не хотелось из чувства противоречия… отец советовал — ну и не хотелось. Почему он должен кого-то бояться? Мать не испугалась и тем самым как бы и ему наказала не бояться. Испытывая себя, он до глухой ночи бродил по темным и пустынным улицам, опустевавшим сразу же, как только опускались сумерки; днем шел на рынок с «колониальными» товарами и, пристроившись в сторонке, подолгу наблюдал с каким-то странным наваждением за улыбчивыми китайцами и мрачными кавказцами, раскидывающими паутину, в которую уж как-то слишком легко и глупо попадались местные простаки. На рынок его тянуло все больше и больше — точно передалась эта тяга от Светки. Он многое научился замечать: вот подходит служитель порядка в форме и прицеливается к свежей черешне, а к нему бросаются сразу двое-трое расторопных джигитов и нава-

ливают в сумку и черешню, и вишню, и яблоки, и помидоры, и что-то еще… Разыгрывается незатейливый спектакль: милиционер, мордатый дядя с выпяченными губами, с лица которого кавказцы легко считывают тайные мысли, поясняет продавцам, что он просил только килограмм черешни и платить будет только за килограмм, остальное просит из сумки вынуть. Джигиты цокают языками, размахивают руками: ай-я-яй! как же это они не поняли! как же оплошали! — и, вынув из сумки горсть ягод и два яблока, возвращают ее хозяину, берут с него за черешню и с ненавистью смотрят ему вослед. Через десять минут подходит к ним женщина, немолодая, зоркая, обманутая не единожды и на этом основании считающая себя опытной, кого ни на мякине, ни на фруктах больше не проведешь; она тянет голову, всматривается пристально в радужное сияние рассыпного южного изобилия… Но и на ней они, лицечеи, безошибочно читают все, что там написано. А написаны на лице этой женщины неуверенность, торгашеская безграмотность и обида за прежние обманы. Джигиты советуют ей взять вот это… они принимаются бурно нахваливать это… женщина, зная, что верить им нельзя, отстраняется от того, что ей

навязывают, и тянется к другому, к яблокам, которые надраены меньше, но кажутся ей сочнее. Она просит попробовать. Пожалуйста. С видом легкого разочарования ей подают с ножа кусочек, отворачиваются. Но кусочек подан с яблока другого сорта — того, от которого она отказалась; в четыре снующих руки выкинуть такой фокус ничего не стоит, и женщина опять уходит обманутой.

Китайцы хитрее, кавказцы наглее, но те и другие ведут себя как хозяева, сознающие свою силу и власть. В подчинении у них не только катающая тележки местная челядь, с которой они обращаются по-хамски, но и любой, будь он даже семи пядей во лбу, оказывающийся по другую сторону прилавка. Эта зависимость висит в воздухе, слышна в голосах и видна в глазах. И те и другие ощущают ее, кровь, разносящая импульсы, доносит, кто есть кто. Точно на огромной шахматной доске это предрешено расположением и активностью фигур, и назначенные существующими обстоятельствами позиции местами никак поменяться не могут.

Учиться Ивану оставалось еще год, и он решил, что школу обязательно закончит. Но прежние планы, куда дальше, вдруг отодвинулись и по-

блекли. И недавнее любопытство к нутряному русскому языку, к корням его и ветвям, тоже отодвинулось и поблекло: разве это теперь главное? А что главное — не знал, но представлялось ему, что это должны быть какие-то физические действия, а не лингвистические изыскания. Только сейчас, оставшись наедине, он, казалось, наконец вытиснулся из себя и вышел в мир. И то, что увидел он в нем, поразило его.

Казалось бы, он должен осознавать происходящее и приблизиться к нему в совместных обсуждениях с кем-то, кто и опытней его, и старше, в чтении специальных книг, с помощью нацеленных извлечений из широкой картины событий, в результате всего того, что дает постоянная и длительная выучка… Что-то похожее и случалось изредка обрывочно и случайно, но сложиться в мировоззрение не могло. Да и не было у него еще никакого четкого мировоззрения, а вдруг в считаные месяцы точно открылось какое-то глубинное зрение и переместило его из одной действительности в другую. И все отчетливей, теперь уже сознательно и жадно вглядываясь, стал видеть Иван то, что прежде не замечал.

Огромные и страшные перемещения, от кото-

рых взрослые почему-то отворачивают глаза, происходят в мире, одни наступают, другие отступают, и среди вразброд отступающих, растерянных и обессиленных, как приговоренное жертвенное стадо, теснимое к обрыву и не понимающее, что с ним происходит, был и его народ. На самой-самой кромке обрыва вынесут ему окончательный приговор: одних, просветленных новыми знаниями и новыми правилами поведения, помилуют, других, обсудив, как гуманнее поступить с ними, отправят восвояси, в те глухие и немые свояси, где уже ничего нет. От помилованных потребуют: отрекитесь! И отрекутся. А вослед приговоренным скажут: вы видели, как много среди них было больных и дурных, преступников и староверов; мы сделали это, чтобы спасти от них мир. И мир согласится: тому и быть, каждый получает то, чего он заслуживает.

Никаких планов на будущее у Ивана не было, и казалось ему, что они и не нужны, что в скором времени предстоит какая-то всеобщая мобилизация и тогда его судьба решится сама собой. Он стал ловить сообщения о русских добровольцах в Сербии, гордился тем, что научился в фальшивых голосах дикторов распознавать истинный смысл и различать тот особый, пыл-

ко-торопливый акцент, в который рядится ложь. Хотелось повидаться с матерью и намекнуть ей, что за летние месяцы, пока ее не было рядом, у него отросли крылья и чешутся, чтобы испробовать себя в полете. И конечно, получить в ответ от матери выволочку, он даже представлял, в каких словах, и ежился от них. Но в любом случае материнская выволочка — это уже и совет, если с умом покатать ее, как горячий, с пылу с жару, колобок, а потом и скушать.

В бесцельных шатаниях по городу Иван однажды душным вечером обнаружил себя возле военкомата, а полчаса спустя возле расположенной неподалеку областной милиции в новых и тусклых, нашлепистой архитектуры зданиях. Выходит, цель все-таки была, что-то вело его сюда помимо воли, чтобы заранее знать, куда идти, когда потребуется. Он покрутился поблизости среди старых деревянных домов, по окна закатанных асфальтом, у водокачки поплескал себе в лицо, приободрился, входя в память, и наугад взял в сторону центральной улицы. Вышел к кинотеатру «Пионер», где прежде показывали детские фильмы. Иван захватил еще то благополучие «Пионера», когда тут бывало шумно, чинно и празднично; раза два их со Светкой приводи-

ла сюда Евстолия Борисовна, заставлявшая их браться за руки. Он и не помнил, что смотрел тут: стыд оттого, что за одну руку его держала Светка, а за другую бабушка, сильнее врезался в память, чем впечатления от кино. Но теперь, конечно, «Пионеру» каюк. И как это самое невинное существо умудряются превратить в самое порочное, что за мстительный закон тут действует?! Весь город знал, что «Пионер», не поменяв имени, превратился в притон наркоманов и проституток школьного возраста и на дискотеках разыгрывается здесь такое «кино», что только «туши свет» и больше ничего.

Он приостановился возле входа в кинотеатр, облокотившись на клонящийся в уличное машинное кипение тополь, и рассеянно смотрел, как вываливаются из двери и вваливаются в нее такие же, как он, недоросли, но почти все расшатанные, скрюченные, с туманными глазами и резкими вскриками при встречах друг с другом. В скверике по правую сторону кинотеатра они справляли малую нужду, курили и, как с седала, снимали с широкой бетонной лестницы, по которой прежде спускались из зала зрители, гроздьями висящих там девчонок и вихляющей походкой уводили их в чрево «Пионера». Ивана

и подмывало пойти вслед за ними, и останавливали брезгливость пополам с осторожностью: там, поди, как в аристократических клубах, чужаков не жалуют.

И вдруг туда же, в это нечистое чрево с визгливой и бухающей дверью, прошествовала группа бритоголовых — крепких, плечистых, уверенно ступающих друг за другом, как боевое подразделение, «накачанных» до того, что с них соскальзывал взгляд. Иван встрепенулся: а эти зачем? — они другого поля ягода, они вместе с теми, кто там, внутри, на одной поляне не растут. Тут же вслед за первой, широко распахнув дверь и, пинками не давая ей закрыться, пошла вторая группа бритоголовых, похожих на инопланетян и отзывающихся на неземное имя — скинхеды. Не раздумывая больше, Иван кинулся за нею.

В вестибюле его оглушила визгливая музыка, доносившаяся из зала, на подоконниках, на полу в обнимку с девчонками и бутылками корчились в дыму и мате то ли человекоподобные, то ли червеподобные… Появление скинхедов, отталкивающих их с прохода ногами, они, привыкшие к любому обращению и пребывающие невесть где, встретили вялыми приветственными взмахами рук. Вместе со второй группой непрошеных

гостей Иван попал в зал. Музыка там уже сбилась, взрыдывая трагическими аккордами, исчезая и снова взрываясь, разогнавшаяся пляска половину зала продолжала крутить и подбрасывать, другая половина тянула шеи и выкрикивала ругательства. Один из скинхедов, должно быть, старший, казавшийся огромным, с огромной же, сияющей, как шаровой светильник, бритой головой, завладел на сцене микрофоном и потребовал тишины. Зал в ответ взорвался криками. Но микрофон был сильнее, он перебил бунтующий зал, когда в нем загремела команда.

— Две недели назад, — рубил короткими фразами скинхед, — мы предупреждали вас! Мы предупреждали вас! Чтобы вашими вонючими потрохами здесь не пахло! Чтобы сворачивали этот гадюшник! Чтобы в нашем городе не ползала такая мразь! Мы пришли!

В него полетели бутылки, сразу несколько человек, маленьких и отчаянных, выскочили на сцену. Скинхед, изготовившись для прыжка, издал дикий гортанный вскрик, похожий на боевой клич вождя индейцев, призывающий к бою, с обезьянней ловкостью схватил одного из нападавших, запустил им, как снарядом, в другого и скинулся вниз. И еще одна группа

бритоголовых ворвалась в зал, и еще одна… В мгновение оцепили они зал с трех сторон, оставив свободной лишь ту, где двери, и запустили свою широкозахватную косилку на полную мощность, срезая все, что не успевало убежать или уползти. Крик, стон, плач, визг, свист, глухие удары и рявкающие команды, тяжелое дыхание и звон стекла — под эту многоголосую «музыку», звучавшую все равно приятней, чем та, только что оборванная, которая наигрывала здесь праздник, выбивался теперь прощальный марш, и лишь опытный слух мог заподозрить в нем разнобой оркестра. Досталось и замешкавшемуся Ивану: чья-то рука ухватила его сзади за вихры, нагнула голову влево, а справа прилетел такой удар, что Иван присел под ноющую песенку, но тут же вскочил от громкого и протяжного крика: «Мен-ты-ы-ы!» Все бросилось врассыпную. Когда Иван выскочил на улицу, два милиционера за дверью хватали по очереди то космача, то бритоголового, пускали их подзатыльниками еще двоим, орудовавшим возле «воронка», а уж те вталкивали их в фургон. Иван проскользнул мимо, рванул со всех ног по улице вправо и только возле автобусной остановки притормозил, делая равнодушный и ни к чему не причастный

вид. Отер ладонью лицо, подвигал челюсть и, убедившись, что она цела, совсем успокоился. Подкатила «маршрутка», и в ней в двух парнях в одинаковых легких шапочках, явно маскировочного назначения, он признал скинхедов из «Пионера». Через две остановки они выходили; Иван выскочил за ними и, окликнув, спросил:

— А меня-то вы за что?

— Что за что? — с нарочитой вялостью отозвался один, белобрысый, ставший сразу, как только снял он шапочку с головы и засунул ее в карман, лупоглазым, с торчащими большими ушами. Второй, не вмешиваясь, отдыхал.

— Меня-то за что зацепили? Я с вами туда зашел. Похож я на них?

— А ты и на нас не похож, — сказал белобрысый.

Что верно, то верно — не похож ни на тех, ни на других. И не однажды задумывался Иван: а надо ли на кого-то походить? Или, напротив, ни на кого не надо? В «Пионере» он держал себя нейтралом, оказавшись в этой схватке случайно, но со своей нейтральной полосы был, конечно, на стороне скинхедов: они на свой манер делали то, что должна была делать городская власть, чтобы остановить пложение этой сопливой нечисти.

Но власть теперь всего боится и ничего не делает. Не поймешь, кому она служит и на что рассчитывает завтра, если сегодня последние остатки здорового увязить, как в болоте, в невмешательстве. Утром газеты с захлебом назовут скинхедов после этой истории русскими экстремистами и фашистами, снова и снова будут гнусаво каркать, добиваясь, чтобы позволили им расклевать мясо скинхедов до костей… И что же — поганистая «пионерия», захлебывающаяся наркотиками и теряющая человеческий образ, лучше? Так выходит. Это она — будущее России? А ей именно и позволяют быть будущим. Кто-то должен же ее и все подобное ей остановить? Или уж коли пущена жизнь на самотек, то так она и пойдет, пока не придет к конечному результату!

И все же оказаться среди скинхедов Иван не хотел бы… Почему? — он не смог бы внятно объяснить, это было что-то интуитивное и невыговариваемое, не имеющее отношения ни к внешней браваде этих ребят, ни к их действиям. Встречаешь иной раз человека, с которым во всем согласен, который делает тебе добро и оказывает услуги, а подружиться с ним не тянет. Душа не пускает. Сблизился — узнал бы лучше, а не хочешь узнавать лучше. Боишься его нутра, его

чужести. Или это всего лишь отговорки, чтобы остаться чистеньким и не мазаться в грязи, подобно той, какая ползала в «Пионере»? И кто-то должен эту грязь вытряхивать и принимать на себя сыплющиеся со всех сторон проклятия! Может, дело только в этом, и к бритоголовым стоит получше присмотреться, а не уходить в сторонку с удобным оправданием?

Но и собственное нутро Иван хорошо не знал, и в нем обнаруживались пугающие бездны. Он продолжал бывать на рынке, находя тайное и безрадостное удовольствие в смутном ожидании чего-то, какого-то то ли несчастья, то ли возмездия за всю тайную клоачную жизнь этого муравейника, куда неудержимо втягивало и пороки, и несчастья. А между тем рынок по-прежнему продолжал втягивать в себя и остатки их семьи, становясь судьбой и роком. В начале августа отец наконец расстался со своей «пустопорожней» автобазой, давно не дающей заработка, и вошел в долю с Деминым. Входить в долю на равноправных началах было не с чем, это Демин пожалел отца, придумав арендовать грузовичок, на котором бы Анатолий крутился, подвозя и развозя оптовый товар и для себя, и для связанных каким-то боком с ним мелких мага-

зинчиков вокруг китайского рынка. Анатолий подозревал, что связь эта — через Егорьевну, подругу Демина, но ни ему об этом не было сказано, ни он не спрашивал. В этом мире, куда он был позван, и верно, чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Но Егорьевна, яркая, сдобная, белотелая, все больше смахивающая на процветающую купчиху, набирающую обороты, изредка милостиво подъезжала к деминской неказистой лавке и давала Демину наставления. И так совпадало, что после этого и у Демина находились наставления для Анатолия. Не нравилась Анатолию эта карусель, а что же делать? Приняв первую получку, он разбередил сердце: если бы заглядывали к ним такие деньги раньше, можно было уберечь и Светку, и Тамару Ивановну. А тут еще Демин предложил запрячь и Ивана в помощники к отцу на оставшиеся до школы две недели. Тоже приработок на школьную амуницию.

Но этому плану не суждено было сбыться.

Иван, бывший с полчаса за сторожа в деминском ларьке, изнывал от безделья, когда воротившийся Демин, не придавая никакого значения своим словам, сказал:

— Там чего-то казаки опять гуртуются…

Иван тут же распрощался с Деминым. «Казаки

гуртуются» — могло означать и мирный заготовительный выход, казак тоже любит сладко поесть, а рынок сейчас, в августе, — скатерть-самобранка со всех концов света. Поспевает к этой поре и свое — из тайги, с огородов, полей, пасек, с полян и пустошек, даже с городских балконов, превращаемых на лето в грядки… Тучные ряды ломятся от изобилия, так и плывут, так и плывут перед глазами полными коробами, бойкие языки зазывают на десятках акцентов, и никакая иная любовь не знает столь нежных слов, как любовь к садовым и огородным чадам, никакое сладострастие не сравнится со вкусом южных плодов, за тысячи и тысячи километров спешивших к тебе, чтобы в юности, свежести и красоте усладить твою целомудренную страсть. Рынок в августе — это за душу берущий гимн земле-роженице и человеческому кропотливому и неустанному пособию ей в вынашивании плодов, это песнь величию и чистоте человеческих рук и душ, тянущихся друг к другу, чтобы ни у кого ни в чем не было недостатка. А если навеется кому в голову случайная и кислая, точно в недозрелом плоду, мысль: как же, мол, при таком изобилии процветает такая бедность? — гоните ее прочь. От одной картины этого великого

благополучия можно насытиться и усладиться с лихвой всем, кому только захочется. Рынок в августе — это такая же демонстрация нашей непобедимости, как военный парад в красные дни национального торжества; это такой же фейерверк рассыпающихся на гирлянды разноцветных огней, как праздничный салют.

Вполне могли казаки гуртоваться, чтобы полюбоваться на это дивное, редко когда выпадающее зрелище, к которому не может быть равнодушен никакой человек. А могли явиться и с взыском, такое тоже бывало.

Так оно и вышло в этот раз. И вовлекло в свою бучу Ивана. Потом город, не соглашаясь с газетами, говорил, что казаки пришли, чтобы взять и сдать в милицию не то азербайджанца, не то чеченца, который в определенный час отрывался от прилавка с фруктами и спускался в общественный туалет, где вручал «агентуре» для распространения «взятки», порции наркотика. Среди тех, кто потом этими дарами пользовался, оказался и сын казака. Казаки умеют снимать показания, и сын показал на снабжавшего его зельем, а тому пришлось показывать на «источник». Казаки явились вшестером, но о мере наказания заранее не договорились и еще

при подходе громко обсуждали, сдать им чеченца или азербайджанца в милицию сразу или прежде публично тут же, на рынке, выпороть, а уж потом сдать. Чеченец или азербайджанец успел скрыться. Разъяренные казаки с криком набросились на его друзей кавказцев, те ответили издевательским гвалтом — слово за слово, угроза за угрозу, казаки были дурнее, кавказцы злее и наглее; казаков взбесило еще и то, что кавказцев в минуту набралось втрое-вчетверо больше, чем их; казачья честь оказалась в опасности. И — взорвалось! С переполненных, густо усыпанных горками, рдеющих и переливающихся всеми цветами радуги рядов полетело на землю, рассыпалось, захрустело под ногами; загремели сброшенные орудия торговли, заголосили бабы, вмиг наскочила беспризорная ребятня. Казаки рывками двигались друг за другом вдоль рядов и с ревом сметали с них все до полного опустошения. Иван и сам не помнил, как он оказался рядом, — и тоже с криком и неистовством переворачивал, сталкивал, отпихивал, орудуя руками и ногами, надвигаясь и отступая, как в ритуальной пляске. Потом сцепились и бешеным орущим клубком принялись дергаться и кататься из стороны в сторону. Кавказцы одолевали:

одного казака распяли на асфальте и всаживали в него пинки; другой, оглушенный чем-то тяжелым, сидел на земле и мотал головой. Только один мужичонка из местных и подскочил на помощь; маленький, юркий, с подпрыгивающей, как мячик, лысой головой, он взмахивал короткими руками так удачно, что успел вызволить из кавказского плена двоих казаков, прежде чем согнулся от тяжелого пинка. Пинали и Ивана, пинал и он… Кавказец с оскаленными зубами кинулся на него — Иван, отступая, споткнулся о чье-то распластанное тело, упал, успел кувырком откатиться, вскочить и локтем садануть в подвернувшийся тугой живот, пробив его до утробного всхлипа. Потом кто-то схватил его сзади за шею и сильно сдавил; он чуть не потерял сознание. Его встряхнули и развернули — перед Иваном громоздился милиционер и наяривал в свой свисток. Одной рукой милиционер держал Ивана, другой норовил сграбастать прыгающего рядом казака. И тут Иван рванулся, оторвался и сиганул в распахнутую дверь крытого рынка, в его густое многолюдье. Но когда он, потолкавшись в нем минут десять и переведя дух, собрался выйти в улицу с противоположной стороны, там, в отдалении, чтобы обозревать сразу все три

выхода с рынка, зырился на них в боевой стойке все тот же милиционер.

После этого Иван решил перебраться на дачу и до школы не появляться в городе. Тем более что дело о нападении на кавказцев, как и следовало ожидать, уже было заведено. Правосудие вовсю шустрило, чтобы угодить газетам. Хватит приключений. Да и привести в порядок разбитое лицо, с впечатанным под левый глаз радужным синяком и разорванной губой, тоже лучше всего было там, в одиночестве и раздумьях, что же это происходит и с ним, и вокруг него.

Но недолго он и предавался размышлениям, хорошо или плохо это было, что он ввязался в драку, недолго и мучился совестью. Ввязался — потому что покусывало, саднило внутри болью от бездействия и безволия, требовало хорошей встряски. Вот она и подвернулась. Что дальше — видно будет. Пойдет в школу — невольно отступит опять в возраст и положение недоросля, примет полагающиеся правила, из которых он вырос, и надо будет почти год ежиться в них, пока не выйдет на полную свободу.

А пока… пока дни за днями проходили у Ивана в приятном и каком-то приподнятом, сытящем его безделье. Никто не мешал ему, не командо-

вал и не направлял, и не было у него, казалось, даже перед собой никаких обязанностей. Соседи справа уезжали в эту пору на своем катере на Байкал, а соседи слева за густо разросшимися кустами малины были не слышны и не видны. Грядки без матери запущены были с весны, но в густой и сопревшей, лежавшей мочалкой траве сидела крепкая морковка, за дровяником среди хлама расползлись по сторонам и ровно горели глянцевым золотистым светом кабачки, под неокученной и тонкой, казавшейся дикой, картофельной ботвой прятались изрядные клубни. И теплой печалью ложилось на сердце: забросили посадки, а они сумели сами постоять за себя и взять у навалившегося на них беспрепятственно полчища сорняков и корм, и влагу, и солнце. На ягодных кустах и сквозь дубраву крапивы и осота чернела и краснела смородина, багровел полосатый крыжовник… И все это в тихие и солнечные дни сидело смиренно и терпеливо, приготавливаясь опасть вместе с листом и уже опадая… Иван ленился готовить себе обеды и по часу-полтора пасся в ягоднике, грыз морковку, а вечерами, вполне сытый и умиротворенный, окунался в печаль уходящего лета. И расслабленно и приятно ощущал, как она, эта

печаль, чуть колеблющимся, чуть волнующимся дыханием вплетается в его дыхание. Это было внове, и Иван затаенно прислушивался к себе. До того он знал два состояния погоды — плохая и хорошая, удобная и неудобная для прогулок, а оказалось, что выпадают часы и дни, благоприятные для созревания глубинных чувств и проницательности: смотришь и видишь скрытое, неразличимое в другое время, чувствуешь, как открываются в тебе какие-то поры и сладкая мука жизни вливается в них и начинает щемить сердце. В тысячный и тысячный раз смотрел он в обращенный к Байкалу раствор ангарской мощной струи, то темной, то голубой, то серой, то гладкой, то бьющейся в волнах, но впервые, заскользив по ней все быстрее и быстрее, он вдруг поднялся в высоту и с восторгом, паря как птица, разом охватил и впустил в себя все далеко живущее вокруг по обоим берегам реки. Для чего-то поспевал он неведомого, какие-то пробивались в нем новые чувственные струи. И так приятно, так сладко было обмирать, внимая этому новому дыханию, которое, казалось, навеивалось со стороны!

Из невольной вины перед заброшенным, еще совсем недавно казавшимся таким сильным

увлечением он взял с собой из дому на всякий случай книгу пословиц русского народа и церковно-славянский словарь. И на всякий же случай из того же чувства вины на третий или четвертый день раскрыл словарь. Полистал, вслух повторяя осторожно и трогательно, словно пробуя на вкус и боясь вспугнуть: лепота, вельми, верея, чресла, навет, златозарный, светосиянный… и откинулся в изнеможении: что это? Если бы отыскался человек, воспитывавшийся в глухом заточении и никогда не слышавший слов: мама, люблю, дорогой, спасибо, никогда от рождения своего не ведавший ласки и не засыпавший под колыбельную, он бы их тотчас понял и узнал при встрече, потому что он и не жил без них, все ждал и ждал, когда прикоснется к нему волшебная палочка их звучания и оживит его. Иван точно клавиши перебирал, и дивная музыка узнавания звучала в нем мягкими и торжественными аккордами. Все эти слова, все понятия эти в Иване были, их надо было только разбудить… все-все знакомое, откликающееся, давно стучащееся в стенки… Это что же выходит? Сколько же в нем, выходит, немого и глухого, забитого в неведомые углы, нуждается в пробуждении! Он как бы недорожденный, недораспустившийся,

живущий в полутьме и согбении. «Душу мою озари сияньми невечерними», — пропел Иван, заглядывая в словарь и опять замирая в восторге и изнеможении.

Нет, это нельзя отставлять на задний план, в этом, похоже, и коренится прочность русского человека. Без этого, как дважды два, он способен заблудиться и потерять себя. Столько развелось ходов, украшенных патриотической символикой, гремящих правильными речами и обещающих скорые результаты, что ими легко соблазниться, еще легче в случае разочарования из одного хода перебраться в другой, затем третий и, теряя порывы и годы, ни к чему не прийти. И сдаться на милость исчужа заведенной жизни. Но когда звучит в тебе русское слово, издалека-далёко доносящее родство всех, кто творил его и им говорил; когда великим драгоценным закромом, никогда не убывающим и не теряющим сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная подлинную цену; когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон и обвязанных одной вереей многоверстовой колонны молодых русских женщин; когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников; когда безошибоч-

но знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготовляя такие речи, лучше которых нигде не сыскать, и как напитать душу ребенка добром, и как утешить старость в усталости и печали — когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанными родовой кровью, — вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времен оно само по себе непорушимая клятва и присяга. Есть оно — и все остальное есть, а нет — и нечем будет закрепить самые искренние порывы.

До конца недели все так же простояло в полусолнце, в полудреме, было тепло и тихо, и все так же располагало к тому, чтобы заглядывать в себя и искать перемен. Но хотелось уже и движения. Поднимаясь от залива с ведром воды, наткнулся Иван взглядом на лодку на каменишнике, второе лето ни вперед, ни назад, ни на яр, ни в воду, и захотелось ему столкнуть ее и поплавать. Теперь все на мощных моторах, на водных мотоциклах, на яхтах, рев по вечерам среди лета стоит такой, что хоть убегай, а взять бы да потихоньку, почмокивая веслами и прихлебывая ладонью из-за борта, тянуться и тянуться куда-нибудь на противоположный берег, безлюдный

и сухой, с уютными каменистыми лагунами. Захотелось и захотелось до безудержу — скатил Иван лодку в воду, а из всех щелей фонтанчики. Они еще больше раззадорили. И полдня конопатил он донельзя рассохшуюся лодку, вгонял долотом паклю в дыры, на ряд накладывая ряд и закрепляя клейкой лентой. Заварить было нечем; прошелся по швам старой краской — вроде держит. Вытесал из сухой доски что-то похожее на одноручное весло, подхватил котелок, чтобы вычерпывать воду, и оттолкнулся.

Но и правда хорошо было на том берегу: вода теплая, берег чистый, спускается к нему от поляны с березками выстеленная ковровой дорожкой мурава, близко заливается кукушка… до того близко, что слышно, как после каждого «ку-ку» сглатывает она воздух. Иван лег в воду, положив голову на белый камень-валун, слушал в полудреме, не веря кукушке, но и подбадривая ее: давай-давай — пригодится. Нежными вздохами плескала вода, с берега тянул запашистый зной, белесое, томное небо висело в такой недвижности, словно остановилось время.

Обратно Иван перегребал часа полтора. Не столько греб, сколько вычерпывал: залитая водой лодка угрузла и подвигалась плохо. Вся его

работа, размокнув, пошла насмарку: краска отстала вместе с лентой, пакля тянулась за лодкой бородой. На быстрине лодку снесло далеко вниз, и, выгребая, Иван с непривычки натер на ладонях волдыри.

На берегу его поджидал мужик — с брюшком, с лысиной, с разгоряченным одутловатым лицом; не часто бывая на даче, Иван не знал его. В руках мужик держал камень, поигрывая им, нервно перебирая, чтобы камень был виден.

— Ты! Подонок! — завопил он, едва лодка заскреблась о берег. — Ты что, подонок, себе позволяешь?! Тебе жить надоело! Насобачился угонять!

Иван растерялся, стал оправдываться:

— Да я прокатиться только… Она же стояла тут никуда не годная… Я проконопатил ее…

— Я тебе счас проконопачу!..

Он шагнул вперед, Иван спрыгнул в воду и, быстро нагнувшись, выхватил из-под ног камень, который был поувесистей, чем у мужика. С минуту они стояли друг против друга в молчании.

— Ты! — в тон мужику, стараясь быть спокойным, сказал потом Иван. — Ты слышал… — он не сомневался, что в их небольшом поселке об этом слышали все. — Слышал ты, что недавно

одна женщина прямо в прокуратуре пристрелила… — пришлось поискать слово. — Пристрелила такого же налетчика, как ты! Это моя мать.

— Щенок! — завопил мужик. — Ты еще пугать меня!..

— Этот щенок тоже умеет кусаться больно.

И, отбросив камень, Иван нарочито близко, едва не задевая, прошел мимо мужика и поднялся на яр.

Через час, остынув, он вышел взглянуть: мужик и не подумал вытаскивать свою лодку — так она была ему нужна! Ивану удалось перевернуть ее в воде и с кормы, поддергивая из стороны в сторону, юзом втолкнуть нос на сухое, а уж потом полностью вытащить лодку на берег. Только установив ее в ту же самую канавку, в которую она была погружена, Иван окончательно успокоился. И решил: все, хватит прятаться, пора возвращаться в город и искать настоящего дела. Ему хотелось поправить себя: не просто дела, а деятельности… Но нет, на такое замахиваться рано, руки коротки. Достаточно неслучайного полезного дела. Надо найти людей, умеющих извлекать корень квадратный из всех нагромождений и конструкций, в которые превращены поиски родного.

* * *

Суд над Тамарой Ивановной состоялся в середине сентября, через три с половиной месяца после возбуждения уголовного дела. Защитника пришлось все-таки взять, на этом настоял Демин, он же выложил деньги. Но лучше бы его и не брать. Тамаре Ивановне он не понравился сразу: с большим лбом, глазами навыкате, пухлыми щеками и маленьким острым подбородком; слова катятся, как горошины под уклон, понимать трудно. На суде он взялся наводить тень на плетень, зачастив о невменяемости подсудимой во время совершения преступления, и Тамара Ивановна, не дожидаясь, когда ей дадут слово, выкрикнула, что это неправда: какая могла быть невменяемость, если она загодя готовилась… Тогда, заглядывая в судебно-психологическую экспертизу, защитник заговорил столь мудреными словами, что никому из простых смертных понять их было не дано.

Обвиняемая полностью признавала себя виновной, представителей потерпевшего на суде не оказалось, преступление было совершено без отягчающих обстоятельств, мотивы преступления очевидны — суд от начала до конца

прошел спокойно, даже залу, человек в сорок-пятьдесят, собравшемуся для поддержки Тамары Ивановны, не пришлось выплескивать заготовленные эмоции. Прокурор не гремел обличениями, как кандалами, судья вздыхал, и когда выслушивал других, и когда сам говорил, у адвоката красноречие было невнятным, да оно и не требовалось, у зала не было причин для шума и волнения. Все словно чувствовали себя виноватыми и прятались за процедуру суда, необъяснимая тяжесть висела в воздухе. Через три с половиной часа после начала заседания объявили приговор: шесть лет содержания под стражей. Тамара Ивановна приняла приговор не вздрогнув, родные были в растерянности, не понимая, много это или мало. Дали Тамаре Ивановне последнее слово, и она сказала:

— Виновата — буду ответ держать. Сделанного не воротишь. А я и не жалею о сделанном. Теперь мне каторга шесть лет, а если бы насильник ушел безнаказанным, — твердо подчеркнула она, — для меня бы и воля на всю жизнь сделалась каторгой… — Она еще не знала или не хотела говорить, что не миновать ей этой пожизненной каторги под спросом совести и теперь… — Подавать кассацию не буду. Что заслужила — все мое.

Судья вздохнул еще громче и протяжней и не стал препятствовать, когда родные окружили осужденную и Светка прильнула к ее груди. Тамара Ивановна и тут держала себя твердо, обняла Светку, потом Ивана; охранник заторопил ее, и мужу с отцом она только кивнула и ушла не оборачиваясь. Зал стоя устроил ей овацию.

Перевели Тамару Ивановну в женскую колонию в девяноста километрах от города, стала она там шить телогрейки.

Светка все реже заходила домой, только чтобы взять остававшиеся здесь вещички, и двигалась по квартире медленно и настороженно, точно чего-то боялась или никак не могла вспомнить, что ей тут еще надо. К Ивану не обращалась иначе, как Иванка-философ, песенно и фальшиво протягивая эти слова, за которыми обычно больше ничего и не следовало. Наткнется на Ивана, пропоет, узнавая, и отходит; но и он тоже отделывался шутками.

«Она твоя сестра, она твоя несчастная сестра, поговори с нею», — внушал он себе. Но о чем, о чем? Успокоить ее он бы не сумел, да и обидела бы Светку жалость; говорить ей, как он говорил себе, что необходимо создавать из себя крепкий орешек, чтобы устоять перед безжалост-

ными жерновами жизни, было некстати. И оба они, чувствуя кровное тяготение друг к другу, но, не умея сблизиться, чувствовали и невольное облегчение, когда расходились.

Отец, став зарабатывать, совал им деньги; Светка безучастно брала, Иван у отца на глазах засовывал их в шкатулку на шкафу для общего пользования. Демин смотрел-смотрел однажды на Ивана, вылезшего из всех отверстий своего старенького пиджака, и окликнул Анатолия: «Ты посмотри, отец, ты все его за цыпленка держишь, а он уж в петуха вымахал. Ты посмотри: ему в этой поддевке и пупа не спрятать». И верно, Иван только за последние месяцы без матери вымахал так, что не наахаешься, а взглянуть на себя не умел, этим всегда занималась мать.

В школу он ходил без удовольствия, там были одновременно и каторга, и карнавал с переодеванием, к прошлогодним новациям добавились свежие, каждый день по семь-восемь уроков, а на русский язык час в неделю, на отечественную историю тоже час, второй час отдали журналистике. Три программы на шее — общероссийская, местная и особо своя, школьная, с набором факультативов, все решительней занимающих главное место. Превращалась школа в старую

клячу, неспособную тянуть телегу со всеми, кто в нее понавскакивал. А упадет она от бессилия, эта кляча, и добьют, исколят своими острыми указками расплодившиеся «культурологи» и потребуют огонь-скакуна, у которого бы искры летели из-под копыт, когда помчит он по безбрежным мировым нивам.

Порой от всего-всего, и от домашнего, и от школьного, так становилось тошно, что хоть сбегай куда глаза глядят. Но школу дотянуть надо, а там… Там был какой-то обрыв, в скрытых глубинах которого ничего не разглядеть. В университет он не пойдет, там сейчас не рассветная пора, раскрывающая глаза на мир, а барахолка, ярмарка тщеславия и вкусов. В настоящий университет не попасть, их немного совсем и осталось, настоящих-то, а эти, самозваные и скороспелые, блистающие наготой… чур-чур от них! От армии он прятаться не станет, а год до армии… не потерять бы только и этот год, прожить его с пользой, выстроить ступеньку, на которую потом можно опереться. Да, придется быть «упертым», иначе нельзя. Иван все же изредка пробовал размышлять, где, на какой стезе лучше всего было бы «упереться и не даваться». Да везде, везде это потребуется, везде зашаталось

и сквозит, задувает. Вот хоть школа… он бы, пожалуй, мог пойти в педагогический, чтобы учить потом ребятишек русскому языку… у него бы, пожалуй, получилось. Ну-у, нет! И не тетрадки его пугали, с тетрадками он бы как-нибудь справился, привык… Но уже вовсю шли у них в школе разговоры о реформе русского языка, которая позволит писать так, как слышится, и избавиться от вековечных норм правописания; уже открыто в присутствии учеников заявляли учителя-словесники, что реформа эта убьет окончательно грамотность; уже появились в школе дразнилки: «ты карова через «а», «ты заиц через «и», и уже непроизвольно, как атмосферное давление перед переменой погоды, падало усердие и учителей, и учеников. И получалось, что еще и не объявленная, еще и не вступившая в свои права реформа свое дело делала. А что будет, когда ее запустят?

В середине октября холодным вечером в конце недели позвонил Иван Савельевич и, услышав, что Анатолия нет, покряхтывая болезненно в трубку, сказал Ивану:

— Приехал бы ты ко мне, парень… Я тут принемог… у меня тут трын-трава…

«Трын-трава» — значит, что-то неладное. В субботу, после школы, Иван поехал. Иван Савельевич

был на ногах, но глаза впавшие, полумертвые, плечи обвисшие, ноги в валенках, в избе не протоплено. Он не стал тянуть, рассказал:

— Николай потерялся. Боле двух недель нету. Об эту пору такое не должно быть. Там, в тайге-то, поди, уж снег лег. Там и брать теперь нечего.

— Искать, наверно, надо… — что мог еще сказать Иван?

— Позавчера двое охотников ушли, вчера воротились. Никаких следов. Где его логовище было — никто не знал. Где искать — неведомо. Пытал не раз: «Где ходишь?» — «Везде по дороге на Косую степь, и по левому хребту, и по правому». А я там не бывал, мне тутошняя тайга чужая. Шоферов хожу прошу: поглядите. А далеко ли они наглядят?..

И поднялся, взялся растапливать печку, загремел чайником. Низкое закатное солнце, побледневшее и сжавшееся, смотрело прямо в окно, жиденьким пятном лежало на беленом боку печки и зябко подрагивало от набирающегося тепла. Почуял тепло и подросший котенок, вспрыгнул из комнаты, которая летом была девичьей, и, оттягивая по очереди то левую заднюю лапу, то правую, морщась и зевая, смотрел на Ивана.

— Подрос, — сказал о котенке Иван Савелье-

вич и с горечью добавил: — Летом для девчонок забава была, теперь на мое попечение перешел. Кобель да котенок — вот и вся живность, все крестьянское хозяйство. Молодок я своих прикончил, поросенка не стал больше заводить. Картошку-то почему не берете? — вспомнил он. — Полное подполье картошки. Мне одному она невпроед, сгною добро. Картошка нонче хорошая… У матери твоей рука легкая, это она садила. Я, как знал, остерегал: куда столько? «Все подберем, — говорила, — зима долгая». А теперь уж и зима подступила, и ни одной картофелинки не взяли…

— Увезу завтра сумку, — пообещал Иван.

— А летом как хорошо было: и Дуся со мной, и Светка. Больно смотреть на них, что на ту, что на другую, а рядом — и теплей, и все одно обнадежа, глаза смотрят вперед, а не позадь себя… — Откашлявшись, Иван Савельевич не удержал свою боль, спросил: — Что ж это, парень, нас так бьет-то? Раз за разом, раз за разом.

Иван промолчал.

— Если не сыщется Николай — да ведь это же что?! Это же хуже некуда.

— Не хорони раньше времени…

— Да я похоронить-то рад бы! Я не похоронить боюсь! — выкрикнул Иван Савельевич и оборвал

себя, затих и поднялся найти табак. Когда воротился, жадно хватая дым, Иван предложил:

— Давай я схожу папе позвонить, чтоб он не терял меня. А сам останусь. Завтра воскресенье, завтра можно поехать поискать.

— Чего мы с тобой наищем… в незнакомой-то тайге… — не сразу отозвался Иван Савельевич. — Я так и не ходок уж по горам да колдобинам, не осилю. Нет, надо мужиков нанимать с вездеходом. Завтрашний день еще подожду, вдруг да солнышко для меня в остатный раз выглянет… А ты ночуй. Ночуй, парень. Вот только электричеством я тебе посветить не смогу, не бывает у нас электричества. А керосинка есть. Не пропадем.

Легли рано, Иван в девичьей, Иван Савельевич в прихожей на своей деревянной кровати с высокой гнутой спинкой. Оставили на столе лампу с подвернутым фитилем, на всю избу стоял крепкий запах горелого керосина, круглое световое пятно на потолке, как бабочка, дрожало, билось, внизу висела полутьма.

— Дедушка! — окликнул Иван. — А разве дядя Николай не с собакой ушел?

— Он с собакой ушел, а дня через два она прибежала обратно. Это не впервой, это бывало и раньше. У нас беспутный кобель, любит бегать

неведомо где. А он бы и путный… В тайге собака любит при деле быть. А ежели хозяин без ружья, на лай не идет — никакой собаке это не поглянется. Ей скучно, она сбежит.

— А потом может обратно прибежать?

— Может прибежать, а может и не прибежать. Наш кобель приповадился к бродячей жизни, он на цепь идет, только уж когда совсем оголодает.

— Мне послышалось, будто с заплота кто спрыгнул…

— Ну-ка… — Иван Савельевич быстро поднялся и, не одеваясь, вышел, послышался его зовущий голос: — Буран! Буран! — Тишина, снова голос, надтреснутый, «осколочно-фугасный», как он сам говорил, и снова долго ни звука. Вернулся со вздохом:

— Нет, нету. Почудилось. Спи, парень, в деревне тебе должно хорошо спаться. Всласть.

Сам же позвал спустя десять минут:

— Спишь, парень?

— Нет.

— А ведь мы с тобой впервой в одних стенах ночуем. Я вспоминал-вспоминал: тебя и маленького на ночь не оставляли. Это неладно. — Иван Савельевич опять поднялся, босыми ногами, ступая на них бочком, подковылял к столу, со чмоком,

втягивая воздух, прикурил от лампы. И пожаловался: — Тяжелы для стариков ночи, ох тяжелы. Хужей любой работы. Я подумал счас… а ведь у меня здесь и сын мой старший, твой старший дядя, дядя Вася, за пятнадцать лет один только раз побывал, три ночи ночевал. Да и то — на похороны… мать хоронили. Ладно это? Писульками отделывается. Два раза на году, под Новый год и под День Победы шлет горячие поздравления. И на том, конечно, спасибо, да ведь это что же? Это кровь замолчала. Прописал ему слезами про мать твою, а он: жалко сестру. Да разве это жалко — печатными буквами отозваться, что жалко? Вот, Иван! Скажи ты мне на свой молодой ум… скажи, отчего это у нас в народе кровь такая молчаливая… такая вялая на родство? Будто и родных нет, а все троюродные да сводные. Или это неправда?

— Не знаю, — смешался Иван. — Не думал. По-моему, неправда. Вон мама… И мы с тобой…

— Однако и правда, и неправда, — вздыхая, сказал Иван Савельич. — И то и другое, однако… Я на всякое насмотрелся. У нас и внутри нас идет нешуточная перетяга: кто победит. А вот кто победит — сын мой старший, который мне горячие приветы шлет, или дочь моя, у которой кровь

вскипела, когда ее дитя обидели? А в результате — второй мой сын, Николай… Где вот он? Эх, Колька, Колька, бедовая ты голова!

Иван Савельевич со всхлипом вздохнул и добавил:

— А разобраться если — все трое бедовые головушки! Никому не позавидуешь. А Николай бедовее всех. Неглупой был парень, добрый, а где доброта, там и слабость.

Чадила лампа, стекло покрывалось копотью, еще сильнее пахло керосином, болезненные пятна слабо порхали по стенам. Иван Савельевич несколько раз порывался задуть лампу, но останавливала опаска: как же совсем без огонька, как же не посветить надежде, которая, быть может, пытается найти к ним дорогу? Иван задремывал и, лежа на спине, сам себя слышал, как он пускает всхрапывающую фистулу, обрывал ее, поворачивался на бок, но в это время раздавался шлеп собачьих лап о землю. Казалось, кобель спрыгивал раз за разом, чтобы обратить на себя внимание; Иван ждал: вот сейчас раздастся лай, вот сейчас… Нет, было по-прежнему тихо. Луна вышла поздняя, неяркая, и только тогда с шепотливым бормотанием и задул Иван Савельевич лампу, выругался от фукнувшей

в нос керосиновой гари, постоял перед окном, в котором в знобком оцепенении лежала ограда, и торопливой рукой перекрестился.

* * *

Погода повернула на зиму рано, еще не сошел октябрь. Задул пронизывающий ветер, какой-то бешеный, продирающий каждую улицу, как при уборке, вперед-назад, понесло мелким колючим снегом, на полнедели упали сумерки. И Анатолий, долго державшийся на пределе терпения, — будто в пропасть скатился: вконец опустились руки, сдавила жестокая хандра, когда ни-чего не надо. И себя не надо, так бы ухватил себя и с размаху об угол, чтоб дух вон. Но духа-то уже и не было, превратился в мешок. Везде пустота с холодным сквозным ветром, везде невыносимая горечь, забивающая дыхание… Он позвонил Демину, теперешнему своему начальнику, и сказал, что на работу не выйдет, нет мочи. Тот загоготал: «Нету мочи — чем помочи?» — «Не трогай ты меня дня два-три, — попросил Анатолий. — Оклемаюсь — сам приду. Чего-то увял». Демин принялся объяснять, что в его годы таких болезней не бывает, надо взять себя в руки, но Анатолий не стал слушать и положил

трубку. Может, и верно, что ни у кого больше не бывает, а у него бывает. И еще тошней стало Анатолию. Он лежал пластом на диване в прихожей, поближе к двери, и время от времени громко отдыхивался, пытаясь вытиснуть пустоту. Прибежал из школы Иван и не нашел ничего лучшего, как напевать с приплясом: «Я те рожу растворожу, зубы на зубы помножу!»

— Чего это ты? — взмолился Анатолий. — Совсем очумел?

— Но ты вникни, папа, как сказано! — Иван с карканьем пропел еще раз. — Какая поэзия даже в угрозе! И это не из книжки, я это на улице, в нашей буче кипучей, услыхал. Или вот еще: «Господи, прости, в чужую клеть впусти, помоги нагрести да и вынести!» Это же надо так выразиться! Целая философия в трех словах!

— О-о-о! — застонал Анатолий и по-стариковски, шаркая тапочками, заковылял в спальню, осторожно, как в могилу, опустился в постель.

А ведь эта черная немочь, это бессилие подготавливались в нем давно. Еще в ту майскую ночь, когда они с Тамарой Ивановной везли в трамвае Светку на экспертизу, в ночь, которая громоздким и унизительным памятником закаменела в его сердце, почувствовал Анатолий

от предельной натуги в себе какой-то обрыв, что-то лопнуло внутри, послышался словно бы всхлип, и жаром обдало нутро. Потом это повторялось — и когда дал ему следователь прочитать показания дочери, и когда там же, в кабинете Цоколя, услышал он, на какую расправу решилась Тамара Ивановна, и еще несколько раз позже, казалось бы, совсем ни с чего, от одного лишь неосторожного движения — будто раз за разом из какого-то поврежденного пузыря под давлением выходил в нем с этим самым всхлипом дух. Выходил, выходил — и вот весь вышел. Стало пусто и гулко: ветер, задувающий на улице, задувает и там, в его полости, боль, как желчь, разлилась и все собою загорчила, а в сердце тычутся иголки, пробующие, живо оно или нет. Только на приглушенные стоны и хватало сил; Анатолий сознавал, что он мог бы и не стонать, что это стонет в нем жалость к себе, но и она, жалость, была жизнью, за которую он хватался, и она давала видимость облегчения.

Он промаялся так весь день, не выходя на улицу и с отвращением выглядывая в окно на серый, треплемый ветром, свет. Все одно и то же, одно и то же — когда это кончится? Ночью лежал в страхе: надо бы хоть ненадолго забыться, а за-

биться не получалось, а, значит, еще больше изнемогал. И опять смотрел с кровати на бьющийся в окно липкий снег, рвущийся, казалось, к нему, чтобы окончательно застудить сердце, на раскачиваемые голые и черные деревья, до жути уродливые, с обрезанными верхушками и мертво растопыренными ветками. И опять темнота, вечерняя или ночная, — не хотелось и узнавать. Иван появлялся и исчезал, поняв, что с отцом неладно, с тревогой всматривался в него, лежащего, спрашивал, не надо ли лекарств, напоминал о еде. Анатолий молча отмахивался, боясь показать слабый, ставший писклявым голос, но внимание сына было приятно. Приходила в голову несусветная глупость: вот если бы ворвался сейчас с невиданным буйством ветер и выкинул его в окно — ведь пришлось бы, хочешь не хочешь, есть силы или нет, а подниматься на ноги и искать спасения… пришлось бы, пришлось! И, кляня себя, Анатолий поднялся, вспомнил о «санитарной» склянке спирта в шкафу, тяготясь лишним движением, из склянки же и сглотнул, потом еще раз, задохнулся, закашлялся и осел на стул с молниями в глазах, с решительным ожиданием худшего.

После этого уснул.

Разбудил его громкий стук и голоса за дверью. Пришел Демин, рядом с ним торчало улыбающееся низкорослое чучело в зимнем бушлате, разрисованном разводьями отнюдь не фабричного происхождения, в черной вязаной шапочке и легких летних туфлях, обросшее пегой шерстью, с большим, оттягивающим руку, пакетом, разрисованным похожей же рожей.

— Посмотри, кого я тебе привел! — загудел Демин, проталкивая вперед чучело. — Не узнаешь нашего друга-товарища?

Анатолий, вглядевшись, узнал: это был старик из общежития для малосемейных, в комнатке которого сначала побывала Светка, а потом и они с Тамарой Ивановной.

— А это еще зачем? — обрадоваться появлению такого гостя было невозможно. Анатолий смотрел на него с отвращением.

— А он, понимаешь ли… — Демин, никогда не чувствовавший себя виноватым, заговорил витиеватей: — Он тут у вас, понимаешь ли, золотодобычу ведет. Иду я мимо, а он рожу на меня… На роже написано: нашел! Довольная-предовольная. Не хочешь, да позавидуешь.

— Не пойму.

— Контейнеры тут у вас во дворе шурудит.

Санитар-приискатель. Самородки выуживает. И неплохо живет. Посмотри ты на него. Очень даже неплохо.

— Удружил…

— Ну, а как было не показать его… Посмотрим. Или шкуру с него сдерем, или пятки поджарим, или еще чего придумаем. Нельзя же было упускать такую личность.

Старик, склонив голову набок, на правое плечо, лаская мехом воротника щеку, продолжал счастливо щериться. Это была и не улыбка, и не оскал, а какой-то странный зигзаг на лице, какой-то невинно-порочный, отталкивающий и одновременно притягивающий, перекосивший лицо так, что одна его половина имела страдальчески-беззащитное выражение, как бы говорившее, что человек этот еще не окончательно погиб, а на другой, дергающейся, торжествовал, ухмыляясь и подмигивая, порок.

— Из общежития поперли тебя? — спросил Анатолий с мукой: вот и ворвался в его укрытие буйный ветер, вот и выбросил его в улицу, где потребуются силы вдесятеро больше того, что у него осталось.

— Поперли.

— Правильно сделали. Тебя гнать мало, тебя

на березе надо вздернуть.

Старик принял полную покорность судьбе и сказал, пришамкивая:

— А я тут рядом живу.

— Квартиру купил?

Старик хохотнул и оставил рот открытым. Анатолий содрогнулся: за те три или четыре месяца, что они не виделись, старик, как семечки, выщелкал остатки своих зубов, только по углам рта торчали развалины двух клыков. «А ведь ему все нипочем, — с завистью подумал Анатолий. — Ни угрызений, ни уныния, ни заботы о завтрашнем дне — ничего. Что же это — бесстрашие теперь такое перед сломной жизнью, инстинкт самосохранения или слепое и глухое вырождение без всякого чувства вины и жалости к себе? Нет, что это такое? Когда бы не он — не случилось бы, наверное, случившегося со Светкой, не случилось бы потом с Тамарой Ивановной… А он стоит теперь как ни в чем не бывало и лыбится, встрече рад, друг-товарищ…»

— Демин, — попросил с последней мукой Анатолий, — убери ты эту образину отсюда. Убери, не могу я его видеть. Я всерьез говорю. Не могу.

А через полчаса сидели втроем за кухонным

столом и пили чай. К чаю стояла опорожненная наполовину, доставленная Деминым для оживления Анатолия бутылка коньяка. Демин, размахивая руками, вскакивая и усаживаясь, недовольно озирая тесную кухонку, разглагольствовал, обращаясь к старику:

— Ты, конечно, тварь, букашка-козявка, но ты загадка. Тебя это… препарировать надо и заспиртовать… — Старик согласно кивал головой. — Чтобы и через сто лет люди смотрели и морщились: экая бесстыжая бестия! Чтобы до тебя доразвиваться, чтобы, значит, тобой оказаться, такой рожей, как ты, человеку требуется целая историческая эпоха. А ты… вот он ты, как тут и был. А ведь мы тебя так скоро и не ждали… Не подготовились.

Старик слушал, усмехаясь, кивая, поглядывая на недопитый коньяк. Демин заставил его помыть голову в трех водах и в пяти водах с хозяйственным мылом лицо, и старик преобразился, на голове обнаружились желтые седые волосы, будто он их чем-то, какой-то гадостью, травил да недотравил, а на лице за желтыми же зарослями зарумянилась надраенная кожа. Рвань из нескольких рубах валялась у порога, старику был выдан черный, тоже повидавший виды, с ды-

рами в подмышках, свитер Анатолия. Натянув свитер на себя, старик все пробовал его на ощупь, удивляясь первозданной мягкости материи. Он уже успел рассказать, что поселился на соседней улице в подвале; в подвале этом еще недавно размещалась подсобка для слесарей и маляров, но ее под запал общей борьбы со старыми службами ликвидировали, а подвал заперли на висячий замок. Что ж туда не попасть! — всего-то сдвинуть решетку над ямой, в которую выходит подвальное окно, и выставить в окне стеклину. Влез, а там тепло, остались старые шкафы из-под инструмента, даже кой-какой инструмент остался, стол и лавка. И полным-полно коробок и ящиков, из них не одна лежанка может получиться. Чего еще и желать?! Казенный замок он сбил, навесил свой и заходит теперь, как все добрые люди, в дверь. Попервости побаивался, ждал темноты, чтобы нырнуть в свое логово, но скоро понял, что никому ни до него, ни до подвала дела нет, каждый уткнулся в себя и свое. И стал спокойно входить и выходить среди бела дня. Теперь телевизор ищет, старые телевизоры на свалке не в редкость, надо только с утра пораньше делать обход. Хорошие вещи днем стесняются выбрасывать — выбрасывают в темноте.

— Да-а, — выслушав старика, крякнул Демин. — Ловок же ты: своего нет, а чужое не упущу. Приватизация по-бродяжьи. Вот и спасись мы: сверху гребут и снизу тянут. — Демина не интересовало прошлое старика, он говорил с ним только в настоящем времени, и Анатолий с безразличием подумал, что это ведь теперь со всеми так: будто и не было прошлого, будто только-только соскочили с какого-то огромного транспорта, доставившего их на необитаемую землю, где не водилось ни законов, ни обычаев, ни святынь, и, расталкивая друг друга, бросились занимать места. В спешке и брани расхватали, что получше, а на всех не хватило, теплых и выгодных мест оказалось много меньше, чем охотников до них… И принялись скорей изобретать законы, которые удостоверили бы, что так тому навсегда и быть. Кто остался на бобах, те среди себя пусть устраивают иерархию на пустом месте низших над более низшими и над совсем низшими… И так быстро это размещение и разделение на высших и низших устроилось, что только разевай рот, как рыба на берегу, и хватай обжигающий воздух.

Демин разливал коньяк, подогревал за хозяина чай, а у Анатолия опять все поплыло-поплыло

перед глазами и замутилось в песочном мельтешении. Мохнатое лицо старика то приближалось вплотную и дышало вонью, то отстранялось с ухмылкой и дразнило. Что это — от слабости ударил коньяк или глаза ни на что не хотят смотреть? Со скрежетом, как несмазанные ворота, гудел бас Демина:

— Я тебя разгадать хочу. Вот ты сидишь именинником и облизываешься — наелся, напился и нос в табаке. А для чего ты живешь, скажи, какая у тебя цель в жизни?

— Я без цели живу, — отвечал старик, пришамкивая, прижевывая деснами слова, и спрашивал в свою очередь: — А у тебя какая цель?

— У меня цель — человеком остаться. Понял ты меня? Хоть что будь — хоть землетрясение, хоть снегозадержание — «снегозадержание» случайно попало Демину на язык, но и оно пошло в дело. — Теперь человека из себя вытряхивают прямо безрассудно, как будто ни одного грамма полезного вещества в нем не осталось. Сдают за копейку… Приемные пункты для порожней этой тары чуть не на каждом углу и даже в каждой квартирешке. Вот до чего дошло! Согласен ты со мной?

— Наполовину согласен, наполовину не согла-

сен, — уклончиво отвечал старик.

— Чего это ты, как девица: наполовину дала, наполовину не дала. Так не бывает. Где она у тебя, половина-то? — покажи мне ее. Не покажешь. — Демин запнулся, сердито косясь на старика, и продолжал, обращаясь уже к Анатолию: — Я раньше не понимал… да и не было этого, не было! Но как казалось: раз человеческий образ, то и человек. Один лучше, другой хуже, не без этого, но все люди — раз образ имеется. Каждого можно приспособить для полезного дела. Человек от человека происходит самосевом — ну и можно не задумываться об этом… кто родился — тот пригодился. А теперь что делается? Образ есть, а человека нету. Нету! Куда подевалось? Пусто! — Демин с отчаянным свистом выпустил из себя последнее слово и неподвижными, круглыми глазами, стоя, глядел ему вслед. — Как молотилку такую запустили на скрытной тяге, и она заработала во всю мощь. Тогда другой вопрос, — оборачиваясь опять к старику, потребовал Демин: — Кому это надо? Как так может быть, что человеку надо, чтобы в нем не было человека? Может такое быть?

— Может, — хохотнув, ответил старик.

— Чему, дурак, радуешься? — одернул его Де-

мин. — И как такое может быть, что человек в этом заинтересован?

— Вот ты же заинтересован… — У старика получалось «жаинтерешован», — чтобы перед тобой сидел дурак. Так и другие заинтересованы. Дураком и управлять много ума не надо. Подсунь ему, прямо сказать, в телевизоре права человека, а корку хлеба в натуре подсунуть забудь — ему и этого по гроб жизни хватит.

Демин, похмыкивая, с минуту внимательно смотрел на старика и сказал, обращаясь опять к Анатолию и не ожидая от него ответа:

— Посмотри, как заговорил, а! Как заговорил! Он не дурак… поговорить он умеет. Не дурак… Но — не человек! Дурак-то что… дураком тоже можно доброе дело закрепить. Я вот ржавый гвоздь, а потребуется мной доску прибить, я держать буду. А кто человека в себе потерял… это гниль, труха, одна видимость. Ни им забить, ни в него забить. А человека в тебе нету, — решительно определил Демин, нависая над стариком и отшатываясь от него. — Я не о том, что ты по помойкам промышляешь. Это твое личное дело. Всем нам нынче такие права дадены. Я вас жалею. Хочешь знать, я вас даже уважаю… за несчастье за ваше. Каждый может упасть.

Но только не на колени. В любом положении надо держать фигуру.

— Какая там фигура?! — Анатолий сказал и повел головой, озираясь: он это сказал или не он?

— Можно, — не согласился Демин. — И под забором умирать надо с пользой. Чтобы ты и мертвый… дай Бог вытянуть это слово… свиде-тель-ство-вал… во! свидетельствовал, а не валялся куском дерьма. Чтобы и на подзаборного на тебя глядючи, люди правду видели. Правда мертвой не бывает. Вот таких я всегда уважать буду, у них положения нет, а человек есть. А ты что? — взялся опять Демин за старика. — Смотрю я на тебя: а ведь ты везучий. Везение твое тараканье, а все равно… Тебя по правде надо было заодно с твоим «казбеком» прихлопнуть, а мы тебя коньяком угощаем, воспитательные беседы с тобой ведем.

Старик с разомлевшим кориcто-малиновым лицом покорно кивал, снова и снова просил чаю. За окном вдруг ярко озарилось и распахнулось — выдралось из небесной хмари предзакатное низкое солнце. Пришел из школы Иван и, полюбовавшись с минуту в дверях на забавную компанию, скрылся в комнате, в прежней Светкиной, в которой поселился теперь он.

— А бесполезно все это, — откидываясь на спинку стула и принимая независимое положение, с неожиданной твердостью заявил старик.

— Что бесполезно, о чем ты, дорогой?

— Бесполезно. Наша песенка спета. И стреляла она зря. Не остановить.

У Демина от удивления даже голос присел:

— Погоди, погоди… А ну-ка сначала. Это ты о чем-то серьезном. Давай разбираться.

— И с начала, и с конца одно выходит… Иссякли. Были, шумели и все вышли. Хоть Сталина зови, хоть Петра. Не поможет. Человек старится, и народ старится. Слабнет, переливается в другой народ. Закон природы.

Демин, придя в себя, загремел, одной рукой стиснув плечо Анатолия, другой старика:

— Да это же целая философия, философия прямо с помоек. Ты погляди на него! Чтобы оправдать свое ползучее положение, посмотри, какое они учение изобрели!

— Мы первые, а вы покричите, покричите да туда же… Чему быть, того не миновать.

— Врешь, никогда не бывать этому!

— Ты сам говоришь: человека не стало…

— Да не совсем же не стало! Ты меня на свою сторону не тяни!

— Не стало. Критический период наступил. Силы не стало, воли, фигуры, которую ты поминал… Бросились врассыпную кто куда. В прислугу перешли. Своих не любят, прямо сказать, ненавидят, перед чужими ползают.

— Как ты перед своим придурком-джигитом!..

— Как я, — спокойно согласился старик.

Демин то присаживался, то вскакивал, ощущая тесноту в том и другом положениях; наконец он решительно поднялся и скрестил на груди руки, как при окончательном решении, после которого остается только действовать. Голос его загремел с новой силой:

— Он говорит… он-то из своей щели говорит, ему, таракану, все можно, с него взятки гладки. Но ведь этакое не там только говорится. Это много где говорится. Ишь, наша песенка спета. Про песенку погоди, разберемся, — пригрозил Демин старику. — Но ты забыл сказать, что мы и никогда ни на что не годились… ошибка природы, наказание Божье, дурная болезнь… Это ведь тоже говорится! — Демин перевел дух и закричал: — Ива-а-ан! Не убежал еще? Поди сюда, послушай!

Иван подошел, в дверях навалился на косяк. Был он по-домашнему в майке, на которой кра-

совался бык с наставленными рогами. Демин настороженно покосился на быка.

— Слушай, Иван, тут вот говорят, очень даже убедительно говорят, что наша песенка спета. Русская, значит, песенка спета. Что мы уж ни на что не годимся, только свет впустую коптим. Ты у нас молодое поколение, как ты считаешь?

— Попоем еще, — улыбаясь, отвечал Иван.

— По-по-ем! — подхватил, зычно пропев, Демин. — Но ты это, — он опять обернулся к Ивану, — ты это так, к слову, сказал или вы там это обсуждаете? Сказать по-разному можно.

— Обсуждаем.

— И много вас, кто обсуждает?

— Нет, не много. Но много и не надо.

— Почему? Отвечай!

— Остальные — кисель. Под телевизором угорели. Им все равно. С ними еще работать да работать.

— А есть кому работать?

Иван неопределенно пожал плечами, или не желая говорить, или оттого, что нечего было сказать, перегнулся через отцовское плечо и насадил на кусок хлеба кусок рыбы из консервной банки.

— Голодный? — встрепенулся Анатолий и подвинулся, освобождая сыну рядом с собой место,

но Иван отказался:

— Попозже. У меня еще дело.

— Крепкие нужны дела, Иван, крепкие, — взялся наставлять его Демин.

Иван обвел их внимательным взглядом, пытаясь соединить вместе то, что в его сознании не соединялось, и, продолжая улыбаться, рассказал:

— Недавно была одна встреча. Выступал ученый из Новосибирска. По теме: «Есть ли у России будущее?» Он хорошо говорил, нам понравилось. Его спрашивают: «Почему вы всех русских хотите сделать русскими?» — «А почему я всех русских должен делать нерусскими? Они ведь рождены русскими!» — говорит.

— Во! — вскричал Демин. — Ну, молодец! Ну, голова! Вот так и надо отвечать. Чем проще, тем точней.

— Ему дальше: «Дело не в имени, не в национальности, — говорят. — Каждый человек должен меняться, как хочет, как его душа желает, способом свободной эволюции». Он отвечает: «Это будет не эволюция, а мутация, атмосфера создана такая, что он будет перерождаться в чужое. А когда переродится, он будет ненавидеть всякого, кто не переродился. Это, — говорит, — закон потери

лица, закон предательства».

Демин задумался, глядя на Ивана, и сказал Анатолию:

— А ведь мы с тобой, однако, глупее были…

— Хорошо бы, — отозвался Анатолий.

— Что хорошо? Хорошо, что мы глупее?

— Хорошо, что они умнее.

— Они правильно делают — подковываются. Им палец в рот не клади.

Старик, едва мерцая мутными глазами, притих и не выказывал больше желания спорить. Анатолий заметно устал от застолья; Демин, как всегда, был полон сил, и пришлось ему эти силы употребить на то, чтобы скомандовать общий подъем и проследить за исполнением. Вышли, как и пришли, Демин и старик вместе, и слышно было из-за двери, как Демин что-то зычно внушает старику, останавливая того на каждом пролете и снова подталкивая вперед.

Утром, пересиливая горькие остатки нездоровья, пошел Анатолий на работу и не слезал с нее, или это она не слезала с него, три долгих месяца, до весны. А весной, уже в апреле, когда пришла пора разводить огородишко на даче, опять весь вышел — до того, что слышал, казалось, в себе гулкую пустоту, и провалялся без вся-

кого интереса к чему бы то ни было неделю. И стало потом повторяться это с ним периодически. Свидания с заключенными полагались в колонии раз в квартал, но Тамаре Ивановне в поощрение давали их ежемесячно, и она сама назначала, кому приехать к ней — мужу, дочери, сыну, отцу. Но много ли на таких урывчатых встречах поговоришь и разглядишь, если даже добавляли время, потакая Тамаре Ивановне, пользовавшейся в колонии авторитетом снизу и сверху — как среди подобных ей бедолаг, так и среди начальства. Долго скрывали от нее, что сгинул в тайге Николай, пока не приехал Иван Савельевич, он скрыть не мог. После этого Тамара Ивановна призвала Ивана и тугим, с хрипотцой, голосом заявила, что, если они бросят дедушку, она и отсюда, из-за колючей проволоки, задаст ему, Ивану, такую трепку, что хватит на всю жизнь.

— Я ответственный за дедушку? — уязвленный, взявший слегка шалопайский тон, спросил Иван.

— Ты! Ты! Понял?

— Я, мама, хорошо понимаю тебя, даже если тебя рядом нет…

— Ишь, закрутился! Я, может, и зря на тебя, ты

сам с усам, а ты все равно слушай.

Иван дурашливо вскинул ладонь ко лбу:

— Слушаю и повинуюсь!

Особенно настораживала Тамару Ивановну Светка. Светка не успокоилась, нет, по лицу ее еще пробегала дрожь, руки безвольно опускались, когда она забывалась, глаза устремлялись в пустоту, чрезмерно накрашенные губы оттопыривались. Она не успокоилась, нет, но она смирилась с собой, определила свое место среди людей, видя, что там, в их кишащем клубке, она не из последних, и научилась смотреть на все исподлобья, говорить мало и неохотно. Не все могла спросить у нее Тамара Ивановна, и не все говорила ей Светка, но замечала мать, что девчоночья пора ее дочери кончилась — может быть, тогда, при нежном и истеричном свидании в стенах СИЗО и кончилась, и теперь к матери приходила женщина, отягощенная клеймом несчастной и ищущая, как ей с ним ужиться.

Анатолий всякий раз и ждал встреч с Тамарой Ивановной, и тяготился ими. Он давал отчет: что едят, что из одежонки куплено, прибавлял свой заработок, чтобы жена меньше беспокоилась о них. И тем самым как бы поднимал себе цену. Это было противно, и не было в этом никакой

необходимости, но в следующий раз опять повторялось. Он делал отчет, задавал одни и те же вопросы: что принести? как она спит? не устает ли? — и сказать ему больше было нечего. Он боялся спрашивать о жизни и отношениях в колонии, это было что-то непредставимое, о чем не хотелось и знать. И, уходя от жены, чувствовал Анатолий облегчение.

Когда-то он читал книги, теперь не заглядывал даже в газеты. Там ничего не меняется: в одних газетах бедные жалуются на свою судьбу, вспоминают древние времена и порядки, клянут реформаторов; в других говорят на каком-то странном диалекте, который невозможно понять, — будто Россия, ободранная и кровоточащая, осталась только для бедных, а для богатых это совсем иная страна, ничего общего с прежней не имеющая… Бедные требуют справедливости, богатые настаивают на продолжении реформ — и нет, и не может быть между ними согласия, только глухая вражда. Богатые и бедные настолько далеки друг от друга, настолько в разных обитают мирах, что ни один бедный не убил ни одного богатого и ни один богатый не помог ни одному бедному. У богатых даже солнце свое, отдельное от бедных, — на каких-то экзотиче-

ских островах — отнятое и вывезенное из рая; у них народились фантастические вкусы: играть в футбол они летают на Северный полюс, для прогулок в космос нанимают в извозчики космонавтов, любовницам дарят виллы в миллионы долларов. А бедные между тем спорят, ходить или не ходить им на выборы, и, в сотый раз обманутые, все-таки идут и голосуют за тех, кто тут же о них забывает. Эти два разных мира разнятся не только богатством и бедностью и вызванными ими инстинктами, не только несхожими приемами жизни — во всем, во всем без исключения: что хорошо для одних, то плохо для других. Но ни там, ни там нет согласия и внутри себя — у одних от непривычки к неправой роскоши, у других от непривычки к нищете. И никто не знает и знать не желает, удастся им когда-нибудь притереться друг к другу и стать одним народом или никогда не удастся и кому-то в конце концов придется уходить.

Анатолий ставил машину в гараж далеко, на выезде из города, и добираться оттуда домой приходилось трамваем, а потом еще и троллейбусом. Народ ехал тяжелый — сухой порох да и только, задень ненароком — сразу вспыхивает и чуть не за грудки. Сорвав злость, опять на-

глухо умолкают, словно боясь уже и себя, убрав глаза, затаив чувства. Потряхивает, подергивает — покорно трясутся, подпрыгивают, а то и летят кучей-малой по проходу, сдавленно ойкая и подбирая ноги. Уже и не ругают ни власть, ни порядки, а только терпят. Залетит в троллейбус стайка молодежи, окликая друг друга и перебрасываясь шутками, — и тоже примолкнет через три минуты. Влезет какой-нибудь хам, поднимет голос на кондукторшу, требующую билета, и никто за нее, девчонку, не вступится. Все равно. Нет справедливости в большом — что искать ее в малом! Спасайся кто как может, кто во что горазд.

И по улице двигаются невесело. И только по делу, по нужде, по неволе. Совсем не стало праздно прогуливающихся: машины вытеснили отовсюду, по тротуарам нет больше пешего хода, на проезжей части голову сложишь незамедлительно, на старые деревянные переулки, когда-то тихие и приветливые, теперь разбитые и замусоренные, тоже густо облепленные машинами, глаза бы не смотрели… Все торопятся добежать до цели, все с сумками, баулами, огромными пакетами — будто переезжают. А куда переезжать? Тут хоть троллейбусы ходят, электричество, теп-

ло не только по праздникам, но и по будням, а в других городах, слышно, и этого нет.

И дома как не дома было Анатолию — пусто, неуютно, безотрадно. Присели стены, стылостью затянуло окна, как-то вдруг сразу, за месяцы, расшатались и заголосили половицы. И руки не поднимались поправлять. Светка сняла и постирала перед Новым годом шторы, а навесила — то же самое, боль да стынь не отстирываются. В новогодние и рождественские дни было много солнца, деревья стояли в куржаке и ярко переливались на солнце брызжущими искрами, снег по утрам под ногами скрипел с бодрой голосистостью — и Анатолий думал: «Что это — остатки прежней жизни или все-таки нарождается новая?» На площади наморозили сказочный снежный городок — с былинными фигурами, форсистыми избушками, с башнями и горками, с музыкальной каруселью… Анатолий шел мимо, утонув в счастливой ребячьей галде, и едва сдерживал слезы: а ведь у его детей такой сказки не было. К Ивану забежала одноклассница с широко раскрытыми глазами на круглом лице, с румянцем на щеках, с ямочкой на подбородке, веселая, сияющая, звенящая, и красота ее показалась Анатолию столь свежей и милой, что

поверилось, будто прежде такой и быть не могло, потому что она, такая, только-только народилась в возмещение каких-то происшедших в человеке потерь. И опять ни с чего подступили слезы. Он становился слезлив на хорошее, чудом сохраняющееся в жизни; хотелось верить, что это не прощальное, а, напротив, приходящее, небывалое…

Но позвонила тогда же, вскоре после Нового года, Светка и облила холодной водой:

— Папа, ты помнишь Николина… ну, того, из областной прокуратуры?

— Помню.

— Убили его.

— Как ты знаешь? За что? — Анатолий встревожился, не связано ли это как-нибудь с ними — со Светкой и Тамарой Ивановной?

— По телевизору только что сказали. А за что?.. Въехал, наверное, куда не просили…

Анатолия поразили и этот язык, какого еще совсем недавно не было у Светки, и тон ее, тоже новый, неприятный, в котором жалость звучала спокойно, почти безучастно.

Он подошел к окну и уставился в улицу. Час был не поздний, но, кроме проносящихся машин, составляющих теперь и дыхание, и кровообра-

щение города, ни одной живой души на улице не было. Дали людям две праздничных ночи и заперли опять в квартиры, разогнали по щелям. И станут они теперь покорно ждать, когда солнышко растворит день пошире и прибавит светлые часы утром и вечером.

Часть третья

Освободилась Тамара Ивановна — за примерное поведение и добросовестную работу — через четыре с половиной года. Эти четыре с половиной года превратились в целую вечность, и много что в ней произошло. Похоронили Евстолию Борисовну, скончавшуюся скоропостижно и не по-христиански: перед телевизором, за одним из тех фильмов-убийц, которые ежедневно разрывают сердца пожилых простодушных людей. Однокомнатная квартира Евстолии Борисовны досталась Светке, а еще через полгода Светка так же скоропостижно выскочила замуж за мелконького, похожего на парнишку, тридцатилетнего самозванца, наплевшего ей с три короба, называвшего себя менеджером и полными днями валявшегося на кровати. Светка родила от него девочку и разошлась, когда убедилась,

что ее «менеджер» крутится в шайке наркоманов. Разошлась — не значит рассталась: муженек покидать квартиру отказывался, не давал жизни ни Светке, ни всему подъезду четырехэтажного дома, пока Анатолий не собрал для него отступные и не науськал на него, по совету Демина, одного, похожего на бандита, общего их знакомого. Девочка росла испуганной, нервной, на ноги встала только в полтора года, говорила плохо.

Светка не работала. И, конечно, ждала и боялась возвращения матери. Она и девочку пугала:

— Вот погоди — придет Тамара Ивановна, придет твоя бабушка, она нам задаст!

И тут же бросалась успокаивать:

— Бабушка у нас хорошая. Она справедливая. — И для себя добавляла: — Она — солнышко с продиристым ветерком.

Иван после школы лето и осень проплавал на Байкале, на катере Гидрометслужбы, а потом на два года ушел в армию, служил в ракетной части в Забайкалье. Но Байкал и снился, и постоянно мерещился ему и в армии. Он будто альбом листал. Накатывал лениво крутой вал, выбрасывал в последний момент, как жало, белый пенистый гребешок и с силой ударял в нос катера, подбрасывая его вверх, в воздух, и вдруг

проваливался — задиралась корма, нос из пустоты гулко бухал в водную канаву и тут же снова стремительно взмывал вверх. И сразу же другая картина: слева по ходу катера необъятная гладь воды, замершая в истоме, греющаяся на солнце, раскинувшаяся столь далеко, что едва виден противоположный берег, а справа ссыпается ворохами с близких береговых откосов чистое золото осеннего «цветения»… И третья: могучие, в белых каракулевых папахах, ряды гор, как воинов, стерегущих Байкал на выплыве его в Ангару, и — волшебное, радужное, переливающееся под тихим вечерним солнцем зелеными, голубыми, синими струями, мерцание бездонной воды… За четыре месяца на Байкале Иван не взял в руки ни одной книжки, весь отдавшись новым и живым впечатлениям, в армии тоже было не до чтения, а воротившись из армии, неделю бродил по городу, высматривая и выпытывая, куда без него развернулась жизнь, и вдруг нанялся в бригаду плотников, уезжавших строить в дальнем селе церковь. Это было районное село на Ангаре, недалеко от него лежала-бедовала родная деревня Тамары Ивановны и Ивана Савельевича. Когда заглянул Иван к дедушке и сообщил ему об этом, тот только крякнул

от удивления:

— Хо! Ну, ты, парень, и пострел — везде поспел! Кто это тебя надоумил?

— Надоумили, — с улыбкой отвечал Иван, поверивший, что нет, не случайно выпадает ему эта дорога на родину матери и дедушки.

— Поставите церкву — свози меня поглядеть. И на деревню свози в остатный раз. — Иван Савельевич расхрабрился. — Ну, подбодрил ты меня, парень! Пойду сегодня объявление делать своему поместью… что передумал сдаваться… надумал дюжить, покуль ноги держат. Я свои ноги не совсем еще стер. Ни-че-во! — все больше утверждал себя в собственных силах Иван Савельевич. — Попыхтим еще. Ни-че-во!

Поместье — и огород, и ограда — было сильно запущено, сосны насорили шишками, нижние сухие ветви на соснах торчали как признак общей омертвелости, на крылечке прогибались и выдавливали гниль половицы, перед поленницей огромная куча щепы, заплот совсем почернел, осел и прогнулся. Но хуже всего — глубоко просела на северный бок изба. Внутри избы стоял тяжелый спертый запах запущенности и старости. Все больше и больше обращая внимание на это убожество, Иван думал: «Вот навострюсь

тюкать топориком — и надо сюда. Надо наводить порядок. Тут, если руки приложить, жить да жить еще можно».

Ивану Савельевичу шел семьдесят седьмой год. Он доживал один, — младший сын Николай так и не вернулся, сгинул в тайге.

Анатолий недолго выдержал жизнь в торгашеском мире и перешел в фирму, занимавшуюся ремонтом квартир. Он упрямо называл свою фирму «организацией», ему казалось это приличней и надежней, но — что в лоб, что по лбу! — торгашеством было пропитано все, а специализировались они на евроремонте, что с «организацией» никак не вязалось. Зарабатывал Анатолий неплохо, но надо было кормить и одевать Светку с девчонкой, помогать Ивану Савельевичу, вспоминать о сыне, отнести жене, да и непременно, с постоянством дождя летом и снега зимой, случалось что-нибудь такое, что требовало непредвиденных расходов, — и не хватало. Он отказывался от выходных, возвращался домой поздно и, вспоминая о заброшенной даче, ждал Тамару Ивановну, чтобы решить, не продать ли дачу… Он постарел и жил в постоянном страхе перед своей «интеллигентной», как ее называл Демин, болезнью, которая сбивала его с ног

на неделю, каким-то подлым приемом выпуская дух и превращая тело в мешок едва шевелящихся костей. Он пробовал лечить свою болезнь, узнав, что есть у нее и название, а стало быть, может быть и излечение, за нахальную цену покупал таблетки, напоминающие сгустки бычьей крови, но приступы не исчезали, и — бросил. Такое время — что поделаешь! Знай терпи. И всерьез, как что-то живое, но всегда существовавшее скрытно, стал считать это время, продолжающееся уже более десяти лет, буйнопомешанным, вырвавшимся по недосмотру из-под запоров, где ему полагается находиться. Анатолий с состраданием и ужасом смотрел на знакомых, которых не встречал несколько лет; за несколько лет они превращались в стариков… С ужасом смотрел он и на любимых когда-то актеров, днюющих и ночующих теперь в телевизоре: бесы, бесы с поведенными на сторону, искривленными дряблыми рожами, с нарисованными уродливо глазами и ртами, с дурацкими ужимками, с пошлой скороговоркой… Ну, не могут же они не понимать… они, бывшие еще недавно умными и талантливыми, вызывавшими восторг одним своим появлением!.. Это время, время виновато… не время в продолжительности дней, несущих

неизбежные перемены, а время в своем уродстве и низменных изувеченных страстях… это оно лишает нас рассудка и лица! И должно же это когда-нибудь кончиться! И невольно, и понимая прекрасно, что это слишком уж по-детски, связывал Анатолий чаемые свои надежды с освобождением Тамары Ивановны.

Тамара Ивановна вышла за ворота колонии уже после обеда: пока выписывали полагающиеся бумаги, пока выяснилось, что автобуса в город в этот день не будет… Кто-то крикнул за ее спиной, когда она закрывала за собой последнюю дверь; молодой женский голос прозвучал весело-отчаянно и срывно, как почти все выкрикивалось здесь на срывной ноте, и Тамара Ивановна поняла этот голос как посланное ей вдогонку прощание. За четыре с лишним года она прошла за этими стенами горькие, порой жестокие, но и полезные университеты и знала, что самое лучшее средство от надсады и разрыва сердца — умение отключить его от перегрева: кровь пусть качает механическими, безучастными толчками, но чувствительные и всякие там эмоциональные клапаны силою воли перекрыть, будто и не его это дело. И так — и есть сердце, и нет его — можно держаться неделями, погру-

зив себя в пустынное, отсутствующее состояние. Избавление от каторги, встреча с родными — событие не из рядовых, тем более следовало в этот день поберечь себя, и Тамара Ивановна еще с утра постаралась «обесточиться», чтобы, не дай Бог, не сдали нервишки. Доберется до дома, скинет с тела, и с сердца тоже, четырехлетний нагар, отмоется в десяти водах, поверит, что это не сон, — тогда и можно будет прижать к лицу свою серую, под цвет нещадной тоски, арестантскую хламиду и смочить ее слезой.

Тамару Ивановну никто не встречал, о дне своего освобождения она не стала извещать родных. Ни к чему. Ушла не попрощавшись и вернется не сказавшись. Все ее вещички уместились в просторную матерчатую сумку, под мышкой держала она подарок, врученный ей, бригадиру, на прощание ее бригадницами, — прослеженную по всем правилам ватную телогрейку, каких на воле не сыскать. Подарок бесценный, неизносный, с невыветриваемым запахом ее подконвойной жизни.

Стоял поздний октябрь, еще сухой и еще не сдавший окончательно тепло. Бледное солнце устало точило слабый, едва подкрашенный свет. День был тихий, обмерший, грустный. Сосно-

вые рощицы, разбросанные по всему кругозору тучными, подпаленными рыжиной скирдами, лежали безмолвно и безжизненно; откуда-то сладко доносило дымком. Заставив себя не торопиться, Тамара Ивановна по закатанному землей старому асфальту, превратившемуся опять в проселочную дорогу, шагала в притрактовый поселок, где остановка рейсового автобуса, и старалась спокойно, с привычной озабоченностью пустившегося в путь человека думать о ближнем и будничном. Нет, не получалось: странно было идти в одиночестве, в тишине и бескрайности, словно из ниоткуда в никуда, без цели и понуждения; странно было нащупывать ногами эту земную картину, на которую она годами смотрела почти как на небо; и ощущать удивительную легкость и плавность шага, как при передвижении по небу, и вспоминать себя случайными, с опустевших полей доносящимися дуновениями, а затем опять забывать; и чувствовать вместе со всем, что было вокруг, немой восторг перетекания в какой-то иной состав.

Она подошла к остановке за час до автобуса и устроилась на единственное никем не занятое сиденье — на торчащий из земли, гладко отполированный валун, подстелив на него телогрейку…

И застыла изваянием, таким же, как этот валун, насадив на него небольшое возвышение. Проходили мимо люди, проплыли, едва передвигая ногами, след в след, крутобокие пестрые коровы, пробегали машины, чужая разнопородность которых слабо удивила Тамару Ивановну: и когда успели набежать? Смиренность дня передалась и людям: большой бурятский поселок лежал сонно, изредка подавая глухие и замедленные признаки жизни. Стали подходить к автобусу, бросали на Тамару Ивановну равнодушные взгляды: к таким, как она, здесь привыкли. Ни с нею никто не заговаривал, ни она ни с кем. Полная тишина лежала у нее на душе. Поднимая иногда взгляд на лагерные постройки, хорошо видимые в чистом воздухе, она не сразу и узнавала их, не сразу и соединяла с ними себя, а, соединив, скользнув молниеносным воспоминанием, не дав высечь в себе чувства, отводила глаза. Что было, то было; что будет, то будет, а сейчас она только катышок, выпущенный из прочных визгливых ворот, прокатился он неспешно и бесстрастно по одной дороге среди полей и перелесков, свернул на другую, по обочине ее, чтобы никому не мешать, докатился до камня-валуна возле разбитой деревянной

ожидалки и приник к нему, а затем вскочит он в другой, большой и полый, катышок и внутри его покатится дальше.

И здесь сладко тянуло дымом: в огороде за спиной жгли высохшую картофельную ботву. Тамара Ивановна развернулась в ту сторону: рослая мясистая деваха вела впереди себя вилами по борозде и навивала лохматую кудель, с вилами на весу на вытянутых руках несла ее затем к огню. И стояла с широко расставленными голыми богатырскими ногами, многодумно наблюдая, как огонь пожирает ботву. На заборе неподвижно сидела кошка и тоже наблюдала за происходящим в огороде. Очищенную борозду тут же захватывали курицы и принимались деловито что-то подбирать, ни разу не вскудахнув, не вспорхнув в тревоге… Пустячная эта картина почему-то взволновала Тамару Ивановну до комка в горле. Господи, неужели сохранилась еще где-то цельная и размеренная жизнь, а не одни ее обломки? Неужели такие девахи, способные уверенной поступью ступать по жизни и внушать спокойствие всему, что есть вокруг, еще не изведены? Тамару Ивановну нельзя было обмануть: эту с могучих ее ног не собьешь, и она в мелкую тараканью жизнь не вместится. Или выдался се-

годня день целебный, случающийся раз или два в году, на каких-то таинственных переходах, всевсе вокруг умиривший, напитавший надеждой? Счастливы, должно быть, бывают приходящие на свет в такой день… Но уж, наверное, не окажутся обделены совсем и те, кто начинает с него новую жизнь…

Тамара Ивановна так глубоко и бодро вздохнула, будто очнулась от обморока.

День будний, на торги успели уехать с утра, скоро уже и возвращаться, поэтому в автобусе, следующем в город, оказалось свободно. Покатилась дальше Тамара Ивановна. Телогрейку устроила на колени, сверху сумку, и хоть спи на ходу; усыпляюще ворчит мотор, и мягко зыбают по добротному асфальту колеса. За спиной бормочут две пожилые женщины; на другой, на левой, половине салона, уткнувшись в стекло, горько вздыхает раз за разом мужик — не иначе как с похмелья; по проходу катаются две пустые пластмассовые бутылки, которые на обратном пути хозяйственными бабами будут непременно подобраны и, залитые брагой или самогонкой, превратятся в «соски» для взрослых дядей и тетей — по двадцать пять и пятьдесят рублей за штуку. Как ни замкнута на запоры, как ни за-

крыта была зона, но и в нее попадали эти «соски», и там припадали к ним жадными, причмокивающими губами.

Отваливались на сторону придорожные перелески, то раскрывая, показывая полевые глубины со стерней, торчащими из земли капустными кочерыжками и валами черной пашни, то смыкаясь, двигаясь в непрерывном медленном танце, пригибаясь и расправляясь в рост. Значит, засевались все-таки поля, значит, собиралось что-то с них и опять готовилось к засеву. Значит, кроме «купи-продай» и «украдь-сбудь», сохранились все-таки и серьезные, рабоче-крестьянские, занятия, а не одно только дуроломство… Или это ничего не значит? Не китайцы ли выращивают эту капусту, не кавказцы ли скупили эти поля? А до того местную власть скупили, как морковку? Тамара Ивановна с легким укором одернула себя: не сейчас бередить этим сердце, не сейчас… Не сегодня. Как хорошо, как пусто на душе, и нет продолжения ничему-ничему, что было вчера, а есть лишь окончание, какие-то тихие, свершающиеся в небесах, дожинки после страдной поры и плавный переход в другую жизнь. Или это никак невозможно — приподнять верхнюю землю над землей исподней, незагаженной, стряхнуть

с нее, верхней, могучим движением все, что взросло пагубой, и опустить, обновленную, обратно! Как бы хорошо, если бы такое было возможно и это возможное творилось уже сегодня!

С въездной горы город открылся широко-широко и показался в серой, похожей на пыль, дымке нагромождением руин, среди которых сливалась в разные стороны в тяжелом металлическом блеске лава. И потом, когда эта лава очертилась в потоки машин, а город принял свой обычный, бескрасый без зелени вид, бесконечная грусть, курясь и смеркаясь от болезненных выдохов, облаком встала над ним и облекла все небо.

На автостанции Тамара Ивановна вышла из автобуса последней, чуть отступила от людской толчеи и огляделась, интуитивно держась какой-то правильной последовательности, с какой следует впускать в себя уже и выветрившуюся из нее, уже и народившуюся без нее, вольную городскую жизнь. Визжал на повороте трамвай, разрисованный рекламными рожами и расписанный чужими буквами, приткнулся ненадолго, выдавливая из себя и всасывая в себя набравшуюся порцию пассажиров, и опять с визгом сворачивал на прямой путь. Неприкаянно бродили вокруг с такими же, как у Тамары Ивановны, сум-

ками поникшие, как трава в затяжное ненастье, люди; со спокойным нахальством, без моторного грохота, проносились захватившие дороги иномарки. В колонии, всматриваясь в лица своих подруг по несчастью, Тамара Ивановна пыталась понять, есть ли отличия между ними и теми, кто на воле, а если есть, в чем они? Их не могло не быть, этих различий: одни во всем стеснены, другие во всем свободны; одни себе не принадлежат совершенно, у других весь мир под ногами; одни деформированными скребками продираются сквозь каждый день, как через бесконечные глухие заросли, другие дней не считают. И казалось Тамаре Ивановне, что в лицах лагерниц мало себя; желание забыться, перемочь каторжные годы только частью себя, притом не лучшей частью, чтобы сберечь лучшую для иной доли после освобождения, искажает лица до неподобия, в выражении их как бы появляются пустые, ничем не заполненные, места… Эти наблюдения можно было делать лишь в первый год, затем, увязнув в одинаковом для всех горьком быте и имея перед глазами лишь один мир, Тамаре Ивановне было не до них. И вот теперь, жадно всматриваясь в людей, остававшихся здесь, ничем не стесненных, безоговорочно себе при-

надлежащих, она вдруг поразилась: да ведь это лица тех, за кем наблюдала она *там*. Те же самые стылость, неполнота, следы существования только одной, далеко не лучшей частью… Это что же? Почему так? И там, где нет свободы, и здесь, где свобода навалена такими ворохами, что хоть из шкуры вон, результат одинаковый?

Но уже догадывалась Тамара Ивановна, что на подобные вопросы здесь больше не отвечают. Не четыре с половиной года не было ее на этих улицах, а все сорок пять. И за эту эпоху жизнь закалилась и уплотнилась настолько, что она не признает никаких сомнений, ничего хлябающего, перетаптывающегося, и уверенно делает главное свое дело — чеканит из человека монету.

Тамара Ивановна и себе не могла бы признаться в этом: не хотелось ей торопиться домой. Словно только в таком положении, как теперь, вне времени и жизни, на какой-то короткой переправе с берега на берег, и дышалось ей вольно. В разбитом скверике подле вокзала она отыскала место почище, опять подстелила телогрейку и устроилась лучше не надо. Смеркалось, сильнее запахло дымом от печей, важно поднимавшимся над деревянными домами за речкой; приятно,

перебивая бензиновую настоенность, загорчил воздух. Слетела припозднившаяся стайка воробьев и, вытягивая головки, всматриваясь, кто она есть — человек или камень, запрыгала вокруг, не находя в ней ничего опасного. Тамара Ивановна покивала им с благодарностью и с таким облегчением вздохнула, что почувствовала, как что-то словно бы распрямилось в ней, прибавив ей роста. Нет, хорошо, хорошо было оставаться в небытии: еще не потерялась и еще не нашлась; еще не забылась и еще не припомнилась себе… За речкой, сразу же за безобразно раскиданным по берегу, как цыганский табор, торговым торжищем из палаток, киосков и металлических контейнеров, высилось каменное здание столь основательной старой постройки, что за ним угадывались и крепостные стены, и нутряные ходы, и глухие помещения… Почудилось Тамаре Ивановне, что не она смотрит на этот дом, а он на нее смотрит, чего-то добиваясь… Пришлось вспомнить: да ведь это пересыльная тюрьма, по-теперешнему СИЗО, следственный изолятор, где она отбыла три месяца до суда. И ему покивала Тамара Ивановна со вздохом, ничего не означающим, кроме облегчения, которым она старалась выстелить дорожку возвращения.

Надо было подниматься, от речки и от недалекой отсюда Ангары понесло прохладой, проносящиеся машины принялись бить по ушам музыкальным грохотом. Тамара Ивановна решила идти пешком. Куда ей торопиться? Сошла на дорогу, поворачивающую влево, и, не оглядываясь, не озираясь, ступая уверенно среди тяжелых грузовиков, кружа вместе с гремящей дорогой в частых поворотах, стала всходить в гору, на улицу Красноярскую.

У себя во дворе она опять присела — на бортик детского песочника напротив своего подъезда. И минут пять, не шевелясь, смотрела неотрывно на тускло светящееся узкое окно на втором этаже, вспомнив и тут же заставив себя забыть, как она искала в нем из кухни каждую тень в ту ночь, когда потерялась Светка. Потом нашлась… Но нашлась ли? Нет, не надо это вспоминать, ничего не надо. И неужели же правда, что долго, очень долго ее, Тамары Ивановны, здесь не было? Теперь вернулась… Но вернулась ли? Как можно оттуда вернуться после всего, что было? Все перепуталось, нигде ее сейчас нет.

К соседнему подъезду подкралась машина и окатила Тамару Ивановну ярким светом. Ну что же — вперед! Под капризный плач ребенка

из машины она шагнула в темную дверь своего подъезда и, поднимаясь по лестнице, ворчливо повторяла: «Минутки не хватило, всего одной минутки…»

Ей открыл Демин. Он разинул рот и хлопал глазами, уставившись на нее как на привидение. Потом взревел по-медвежьи, сграбастал ее вместе с пожитками, не переставая реветь, внес в комнату и бухнул на ноги перед выскочившим Анатолием. Анатолий в полной потерянности неловко обнял ее и отпустил.

— Что это ты меня как племянницу какую… — сказала строго Тамара Ивановна, отбрасывая в сторону поклажу и освобождая руки. — А ну-ка еще раз!

2003

Деньги для Марии

Кузьма проснулся оттого, что машина на повороте ослепила окна фарами и в комнате стало совсем светло.

Свет, покачиваясь, ощупал потолок, спустился по стене вниз, свернул вправо и исчез. Через минуту умолкла и машина, стало опять темно и тихо, и теперь, в полной темноте и тишине, казалось, что это был какой-то тайный знак.

Кузьма поднялся и закурил. Он сидел на табуретке у окна, смотрел сквозь стекло на улицу и попыхивал папиросой, словно и сам кому-то подавал сигналы. Затягиваясь, он видел в окне свое усталое, осунувшееся за последние дни лицо, которое затем сразу же исчезало, и уже не было ничего, кроме бесконечно глубокой темноты, — ни одного огонька или звука. Кузьма подумал о снеге: наверное, к утру соберется и пойдет, пойдет, пойдет — как благодать.

Потом он лег опять рядом с Марией и уснул. Ему приснилось, что он едет на той самой машине, которая его разбудила. Фары не светят, и машина идет в полном мраке. Но затем они вдруг вспыхивают и освещают дом, возле кото-

рого машина останавливается. Кузьма выходит из кабины и стучит в окно.

— Что вам надо? — спрашивают его изнутри.

— Деньги для Марии, — отвечает он.

Ему выносят деньги, и машина идет дальше, опять в полной темноте. Но как только на ее пути попадается дом, в котором есть деньги, срабатывает какое-то неизвестное ему устройство, и фары загораются. Он снова стучит в окно, и его снова спрашивают:

— Что вам надо?

— Деньги для Марии.

Он просыпается во второй раз.

Темнота. Все еще ночь, по-прежнему кругом ни огонька и ни звука, и среди этого мрака и безмолвия с трудом верится, что ничего не случится, и в свой час придет рассвет, и наступит утро.

Кузьма лежит и думает, сна больше нет. Откуда-то сверху, как неожиданный дождь, падают свистящие звуки реактивного самолета и сразу же стихают, удаляясь вслед за самолетом. Опять тишина, но теперь она кажется обманчивой, словно вот-вот должно что-то произойти. И это ощущение тревоги проходит не сразу.

Кузьма думает: ехать или не ехать? Он думал об этом и вчера и позавчера, но тогда еще остава-

лось время для размышлений, и он мог не решать ничего окончательно, теперь времени больше нет. Если утром не поехать, будет поздно. Надо сейчас сказать себе: да или нет? Надо, конечно, ехать. Ехать. Хватит мучиться. Здесь ему больше просить не у кого. Утром он встанет и сразу пойдет на автобус. Он закрывает глаза — теперь можно спать. Спать, спать, спать… Кузьма пытается накрыться сном, как одеялом, уйти в него с головой, но ничего не получается. Ему кажется, он спит у костра; повернешься одним боком, холодно другому. Он спит и не спит, ему снова грезится машина, но он понимает, что ему ничего не стоит открыть сейчас глаза и окончательно очнуться. Он поворачивается на другой бок — все еще ночь, которую не приручить никакими ночными сменами.

Утро. Кузьма поднимается и заглядывает в окно: снега нет, но пасмурно, в любую минуту он может пойти. Мутный неласковый рассвет разливается неохотно, как бы через силу. Опустив голову, пробежала перед окнами собака и свернула в переулок. Людей не видно. С северной стороны вдруг бьет о стену порыв ветра и сразу же спадает. Через минуту снова удар, потом еще.

Кузьма идет на кухню и говорит Марии, которая возится у печки:

— Собери мне чего-нибудь с собой, поеду я.

— В город? — настораживается Мария.

— В город.

Мария вытирает о фартук руки и садится перед печкой, щурясь от жара, обдающего ее лицо.

— Не даст он, — говорит она.

— Ты не знаешь, где конверт с адресом? — спрашивает Кузьма.

— Где-нибудь в горнице, если живой.

Ребята спят. Кузьма находит конверт и возвращается на кухню.

— Нашел?

— Нашел.

— Не даст он, — повторяет Мария.

Кузьма садится за стол и молча ест. Он и сам не знает, никто не знает, даст или не даст. В кухне становится жарко. О ноги Кузьмы трется кошка, и он отталкивает ее.

— Сам-то назад приедешь? — спрашивает Мария.

Он отставляет от себя тарелку и задумывается. Кошка, выгнув спину, точит в углу когти, потом опять подходит к Кузьме и жмется к его ногам. Он встает и, помолчав, не найдя, что сказать

на прощанье, идет к дверям.

Он одевается и слышит, что Мария плачет. Ему пора уходить — автобус отправляется рано. А Мария пусть поплачет, если она по-другому не может.

На улице ветер — все качается, стонет, гремит.

Ветер дует автобусу в лоб, сквозь щели в окнах проникает внутрь. Автобус поворачивается к ветру боком, и стекла сразу начинают позванивать, в них бьет поднятыми с земли листьями и мелкими, как песок, невидимыми камешками. Холодно. Видно, этот ветер и принесет с собой морозы, снег, а там и до зимы недалеко, уже конец октября.

Кузьма сидит на последнем сиденье у окна. Народу в автобусе немного, свободные места есть и впереди, но ему не хочется подниматься и переходить. Он втянул голову в плечи и, нахохлившись, смотрит в окно. Там, за окном, километров двадцать подряд одно и то же: ветер, ветер, ветер — ветер в лесу, ветер в поле, ветер в деревне.

Люди в автобусе молчат — непогода сделала их угрюмыми и неразговорчивыми. Если кто и перебросится словом, то вполголоса, не понять. Даже думать не хочется. Все сидят и только хватаются

за спинки передних сидений, когда подбрасывает, устраиваются поудобней — все заняты лишь тем, что едут.

На подъеме Кузьма пытается различить вой ветра и вой мотора, но они слились в одно — только вой, и все. Сразу за подъемом начинается деревня. Автобус останавливается возле колхозной конторы, но пассажиров тут нет, никто не входит. В окно Кузьме видна длинная пустая улица, по которой, как по трубе, носится ветер.

Автобус снова трогается. Шофер, молодой еще парень, оглядывается через плечо на пассажиров и лезет в карман за папиросой. Кузьма обрадованно спохватывается: он совсем забыл про папиросы. Через минуту по автобусу плывет синий клочковатый дым.

Опять деревня. Шофер останавливает автобус возле столовой и поднимается.

— Перерыв, — говорит он. — Кто будет завтракать, пойдемте, а то еще ехать да ехать.

Кузьме есть не хочется, и он выходит, чтобы размяться. Рядом со столовой магазин, точно такой же, как и у них в деревне. Кузьма поднимается на высокое крыльцо, открывает дверь. Все так же, как и у них: в одной стороне — продовольственные, в другой — промтовары. У прилавка

о чем-то болтают три женщины, продавщица, скрестив руки на груди, лениво их слушает. Она моложе Марии, и у нее, видно, все хорошо: она спокойна.

Кузьма подходит к горячей печке и вытягивает над ней руки. Отсюда в окно видно будет, когда шофер выйдет из столовой, и Кузьма успеет добежать. Ветер хлопает ставнем, продавщица и женщины оборачиваются и смотрят на Кузьму. Ему хочется подойти к продавщице и сказать ей, что у них в деревне магазин точно такой же и что его Мария полтора года тоже стояла за прилавком. Но он не двигается. Ветер снова хлопает ставнем, и женщины опять оборачиваются и смотрят на Кузьму.

Кузьма хорошо знает, что ветер поднялся только сегодня и что еще ночью, когда он вставал, было спокойно, и все-таки не может отделаться от чувства, что ветер дует давно, все эти дни.

Пять дней назад пришел мужик лет сорока или чуть побольше, с виду не городской и не деревенский, в светлом плаще, в кирзовых сапогах и в кепке. Марии дома не было. Мужик наказал, чтобы завтра она не открывала магазин, он приехал делать учет.

На следующий день началась ревизия. В обед,

когда Кузьма заглянул в магазин, там стоял полный тарарам. Все банки, коробки и пачки Мария и ревизор вытаскивали на прилавок, по десять раз считали их и пересчитывали, сюда же принесли из склада большие весы и наваливали на них мешки с сахаром, с солью и крупой, собирали ножом с оберточной бумаги масло, гремели пустыми бутылками, перетаскивая их из одного угла в другой, выковыривали из ящика остатки слипшихся леденцов. Ревизор с карандашом за ухом бойко бегал между горами банок и ящиков, вслух их считал, почти не глядя, перебирал чуть ли не всеми пятью пальцами на счетах костяшки, называл какие-то цифры и, чтобы записать их, встряхивая головой, ловко ронял себе в руку карандаш. Видно было, что дело свое он знает хорошо.

Мария пришла домой поздно, вид у нее был измученный.

— Как там у тебя? — осторожно спросил Кузьма.

— Да как — пока никак. На завтра еще промтовары остались. Завтра как-нибудь будет.

Она накричала на ребят, которые что-то натворили, и сразу легла. Кузьма вышел на улицу. Где-то палили свиную тушу, и сильный, прият-

ный запах разошелся по всей деревне. Страда кончилась, картошку выкопали, и теперь люди готовятся к празднику, ждут зиму. Хлопотливое, горячее время осталось позади, наступило межсезонье, когда можно погулять, осмотреться по сторонам, подумать. Пока тихо, но через неделю деревня взыграет, люди вспомнят о всех праздниках, старых и новых, пойдут, обнявшись, от дома к дому, закричат, запоют, будут опять вспоминать войну и за столом простят друг другу все свои обиды.

Кузьма вернулся домой, сказал ребятишкам, чтобы они долго не сидели, и лег. Мария спала, не слышно было даже ее дыхания. Кузьма задремал, но ребята в своей комнате раскричались, и ему пришлось подняться и успокоить их. Стало тихо. Потом на кого-то загавкали на улице собаки и сразу умолкли.

Утром, когда Кузьма проснулся, Марии уже не было. Он позавтракал и на весь день уехал во вторую бригаду — председатель еще накануне попросил его посмотреть, что у них там с овощехранилищем и какие материалы нужны для ремонта. За этими делами о ревизии Кузьма совсем забыл и, только когда подходил к дому, вспомнил. На крыльце сидел Витька, старший

из ребят, он увидел отца и убежал в дом.

«Что это с ним?» — с недобрым предчувствием подумал Кузьма и заторопился.

Его ждали. Мария сидела за столом, глаза у нее были заплаканные. Ревизор, пристроившись на табуретке около двери, поздоровался с Кузьмой растерянно и виновато. Ребятишки, все четверо, выстроились возле русской печи строго по порядку — один на голову ниже другого. Кузьма все понял. Ни о чем не спрашивая, он снял с себя грязные сапоги и босиком прошел в комнату за тапочками. Их там не было. Он вернулся, поискал у дверей, не нашел и спросил у ребят:

— Не видали мои тапочки?

Мария, не выдержав, заплакала и убежала в комнату. Кузьма без всякого удивления проводил ее застывшим взглядом и закричал на ребят:

— Найдутся мои тапочки сегодня или нет?

Он смотрел, как они, не отрываясь друг от друга, будто связанные, тычутся в углы, лазят под кроватями, семенят цепочкой из комнаты в комнату, и все больше и больше терялся, не зная, что делать, что сказать.

Тапочки наконец нашлись. Кузьма сунул в них босые ноги, пошел к Марии. Она, закрыв руками лицо, лежала на кровати и всхлипывала. Он по-

вернул к себе ее лицо и спросил:

— Сколько?

— Ты-тысяча.

— Что — новыми?

Мария не ответила. Отвернувшись к стене, она снова закрыла лицо руками и зарыдала. Глядя, как дергается ее тело, Кузьма на какое-то мгновение вдруг потерял связь с тем, что происходит, — настолько это было неожиданно и страшно. Потом очнулся, как во сне, вышел к ревизору и показал ему, чтобы тот сел к столу. Ревизор послушно пересел. Кузьма достал папиросу и, торопясь, закурил. Сначала ему надо было прийти в себя. Он курил, делая затяжки так часто, будто пил воду. В ребячьей комнате вдруг до крика сорвался голос из радиоприемника, и Кузьма вздрогнул.

— Уберите его!

Ребятишки оторвались от печки, не меняя порядка, в каком стояли, зашлепали друг за другом в комнату, и голос смолк. Когда Кузьма поднял голову, они уже снова стояли у печки, готовые выполнить любое его приказание. Злость постепенно остывала, и Кузьме стало жалко их. Они ни в чем не виноваты. Он сказал ревизору:

— Я с тобой буду как на духу — не таскали мы

оттуда ни одной крупинки. Я специально это при ребятах говорю, я при них врать не стану. Сам видишь, живем мы небогато, но чужого нам не надо.

Ревизор молчал.

— Так скажи, откуда столько? Тысяча, что ли?

— Тысяча, — подтвердил ревизор.

— Новыми?

— Теперь на старые счета нет.

— Да ведь это сумасшедшие деньги, — задумчиво произнес Кузьма. — Я столько и в руках не держал. Мы ссуду в колхозе брали семьсот рублей на дом, когда ставили, и то много было, до сегодняшнего дня не расплатились. А тут тысяча. Я понимаю, можно ошибиться, набежит там тридцать, сорок, ну, пускай сто рублей, но откуда тысяча? Ты, видать, на этой работе давно, должен знать, как это получается.

— Не знаю, — покачал головой ревизор.

— А не могли ее сельповские с фактурой нагреть?

— Не знаю. Все могло быть. Я вижу, образование у нее небольшое.

— Какое там образование — грамотешка! С таким образованием только получку считать, а не казенные деньги. Я ей сколько раз говорил:

не лезь не в свои сани. Работать как раз некому было, ее и уговорили. А потом как будто все ладно пошло.

— Товары она всегда сама получала или нет? — спросил ревизор.

— Нет. Кто поедет, с тем и заказывала.

— Тоже плохо. Так нельзя.

— Ну вот…

— А самое главное: целый год не было учета.

Они замолчали, и в наступившей тишине стало слышно, как в спальне все еще всхлипывает Мария. Где-то вырвалась из раскрытой двери на улицу песня, прогудела, как пролетающий шмель, и стихла — после нее всхлипы Марии показались громкими и булькали, как обрывающиеся в воду камни.

— Что же теперь будет-то? — спросил Кузьма, непонятно к кому обращаясь — к самому себе или к ревизору.

Ревизор покосился на ребят.

— Идите отсюда! — цыкнул на них Кузьма, и они гуськом засеменили в свою комнату.

— Я завтра еду дальше, — придвигаясь к Кузьме, негромко начал ревизор. — Мне надо будет еще в двух магазинах сделать учет. Это примерно дней на пять работы. А через пять дней… — Он

замялся. — Одним словом, если вы за это время внесете деньги… Вы меня понимаете?

— Чего ж не понять, — откликнулся Кузьма.

— Я же вижу: ребятишки, — сказал ревизор. — Ну, осудят ее, дадут срок…

Кузьма смотрел на него с жалкой, подергивающейся улыбкой.

— Только поймите: об этом никто не должен знать. Я не имею права так делать. Я сам рискую.

— Понятно, понятно.

— Собирайте деньги, и мы постараемся это дело замять.

— Тысячу рублей, — сказал Кузьма.

— Да.

— Понятно, тысячу рублей, одну тысячу. Мы соберем. Нельзя ее судить. Я с ней много лет живу, ребятишки у нас.

Ревизор поднялся.

— Спасибо тебе, — сказал Кузьма и, кивая, пожал ревизору руку.

Тот ушел. Во дворе за ним скрипнула калитка, перед окнами прозвучали и затихли шаги.

Кузьма остался один. Он пошел на кухню, сел перед не топленной со вчерашнего дня печкой и, опустив голову, сидел так долго-долго. Он ни о чем не думал — для этого уже не было сил, он

застыл, и только голова его опускалась все ниже и ниже. Прошел час, второй, наступила ночь.

— Папа!

Кузьма медленно поднял голову. Перед ним стоял Витька — босиком, в майке.

— Чего тебе?

— Папа, у нас все в порядке будет?

Кузьма кивнул. Но Витька не уходил, ему надо было, чтобы отец сказал это словами.

— А как же! — ответил Кузьма. — Мы всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим. Нас пятеро мужиков, у нас получится.

— Можно, я скажу ребятам, что у нас все в порядке будет?

— Так и скажи: всю землю перевернем вверх тормашками, а мать не отдадим.

Витька, поверив, ушел.

Утром Мария не поднялась. Кузьма встал, разбудил старших ребят в школу, налил им вчерашнего молока. Мария лежала на кровати, уставив глаза в потолок, и не шевелилась. Она так и не разделась, лежала в платье, в котором пришла из магазина, лицо у нее заметно опухло. Перед тем как уходить, Кузьма постоял над ней, сказал:

— Отойдешь немножко, вставай. Ничего,

обойдется, люди помогут. Не стоит тебе раньше времени из-за этого помирать.

Он пошел в контору, чтобы предупредить, что на работу не выйдет.

Председатель был у себя в кабинете один. Он поднялся, подал Кузьме руку и, пристально глядя на него, вздохнул.

— Что? — не понял Кузьма.

— Слышал я про Марию, — ответил председатель. — Теперь уж вся деревня, поди, знает.

— Все равно не скроешь — пускай, — потерянно махнул рукой Кузьма.

— Что будешь делать? — спросил председатель.

— Не знаю. Не знаю, куда и пойти.

— Надо что-нибудь делать.

— Надо.

— Сам видишь, ссуду я тебе сейчас дать не могу, — сказал председатель. — Отчетный год на носу. Отчетный год кончится, потом посоветуемся, может, дадим. Дадим — чего там! А пока занимай под ссуду, все легче будет, не под пустое место просишь.

— Спасибо тебе.

— Нужны мне твои «спасибо»! Как Мария-то?

— Плохо.

— Ты иди скажи ей.

— Надо сказать. — У дверей Кузьма вспомнил: — Я на работу сегодня не выйду.

— Иди, иди. Какой из тебя теперь работник! Нашел о чем говорить!

Мария все еще лежала. Кузьма присел возле нее на кровать и сжал ее плечо, но она не откликнулась, не дрогнула, будто ничего и не почувствовала.

— Председатель говорит, что после отчетного собрания даст ссуду, — сказал Кузьма.

Она слабо шевельнулась и снова замерла.

— Ты слышишь? — спросил он.

С Марией вдруг что-то случилось: она вскочила, обвила шею Кузьмы руками и повалила его на кровать.

— Кузьма! — задыхаясь, шептала она. — Кузьма, спаси меня, сделай что-нибудь, Кузьма!

Он пробовал вырваться, но не мог. Она упала на него, сдавила ему шею, закрыла своим лицом его лицо.

— Родной мой! — исступленно шептала она. — Спаси меня, Кузьма, не отдавай им меня!

Он наконец вырвался.

— Дура баба, — прохрипел он. — Ты что, с ума сошла?

— Кузьма! — слабо позвала она.

— Чего это ты выдумала? Ссуда вот будет, все хорошо будет, а ты как сдурела.

— Кузьма!

— Ну что?

— Кузьма! — ее голос становился все слабей и слабей.

— Здесь я.

Он сбросил сапоги и прилег рядом с ней. Мария дрожала, ее плечи дергались и подпрыгивали. Он обнял ее и стал водить по плечу своей широкой ладонью — взад и вперед, взад и вперед. Она прижалась к нему ближе. Он все водил и водил ладонью по ее плечу, пока она не затихла. Он еще полежал рядом с ней, потом поднялся. Она спала.

Кузьма размышлял: можно продать корову и сено, но тогда ребятишки останутся без молока.

Из хозяйства продавать больше было нечего. Корову тоже надо оставить на последний случай, когда не будет выхода.

Значит, своих денег нет ни копейки, все придется занимать. Он не знал, как можно занять тысячу рублей, эта сумма представлялась ему настолько огромной, что он все путал ее со старыми деньгами, а потом спохватывался и, холодея, обрывал

себя. Он допускал, что такие деньги существуют, как существуют миллионы и миллиарды, но то, что они могут иметь отношение к одному человеку, а тем более к нему, казалось Кузьме какой-то ужасной ошибкой, которую — начни он только поиски денег — уже не исправить. И он долго не двигался — казалось, он ждал чуда, когда кто-то придет и скажет, что над ним подшутили и что вся эта история с недостачей ни его, ни Марии не касается. Сколько людей было вокруг него, которых она действительно не касалась!

Хорошо еще, что шофер подогнал автобус к самому вокзалу и Кузьме не пришлось добираться к нему по ветру, который как начал дуть от дома, так и не перестал. Здесь, на станции, гремит на крышах листовое железо, по улице метет бумагу и окурки, и люди семенят так, что не понять — или их несет ветер, или они все же справляются с ним и бегут, куда им надо, сами. Голос диктора, объявляющего о прибытии и отправлении поездов, рвется на части, комкается, и его невозможно разобрать. Гудки маневровых паровозов, пронзительные свистки электровозов кажутся тревожными, как сигналы об опасности, которую надо ждать с минуты на минуту.

За час до поезда Кузьма становится в очередь

за билетами. Кассу еще не открывали, и люди стоят, подозрительно следя за каждым, кто проходит вперед. Минутная стрелка на круглых электрических часах над окошечком кассы со звоном прыгает от деления к делению, и люди всякий раз задирают головы, мучаются.

Наконец кассу открывают. Очередь сжимается и замирает. В окошечко кассы просовывается первая голова; проходит две, три, четыре минуты, а очередь не движется.

— Что там — торгуются, что ли? — кричит кто-то сзади.

Голова выползает обратно, и женщина, стоявшая в очереди первой, оборачивается:

— Оказывается, нет билетов.

— Граждане, в общие и плацкартные вагоны билетов нет! — кричит кассирша.

Очередь комкается, но не расходится.

— Не знают, как деньги выманить, — возмущается толстая, с красным лицом и в красном платке тетка. — Понаделали мягких вагонов — кому они нужны? Уж на что самолет, и то в нем все билеты поровну стоят.

— В самолетах и летайте, — беззлобно отвечает кассирша.

— И полетим! — кипятится тетка. — Вот еще

раз, два такие фокусы выкинете, и ни один человек к вам не пойдет. Совести у вас нету.

— Летайте себе на здоровье — не заплачем!

— Заплачешь, голубушка, заплачешь, когда без работы-то останешься.

Кузьма отходит от кассы. Теперь до следующего поезда часов пять, не меньше. А может, все-таки взять в мягкий? Черт с ним! Неизвестно еще, будут в том поезде простые места или нет — может, тоже одни мягкие? Зря прождешь. «Снявши голову, по волосам не плачут», — почему-то вспоминает Кузьма. В самом деле — лишняя пятерка погоды теперь не сделает. Тысяча нужна — чего уж теперь по пятерке плакать.

Кузьма возвращается к кассе. Очередь разошлась, и перед кассиршей лежит раскрытая книга.

— Мне до города, — говорит ей Кузьма.

— Билеты только в мягкий вагон, — будто читает кассирша, не поднимая глаз от книги.

— Давай куда есть.

Она отмечает линейкой прочитанное, откуда-то сбоку достает билет и сует его под компостер.

Теперь Кузьма прислушивается, когда назовут его поезд. Поезд подойдет, он сядет в мягкий вагон и со всеми удобствами доедет до города.

Утром будет город. Он пойдет к брату и возьмет у него те деньги, которых не хватает до тысячи. Наверное, брат снимет их с книжки. Перед отъездом они посидят, выпьют на прощанье бутылку водки, а потом Кузьма отправится обратно, чтобы успеть к возвращению ревизора. И пойдет у них с Марией опять все как надо, заживут как все люди. Когда кончится эта беда и Мария отойдет, будут они и дальше растить ребят, ходить с ними в кино — как-никак свой колхоз: пятеро мужиков и мать. Всем им еще жить да жить. По вечерам, укладываясь спать, будет он, Кузьма, как и раньше, заигрывать с Марией, шлепать ее по мягкому месту, а она будет ругаться, но не зло, понарошку, потому что она и сама любит, когда он дурачится. Много ли им надо, чтобы все было хорошо? Кузьма приходит в себя. Много, ох много — тысячу рублей. Но теперь уже не тысячу, больше половины из тысячи он с грехом пополам достал. Ходил унижался, давал обещания, где надо и не надо, напоминал о ссуде, боясь, что не дадут, а потом, стыдясь, брал бумажки, которые жгли руки и которых все равно было мало.

К первому он, как, наверно, и любой другой в деревне, пошел к Евгению Николаевичу.

— А, Кузьма, — встретил его Евгений Ни-

колаевич, открывая дверь. — Заходи, заходи. Присаживайся. А я уж думал, что ты на меня сердишься — не заходишь.

— За что мне на тебя сердиться, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Об обидах не все говорят. Да ты садись. Как жизнь-то?

— Ничего.

— Ну-ну, прибедняйся. В новый дом переехал и все ничего?

— Да мы уж год в новом доме. Чего теперь хвастать?

— А я не знаю. Ты не заходишь, не рассказываешь.

Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая, перенес их на полку. Он моложе Кузьмы, но в деревне его величают все, даже старики, потому что вот уже лет пятнадцать он директор школы, сначала семилетки, потом восьмилетки. Родился и вырос Евгений Николаевич здесь же и, закончив институт, крестьянского дела не забыл: сам косит, плотничает, держит у себя большое хозяйство, когда есть время, ходит с мужиками на охоту, на рыбалку. Кузьма сразу пошел к Евгению Николаевичу потому, что знал: деньги у него есть. Живет он вдвоем с же-

ной — она у него тоже учительница, — зарплата у них хорошая, а тратить ее особенно некуда, все свое — и огород, и молоко, и мясо.

Видя, что Евгений Николаевич собирает книги, Кузьма приподнялся.

— Может, я не ко времени?

— Сиди, сиди, как это не ко времени! — удержал его Евгений Николаевич. — Время есть. Когда мы не на работе, время у нас свое, не казенное. Значит, и тратить мы его должны как душе угодно, правда?

— Как будто.

— Почему «как будто»? Говори, правда. Время есть. Чай вот можно поставить.

— Чай не надо, — отказался Кузьма. — Не хочу. Недавно пил.

— Ну, смотри. Говорят, сытого гостя легче потчевать. Правда?

— Правда.

Кузьма поерзал на стуле, решился:

— Я, Евгений Николаевич, по делу к тебе тут по одному пришел.

— По делу? — Евгений Николаевич, насторожившись, сел за стол. — Ну, так давай говори. Дело есть дело, его решать надо. Как говорят, куй железо, пока горячо.

— Не знаю, как и начать, — замялся Кузьма.

— Говори, говори.

— Да дело такое: деньги я пришел у тебя просить.

— Сколько тебе надо? — зевнул Евгений Николаевич.

— Мне много надо. Сколько дашь.

— Ну, сколько — десять, двадцать, тридцать?

— Нет, — покачал головой Кузьма. — Мне надо много. Я тебе скажу зачем, чтобы понятно было. Недостача у моей Марии большая получилась — может, ты знаешь?

— Ничего не знаю.

— Вчера ревизию кончили — и вот преподнесли, значит.

Евгений Николаевич забарабанил по столу костяшками пальцев.

— Неприятность какая, — сказал он.

— А?

— Неприятность, говорю, какая. Как это у нее получилось?

— Вот получилось.

Они замолчали. Стало слышно, как тикает где-то будильник; Кузьма поискал его глазами, но не нашел. Будильник стучал, почти захлебываясь. Евгений Николаевич вновь забарабанил по столу

пальцами. Кузьма взглянул на него — он чуть заметно морщился.

— Судить могут, — сказал Евгений Николаевич.

— Для того деньги и ищу, чтоб не судили.

— Все равно судить могут. Растрата есть растрата.

— Нет, не могут. Она оттуда не брала, я знаю.

— Что ты мне-то говоришь? — обиделся Евгений Николаевич. — Я не судья. Ты им скажи. Я говорю это к тому, что надо осторожно: а то и деньги внесешь, и судить будут.

— Нет. — Кузьма вдруг почувствовал, что он и сам боится этого, и сказал больше себе, чем ему. — Теперь смотрят, чтоб не зря. Мы не пользовались этими деньгами, они нам не нужны. У ней ведь недостача эта оттого, что малограмотная она, а не как-нибудь.

— Они этого не понимают, — махнул рукой Евгений Николаевич.

Кузьма вспомнил про ссуду и, не успев успокоиться, сказал жалобно и просяще, так что противно стало самому:

— Я ведь ненадолго занимаю у тебя, Евгений Николаевич. Месяца на два, на три. Мне председатель ссуду пообещал после отчетного собрания.

— А сейчас не дает?

— Сейчас нельзя. Мы еще за старую не расплатились, когда дом ставили. И так навстречу идет, другой бы не согласился.

Снова вырвалась откуда-то частая дробь будильника, застучала тревожно и громко, но Кузьма и на этот раз не нашел его. Будильник мог стоять или за шторой на окне, или на книжной полке, но звук, казалось, шел откуда-то сверху. Кузьма не вытерпел и взглянул на потолок, а потом выругал себя за дурость.

— А ты уже к кому-нибудь ходил? — спросил Евгений Николаевич.

— Нет, к тебе первому.

— Что ж делать — дать придется! — вдруг воодушевляясь, сказал Евгений Николаевич. — Если не дать, ты скажешь: вот Евгений Николаевич пожалел, не дал. А люди обрадуются.

— Зачем мне про тебя говорить, Евгений Николаевич?

— А я не знаю. Я не про тебя, конечно, — вообще. Народ всякий. Только у меня деньги на сберкнижке в районе. Я специально подальше их держу, чтоб не вытаскивать по пустякам. Ехать туда надо. Времени вот сейчас нет. — Он опять поморщился. — Придется съездить. Дело такое.

У меня там сотня и есть — сниму. Это правильно: мы друг другу помогать должны.

Кузьма, как-то вдруг сразу обессилев, молчал.

— На то мы и люди, чтобы быть вместе, — говорил Евгений Николаевич. — Про меня в деревне всякое болтают, а я никому еще в помощи не отказывал. Ко мне часто приходят: то пятерку, то десятку дай. Другой раз последние отдаю. Правда, люблю, чтобы возвращали, за здорово живешь тоже работать неохота.

— Я отдам, — сказал Кузьма.

— Да я не про тебя, я знаю, что ты отдашь. Вообще говорю. У тебя совесть есть, я знаю. А у некоторых нет — так живут. Да ты сам знаешь — что тебе говорить! Народ всякий.

Евгений Николаевич все говорил и говорил, и у Кузьмы разболелась голова. Он устал. Когда он наконец вышел на улицу, последний туман, который держался до обеда, рассеялся, и светило солнце. Воздух был прозрачный и ломкий — как всегда в последние погожие дни поздней осени. Лес за деревней казался близким, и стоял он не сплошной стеной, а делился на деревья, уже голые и посветлевшие.

На воздухе Кузьме стало легче. Он шел, и идти ему было приятно, но где-то внутри, как нарыв,

по-прежнему зудила боль. Он знал — это надолго.

Мария все-таки поднялась, но рядом с ней за столом сидела Комариха. Кузьма сразу понял, в чем дело.

— Ты уж прибежала. — Он готов был выбросить Комариху за дверь. — Почуяла. Как ворона на падаль.

— Я не к тебе пришла, и ты меня не гони, — затараторила Комариха. — Я вот к Марии пришла, по делу.

— Знаю я, по какому ты делу пришла.

— По какому надо, по такому и пришла.

— Вот-вот.

Мария, сидевшая неподвижно, повернулась.

— Ты, Кузьма, в наши дела не лезь. Не нравится — уйди в другую комнату или еще куда. Не бойся, Комариха, давай дальше.

— Я не боюсь. — Комариха достала откуда-то из-под юбки карты, косясь на Кузьму, стала раскладывать. — Поди, не ворую — чего мне бояться. А на всех если внимание обращать, нервов не хватит.

— Сейчас она тебе наворожит! — усмехнулся Кузьма.

— А как карты покажут, так и скажу, врать

не стану.

— Где там — всю правду выложишь!

Мария повернула голову, с затаившейся болью сказала:

— Уйди, Кузьма!

Кузьма сдержался, умолк. Он ушел на кухню, но и здесь было слышно, как Комариха плюет на пальцы, заставляет Марию вытягивать из колоды три карты, бормочет:

— А казенный дом тебе, девка, слава те Господи, не выпал. Врать не стану, а нету. Вот она, карта. Будет тебе дальняя дорога — вот она, дорога, и бубновый интерес.

— Ага, орден в Москву вызовут получать, — не выдержал Кузьма.

— И будут у тебя хлопоты, большие хлопоты — не маленькие. Вот они, здесь. До трех раз надо. — Видно, Комариха собрала карты. — Сними-ка, девка. Хотя нет, подожди, тебе снимать нельзя. Надо, чтобы был чужой человек, который не ворожит. У тебя ребятишки дома?

— Нету.

— Ах ты, беда!

— Да давай сниму, — сказала Мария.

— Нет, нельзя, карта другая пойдет. Эй, Кузьма! — ласково запела Комариха. — Иди-ка к нам

сюда на минутку. Ты на нас, грешных, не серчай. У тебя свое поверье, у нас свое. Сними-ка нам, дружок, шапку с колоды.

— Язви тебя! — Кузьма подошел и толкнул сверху карты.

— Вот так. У меня зять тоже не верил, партейный был — как же! — а как в сорок восьмом под суд его отдали, в тот же вечер ко мне за молитвой прибежал.

Она раскладывала карты вниз картинками, продолжала:

— Это ведь до поры до времени не верят, пока жизнь спокойная. А случись беда, да не так чтоб просто беда, а беда с горем — сра-а-зу и про Бога вспоминают и про слуг его, которым в глаза плевали.

— Мели, мели, Комариха, — устало отмахнулся Кузьма.

— А я не мелю. Говорю как знаю. Вот ты, думаешь, не веришь хоть и в эту ворожбу? Это тебе только кажется, что не веришь. А случись завтра война, думаешь, не интересно тебе будет сворожить, убьют тебя или не убьют?

— Да ты раскрывай карты-то, — заторопила Мария.

Комариха отступилась от Кузьмы и затянула

опять про бубновые интересы и крестовые хлопоты. Кузьма прислушался: казенный дом не выпал и на этот раз.

После Комарихи они остались дома вдвоем. Мария все так же сидела за столом, спиной к Кузьме, и смотрела в окно. Кузьма курил.

Мария не шевелилась. Кузьма за ее спиной приподнялся и посмотрел туда, куда смотрела она, но ничего не увидел. Он боялся заговорить с ней, боялся, что, скажи он хоть слово, произойдет что-нибудь нехорошее, что потом не поправить. Молчать было тоже невмоготу. У него опять разболелась голова, и острые, тукающие удары били в висок, заставляя его ждать их и бояться.

Мария молчала. Он исподволь следил за нею, но он мог бы и не следить, потому что, пошевелись она, он в тишине сразу услышал бы любой ее шорох. Он ждал.

Наконец она пошевелилась, и он вздрогнул.

— Кузьма, — произнесла она, по-прежнему глядя в окно.

Он увидел, что она смотрит в окно, и опустил глаза.

Вдруг она засмеялась. Он смотрел в пол и не поверил, что это смеется она.

Она засмеялась во второй раз, но теперь ее смех

был где-то далеко. Он поднял глаза — ее не было. Он испугался. Оглядываясь, он поднялся и осторожно подошел к двери, ведущей в спальню. Она лежала на кровати.

— Иди сюда, — позвала она, не глядя на него.

Он подошел.

— Ляг, полежи со мной.

Он осторожно лег рядом с ней и почувствовал, что она дрожит.

Через полчаса она рассказала:

— Ты, поди, решил, что я сошла с ума. Я и правда ненормальная. То плачу, то вдруг стала смеяться. Я вспомнила, кто-то рассказывал, что бабы там, в тюрьмах этих, вытворяют друг над другом. Срам какой. Мне стало нехорошо. А потом думаю: да ведь я еще не там, я еще здесь.

Она прижалась к Кузьме и заплакала.

— Ну вот и опять плачу, — всхлипывала она. — Не отдавай ты им меня, не отдавай, хороший ты мой. Не хочу…

Поезд подходит медленно, уже остановившись, в последний раз со скрежетом дергается и замирает. Кузьма замерз, но в вагон поднимается не сразу. Стоит, смотрит. Несколько пассажиров с поезда мечутся по перрону, перебегая от одного

киоска к другому, — со стороны кажется, что их кружит ветер. Откуда-то из-за туч пробивается легкое и тонкое, как высохший лист, солнечное пятно, хотя самого солнца не видно; подрагивая, оно чуть держится на платформе, на крышах вагонов, но ветер быстро срывает его и уносит.

Кузьма ездит редко и всякий раз чувствует себя в дороге неспокойно, будто он потерял все, что у него в жизни было, и теперь ищет другое, но неизвестно еще, найдет или нет. В этот раз особенно: он знает, что надо ехать, и все-таки ехать боится. А тут еще ветер. Конечно, ветер не может иметь никакого отношения ни к истории с Марией, ни к поездке в город, он дует сам по себе, как дул, наверно, и в прошлом и в позапрошлом году, когда у Кузьмы с Марией было все хорошо, и тем не менее Кузьма не может отделаться от чувства, что одно с другим связано и ветер дует не зря. И то, что не было билетов в общие вагоны, тоже, наверно, не так просто, что-нибудь вроде предупреждения: мол, если не дурак, то поймешь и никуда не поедешь.

По радио объявляют, что до отхода поезда осталось две минуты, и Кузьма, заторопившись, идет к своему вагону, но перед тем как подняться, оборачивается к вокзалу и думает: с чем же я приеду

обратно? Как ни удивительно, это помогает ему, будто он прочитал молитву и доверил свою судьбу кому-то другому, а сам теперь может ничего не делать. Он стоит у окна и смотрит, как за поездом сходятся друг с другом станционные постройки, и ему странно думать, что еще утром он был дома. Кажется, это было давным-давно. Он вздыхает. Скоро его мучения с деньгами кончатся — плохо ли, хорошо ли, но кончатся: через два дня приедет ревизор, и тогда все решится. Два дня — это немного. Он чувствует усталость, страшную усталость, которая тем и страшна, что она не физическая — к физической он привык.

— Билет ваш покажите! — раздается за его спиной голос.

Кузьма оборачивается — подошла проводница, уже немолодая, уставшая от поездок. Она вертит в руках билет и несколько раз переводит взгляд с него на Кузьму и обратно, будто Кузьма этот билет украл или подделал; в этот момент она, пожалуй, искренне жалеет, что на билеты не наклеивают фотографии пассажиров, а без фотографии доказать ничего нельзя.

Проводница смотрит на сапоги, и Кузьма тоже опускает глаза — на ярком, до стеклянности чистом ковре его поношенные, изрядно запылив-

шиеся в дороге кирзовые сапоги сорок второго размера выглядят гусеницами трактора, на котором заехали в цветник. Кузьма хочет оправдаться и виновато говорит:

— В другие вагоны билетов не было.

— А вы и рады, — зло бросает она и, не имея возможности выгнать его, но и не желая с ним больше разговаривать, делает знак, чтобы он шел за ней.

Она стучит в одну из узких, будто игрушечных, синих дверок, потом отодвигает ее в сторону и, став у входа сбоку, так что Кузьму хорошо видно вместе с его сапогами, фуфайкой и армейской сумкой, говорит виновато, совсем как Кузьма перед этим говорил ей самой:

— Извините, пожалуйста, тут вот пассажир… — она делает паузу и, оправдываясь, заканчивает: — С билетом.

— Неужели с билетом? — щуря один глаз, удивленно спрашивает военный; потом Кузьма разглядит, что он полковник.

— Не может быть! — Сидящий рядом с полковником человек в белой майке с выгибающимся брюшком испуганно повторяет: — Не может быть!

Проводница натянуто улыбается. Потом про-

износит:

— С билетом…

— Неужели нельзя было подсадить к нам кого-нибудь без билета?! — Полковник недовольно качает головой и даже цокает языком. — Ведь мы же вас просили.

Человек в белой майке, не сдержавшись, смеется легким, без всякого напряжения смехом, с частыми звуками, совсем как мотор мотоцикла, работающий на средних оборотах, и полковник, выданный этим смехом, теперь тоже улыбается.

— Вы все шутите, — с явным облегчением говорит проводница, по-прежнему выглядывая из-за двери. — Мне, правда, больше его некуда девать, все занято. — Уходя, она уже и сама пытается шутить: — Но он с билетом…

— Заходи, заходи, — кивает полковник Кузьме.

Кузьма переступает в купе и у дверей останавливается.

— Полка твоя вон там, — полковник показывает наверх. — Опускай ее и, если хочешь, устраивайся. Не робей, тут все свои.

— Да я не робею.

— Воевал?

— Довелось.

— Ну, тем более. Тогда ничего не страшно.

— Относительно того, что все занято, она, мягко говоря, несколько присочинила, — подает вдруг голос человек, лежащий на второй нижней полке. — Рядом с нами, в девятом, тоже трое. Туда она, однако же, не пошла.

— Ну-у, — понимающе отвечает ему человек в белой майке. — К ним она так просто не пойдет.

— А к нам, выходит, можно?

— Она, Геннадий Иванович, привыкла разбираться, кто из нас чего стоит. Ей удостоверения личности не нужны. И тебя она в первую же минуту рассмотрела, что ты всего-навсего какой-то там директор радиостанции, — человек в белой майке подмигивает полковнику.

— Не директор радиостанции, а председатель областного комитета по радиовещанию и телевидению, — сухо поправляет Геннадий Иванович.

— Поверьте, для нее это не имеет разницы.

— Не понимаю… — Геннадий Иванович поджимает губы, так и не договорив, чего он не понимает. Он лежит в пижаме, пижамные брюки заправлены в носки, роста он маленького, с красивым немужским лицом, на котором прежде всего обращают на себя внимание большие, холодно глядящие глаза. Голову с гладко зачесан-

ными длинными волосами Геннадий Иванович поворачивает медленно, с достоинством, а повернув, поправляет ее так, чтобы она сидела красиво.

Кузьма все еще стоит; хотел снять с себя фуфайку, но посмотрел — обе вешалки с той стороны, где его полка, заняты, а повесить ее поверх дорогого коричневого пальто не решился — не замарать бы пальто. Фуфайка вообще-то чистая, но мало ли что — все-таки надеванная. Сумку он пристроил на свободное местечко на полу у дверей — так что с сумкой все в порядке.

Опустить бы полку, может, там и для фуфайки найдется место где-нибудь в ногах, но Кузьма не знает, как она опускается; на всякий случай он дергает ее вниз и, обернувшись, встречает насмешливые глаза Геннадия Ивановича.

— Подожди, подожди, — полковник поднимается и снимает задвижку, которая держала полку. — Вот так. Техника, брат. А то ты мужик здоровый, чего доброго, вагон перевернешь.

— Из деревни? — спрашивает Кузьму человек в белой майке.

— Из деревни.

— Постель должна быть где-то там, — полковник показывает на нишу над дверью, похожую

на деревенские полати. Туда, в эту нишу, и заталкивает Кузьма фуфайку, потому что его полка обтянута белым и положить на нее фуфайку нельзя. Но, слава богу, место нашлось. Он чувствует, что стало легче, теперь осталось пристроить куда-нибудь самого себя.

— Как ты думаешь, Геннадий Иванович, почему я догадался, что товарищ из деревни? — спрашивает человек в белой майке.

— По духу.

— Нет, по лицу. Обрати внимание: у деревенских, почти у всех, без исключения, черные, загорелые лица. Они всегда на воздухе.

— А я думал, по духу, — насмешливо повторяет Геннадий Иванович.

Полковник, освобождая для Кузьмы место, отодвигается, и Кузьма садится — сначала на краешек, потом, поняв, что Геннадий Иванович заметил это, устраивается удобней. Он сидит у двери, у окна сидит человек в белой майке, между ними полковник. На другой полке — с подогнутыми в коленях ногами лежит на спине Геннадий Иванович. Кузьма поднимает на него глаза и сразу отводит их: Геннадий Иванович внимательно рассматривает его. Потом Кузьме кажется, что Геннадий Иванович смотрит на него

не переставая, но он размышляет, что смотреть не переставая тот не может, а значит, это ему только кажется — такие у него глаза. Видно, он уже давно начальник, думает Кузьма, а сам по себе человек не сильно добрый. Голос у него слабый, голосом он взять не может, вот и научился брать глазами, чтобы люди его глаз боялись.

— Как вы там в деревне, дорогой товарищ? От-страдо-ва-лись? — человек в белой майке с трудом произносит непривычное для себя слово.

— Отстрадовались, — отвечает Кузьма.

— И как урожай?

— В этом году ничего. В нашей местности вообще-то больших урожаев не бывает, но в этом году по двенадцать центнеров пшеницы на круг взяли.

— В этом году урожай везде хороший, — говорит полковник. — Так что деревня живет.

— А она всегда живет, — с нажимом, как бы вдавливая слова, говорит Геннадий Иванович. — Когда нет своего, берет ссуду у государства, когда надо расплачиваться, снова берет ссуду. И так до тех пор, пока государству ничего не остается, как плюнуть на эти долги и аннулировать их.

— Это было не от хорошей жизни, — заглядывая

в окно, возражает человек в белой майке. — Сами знаете.

Геннадий Иванович хмыкает.

— Сколько рабочих ваш завод теряет каждую осень, когда в деревне начинается уборка? — спрашивает он.

— Что ж поделаешь? Видно, иначе нельзя. Деревне одной не под силу.

— А, бросьте. Но давайте даже допустим, что это так. Почему же в таком случае, когда у вас горит план в конце года, а деревне в это время делать почти нечего — почему она не посылает своих людей, чтобы помочь вам, как вы помогали ей? На равноправных началах, как хорошие соседи.

— На заводе нужна квалификация.

— У вас сколько угодно работы, где можно обойтись без квалификации.

— Геннадий Иванович, ты говоришь так, будто знаешь завод лучше меня.

— Конечно, я завод знаю хуже тебя, но деревню, думаю, не хуже, — говорит Геннадий Иванович. — Дело не в этом. Как-то раз один туберкулезный больной сделал мне очень интересное признание. Я, говорит, если бы захотел, давно бы вылечился, но мне нет интереса быть здоровым. Не понимаете? Я тоже сначала не по-

нял. Он объяснил: четыре, пять месяцев в году он находится в больнице, на полном государственном обеспечении, или в санатории, где они ловят рыбку, гуляют по роще, а государство выплачивает ему все сто процентов заработка. Лечат его бесплатно, питание, конечно, самое лучшее, квартиру в первую очередь — все блага, все привилегии как больному. А он возвращается из санатория и с полным сознанием того, что делает, начинает пить, курит, — особенно если наблюдается улучшение, — лишь бы не лишиться этих привилегий. Он уже привык к ним, не может без них.

— Ну и что? — спрашивает человек в белой майке.

— Ничего, — Геннадий Иванович улыбается ему снисходительной улыбкой. — Но не станете же вы отрицать, что деревня у нас находится на несколько привилегированном положении. Машины мы ей продаем по заниженным ценам, хлеб покупаем по повышенным, и она со своей деревенской хитростью и расчетливостью уже давно поняла, что решать все свои проблемы своими силами ей невыгодно. Хотя, очевидно, могла бы. Она отлично знает, что на уборку из города пришлют машины, людей, надо бу-

дет — государство опять даст деньги.

«Ага, все дураки, один ты умный», — думает Кузьма, но молчит.

— Хлеб мы все едим, — говорит человек в белой майке.

— Машины, выпускаемые вашим заводом, тоже, очевидно, на заводе не остаются, — отвечает ему Геннадий Иванович, и человек в белой майке, соглашаясь, неохотно кивает. — Правильно вы говорите: хлеб мы все едим, но с каждого надо спрашивать за тот участок, за который ему поручено отвечать, по всей строгости. С нас тоже спрашивают. А с деревней мы почему-то позволяем себе заигрывать, будто она в другом государстве. Торгуемся с ней.

— Что это вы сегодня на нее ополчились? — спокойно спрашивает полковник, но в его спокойном голосе слышно — нет, не приказание — а всего только вежливое и тем не менее настоятельное желание, чтобы этот надоевший ему спор заканчивали.

— Почему ополчился? Нисколько. Как видите, я пытаюсь разобраться в причинах ее отставания, — не сразу сдается Геннадий Иванович. — Я считаю, что мы сами в этом виноваты. Сейчас это положение начинают понимать. В некоторых

местах отказались от посылки горожан в деревню, и выяснилось, что она прекрасно обходится своими силами.

— Честное слово, Геннадий Иванович, разберутся и без нас — что мы будем себе зря голову ломать? — добродушно щурясь, но по-прежнему твердо говорит полковник. — Давайте найдем себе дело по силам. К примеру, преферанс.

Человек в белой майке моментально оживляется:

— Правильно. Действительно, пора начинать, а то спорим черт знает о чем. Пассажиры мы или Совет Министров? — Он окликает Кузьму: — Эй, дорогой товарищ, ты в преферанс играешь?

— В преферанс? — Кузьма не знает, что это такое.

— Он в «дурака» играет, — подсказывает Геннадий Иванович.

— В «дурака», ага, играю, — простодушно признается Кузьма.

Раздается смех — смеются полковник и человек в белой майке, а на лице Геннадия Ивановича сияет довольная улыбка; громкий и легкий, похожий на звук мотоциклетного мотора, смех человека в белой майке разносится по всему вагону. Полковник, отсмеявшись, хлопает Кузьму

по плечу:

— «Дурак» тоже хорошая игра, но нам нужен преферансист. В «дурака» сыграем в следующий раз… Придется вам опять идти за своим товарищем, — говорит полковник человеку в белой майке. Тот, вскакивая, козыряет:

— Есть!

Они возбуждены, говорят громко, и в купе становится тесно. Только Геннадий Иванович спокойно лежит на своем месте. Человек в белой майке надевает пиджак, стягивает его на животе пуговицей и, дурачась, начинает чесать нос, а сам поглядывает на Геннадия Ивановича:

— Геннадий Иванович, сколько мы вчера на вас записали?

— Не очень много.

— Неужели не хватит?

— Хватить-то хватит. — Геннадий Иванович смотрит на часы. — Но там сейчас перерыв.

— Это можно устроить.

Человек в белой майке, насвистывая что-то веселенькое, выходит, и из коридора доносится его голос:

— Девушка, хорошая, загляните в наше купе, пожалуйста.

Через минуту в дверях появляется проводница,

уставшими глазами смотрит на полковника. Полковник показывает ей на Геннадия Ивановича. Геннадий Иванович совсем не просящим, твердым голосом говорит:

— Услуга за услугу, девушка. Вашего пассажира с билетом мы устроили, теперь хотим вас попросить об одолжении. — Он протягивает ей деньги. — Бутылочку коньяку, если вы ничего не имеете против. Вы там человек свой, вам дадут.

— Ну ладно, — привычно соглашается она.

Кузьма размышляет, что делать — взобраться на свою полку или выйти в коридор, но, ничего не решив, снова принимается ругать себя за то, что взял билет в мягкий вагон.

Если идти в коридор, все равно надо снимать сапоги, а то увидит опять проводница, и начнется. Корчит из себя барыню, а сама такого же роду-племени, как и он, ничем не лучше. Только работа другая. Вот что работа делает с человеком.

Кузьма стягивает с ног сапоги, разматывает портянки и чувствует, что Геннадий Иванович наблюдает за ним. Кузьме опять становится не по себе, в нем поднимается не то злость, не то робость. «Я ему как бельмо на глазу», — дума-

ет он. Рядом стоят блестящие хромовые сапоги полковника, и Кузьма скорей заталкивает свои под скамью и в носках выходит в коридор. «Теперь пускай придерется».

Он стоит у окна и слышит за спиной голос проводницы, принесшей коньяк, потом голосов сразу становится много — это человек в белой майке привел преферансиста. Они смеются, называют какие-то цифры, затем в наступившей тишине до Кузьмы доносится знакомое побулькивание, и кто-то от души крякает.

Ветер на улице не стал меньше. Небо серое, с грязными потеками, по воздуху, как по реке в половодье, несет мусор. Маленькие поселки в пять-шесть домиков вдоль дороги отстоят друг от друга недалеко, будто это ветром разнесло какую-то большую станцию. Даже из вагона видно, как сильно раскачиваются провода, и, кажется, слышно, как они гудят — натужно, из последних сил, мечтая оторваться и замолчать.

— Эй, товарищ! — слышит Кузьма голос человека в белой майке и оборачивается. — Послушай, а что, если мы тебе предложим обменяться вагонами вот с товарищем? — Человек в белой майке показывает на преферансиста. — Он вот тут рядом едет, в купейном, а у нас, видишь ли,

выявились общие интересы, хотелось бы вместе.

— Если вы согласитесь, я думаю, вам будет там даже лучше, — говорит преферансист.

— Мне все равно, — безразлично отвечает Кузьма.

Полковник внимательно смотрит на него:

— Если ты не хочешь, то и не надо, это совсем не обязательно. Это нам так, блажь в голову пришла, думаем, может, засидимся, а тебе отдыхать надо будет.

— Мне все равно, — повторяет Кузьма.

— Вот и замечательно, — радуется человек в белой майке. — Я же говорил, что согласится. Теперь осталось только договориться с девушками. А к нам, если хочешь, будешь в гости приходить, — говорит он Кузьме. — Это вот рядом, в соседнем вагоне. Сейчас мы все устроим.

Кузьма, постояв, наматывает портянки, натягивает сапоги. Подпрыгнув, он хватается за рукав фуфайки и стягивает ее вниз. Потом поднимает с пола сумку. Вот он и готов. Обмен так обмен — ему действительно все равно. Лишь бы ехать. Если бы еще обменяться на общий вагон, было бы совсем хорошо. Кто знает — может, там и предложат.

Преферансист ждет его.

— До свиданья, — оборачиваясь, говорит Кузьма.

— Будь здоров, — отвечает ему полковник.

Магазин опечатали, ставни замкнули на болты, и только бумажку с объявлением, что магазин закрыт на учет, с дверей так и не сняли; люди, завидев бумажку, шли к ней, поднимались ради нее на высокое крыльцо и подолгу читали. Надо бы сорвать бумажку, но ее не срывали — опасались навредить Марии: пусть уж, пока Кузьма ищет деньги, считается, что учет не кончился, чтобы обмануть этим Мариину судьбу.

Магазин был как проклятый — уже сколько народу пострадало из-за него! Еще надо благодарить Бога, что до войны был живой Илья Иннокентьевич, он проработал в магазине без малого десять лет, и ничего. Но Илью Иннокентьевича не надо было учить, как торговать: у его отца раньше была своя лавка, которая потом перешла к нему, и он за прилавком привык стоять с малолетства.

А после Ильи Иннокентьевича началось. Первой, сразу после войны, пострадала переселенка Маруся, над которой деревня подсмеивалась за ее хохлацкий выговор, но которую любила и жалела за ее бедовость, за то, что видела своими глазами войну и кое-как спаслась от нее с двумя

ребятишками. Маруся лучше многих деревенских понимала в грамоте и все же не убереглась. Сейчас уж никто не помнит, какая у нее была недостача. Марусе дали пять лет, ребятишек ее отправили в детдом, и что со всеми с ними сталось, больше в деревне не слыхали.

Остатки получились у однорукого Федора, но он оказался удачливей других и выкрутился, сказав, что держал свои деньги вместе с магазинными. Сначала ему не поверили и даже увезли его в район, но он стоял на своем, и его в конце концов отпустили, хотя в магазине работать не позволили. Но он бы туда и сам ни за какие пряники больше не пошел, с тех пор он говорит об этом при каждом удобном случае.

До Марии продавщицей была Роза, молоденькая, совсем девчонка, которую выгнали за что-то из раймага и направили сюда. Роза работала не по часам, а по охоте; захочет — откроет магазин, не захочет — не откроет. На выходные и на праздники она уезжала к себе в район и не показывалась по три дня, а потом привезет с собой какую-нибудь мелочишку и говорит, что получала товар, — попробуй докажи, что она гуляла. В деревне ее не любили, но и она тоже не скрывала, что этот магазин и эта деревня ей нужны,

как собаке пятая нога, и не один раз собиралась уезжать, но ее не отпускали, потому что работать было некому. Из Александровского, из училища механизации, к ней часто наведывались ребята, и тогда начиналась гулянка; ребята-то, наверно, и помогли Розе схлопотать три года за недостачу.

После Розы магазин не работал четыре месяца — в продавцы больше никто не шел. Людям даже за солью, за спичками приходилось ехать за двадцать верст в Александровское, а туда приедешь — когда открыто, а когда и закрыто. Что уж там говорить — деревня намаялась всласть: свой магазин под боком, десяти минут хватит, чтобы обернуться туда-обратно, — нет, надо терять день, а то и два. Сельсовет названивал в райпотребсоюз, оттуда отвечали: ищите продавца на месте, а люди говорили: хватит нам план на тюрьму выполнять. Каждый боялся. Своими глазами видели, чем кончается это продавцовство, а деньги, чтобы позариться на них, платили тут не такие уж и большие.

Но весной как будто засветилось: Надя Воронцова, беременная третьим, дала согласие — но только после того, как родит. Ей оставалось ходить еще месяца два, после родов тоже за при-

лавок ее сразу не поставишь — значит, и там месяца два, не меньше, ей надо дать. На это время и стали искать продавца. Вызывали, кого можно было, в сельсовет и там уговаривали. Вызвали и Марию.

У Марии тогда, как нарочно, все одно к одному сходилось. Ее последний парнишка рос слабым, болезным, и за ним нужен был уход да уход. Это бы еще полбеды, но Марии и самой по-доброму надо было оберегаться, потому что она лечилась и врачи не велели ей делать тяжелую работу, да ведь это только сказать легко, а где в колхозе найдешь ее, легкую работу? Даже заикаться о ней неудобно — вот и ворочала все подряд, себя не жалела. Пока сходило, но Мария все же опасалась, что так ее ненадолго хватит, а ребятишки еще маленькие. Пусть бы подросли.

В то время они жили еще в старом доме, который стоял рядом с магазином — тоже удобно: ребятишки на глазах, чуть выдалась свободная минута, можно покопаться в огороде, а если кому надо в магазин — крикнет, и она уже здесь. Прямо лучше не придумаешь. И для семьи было бы хорошее подспорье: после ссуды, которую Кузьма взял на новый дом, деньги им теперь надолго были заказаны.

И все же, когда Марию вызвали в сельсовет и заговорили о магазине, она наотрез отказалась.

— Тут и не такие головы летели, куда уж мне, — отговорилась она и ушла.

На другой день, высмотрев, что Кузьма дома, председатель сельсовета пришел к ним сам. Он знал, чем их пронять, и стал говорить о том, что надо же кому-то до Нади Воронцовой выручать деревню, которая уже измаялась без магазина, и Мария для этого самый подходящий человек.

Кузьма сказал:

— Смотри сама, Мария. — И отшутился: — Если что — корову вон можно отдать, а то уж надоело каждое лето сено косить.

Мария понимала, что деревню и правда надо кому-то выручать, и, сложив на коленях руки, уже не качала головой, как в начале разговора, а только молча, со страдальческим выражением слушала председателя; она страдала оттого, что и отказываться дальше казалось нехорошо, и согласиться было страшно.

— Не знаю, как и быть, — повторяла она.

В конце концов председатель добился того, что она согласилась. Через неделю магазин открыли, а через четыре месяца, когда наступило время

выходить Наде Воронцовой, Надя сказала, что она передумала. Мария, до смерти перепуганная, закрыла магазин и потребовала, чтобы у нее сделали учет. Да ведь не зря говорят: от судьбы не уйдешь. Все сошлось, разница получилась так себе, всего в несколько рублей.

Мария после ревизии успокоилась и стала работать.

Вот так оно все и вышло.

Работа, если сравнивать ее с колхозной, была нетрудной — конечно, опасной, но не трудной, а когда надо было перенести из склада что-нибудь тяжелое, то помогал Кузьма, да и любой из мужиков, если попросить, не отказывал в помощи. Утром Мария открывала магазин в восемь часов и торговала до двенадцати, потом до четырех был обед, а с четырех до восьми опять полагалось торговать. Но Марии этому распорядку следовать было не обязательно, она только открывала вовремя, а в остальные часы, когда не было народу, могла находиться дома. На тот случай, если кто придет, она оставляла дежурить на крыльце ребятишек, они звали ее, и она прибегала, ждать себя подолгу не заставляла ни разу. В деревне не все бабы понимают время по часам, а которые и понимают, да забывают, что обед, и идут когда

попало — Мария и в обед, если была дома, тоже открывала: ее, Марии, от этого не убудет, а старухе не придется из последних сил шлепать два раза с другого края деревни. Мужики, те, наоборот, не знают время вечером — уже девять, десять часов, совсем темно, а они являются за бутылкой. Им объясняешь: магазин уже опечатан, никакой бутылки сегодня не будет — нет, не поймут, одно по одному: дай, жалко тебе, что ли? На такие случаи Мария стала держать водку еще и дома — ящик так и стоял под кроватью, и летом, бывало, торговала прямо через окно; если Марии не было, мужики искали Кузьму, как-то раз три бутылки продал даже Витька.

Но в долг водку Мария не отпускала. А то мужикам дай волю, они позаберутся, а расплачиваться потом опять придется не кому-нибудь — бабам. Мужику что, он когда пьяный, то только сейчас безденежный, а завтра он будет всех богаче — вот и гуляет, не думает о том, что семья сидит без копейки. Нет денег — не пей. Одно время по договоренности с женой Михаила Кравцова Дарьей, которая устала умываться слезами из-за его пьянок, Мария не стала давать ему водку совсем, даже за деньги. Михаил кричал, грозил, что будет жаловаться, но Мария как сказала,

так и держалась; тогда он привел председателя сельсовета и пошел в наступление при нем.

— Вот ты Советская власть, — доказывал он, обращаясь к председателю, — скажи мне: есть у нас такие законы, чтобы человек за деньги не имел права купить, что он хочет? Чего она из себя корчит — законы тут свои устанавливает? Кто ей позволил? Ты скажи ей, скажи.

— Дай ты ему, — чтобы только отвязаться, — сказал председатель.

Мария решила схитрить.

— Доверенность принесет — тогда дам.

— Какую еще доверенность? — разинул рот Михаил.

— Принеси от Дарьи доверенность, что она позволяет тебе взять бутылку, тогда дам.

Председатель махнул рукой и ушел. Михаил еще покричал, покричал и хлопнул дверью, пообещав сжечь магазин. Потом Дарья рассказала, что он, требуя доверенность, набрасывался на нее с кулаками, пока она не убежала. И все же Михаила в тот вечер опять видели пьяным — видно, взял через вторые руки. Но тут уж Мария ничего не могла поделать.

Она знала, что люди при ней с удовольствием идут в магазин. Бабы собирались даже тогда,

когда им ничего не надо было покупать. Стоят у прилавка, выстроившись очередью, обсуждают свои дела или перемывают кому-нибудь косточки. Старухи сидят на ящиках — несколько ящиков Мария так и не убирала из магазина, чтобы на них можно было сидеть. Мужики зимой перед работой заходили сюда курить, и Мария заставляла их топить печку. В старые праздники, если магазин был открыт, вваливались компании; тогда Мария, чтобы видеть, как пляшут, взбиралась на прилавок, потом ее стаскивали оттуда, заставляли закрывать магазин и вели с собой, пока она где-нибудь по дороге не сбегала.

Ей нравилось чувствовать себя человеком, без которого деревня не может обойтись. Если посчитать, то таких было немного: председатель сельсовета, председатель колхоза, врач, учителя и специалисты. И вот она. И то — если агроном уедет куда-нибудь на месяц, можно и не заметить, а она один раз три дня проболела, не открывала магазин — так поизбегались: когда да когда? Мария видела, что теперь с ней многие хотят завести дружбу, но старалась для всех быть одинаковой. Она хорошо помнила, как еще в первый месяц работы привезла в магазин клеенки,

которых не было давным-давно; бабы, узнав про клеенки, потянулись к ней домой, и каждая подговаривалась, чтобы Мария по знакомству оставила ей хоть одну. Мария тогда будто бы и шуточно, чтобы никого не обидеть, но все-таки твердо сказала так:

— Да вы что, бабы? Это в городе по знакомству достают — там у продавцов есть знакомые, а есть и незнакомые. А вы мне тут все знакомые — как я другим-то в глаза будут глядеть? Вот завтра пораньше приходите и берите.

Утром Кузьма вышел на двор чуть свет — на крыльце уже толкалась очередь. Мария вскочила и, даже не убираясь по хозяйству, потому что невмочь было убираться, когда люди стоят и ждут, продала эти клеенки задолго до восьми часов, когда надо было открывать магазин.

Чуть ли не с первого же дня Марии пришлось завести тетрадь, куда она записывала должников. К концу эта тетрадь вся была в цифрах, к одним цифрам прибавлялись другие, потом они зачеркивались, за ними шли новые. А что будешь делать, если приходит Клава, с которой вместе росли и которая живет одна с двумя ребятишками, и говорит, что ее Катьку без формы не пускают в школу, а денег на форму сейчас нет?

Дорогие вещи Мария редко давала в долг, все больше по мелочи. Когда долг становился большим, Мария заставляла сначала расплатиться, а потом уж снова разрешала брать по записи. Но в последнее время, ожидая ревизию, она собрала со всех; только Чижовы остались должны четыре рубля восемьдесят копеек.

Ревизию она начала просить еще с лета и всякий раз, приезжая за товарами, шла в контору и спрашивала, когда к ней пришлют ревизора. Требовать она не научилась, ей обещали, и она уезжала. Работать так, вслепую, не зная, что у тебя за спиной, стало невмоготу. Когда ревизор наконец приехал, она не то чтобы испугалась, но как-то вся замерла, затаилась в ожидании того, что будет, и, если он спрашивал ее о чем-нибудь, она вздрагивала и отвечала не сразу. Но даже в самых худших своих опасениях Мария не ждала того, что получилось. Когда закончили все подсчеты и ревизор показал их ей, она будто подавилась и весь этот вечер и почти весь следующий день не могла как следует продохнуть.

Она плакала, жалея и проклиная себя, и, плача, хотела себе смерти. Когда она думала о смерти, становилось легче, она словно проваливалась куда-то в потустороннее и уже оттуда смотрела

на ребятишек, на Кузьму, представляла, как они будут жить без нее, и забывалась в жалости к себе. Но это продолжалось недолго, недостача, как палач, который дал ей немножко передохнуть, доставала ее затем отовсюду, где она хотела умереть своей смертью, и снова принималась казнить — было больно и страшно, о чем бы она ни подумала, как бы ни повернулась, все равно было больно и страшно, и она лежала без движения.

Потом пришел Кузьма и сказал, что председатель колхоза обещает ссуду. Сначала она не поняла, что это может значить, но затем вдруг спасение представилось ей так близко и ярко, что она испугалась, как бы Кузьма не упустил его, и, обхватив Кузьму за шею, повалив его, стала умолять, чтобы он спас ее, — с ней как бы сделался припадок. Кузьма прикрикнул на нее, потом лег рядом и приласкал ее, и она, измученная, всю ночь не сомкнувшая глаз, уснула — даже не уснула, а забылась, не страдая, — так пусто и хорошо стало на душе.

Ее разбудила Комариха, и Мария обрадовалась ей, сама попросила сворожить. Карты показали хорошее; Мария про себя подумала, что, даст Бог, еще и обойдется, если Кузьма успеет собрать,

сколько надо… В ней снова шевельнулась надежда, и Мария решила, что надо и ей тоже выйти в деревню и попробовать поискать деньги.

Из школы прибежал Витька и принес четыре рубля и восемьдесят копеек: Чижовы подкараулили его где-то по дороге и велели передать матери.

После обеда Мария пошла к Клаве, с которой дружила с детства. Клава молча усадила Марию на кровать, села рядом и, обняв ее, прижавшись к ней вплотную, заголосила сильным и чистым, как на запевках, голосом. Марии опять стало страшно, и она заплакала. Клава, услышав ее плач, заголосила еще сильнее. Но и плача, Мария чувствовала, что она делает не то, что надо, и скоро, вытирая слезы, к огорчению Клавы, поднялась и ушла.

У заулка к реке Марию остановила Надя Воронцова и стала говорить, что она, Мария, видно, с ума сошла, что приняла тогда этот магазин, что она сама себя решила в тюрьму посадить — не иначе. Ведь сразу же было видно, что до добра он ее не доведет.

Мария, не дослушав, повернулась и пошла домой. Больше она в деревню не выходила.

Больше она не верила, что у Кузьмы что-ни-

будь выйдет с деньгами. Почему не верила, она и сама не знала.

В купе, куда перебрался Кузьма, поменявшись местами с преферансистом, едут старик и старуха с одинаково седыми до полной белизны волосами и одинаково белыми, тоже как поседевшими, крупными лицами. На одной из верхних полок смята постель, значит, третий пассажир тоже есть, но, видно, куда-то вышел.

Кузьма опять снимает сапоги и уже собирается взобраться на свою полку, но в купе вваливается пьяный парень. Некоторое время он удивленно смотрит на Кузьму, не спуская с него глаз, присаживается рядом со старухой, сразу же поднимается, вдруг веселеет и протягивает Кузьме руку:

— Будем знакомы.

Кузьма называет себя. Парень веселеет еще больше, но тут же делает серьезное лицо.

— Понятно, — говорит он. — Кузьма, значит. Будем знать. А это дедушка. — Он выбрасывает одну руку влево. — Это бабушка. — Вторая рука опускается вправо. — А это я. — Он складывает руки у себя на груди и хохочет.

— Эк красиво! Эк красиво! — качает головой старуха. — Незнакомый человек, ты его не зна-

ешь, а позволяешь себе. Не обращайте на него внимания, располагайтесь, — говорит она Кузьме. — Он у нас опять в ресторан ходил.

— А что я такого сказал? — гремит парень. — Разве я его обидел? Кузьма, я обидел тебя?

— Пока ничего обидного не было, — осторожно отвечает Кузьма.

— Во! Слышала, бабуся? Кузьма не обиделся. Ну, бабуся, опять ты на меня тянешь!

Он подсаживается к старухе и, подмигивая Кузьме, обнимает ее.

— Уйди! — сердится старуха. — Скорей бы приехать. Надоел, честное слово!

— Ну-у? Неужели надоел? Со стариком всю жизнь живешь — не надоел, а я раз обнял — и надоел! Дед! — кричит он. — Отбить у тебя старуху?

— А это как сумеешь, — неторопливо отзывается старик.

Парень умолкает. С пьяной задумчивостью он смотрит на старика, потом на старуху и устало декламирует:

— «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком...»

— Эк красиво! Эк красиво!

— «Рассердился дед на бабу, хлоп по пузу кулаком».

Парень оживляется.

— Дед, а ты когда был помоложе, бил свою старуху или нет?

— Я ее за всю жизнь пальцем не тронул, — с достоинством отвечает старик.

— Ни разу, ни разу?

— Ни разу.

— Теперь таких мужиков и нет, как мой старик, — говорит старуха.

— Куда уж там!

Парень ждет, что ему будут возражать, но все молчат. Он смотрит на каждого из них по очереди, просто так, ни от чего морщится и из последних сил спрашивает Кузьму:

— Так ты, Кузьма, с нами, что ли, поедешь?

— С вами.

— Давай.

Он опускает глаза и долго смотрит себе под ноги. Вагон мягко и мерно покачивает. Парень опускает руки, голову, закрывает глаза. Мимо проносится встречный поезд, но парень не слышит.

Кузьма забирается на свою полку. Старуха внизу тормозит парня:

— Ложись, так тебе неудобно. Вот хоть на мою приляг.

— А что — у меня своей нету?

Он поднимается, долго и тяжело лезет наверх и уже со своей полки что-то непонятно бормочет.

Кузьма оборачивается к нему — парень лежит с закрытыми глазами, и на его лице нет ничего, кроме сна.

Кузьма тоже закрывает глаза. Но засыпает он не сразу. Стук колес то отодвигается от него, то с грохотом надвигается — тогда Кузьма, пугаясь, открывает глаза и прислушивается. Он смотрит в окно — там все еще ветер. Кузьма устраивается поудобнее и в который раз пытается уснуть. В конце концов он засыпает.

Ему снится странный сон. Будто идет общее колхозное собрание, на котором обсуждается вопрос о деньгах для Марии. Народу собралось столько, что в клубе, где проводят лишь отчетные собрания, на этот раз тесно. Многие пришли со своими табуретками, многие стоят в проходах, а люди все идут и идут.

— Товарищи колхозники! — поднимается председатель. — Есть предложение закрыть двери. Все желающие сюда все равно не войдут.

Двери закрывают.

— Для ведения собрания нам надо избрать

рабочий президиум, — говорит председатель. — Со стороны правления мы предлагаем избрать в президиум следующих товарищей: Марию и Кузьму. Ребятишек ихних выдвигать в президиум не будем по причине несовершеннолетия. Кто «за» — прошу голосовать.

Все «за». Кузьма и Мария под аплодисменты зала поднимаются на сцену и садятся за стол президиума. Кузьма всматривается в зал и почему-то не видит ни одного знакомого лица. «Мария, — испуганно шепчет он, — посмотри: народ-то не наш, чужой». — «Да ты что? — отвечает она. — Что с тобой, Кузьма? Все наши». Кузьма всматривается в зал внимательней и теперь, когда аплодисменты стихли, видит, что люди и в самом деле все свои, деревенские.

— Товарищи колхозники! — говорит председатель. — Есть предложение помочь Марии.

Снова звучат аплодисменты.

— Мы тут между собой обсуждали этот вопрос, — продолжает председатель, — и решили так: надо сейчас всех пересчитать, выяснить, сколько тут нас есть, а потом, зная, сколько Марии требуется денег и сколько нас здесь присутствует, мы будем иметь понятие, по скольку рублей сбрасываться. Есть другие предложения?

— Нет.

— Тогда прошу считать по рядам. Но предупреждаю: за попытку выдавать одного человека за двоих будем выводить из зала.

Пока считают, Кузьма за столом президиума от радости щекочет Марию в бок. Она дергается и смеется. «Бессовестный, — шепчет она. — В президиуме так не делают. Сиди смирно». Он затихает.

— Двести двадцать пять человек, — кричат из зала.

— Тысячу рублей разделить на двести двадцать пять человек, — подсчитывает председатель за трибуной, — на каждого выходит по четыре рубля и сорок копеек.

— Чего там — по пять рублей на брата, — округляют сразу несколько голосов.

И вот стол, за которым сидели Кузьма и Мария, — уже не стол, а ларь, и в него со всех сторон, из многих-многих рук падают деньги. Через пять минут ларь полон. Мария не выдерживает и плачет, и слезы, как горошины, падают на деньги и со звоном скатываются внутрь.

— Все отдали? — спрашивает председатель. — В таком случае счетную комиссию прошу приступить к своим обязанностям.

Несколько человек выходят из зала и начинают считать деньги. Они собирают их в пачки — пятерки, тройки и рубли отдельно, сверху, совсем как в банке, надписывают сумму и складывают пачки аккуратной стопкой.

— Одна тысяча сто двадцать пять рублей, — наконец объявляют они.

Председатель с неудовольствием качает головой.

— Сто двадцать пять рублей излишку. Что будем делать?

— Пускай забирают все, — советуют ему.

— Нет, так нельзя, — не соглашается он. — Сто двадцать пять рублей — большие деньги. У меня есть вот какое предложение: давайте все деньги унесем в музыкальную комнату, и по одному каждый из нас войдет туда. У кого недостаток в деньгах, тот пускай возьмет рубль или два обратно. Прошу не шуметь и не возмущаться: мы не миллионеры. Кто не хочет брать — не надо, но чтобы непонятно было, кто взял и кто не брал, войти туда обязан каждый. Есть другие предложения?

— Нет.

Деньги уносят. Люди по одному поднимаются, заходят в музыкальную комнату и сразу же

возвращаются на свои места. Последней идет Комариха. Кузьма видит, как она вскакивает, оглядываясь, прикрывает за собой дверь. И вдруг еще там, в музыкальной комнате, раздается ее крик.

Комариха выбегает, обводит зал обезумевшими глазами и кричит:

— Там их нет! Нет ни копейки! Я хотела взять только рубль.

Зал взрывается от смеха. Люди хватаются за животы, визжат и стонут, показывают друг другу на Комариху пальцами. Комариха стоит посреди зала с открытым ртом и вдруг, не выдержав, тоже начинает смеяться. Кузьма смотрит на зал с удивлением и ужасом; ничего не понимая, он оглядывается на Марию: присев, она корчится от смеха.

Кузьма просыпается и слышит, как старуха говорит старику:

— Сережа, давай грелку, пойду горячей воды налью.

Прижав грелку к груди, она уходит. Тихо. Только постукивает по рельсам поезд, но звука этого, если к нему не прислушиваться, не слыхать. В окно падает серый, измученный ветром свет, в мягко покачивающемся вагоне он успокаи-

вается, становится по-сумеречному уютным. Парень спит, подперев огромным кулачищем подбородок.

Старуха возвращается, побулькивая водой в грелке, сует ее старику под одеяло. В зеркало внизу Кузьме видно, как старик вытягивает ноги и замирает.

— Сегодня не болит? — спрашивает его старуха.

— Нет, сегодня спокойно.

— Ну и хорошо.

Они переговариваются тихими, заботливыми голосами, и голоса эти незаметны, они не вырываются из тишины, будто совсем не звучат, а только угадываются. Кузьма чувствует, что ему больше не уснуть, но признаться себе в этом не хочет; тогда придется о чем-то думать или что-то делать. И он лежит с закрытыми глазами. Больше всего он боится думать о том, что мог бы значить этот сон с деньгами. Приснится же такое! Ничего он, конечно, не значит, просто думаешь все время об одном и том же, надумано уже столько, что теперь лезет обратно. А все же на душе нехорошо. Одно к одному: ветер, история с билетом и вот теперь этот сон. Неужели ничего у него не получится? Неужели все зря?

— Сережа, — доносится до Кузьмы голос старухи, и Кузьма рад, что он может к чему-то прислушаться и отвлечься от своих страхов. — Сережа, уж теперь телеграмма наша, наверное, пришла, правда?

— Теперь, конечно, получили, — отвечает старик.

— Ждут.

Старуха ласково, с откровенной радостью улыбается, и щеки на ее широком, крупном лице расползаются еще шире. На несколько минут лицо ее так и застывает с этой улыбкой, потом, устав, улыбка тихонько сходит с лица.

В тот же день, когда Кузьма был у Евгения Николаевича, от директора школы прибежал мальчишка.

— Евгений Николаевич сказал, что он завтра в район не может ехать и что теперь он поедет послезавтра и все сделает, как договорились.

— Ладно, ладно, — согласился Кузьма. У него как раз, поджав под себя по-турецки ноги, сидел на полу возле печки дед Гордей. Когда мальчишка убежал, дед Гордей спросил:

— Много он тебе посулил?

— Сто рублей.

— Мог бы побольше дать, у него деньги есть.

— Говорит, нету больше.

— Слушай ты его! — хмыкнул дед. — Нету — как же! Грамотный, холера, сильно! Не столько грамотный, сколько хитрый, — вот как я тебе скажу. Наш брат хитрить не мастак, он схитрит, его сразу видать, а Евгений Николаевич схитрит, и тебе же перед ним неловко, будто это ты схитрил, а не он. Грамотный, о-о!

Кузьма промолчал.

Дед Гордей сидел у него уже часа полтора. Кузьме надо бы куда-нибудь идти и что-то делать, а он вместо этого слушал болтовню деда. Сказать, что ты, дед, мешаешь, тоже нехорошо — еще обидится. И Кузьма отмалчивался, надеясь, что деду одному говорить надоест и он уйдет.

Деду Гордею было за семьдесят, но старел он плохо. Правда, за последний год он почему-то покосился на один бок, и за это в деревне его успели прозвать лейтенантом Шмидтом в честь парохода «Лейтенант Шмидт», который шлепал по реке уже лет тридцать, но после войны от старости или от чего-то еще стал заваливаться на правый борт и ходил, загребая им воду. Пароход несколько раз ставили на ремонт, но выправить никак не могли, и он снова, к тайной радости береговых деревень, появлялся со своей старой, знакомой

всем осанкой.

Кособокость деду Гордею, видно, мешала не сильно, потому что бегал он по-прежнему бодро. По ночам дед сторожил в мастерских, а днем от нечего делать бродил по деревне. Если он усаживался на пол и доставал старую, прокуренную до дырки внизу трубку, можно было не сомневаться: это надолго. Деду торопиться было некуда. Он жил один в маленькой заброшенной избушке на краю деревни, а свой пятистенный дом оставил сыну, с большой и ругливой семьей которого он не ужился, и после смерти старухи перебрался в «курятник», как он называл свою избушку. В «курятнике» и в самом деле было грязно: сам дед убирать не привык, и только Комариха, доводившаяся ему дальней родственницей, раз в месяц, а то и раз в два месяца, причитая, выгребала из избушки лишнее. Но дед этого не замечал.

Устраиваясь поудобнее, дед Гордей вытащил из-под себя одну ногу, пристроил ее так, чтобы можно было на нее облокачиваться, и сказал:

— Холера, и у меня-то, как на грех, денег нету, а то бы ты беды не знал.

— Ладно тебе, дед, — отмахнулся Кузьма. — Откуда у тебя деньги — чего тут говорить!

— Дак вот, нету. А то бы мы с тобой не сидели, не мараковали, а пошли бы да и взяли у меня.

— Я уж как-нибудь сам справлюсь, — сказал Кузьма, давая понять деду, что он обойдется без него. — Чего я еще тебя буду впутывать в это дело?

Дед, обидевшись, умолк. Он выбил из трубки себе на колено пепел, дунул на него и снова стал набивать трубку, сосредоточенно вдавливая табак большим пальцем. Уходить никуда он не собирался и, раскурив трубку, тут же забыл об обиде.

— Дак ты, говоришь, у Евгения Николаевича был? — снова начал он.

— Был, был.

— У него деньги есть, пожалел он тебе. Может, мне у него от себя спросить?

— Не надо, дед. Найду я. Это моя забота, а не твоя. Шел бы ты лучше отдыхать.

На этот раз дед рассердился совсем не на шутку.

— Ты, Кузьма, как ребенок малый. Я что, для себя стараюсь, что ли? Я весь свой век без денег жил и теперь остатки без них проживу — мне их не надо. Табак у меня свой, кусок хлеба тоже есть, а трубку прикурить я и от уголька могу.

Мне, старику, деньги что есть, что нету, я на них, знаешь…

— Ладно, дед, ладно, — примирительно сказал Кузьма.

— Мне обноски свои донашивать до самой смерти хватит. А ежели выпить, то я аппарат сооружу и такого накапаю, что огнем гореть будет, не хуже твоего спирту. Я за весь свой век сколько раз деньги в руках держал — по пальцам сосчитать можно, я с малолетства был приучен все сам делать, на свои труды жить. Когда надо, и стол сколочу, и катанки скатаю. В голодуху, в тридцать третьем году, и соль для варева на солонцах собирал. Это теперь все магазин да магазин, а раньше в лавку два раза в год ходили. Все свое было. И жили, не пропадали. А теперь шагу нельзя ступить без денег. Кругом деньги. Запутались в них. Разучились мастерить — как же, в магазине все есть, были бы деньги. Еще слава Богу, если их нету у кого — там ребятишки хоть не разучатся руками двигать, на себя будут надеяться, а не на деньги. А то ведь это что? На иждивение перешли. И маленькие, и большие.

— Раскипятился ты, дед.

— Я правду говорю. Когда у нас раньше бывало, чтоб деревенские друг дружке за деньги помога-

ли? Хошь дом ставили, хошь печку сбивали — так и называлось: помочь. Была у хозяина самогонка — ставил, не было — ну и не надо, в другой раз ты ко мне придешь на помочь. А теперь все за деньги. Огород спашет — десятка, сена привезет — десятка, а если отвернется, не чихнет на тебя, то дешевле — рубль. Работают за деньги и живут за деньги. Везде выгоду ищут — ну, не стыд ли?

— Давай, дед, кончай, а то это разговор надолго.

— Да я уж все сказал. Ты думаешь, если старый, дак дурак. Я все понимаю, поболе твоего пожил. И людей всяких видел.

Трубка у него за это время погасла, он спохватился и, причмокивая, стал ее раскуривать. Потом курил — молча, с закрытыми глазами. Кузьма подумал, что теперь он должен уйти. Уже смеркалось, на дворе раз за разом надсадно кричала недоеная корова, но Мария после обеда куда-то ушла, и корова старалась зря.

— Если брать с верхнего края, — очнувшись, заговорил снова дед и объяснил Кузьме: — Это я все маракую, к кому тебе пойти. Кто там, на верхнем краю, денежный? У Евгения Николаевича ты был. О-о, этому палец в рот не клади. Этот у себя,

на верхнем краю, пукнет, на всю деревню воонько пахнет, а как до дела коснись, чтоб человеку помочь, десять раз оглянется, пока рубль даст, будто на рубль здоровье свое отдает. А так и есть: изведется весь, а здоровье от этого тоже садится.

— Да черт с ним, вот пристал ты ко мне с Евгением Николаевичем! — обозлился Кузьма.

Дед Гордей будто и не услышал его, продолжал говорить:

— У Петра Ларионова нету, этот простофиля. Этот бы тебе весь белый свет отдал, если бы он у него был. Вот так жизнь и устроена, что рядом с Евгением Николаевичем живет Петька Ларионов, а они друг дружке как небо и земля. В одном месте родились, на одном языке разговаривают, а нет, не родня. — Со спокойным удивлением дед покачал головой и продолжал: — Ежели к агроному тебе стукнуться, дак он опять с леченья недавно, поди, поистратился. Оно сходить можно — вдруг да осталось сколько. Заработки у него хорошие: говорят, с государства деньги идут и с колхоза трудодни. Правда это?

— Правда.

— Сходи в таком разе. Глядишь, даст. А не даст, к Мишке, к соседу его, загляни. — Дед коротко хохотнул, как кашлянул. — У этого разживешься!

Этот на три года вперед все с себя пропил. Ой, пье-от! У кого тут еще возьмешь? — тянул свое дед. — Не знаю, Кузьма, не скажу тебе. И живут люди вроде неплохо, а все на жизнь и уходит. В заначку шибко не спрячешь. У всех ребятишки, своя нужда. Теперь и время вроде сытное, еще хорошо, что твоя беда теперь подгадала, а не весной, дак тебе картошку или зерно не будешь по дворам собирать. Кому ты их продашь? То-то и оно. На сто верст кругом такой же мужик живет.

Дед заговорил о том, о чем Кузьма со страхом думал и сам: денег в деревне немного и лишних скорей всего нет. На трудодни выдали только хлеб, а продать его и правда было некому, да он ерунду и стоит. Но не мог же Кузьма согласиться с дедом, что да, дело табак, он не имел права даже так думать. И он сказал:

— Найдем, дед, найдем.

— Найдем, — передразнил его дед. — У кобылы под хвостом они спрятаны — там ищи.

— Деньги у людей есть.

— Откуда они?

— Может, скажешь, у той же Степаниды денег нету, когда она каждый год то корову, то быка в колхоз сдает? Да у ней, поди, тысячи припрятаны.

— У Степаниды, однако, и правда есть.

— Вот, у Степаниды. У механизаторов тоже должны быть. Им в уборочную и премиальные, и такие, и сякие платили.

— Дак это когда было.

— Есть у людей деньги, дед. Неужто я со всей деревни не соберу? Неужто не выручат? Врешь, дед, выручат.

— А я тебе ничего такого и не говорю.

— Ну и ладно. — Кузьма оживился, поверил в свои слова сам. — Мы с тобой, дед, не пропадем. Иди-ка ты теперь на свое дежурство, а я пойду делать обход. Вот возьму мешок и в мешок буду собирать. А что? Один наберу, за другим приду. А потом тебя в сторожа найму, чтоб ты деньги мои охранял.

— Ну и балаболка ты, Кузьма, — прищурился в улыбке дед.

Он стал подниматься: сначала встал на четвереньки и только потом на ноги.

Растирая бок, на который клонился, сказал Кузьме:

— Дак я к тебе буду заходить узнавать.

— Заходи, заходи, дед. Чем железо караулить, будешь у меня к деньгам приставлен. Ты сторож для меня подходящий, у тебя трубка, на раскурку

их ты не пустишь.

— Кхе-кхе-кхе, — закашлялся в смехе дед.

Когда человеку под пятьдесят, трудно сказать, есть у него друзья или нет. Столько самых разных людей, как в гостях, перебывало у него за это время в друзьях, что теперь осталось только умудренное с годами, молчаливо-спокойное отношение к близкому человеку. Не чаще, чем с другими, они встречаются, не имеют общих тайн, но при случае каждый из них осторожно, словно не доверяя самому себе, вспоминает, что есть у него человек, который, когда понадобится, поймет его и поможет ему.

Вечером Кузьма пошел к Василию. Сразу после войны одно время они вместе работали на полуторке — на весь колхоз тогда была только одна машина, на которой они и ездили: сами шоферы, сами грузчики. Потом Кузьма пересел на американский «студебеккер», а полуторка осталась Василию, и он на удивление долго еще мусолил ее на колхозных побегушках, пока она окончательно не развалилась. Колхоз как раз получал две новые машины «ЗИС-150», которые отдали Кузьме и Василию, но Василий на своем «ЗИСе» проработал недолго: у него что-то началось с глазами, тут, как на грех, подоспела проверка, и его

комиссовали. Последние четыре года Василий был бригадиром овощеводов.

Они встречались чуть не каждый день, как встречаются в деревне все, но с годами постепенно отошли друг от друга. Они здоровались, говорили друг другу всякие слова о чем попало и расходились. Но старое, так и не вытесненное ничем чувство, что Василий свой человек ему, в Кузьме продолжало жить, и он берег в себе это чувство, думал о Василии хорошо и спокойно и про себя надеялся на него. Был еще один человек, к которому Кузьма относился как к товарищу, но тот, другой, был председатель, поэтому Кузьма сам старался держаться от него подальше, чтобы не получилось, что он навязывается к начальству в друзья-приятели.

Василий встретил Кузьму без удивления и без радости, молча пожал ему руку, как это и водится, спросил о житье. Видно было, что он уже слышал о недостаче и теперь не знает, как себя вести, а охать да давать бесполезные советы он не умел. Они сидели и курили. То и дело из кухни к ним выходила жена Василия, смотрела на Кузьму со страхом и с жалостью, но, ничего интересного не услышав, снова пропадала. Расспрашивать Кузьму не решались, а сам он отмалчивался.

Он чувствовал себя человеком, которого ночь настигла в чужой, незнакомой деревне, и он попросился в этом доме переночевать. Ложиться еще рано, и вот теперь все они, и хозяева, и он, поночевщик, так и не познакомившись как следует и не разговорившись, с трудом коротают время.

Кузьма поднялся и попрощался. Василий вышел его проводить. У ворот они постояли, помялись, чувствуя, что встреча вышла неловкой, но поправлять ее было уже поздно. Василий сказал:

— Ты заходи, Кузьма, когда время будет.

— Зайду, — пообещал Кузьма.

Тогда Кузьма впервые подумал о брате. На худой конец, если он не достанет денег в деревне, можно поехать в город к Алексею. Брат, говорят, живет хорошо.

Кузьма не был в городе у брата, а виделись они в последний раз семь лет назад, когда умер отец.

Это было осенью, в горячее, страдное время, и Алексей, вызванный из города телеграммой, провел тогда в деревне два дня и сразу после похорон уехал. Они договорились, что он приедет на сороковины, когда отцу можно будет устроить неспешные, обстоятельные поминки, на которые соберется вся родня, но почему-то так и не прие-

хал, и поминки прошли без него. Потом, месяца через два, он написал, что был в командировке.

Кузьма редко вспоминал Алексея. Это случалось, когда он думал об отце или матери; тогда само собой приходило на память, что он не один, что на свете их живет два брата. Но они настолько отвыкли друг от друга, что мысли об Алексее казались Кузьме не настоящими, не его собственными, будто кто-то ему подсказал их. И он сразу же опять надолго забывал об Алексее. Получалось так, что они братья не всегда, не каждую минуту, а только при встречах, да еще были ими в детстве, когда вместе росли.

Три года назад Мария ездила в город в больницу и остановилась у Алексея. Она переночевала там две ночи, а потом, вернувшись, сказала, что лучше жить у чужих. О том, что Алексей с женой живут богато, она говорила без удивления и без зависти. «И телевизор, и стиральная машина есть, а только, куда ни взгляни, за тобой присматривают, не натворила бы чего, куда ни ступи, за тобой идут и следы твои подтирают. Разговаривали без интереса. Мы для них что есть, что нету. Нет уж, больше меня к ним калачом не заманишь».

В прошлом году адрес брата взял у Кузьмы

Михаил Медведев, одногодок Алексея, с которым они вместе после войны учились в ФЗУ. Михаила колхоз на зиму отправлял на курсы бригадиров, и он решил там наведаться к Алексею. Когда он приехал обратно, Кузьма при встрече поинтересовался:

— Ну как, был у брата?

— Был, ага, заходил.

— И как он там?

— Хорошо. Живой, здоровый. Мастером на фабрике работает, — уклончиво ответил Михаил.

И только позже по пьянке пожаловался:

— Узнать меня узнал, а за товарища не захотел признать. Бутылку и ту не распили.

Размышляя об этом, Кузьма решил, что брат для деревни совсем уж отрезанный ломоть — и потому, что его не манит сюда приехать, посмотреть, как живут свои и не свои, походить по старым, с детства знакомым местам и разбередить этим душу, и потому, что ему неинтересно с деревенскими разговаривать, знать хоть со слов, что сталось с дедом Федором, который когда-то жарил его крапивой, или с девчонками, которых он провожал с полянки. В глубине души Кузьма обижался на Алексея, но это была слабая, не болящая обида.

В конце концов брат сам должен понимать что к чему, он не маленький. У них с деревней это обоюдное: брат постепенно забывал свою деревню, а стало быть, и свое детство, а деревня постепенно забывала, что был у нее когда-то такой человек.

Но если Кузьма приедет к нему, Алексей, конечно, поможет. Все-таки брат, одна кровь. У него деньги должны быть. Кузьма объяснит, что это ненадолго, что через два месяца с небольшим ему дадут в колхозе ссуду и он сразу вышлет. И как он раньше не вспомнил о брате?

Дома, чтобы успокоить Марию, Кузьма сказал:

— Если в эти дни не соберу сколько надо, поеду к Алексею.

— Не даст он, — помолчав, сказала она.

И вся уверенность в том, что ему надо ехать к брату, у Кузьмы сразу пропала.

К деньгам Кузьма всю жизнь относился очень просто: есть — хорошо, нет — ну и ладно. Это отношение выработалось главным образом оттого, что денег постоянно не хватало. У них в доме почти всегда была хорошая, сытная еда: хлеба Кузьма зарабатывал вдоволь даже в неурожайные годы, молоко и мясо шли со своего двора. Но деньги… Он слышал о колхозах, где на трудо-

день приходится по полтора и даже по два рубля, верил, что так оно в самом деле и бывает, но у них в таежном колхозе, в котором поля, как заплатки, были разбросаны то здесь, то там, никто еще больше полтинника на трудодень не получал. Последние три года, с тех пор как взяли ссуду на постройку дома, при зимних, годовых расчетах Кузьма и совсем получал копейки. То, что зарабатывала в магазине Мария, шло на ребятишек. Когда в семье четыре парня, одежонка на них горит, как на огне. Еще удивительно, что Мария как-то сводила концы с концами и ребятишки ходили чисто, не хуже других; старших не стыдно было отправлять в школу, а младшие, как это и водится с испокон веков, донашивали одежонку старших.

Кузьма не считал, что они живут плохо. Самое необходимое в доме есть, раздетыми, разутыми никто не ходит. Он никому не завидовал. К людям, живущим лучше его, он относился так же спокойно, как и к тем, кто выше его ростом. Если он не дорос до них, не ходить же ему теперь на цыпочках. В конце концов каждый топчет свою дорожку.

Кузьма не понимал и не старался понять, как у людей остается сверх того, что уходит на жизнь.

Для него самого деньги были только заплатками, которые ставятся на дырки, необходимостью для необходимости. Он мог думать о запасах хлеба и мяса — без этого нельзя было обойтись, но мысли о запасах денег казались ему забавными, шутовскими, и он отмахивался от них. Он был доволен тем, что имел.

У них на почте, где была также и сберкасса, вот уже несколько лет висел на стене плакат, на котором розовощекий, не похожий ни на кого из деревенских мужиков мужчина без устали призывал каждого: «Брось кубышку — заведи сберкнижку». Но когда на почте бывал Кузьма, мужчина смотрел мимо него. Кузьма, дурачась, переходил с места на место, лез под его взгляд, но мужчина с плаката всякий раз отворачивался, смотрел где-то рядом с Кузьмой и все-таки мимо. Кузьма, довольный, уходил.

И вдруг понадобилось сразу много денег. Кузьма растерялся. Почему деньги выбрали его? Ведь он никогда не имел с ними ничего серьезного. Казалось, за это они и решили ему отомстить. Волей-неволей ему приходилось теперь не просто размышлять, а постоянно думать об одном и том же: где достать деньги? К Евгению Николаевичу он пошел сразу потому, что всегда слышал:

у него деньги есть. А дальше? Еще до деда Гордея он мысленно прошелся по деревне от одного края до другого и вернулся домой ни с чем: одни жили лучше, другие хуже, но каждый в своем доме жил своим, у каждого были свои дырки, на которые он готовил заплатки.

Кузьма даже в мыслях не осмеливался просить у них деньги. Он представлял себе свой обход так: он заходит и молчит. Уже одно то, что он пришел, должно было сказать людям все. Но и они молчат, и это молчание, в свою очередь, также говорит ему больше и яснее всяких слов. Он прощается и идет дальше. В каждый дом заходить нет смысла, он выбирает только те, где, как ему кажется, могут быть деньги. Но деньги с порога не увидишь, их почему-то всегда прячут: засовывают в щели к тараканам, в карманы старых пиджаков, на дно чемоданов. Считается, что деньги боятся света. Если бы они, как фотографии хозяев, были на виду, Кузьма сам бы решил, надо ли здесь, в этом доме, просить, он бы лишнее не взял. Но и там, где они спрятаны, и там, где их вовсе нет, он в одинаково трудном положении: его встречает молчание, а что за ним — безденежье или скупость, нежелание понять его беду, — он не знает.

И все же Кузьма надеялся, что на самом деле все будет по-другому. Кто-то отмолчится, а кто-то войдет в его положение, скажет просто и легко: «У нас тут, кажется, есть полсотни, на мотор к лету копили, но тебе сейчас они нужнее — возьми». Хозяин как бы между прочим протянет ему деньги, и он тоже как бы между прочим возьмет в руки тоненькую теплую пачечку из нескольких бумажек, без особого внимания засунет ее в карман, и они с хозяином снова займутся разговором о чем придется, но ни один из них даже словом не заикнется больше о деньгах.

Кузьма и пошел сперва к Василию, чтобы почувствовать, может ли он на что-то надеяться, он хотел начать с удачи, а не с отказа, чтобы у него не опускались руки, когда он пойдет дальше. И ничего не получилось. Кузьма вернулся домой и не сел, а как-то осел на табуретку у окна, не зная, с какого боку теперь приниматься за поиски денег. Но потом вспомнился брат, и Кузьме стало легче.

Он понимал: деньги есть и в деревне, пусть немного, но есть. Каждому хочется жить не хуже других. Ради того, чтобы скопить на мотоцикл, мужик будет ходить в последних штанах, а рубль припрячет; он спит и видит себя с мотоциклом,

и на заплатки на штанах ему наплевать.

На такие деньги Кузьма и рассчитывал. На мотоцикл или на мотор их еще не хватает, и они пока лежат без пользы и без движения, никому не делая добра. Так неужели люди откажутся на время дать их Кузьме, чтобы он мог отстоять Марию? Не может быть!

В окно, в закрытый ставень постучали.

— Кто там? — приподнялся Кузьма.

— Кузьма, выйди на минутку, — позвали с улицы.

Мария выскочила из спальни, испуганно прижала руки к груди.

— Кто это?

— По голосу будто Василий. Чего ты испугалась?

— Сама не знаю.

Василий стоял у ворот, выступая из темноты высокой, крупной фигурой.

— Чего в избу не заходишь? — спросил Кузьма.

— Нехорошо получилось, — не отвечая, сказал Василий. — Ты пришел, а поговорить не поговорили. Зачем приходил-то?

— Сам знаешь зачем.

— Догадываюсь.

— Ну вот. Что еще говорить? Я же знаю, де-

нег у тебя нету, — со слабой надеждой сказал Кузьма.

— Нету. У бабы где-то лежат двадцать рублей, и все.

— В избу заходить будешь?

— Нет. Там разговора не получится. Давай сядем здесь.

Они сели на скамейку у ворот, закурили и, посматривая в темень перед собой, долго молчали, но не тяжелым, понятным молчанием. Сбоку, уходя вправо от них, горели деревенские огни, оттуда доносились голоса, иногда срывался и затихал где-то возле клуба смех. Было не поздно, но деревня уже успокаивалась, не успев привыкнуть к ранней темноте. Голоса и звуки раздавались поодиночке и становились все реже.

Папиросы докурились; почти в одно время они бросили их себе под ноги и еще помолчали. Потом Кузьма пошевелился, сказал:

— Живешь, живешь и не знаешь, с какой стороны тебя огреют.

— Это так, — отозвался Василий.

— Еще вчера все ладно было.

— А завтра кто-то другой на очереди. Может, не из нашей, из другой деревни, а потом и до нашей снова дойдет — до меня или еще до кого.

Вот и надо держаться друг за дружку.

— Да-а.

— Евгений Николаевич дает тебе, я знаю, а еще кто есть, нет?

— Пока никого. Хочу завтра к Степаниде сходить, да, однако, не шибко выгорит.

— К Степаниде? — Василий с сомнением повел головой, помолчав, сказал: — А давай завалимся к ней сейчас. Вдвоем на нее надавим. Она же в бригаде у меня, может, при мне постыдится отказать.

— Пошли. Чтоб уж сразу.

— А откуда ты знаешь про Евгения Николаевича? — уже по дороге спросил Кузьма.

— Баба сказала. Да он сам, наверно, не вытерпел, доложил. Как не похвалиться — доброе дело собрался делать!

— Я теперь как космонавт, — невесело пошутил Кузьма. — Куда ни пойди, вся деревня знает.

— А ты как думал? Ты теперь на двор ходи и оглядывайся, чтоб не сфотографировали. Смех смехом, а рубли твои — это уж точно — вся деревня считает.

— Сейчас Степаниде и говорить не надо, зачем пришли. Она, поди, с утра ждет.

— И место подыскала, куда прятаться.

Они засмеялись. Рядом с Василием Кузьма чувствовал себя легче, и беда его не стояла теперь комом в одном месте, а разошлась по телу, стала мягче и как бы податливей. И хоть надежды на то, что им повезет, было мало, Кузьма знал, что от Степаниды они выйдут вместе, прежде чем расходиться, будут разговаривать и, наверно, о чем-нибудь договорятся на завтра. Это его успокаивало, помогало не думать все время об одном и том же.

Степанида жила в большом, на две семьи, доме вдвоем с племянницей Галькой, которая осталась ей от умершей сестры. Гальке шел семнадцатый год, но девка она была крупная и уже давно переросла Степаниду что ввысь, что вширь. Мир их почему-то не брал, и они жили как кошка с собакой; когда в избе становилось тесно, выскакивали во двор и крыли друг друга на всю деревню таким криком, что соседские собаки, оглядываясь, с поджатыми хвостами переходили на другую сторону улицы.

Когда мужики вошли, Степанида засуетилась, запричитала от радости, но на ее лице появилось да так и не сошло потом настороженное выражение с одной мыслью: к чему бы это? Улыбка то и дело проваливалась, но Степанида снова

водворяла ее на лицо и, суетясь, ждала. Мужики разделись, сели рядом на скамейке. На голоса из комнаты вышла Галька — в коротком, тесном ей платьице, с голыми крепкими коленками.

— Явилась! — найдя себе дело, напустилась на Гальку Степанида. — Смотрите на ее, красавицу писаную. Хошь бы оделась, не показывала мужикам срамоту свою.

— А то они не видали! — лениво огрызнулась Галька.

— У-у, бесстыжие твои глаза!

— Ага, а твои не бесстыжие?

— Иди отседова.

Галька, подмигнув мужикам, ушла.

— Измаялась я с ней, — стала жаловаться Степанида. — Ой девка, не приведи Господь никому такую. Сколько она из меня крови высосала!

— Ага, была там у тебя кровь, — отозвалась Галька. — У тебя там помои, а не кровь.

— Во, слыхали? Ей слово, она тебе десять. Ей десять, она тебе тыщу. И как я еще дюжу, сама не знаю. Вот счастье-то выпало под старость лет.

— Делать вам нечего, вот и грызетесь, — сказал Василий. — Ты, Степанида, лучше другое скажи: неужели ты нам ничего не подашь?

Степанида растерянно прищурилась.

— Ну и хитрый ты, Василий!

— А чего тут хитрого? Я тебе прямо говорю. Мы с Кузьмой идем и про себя думаем: одна надежда на Степаниду, она, если есть, последнее выставит.

— Ой, Василий, да я для хороших людей и сама хорошая. Когда есть, мне ее жалко, ли чо ли? Для того и держу: а вдруг хороший человек зайдет, а мне и поднести нечего.

— Это правильно.

Подбирая юбки, Степанида полезла в подполье, подала оттуда зеленую, в земле, бутылку, закапанную сургучом. Кузьма, сидевший ближе к подполью, принял бутылку, прищурив один глаз, посмотрел ее на свет.

— Она, она, — заверила Степанида.

— Вот с этого бы и начинала, — повеселел Василий, — а то связалась со своей Галькой.

— Не поминай мне про ее.

Степанида вытерла бутылку о подол, поставила ее на середину пустого еще стола и побежала в амбар — видно, за закуской.

— О деньгах сразу не заговаривай, — предупредил Василий. — Обождем, когда готова будет.

— Да ты сам и скажешь.

— Можно и так.

Из комнаты вышла Галька, увидела на столе бутылку.

— Ого, уже облапошили мою тетку! Ловко вы!

— Ну и змея же ты, Галька! — рассердился Василий. — Тебя спрашивают? Еще не выросла, чтобы со мной на таком тоне разговаривать.

— Смотри-ка ты! А как с тобой прикажешь разговаривать? По батюшке или, может, по матушке?

— А, да чего с тобой говорить! Ты разве поймешь?

— Ну и не говори. Я к тебе не навязываюсь. Обидел он меня! Думаешь, я не знаю, зачем вы сюда закатились?

— Тише ты! — зашипел Василий.

— Ага, испугался! Не бойся, не скажу. Только не заедайся, понял? Я еще и помогать вам буду, если со мной по-хорошему. — Она взглянула на Кузьму, жалобным голосом сказала: — Мне тетку Марию жалко. — Снова перевела взгляд на Василия. — Думаешь, если ты постарше, так имеешь право на меня покрикивать? На бабу свою покрикивай. Я к тебе не нанималась.

— Здорова же ты горло драть, — сдерживаясь, подивился Василий.

— Ага, не на ту напал.

— Ладно вам, — стал успокаивать их Кузьма.

Прибежала Степанида, засуетилась возле стола. Усаживая за стол мужиков, стала причитать обычное при гостях, заменившее молитву:

— Ничего такого нету — прямо стыд! Если бы знала, что придете, чего-нибудь бы и приготовила, а то все на скору руку. Стыд, стыд…

— Ты, Степанида, не прибедняйся. С такой закуской можно неделю гулять, — успокоил ее Василий.

— Уж ты, Василий, скажешь.

Разлили в три стакана. В точно рассчитанный момент, уже когда чокнулись и остановили дыхание, встряла Галька:

— А мне?

Степанида даже дернулась от злости, подалась вперед.

— Ну, скажите мне, что она не вредительница! Ведь это уметь надо! Ни раньше, ни позже, в самый раз угадала, чтоб испортить людям аппетит. Ой-ей-ей! И за что меня Господь Бог покарал такой холерой?

Галька, ухмыляясь, принесла стакан, поставила его перед Степанидой, а себе взяла ее стакан.

— Не трожь, окаянная сила! Кому говорю: поставь на место!

— Нальешь в этот — поставлю.

— Неохота при людях с тобой займоваться, а то бы я тебе показала, как с родной теткой разговаривать, я бы тебя научила…

— Где уж там!

— Ой, окаянная сила! Ой, окаянная сила! — запричитала Степанида, но в стакан плеснула.

Галька взяла его, отлила еще в него из Степанидиного и потянулась чокаться.

— Не рано тебе наравне с мужиками пить? — не сдержался Василий.

Галька прищурила глаза, выразительно уставила их на Василия, но он продолжал:

— Еще молоко на губах не обсохло, а туда же. Что из тебя потом будет?

— Во-во, — поддакнула Степанида. — Слушай, что тебе умные люди говорят, раз уж ты родную тетку ни в грош не ставишь.

Но Галька смотрела на Василия.

— Катись-ка ты отсюда со своей лекцией, — спокойно сказала она. — Я и без тебя грамотная, понял?

— Как ты разговариваешь с человеком? — затряслась Степанида. — Он кто тебе — дядя родной? — так с ним разговаривать! Ты уж совсем, ли чо ли, ума решилась?

— А пускай помалкивает, а то я его быстро на чистую воду выведу.

Кузьма под столом толкнул Василия коленкой, чтобы он отступился от Гальки.

— Ходит где-то хороший парень и не знает, что на него уж тут петля заготовлена, — не смог остановиться сразу Василий. — Вот кому-то достанется золотце.

— Да уж не тебе.

— Упаси Бог.

— То-то ты и заоблизывался, когда я в том платье вышла.

Кузьма перебил их:

— Может, мы в бутылку обратно сольем да вас слушать будем?

Выпили. Галька подмигнула Кузьме и показала глазами на Степаниду. Кузьма незаметно покачал головой. Гальке не терпелось видеть, как будут раскошеливать ее тетку. Вот змея! Вызвалась в помощники, а умишко детский, как бы она со своим гонором не испортила все дело.

— А ты чего в клуб не пошла? — совсем некстати спросил он ее.

Галька прищурилась.

— Мешаю, что ли? Я же вам сказала, я за вас, если он, — она показала на Василия, — не будет

заедаться.

— Чего это, чего? — насторожилась Степанида.

— Проехали, — отрезала Галька.

Кузьма замер. Разговаривать с Галькой было опасно. Она и понятия не имела о том, что существуют обходные маневры, или считала их лишними для своей тетки, с которой, мол, не стоит цацкаться, а надо, как курицу, хватать, пока она сидит на месте, и щипать. Нахмурившись, Кузьма показал ей, чтобы она помалкивала. Галька отвернулась.

— А ты чего, тетка, не допиваешь? — разгляделa она. — Всех хитрей хочешь быть?

— Э, нет, так у нас не пойдет, — приподнялся Василий. — Что же ты это, хозяюшка? Давай, давай. Так у нас не делают.

— Ой, да я с ее хвораю, — стала отказываться Степанида.

— Ты, Степанида, чудная, как я на тебя погляжу: я, значит, не буду пить, чтобы и вы, гости дорогие, на меня глядючи, тоже кончали это дело. Так выходит.

— Да ты что, Василий, зачем ты на меня так говоришь? Разве я такая? Ты скажешь так скажешь. Разве мне ее жалко? Да пейте всю, для того и достала.

— Без тебя не можем, ты хозяйка.

— Сейчас, сейчас. — Степанида заторопилась, допила. — Ты, Василий, прямо обидел меня. Я теперь все буду думать про это. Да мне для хороших людей ничего не жалко.

— Посмотрим, — сказала Галька.

— Чего это ты, змея подколодная, собралась смотреть?

Кузьма торопливо сказал:

— Наверно, в кино собралась, а на билет нету. Ухажера еще не заимела, чтоб на свои водил.

— Да ее, кобылу, все киномеханики бесплатно пускают. У ей вся деревня ухажеры. Доброго человека с рублем не пустят, а она, откуда ноги растут, вертанет, и денег не надо. Прямо Василиса Прекрасная — куды тебе с добром! Я оттого и в кино это не хожу, что мне за ее перед народом стыдно.

У Гальки раздулись ноздри, но Кузьма не дал ей взорваться.

— Давайте еще по одной, — сказал он. — Тебе, Галька, налить?

— Назло ей буду пить, чтоб она от жадности лопнула.

— У-у, язва! Ждет не дождется моей смерти, а я ей с девяти лет заместо матери была. Поила, кормила и вот вырастила, полюбуйтесь, хорошие

люди. Все для ее делала, а от ее доброго слова не слышу. Отблагодарила!

Степанида приготовилась плакать, полезла за подолом.

— Ладно вам, — сказал Кузьма. — Давай, Степанида, выпьем, чтоб ты еще сто лет жила да беды не знала.

— Зачем мне, Кузьма, сто лет? Я уж намаялась, и правда скорей бы на покой. Работать не могу, а люди не верят. Я ведь только с виду здоровая, а изнутри вся порченая. Она вот смеется, а время подойдет, поймет, как это бывает. Поймешь, поймешь, голубушка, не подсмеивайся, — голос у Степаниды снова отвердел.

— Сколько у тебя, Степанида, в этом году трудодней? — спросил Василий.

— Двести пятьдесят.

— Да сколько не работала.

— Больная я, Василий.

— Я это к тому говорю, что ты на меня как на бригадира не обижаешься?

— Что ты, Василий, что ты — какие обиды! Где бы я столько заработала? Спасибо тебе.

— И по правлениям тебя нынче таскать не будут, минимум есть.

— Есть, есть. Нынче я спокойна, не подкопают-

ся. А все ты со своей капустой. Я на тебя рада Богу молиться, а ты выдумал, будто мне бутылку жалко. Ой, Василий, да как это тебе на ум пришло?

Василий сказал:

— А ты знаешь, Степанида, зачем мы пришли?

— Не-ет. — Степанида, не выдержав, быстро и тревожно глянула на Кузьму. — Я думала, так просто, посидеть.

— Притворяется, — безжалостно сказала Галька.

Василий одернул ее.

— Да помолчи ты! Без тебя обойдется. — Степаниде сказал: — Посидеть — это само собой. Но у нас с Кузьмой к тебе еще одно дело есть. Ты слышала, что у Марии большая недостача?

— Слышать слышала, кто-то сказывал.

— Выручи их, Степанида. Дело серьезное: если завтра-послезавтра они не соберут, Марию могут забрать. А у тебя, наверно, деньги есть.

— Ой, да откуда у меня деньги?

— Дай им, Степанида. Я ото всей деревни тебя прошу. Дело такое.

— Мы скоро отдадим, — сказал Кузьма. — Мне после отчетного собрания ссуду дают. Это ненадолго.

— Вот видишь, это ненадолго, — продолжал

Василий. — Они люди надежные, дай им, Степанида.

— Да если бы они у меня были, я бы не дала, ли чо ли?

Галька закричала:

— Есть они у ней, есть, не верьте! Есть они у тебя, тетка! — крикнула она Степаниде. — Чего ты врешь?

— А ты их у меня видала? Ты их у меня считала? — подскочила Степанида.

— Не видала и не считала, а знаю, что есть. Ты бы давно уж удавилась, если бы у тебя их не было. Ты бы их украла. Ты кулак, хуже кулака, тебя раскулачить надо!

— Ты мне ответишь за эти слова. В суде ответишь. Ты мне ответишь! — подскакивала Степанида.

— Испугала! Еще поглядим, кто ответит. Кулачиха, кулачиха!

— Тише вы! — крикнул Василий. Наступило молчание, потом Василий негромко сказал: — Ты посмотри, Степанида, может, сколько есть. Посмотри. Сама знаешь: четверо ребятишек у Марии.

— Не надо, Василий, — попросил Кузьма.

Галька взглянула на него, не пряча лица, за-

плакала.

— Тетку Марию жалко, — причитала она. Слез у нее было много, и они с крупного покрасневшего лица стекали на шею. Степанида нагнулась и тоже промакнула свои глаза подолом, плачущим голосом сказала:

— Мне Мария как родная. Да я бы для ее последнего не пожалела. Она мне столько добра делала.

Снова замолчали. Степанида то и дело наклонялась, вытирала подолом глаза, будто надраивала их, как пуговицы, чтобы они наконец заблестели. Наклоняясь, снизу, почти из-под стола, выглядывала на мужиков, не то всхлипывала, не то мычала.

— Хватит тебе, Галька, реветь, — сказал Василий. — Рано еще Марию оплакивать.

— Врет она, врет! — закричала опять Галька. — Я знаю. Видеть ее не хочу.

— А не хочешь — ну и выметайся! — подхватила Степанида. — Не заплачу. Хоть сейчас выметайся! Ты мне всю шею переела.

— Пойдем, Василий, — сказал Кузьма.

— Пошли.

Они оделись и вышли. Из Степанидиной избы нарастал крик; с двух сторон деревни на него откликнулись собаки, загавкали густо и дребез-

жаще. Василий, шагая рядом с Кузьмой, грозился, что выгонит Степаниду из бригады. Кузьме стало все безразлично. Боль за Марию и ребятишек, вспыхнувшая за столом, когда заговорили о деньгах, теперь прошла, и недостача казалась такой же нестрашной, как это собачье гавканье. Будь что будет. Кузьма чувствовал только, что он устал и хочет спать, все остальное было неважно.

— Завтра я зайду, — сказал Василий, сворачивая к себе.

— Ага.

Кузьма остался один. Он шел на самый край деревни, в свой новый дом, поставленный для того, чтобы жить в нем, поживать да добра наживать. Деревня спала, только все еще подлаивали друг другу собаки. Спали люди, и вместе с ними спали их заботы, отдыхая для завтрашнего дня, чтобы двигаться в ту или другую сторону. А пока все оставалось на своих местах, все было неподвижно.

Кузьма пришел домой и сразу лег. Он уснул быстро и спал крепко, забыв во сне обо всем на свете.

Так закончился первый день.

Поезд рвется вперед, разбрасывая по сторонам

дрожащие и тусклые на ветру огоньки. Потом огоньки пропадают, и за окном остается белесоватая, еще не налившаяся до конца темнота. Снова покажется дальний одинокий огонек, грустно посветит и отойдет, но за ним вдруг выскочат два, а то и три огонька вместе, высветят перед собой кусок земли — совсем небольшой, с крохотным домиком и поленницей дров или углом сарая. Он сразу же отступает, его смывает темнотой, и опять надо ждать следующий огонек и следующий домик, потому что без них как-то не по себе.

Кузьма лежит и смотрит в окно. Он устал лежать без движения, смотреть в темноту, как в стену, но что еще можно делать, он не знает. Хорошо, что поезд идет и идет и город все ближе. Так, отыскивая огоньки, можно ни о чем не думать — это игра, чтобы обмануть себя.

Заворочался на своей полке парень, заскрипел во сне зубами, и старуха внизу, тоже дремавшая, открывает глаза, смотрит на часы.

— Сережа, — негромко зовет она. — Проснись, Сережа.

— Я не сплю, — отзывается старик. — Так лежу.

— Время принимать лекарство.

— Если время, то давай.

— Не болит сейчас?

— Нет, нет.

Кузьма ложится на спину; теперь, когда заговорили старик со старухой, можно опять послушать их и не таращиться больше в окно. Услышав голоса, снова заворочался парень и сразу же, хмурясь, приподнялся, свесил ноги.

— О-о. — Парень увидел, что старик что-то пьет из стакана. — Наш дед уже опохмелиться решил. Ничего себе.

— У тебя одно на уме, — несердито отвечает старуха. — Сережа лекарство водой запил, а ты уж Бог знает что подумал.

— А что — дед раньше-то, поди, поддавал.

— Нет, Сережа никогда не пил много. Выпивать выпивал, а пьяным я его не видела.

— А, потом все так говорят. Я, если до старости доживу, тоже буду говорить, что один квас пил.

— Скажи ему, Сережа, сам.

— А зачем? — рассудительно отвечает старик.

— И то правильно. Они теперь не поймут.

В другое время парень, наверно, сцепился бы спорить, но сейчас ему не до того. Бережно, постанывая и покряхтывая, он опускается вниз и там признается:

— Голова трещит — спасу нет!

— Как же ей, голубчик, не трещать, когда ты ее

совсем замучил, — говорит старуха.

— Кого замучил?

— Голову свою замучил.

Парень через силу улыбается.

— Чудная ты. Говорит, голову свою замучил. Меня баба моя пилит, что я ее замучил, а ты говоришь, голову.

— На кого вот ты теперь похож? На человека совсем не похож.

— Это дело поправимое, бабуся. Вон Кузьма, поди, знает, что такое вечернее похмелье. Лучше умереть, чем его переносить. — Парень надевает ботинки, медленно, с болью разгибается и лезет в карман пиджака. — Сейчас мы ему скажем: свят, свят, и его как не бывало. Можно дальше ехать. Дело знакомое.

Он уходит. Старуха качает вслед ему головой, вздыхает. Кузьма в зеркало видит, что старик, наблюдая за ней, чуть заметно улыбается.

— Ты что, Сережа? — спрашивает она.

— Ничего, ничего.

— Я что-нибудь не так делаю, да?

— Все так. Ты не беспокойся.

— Если не так, ты скажи.

— Обязательно скажу, я тебе всегда говорю.

— Да, да.

Кузьме и приятно слушать их разговор, и както неловко, словно он невзначай стал свидетелем того, что говорится только между мужем и женой. Он закрывает глаза и притворяется спящим, но лежать так скоро становится невмоготу, хочется повернуться на бок и куда-нибудь смотреть. Кузьма, как мальчишка, ерзает, с силой сдавливает глаза. И вдруг он слышит, что дверь открывают. Но это еще не парень, это проводница.

— Чай пить будете? — спрашивает она.

— Сережа, чай, — говорит старуха.

— Несите, несите. Чай — это хорошо.

Кузьма сползает вниз.

— Тоже стаканчик выпью, — говорит он.

— Обязательно надо выпить, — отвечает старуха. — Я и то подумала, не разбудить ли вас.

Пристроившись за маленьким столиком, они пьют чай, и старуха угощает Кузьму домашними печенюшками. У Кузьмы наверху в сумке есть яйца и сало, но он не решается достать их, все думает, что надо достать, и не может осмелиться. К чему им, поди, его сало? Они люди интеллигентные и говорят между собой так, будто только вчера сошлись и не успели еще друг на друга налюбоваться. А живут давно; старуха рассказы-

вает Кузьме, что они едут к сыну в Ленинград, сын вообще-то каждое лето приезжал к ним сам, но нынче он был в заграничной командировке и не смог их навестить. Она расспрашивает Кузьму, и Кузьма отвечает, что он едет в гости к брату, с которым не виделся семь лет. Старик больше помалкивает, но слушает внимательно. Кузьме хорошо сидеть с ними, и он потом уже не стесняется их, особенно старуху, которая, оказывается, выросла тоже в деревне и деревенских уважает.

Она говорит Кузьме, что все люди родом оттуда, из деревни, только одни раньше, другие позже, и одни это понимают, а другие нет. Кузьме это нравится, он поглядывает на старика, что скажет он, но старик молчит. И доброта человеческая, уважение к старшим и трудолюбие тоже родом из деревни, говорит старуха, но теперь уже сама смотрит на старика.

— Правда, Сережа? — спрашивает она.

— Возможно.

И тут приходит парень, по песне они слышат его еще издали. Он закрывает за собой дверь и продолжает петь:

Самое с бабами в мире
Черное море мое,

Черное море мое.

— Эк красиво! Эк красиво! — укоризненно качает головой старуха. — И кто тебя таким песенкам учит?

— А что — плохие песенки, что ли?

— Да уж чего хорошего?

— Да ну тебя, бабуся! Уж не знаешь, к чему прикопаться. Цензурные песенки, без мата. Хоть в концерте разучивай. — Парень присаживается рядом с Кузьмой и встряхивает, будто взбалтывает, голову. — Почти в норме, — радостно сообщает он. — Чуть-чуть осталось, это пройдет. Как ты это на меня, бабуся: голову, говоришь, свою замучил?

— И правда. Пьешь и пьешь. И денег тебе не жалко.

— Деньги — это ерунда, дело наживное.

— Деньги тоже уважать надо. Они даром не достаются. Ты за них работаешь, силу свою отдаешь, здоровье.

— Денег у меня много. Они меня, бабуся, любят. Они — как бабы: чем меньше на них внимания обращаешь, тем больше они тебя любят. А кто за каждую копейку дрожит, у того их не будет.

— Как же не будет, если он их не бросает зря на ветер, не пропивает, как ты?

— А так. Они поймут, что он жмот, и — с приветом!

— Вот уж не знаю.

— Точно я тебе говорю. Ты, бабуся, не думай, деньги тоже с понятием. К крохобору крохи и собираются, а ко мне, к простому человеку, и деньги идут простецкие. Мы друг друга понимаем. Мне их не жалко, и им себя не жалко. Пришли — ушли, ушли — пришли. А начни я их в кучу собирать, они сразу поймут, что я не тот человек, и тут же со мной какая-нибудь ерунда: или заболею, или с трактора снимут. Я это все уж изучил.

— Интересная философия, — замечает старик. — Сделайся, значит, простягой, и деньги твои?

— Не-е, зачем? Работать надо, — серьезно отвечает парень. — Я люблю работать. В месяц по двести пятьдесят, по триста выколачиваю, а зимой, когда трелевка начнется, все четыреста. За мной не каждый удержится. Если не работать, откуда им быть?

— Это где же такие деньги? — не выдерживает Кузьма.

— У нас в леспромхозе. У нас механизаторы хорошо получают.

— А что толку? — говорит старуха. — Все равно ты их и пропиваешь.

— Пропиваю. А что? Я за день намерзнусь, намаюсь, и не выпить? Что это за жизнь? Я отдых тоже должен иметь.

— Жена тебе, наверное, сама к вечеру каждый день бутылочку берет?

Парень смеется.

— Подкусываешь, бабуся? Я бы за такую жену чего хочешь отдал.

— А твоя-то, значит, не очень любит, когда ты пьешь?

— Ну да, не понимает. Но теперь это неважно. Я с ней разошелся.

— Разошелся?

— Ага. Вот недавно. Разошлись, я сразу и поехал.

— А почему?

— Без понятия она, не понимала меня. Поэтому. В бане родилась, а кашлять тоже надо по-горничному. Ну ее! — Парень бодрится. — На свете баб много.

— Они все, голубчик ты мой, не любят, когда пьют. Каждой охота по-человечески жизнь прожить. А ты явишься домой чуть тепленький, да еще начнешь характер свой показывать, буя-

нишь, наверно.

— Не. Я смирный. Меня если не трогать, я спать ложусь. Но тоже под пьяную руку меня не зуди. Не люблю. Утром говори что хочешь, все вынесу, а с пьяным со мной лучше помалкивай.

— Неуважение к женщине тоже родом из деревни, — говорит старик старухе.

— Нет, Сережа.

— Что это? — не понимает парень.

— Сережа говорит, что женщину в городе уважают больше, чем в деревне.

— А чего ее сильно уважать? Она потом на голову тебе сядет с этим уважением. Я знаю. Ее надо завсегда в норме держать, не давать ей лишнего. А то слабинку почует — и пропал. Начнет тебе права качать. Заездить могут.

— Тебя заездишь, — с сомнением говорит старуха.

— Я другой разговор. А есть которые слабохарактерные, им достается.

— Ну что ты несешь? Что ты несешь? Смотрите-ка, какой заступничек! Сам пьет, а женщина у него виновата, — не то сердится, не то удивляется старуха. — Вот теперь и достукался, будешь жить один.

— Зачем один? Я себе найду.

— Кто за тебя, за пьяницу, пойдет?

— Бабуся! — с ласковой укоризной произносит парень. — Стоит только свистнуть… На белом свете, бабуся, полно лишних баб. Им тоже жить охота. Женщины, они слабые, правильно? Они без нас не могут. Я вот сам деревенский, а в город когда приезжаю, завсегда себе бабу найду. Говорят, деньги им надо давать, то, другое, — ерунда это, это, может, до революции и было. Теперь у них сознательность. Они обхождение любят, правильно? Им только не хами, сумей подъехать — и все в порядке будет.

— И хорошо твоя жена сделала, что разошлась с тобой, — говорит старуха.

— Это ты о чем? — удивляется парень. — Что я бегал от нее? Это неуважительная причина. Все бегают.

— Ты всех на свой аршин не меряй.

— Да что ты мне, бабуся, говоришь. Мне вот одно место давали почитать в одной книжке. Там писатель, не помню его фамилию, пишет, что кто, значит, это… не изменял своей жене, тот вроде дурака, нет у него интереса к жизни. А что? Правильно! С одной-то всю жизнь надоест. Приедается.

— Сережа, ты слышишь, что он говорит? — улы-

баясь, спрашивает старуха.

— Слышу.

— Скажи ему.

— Зачем?

— Нет, ты скажи. Ведь он думает, что так и надо. Ведь он ничего не знает.

— Это его дело.

— Скажи, дед, чего она просит. Жалко тебе, что ли? — говорит парень.

— «Скажи, дед, чего она просит», — передразнивает его старуха. — Этот дед, вот он, перед тобой, живой пример, он за всю свою жизнь ни разу, ни одного разу мне не изменял. А ты говоришь, все такие. Вот он, перед тобой этот дед, смотри, если ты других не видел.

Парень подмигивает старику.

— Ты думаешь, бабуся, я бы при своей бабе сказал, что, мол, было дело? — Представив, что бы после этого началось, парень от души гогочет. — Вот была бы потеха, она бы мне…

Старуха смотрит на него и терпеливо улыбается. Потом говорит — все с той же терпеливой улыбкой:

— Но он мне в самом деле ни разу не изменял. Почему ты не можешь в это поверить?

Парень все еще смеется.

— Откуда ты это знаешь, бабуся?

— Я ему верю.

— А-а… веришь.

— Скажи ему, Сережа. Он ничего не понимает.

— А зачем мне было ей изменять? — спрашивает старик у парня.

— Как зачем?

— Да… зачем?

— Тебе лучше знать. Она твоя старуха, а не моя.

— Почему ты изменяешь своей жене?

— Интересно.

— Что интересно?

Парень сладко ухмыляется:

— Все интересно. Какая баба и… вообще… все. Бабы ведь разные.

— А Сереже было со мной интересно, — просто говорит старуха. — Ему с другими было неинтересно.

Парень с откровенным любопытством, как на иностранца, смотрит на старика.

— Так я ему и поверил, — говорит он.

— Это твое дело.

Наступает молчание, в котором парень неспокойно вертит головой, поглядывая то на старуху, то на старика. И вдруг он замечает Кузьму.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет?

Кузьма растерянно улыбается. Во время этого разговора он не один раз вспомнил Марию и остро, до боли почувствовал, как она ему нужна. Все, что было у них хорошего и плохого, теперь куда-то пропало, они остались одни, будто еще не начинали свою жизнь, но он, Кузьма, уже знает, что без Марии ему жизни не будет. Он хотел еще выяснить для себя, отчего это бывает, что человек так прикипает к человеку, и не мог. Неужели только ребятишки, как гвозди, сколачивают их вместе? Нет. Сейчас, когда старик и старуха спорили с парнем, он забывал о ребятах, они оставались где-то за спиной, а Мария будто сидела все время у него на коленях, так что Кузьма чувствовал ее дыхание, и все слышала.

— А ты, Кузьма, от своей бабы бегал или нет? — спрашивает парень.

И Кузьма признается:

— Один раз было.

— Вот видишь, и Кузьма… — хочет что-то сказать парень, но Кузьма перебивает его:

— Подожди. У меня по-другому было. Я с той до войны жил, только мы не расписывались. После войны я сошелся со своей Марией, но один раз по старой памяти с первой… Она меня вече-

ром встретила…

Старуха с грустью смотрит на Кузьму.

— А Мария ваша не узнала?

— Узнала. Она уходила от меня, но я уговорил ее вернуться, пообещал. Больше этого не было.

— А нам вы верите? — спрашивает старуха.

— Верю. В деревне такие тоже есть.

— В деревне! — взрывается парень. — Там все на виду. Там если мужик на чужую бабу взглянул, в тот же миг вся деревня знает. Там боятся.

— Не потому, — возражает Кузьма. — Там сходятся, чтобы вместе жить.

— Вот и мы с Сережей всю жизнь были вместе, — говорит старуха и смотрит на старика. — Куда он, туда и я. А если разлучались, то ненадолго. Мне без него было плохо, и ему без меня было плохо. Правда, Сережа?

— Зачем об этом говорить?

— Мы еще молодые были, решили, что так будем жить, и живем. Что все будем вместе принимать — и радость, и горе, и смерть тоже. — Старуха говорит спокойно и тихо. — Теперь вот у Сережи больное сердце, а у меня сердце хорошее, но все равно у нас на двоих только одно больное Сережино сердце.

— Вы что, эти самые… баптисты, что ли? — оша-

рашенно спрашивает парень.

— Какие мы баптисты?! — посмеиваясь одним ртом, отвечает старуха. — Ты слышал, Сережа? Нас уже в баптисты записали.

А поезд все идет и идет, и город все ближе и ближе.

Второй день начался с того, что рано утром — еще ребятишки не убежали в школу — явился дед Гордей. Сел, как всегда, на полу возле печки, запалил свою трубку и, пока помалкивая, не выпускал ее изо рта. Кузьма с дедом не заговаривал. Чего он притащился ни свет ни заря — от бессонницы, что ли? Кому они нужны, его советы, что с них толку? Кузьма вспомнил, как утром, когда поднимались, он сказал Марии, чтобы она перед бабами сильно не распиналась о своей недостаче, и Мария со злостью ответила:

— Учи, учи! Я теперь умная-преумная стала, на тыщу лет вперед знаю, как надо жить. Все учат.

Потом, когда старшие ребятишки убежали в школу, а Мария ушла по хозяйству, Кузьма спросил:

— Ты, дед, ко мне по какому делу?

— А? — Дед засуетился, стал подниматься. — Тут вот... — и протянул Кузьме деньги. — Я вчерась

у сына пятнадцать рублей выклянчил, а мне их куды.

— Не надо, дед.

— Как так не надо? — растерялся дед. — Зачем я их нес? Ты не думай, я ему не сказал, что для тебя.

Он стоял перед Кузьмой с протянутой рукой, из которой торчали свернутые в трубочку пятирублевые бумажки. И смотрел он на Кузьму со страхом, что Кузьма может не взять. Кузьма взял.

— Ты не думай, — обрадовался дед. — Будет, отдашь, а не будет — куды их мне, старику? Сам подумай.

Он собрался уходить — это на него совсем не походило.

— Посиди, дед.

— Нет, побегу.

— Дед!

— А?

— Только ты мне больше деньги не таскай, не надо.

— Как так?

— Я сам. А то у тебя ума хватит по деревне для меня собирать.

— Раз ты не велишь, не буду.

— Не надо, дед, не надо.

Вторым прибежал тот же самый мальчишка, сосед Евгения Николаевича.

— Евгений Николаевич велел сказать, что он собирается в район и вечером будет обратно.

Кузьма спросил:

— А он, когда на двор ходит, не велит тебе по деревне про это сказывать?

Мальчишка, хихикая, выскочил за дверь. Потом пришел Василий, коротко сказал:

— Одевайся, пошли со мной.

— Куда?

— К матери.

Кузьма давно уже не видел тетку Наталью, с тех пор, как года три или четыре назад она слегла. Он не мог представить себе, что она лежит в постели — никуда не торопится, ничего не делает, а просто лежит, как все старухи перед смертью, смотрит ослабевшими глазами на людей, которые заходят к ней посидеть, с трудом поворачивается с боку на бок. Все это годилось для кого угодно, даже для самого Кузьмы, но не для тетки Натальи. Сколько Кузьма себя помнил, она всегда, каждую минуту, как заведенная, что-то делала, она успевала в колхозе и дома, вырабатывала за год по шестьсот трудодней и одна,

без мужика, поднимала троих ребят, из которых Василий был старшим. Мало сказать, что она была работящей, работящих в деревне сколько угодно, а тетка Наталья такая была одна. Она никогда не ходила шагом, и деревенские, завидев, как она несется по улице, любили спрашивать:

— Тетка Наталья, куда?

Она на ходу торопливо отвечала:

— Куда-никуда, а бежать надо.

Эта поговорка осталась в деревне, ее повторяют часто, но ни к кому больше она не подходит так, как подходила к тетке Наталье.

В колхозе и сейчас еще вспоминают, как тетка Наталья вершила в сенокосы зароды. Нипочем потом этим зародам было любое ненастье, все с них стекало на землю, и они, не оседая, картинкой стояли до самой зимы. А еще тетка Наталья не хуже любого мужика умела рыбачить. Когда она по осени выходила лучить и зажигала смолье на своей лодке, мужики, матерясь, отгребали от нее подальше.

Она так и не научилась ходить шагом и, видно, из последних сил добежав до кровати, упала. И вот теперь, сама на себя непохожая, словно сама себя пережившая, день и ночь, не вставая, лежит в маленькой комнатке, отгороженной

для нее от горницы. К ней приходят старухи, сидят, жалуются на житье, и она, у которой всю жизнь не было даже пяти минут на разговоры, слушает их, поддакивает.

Когда Василий и Кузьма пришли, тетка Наталья спала и не услышала их. Одно окно было занавешено совсем, другое наполовину закрыто одной створкой ставня, и в комнате стоял полумрак. В нем Кузьма не сразу и разглядел тетку Наталью.

— Мать! — позвал Василий.

Она очнулась, без всякого удивления, будто ждала их, взглянула на мужиков и сказала:

— Василий пришел. А второй — Кузьма. Давно я тебя не видала, Кузьма.

— Давно, тетка Наталья.

— Поглядеть на меня пришел? Хвораю я. Глядеть не на что стало.

Она сильно похудела, высохла, голос у нее был слабый, и говорила она медленно, с усилием. Лицо ее почему-то стало меньше, чем было, и как бы затвердело; когда она говорила, лицо оставалось неподвижным, даже губы не шевелились, и поэтому казалось, что голос идет не из нее, а звучит где-то рядом.

— Я и не сильно старуха. Семьдесят нету. Дру-

гие поболе ходят. А вот привязалось, — говорила она, и слушать ее надо было долго, хотелось в это время найти для себя еще какое-нибудь занятие.

— Болит-то шибко? — спросил Кузьма.

— Совсем не болит. А ходить не могу. Встану — ноги не держат. Слабая.

— Раз не болит, ну и лежи себе на здоровье, тетка Наталья. Хватит, набегалась. Отдыхать теперь.

— А, ишь ты какой, Кузьма! Встать тоже охота. Я нонче летом вставала, на улицу сама ходила.

— Раз вставала, значит, и еще встанешь.

— Не-е-ет, не встану. Духу все мене и мене.

Василий перебил их:

— Мать, у тебя деньги есть?

— Маненько есть. Но я тебе их, Василий, не дам. Пускай лежат.

— Дай, мать. Это не мне, вот Кузьме. Для Марии. Он нигде не может взять.

Тетка Наталья повернула глаза к Кузьме и, моргая, смотрела на него. Кузьма ждал. Василий поднялся и вышел из комнатки, что-то сказал сестре, которая жила с матерью, и сразу же вернулся обратно.

— У меня эти деньги на смерть приготовлены, — сказала тетка Наталья.

Кузьма удивился:

— Теперь что — и за смерть платить надо? Она будто всегда бесплатная была.

— Не-е. — Глаза у тетки Натальи слабо блеснули. — Я хочу сама себя похоронить и сама себе поминки сделать. Чтоб с ребят не тянуть.

— Будто мы бы тебе поминки не сделали, — буркнул Василий.

— Сделали бы. Я на свои хочу. Чтоб поболе народу пришло и подоле меня поминали. Я не вредная была. Все сама делала. И тут сама.

Отдыхая, она умолкла, не шевелилась. Кузьма подумал, что, наверно, пора подниматься, и оглянулся на Василия. Но тетка Наталья спросила:

— Мария-то сильно плачет?

— Плачет.

— Деньги тебе отдам, а тут смерть… Как тогда?

— Опять ты, мать, об этом, — поморщился Василий.

— Я уж ей согласие дала, — виновато сказала тетка Наталья, и было ясно, что она говорит о смерти.

Кузьма вздрогнул, боязливо глянул на тетку Наталью.

Смерть всегда, каждую минуту, стоит против человека, но перед теткой Натальей, как перед

святой, она отошла чуть в сторонку, пустив ее на порог, который разделяет тот и этот свет. Назад тетка Наталья отступить не может, а вперед ей еще можно не идти; она стоит и смотрит в ту и другую стороны. Быть может, случилось это потому, что, бегая всю жизнь, тетка Наталья уморила и свою смерть, и та теперь никак не может отдышаться.

Тетка Наталья шевельнула рукой и показала под кровать.

— Достань, Василий.

Василий выдвинул из-под кровати старый, потрепанный чемодан и нашел в нем небольшой, в красной тряпке сверток. Она разворачивала его и говорила:

— Я их много годов копила. Дать надо. Я, сколь могу, подюжу. Но ты, Кузьма, не задерживай. Уж я тебя попрошу. Силенок совсем не стало.

— Ты лучше поправляйся, тетка Наталья, — зачем-то сказал Кузьма.

Она не стала ему отвечать.

— А как не сдюжу, умру, деньги Василию отдай. Сразу отдай. С тем и даю. Я хочу на свои помереть.

— Отдам, тетка Наталья.

Она спросила:

— На похороны-то придешь?

Он замялся.

— Приходи. Выпей, помяни меня. Народу много будет, и ты приходи.

Она протянула ему деньги, и он взял их, будто принял с того света.

Хоть и сказал Кузьма тетке Наталье, что Мария плачет, она больше не плакала. Молчала. Если спросишь о чем-нибудь, ответит двумя-тремя словами, и опять молчит, а то и не ответит, сделает вид, что не слышала. Ходит, убирается по хозяйству, а сама будто ничего не видит, будто ее водят и показывают, что надо делать. А потом упадет на кровать и лежит, не шевелится. Прибегут ребятишки, попросят есть — она поднимется и снова ходит, как лунатик, не помня себя.

Ребятишки тоже присмирели, перестали возиться, кричать. Прислушиваются к каждому слову взрослых, ждут, что будет дальше. И никуда друг от друга не отстают, боятся. Выстроятся рядом и смотрят на мать, а она их не видит.

Изба большая, новая, а в ней тишина, как в нежилой.

Лучше бы Кузьма не заходил домой. Он хотел обрадовать Марию, показал ей деньги, которые дала тетка Наталья. Она взглянула на них, как на

пустые бумажки, и отошла. Кузьма подождал, но она так ничего и не сказала. Он понял, что ей все стало безразлично. Вчера, в первый день, когда страх только начинал свое дело, ей было больно, она плакала и умоляла Кузьму спасти ее. Сегодня она окаменела. Смотрит и не видит, слышит и не понимает. Так, наверно, будет продолжаться до тех пор, пока ее судьба не решится окончательно, пока ее не уведут или не скажут, что все кончилось хорошо и она может жить, как жила, дальше. Тогда опять начнутся слезы, и, если все обойдется, душа ее понемножечку начнет оттаивать. Ее тоже понять надо.

Кузьме стало невмоготу оставаться больше дома, и он ушел.

День стоял пасмурный и низкий, с тяжелыми обвисшими краями. Было тихо, все вокруг выглядело заброшенным и неприбранным, будто один хозяин уже выехал *с* этого места, а другой еще не нашелся. Так оно и было — не осень и не зима. Осень уже надоела, а зима не шла. Крадучись, ползли над избами дымки, не осмеливаясь подняться в небо, словно время для этого еще не наступило. С тоскливым видом, не зная, чем заняться, бродили по деревне собаки. Выглядывали из окон ребятишки, но на улицу не шли,

и улица была пуста. Неприкаянно и сиротливо темнел за деревней лес.

Все чего-то ждали. Ждали праздников, когда можно будет погулять. Ждали зиму, когда начнется новая работа и повалят новые заботы. Ждали завтрашнего дня, который будет ближе к праздникам и зиме. А этот день, казалось, всем был без надобности, все его лишь пережидали. И только один Кузьма, для которого он начался удачно, ждал продолжения этой удачливости, надеялся на него.

Кузьма шел и думал, к кому лучше всего теперь зайти, но ничего не надумал и, чтобы не возвращаться домой, направился в контору.

Председатель спросил его:

— Как там у тебя дела?

— Да будто ничего.

— Много собрал?

— Пока немного.

— А сколько — можешь сказать?

— Если сегодня Евгений Николаевич привезет, двести пятьдесят чуть-чуть не будет.

— И все?

— Пока все.

Председатель перебирал у себя за столом бумаги и был чем-то недоволен. Хмурился, вздыхал.

Захлопнул одну папку, убрал ее и достал другую. Спросил, не отрываясь от бумаг:

— Где остальные хочешь брать? Есть какие-нибудь виды?

— Хожу вот, — пожал плечами Кузьма.

Председатель уткнулся в бумаги и молчал. Кузьма, чтобы не мешать ему, хотел уйти.

— Сиди! — не сказал, а приказал председатель.

А сам будто забыл про него.

Кузьма сидел и вспоминал сентябрь сорок седьмого года. Поспели хлеба, к самому горлу подкатила страда, а машины стояли. Не было горючего. Председатель пять дней в неделю жил в районе, бегал от райкома к МТС и обратно, всякими правдами и неправдами выбивал бензин, который машины потом сжигали за два дня и снова останавливались. А погода стояла как на заказ — ни одной тучки. И без того небогатые хлеба начали осыпаться. Не сладко было смотреть, как падает зерно, — после всего, что натерпелись за войну и за два последних голодных года. Снова достали серпы, пустили конные жатки — да много ли этим уберешь, когда и людей и коней за войну поубавилось втрое?

Сам дьявол подчалил тогда к берегу эту баржу. Шкипер, толстомясый, как баба, мужик, засучив

штаны, весь день ловил рыбу, а вечером зажег на берегу костер и стал варить уху. В огонь, чтобы лучше горел, он плескал из банки бензин. Туда, к костру, и пошел председатель.

Они сговорились быстро. Утром выкатили на берег две бочки горючего, и баржа ушла. В тот день трактор снова потащил в поле комбайн, а Кузьма поехал отвозить от него пшеницу. О том, что бензин куплен у шкипера, знала вся деревня, но, пожалуй, только один председатель ясно понимал, чем ему это грозит.

Его взяли в начале ноября, словно дождавшись, когда он кончит уборочную. Он просил на праздники оставить дома — не оставили. И деревне праздник стал не праздник. Сначала недоумевали: за что? Бензин этот он не украл, а купил и купил не для себя, а для колхоза, потому что в МТС бензина не было, а хлеб не ждал. Потом объяснили: бензин был государственный, шкипер не имел права его продавать, а председатель не имел права покупать. Кто понял, а кто нет. На собрании, как делегацию, выбрали трех человек, которые должны были хлопотать за председателя. Они сделали все, что могли: много раз ездили в район, один раз даже в область, писали бумаги в Москву, но ничего не добились,

а может, еще и повредили председателю, потому что ему дали пятнадцать лет. Тут уж было над чем ахнуть.

Он вернулся назад в пятьдесят четвертом, после амнистии. Хотели снова назначить его председателем — нельзя, был под судом, партийность потерял. Работал бригадиром. И только пять лет назад, после того как сменилась добрая дюжина председателей и из колхоза убежала половина народу, написали в обком и еще раз просили председателем его, председателя. Там разрешили. Его позвали на его старое хозяйское место вот так же осенью, после страды, как и сняли, — будто ничего не случилось, если не считать, что между этими двумя осенями прошло больше десяти лет.

Председатель оторвался от бумаг, крикнул в дверь:

— Полина!

Вошла Полина из бухгалтерии.

— Полина, посмотри, сколько у нас получают за месяц специалисты? Если со мной брать?

— Все вместе, что ли?

— Ага, все вместе.

— Я и так помню: шестьсот сорок рублей.

Председатель подумал, спросил:

— Бухгалтер не приехал?

— Нет, он к вечеру будет, не раньше.

— Ну ладно, иди. Пошли там кого-нибудь, пускай придут.

— Кто?

— Все, кто на зарплате. Скажи: дело срочное, а то они будут один за другим тянуться. Мне их два часа ждать некогда.

Кузьме он сказал:

— Ты сиди.

И снова занялся с бумагами.

Стали подходить специалисты.

Первым пришел агроном, который только недавно вернулся с леченья; посреди уборочной его вдруг скрутила язва, и он ездил на курорт.

В деревню агроном приехал два года назад из сельхозуправления, сам, по своей воле выбрал дальний колхоз, и за это его уважали, хотя сначала встретили недоверчиво: сидел в кабинете, был начальством, черт его знает, как с ним разговаривать, не будет ли он под видом агронома делать работу уполномоченного, каких раньше посылали в каждый колхоз. Но потом, наблюдая за агрономом, об опасениях этих как-то забыли: дело свое он любил, летом с утра до ночи пропадал в полях и очень скоро стал в деревне своим

человеком.

Он вошел, поздоровался и вопросительно взглянул на председателя. Председатель, не отвечая, сказал:

— Садись пока, подождем.

Потом прибежал ветеринар, который в деревне жил так давно, что уже мало кто помнит, что он тоже специалист.

Пришла зоотехник, большая, с мужским голосом женщина. Она говорила мало, была спокойной, но в колхозе ее все равно побаивались, будто знали, что такая силушка и такой голос, как у нее, не могут долго оставаться без применения и вот-вот должны что-нибудь натворить.

Ждали механика. Председатель ворчал, поглядывая на дверь:

— Где же он сразу пойдет! Ему десять приглашений надо.

Наконец появился и механик, молодой парень, еще не снявший институтского значка. Намеренно усталой походкой человека, который делал дела, пока они тут сидели, он прошел к дивану и сел с края.

Специалисты сидели на диване у одной стены, Кузьма напротив них у другой.

Кажется, только теперь председатель понял,

что дело, которое он собрался решать с ними, совсем не простое. И он мялся, не начинал. Это почувствовали и специалисты, умолкли.

Наконец он начал:

— Я вот зачем велел вам собраться. Завтра у нас зарплата. Если бухгалтер вечером привезет деньги, завтра вы имеете право их получить. Но тут еще вот какое дело. — Председатель помолчал, давая понять, что оно не пустяковое, потом снова заговорил — спокойным, ровным голосом. — Но тут еще вот какое дело, — повторил он. — Летом, да и весной тоже мы не один раз задерживали вам деньги. Вы как-то перебивались, находили какие-то возможности. Я думаю, что такую возможность мы найдем и теперь, а деньги я предлагаю отдать Кузьме. У него, сами знаете, дело хуже некуда. Ему за три дня надо тысячу набрать, а где он ее возьмет, если не оказать помощь? Потом мы ему собираемся дать ссуду, но ему ждать ее некогда. Поздно будет. А мы проживем, не пропадем. Колхозники вон живут. Вот такое с моей стороны предложение. Давайте решать. Неволить мы никого в этом деле не можем.

Кузьма простонал:

— Меня-то ты в какое положение ставишь?

Хоть бы сказал, предупредил, что разговор про это пойдет.

— Тебя никто не спрашивает. Спросят — тогда скажешь. — Председатель повернул голову к другой стене. — Ну как, товарищи специалисты?

Специалисты молчали.

Кузьма не мог смотреть в их сторону. Ему казалось, что от стыда он стал прозрачным и в нем теперь видно все то жалкое и срамное, что есть в человеке. Он сидел перед ними, как на судилище, и не знал, хочет ли он, чтобы его помиловали, он чувствовал один стыд, горький и едкий стыд взрослого, уже пожилого человека. Сейчас, в эту минуту, не думая о том, что будет дальше, он даже хотел, чтобы ему отказали, потому что тогда он ничем не будет им обязан. Но кто-то сказал:

— Дать, конечно, надо.

— Надо дать, — твердо повторил председатель. — Я говорю: мы не пропадем, а человек может пропасть. Понятно, что вы на эти деньги рассчитывали, но в ноябре мы что-нибудь придумаем, постараемся пораньше выбить из банка. Вот так. Значит, завтра надо будет зайти и расписаться в ведомости, а деньги выдадим Кузьме. Если кто не согласен, пускай говорит сразу.

— Согласны, чего там! — ответил за всех аг-

роном.

Остальные молчали.

— Тогда ты, Кузьма, сразу с утра подходи и возьмешь. Полина говорит, там шестьсот сорок рублей. Мало тебе, но больше нету. Бухгалтеру я скажу, он знать будет.

— Я не могу понять: мы всю, что ли, зарплату должны отдать? — оглядываясь на специалистов возле себя, заволновался ветеринар.

— Ты ничего не должен, — недобрым голосом сказал председатель. — Это дело добровольное. Не хочешь — забирай свои деньги. Чего ж ты раньше молчал, когда решали? Мы свои деньги отдаем полностью, а ты как знаешь. Вот так.

— Да я согласен, согласен, — торопливо закивал ветеринар.

— Смотри сам.

— Согласен, согласен.

— Не надо полностью. — Кузьма, обращаясь к председателю, поднялся. — Что я, грабитель с большой дороги, что ли? Им тоже жить надо, а я все деньги заберу. Если на то пошло, если вы согласны, давайте я половину возьму, а половина останется вам. — Теперь он говорил специалистам: — Давайте так? А то это что получается? Вы, значит, работали…

Председатель оборвал его:

— Ты тут не торгуйся. Дают — бери, бьют — беги, а торговаться нечего.

— Так у меня совесть-то есть или нету?

— Иди-ка ты к такой-то матери со своей совестью! Совесть у него есть. А у нас, по-твоему, нету совести? Ты бы лучше подумал, где остальные взять, а не о совести рассуждал. Ты этой совести себе сильно много нахватал, другим не осталось. Думаешь, тебе деньги домой принесут? Дожидайся! Ты вон хотел со Степанидой по совести, ну и как, много она тебе дала? — Председатель раздраженно перебросил с места на место папку с бумагами. — Завтра придешь и получишь все деньги или можешь Марии сухари сушить. Мне тоже, если хочешь знать, деньги нужны, но я тебе их отдаю, потому что я без них проживу, а ты пропадешь. Так и другие. Если ты с совестью, то и у нас она помаленьку есть.

— Да я разве…

— Все. Хватит разговаривать! Можете идти, кому надо.

Механик ушел сразу. Вслед за ним поднялась зоотехник, негромко спросила что-то у председателя, что-то о ферме, и тоже ушла. Пооглядевшись, выскочил за дверь ветеринар. Остались

втроем: председатель, агроном и Кузьма.

Кузьма сел опять на свое место напротив агронома.

Молчали.

Поднялся агроном, попрощался с председателем и с Кузьмой за руку, Кузьме сказал, показывая на председателя:

— Ты не думай, что он нас заставил. Он правильно сделал. Бери эти деньги, не стесняйся. Считай, что они твои.

Ободряюще кивнул и вышел. Председатель заметил, что Кузьма тоже собирается уходить, сказал:

— Подожди меня.

Он убрал папки в стол, проверил, закрыт ли сейф, и стал одеваться.

Смеркалось. В двух-трех избах из окон слабо желтел свет, остальные дремали. Деревня лежала усталым, приткнувшимся к реке табором, который откуда-то пришел и, отдохнув, снова куда-то пойдет дальше.

Странно было сознавать, что это ощущение исходит от собственной усталости и что деревня не спит, а просто пережидает переходное и как бы никуда не годное время между днем и ночью; потом, когда наступит полная темно-

та, можно будет до сна снова заняться работой, делать какие-то деда, а сейчас надо просто ждать — такой это беспутный час.

Шли молча, и только возле своего дома председатель сказал:

— Зайдем, если не торопишься.

Свернули. Председатель отомкнул дверь, включил свет. Они были дома одни. Председатель достал откуда-то уже начатую бутылку, разлил по полстакана, принес в ковше воды. Показывая на бутылку, сказал:

— Спирт.

— Где это ты его взял?

— Давно уж стоит. Весной еще ездил на рудник, купил одну. Немножко осталось. Ну, давай. За Марию. Чтоб не попала она куда не надо.

От слов этих у Кузьмы внутри все затаилось; он скорей выпил и убил, сжег спиртом то, что хотело заболеть. Сразу же запил водой, отдышался и спокойно, без боли, сказал:

— Теперь уж, поди, выкрутились. Помог ты мне здорово.

— А эту паскуду Степаниду я прижму. Вот начнется год, — пригрозил председатель.

— Может, у нее правда не было.

— Да что ты мне говоришь, когда мы ей в сен-

тябре за корову выплатили! Ест она их, что ли? Лежат в тряпочку завернутые, куда им деться!

— Не трогай ты ее. Такой человек. Что с нее взять?

— Прижму, как миленькую, чтоб понимала. Деньги эти у нее так, без пользы лежать будут, а нет, не даст. И ведь самой взять нельзя — вот положение! И деньги вроде свои, а не пойдешь, ни холеры на них не купишь. Люди увидят, поймут, что обманула. Так и будет по рублю таскать. Сама себе наказание придумала и у людей из доверия вышла. Куда дешевле было дать тебе эти деньги. Нет, жадность раньше ее родилась.

— Ну ее. Я на нее не шибко и рассчитывал. А вот со специалистами неловко все же получилось, сердце не на месте. Ждали, ждали эту зарплату, а получать буду я. Сердятся, поди, на меня. Да и на тебя тоже — ты заставил.

— Ничего, обойдутся. Ну, пришел бы ты завтра к агроному, а ему, если разобраться, и правда деньги самому нужны. Может, он бы тебе и дал — да немного, для тебя это не выход. А ветеринар, тот совсем бы не дал. По отдельности-то легче отказывать. А я их вместе всех. — Председатель усмехнулся. — Я знаю: когда вместе — так просто не откажешь, никому неохота перед дру-

гими себя не с той стороны открывать, а когда один — больше свое на уме, и никто не видит, что хитришь, разговор без свидетелей. Это уж давно запримечено.

— А ведь и правда, — удивленно согласился Кузьма.

— Правда, правда. У нас в лагере, когда я сидел, один чудак был, он об этом целую тетрадь, толстую такую, общую, исписал. Много там у него было напридумано всякого, но вот это я помню, это я знал еще раньше, из жизни.

— Я все у тебя спросить хочу, — сказал Кузьма. — Когда тебя посадили, имел ты на нас обиду или нет?

— На кого — на вас?

— Ну, на меня, на деревенских. Мы этим бензином все пользовались, а осудили одного тебя. Ты не для себя старался.

— А за что я на вас-то должен был обижаться? Вы здесь ни при чем.

— Да оно и при чем и ни при чем — смотря с какой стороны подойти.

— Брось ты, Кузьма, — отмахнулся председатель. — Что теперь об этом говорить? Суд, что ли, новый собирать?

Разлили остатки и выпили. Председатель за-

думчиво умолк и теперь, раскрасневшись после спирта, совсем не походил на председателя: лицо его стало безвольным, мясистым, без всегдашней твердости, глаза смотрели тоскливо. Если бы Кузьма не видел, что председатель выпил всего ничего, то подумал бы, что он пьян.

— Ты говоришь, была или нет у меня на вас обида? — сказал потом он совсем трезвым голосом и взглянул на Кузьму. — Вы здесь, конечно, ни при чем. Может, чуть-чуть поначалу и была, что вы за меня плохо хлопочете. Я ведь тоже думал: не для себя старался, для колхоза, должны учесть. Колхоз напишет поручительство, дадут принудиловку, и все. Мне бы и этого хватило. А на суде вижу: мне вредительство паяют. Вот так, — словно удивляясь до сих пор, председатель хмыкнул. — Обида потом была, но на другое. Я, конечно, виноват с этим бензином, я с себя вину не снимаю. Но если поразмыслить, не один же я виноват, ведь не из вредительства же в самом деле я стал этот бензин покупать. Нужда заставила. У меня хлеб осыпался. Выходит, кто-то повыше тоже был виноват, где-то получился недосмотр с горючим, раз его не было. Но никто не захотел на себя вину брать, одного меня осудили.

— Вот-вот.

— Когда стали меня обратно в председатели звать, сначала не хотел идти. А потом думаю: над кем это я собираюсь каприз строить? Над колхозом? Он не виноват. Над государством? Этого еще не хватало… — Председатель помолчал и, улыбаясь, но твердо добавил: — Жалко только, что эти семь лет из моей жизни зазря отхвачены.

Дома Кузьму ждал Евгений Николаевич.

— Загулялся ты, Кузьма, загулялся. А я сижу и думаю: если гора не идет к Магомету, Магомет сам идет к горе.

— Давно ждешь, Евгений Николаевич?

— Так давненько уже. Но решил сидеть до победного конца. Я такой человек: если пообещал — надо сделать. Приезжаю сегодня в сберкассу, а ее на ремонт закрывают. Я туда-сюда, не можем, говорят, и все. Побежал на дом к заведующему. Хорошо, меня там знают. Выдали. Повезло тебе, Кузьма.

— Смотри-ка ты, как получилось!

— Да, да. А сейчас сижу и думаю: может, зря ездил, зря бегал? Тебя все нету и нету. Думаю, может, нашел уже? Но сижу, не поднимаюсь. Если пообещал, надо до конца довести. Чтобы не было обид.

— Да какие обиды, Евгений Николаевич! Спасибо тебе.

— Значит, нужны деньги?

— Нужны, Евгений Николаевич.

— Тогда держи. Вот. Круглая сумма, посчитай.

Кузьма взял у Евгения Николаевича пачку денег, спрятал ее в карман.

— Чего их считать? Все тут.

— Ну, смотри, это дело твое. Я тебя обманывать не буду. Как обещал, так и сделал. С тебя пол-литра.

— Это само собой, Евгений Николаевич.

— Да нет, я шучу. Это просто так говорится. Потом, когда все кончится, можно и выпить, а сейчас не надо. Я знаю, у тебя сейчас каждая копейка на счету. Совесть надо иметь. Мы друг другу так помогать должны, без выгоды. Как русские князья объединялись в старину против половцев, так и мы должны объединиться против несчастья. Твоя беда — это, знаешь, что? Это половцы, половецкое войско. Помнишь из истории? Против них мы, как русские князья, сходимся все вместе. Теперь нас попробуй тронь. Нас много, мы просто так не дадимся. А, Кузьма? Правильно?

— Правильно, — засмеялся Кузьма. — Смотри-

ка, как ты рассудил! — И еще раз засмеялся.

Из комнаты высунулся Витька, глядя на них, радостно улыбался.

— Правильно, Витька? — крикнул ему Евгений Николаевич. — Проходили вы про половцев?

— Правильно. Я книжку про них читал.

— Ну и как? Похоже?

— Похоже.

— Вот видишь, кое-что понимает, значит, у вас директор?

Витька, застеснявшись, исчез. Евгений Николаевич отчего-то вздохнул, хотя по лицу его было видно, что он полностью доволен собой, и поднялся.

— Идти надо. Эти половцы нам тоже нелегко обходятся. Устал я сегодня. Пойду спать.

— Задал я тебе работу, Евгений Николаевич.

— Ничего, ничего. Я тебя не упрекаю. Надо было — сделал. Свои люди. В другой раз ты для меня сделаешь. С людьми жить — человеком надо быть. Иначе тебя уважать не будут. Правильно я говорю?

— Это правильно.

— Вот видишь. — Евгений Николаевич осмотрелся. — Мария-то болеет, что ли?

Кузьма не знал, где Мария, но на всякий случай

сказал:

— Болеет.

— Что с ней?

— Голова болит.

— А, ну это не страшно.

У порога Евгений Николаевич негромко спросил:

— Как там у тебя — обещают ссуду-то?

— Обещают.

— Ага. Ну, когда дадут, тогда и расплатишься. Я тебя торопить не буду. Я знаю, ты человек надежный, за тобой не пропадет. Ну, я пошел.

Мария сидела на кровати и, положив себе на колени старый, с обтрепанными углами альбом, рассматривала фотографии. Когда Кузьма подошел, она смотрела на себя, какой была лет тридцать назад: с тяжелой косой, перекинутой по тогдашней моде через плечо, с круглым толстощеким лицом — невеста невестой, нерожавшая, нестрадавшая, плакавшая только детскими, пустячными слезами. Ничего еще тогда она не знала о себе, кроме имени, кроме того, что родилась и выросла в этой деревне и теперь будет жить дальше. Не знала о войне, о своих ребятишках, о магазине, о недостаче, думала, что для всяких бед и страданий на свете слишком много людей,

чтобы все эти напасти могли выбрать ее, деревенскую, незаметную, гнала от себя мысли о том, что жизнь будет трудной, со слезами и горем. И теперь, страдая, она любовалась собой — той, которая ничего не знала, завидовала ей и навеки прощалась с ней. Раньше за всем тем, что было в жизни, некогда было попрощаться, а сейчас вот нашлось время, она села и поняла, что ничего в ней не осталось от той девчонки, ничего, кроме имени и воспоминаний, все остальное, как на войне, пропало без вести. О завтрашнем дне страшно было подумать.

Кузьма подошел и сказал:

— Сегодня хорошо получилось. Теперь ерунда осталась.

Мария не ответила. Она положила альбом на подоконник и вышла. Он не пошел за ней. Он сел на кровать и почувствовал, как устал. Хотелось спать.

Ему показалось, что на него кто-то смотрит, он поднял голову — это была Мария. Она смотрела на него из горницы, будто припоминая, что он о чем-то говорил. Он вышел в горницу; Мария ушла в кухню. Он почувствовал, что она и оттуда продолжает смотреть на него, словно никак не может припомнить, о чем он говорил. Он по-

дождал, но она так ни о чем и не спросила.

Тогда он разделся и лег.

И второй день подошел к концу.

Давным-давно, еще в молодости, Кузьма понял: каждый день наступает не просто так, одинаково для всех, а приходит для кого-то одного, кому он приносит только удачу. Если человеку не везет или если месяц, два у него сплошные будни — значит, это были чужие дни, а его собственный где-то уже на подходе.

Засыпая, Кузьма знал точно: сегодняшний день был для него. Еще утром он не смел даже мечтать о таком везенье. Сначала пятнадцать рублей принес дед Гордей, больше сотни дала тетка Наталья, потом председатель собрал специалистов, и получилась сразу куча денег, которую осталось только утром пойти и взять, и под конец принес обещанную сотню Евгений Николаевич. А день был сумрачный, невидный из себя, а такой удачный, такой богатый! И хорошо, что он подгадал сейчас, когда Кузьме казалось, что надо выходить на дорогу и кричать караул — другого выхода нет.

Кузьма засыпал счастливый, благодарный своему дню и людям за доброту и выручку. Так, счастливый, тогда и уснул, забыв, что его день

уже прошел.

Здесь, в поезде, среди ночи Кузьму будит парень.

— Кузьма! А, Кузьма! Ты спишь?

— Чего тебе?

— Дай закурить. Спасу нет, хочу курить, а у меня кончились.

Кузьма приподнимается, нащупывает на металлической сетке у стены папиросы. Тычет их парню. Тот стонет:

— Во-о-от хорошо. А то думал, пропаду.

Кузьме больше спать не хочется. Он слезает вслед за парнем вниз. Старуха от шорохов просыпается, вглядываясь, приподнимает голову.

— Спи, спи, бабуся, свои, — шепчет парень.

Они выходят в коридор. Здесь никого нет, стоит сонный, уютный для ночи полумрак. Чуть покачиваются на окнах, закрывая темноту, розовые занавески, чуть подрагивает под ковром пол.

Закуривают. Стоят друг против друга у окна и курят: парень торопливо, шумно вздыхая от удовольствия, Кузьма — привычно и спокойно. Дым ползет по коридору в хвост вагона и там, покрутившись, теряется.

Парень, утолив первый, сосущий голод, курит спокойнее. Спрашивает у Кузьмы:

— Ты ничего, что я тебя поднял?

— Да я почти и не спал. Так, дремал.

— Чего это?

— Днем, что ли, выспался. Теперь уж скоро приеду.

— А-а. А я завсегда с похмелья плохо сплю.

Потом, поглядывая сбоку, он с нарочитым равнодушием говорит:

— А забавные эти старик со старухой. Ты заметил?

— Ага.

— Они что, правда такие или притворяются?

— По-моему, правда такие. Люди всякие бывают.

— Сюсюкает: Сережа, Сережа. По головке его гладит. И он тоже терпит, будто так и надо. Я бы со стыда умер — да еще на людях.

— Они, видно, всегда так.

— Врет он, что не бегал от нее.

— Кто его знает? Может, и не врет. По-моему, не врет.

— А она правда верит. По ней самой видать. Заметил?

— Ага.

— А когда верит, и сама не побежит. Всю войну, поди, ждала. Это ж подумать надо!

Парень останавливается, не курит. Задумчиво жует свои губы. Добавляет:

— За это орден надо было давать. Придумали бы такой орден, специально для баб.

Проводница, услышав голоса, выходит из своей комнатушки, идет к ним. Молча останавливается рядом и смотрит.

— Курим, — говорит ей парень.

— Другого места не нашли, где курить.

— Ты уж скорей кричать. Какие все же вы! Вон бери пример, здесь старуха одна едет, она за всю жизнь ни разу на своего старика не крикнула. А вы чуть чего — и гавкать. Вот народ! Почему раньше женщины не такие были?

— Ты вот пооскорбляй меня…

— Да кто тебя оскорбляет? Нужна ты мне! Я тебе втолковываю.

Парень и правда говорит не оскорбительным, а скорее обиженным, жалующимся тоном человека, который много натерпелся. И проводница, подумав, уходит. Парень закуривает вторую папиросу и в задумчивости приваливается к стене. Кузьма, спохватившись, догоняет проводницу и спрашивает, сколько осталось до города. Всего три часа. Теперь уж не стоит и ложиться. Кузьма неторопливо возвращается к парню.

Парень смотрит куда-то рядом с Кузьмой и говорит:

— У меня баба вообще-то ничего была. А вот жизнь не получилась.

— Сам, наверное, виноват.

— Как тебе сказать, Кузьма? Сам, не сам. Пил, конечно. Но другая давно бы привыкла, и жили бы. Я один, что ли, пью? Привыкают же бабы. Так, для порядка, поворчат, и опять вместе. Я же вижу. А эта сбрындила, принцип поставила, ушла. Если бы я еще каждый день пил. Я не алкоголик. Так, по настроению, с ребятами когда. И зарабатывал столько, что на все хватало — и на водку, и на семью. Я говорю: принцип. — Отдохнув, он говорит спокойнее: — Сам, конечно, дурак. Надо было смотреть, кого брал. Для другой бы и такой хороший был, а этой вот не подхожу, не тот сорт.

— Ребятишки-то есть у вас?

— Девчонка. Четвертый год.

— Вернется, поди. Как же ребенку без отца?

— Не знаю, не могу сказать. Она один раз уже уходила от меня, но я тогда знал, что обратно придет, никуда не денется. Почему знал, не пойму, но чувствовал, что придет, что это нарочно, чтоб характер передо мной показать. Думаю, показывай, дело твое. А сам хоть бы хны. Пришла.

А сейчас не чувствую. Видно, всерьез. Да и по ней было заметно, что всерьез.

— А ты к ней не ходил, не разговаривал?

— Нет. Как ушла, я сразу отпуск, путевку и поехал. Раз ты так, то и я. Я тоже бедовый.

— Да-а.

Вагон спит. Они разговаривают негромко, и разговор их никому не мешает, они будто специально оставлены здесь, как на дежурство, чтобы кто-то не спал, думал и разговаривал о жизни — не то всем вместе ее можно проспать. Раз за разом со свистом кричит в ночи электровоз и смолкает — теперь надо прислушиваться, не закричит ли он снова. Ночью все не просто, все тревожит и пугает, завтрашний день кажется таким далеким, и еще неизвестно, наступит ли он, не сломается ли что-нибудь в этом извечном порядке дня и ночи, не остановится ли в темноте, не замрет ли. Разве возьмется кто-то совершенно точно сказать, что это невозможно.

Парень говорит:

— Обратно подумаю: одной ведь тоже с ребенком не сладко. Помотается, помотается и поймет. Молодая, еще не взяла свое. Это когда они ругаются с нами, думают, что мы им не нужны. Разойдется и… такой-сякой, поливает на чем свет

стоит. А потом одумалась и обратно: ластится, задабривает. Живому живое и надо. А чего она одна будет? Не выдюжит, поди.

— Зачем одна? — с умыслом говорит Кузьма. — Найдет кого-нибудь.

— Пускай попробует, — зашевелился парень. — Это как еще найдется! Думаешь, я смотреть буду? Не поздоровится ни ему, ни ей.

— Но раз вы разошлись…

— Пускай тогда уезжает, чтоб не на моих глазах. Хоть до любого доводись — думаешь, приятно, когда с твоей бабой, хоть и с разведенной, другой живет? Все равно что кусок мяса от тебя от живого отдирают. Да у нас в деревне, к примеру, никто и не осмелится с ней. Знают меня. Знают, что терпеть я не буду.

Парень хотел бросить окурок в мусорное ведро, наступил на педаль — крышка с грохотом отскочила, не удержалась и брякнулась обратно.

— Ч-черт! — выругался он.

На шум выглянула проводница, сверкнула глазами и снова скрылась. В купе кто-то заворочался и тоже затих — видно, проснулся и сразу уснул. А поезд как шел, так и идет.

Парень мнет окурок в руках, и табак сыплется на ковер. Оглядываясь, он нагибается и сдувает

табак с ковра. Потом руками осторожно приподнимает крышку и сует окурок в ведро. Хмуро молчит.

Опять тихо, спокойно.

И не видать, не слыхать, успокоился ли ветер. Не видать, куда идет поезд, есть ли под ногами земля. Хорошо тем, кто спит. Проснутся — будет утро, может быть, даже солнце. При солнце спокойней.

Кузьма думает: скоро город. Вот так бы ехать и ехать и подольше ничего не знать — нет, скоро приедет и все узнает.

Парень вдруг спрашивает:

— Черт ее знает, может, мне обратно поехать? Они любят, когда из-за них от чего-нибудь интересного откажешься. Пришел бы, сказал: так и так. Как ты считаешь, Кузьма?

— Не знаю, — осторожно говорит Кузьма. — Это тебе самому надо решать…

— Ну да. Я знаю, что самому. — Парень от волнения по-детски шмыгает носом. — Черт ее знает… — Пока он думает, поезд увозит его все дальше и дальше. И он решает: — А-а, теперь уже поздно. Раз поехал, надо ехать. Приеду, как-нибудь решится. Нет так нет — на ней белый свет не сошелся. — Он хочет свести этот разговор

к шутке: — А то вернусь, куда деньги девать? Опять пропивать надо. Лучше я их проезжу.

Он признается:

— Это все старик со старухой. Посмотрел на них, и как-то не по себе стало. Расчувствовался. Я чувствительный какой-то. Родился, что ли, таким ненормальным. В кино другой раз сижу и чуть не плачу, когда там что-нибудь такое показывают. С ребятами из-за этого боюсь рядом садиться. Стыд один: они смеются, а я губы сжимаю, чтоб не зареветь. Душа какая-то бабья.

Поезд вдруг вскрикивает и начинает тормозить. Проводница с фонарем, не торопясь, идет к выходу — значит, ничего страшного, просто остановка. Парень отводит шторку в сторону и смотрит в темноту. Видит огоньки. И говорит:

— Тоже люди живут.

До города теперь остаются совсем пустяки.

Наступил третий день.

Кузьма поднялся с тем спокойным и довольным чувством, когда все идет хорошо. Сам разбудил ребят в школу, постоял, посмотрел, как они, суетясь, одеваются, подумал про себя, что надо бы им как-то сказать про деньги, чтобы они повеселели. Когда сели за стол и Мария, как всегда, налила ребятам молока, а себе и Кузьме чаю,

Кузьма подмигнул Витьке, показал на стаканы:

— Давай меняться.

Витька удивился, радостно встрепенулся:

— Давай.

— Молока, что ли, нету — у ребенка отбираешь! Надо — так налью! — вскинулась Мария.

— Не надо.

Кузьма нисколько не обиделся на Марию и даже в душе был немножко доволен тем, что она рассердилась: если может сердиться, сможет и радоваться, значит, застыла не совсем и скоро отойдет. С Витькой они, пока сидели, все время заговорщически переглядывались, и Кузьма теперь знал, что Витька, как мог, понял: все хорошо. В школу он побежал подпрыгивая.

Кузьма подождал, когда совсем рассвело, неторопливо, удерживая себя от спешки, оделся. Уходя, сказал Марии:

— Пойду деньги возьму.

Она не ответила, но он и не ждал, что она ответит, ему надо было только сказать, чтобы слова эти остались в ней и делали свое дело.

День поднимался хмурый, сродни вчерашнему, который приходил для Кузьмы, — вот и этот, видно, будет ему как свой. Все идет к тому. Кузьма шагал и чувствовал, как приятной тяжестью

отдаются в теле шаги и тело ждет новых, следующих. У него это часто бывало, когда хочется идти и идти, и он отдыхал во время ходьбы.

Ему все же показалось, что день встает какой-то непрочный, словно стеклянный, с тонким и ломким стеклом. Он подумал, что так оно и есть, такое время: не осень и не зима, осень каждую минуту может сломаться и наступит зима. Снег нынче на удивление еще ни разу не пробрасывало. Теперь уж недолго осталось ждать.

Недалеко от конторы Кузьму окликнул механик, подошел и поздоровался с ним за руку. Кузьма почувствовал неловкость перед механиком: как-никак идет получать его деньги. Чего уж тут приятного? Стыдно в глаза человеку смотреть.

Механик сказал:

— Ты меня, Кузьма, конечно, извини, что я к тебе с этим подъезжаю. Я знаю, нельзя так, но больше ни черта не мог придумать. Понимаешь, я к себе на праздник товарища пригласил, вместе в институте учились, а денег нету. Бутылку не на что взять.

— Да я тебе дам! — обрадовался Кузьма. — Чего ты за свои деньги извиняешься. Вот еще не хватало!

— Ага, если можешь, дай рублей двадцать. Я тут почти никого не знаю, занять не у кого.

— Дам, дам. Какой может быть разговор!

Они вошли в контору, и механик кивнул на комнату, где собирались специалисты:

— Я тут буду.

Кузьма пошел к бухгалтеру. Тот увидел Кузьму с порога, откинулся на спинку стула и ждал, когда Кузьма подойдет, показывая всем своим видом, что он его ждет. Как и все бухгалтеры, он был дотошный и скуповатый, и Кузьма вдруг спохватился, что он почему-то ни разу не подумал, что может не получить деньги; это было вероятней всего, потому что мало кому удавалось получить их с первого захода, бухгалтер считал, что этого недостаточно, и заставлял приходить по три, по четыре раза.

Кузьма сам себе удивился, почему он вчера, да и сегодня с утра был уверен, что получит деньги.

И, подходя к бухгалтеру, весь сжался, приготовился к самому худшему.

— Здорово!

— Здравствуй, — с вызовом ответил бухгалтер. — Пришел?

— Пришел.

— Получить хочешь?

— Если дашь.

Казалось, бухгалтер почувствовал, что Кузьма понимает, насколько он от него, от бухгалтера, зависит, и, помолчав, выждав время, чтобы Кузьма поволновался, сказал:

— Тут неприятность получилась. — Еще с удовольствием похмурился, еще потянул время. — Я же не знал, что теперь ты будешь наши деньги получать. Взял и истратил свою зарплату.

— Как истратил?

— Как деньги тратят. В магазине. Могу отчитаться: купил жене тужурку на зиму, себе валенки.

Кузьма наконец понял, кивнул.

— А остальные? — спросил он.

Бухгалтеру, видно, доставляло удовольствие отвечать не сразу, и он, глядя на Кузьму, молчал. Все же сказал сердито:

— Остальные в сейфе, у Полины. Там в ведомости не все расписались. Если Полина выдаст под свою ответственность, пускай выдает.

Кузьма пошел к столику Полины. Бухгалтер крикнул ему в спину:

— Перепиши там себе на бумажку, кому сколько должен будешь. Отдавать придется.

Он отпускал его от себя с неохотой, жалея, что

так быстро все сказал. Полина прошептала:

— Я тебе выдам, только ты сразу же найди зоотехника и ветеринара, пускай зайдут.

— Ладно.

Она стала считать деньги, быстро-быстро перебирая бумажки, и все-таки считала долго: деньги были только тройками и рублями, и она потом их еще раз пересчитывала. Кузьма стоял, без интереса и без волнения смотрел, как мелькают бумажки в руках Полины, ждал. Отдавая ему деньги, она все так же шепотом спросила:

— Много еще осталось?

— Теперь опять много.

Кузьма затолкал деньги в карманы, и карманы оттопырились. Он придавил их сверху ладонью, потом вспомнил, что надо двадцать рублей сразу отдать механику, и достал верхнюю пачку, в которой были тройки; он отсчитал не двадцать рублей, потому что двадцать тройками не получалось, а тридцать. Бухгалтер с холодным любопытством наблюдал за ним из своего угла, и Кузьма в ответ тоже уставился на бухгалтера и не отводил взгляда до тех пор, пока тот не отвернулся. Бухгалтер решил отомстить:

— Не пропей.

— Иди-ка ты… — без особого зла ответил Кузь-

ма. Он зашел в комнату специалистов, где сидел механик, и тихонько, как взятку, сунул ему в руку тридцать рублей. Механик, не оборачиваясь, бормотнул:

— Ага.

В коридоре Кузьме попалась жена ветеринара, но он не заметил, что она смотрит на него с тем жадным и недобрым вниманием, с каким преследуют добычу. Хотел зайти к председателю, заглянул — у председателя был народ — и закрыл дверь. Что он ему скажет? Лучше идти домой.

День был все такой же хмурый, так и не сломавшийся, теперь он казался мятым, склеенным из старой прозрачной бумаги. Дунь на него, и он улетит, но ветра не было и дунуть на него было некому. Потихоньку что-то вокруг шумело, звучало, лаяло — будто шелестели стенки этого бумажного дня. Дали были мутными. Кузьма подумал, что сегодняшний день, наверно, наступил для бухгалтера — он под стать его постной роже.

Деньги в карманах мешали Кузьме идти свободно, и он задерживал шаг — не шел, а нес деньги, будто они могли расплескаться. Они не радовали его: что-то там случилось с радостью, и она не шевелилась. Он знал, что они нужны, и только, а удовлетворения, сладости от того, что

они есть, он не испытывал. Хотелось скорей их выложить, освободить карманы.

Дома Кузьма сбросил деньги в большую, из-под леденцов, банку, которую привез после войны из Австрии, и поставил банку на шкаф. Стало легче. Подбадривая себя, он подумал, что сейчас в деревне ни у кого нет столько денег, сколько у него в этой банке. Он сделал все, что мог, а за два оставшихся дня должен добрать до тысячи. Как — он еще не знал. Что-нибудь придумается, не может быть, чтобы на этом все кончилось. Раз нужна тысяча, он ее как-нибудь достанет. Только не сейчас, не сегодня. Он чувствовал, что не сможет просить сегодня деньги, что он израсходовал в себе для этого все. Надо отдохнуть.

В сенях послышались шаги, но Кузьма принял их просто как шаги сами по себе, не связав их с тем, что это кто-то идет. И когда вошла жена ветеринара, он удивился, откуда она здесь взялась. И сразу вспомнил, что не нашел ветеринара и зоотехника, не сказал им, чтобы они расписались в ведомости.

Жена ветеринара стояла у дверей с поджатыми, подрагивающими в уголках губами. Она была плоская, некрасивая, и Кузьме непонятно отчего часто ее бывало жалко. Он знал, что с ветери-

наром они живут плохо, и она, казалось, была доказательством того, что бывает с женщиной, когда в семье нет мира. Кузьма скорее привычно, чем сознательно, пригласил:

— Проходи, чего в дверях стоишь.

Она не тронулась с места. Губы ее задрожали сильнее:

— А мы-то как будем жить, Кузьма? Ты подумал? Почему так делаешь-то?

Кузьма понял не сразу, а когда понял, не смог ответить.

— Мы их месяц ждали. — Голос у нее подрагивал, сдерживался, чтобы не забиться, не заплескаться. — У нас пятьдесят рублей долгу. Как мы теперь?

Кузьма поднялся и достал со шкафа банку с деньгами. Опрокинул ее на стол и сначала нашел бумажку, на которую была переписана зарплата специалистов, а потом старательно, чтобы не ошибиться, отсчитал деньги. Жена ветеринара подошла ближе, и он, подавая ей деньги, вдруг увидел Марию. Она только на секунду остановилась и прошла в кухню. Кузьме стало противно и стыдно, будто эти деньги он украл у Марии и она застала его на месте преступления.

Жена ветеринара пропала.

Кузьма собрал оставшиеся деньги в банку, поставил опять банку на шкаф, но с краю, не так далеко, как раньше. Когда в ней столько денег, конечно, за ними еще могут прийти. Надо подождать. Деньги еще кому-нибудь могут понадобиться.

Он стал ждать.

Несколько раз мимо проходила Мария, посматривала на него, но он не оборачивался.

Он ждал.

Прошел час, прошел второй, и Кузьма уже стал недоумевать, почему так долго никого нет, но тут в сенях опять послышались шаги. Теперь он помнил: раз шаги — значит, кто-то идет. Он ждал не зря.

Вошла девочка, дочь агронома, и Кузьма с неудовольствием подумал: почему специалисты не идут сами, почему они посылают вместо себя жен и детей? Ведь девочка может потерять деньги.

Кто потом будет виноват?

— Здравствуйте, — робко, исподлобья оглядываясь, сказала девочка.

— Здравствуй, здравствуй, — ответил Кузьма и поднялся, чтобы достать банку. Хорошо, что он

не затолкал ее к стене, а поставил с краю.

— Дядя Кузьма, — быстро заговорила девочка. — Скажите вашему Витьке, чтобы он за мной не ходил.

— Что? — Кузьма остановился, и вытянутая рука упала вниз.

— Скажите вашему Витьке, чтобы он не ходил за мной. А то нас дразнят женихом и невестой. Мне мальчишки проходу не дают. Кричат: «Жених и невеста поехали по тесто».

Кузьма недоверчиво засмеялся.

— Неужели?

— Ну. Зачем он ходит? Я ему сказала, а он все равно. Пускай за другой девочкой ходит.

— Вот паразит! — громко засмеялся Кузьма. — Ходит, говоришь?

— Ну. Меня дразнят, а я не виновата.

— Вот он придет, я ему шею накостыляю! Ходит, ишь гусь!

— Нет, вы ему так скажите. Он отца должен так послушать.

— Скажу. Я ему скажу.

— Я побегу, — попросилась девочка.

— Беги и не бойся: теперь он на тебя ни разу не взглянет. Вот увидишь.

Она глубоко кивнула, как поклонилась, и убе-

жала. Кузьма еще весело хмыкнул ей вслед, поулыбался, но уже чувствовал, что к нему возвращается то пустое и холодное состояние, которое было до девочки. Он покосился на банку и сел. Надо бы сосчитать деньги, но подниматься снова не хотелось; он боялся, что их осталось совсем немного, и тогда будет еще хуже.

Он попытался успокоить себя тем, что еще вчера он не смел даже и надеяться на такие деньги. Не успокоилось. Он решил: лучше думать о деле. К кому еще можно пойти, у кого просить?

Потом как-то забылось, что он хотел думать о деле, и ни о чем не думалось. Он сидел возле банки, как сторож, когда воров нет и не может быть. Шевелился, курил.

Прибежали из школы ребята, и Кузьма стал вспоминать, зачем ему был нужен Витька, но так и не вспомнил.

Ребята ели в кухне одни: ни Кузьма, ни Мария к ним не вышли.

Тихо, боязно было в избе; все дома, а тихо и боязно.

Перед вечером, запыхавшись, присеменил дед Гордей. Крикнул Кузьму, не находя места, закружил по комнате и под конец поманил его за собой к дверям. В сенях зашептал:

— Тебе, Кузьма, и вовсе никаких денег не надо. Кумекаешь? Без денег можно.

— Еще что, дед, выдумаешь? — морщась, сказал Кузьма.

Дед Гордей радостно захихикал:

— Вот тебе и выдумаешь! Дед выдумывать не станет, он точно будет знать. Я тебе счас такое подскажу.

Кузьма промолчал.

— Вот, значит, как. Можно без денег. Ни одной копейки не надо. А Марию не тронут. И по закону будет правильно. — Дед поднес свое лицо вплотную к Кузьме и зашептал: — Сделай ее беременной, и на этом хватит. В законе записано: беременных в тюрьму не брать.

— Да ты что, дед? — отшатнулся Кузьма.

Дед заговорил горячей и громче:

— Верный человек мне сказывал, он врать не будет. Гольная правда. Сделай Марию беременной, и все. Долго ли тебе? А?

— Иди, дед, отсюда и больше ко мне с этим не приходи. Советчик нашелся!

— Как? — опешил дед.

Кузьма повернулся, пошел в дом.

— Я тебе дело сказываю, а ты норку на сторону воротишь! — закричал дед. — Ну и вороти — мое

дело маленькое. Только после не говори, что я к тебе не приходил.

Потом Кузьма раздумался, и предложение деда Гордея уж не казалось ему диким. Так оно, конечно, было бы неплохо. Все сразу бы и решилось. Он и сам слышал, что беременных жалеют, не судят, но почему-то забыл об этом — наверно, потому, что точно не знал, правду ли говорили. Там, где шестеро ртов, прокормится и седьмой, где растут четверо, поднимется и пятый. Только теперь уж, наверно, поздно. Знать бы раньше. Надо все же намекнуть Марии. Нет, лучше не надо, а то она подумает, что с деньгами ничего не выходит, и тогда уж совсем обомрет. И так ходит как неживая. Куда ни кинь — везде клин. Что же делать? К кому завтра пойти? А к кому пойдешь? Не к кому. Может, плюнуть на все и поехать с утра к брату? Только вот есть ли у него деньги? Даст ли он?

Вот штука так штука получилась.

Третий день тоже кончился. Подошло его время, и он, как в могилу, ушел под землю — и косточек не найдешь. До ревизора теперь оставалось только два, от силы три дня.

С вечера Кузьма уснул, но среди ночи его раз-

будила машина, осветившая комнату фарами, и светом вспугнула сон. Кузьма поднялся, присел к окну. За окном была мертвая темнота, она укрыла все живое и, казалось, нигде не кончалась. Чтобы перебить в себе подступающую тревогу, Кузьма закурил, и оттого, что ему удалось закурить, стало легче. Ночью в голову лезут всякие мысли — вот почему по ночам люди стараются спать.

Потом он лег, и ему повезло, он уснул. Ему приснился интересный сон: будто он едет в той самой машине, которая его разбудила, и собирает для Марии деньги. Машина сама знает, где они есть, и останавливается, а он только стучит в окно и просит, чтобы ему их вынесли. Деньги выносят, и машина идет дальше.

Он снова проснулся, но ночь еще не прошла, и темнота даже не тронулась с места. Опять в голову полезли всякие мысли, и одна из них была совсем нехорошая. Кузьме показалось, что он остался один на всем белом свете — он даже подумал: не на белом, а на черном, будто белого света уже не существовало. Но задребезжал, словно разваливаясь на части, самолет, быстро затих — как развалился, и Кузьма стал ждать следующих звуков, которые затаились в темно-

те. Их долго не было, но теперь он знал, что он не один, и мог думать о другом. Откуда-то сзади с ноющей болью выдвинулись мысли о Марии и о деньгах, и уже по цепочке, как последнее звено, вспомнился брат. И Кузьма решил: утром он отправится к брату.

Утром в стену снаружи бухнуло ветром, и Кузьма заторопился. Он сказал Марии, что едет в город, и она, безмолвная и недвижная в последние дни, вынесла свое суждение: брат не даст. Но Кузьме отступать больше было уже некуда. Мария, поняв, что она будет одна, боясь остаться беззащитной, снова и снова повторяла, что брат денег не даст, потом заплакала. Кузьма не стал ее успокаивать — пусть поплачет, теперь даже слезы ее были для него успокоением: это лучше, чем если бы она молчала.

В автобусе он сидел у окна и смотрел, как безумствует ветер. Кузьма понимал, что так оно и должно быть, что погода не может оставаться спокойной, когда они с Марией попали в такую кутерьму, но ветер задувал с такой силой, что Кузьма испугался, не придется ли ему еще хуже. Весь день он ждал, когда ветер затихнет, и не мог дождаться; даже с закрытыми глазами он видел, как бьется на ветру и стонет земля.

И только когда стемнело, Кузьма стал успокаиваться. Теперь он не знал, что происходит на улице, не знал и не хотел загадывать, что его ждет впереди. Он был доволен тем, что может ничего не делать, что все за него пока делает поезд. Кузьма отдыхал, но это был отдых подсудимого перед приговором, и он чувствовал это.

Ему хотелось ехать и ехать, но поезд уже подвозил его к городу. Кузьма со страхом думал о том, что сейчас он снова должен будет просить деньги. Он не был к этому готов. Он боялся города, не хотел в него. И, когда поезд начал тормозить, он вспомнил о ветре и поежился, говоря себе, что все дело только в ветре.

Кузьма сходит с поезда и от неожиданности замирает: снег. Большими, лохматыми хлопьями он спадает на землю, и в наступающих утренних сумерках земля начинает белеть. Ветра нет и в помине. Мягкая, неземная тишина, спадающая вместе со снегом на землю, накрывает и глушит пока еще редкие звуки.

Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идет к вокзалу. Его охватывает горькое, тоскливое чувство неизбежности того, что сейчас произойдет. Он заставляет себя думать, что приехал не к чужому

человеку, а к брату, но брат, как спасение, из мыслей все время ускользает, и остается одно только слово, слишком короткое и непрочное, чтобы успокоить. Тогда Кузьма думает о снеге, о том, что снег сейчас — это к добру. Должно быть, он добрался теперь и до деревни, и Мария засветившимися в надежде глазами смотрит на него, как на чудо. Наверно, Мария считает, что Кузьма уже у брата и обо всем договорился — после этого, как добрый знак, чтобы она зря не маялась, и пошел снег. Она до всего может додуматься.

Кузьма идет к автобусной остановке и, достав конверт с адресом, спрашивает, как доехать до брата. Ему показывают автобус, на котором надо ехать. Кузьма садится. Народу в автобусе из-за раннего и воскресного утра немного. Кузьма чувствует себя совсем одиноким и потерянным, будто он приехал в город не сам, а его привезли. Мысли о деньгах вдруг кажутся ему пустяковыми по сравнению с тем, что его ждет впереди. Он оглядывается на людей — все смотрят на улицу и не замечают его. Он ругает себя: как это ему в голову пришло ради денег ехать в город, неужели он не мог достать их у себя в деревне?

Потом он сходит с автобуса, оглядываясь, держа перед собой конверт с адресом, идет по улице.

Рассвело. Снег все валит и валит, падает Кузьме на плечи, на голову, застилает глаза, как бы мешая Кузьме идти дальше.

Он находит дом брата, останавливается, чтобы передохнуть, и прячет в карман мокрый от снега конверт с адресом. Потом вытирает ладонью лицо, делает последние до двери шаги и стучит. Вот он и приехал — молись, Мария!

Сейчас ему откроют.

Пожар

Горит село, горит родное…
Горит вся родина моя.

Из народной песни

1

И прежде чувствовал Иван Петрович, что силы его на исходе, но никогда еще так: край, да и только. Он поставил машину в гараж, вышел через пустую проходную в улицу, и впервые дорога от гаража до дома, которую он двадцать лет не замечал, как не замечаешь и здоровье собственного дыхания, впервые пустячная эта дорога представилась ему во всей своей дотошной вытянутости, где каждый метр требовал шага и для каждого шага требовалось усилие. Нет, не несли больше ноги, даже и домой не несли.

И предстоящая неделя, последняя рабочая неделя, показалась теперь бесконечной — дольше жизни. Нельзя было вообразить, как, в каких потугах можно миновать ее, эту неделю, и уж совсем не поддавалось ни взгляду, ни мысли то

существование, которое могло начаться вслед за нею. Там было что-то чужое, запретное — заслуженное, но и ненужное, и уж не дальше и не видимей самой смерти представлялось оно в эти горькие минуты.

И с чего так устал? Не надрывался сегодня, обошлось даже и без нервотрепки, без крика. Просто край открылся, край — дальше некуда. Еще вчера что-то оставалось наперед, сегодня кончилось. Как завтра подыматься, как заводить опять и выезжать — неизвестно. Но оно и в завтрашний день верилось с трудом, и какое-то недоброе удовольствие чувствовалось в том, что не верилось. Пусть бы долго-долго, без меры и порядка ночь, чтоб одним отдохнуть, другим опамятоваться, третьим протрезветь… А там — новый свет и выздоровление. Вот бы хорошо.

Вечер был мякотный, тихий… Как растеплило днем, так и не поджало и вроде не собиралось поджимать. Мокрый снег и по твердой дороге продавливался под ногами, оставляя глубокие следы; продолжали булькать, скатываясь под уклон, ручейки. В загустевших чистой синью бархатных сумерках все кругом в это весеннее половодье казалось затопленным, плавающим беспорядочно в мокрени, и только Ангара, где

снег был белее и чище, походила издали на твердый берег.

Иван Петрович добрался наконец до дому, не помня, останавливался, заговаривал с кем по дороге или нет, без обычной боли — когда то ли обрывалась, то ли восставала душа, — прошел мимо разоренного палисадника перед избой и прикрыл за собой калитку. С заднего двора, от стайки, слышался голос Алены, ласково внушающий что-то месячной телочке. Иван Петрович скинул в сенцах грязные сапоги, заставил себя умыться и не выдержал, упал на лежанку в прихожей возле большого теплого бока русской печи. «Вот тут теперь и место мое», — подумал он, прислушиваясь, не идет ли Алена, и страдая оттого, что придется подниматься на ужин. Алена не отстанет, пока не накормит. А так не хотелось подниматься! Ничего не хотелось. Как в могиле.

Вошла Алена, удивилась, что он валяется, и забеспокоилась, не захворал ли. Нет, не захворал. Устал. Она, рассказывая что-то, во что он не вслушивался, принялась собирать на ужин. Иван Петрович попросил отсрочки. Он лежал и вяло и беспричинно, будто с чужой мысли, мусолил в себе непонятно чем соединившиеся слова «март» и «смерть». Было в них что-то общее

и кроме звучания. Нет, надо одолеть март, из последних сил перемочь эту последнюю неделю.

Тут и настигли Ивана Петровича крики:

— Пожар! Склады горят!

До того было муторно и угарно на душе у Ивана Петровича, что почудилось, будто крики идут из него. Но подскочила Алена:

— Ты слышишь, Иван? Слышишь?! Ах ты! А ты и не поел.

2

Орсовские склады располагались буквой Г, длинный конец которой тянулся вдоль Ангары, или, как теперь правильней говорят, вдоль воды, а короткий выходил с правой стороны в Нижнюю улицу, — словно эта увесистая буква не стояла, а лежала, если смотреть на нее сверху из поселка. Две других стороны были, разумеется, обнесены глухим забором. В этот товарный острог вело с улицы два пути: широкие въездные ворота для машин и рядом — проходная для полномочных людей. Справа от ворот, ближе к складам, стоял аккуратно встроенный и наполовину выходящий из линии забора, весело глядящий в улицу зеленой краской и большими окнами магазин с одним крыльцом на две половины — на продо-

вольственную и промтоварную.

Нижняя улица и вправо и влево от складов застроена была густо: людей всегда тянет ближе к воде. И серьезный огонь, стало быть, мог пойти гулять по избам и в ту, и в другую сторону, мог перекинуться и на верхний порядок. Почему-то об этом прежде всего подумал Иван Петрович, выскакивая из дому, а не о том, как отстоять склады. В таких случаях раньше прикидывается самое худшее, и уж потом и мысль, и дело начинают укорачивать размеры возможной беды.

С крыльца Иван Петрович кинул взгляд в сторону складов и не увидел огня. Но крики, которые слышались теперь отовсюду, доносились оттуда отчаянней и серьезней. Чтобы спрямить дорогу, Иван Петрович бросился через огород и там, выскочив на открытое место, убедился: горит. Мутное прерывистое зарево извивалось сбоку и словно бы далеко вправо от складов; Ивану Петровичу на миг показалось, что горят сухие огородные прясла и банька, стоящая на задах, но в ту же минуту зарево выпрямилось и выстрелило вверх, осветив под собой складские постройки. Снова послышались крики и треск отдираемого дерева. Иван Петрович опомнился: и что же, куда он с пустыми руками? Он бегом

повернул назад, крича на ходу Алене, но ее уже не было, она, бросив избу, умчалась. Иван Петрович подхватил с поленницы топор и заметался по ограде, не помня, где может быть багор, и не вспомнил, перехваченный другой мыслью: что надо бы закрыть избу. Тут заплясали на стене всполохи огня, заторопили, и Иван Петрович, потеряв всякую память, кинулся тем же путем обратно.

На бегу он успел отметить, что зарево сдвинулось ближе к улице. История, значит, выходила серьезная. И столь серьезного пожара, с тех пор как стоит поселок, еще не бывало.

Иван Петрович обежал забор и от широких, распахнутых сейчас настежь ворот медленно пошел внутрь двора, осматриваясь, что происходит.

3

Загорелось, по всему судя, с угла или где-то возле угла, от которого склады расходились на стороны: продовольственные — в длинный конец и промышленные — в короткий. И те и другие стояли каждая сторона под одной собственной связью. И построено было так, и занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без остатка. Что до постройки, до того, чтоб с самого нача-

ла подумать о возможности огня, — русский человек и всегда-то умен был задним умом, и всегда-то устраивался он так, чтоб удобно было жить и пользоваться, а не как способней и легче уберечься и спастись. А тут, когда ставился поселок наскоро, и тем более много не размышляли: спасаясь от воды, кто думает об огне? Но что касается угла, где загорелось, здесь кто-то или, уж верно, злой случай, если не кто-то, умен был умом далеко не задним.

Сразу на две стороны и запластало. В продовольственный край огонь пошел по крыше, да так скоро и с таким треском, будто там поверху насыпан был порох. Этот край не успели закрыть шифером, который привезли уже по осени и сложили вдоль забора, где он лежал и теперь. А промышленный край стоял под шифером уже года два — одно дело, когда мочит ящики с банками или какие-нибудь там галеты-конфеты, и совсем другое — если под дождь попадут те же японские тряпки, за которыми в эти места приезжают аж из Иркутска и которые имеют какую-то особую цену еще и помимо денег. Но не шифер, конечно, помешал огню и в эту сторону кинуться по крыше, а что-то иное. Тут самое пекло было внутри крайнего склада, отсюда, на здравый

взгляд, и могла начаться вся история.

Под шифером же стоял еще один склад — дальний в продовольственном ряду возле забора, тот, в котором держали муку и крупы.

Когда Иван Петрович, как-то кособоко, зигзагами подвигаясь, не зная, куда кинуться, шел по озаренному двору, только в двух местах начали сколачиваться группы: одна скатывала с подтоварника близ правого огня мотоциклы, вторая, мужиков из четырех или пяти, в другом конце разбирала на середине длинного порядка крышу — чтобы прервать верховой огонь. Их уже припекало близким жаром — мужики яростно кричали и яростно отдирали и сталкивали на землю черные от времени, ломающиеся тесины. Иван Петрович вспомнил про топор в руках — с топором к ним ему и следовало на подмогу — и, подбежав, заплясал внизу, отскакивая от обрывающихся досок и не догадываясь, как, с какого боку взбираться наверх. Совсем отказала ему голова, совсем ничего не шло на ум. И только когда увидел он, как кто-то, широко расставляя на два ската ноги, торопливо шагает по крыше от левого забора — туда и побежал, уже и не ругая себя словами, тут не до слов было, а словно бы вдыхаемым отчаянием кляня

и опаляя, под стать общему жару, себя за бестолковость. А ведь давно ли мужик как мужик был — одна шкура от мужика осталась.

Там, наверху, командовал Афоня Бронников. Иван Петрович, подбегая, услышал его голос, приказывающий кому-то спуститься поискать лом или, на худой конец, любую железяку под выдергу. И как-то легче сразу стало на душе у Ивана Петровича: хорошо, что Афоня здесь. Тут же был и еще один надежный человек — тракторист Семен Кольцов, мужик, правда, приезжий, но Ивану Петровичу приходилось с ним вместе работать, и он знал: человек надежный.

Афоня, увидев топор в руках у Ивана Петровича, обрадовался:

— Ну вот, хоть один умный человек нашелся! А то на пожар бегут как за стол — с пустыми руками.

Он поставил Ивана Петровича на край, выходящий во двор, и тот, недолго присматриваясь, принялся отбивать доски. С другого конца ската, от конька, стоя на чурке, соскакивая всякий раз с нее и передвигая, колотушкой, как кувалдой, бил споднизу в крышу сам Афоня, посередине, и тоже топором, орудовал Семен Кольцов. Он успевал и здесь, и на другой стороне ската, обра-

щенного к Ангаре, и, обычно малоразговорчивый, сдержанный, войдя в раж, круша и кроша доски и слева и справа, что-то дико и беспрестанно кричал. Как ни занят, как ни употреблен был в деле Иван Петрович, он успел подумать, что так вот, вынося, выкрикивая себя из себя, может человек, только бросаясь в атаку, бросаясь убивать или вынужденный разрушать, как теперь они, и что не придет же человеку в голову ором орать по-звериному, когда он, к примеру, сеет хлеб или косит траву для скота. А мы еще считаем века, которые миновали от первобытности; века-то миновали, а в душе она совсем рядом.

Когда Иван Петрович подскочил, раскрыто было до него метра на четыре. Вместе с ним стали подвигаться быстрей — и успели: огонь, скорым тропинчатым жором пробежавший по внутреннему скату, запнулся о пустоту, вымахнул вверх, вынудив их от крутого близкого жара присесть, но перекинуться через провал он уже не смог и развернулся и пошел добирать оставшееся в спешке позади сухое и податливое тоньё. Задымились стропила, но не вспыхнули, а там, где пробовали вспыхнуть, накинулся и забил телогрейкой Афоня.

И еще раз убедился Иван Петрович: отчаянная

душа этот Афоня, свой, из старой дозатопной деревни парень, теперь уже не парень давно — мужик.

Снова принялись за дело, чаще и опасливей оглядываясь назад. Вернулся посланный за ломом парень и принес вместо лома новость: выкатили обгоревший «Урал». Мотоцикл «Урал» с коляской, за которым в леспромхозе гоняются больше, чем за «Жигулями». Парень был полузнакомый, теперь их много, понаехавших с разных сторон и поживших уже немало, но так и не ставших знакомыми. Возмущаясь, он вскрикивал:

— Ведь был же он, был, «Урал»-то! Для кого вот он был? Для кого его прятали?! Я у Качаева недавно спрашивал. Нету — говорит. А он уж тут стоял!

Афоня понужнул его:

— Ты лом искал — или что?!

— Нету. Ничего нету! — закричал парень. — Вы поглядите: бабы с ведрами понабежали, а водовозку найти не могут. С Ангары на коромысле таскают. На такой ад — на коромысле! Да это ж все одно что встать в ряд и чихать на него. Ему это все одно.

И парень криком стал рассказывать, как он, прибежав одним из первых, пробовал пользо-

ваться огнетушителями:

— Его ударишь, как надо, а из него один пшик. Пшик — и все. Ни пены, ни гангрены. Они то ли высохли, то ли выдохлись.

Он кричал из-за спин: Афоня заставил его держать позади все той же телогрейкой оборону. От этого прерывистого, прыгающего голоса среди этого без роздыху и разгиба дела было жутковато. Ивану Петровичу казалось, что он звучит и рвется не из человека рядом, давящегося дымом и жаром, а из самих стен. И после, в течение долгого и горячего вечера, перешедшего потом в ночь, когда слышал Иван Петрович голоса, что-то кричащие и сообщающие, чего-то требующие, все чудилось ему, что это стены, земля, небо и берега звучат человечьими словами — чтобы понятно было людям.

Выбив и столкнув вниз последнюю тесину, Иван Петрович оглянулся и огляделся. Пламя позади поднималось высоко, жарко, освещая двор и широкими взмахами отблесков прыгая по крышам ближних домов. По двору молча и ошалело носились ребятишки, у промтоварных складов метались и вскрикивали неузнаваемо озаренные, точно сквозящие фигуры, выплясывающие возле огня какой-то стройный танец. Там

огонь тем был страшен, что он выфукивал из-под крыши длинными яркими языками, заставляя людей, и правда, как в танце, отступать и снова наступать: «А мы просо сеяли, сеяли… А мы просо вытопчем, вытопчем».

Но набегало уже и начальство. Рядом с начальником участка посреди двора размахивал руками и все тыкал ими куда-то в сторону поселка главный инженер леспромхоза Козельцов. Борис Тимофеевич, слушая и не слушая его, подавал кому-то знаки, которые могли означать только одно: еще, еще… И вдруг, увидев прущий во двор трактор, кинулся ему навстречу.

Народу было густо, сбежался едва не весь поселок, но не нашлось, похоже, пока никого, кто сумел бы организовать его в одну разумную твердую силу, способную остановить огонь.

Избы и дома поселка, далеко осиянные заревом, по которым оно ходило с пугающим смотром, боязливо вжимались в землю. Иван Петрович, примериваясь, далеко ли, отыскал глазами крышу своей избенки и вспомнил: багор, который мог бы здесь пригодиться, лежит на сенцах, он сам два дня назад, когда вытаял снег, затолкал его туда.

4

Неуютный и неопрятный и не городского и не деревенского, а бивуачного типа был этот поселок, словно кочевали с места на место, остановились переждать непогоду и отдохнуть, да так и застряли. Но застряли в ожидании — когда же последует команда двигаться дальше, и потому — не пуская глубоко корни, не охорашиваясь и не обустраиваясь с прицелом на детей и внуков, а лишь бы лето перелетовать, а потом и зиму перезимовать. Дети между тем рождались, вырастали и сами к этой поре заводили детей, рядом с живым становищем разрослось и другое, в которое откочевали навеки, а это — все как остановка, все как временное пристанище, откуда не сегодня завтра сниматься. И, слыша по ночам работу электростанции, круглосуточно постукивающей машины, чудилось Ивану Петровичу, что это поселок, не глуша мотора, держит себя в постоянной готовности.

В поссовете висела схема поселка: прямые улицы, детсад, школа, почта, контора леспромхоза и контора лесхоза, клуб, магазины, гараж, водокачка, пекарня — все, что полагается для нормальной жизни, все, как у людей.

Улицы действительно были прямые и широкие, в свое время линию, по которой выстраивались избы, соблюдали строго. Но в том и остался весь порядок: эти широкие не по-деревенски улицы разбиты были тяжелой техникой до какого-то неземного беспорядка, летом лесовозы и трактора намешивали на них в ненастье грязь до черно-сметанной пены, которая тяжелыми волнами расходилась на стороны и волнами потом засыхала, превращаясь в каменные гряды, а для стариков — в неодолимые горы. Каждый год поссовет собирал по рублю со двора на тротуары, каждый год их настилали, но наступала весна, когда надо подвозить дрова, и от тротуаров, по которым волочили и на которые накатывали кряжи, оставались одни щепки. За лето наготовить новые не удосуживались, летом всем не до того, «тротуарная» бригада выходила под зиму, в девственно-новом и редко тронутом чьим шагом виде лежали они три-четыре месяца под снегом до февраля, до марта — и опять бессмысленно гибли под гусеницами тракторов и тяжестью неразделанного леса. А часто на них, на остатках этих тротуарчиков в три доски, его и разделывали — и пилили, и кололи. И никакие ни указы, ни наказы не помогали.

И голо, вызывающе открыто, слепо и стыло стоял поселок: редко в каком палисаднике теплила душу и глаз березка или рябинка. Те же самые люди, которые в своих старых деревнях, откуда они сюда съехались, и жизни не могли представить себе без зелени под окнами, здесь и палисадники не выставляли. И улица ревела и смотрела в стекла без всякой запинки. И тоже никакие постановления об озеленении толку не давали. Или уж верно: вырубая каждый год сотни гектаров тайги, распахивая налево и направо огромные просторы, не с руки и не с души прикрываться кустом черемухи от сквозного ветра и сквозного вида. Чем живем…

Одно слово: леспромхоз — промышленные заготовки леса. Этим многое из непорядка и неурядства в устройстве и объяснялось. Лес вырубать — не хлеб сеять, когда одни и те же работы и заботы из сезона в сезон повторяются, и, сколько ни живи, все будет для хлеборобного дела мало. А лес выбрали — до нового десятки и десятки лет. Выбирают же его при нынешней технике в годы. А потом что? А потом собирайся и кочуй. Оставив домишки, стайки и баньки, оставив могилы с отцами и матерями и собственные прожитые лета, на лесовозах и тракторах

туда, где он еще остался. А там начинай все сызнова. Проплывая летом по воде и проезжая зимой по льду мимо Березовки, Иван Петрович всякий раз с невольной тоской и растерянностью смотрел в ее сторону, на заколоченные и оставленные избы: стоял вот так же леспромхоз, отработал и ушел — и ни одной живой души в покинутом поселке, лишь осатаневшие туристы, пуская дым в двери, разжигают в домах костры.

Та же судьба рано или поздно ждала и их. Ее, как могли, оттягивали, но не бесконечно же… Свою древесину — со своих наделов — они сняли еще семь лет назад. Отвели участок за Ангарой. Через пять лет, что только можно было, выбрали и там. После этого вплотную встал вопрос: быть или не быть поселку? Решали в районе, в области, в управлении и вырешили — быть. Снова пошли по своим старым наделам, по вырубкам, но если прежде брали только деловую древесину, только сосну и лиственницу (было время — травили березу и осину ядохимикатами, чтоб не засоряли леса), то теперь вычищали под гребенку. И техника пошла такая, что никакого подроста после себя не оставит. Тот же самовал, чтобы подобраться к кубатуристой лесине, вытопчет и выдавит вокруг все подчистую.

И этой работы «под гребенку» хватит года на три, на четыре. А дальше? А дальше, говорят, как на отхожий промысел в старину, будут уезжать бригады за десятки километров на долгие смены и, отработав, наведываться домой на отдых. Производственную и домашнюю жизнь разделят на вахты: неделю ты принадлежишь леспромхозу и неделю — семье. Строго по графику. Никаких взаимопроникновений, как ныне, одной жизни в другую.

И быть тому.

Да и как не быть, если другого дела здесь нет. Поля и луга, которыми когда-то жил народ, со строительством гидростанции затопили — и остались леса.

И вот на схеме в поссовете клуб, а клуб этот уже двадцать лет размещается в общественной бане, вывезенной из одного из старых поселков. Надо бы строить новый, но как строить, если наперед до самого последнего времени ничего не было видно. На схеме — детсад, а он не действует: неизвестно было, стоит или не стоит его ремонтировать. И стало известно — не торопятся. За эти планы никто ни с кого не спрашивает.

И как тут выглядеть поселку красивым — да еще в зареве пожара?!

5

Иван Петрович спрыгнул вниз и побежал к тому месту, где он только что видел начальника участка. С Борисом Тимофеевичем пять дней назад они разругались вдрызг, когда начальник участка отказался подписывать его заявление об увольнении, но Иван Петрович знал, что если и может кто сделать тут теперь что-то, так это лишь он, начальник участка. Ни главный инженер, взятый полгода назад из соседнего леспромхоза с должности инженера по технике безопасности, ни директор леспромхоза, окажись он здесь (но его не было, он уехал на совещание), ни его заместители — никто, кроме Бориса Тимофеича, иссволочившегося на этой работенке, горячего пожилого человека, считающего оставшиеся до пенсии дни. Мало с кем жил он в ладах, как и с ним мало кто ладил, бегал злой, мог без разбору накричать, без разбору же мог похвалить кого попадя, но все это было в нем как дымовая завеса, которая сбивала с толку лишь новичков, не знающих хорошо Бориса Тимофеича. А кто знал, тот на минутные несправедливости и крики его не очень обращал внимание, помня, что Борис Тимофеич

Водников — мужик свой, внутри себя твердо разбирающийся, кто есть кто и что есть почем, и дело свое по возможности правящий как следует. С первого дня, только построился поселок, был он, не прибавляя и не убавляя, в должности начальника участка, и уже одно это о нем, человеке далеко не высшего образования, говорит, что без него обойтись не могли. А управляться с центральным участком на глазах леспромхозовского руководства, которое во все встревает и ни в чем себе не отказывает, ох как непросто!..

Иван Петрович видел, что, завернув трактор с нетрезвым трактористом, Борис Тимофеич пошел к куче посреди двора, куда стаскивали спасенное от огня добро из складов. Но теперь его там не было. Иван Петрович тупо смотрел на кучу: широко разбросанные валенки, словно второпях поскидывали их те, кто прибежал на пожар, школьные портфели и связанная тюками школьная форма, шерстяные платки, ватные брюки, коробки с чем-то, чуть поодаль — наваленные друг на друга мотоциклы «Ява» и действительно «Урал» с обгоревшей люлькой. Да, спросят мужики с начальника ОРСа за этот «Урал», крику будет. Что вообще будет с начальником ОРСа после пожара? И, ничуть не сомневаясь, Иван

Петрович вскользь усмехнулся своей наивности: выкрутится. Эти нигде не пропадут, им любое море по колено.

— Иван! Иван! — услышал он вдруг голос Алены. Она подбежала с коробками в охапке, подбежала бегом, но коробки опустила на землю осторожно, выбирая где почище и посуше. — Иван, это че ж делается-то, а?! — Голос ее был возбужден и поднят до какой-то запальчивой веселости, неестественно округленные, ошалевшие глаза казались дикими. — Этак все сгорит! А там чего только нет! Мы почему, Иван, такие-то?!

И, не дожидаясь ответа, он и не нужен ей был, развернулась и, мелконько, немолодо переваливаясь с боку на бок, словно соступаясь с каждого шага и на каждом следующем шаге быстро подхватываясь, заторопилась обратно. Иван Петрович с минутным вниманием посмотрел ей вслед, но настолько все смешалось в голове, настолько шарики зашли в нем за ролики, что он чуть было не подумал: «Кто это? Знакомая какая-то!» — но успел оборвать себя, заставил себя узнать Алену, заметить, что не надо бы бабе носиться как угорелой, и тут же забыл о ней.

Он увидел Бориса Тимофеича. Но прежде услышал, как тот кричит, и по крику отыскал его

в освещенной и странно, почти неподвижно застывшей толпе возле первого от угла продовольственного склада. К подскакивающему то и дело голосу начальника привыкли, но это был крик сумасшедший и потому неразборчивый. По ответу, отчетливому, хоть и тоже на парах — всех разогрел огонь, — Иван Петрович понял, что перед начальником Валя-кладовщица.

— Не буду! — запальчиво отвечала она. — Тушите. А открывать не буду.

— Сгори-и-ит! — мать-перемать.

— Тушите. Я маленькая, что ли, не вижу, что ли, как тащат у Клавки! Все тащат. А у меня там больше чем на сто тысяч. Я где их потом брать буду?! Где?! Где?!

— Сгори-ит! — надрывался начальник.

— Тушите. А открывать, чтоб растащили, я не обязана. Тушите.

Она зарыдала.

Иван Петрович кинулся было к начальнику, но тот сам повернул к нему. Не к нему, а к вороху из промтоварных складов, возле которого по-прежнему кружил Иван Петрович. За начальником, предчувствуя приказание, держалось несколько фигур из архаровцев, как называли в поселке бригаду оргнабора. И верно, не дойдя

до вороха шагов пять, Борис Тимофеич крикнул, не оборачиваясь, зная, что его услышат и поймут:

— Ломайте!

Архаровцы кинулись обратно: эта работенка была по ним.

— Где Качаев? — в сторону Ивана Петровича закричал Водников. — Какого черта-дьявола?! — мать-перемать. — Это его склады. Где его носит?!

Качаев — начальник ОРСа. Борис Тимофеич лучше любого другого знал, что Качаев два дня назад вместе с директором леспромхоза уехал в город на очередное заседание. Да, растерялся и он, Борис Тимофеич, иначе не кидался бы с горлом да с кулаками на тень. И растеряешься, себя не сыщешь, не то что Качаева: такого еще не бывало.

И, взглянув на его черное и сухое, как обожженное, лицо с сильно обострившимся носом и вжатыми внутрь щеками, Иван Петрович напрочь забыл, зачем ему нужен был начальник участка, для чего он его разыскивал, и сказал то, что требовалось сейчас прежде всего:

— Ты, Тимофеич, поставь дядю Мишу Хампо в воротах. И сторож пускай встанет, это его дело. Но Хампо обязательно. Он здесь. Я его только что

вон там, справа, видал.

Водников кинулся в ту сторону, куда показал Иван Петрович, даже не обернувшись к нему, даже и не поняв, быть может, что действует он по совету, а не по собственному решению. Иван Петрович видел, как он отыскал Хампо и, на ходу объясняя, что от того требуется, торопливо повел его к воротам. Дядя Миша Хампо с высоким запрокидом и низким поклоном размашисто закивал в ответ крупной седой головой, уже вглядываясь в толпу возле огня и отмечая людей, за которыми потребуется особый надзор. Конечно, там дядя Миша будет на своем месте, на Хампо положиться можно. Валя-кладовщица знает, что говорит. А сейчас, когда откроют продовольственные склады…

И точно — со скрежетом загремели выдираемые засовы, отчаянно запричитала Валя, совершенно обезумевшая от свалившейся беды, не видящая спасения ни в чем — ни в том, разумеется, чтобы ее хозяйство сгорело под замками, ни в том, чтобы оно было вынесено. Открыли одни двери, другие, с третьих, где засов не поддавался, сбивали огромный замок топором. Архаровцы действовали быстро и ловко — будто всю жизнь только тем и занимались, что ломали запоры.

Иван Петрович, подбегая, столкнулся в распахнутых дверях крайнего правого помещения с одним из них, с Сашкой Девятым (Девятый — фамилия, а не прозвище, у архаровцев, у которых все вверх ногами, и людские фамилии через одну), и Сашка, веселый, вдохновенно распаренный, хлопнул его с хитрым подвертом по плечу, так что Ивана Петровича на ходу развернуло к нему, и лихо, почти дружелюбно прокричал прямо в лицо:

— Не сюда. Не сюда, гражданин законник. Сгоришь — кто нам будет права качать?!

Они, познавшие режимную жизнь или подражавшие тем, кто познал ее, звали его гражданином законником. Он и к этому привык. Время, что ли, такое: ко всякому приходится привыкать, о чем еще недавно нельзя было и помыслить.

К тому, например, что и сама земля уходит из-под ног. Как это в буквальном виде случилось у них и с ними.

6

Двадцать лет сошло, как переехали, двадцать да еще и с гаком, должно быть, сама земля успела накрениться в ту сторону, куда их протянуло, но и дня единого не проходило, чтобы не вспоминал Иван Петрович свою старую деревню. Вспоминал

всякий раз, когда вольно или невольно бросал взгляд на воду, под которой осталось нагретое деревней за три столетия место. Вспоминал и мимолетно, кивнув, как поздоровавшись, на ходу в ее сторону, и в тяжелых и частых раздумьях вспоминал, пытаясь в сравненье понять, что это, что за жизнь была там и к чему пришли здесь.

Он и фамилию носил ту же, что была частью деревни и выносом из нее, — Егоров. Егоров из Егоровки. Вернее, Егоров в Егоровке. Из деревни своей он выезжал надолго только однажды — в войну. Два года воевал и год еще после победы по холостяцкому своему положению держал оборону в той же Германии, куда завезла его в танке «Т-34» судьба. Воротился домой осенью 46-го. До сих пор живо в нем чувство, с каким увидал он тогда после разлуки свою Егоровку: Господи, да она же не стоит, она лежит! — до того невзрачной и обделенной она показалась. На что только не нагляделся в войну — и на несчастья, и на бедность, и на поруху, все кругом вопило от страданий и молило о помощи, много что было переворочено и обезображено, но даже в самых пугающих разрушениях просматривалась надежда: дайте время, дайте руки — оживет и отстроится, человек не потерпит разора. Здесь же

все оставалось и словно навсегда остановилось без перемен. Ничего не убавилось, но ничего и не прибавилось, и как бы даже не положено, чтоб прибавлялось. Так оно впоследствии и вышло: и еще пятнадцать лет прожили после войны, но как была скроена Егоровка о сорока дворах, с тем и осталась, и ни баньки, ни стайки к разношенному больше не подшилось. Правда, и о затоплении знали загодя, а тут уж не до новостроек, тут уж ноги в руки и гляди, куда править, — то ли со своей избенкой на гору, где брали грибы, то ли вслед за дочерью или сыном в заманчивый город.

Тогда, после демобилизации, бравый сержант в шлеме танкиста, отмеченный наградами и повидавший виды, отгуляв встречу, помнится, затосковал. Родина-то родина, что и говорить, тут каждый камень еще до твоего рождения предчувствовал и ждал тебя, и тут каждая травка по новой весне несет тебе что-то в остережение или поддержку от былых времен, тут везде и во всем за тобой тихий родовой догляд. Но как представишь: все то же, все то же, все то же… как представишь, да еще на первых порах, и будто пришел с войны помирать своей смертью.

Но в раздумьях и неуверенности он замеш-

кался, а это значило сделать выбор в пользу Егоровки. Вскоре подоспел голод, спасаться от которого легче было все-таки здесь, возле Ангары и тайги, вскоре разглядел он в соседней деревне Алену, которая так неумело и бесхитростно таращила на него свои и без того огромные зенки и так испугалась, когда он впервые взял ее под руку, что он не стал больше никого искать. Вскоре получил колхоз новую машину, за которую и посадить оказалось некого, кроме него, вскоре в тяжелой и долгой немочи слегла мать, и уж сама судьбина встала поперек его выездной дороги. И пошло-поехало как у всех: дети, работа, медленный и осторожный сворот на жизнь полегче и повеселей.

Иван Петрович не то чтобы свыкся, но словно бы от лукавого, набранного на стороне и тянувшего, тянувшего куда-то под неясное обещание, словно бы освободился от него и вздохнул с облегчением. Везде хорошо, где нас нет. В жизни, быть может, самое важное: каждому на своем заданном месте держаться правильного направления, а не кривить без пути и не завязывать его в узлы неопределенно-искательными перебежками.

Так он считал. Он и теперь так считает, но что

делать, если приходится на старости лет противу собственных убеждений и желаний все-таки приготовляться к отъезду. И «приходится» — не ради сильного словца, а так оно и есть.

Да, вот еще. Лукавый, от которого он в свою пору освободился, все же не ушел одинешенек из дому, а увлек за собой Гошку, младшего брата. Укатил Гошка на стройку и с больших денег вконец там спился.

Кто бы подсказал вовремя, где они, пути наши?!

Иван Петрович остался в Егоровке, ужился и успокоился, нисколько не страдая от глухомани, которая с годами помаленьку просветлялась: провели электричество, чаще стали притыкаться к егоровскому берегу белые пароходы, появился в восьми километрах выше по Ангаре, как навис над Егоровкой, сманивая молодежь, богатый леспромхоз — и тут жизнь, как и везде, из целого числа превращалась в дробь с числителем и знаменателем, где непросто разобраться, что над чертой и что под чертой, и тут бы потихоньку раскочегарилось, раз такое одно на всех нынче время… И когда грянула весть о затоплении, когда подошел срок переезжать… признаться, Иван Петрович расставался с Егоровкой тяжело, не без

этого, как всякий человек, имеющий память и сердце, и в то же время с тайным удовлетворением, что не он решал, а за него решилось, перевозил и ставил на новом месте он свою избу: там было хорошо, а здесь с годами должно быть лучше. Своими силенками Егоровке на ноги, похоже, никогда бы не подняться.

Новый поселок, в который свезли шесть таких же, как Егоровка, горемык и где сразу утвердился леспромхоз, назвали по обширным лесам, а на теперешний взгляд, по сырью — Сосновкой.

7

Уж если срывать запоры, то срывать следовало раньше. Когда Иван Петрович заскочил в крайний справа продовольственный склад, там полыхало вовсю. Над щелястым потолком гудело страшно, одним мощным гудом, вобравшим в себя все подголоски: несколько потолочных плах возле угловой стены с одного конца сорвало, и в проем бешеными выхлопами обрывался огонь. Угловая стена горела сверху донизу, подступиться туда было невозможно, дымились и остальные стены; сквозь щели в потолке там, где он еще держался, огонь выметывался полосами и с треском искрил. Все накалилось донельзя, и все могло

вспыхнуть одним разом. Сквозь угар пахло жареным мясом и чем-то горьким и едким еще, чем-то из съестного, что не требовало такого разогрева.

Прежде Иван Петрович не бывал внутри и теперь остатками годного для удивления чувства успел поразиться изобилию. На полу немалой горой были навалены пельмени, рядом, и тоже на грязном полу, в грубых веревочных опоясках валялись толстые, уродливо раздутые колбасные круги, уже разметанные ворвавшимися людьми; в тяжелых кубах на невысоком помосте у задней стены плавилось, морща и втягивая в себя оберточную бумагу, масло, там же в нагроможденных друг на друга ящиках выглядывала красная рыба. Что-то было в деревянных бочках, что-то в картонных коробках, что-то в бумажных мешках. Было, значит, все-таки было! — и куда все это уходило? Неужели только в котлопункты на лесосеках? Расскажите кому-нибудь другому — будто не едал он на этих котлопунктах, не знает, что там водится и что видится лишь во сне! И усмехнулся Иван Петрович или подтолкнул себя обожженной мыслью, что надо в этом месте усмехнуться над своим неразумием: а машины из райцентра, оттуда, отсюда, каждый Божий день подворачивающие к ОРСу и извлека-

ющие из конторы Качаева! Зря, что ли, хлопочут об общих, централизованных складах для всех трех леспромхозов, которые должны находиться, конечно, в райцентре! И кивнул или подумал, что надо кивнуть, Иван Петрович: теперь, если сгорят эти, самые большие в самом большом леспромхозе, легче легкого будет добиться своего.

Сколько же на свете неробей и причиндалов! И как получилось, что сдались мы на их милость, как получилось?!

Запахиваясь телогрейкой и приплясывая от жара, Иван Петрович выбрасывал в двери слизисто-скользкие, начинающие скукоживаться круги колбасы. Там, во дворе, кто-то подхватывал их и куда-то относил, Иван Петрович видел только набегающие и отбегающие ноги в кирзовых сапогах. Рядом тоже были люди, но кто был, он не узнавал; время от времени они натыкались друг на друга и отшатывались — жар становился все нестерпимей, огонь по потолку и по стенам проворно подвигался влево, глаза слезились, в горле першило, казалось, горел даже дым, которым приходилось дышать. Что-то сильно, как на сковороде, шипело, что-то по-снарядному взрывалось; оборвалась сверху подгоревшим концом еще одна плаха; закачалась, помахивая

огнем, и оборвалась другим. Пора было отступать. Колбасу, кажется, выбросили, ящики с рыбой вытаскали, но, взглянув на помост возле задней стены, где были ящики, Иван Петрович разглядел там масло и кинулся туда, охнув, что не колбасу следовало спасать, а масло. Он подхватил один из осевших кубов, и масло, обжигая руки, поползло, как тесто, у него на животе, стекая всей массой под ноги; он опустил его на пол, снова подхватил, наваливая на грудь и выгибаясь — и вынес, передал кому-то в руки. Руки были в верхонках, и Иван Петрович пожалел, что не догадался прихватить из дому верхонки, — как бы они пригодились! Он снова двинулся внутрь, все так же запахиваясь телогрейкой и выглядывая из-за нее, как из-за щита, направляясь опять к дальней стене, где оставалось масло, но на полдороге кто-то наскочил на него и, то ли прикрываясь им, то ли его прикрывая, поволок обратно. Иван Петрович не сопротивлялся, понимая, что да, хватит.

Этот кто-то на воздухе оказался Сашкой Девятым. Сашка оскалил зубы и прохрипел те же самые слова:

— Сгоришь, гражданин законник!.. Ой, сгоришь!..

И оттолкнул Ивана Петровича от себя.

8

Никто, похоже, больше не тушил — отступились, а только вытаскивали, что еще можно было вынести. Водовозка с опущенным шлангом, из которого сочилась вода, стояла с работающим мотором возле ворот; ярко озарен был весь двор, и Иван Петрович, как-то сразу увидев лужицу под шлангом, кинулся к ней, чувствуя, что без воды дальше не вытерпит. Он сполоснул лицо, которое засаднило еще сильней, и сделал из ладони несколько глотков, всего два или три глотка, и вода кончилась, в шланговой кишке зафыркало вхолостую, зашипело и смолкло. Он потряс еще кишку, подергал, подставляя руку, — пусто.

Нет, промтоварные склады было не отстоять: огонь там с сытым и мощным гулом дошел полным опоясом до середины и двигался дальше. Шифер на крыше от пекла крошился и стрелял этим крошевом, как стреляют и подпрыгивают орехи на раскаленной сковородке. Побрасывало и головешками. Находиться вблизи было опасно, кто-то из мужиков с криком гнал прочь ребятишек, под замахами рук те отскакивали и, обезумевшие, с вытаращенными глазами,

как намагниченные на огонь, тянулись обратно. Иван Петрович высматривал среди мечущихся по двору, продолжающих вытаскивать и перетаскивать фигур Алену — ее нигде не было. Ворох спасенного добра рос. Добрались до хозяйственного склада, звенели косы, кастрюли, посудная мелочь, бухало листовое железо. Господи, то ли надо спасать, то ли… Или правы люди, что без чайника и сковородки не обойтись, а без холодильника и телевизора можно.

Заскрежетал, ходуном заходил забор между складами и магазином и рухнул ближним звеном внутрь, открыв улицу и трелевочный трактор, который отступал и разворачивался для нового тарана. Это правильно, отметил Иван Петрович, — склады не отбить, но магазин отстоять можно, до него от складов порядочно. Возле трактора суетился Козельцов, главный инженер: стало быть, это он сообразил свалить забор, который мог быть дорожкой для огня.

Да, плакали промтоварные склады, плакали японские кофточки и родные сковородки — разве столько в сравнении с вынесенным останется там, в этом пекле?! Но продовольственные склады, попустившись правым, еще и теперь можно бы спасти, будь машина и будь побольше

порядка. Но «пожарку», единственную на весь леспромхоз, еще года два назад разнесли на запчасти, она только числится на вооружении…

Иван Петрович все еще осматривался торопливо, все еще хотел отыскать Алену, прежде чем снова нырять в огонь, когда его тронул за плечо дядя Миша Хампо.

— Хампо-о… Хампо-о! — с усилием тянул он из себя, показывая левой, здоровой рукой в глубину двора. Там, в левом углу, освещенный заревом сбоку и сзади, изломанно-приподнятый, кажущийся огромным привидением, стоял человек и, как гранаты, метал через забор бутылки. Иван Петрович заторопился к нему, но еще раньше, выскочив откуда-то справа, к этому человеку подоспел Борис Тимофеич, наскочил на него с криком, дернул, едва не сбив с ног, снова рванулся наскочить… Тот, другой, замахнулся бутылкой. Он бы, может, и ударил, всякое в такую минуту могло случиться, если бы не набежавший Иван Петрович, успевший перехватить бутылку. Это был один из архаровцев, один из самых отпетых, которого звали почему-то бабьим именем Соня и с которым Иван Петрович уже схватывался. Соня выдернул из рук Ивана Петровича бутылку, откинул ее в сторону и принятым среди этого

брата иноречием нараспев пригрозил, показывая через головы:

— Ох как жарко гори-ит! Ох, горячо-о! Ох, больно-о!

И вразвалочку зашагал туда, где горело.

— А ты где был? — не нашел ничего лучшего, как накинуться на Ивана Петровича, начальник. — Где вы все, черт бы вас побрал! Куда вы смотрите?!

— В баню ходил, — в тон ему ответил Иван Петрович. — Сходи и ты, ополоснись, а то кидаешься!.. Смотрел бы хоть, на кого кидаться!..

Огромная, всходила за горой луна. Выкатываясь из-за леса, она подвигалась вправо, и, как на экране, вплывали в нее и в холодном кипении сгорали в ней верхушки деревьев.

9

Теперь, пожалуй, не доискаться, как и с чего произошел сворот на нынешнее раздольное житье-бытье. Но не было же этого поначалу, уже и в новом поселке не было, чтоб люди так разошлись всяк по себе, так отвернулись и отбились от общего и слаженного существования, которое крепилось не вчера придуманными привычками и законами. А вспомнить, не ими ли, не этими ли

законами, не этой ли грудью единой спасались и спаслись в старой деревне в войну и в лихие послевоенные годы, когда за десять колосков, не разменяваясь и не мелочась, по десять же лет и приговаривали? Когда едва справлялись с налогами, когда у «нерадивых» обрезали огороды, чтоб обрезанное зарастало крапивой, и не позволяли до белых мух покосить на свою коровенку? Когда надо было не только держаться вместе, но вместе и исхитряться, чтоб выстоять? А ведь в деревне тоже всякие люди водились, и кой у кого зудело, поди, донести да навести, соблюсти законность и сослужить верную, запрашиваемую службу. Не без того, чтоб не зудело. Но знал он: в деревне после этого не живать, Егоровка ему этого не простит.

А теперь вот Ивану Петровичу приходится съезжать — и как все переменилось! Можно сказать, перевернулось с ног на голову, и то, за что держались еще недавно всем миром, что было общим неписаным законом, твердью земной, превратилось в пережиток, в какую-то ненормальность и чуть ли не в предательство. И Сосновке все едино, ей, быть может, даже спокойней и удобней, если Иван Петрович уедет и перестанет мутить воду. Или наоборот, да, конечно, наоборот: не ста-

нет, как выживший из ума старик, помнивший из детства чистую воду, махать руками, чтоб она и поныне оставалась чистой, когда все вокруг замутилось. Уж если зашла речь о воде, то она, как известно, чиста не тогда, когда она действительно чиста, но когда ее хотят видеть чистой. А для этого вольно на глаза какую-нибудь хитрую оптику нацепить.

Нет, не сразу, как переехали, пошло боковым ходом. Конечно, новая работа сказалась: валить лес, только валить и валить, не заботясь, останется, вырастет что-нибудь тут после них или нет. Это теперь заставляют на вырубках делать посадки, да и то как заставляют: вроде и обязан, как обязан время от времени думать о смерти, чтоб чище жить, но можно и не думать о ней, жить, и все, а жизнь состоит в том, чтоб рубить. За невыполненный план по посадкам — пожурят, за план по вырубке — семь шкур сдерут. Вот и повелось и не сменилось с годами, что игрушками этими, лесовосполнением, должен заниматься лесхоз, а у того пять рук на пятнадцать разнарядок, и ни одно дело до конца довести он не в силах.

Попервости и строилась каждая деревня в Сосновке своей улицей, и жить собрались теми же

общинами, что прежде. Вдовых баб, стариков ставили на ноги по заведенному обычаю всем «колхозом», помогая им переносить избенки и раздирать огороды. По этим огородам торились тропки, чтоб напрямую, не выходя в улицу, бегать друг к другу за всякой надобностью и без надобности, когда высвобождалась минутка для разговоров и чая. И раздавалось на закате солнышка на всю округу: «Дарья-а! Марья-а! Самовар поспел! Наталья-а! Ты к криволуцким не пойдешь?» — на ближнюю, значит, от горы улицу, которую заняла деревня Криволуцкая.

Потом все перемешалось. И не то плохо, что после смертей, свадеб, разделов и торгов одна деревня стала проникать в другую, жизнь невозможна без таких проникновений, а то пошло неладом, что взамен уехавших и унесенных принялись селиться люди легкие, не обзаводящиеся ни хозяйством, ни даже огородишком, знающие одну дорогу — в магазин, и чтоб поесть, и чтоб время от работы до работы скоротать. Сначала от работы до работы, а затем и работу прихватывая, заслоняя ее магазином, и чем дальше, тем больше, тем слаще и неудержимей. Работа этого, понятно, не любит — и нелады с ней, с работой, и уж общины другого толка, которых

раньше не было и в помине. Водились, конечно, пьянчуги, где они на святой Руси не водились, но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нем в открытую, ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу с атаманом и советом, правящим власть, такого нет, не бывало. Это уж наши собственные достижения.

Недавно директор школы Юрий Андреевич, учительствовавший еще в Егоровке, взялся подсчитать, сколько в шести деревнях, слившихся в Сосновку, погибло народу за войну и сколько его сгинуло не своей смертью за последние четыре года. Не своей смертью — это значит пьяная стрельба, поножовщина, утонувшие и замерзшие, задавленные на лесосеках по своему ли, по чужому ли недогляду. И разница вышла небольшая. Иван Петрович ахнул, когда услышал: вот те и мирное время! А ведь знал он обо всех этих случаях, переживал их, всегда что-то меняется и как бы смеркается в мире, когда уходит из жизни знакомый человек, и ослабевает в тебе что-то с его уходом, будь он хоть трижды непутевый, знал он о каждом отдельном случае и сокрушался, но сведенные вместе, в одно число, поставленное рядом с другим числом, оно подействовало на него оглушительно. Несколько дней

он ходил сам не свой, пытаясь что-то понять и понимая только, что невозможно понять, ничего невозможно понять из того, что он пытается извлечь из этого страшного равенства. Тут что еще: погибший на фронте взывал к справедливости и добру, оставляя их вместе с душой и воспоминаниями, живущими среди родных, и оставлял для движения и исполнения; сами того не подозревая, мы, быть может, лет двадцать после войны держались этим наследством погибших, их единым заветом, который мы по человечьей своей природе не могли не исполнять. Это свыше нас и нас сильнее. Потратившийся же вот так, ни за понюх табаку, по дурости и слепому отчаянию — дурость, распущенность и отчаяние после себя и оставляет. Смерть — учитель властный, и чью сторону, доброго или худого, она при своем исполнении берет, той стороны прибавляется впятеро.

В первые годы и весь леспромхоз был — один этот участок. Потом открыли второй, потом третий, четвертый, и только по прямой береговой линии протянулось нынешнее порубочное хозяйство на сто с лишним километров. Теперь один участок выбирает в год больше ста тысяч кубов. Подскочил план, все мощней, все хитрей и сноро-

вистей погнали технику, и своим народом стало не управиться. Поехали сезонники, шабашники, кто за лишним рублем, кто за лишним днем, который все равно как и где прожить, лишь бы быть ему прожиту. Обозначился в последние годы особый сорт людей, не совсем бросовых, не потерянных окончательно, которые в своих бесконечных перемещениях не за деньгами гоняются и выпадающие им деньги тут же с легкостью спускают, а гонимы словно бы сектантским отвержением и безразличием ко всякому делу. Такой ни себе помощи не принимает, ни другому ее не подаст, процедуру жизни он исполняет в укороте, не имея ни семьи, ни друзей, ни привязанностей, и с тягостью, точно бы отбывая жизнь как наказание. Про такого раньше говорили: ушибленный мешком из-за угла, теперь можно сказать, что он всебятился, принял одиночество как присягу. И что в этих душах делается, кому принадлежат эти души — не распознать.

И вот по веснам, когда надо отправлять спущенный за зиму с гор лес, и по осеням, когда снова надо его срезать и спускать, приливают и отливают, приливают и отливают, не задерживаясь не из-за неудобств каких-то непереносимых, а просто не умея, не понимая, зачем и для чего

задерживаться, понукаемые неясной и нестерпимой тревогой. А уезжают — горькая тоска в глазах: куда? зачем? Но уезжают, и оставшиеся вспоминают о них лишь по чудачествам и выкидонам, на которые они мастаки, вроде тех, что один артист зубами поднимал любой стол с закуской, другой делал на водке тюрю и не морщась выхлебывал ее ложкой, третий, пугая работающих на почте девчонок, любил отправлять телеграммы, похожие на шифровки: «Третий день дождь, что делать?» — или: «За ноябрем декабрь, не перепутай» — или: «Не жди меня, но я вернусь». Старая Егоровка за все триста лет допотопного ее существования не изведала и тысячной доли тех чудес и кудес, какие приняла Сосновка за двадцать. И, судя по всему, они не к концу идут.

Это, понятно, самое невинное, самое легкое из того, что можно вспомнить. А можно вспомнить еще, как было с лесничим Андреем Солодовым. Солодов данной ему властью два года назад оштрафовал леспромхоз за высокие, едва не в пояс, пни. По большому снегу, чтоб не расчищать, валили как легче, нарушая нормы, и Андрей, мужик в общем покладистый, после долгих уговариваний и угроз не вытерпел: вот вам, раз

человеческого языка не понимаете. В пятницу кассирша поехала за зарплатой и вернулась ни с чем: банк под штраф леспромхозовские деньги арестовал. В субботу Андрей, как обычно, истопил баню, помылся и лег спать, а баня в ночь сгорела. По неосторожности, по недосмотру, надо думать, самого хозяина: топил ведь и мылся, а потом завалился и дрыхнул без задних ног. В понедельник кассирша снова отправилась в банк и снова воротилась с пустой сумкой. Надо было ждать до среды, пока вырешат, где взять деньги. А в среду сказали — до пятницы. В среду у Андрея Солодова потерялась лесхозовская кобыла, единственная на весь поселок трудяга, на которой вспахивали половину огородов и которая в лесном деле была незаменима. Только по весне вытаяли ее косточки в чащобе, рядом валялась догнивающая веревка.

Иван Петрович разговаривал с Андреем, и они сошлись, что без своих тут не обошлось. Смешно было бы грешить только на приезжих. Нет, и свои, с кем бок о бок жито и работано под завязку, научились косо смотреть на всякого, кто по старинке качает права и твердит о совести. И свои грозили Ивану Петровичу, когда, не умея молчать, содравший бы с себя потом семь

шкур за молчанку, поднимался он на собрании и вслух объявлял все, что творилось на лесосеках, на нижнем складе, в гараже и магазинах. Говорил то, что знали все и что постепенно становилось обычаем, — и как без нужды и жалости рвут технику в лесу или гоняют ее по пьяному и трезвому делу за десятки километров по собственной надобности, и как среди бела дня тащат с лесопилки, и как по дороге в леспромхоз таинственно исчезают указанные в накладных товары, а вместо них для облегчения торговли сразу появляются деньги, и как в нарушение техники безопасности заставляют трактористов спускать на неокрепший лед лес, и как... Дошло до того, что сам Борис Тимофеевич наутро после получки вез втихаря в своей брезентовой сумке на лесосеку пару бутылок, чтоб остановить готовую сорваться бригаду. А они научились принимать это как положенное, как те же три пачки чая, выдаваемых бесплатно профсоюзом.

Иван Петрович исступленно размышлял: свет переворачивается не сразу, не одним махом, а вот так, как у нас: было не положено, не принято, стало положено и принято, было нельзя — стало можно, считалось за позор, за смертный грех — почитается за ловкость и доблесть. И до каких же

пор мы будем сдавать то, на чем вечно держались? Откуда, из каких тылов и запасов придет желанная подмога?

— У тебя пошто глаза-то этак повернуты? — гудел Борис Тимофеич, но не было в его голосе ни нажима, ни вопроса, на который требовался ответ. — Пошто ты все одно по одному? Без плана, видишь, не живем…

Тут-то Иван Петрович и взрывался:

— План, говоришь? План?! Да лучше б мы без него жили!.. Лучше б мы другой план завели — не на одни только кубометры, а и на души! Чтоб учитывалось, сколько душ потеряно, к черту-дьяволу перешло, и сколько осталось!.. План!.. Ты вспомни, как было… ну, пускай хоть пять лет назад…

— А что пять лет назад? — Борис Тимофеич прикидывался непонятливым. — Тогда не было ни самовалов, ни челюстных погрузчиков. «КрАЗа» твоего не было, на который ты по тридцать кубов зараз грузишь.

— Опять двадцать пять! Ты тогда водку на гору за свои деньги не возил за-ради плана. Ты вот что вспомни. Наш план выполнять — дело нехитрое, ему агрономия не нужна.

— Нехитрое? — Уж кто-кто, а он, съевший не од-

ну собаку не одной породы на плане, жизнь свою отдавший плану, среди ночи просыпающийся, когда доводилось спать, от страха за план, как чумы, боящийся последних чисел месяца, когда в такой сложной технологии, какая и не снилась пшенице, вызревал план, — уж он-то знал, что дело это не только хитрое, но и требующее много чего сверх всякой хитрости. Объяснить все это было нельзя, и он с тайной обидой говорил: — Тебя бы в мою шкуру.

— Не хочу. Мне и в своей тяжко.

Афоня Бронников, егоровский мужик, работающий на трелевочном тракторе, держался другого резона.

— Что ты, Иван Петрович, кипятишься? — с укоризненной улыбкой на широком и твердом кержацком лице увещевал он. — Кому ты что докажешь? Я так считаю: я работаю честно, живу честно, не ворую, не ловчу — и хватит. У кого глаза есть, тот видит, как я живу и как другие живут. Кто куда расположен, туда и пойдет. Наше дело — жить правильно, пример жизнью подавать, а не загонять палкой в свою отару. От палки толку не будет.

— Да ведь опоздали, опоздали с примером-то! Поздно!

— Ничего не поздно.

Но Иван Петрович был устроен по-другому, под ежедневным давлением в нем словно бы сжималась и сжималась какая-то пружина и доходила до такой упругости и закрученности, что выдерживать ее становилось невмоготу. И Иван Петрович, не однажды дававший зарок молчать, доказавший себе, что молчание — это тоже метод действия и убеждения, Иван Петрович опять поднимался и, западая голосом, страшно нервничая и ненавидя себя, начинал говорить, понимая — напрасно.

Еще до архаровцев, сбившихся вокруг Сашки Девятого, еще до них было: пришел утром Иван Петрович в гараж, а на его «КрАЗе» соединительные тормозные шланги к прицепу изрублены. На-кась, значит, выкуси, правдоискатель плюшевый. Это ему однажды было сказано: «Что ты как мишка плюшевый, которому два слова ввинтили: хорошо — нехорошо, хорошо — нехорошо. Ты сам кумекай маленько».

Стало быть, и хорошо — нехорошо. Быть стало, и нехорошо — хорошо. Поневоле зарапортуешься, заблудишься в двух словах.

10

Из первого продовольственного склада огонь вытеснил полностью. Перешли во второй. Хорошо еще, что над ним, над вторым, была сбита крыша, это придержало огонь. Он вжигался от правого и дальнего верхнего угла и через потолочный настил. Когда Иван Петрович в первый раз заскочил сюда, тут тоже было накалено и дымно, но все-таки без огня сносно, помещение изнутри держалось еще о четырех стенах. Здесь оказалось на удивление людно, здесь весело кричали и перекликались, стоял сплошной звон и бряк. Иван Петрович не вдруг разглядел организованную цепочку, по которой передавались ящики с наиходовым товаром — с водкой. В цепочке стояли и свои, и архаровцы. Потоптавшись растерянно и прихватив один ящик, чтоб не с пустыми руками, Иван Петрович выбежал обратно, уверенный, что этому товару не дадут пропасть и без него. На воздухе его обдало каленым заревом сверху и донеслись откуда-то крики Вали-кладовщицы, требующей и умоляющей вынести растительное масло. Валя кричала, что его, растительного масла, до осени не полагается, выбрали все, и Иван Петрович, повороченный

этими словами обратно, с дурной головы не мог припомнить, что теперь — зима или лето.

И выскакивал на одну секунду, а из правого угла уже пробивался огонь.

Пробивался с ревущим полыханьем огонь, еще веселей и отрывистей раздавались голоса из цепочки, густо позвякивали бутылки, но был и еще один повторяющийся звук в этом месиве звуков — будто что-то мелодично выщелкивало или сухо взбулькивало. Взбулькивало или выщелкивало с тоненькими подголосками. Иван Петрович приступом направился к раскаленной стене, откуда они раздавались, и возле ящиков с заграничным вином догадался, что это было: из бутылок выстреливало пробками. До подголосков он не стал доискиваться, решив, что происходят они, вероятней всего, от такого же салюта из посудинок с тройным одеколоном или от чего-нибудь в этом же роде. С некоторых пор тройной одеколон перешел в разряд продовольственных товаров, им сдабривали сухое венгерское или болгарское вино, которое в своем собственном вкусе отвергалось мужиками как чересчур кислое или незабористое.

Иван Петрович искал растительное масло в бутылках, а оно оказалось в железной бочке. Он

с трудом, обжигая руки, повалил ее, огромную, с раздутыми боками, побывавшую не в одной переделке, но выкатить не мог, под его усилиями она только раскачивалась. Он заторопился к цепочке и, не вглядываясь и не выбирая, выхватил из нее первое попавшееся звено. Оно оборотилось тем самым парнем, вместе с которым сбивали крышу и который принес наверх известие о найденном мотоцикле «Урал». От парня пахнуло кипяченой водкой; ничего не понимая, но и не сопротивляясь, он запрыгал вслед за Иваном Петровичем. Вдвоем, где руками, где ногами, они выкатили бочку.

— Там еще одна! Иван Петрович, там еще одна есть! — закричала Валя-кладовщица и кинулась показывать. — Вон там она, вон там!

Иван Петрович придержал Валю и подтолкнул от двери наружу, ей тут с ее материальной заинтересованностью, которая могла оказаться сильнее здравого смысла, делать было нечего. Незачем ей видеть, что тут происходит. Иван Петрович в секунду потерял напарника, с которым выкатывали бочку, тот, конечно, не мешкая встал в строй. Пытаясь отыскать его, Иван Петрович заметил, что по цепи передаются не одни только ящики, но и раскупоренные бутылки,

взблескивающие под огнем как электрические фонарики.

— Ходом! Ходом! — начинал один, с маху откидывая соседу ящик, и цепь подхватывала: — Ходом! Ходом!

— Ходом, ходом! — взмывала над запрокинутой головой бутылка. — Ходом! Ходом!

Но и огонь шел ходом: ворвавшись внутрь, он завладел половиной задней стены, перекинулся на потолок, откуда в каком-то своем ритме вымахивал вниз длинными ухающими языками. Все труднее становилось дышать, это было уже не дыхание и не воздух, которым дышат, а быстрое и беспорядочное хватание выгоревшей пустоты. Кто-то, и не разобрать было, мужик или баба, тревожно звал оголенным и рвущимся голосом:

— Петька! Петька! Ты здесь? Ты где?

— Мы твоим Петькой закусили! — крикнули из цепи; и этот голос показался обгоревшим, проволочным, протолкнувшим сквозь жар одни слова.

И опять Иван Петрович уронил бочку с маслом, более аккуратную, чем первая, и, казалось, послушную, опять пытался катить в одиночку. Кто-то помог ему. Уже когда выехали, Валя-кладовщица, встречавшая бочку, запричитала

и ударилась в рев: бочка была без пробки. Иван Петрович оглушенно смотрел то на извивающийся из склада след масла, то на Валю, которая убивалась так, будто два-три литра пролитого масла самая большая для нее сегодня потеря.

Ивана Петровича подхватили сбоку — Афоня Бронников. Быстро шагая прочь от огня в левый угол двора и увлекая за собой Ивана Петровича, Афоня объяснял:

— Муку надо убирать, Иван Петрович, пока не поздно. Это все... — Он сделал пренебрежительную отмашку назад, где горело. — А без муки останемся... Без муки нельзя.

Из третьего склада ребятишки и бабы выносили банки со сгущенным молоком, коробки с какими-то маленькими, совсем игрушечными, баночками, что-то в аккуратных, перетянутых металлическими лентами, коробках. За третьим складом в крайней к забору и низкой, без подтоварника, постройке и держали муку.

Широкие, как ворота, двери были распахнуты.

Тени от Ивана Петровича и от Афони, все удлиняясь и удлиняясь в уродливом изгибе, перемахнули через забор и вознеслись над поселком.

— Гори-и-им! — раздалось где-то в верхних улицах.

Иван Петрович испуганно вскинулся и стал всматриваться на голос.

— Проснулся! — с веселой злостью отозвался Афоня. — Скоро уж сгорим, а ты только хватился. Давай, браток, подбегай, пока не поздно. Завтра шабаш, завтра не опохмелишься.

Одно дело — беспорядок вокруг, и совсем другое — беспорядок внутри тебя. Когда вокруг — при желании сколько угодно там можно отыскать виноватых, а иной раз и вовсе посторонние силы способны вступить в действие и сыграть, как говорится, роль. Словом, у того порядка или беспорядка много хозяев, им трудно бывает договориться, у них разное понимание мира устроенного, и что для одного разумное расположение вещей, для другого — полный кавардак.

Во всем, что касается только тебя, ты, разумеется, сам себе господин. В находящемся в тебе хозяйстве взыскать больше не с кого. И даже если тебе кажется, что оно зависит от многих внешних причин и начал, эти причины и начала, прежде чем влиться в таинственные и заповедные твои пределы, не минуют твоей верховной власти. Стало быть, и в этом случае спрашивать приходится только с себя.

И нет ничего проще, как заблудиться в себе. Чувствительный человек это знает. Он смотрит на себя не как врач, который прежде всего видит органы, выполняющие определенные функции, а как могущественный и безвольный вседержитель чудом доставшегося ему от природы огромного и непонятного царства, требующего какой-то особой власти.

Тебе чудится, что ты знаешь, где находится в тебе совесть, где воля, где память, где возникают желания и откуда берутся запреты и ограничения. Ты не знаешь места их расположения, но представляешь, по каким связям следует посылать сигналы, чтобы они отозвались. Совесть заговаривает в тебе не сама по себе, а по твоему призыву; быть может, она способна спросить и самостоятельно — конечно, способна, но не успевает: тебе верится, что ты обращаешься к ней раньше. Ты полагаешь, что так и должно быть в вверенных тебе границах: чтобы ты с опережением вмешивался в готовый ли раздаться ропот или ослабевающее согласие, чтобы ты выходил первым и заговаривал прежде, а не являлся по требованию.

Ты и они. Ты — властелин, несущий в теле своем, как в царстве, все его города и веси, все

установления и связи, все пороки его и славу. И они, составляющие таинственную жизнь твоего мира. Это и одно целое и розное. Одно целое и неразрывное — когда правят мир и согласие, когда возникающие недоразумения, без которых никакая жизнь не обходится, существуют только до той поры, пока не рассудит разум. Именно так: недоразумение — до разума. И розное — когда наступает разлад и когда принадлежащие тебе владения отказываются тебе повиноваться. Только тогда приходит догадка, что они сильнее тебя. Потому что это они составляют твои поступки и мысли, направляют твои движения и добывают звуки из твоего голоса. Потому что в конце концов ты смертен, а они нет, они были в тебе по велению какой-то неясной могущественной силы, которую ты так и не смог соединить в образ. И это она, а не ты, была их властелином, а ты был лишь временной их обителью, слабой оболочкой всего того, что они вместе из себя представляли и откуда они искали согласия и соединения с миром. Ты не оправдал их надежд и не донес, не показал, что тебе было велено. А это значит, что ты не был собой. Кем угодно ты был, но только не собой, и не с тобой, а лишь с именем твоим станут прощаться, возвращая тебя обратно.

11

Одно дело — беспорядок вокруг, и совсем другое — беспорядок внутри тебя. Страшное разорение чувствовал в себе Иван Петрович — будто прошла в нем иноземная рать и все вытоптала и выгадила, оставив едкий дым, оплавленные черепки и бесформенные острые куски от того, что было как-никак устоявшейся жизнью. Не сказать, что он и раньше жил в полном согласии с собой, во всяком даже и совсем удоволенном человеке всегда что-то выходит из повиновения и принимается то ли скулить, то ли требовать. Выходило и у него. Но это нуждалось, так сказать, в текущем ремонте. Иван Петрович знал, чем поправляется это нездоровье — работой или добрым делом. Он не делал доброе дело только ради того, чтобы, как снадобьем, смазать им ноющую рану, оно делалось само, и боль постепенно утихала. Она словно затем и возникала время от времени то в одном, то в другом месте, чтобы показать, что они не потеряли способности чувствовать и болеть.

И что же теперь стало? Как случилось, что все его с такой заботой отстроенное нутро вдруг взбунтовалось и озлобилось против него? Что бы

он ни делал — все не так, куда бы ни пошел, за что бы ни брался, какая-то сила останавливает его и вышептывает с мстительной выправкой в голосе: а больше ты ничего не мог придумать? А больше он ничего действительно не мог придумать, у него опускались руки и пронизывающим пустодольем обносило все тело.

Он не помнит, с чего начался этот раздор с собой. С чего-то ведь он должен был начаться, когда-то впервые его душа не просто не согласилась с ним, а возроптала и отказалась его понимать. То, как он жил, было ей поперек. Но в том-то и штука, что он всегда старался жить по совести, всегда поступки свои примерял к справедливости и пользе, к общему, как казалось ему, благу. А разве душа и совесть не родные сестры, разве не совесть питает душу и разве есть между ними распря? Когда нужно было говорить правду, он говорил; когда требовалось дело — делал. Да он только и делал, что не сворачивал с правды и дела. И разве не важно для них оставаться в границах, какими они были представлены человеку? Правда — это река, ложе которой выстелено твердым камнем и берега которой в отчетливых песчаной и каменистой линиях, река с чистой и устремленной вперед водой, а не

подпертая масса с гуляющим уровнем гниющей жидкости, с хлябкими и подмытыми берегами. Правда проистекает из самой природы, ни общим мнением, ни указом поправить ее нельзя. Так почему же тогда он, живущий по несворачиваемой правде, вступил в войну не только с другими, кто ее не хочет или принимает лишь наполовину, но и с самим собой? Почему он уверен, что не годится жить, соглашаясь с правдой лишь наполовину или отказываясь от нее вовсе (уж лучше вовсе, чем наполовину), но в то же время не уверен в себе, кто стоит прямо на другом конце против тех, кто точно не прав? Они не правы, и он, говорящий, что они не правы, держащийся правды как закона, — и он не прав. В чем дело?

Или совесть и правда, существующие сами по себе, меж собой сообщаясь и друг друга пополняя, или они не самостоятельны и склоняются перед чем-то более важным? Перед чем? Перед душой? А что, душа, хлопочущая о примирении, готова служить и вашим и нашим? Но если и вашим тоже, если она ищет правду и совесть там, где они не ночевали, значит, и правда не правда и совесть не совесть, а только ищущая и страдающая душа. И как быть ей, если совесть и правда скособочены по ее милости? В чем найти ей

поддержку? Ладно, можно допустить, что душа не любит прямолинейности, не терпит прямосудия, что так она устроена, что ей любо отыскивать жемчужные зерна в отвалах, да ведь пока она там будет рыться, на своей стороне ничего не останется. Ну а что такое своя сторона, не своя, кто проводил между ними границу и почему так тянет человека за эту границу, не есть ли в этом его общий удел — уйти со своей стороны на чужую?

И, додолбившись в бесконечных этих «как» и «почему», не державших ответа, соскальзывающих с ответа, как с отвесной стенки, додолбившись до глухого тупика, до какого-то остростенного безжизненного у́зика — отступал Иван Петрович: ничего не понять.

12

В последнем, мучном складе не одна только была мука и не с одними только крупами, хранили еще и сахар. Средь муки и крупы он держался по-барски: они, сваленные как попало в мешках на пол, оплыли серой пылью, для сахара же с левой стороны устроили настил и подстелили брезент. И кули, в каких он был, отличались чистотой и доброшивом, и уложены они были аккуратно. Будто не свои же мужики таскали

и укладывали, а вызывали бригаду из-за границы. По привычке хвататься прежде за тяжелое, ноги понесли Ивана Петровича к сахару. Но Афоня Бронников придержал:

— Давай, Иван Петрович, за муку. Это все… — И он опять, как в том складе, отмахнулся.

Здесь хоть не припекало. Но торопиться следовало и здесь, до огня оставалась одна неполная постройка. Огромная и бесформенная куча не куча, штабель не штабель из муки возвышалась в полтора-два человеческих роста. Для двоих здесь таски до следующего пожара. Иван Петрович не позволил себе испугаться работы, не тот это был случай, чтобы раскидывать и подсчитывать, а взвалил первый попавшийся, отбитый в сторонку мешок, не подумав, чего ради его отставили, и с головой ухнул в муку. Мешок по шву разошелся, раззявленным боком вскинул его на себя Иван Петрович и — как взорвался белым, мука залепила рот, набилась за воротник. Афоня, не выдержав, могуче загрохотал-захохотал:

— Теперь, Иван Петрович, в Ангару, опосле под огонь — и пирог готовый.

Отряхиваясь и отплевываясь, Иван Петрович не сдержал досады. Но это было и разумно, что он сказал:

— Ты, чем гоготать, прикинул бы, что мы с тобой тут с гулькин хвост не вытаскаем. На выпечку не хватит. Где народ-то?

— Начальник хотел собрать…

— Да он уже забыл, твой начальник!.. Его отхватили куда — и с концом! Он без головы сегодня.

Встав на изготовку, которая показывала, что он сейчас начнет хватать любого за шкирку и метать сюда, Афоня пошел.

Иван Петрович с мешком на загорбке в дверях остановился. Куда? До ворот далеко, и таскать в ворота — это торить дорогу, которая никому не нужна. Рядом забор, но забор на ногах, он держит оборону против охотников до всего этого разбросанного по снегу и грязи добра. И все-таки надо валить забор. И вдруг Ивана Петровича ожгло: а где же топор? Где топор, который он прихватил из дому и которым сбивал крышу? Где он его бросил? Иван Петрович кинулся было на огонь, но спохватился, что в последнем складу, откуда он выкатывал масло, делать ему с топором было нечего, он оставил его где-то раньше. И топор сгорел. Сгорел топор, который нужен сейчас для забора больше рук. Взял из дому вещь и погубил.

Он вспомнил опять об Алене, и тревожным

был этот высверк о жене: не подлезла бы, дурная голова, под беду. Почему-то показалось, что между ними сейчас огромная даль. Рядом, а далеко. Потому что расстояние это меряется другими, незнаемыми шагами, которыми он еще не ходил.

До того, как кинуться куда-то, взглянул еще Иван Петрович на склад, откуда его выхватил Афоня: в дверной проем там уже не ныряли и не выныривали, а метали из него сквозь шторой наплывающий рисунчатый огонь последние банки и склянки. Это до чего же надо быть отчаянной башкой, до чего ошалеть от геройства, чтобы держаться там неизвестно на чем! А перед дверью кто-то в белой заячьей шапке, в прыжках и бросках перехватывая на лету выбрасываемое, выделывал такие коленца, какие не снились и циркачу. Перехватывал и, не глядя, откидывал за спину. Неподалеку в ярком озарении стоял и смотрел на него Борис Тимофеевич. Выхлестнуло над серединой промтоварных складов высоко пламя и крутым светом высветило весь двор, в котором все, казалось, стояло неподвижно и любовалось ловкостью парня в белой заячьей шапке. И стоял и любовался Борис Тимофеич. Пламя опало, и начальник сорвался с места, со-

рвалось опять и все остальное.

За короткий тот миг, когда разом высветило весь двор, успел заметить Иван Петрович вдоль по забору прислоненную к столбу колотушку, которой Афоня орудовал наверху, и теперь, как нарочно, оставленную там, где она могла понадобиться. Иван Петрович на бегу подхватил ее и ухнул рядом со столбом по верхней и тут же по нижней поперечинам. Забор отвалился, открыв вид через вдавленную дорогу на огород и баню однорукого Савелия из коренных ангарских мужиков. Иван Петрович отбил второй конец связи, она упала, и здесь к нему подоспел помощник. Ничему в эту ночь не следовало удивляться, и все-таки Иван Петрович не мог сдержать удивления. Помощником был не кто иной, как Сашка Девятый из архаровцев. Вдвоем они приподняли сваленное звено и спустили по откосу на дорогу. Специально гадай, лучше не выгадаешь: вышел помост — чтоб муку не на землю.

— Давай еще одну, Иван Петрович, — весело и арапистo скомандовал Сашка. Знал он, оказывается, и по имени-отчеству, а не одно лишь «гражданин законник».

Они оторвали вторую связь и постелили ее

рядом с первой. И только поднялись — с тяжким стоном осел, брызнув искрами, первый на изгибе промтоварный склад. Искры из него все сыпали и сыпали, заглушая крики и забивая свет. Сашка помчался туда. Иван Петрович видел, как мужики, которых вел Афоня, метнулись обратно. И он не вытерпел: надо было отыскать Алену.

Алена стояла в пяти шагах от вороха с добром, куда она что-то принесла и опустила с бряком, и только бряк этот и подтвердил, что она прибежала не с пустыми руками. Теперь, остановленная до взапяток плеснувшей раскаленной волной провалившегося склада, она не помнила, откуда прибежала и что принесла и потеряла, куда бежать. Кругом, повернутые в одну сторону, где все еще трещало и искрило, кричали и размахивали руками, но и крики были сухими, и размахи с подпрыгами и наклонами — будто в заведенной игре. Во всем том, как вели себя люди — как они выстраивали цепи, чтобы передавать из рук в руки пакеты и связки, как бегали по двору, отворачивая друг от друга и сталкиваясь, как дразнили огонь, рискуя собой до последнего, как заводились то в лад, то не в лад кричать, — во всем этом было что-то ненастоящее, дурашливое, делающееся в азарте

и беспорядочной страсти. Настоящим был только огонь, сосредоточенно и беззатейно перемалывающий все, что подворачивалось на его пути.

Искрить безостановочно и взрывчато наконец перестало, и снизу, на обвалившемся, опять наладился огонь. На оборванных углах он светил вытянутыми и склоненными факелами. Соседний промтоварный склад под высоким венцовым пламенем, казалось, раскачивается и скрипит, пытаясь оторваться, и не может оторваться, притянутый с другой стороны общей стеной к следующей постройке. Кстати и некстати Алена вспомнила, как рассказывали, что под Усть-Илимом вниз по Ангаре поднимало со дна и носило по воде затопленные с лесом острова, которые потом бомбили с самолетов. В ближнем продовольственном складе под каким-то сладостным продуктом не горело, а сияло — как при электричестве. Ясно виделось теперь, что нет, ни одного склада не отбить.

Алена достояла до момента, пока на нее не наткнулся Иван Петрович. Испуганный ее неподвижностью, когда все кругом бежало и кричало, он подкрался последними шагами и зашел к ней спереди.

— Ой, Иван, ты погляди! — встрепенулась она,

не зная, что сказать. Смотреть тут же нашлось на что. — Ты погляди! — она показала на извивающуюся справа в отдалении и все равно освещенную фигуру, которая, скинув шубейку, что-то торопливо на себя натягивала. Кто-то это был из архаровцев, Иван Петрович различал их по коротким и дерганым движениям.

— Что же это делается-то, Иван?! Что делается?! Все тащат! Клавка Стригунова полные карманы набила маленькими коробочками. А в них, поди, не утюги, в них, поди, че-то такое!.. В голяшки наталкивают, за пазуху!.. А бутылки эти, бутылки!..

— Не вздумай ты что взять. — Он и слова-то эти сказал, чтобы только вытолкнуть из себя скопившийся внутри угарный комок.

Да, тут никакой дядя Миша Хампо не поможет. Хам-по караулит, чтобы не вынесли что большое, заметное, а тут вон как…

— Да ты что, Иван! Ты что?! — без возмущения, видя, что он не всерьез, зачастила Алена. — Мне-то зачем? Много я тебе натаскала, покуль живем? Шибко много?

— Дьявол с ними, пускай подавятся.

Он не пошел одергивать ту архаровскую фигуру.

13

Два года назад справлено было тридцать кругов, как Иван Петрович жил с Аленой. А справлено было так: взяли в одно время отпуска и проехались по выросшим детям, которые все до единого ушли из родного дома. Но их и всех-то — две дочери и сын. Двигались от ближнего к дальнему: сначала к дочери в райцентр, где она учительствовала в младших классах, потом ко второй, к старшей, дочери в Иркутск, где чуть было не споткнулись, только там, в Иркутске, узнав, что дочь в больнице. Дали ее семье квартиру в девятиэтажном доме на самой верхотуре, а лифт не пустили, и вот, таская при переезде совсем тяжелое и не совсем тяжелое, надсадилась она до того, что сразу после новоселья загуляла в больницу. В мать — та тоже не знает удержу. Конечно, неловко было уезжать при этаком раскладе, но Таня, городская дочь, настояла, чтоб ехали. До чего Иван Петрович, привыкший ко всякому и не разморенный мужик, а и он, сделав десяток ходок на девятый этаж, заплетаясь на последних пролетах ногами и руками, заметно почернел вырывающимся словом и рад был уехать подальше от этих вызверяющих граждан

городских удобств.

А лифт там, пишет дочь, и по сю пору на приколе, в его шахте через выломанную дверь уже кто-то разбился. Что в иных местах нельзя, в Иркутске можно.

И только у сына, к которому летели на самолете, Иван Петрович вошел опять в душу. Сын Борька встретил их в Хабаровске — рослый, как все они нынче на сытых хлебах, сильно повзрослевший, в форме, выделяющей его мужскую стать и подбирающей материнскую скуластость. Уже и не Борька, а Борис Иваныч. После авиационного училища он работал техником в небольшом аэропорту, и, к покою Алены, работа его делалась на земле. В тот же день на другом, на маленьком самолете они прибыли на это место — красивый и богатый поселок, весь в зелени и уборе. Правда, и время выпало хорошее — сухой сентябрь. Борис жил своим домом, который отдали молодым тесть с тещей, построившиеся посолидней отдельно через улицу, а при доме был сад с разной ягодой и самделишной яблокой. Обо всем этом Борис и рассказывал и писал, но, пока не видел глазами Иван Петрович, как к писаному и относился. А потеребил яблоко с живого дерева, обошел поселок, поглядел в людские

лица, не испорченные через одно пьянством, съездил на рыбалку, подивившись, что рыбы в невеликой речке больше, чем в Ангаре, и порадовался за Борьку. Везде, сказывают, хорошо, где нас нет, но тут и верно было не худо. Дело не в яблоке и не в тепле, свой климат он и есть свой, а жизнь здесь чувствовалась не надрывная, порядка здесь просматривалось больше, и держался этот порядок не на окрике и штрафе, а на издавна заведенном общинном законе. Вот в чем дело. И даже если и преувеличивал Иван Петрович, а казалось ему, что ничуть он не преувеличивал, то и тогда несравнимо с Сосновкой.

Сын с невесткой пристали: переезжайте. Им подпели Борисовы тесть с тещей, которым Иван Петрович с Аленой приглянулись, видать, бесхитростностью и подладом. Присмотрим неторопко дом, сторгуемся, здесь большой совхоз, работа найдется. Будете при нас, а мы при вас, все равно надо к кому-то притуляться. Никто вас в Сосновке за хвост не держит.

Никто за хвост не держит, а Сосновка сама? А земля, которой отдана жизнь? И жизнь всего позаднего, прежнего рода. Неужели оставить все это архаровцам, которые, идучи с работы, по дороге сворачивают на кладбище оправляться,

с чем прихватил их однажды Иван Петрович? Кому-то надо или не надо держать оборону? Проть чужого врага стояли и выстоим, свой враг, как и свой вор, пострашнее.

С тем и примирился Иван Петрович, воротившись от сына и впрягшись опять в невеселый хомут сосновской жизни. Но знал он теперь, что не всюду живут одинаково и что есть куда оборачиваться за поддержкой. С тем и работал, продолжая тянуть лямку победителя соревнования, хотя никакого соревнования не было и в помине, а было — или работник ты, или нет, или природный пахарь, или неотставной болтун. И встревал, и лез на рожон, и сердце надрывал снова и снова — с тем же: не везде трын-трава. И выходил из отчаяния, и других наставлял, кто готов был из него не выбираться, соорудив из отчаяния стену, за которой… гори оно все синим пламенем.

Все с тем же.

Однако в последнем году стало совсем невмочь — с тех пор как прибыла и утвердилась теперешняя бригада архаровцев. Раньше этих бригад перебывало — не счесть. Поживут, погудят, покажут местному народу товар лицом — и восвояси, дальше пытать неприкаянную

свою судьбу. И уж на кладбище до десятка могил из них, кто ненароком отыскал ее и причалил навеки. Всякие наезжали, но таких, как нынешние, не было. Эти явились сразу как организованная в одно сила со своими законами и старшинством. Пробовали разбить их — не получилось. Пытались отправить на лесосеку на Ангару — нет. Остались на нижнем складе рядом с поселком на разделке и откатке, где нужны сноровистые руки. А у них сноровка по другим делам. И пошло-поехало. Лесом все кругом завалено вперепле т, так что не подъехать, кубатура вместе с обрезью, в огне горят и вершинник и хлысты. Стоишь с машиной по полчаса, пока сам не поможешь растаскать завал. Не удержишься — накричишь, а с них взятки гладки, они только похохатывают да подкусывают, накричишь потом на Бориса Тимофеича, а он на тебя. На работу стал выезжать как на каторгу.

И в поселке. В клубе бильярд на деньги, в магазине для всех очередь, для них — посторонись. А скажи — оборвут так, что недели не хватит, чтоб собрать себя по кусочкам. Люди, столкнувшись с какой-то невиданной сплоткой, держащейся не на лучшем, а словно бы на худшем в человеке, растерялись и старались держаться

от архаровцев подальше. Сотни народу в поселке, а десяток захватил власть — вот чего не мог понять Иван Петрович. Но, раздумывая об этом, догадывался он, что люди разбрелись всяк по себе еще раньше и что архаровцы лишь подобрали то, что валялось без употребления. Он допускал и верил даже, что при большой общей беде архаровцы могли показать себя людьми — не совсем же пропащее это племя, но при развезени, когда ни шатко ни валко, их собирает вместе и возносит в расхристанности неурядье, которое они чуют, слетаясь к нему, по-звериному обострившимся чутьем. Не зря прижились они в Сосновке; в Сырниках, где теперь сын, не прижились бы. А здесь за год съехало только двое. Один кавказского вида, державший попервости верх в команде, был, по-видимому, скинут и уволен своими же, после чего утвердился Сашка Девятый; другой, покалеченный в пьяной драке, обратно из больницы не вернулся. И еще один, по фамилии Сомов, отбился от своих и ушел в семью к Наде Почиваловой, мужик у которой утонул.

В декабре выруливал Иван Петрович с нижнего склада в поселок после работы, и на полдороге остановил его Сашка Девятый, шагавший с кем-

то из своих. Иван Петрович притормозил. Сашка сел, а тот, другой, остался, хотя место в кабине было. Красивый парень был этот Сашка — высокий, ладно сбитый, со светящимся белобрысым лицом, но красота как бы подточена чем-то. Сразу и не понять, в чем штука. Будто подсыхает она изнутри, морщится, будто поверху только и осталась.

До самого поселка ехали молча. Но, сходя у общежития, сказал Сашка с неряшливой улыбкой:

— Ты вот что поимей, гражданин законник, герой борьбы и труда... Ни нам до тебя дела нет, ни тебе до нас. А будешь к нам за делом ходить, и мы к тебе придем.

А вскоре кончилось в магазине питье. Кончилось и кончилось — ни справа по Ангаре нет, ни слева. И архаровцы, оголодав, снарядили с рюкзачком брата своего, Соню, в город. Неделю, пока летал да сидел он по непогодью в аэропортах, работали они за «того парня», скрывая, что его среди них нет. А тут лес, тут годовой план, день и ночь на нервах. Каждые руки на вес золота. А по прибытии Сони с продуктом архаровцы поредели вдвое. Иван Петрович привез директора и показал: смотрите, что творится. Тот снял бригаду с нижнего склада. Потом Борис Тимофе-

ич вернул ее, работать, в конце концов, кому-то надо было, а на запущенное архаровское место, опасное еще и тем, что оно архаровское, никто идти не хотел.

В январе, в ветреный со снегом день, когда в двух шагах ни холеры не видать, подъехал Иван Петрович на нижний склад и встал под разгрузку. Подошел разгрузчик, подцепил крюком лес и свалил на поката. За один раз не вывалить, снова зацепил остатки и снова потащил на себя. Не теряя времени, Иван Петрович стал поднимать стойки. В каждой из них вес нешуточный, сдуру не вымахнешь. Задрал наверх первую и замешкался, чтобы перевести дух. И только сделал шаг, только вынес из-под нее голову, тяжеленная металлическая подпора вдруг оборвалась. Взяла и оборвалась, хотя, установленная и наклоненная внутрь, не должна была пойти назад и никогда не ходила. С той стороны, куда вывалился лес, суетились архаровцы — двое. Иван Петрович постоял возле них, посмотрел, подумал и ничего не сказал. А что скажешь? И поехал, размышляя над судьбой.

На собрании, где подводились итоги года, Ивана Петровича премировали талоном на ковер. Он поднялся и, портя заведенную обедню,

отказался от талона: ковер ему был не нужен. Ни премии, ни почести ему были не нужны, а нужна была такая работа, которую с другого конца не подпирают, чтобы ее остановить, и такая жизнь, которая обошлась бы без подножек. Он так и сказал. Но сказал нервно, чуть не на слезе, допытываясь, почему делается вид, что все хорошо и даже прекрасно, если выполняем план, и до каких пор план станет прикрывать и оправдывать все, что творится внутри плана? Обида Ивана Петровича была не на архаровцев — что с них взять?! — а на своих, притерпевшихся и покосившихся, поверивших, что всякая перемена только во благо. Иван Петрович, разгорячась, захлебнулся тем же, что упирало его в спину и при ночных раздумьях: да неужели только он один это видит и понимает, а никто больше не видит и не понимает? И если он один, то зачем? Зачем видеть и понимать? Есть ли это истинное видение и понимание? Не покривился ли он сам тем именно, что слишком упирается, чтобы удержаться в прямизне?

Палисадник перед избой разворотили совсем недавно, уже после того, как Иван Петрович написал заявление об увольнении. Скорей всего подцепил с пьяных глаз кто-то из своих. Если

поспрашивать, нетрудно и доискаться, чья это работа. Но спрашивать не хотелось. И Алена молчала, а уж ей-то обязательно донесли. Обида с людей, правых и виноватых, сошла в нем в злость только на самого себя.

Спасение было одно: уехать.

14

С некоторых пор Иван Петрович невольно стал присматриваться к Алене внимательней. Даже и не присматриваться, а как бы прислушиваться к тому месту, которое она занимала с ним рядом. Каждый мужик, наверно, держит перед собой два образа жены — какая она есть и какой бы он хотел ее видеть. Они то совпадают, то расходятся, то заговорят одним голосом, то на разные. У них словно бы и лицо с отличинками, и меж собой они не обязательно ладят. Мужик, понятное дело, безошибочно слышит, когда подходит к нему одна и когда другая, но и она сама знает, где в ней какая, и она чувствует несоединенность в себе человека и жены. Конечно, то же самое можно сказать и о мужике, но сейчас не о нем речь.

И вот Алена его, неизвестно с какого времени, сошлась в одно целое. Больше всего озадачило Ивана Петровича, что он не заметил, когда это

произошло, когда он перестал делить ее на Алену для себя самой и Алену для него. Проживши тридцать да еще с гаком годочков, ясно, что они немало перелились друг в друга и тем уже стали роднее, что в каждом из них прибавилось плоти другого, которая не может не проникать к своему изначальному крову. Все это так, и все это должно бы относиться ко всем, десятки лет ложившимся в общую постель. Однако у Алены было что-то еще и особое. У нее изменился голос. Словно это не она говорит, а через нее говорит единая женщина, матерь всех мирских женщин. Голос сделался глубже, сочней и шел серединой звучания, не прибиваясь к сухим берегам. И частить она стала меньше, и слово стало добычливей: раньше она изводила великое множество слов, пока извлекала то, самое главное, ради которого заводила разговор, теперь же оно находилось быстрей, без артподготовки, как любил он подшучивать, и оказывалось точней.

Алена незаметно заняла место, на которое ее в молодости не хватало и которое можно определить так: женская сы́та. Это значит, что Алены было ровно столько, сколько нужно, — не больше и не меньше. Быть может, чуть больше, но маленький перебор всегда исправим. На-

ходился ли он дома или уходил, он постоянно чувствовал в себе Алену, продолжавшую свою неустанную службу. Она, как требовалось, добавляла или убавляла его характеру, находила в нем терпение и вела домой. В долгих рейсах у себя в машине он нередко разговаривал с ней, зная, чем она станет отвечать, и, поговорив, посоветовавшись, приходил к какому-нибудь решению. Опрятный и мягчительный тот мир, который был Аленой, с годами не только не выстыл, но еще и поразделся в понимании и тепле. Мужик, в котором не звучит голос жены: погоди, Ваня (или Степа), скоренько выпрастывается из жизни и, даже живя, ходит в ней как в малахае с чужого плеча.

Маленькая, подбористая, с девчоночьей фигурой, она не передвигалась, а взмывала и летала. И так до сих пор, хотя надо бы уже поубавиться прыти. Глядя на нее, не раз Иван Петрович обрывал себя на страшной и, быть может, вещей мысли, что такие люди, как Алена, такие порывистые и заведенные, срезаются мгновенно, без жалоб и постепенного остыва. В свое время, когда, наломавшись вдоволь и нормировщицей и учетчицей, наслушавшись матюков и нахолодавшись на вольном воздухе, спроси-

ла-сказала она, что собирается пойти в библиотекари, Иван Петрович засмеялся: «И что ты там станешь делать? В окошки, как бабочка, биться?» — не представляя ее сидящей, как того требовала работа с книгами. А она и не сидела. Она даже карточки выписывала на ногах, чуть склонившись над столом или подоконником. И по участкам, по участкам, подсовывая книжки даже тем, кто не знал, с какого конца они раскрываются. А сколько он, Иван Петрович, книг перечинил — до сотни! — сначала какие читал, потом остальные, и не одной починкой, а она все подкладывала и подкладывала.

Теперь, значит, и ей сходить с работы, которую она любила.

Не принято ныне хвалить жен, но что делать, если нечего представить Ивану Петровичу даже и для Бога самого об Алене худого. И как вспомнит он: вот она бежит, вот бежит повечеру в дом, нетерпеливая и утолокшаяся, чтоб скорей увидать мужика, вот на бегу еще выкрикивает что-то виноватое и прерывистое — и сразу мирью растягивается душа. Вот они сидят вдвоем за чаем, он молчит, она говорит за него и за себя, и он не знает, где чьи слова, а знает только, что наговорились они с пользой и всласть.

Жена — это что-то отдельное. Дозволенное для общей жизни, но отдельное. Иные весь век притираются друг к другу и не могут притереться. Алена для Ивана Петровича была больше, чем жена. В этой маленькой расторопной фигуре, как во Всеединой Троице, сошлось все, чем может быть женщина. Обычно таких, кто всю жизнь изо дня в день выстилается и выплескивается, не ценят, принимая как должное, как воздух и воду, эти старания и добиваясь чего-то, неизвестно чего еще. Русский мужик не привык жить с бабой в одну душу. А у Алены все это было без надсады и жертвы, а исходило из натуры ее и души, и она засохла бы на корню, если бы не над кем было ей хлопотать и кружить. Все до капельки выносила она в общую жизнь, ничего для себя не оставляя, и, опростанная, полегчавшая и с лица и с тела опавшая, столь счастливо и блаженно улыбалась, укладываясь спать, чтобы запастись за ночь новыми силами, что никаким хитрым сомнением нельзя было усомниться, будто это не так.

Каждый, поди, мужик держит в своей памяти какой-то один случай, способный сказать об его жене все. Давным-давно, еще жили в Егоровке, возился как-то Иван Петрович под машиной с невыключенным раскрытым мотором. Машина

была старая, «ЗИС-150». Он только после отыскал, где подтекало, а до того и не знал — мотор вдруг вспыхнул. Распластанный на земле и растерявшийся, Иван Петрович обмер. И выскочил он, когда на него чем-то сыпануло. В углу на предамбарнике стоял короб с песком, приготовленным для зимы, Алена одним махом подхватила его и ухнула на огонь. Потом, когда короб снова наполнили, Иван Петрович с великим трудом едва отодрал его от земли. Алене нечего было и пытаться.

— Это не я и была, — простодушно решила она. — Это кто-то, чтоб спасти тебя, мои руки подхватил да свою силу подставил. А я ниче и не помню. И тяжели вроде никакой не было.

И сколько такого случалось, что кто-то ее руками подымал и подымал непосильные тя́жели.

Когда пришел Иван Петрович и сказал, что все, конец, решил он подавать заявление, — она согласилась:

— Ну так че, Иван… конечно, к Борьке охота…

Он научился слышать и то, что она недоговаривала. К Борьке охота, но не так бы, не так…

15

Теперь только таскай и таскай. Иван Петрович подставлял плечо, стягивал на него с верхних рядов навала мешок, движением плеча укладывал его ловчей и разворачивался в сторону наскакивающих в двери беснующихся огненных сполохов. И, торя один ход, спускался к дороге. Дело знакомое, за жизнь свою потаскал, и, если бы не огонь, не беда, было бы в этой работе даже приятное, как не умственное, а физическое воспоминание о молодости, когда всей деревней нянькались с хлебом. И сколько потом за лесную свою жизнь, где только выпадал случай, брал Иван Петрович в щепоть мучицу, мял в пальцах и ждал, когда вслед за горчащей виной, как за побудкой, в поте, пыли и солнце не подступят картины хлебных работ.

Было их поначалу, выносивших муку, человек десять. И так славно подвинулось в азарте и общем подстеге, когда двое-трое набрасывают, остальные таскают, что за короткий аврал сняли всю верхотуру. Иван Петрович примеривался уже и к сахару: вот-вот браться и за него, а он, купчина, сладок на языке, да горек на горбке. Однако, не подымающему почти глаз и ничего

не видящему, кроме мешков да дороги, все реже стали попадаться Ивану Петровичу встречные фигуры и все хуже подаваться из складского запаса. Иван Петрович распрямился — осталось их четверо: он, да Афоня, да однорукий Савелий, усадьба которого была рядом, да какой-то покачивающийся, раздетый до рубахи, полузнакомый парень.

— Афоня! — крикнул Иван Петрович. — Че ж это такое опять? Где они?

— Там интереснее, Иван Петрович, — ответил тот, пробегая. — Интереснее там, понимаешь?

На себя. На себе. С себя. Недолгая пробежка, чтобы едва-едва вернуть прыгающее сердце на место, и снова: на себя, на себе, с себя. А уж не молоденький. И все глубже присядки на ходу, все чаще заплетаются ноги, и сердце не успевает отыскать свое гнездо. Даже Афоня, здоровый этот бугай, наваливавший поначалу крест-накрест по два мешка, и под одним бегал теперь с опущенной головой.

Появился Борис Тимофеич и тоже подстроился таскать, отдав власть само собой происходящим событиям. Но Афоня и Иван Петрович в голос потребовали, чтоб не пыжился он, а гнал сюда мужиков. Водников ушел, затем опять появил-

ся, приведя с собой нескольких, и один из этих нескольких, полупьяный архаровец, взялся организовывать цепочку — чтоб не тащить полным ходом, а передавать мешки из рук в руки. Афоня послал его вместе с цепочкой подальше, что тот и не замедлил исполнить, так что больше его и не видывали. Из нового привода прибавилось двое надежных — Семен Кольцов и слесарь из гаража Тепляков. Мелькнул, посветив раза три удалым лицом, Сашка Девятый и исчез.

Где больше — на вынутом, вынесенном на дорогу, или в складе — не разобрать.

Иван Петрович отметил, что Тепляков взялся за крупу. Правильно, наверно: надо бы и ее хоть сколько-нибудь отбить. Надо бы все отбить, но огонь в ближнем складу нажимал, похрустывала, подготавливаясь, и заметно нагревалась общая стена, к которой приваливалась крупа. В помощь Теплякову Иван Петрович решил брать поочередно: раз мука, раз крупа. Внутри потускнело и помертвело, густо ходила мучная пыль, всполохи из дверей попригасли и мелькали только на сахаре. И все больше и больше наносило справа, когда вбегали, и слева, когда выбегали, напористым горячедуем.

Под мешками ничего не видел и не слышал

Иван Петрович. Бухало сердце, и все остальные звуки глохли или казались слабыми подголосками в этом раздирающем грудь прибое. Перед глазами все смешалось — пожар изнутри и пожар настоящий, те и другие огни наплывали и кипели одновременно. Иван Петрович запалился. Скинув мешок, он вслед за мешком повалился на деревянный настил и ухватился, как привязался, взглядом за подвернувшуюся постройку, чтобы не потерять сознание. Этой постройкой оказалась баня, из которой вдруг появился человек, по виду хозяин ее, однорукий Савелий, и, угадывая в следы, спустился к дороге. Широко округ было озарено, но темно было в глазах у Ивана Петровича, и он не мог сказать, действительно ли кто выходил из бани или ему померещилось.

И еще померещилось ему: ходит старуха в короткой шубейке с поднятым воротником и рвет обочь дороги цветы. Идет-идет, высматривая, наклонится, торопливо сорвет и в сумку. И на другой сугробный наклон. Иван Петрович узнал ее, когда обернулась она, и пожалел, что узнал, потому что тут же и догадался, что это были за цветы, что за подснежники. Старуха, за которой ничего похожего никогда не водилось,

подбирала выбросанные со двора бутылки — и уж, конечно, не пустые. Да ведь и истории такой до сегодняшней ночи тоже не водилось.

Из-за угла от Ангары вымахнул огонь — и это над последним, над мучным складом. Иван Петрович вскочил. Вот почему никто после него не спустил ни мешка: теперь только выносили и сбрасывали в пяти шагах от дверей, времени на полный перенос не осталось.

На другом конце огня, где промтоварные склады и где пылало сплошной мощью, как жаром, качало неровный людской строй. И слышался оттуда резкий голос Бориса Тимофеича, перекрывающий разнобой всех других криков. Люди стояли там — чтобы не пустить огонь к магазину. Уцелеет магазин — поверится, что почти победили, что чуть-чуть — и победили бы полностью.

Посреди двора, размахивая здоровой рукой, прыгал кособоко вокруг вороха со спасенным добром дядя Миша Хампо. Издали смотреть — казалось, что заворачивает он разбегающихся от курицы цыплят.

Стоять в воротах ему было незачем, все теперь было растворено.

Дядя Миша Хампо, этот дух егоровский, парализован был с детства и плетью таскал правую

руку, которая едва годилась для нехитрого подтыка или прихвата, и говорил с таким трудом, что постороннему человеку понять его было невозможно. «Хампо-о! Хампо-о-о!» — долго-долго возил он, извлекая из оцепеневших глубин нужное слово, и, если удавалось его извлечь, торопливо подтыкал это слово находившимся где-то неподалеку «ага» и озарялся счастливой улыбкой. Кто знал дядю Мишу Хампо, торопился помочь ему подставить следующее слово, и тогда он, сияя крупным темнокорым лицом, только кивал и агакал. «Хампо-о!» — начинал он, переступая через порог, и хозяин или хозяйка, не затрудняясь ничуть, отвечали: «Здравствуй, здравствуй, проходи. Был, говоришь, в магазине? Очередь? И обед уж сварил? Ну, когда так, садись чаевничать с нами».

Чтобы понимать друг друга, много слов не надо. Много надо — чтобы не понимать.

Жил дядя Миша один. Жену свою, из военных переселенок, он похоронил давно, племянник, которого они воспитали, после армии завербовался на Север и, золоторукий, сметливый, всему сызмальства обученный, получал там большие деньги и не слал ни копейки. Дядя Миша и обстирывал, и обстраивал себя, выкармливая

поросенка, и в свои семьдесят лет нанимался еще колоть людям дрова. Силы он был могучей и одной, левой, рукой привык делать все, что угодно. Но это раньше он был силы могучей, теперь она, конечно, поизносилась, и, возясь с дровами, все чаще втыкал он колун в чурку и подолгу и неотрывно смотрел на замерзшую, на открытую ли Ангару.

Иногда порывался он сказать что-то об Ангаре, а вероятней всего, об Егоровке, ушедшей под воду, показывал в ее сторону рукой, давился «хампо», но тут уж люди, кроме названия старой деревни, подсказать ему ничего не могли. Дядя Миша огорчался и уходил.

А ведь что-то тужился он сказать важное.

Хампо был прирожденный сторож, сторож-самостав. Не из-за уродства своего, нет — делал он любую работу и переделал ее безотказно во множестве. Так он выкроился, такой из сотен и сотен уставов, недоступных его голове, вынес первый устав: чужого не трожь. Все неудобства мира и неустройство его он, быть может, с одним только и связывал: трогают. С великой охотой шел дядя Миша на любую охранную службу: караулил при колхозе егоровский горох, объезжая из году в год верхом на кобыленке поля,

ночи проводил на зернотоках, днем в свободную минуту вышагивал досматривать в коровнике и конюховке. И за зоркое свое око плату никогда не спрашивал, считая, что общественный оберег, который он творит, на него возложен рождением. И в новом поселке, когда перевозились и строились, дядя Миша поначалу сошел бы за коменданта: за всем присматривал и во все, требующее охраны, встревал. К этому привыкли, и никому из своих в голову бы не пришло одергивать дядю Мишу, что лезет он не в свое дело. Но в первые годы и кражи случались редко. А если случались, дядя Миша переживал страшно. Не существовало для него в установленном житейском порядке большего несчастья и большего урона, чем воровство. «Что ж ты, дядя Миша, куда ты смотрел?» — спрашивали его не шибко чуткие к чужой боли люди, хорошо зная, что за этим последует. Следовало всегда одно: дядя Миша, безуспешно пытаясь что-то выговорить, в чем-то оправдаться, принимался рыдать. «Хампо-о! Хампо-о!» — на куски рвало его душу, крупное тело сотрясалось, по лицу катились слезы, правая рука норовила подняться и что-то указать.

Со временем воровство утвердилось, и дядя Миша долго не протянул бы, если бы с таким

надрывом отзывался на всякую кражу. Пришлось и ему привыкать. При слухах о пропаже он уже больше не вздрагивал, как от удара, и не убегал в свою избенку, чтобы не показать слабость больного, лишь лицо его деревенело, выражая какую-то огромную, забирающую всю жизнь сосредоточенность, и немало требовалось времени, чтобы на нем опять появилась виноватая улыбка.

Но он, и вор-то, ныне переродился один дьявол знает во что. То взрослые ребята, чтобы угодить на праздник молоденьким учительницам, заберутся в чужой курятник и поотрывают петухам головы, то при полном сыт-одет и нос в табаке разорят старушонку, с великой натугой собравшую магазинское угощение для работников, согласившихся распилить дрова. И прежде бывало… Но не бывало такого, чтоб один из озорников, доставивших для потрошенья птицу, приходился родным братом учительнице, у которой справлялся праздник, чтоб другие озорники, проверявшие у старушонки кладовку, теми как раз и оказались работниками, которым готовилось угощение и которые, угостившись, работниками быть отказались.

Не воры — пакостники.

16

Все чаще и дотошней, решившись на переезд, стал раздумывать Иван Петрович: что надо человеку, чтобы жить спокойно? Если есть у него работа, на которую он не смотрит как на каторгу, и семья, к которой его тянет, — что требуется еще, чтобы, проснувшись ненароком ночью, не чаял он дождаться утра для желанной подвижки?

Начать с достатка… Достаток — да, он надобен, без него человек начинает хлябать, как отошедшая от мяса кость. Но достаток — это не только запас в себя, на себя и за себя, не только то, что требуется сегодня и потребуется завтра для удовлетворения живота, а также для удовлетворения самому выйти и другим нос утереть. Когда бы так, до чего бы все было просто. Но боров в теплом закутке не может не знать, что его откармливают на мясо, потому что хоть маленькие и заплывшие да есть у него глаза, способные видеть, что работа у тех, кого не на мясо, — не только жрать, а жизнь — не одно лишь ожидание жратвы. Человек, окруживший себя целой оравой подспорья, вырабатывающего достаток, обязан иметь внутри этого достатка что-то особое, происходящее из себя, а не из одного

лишь хвать-похвать, что-то причинное и контролирующее, заставляющее достаток стыдиться, вопреки себе, полной своей коробушки.

Ну ладно, о достатке потом.

Не только во имя его превосходительства брюха делается работа. Сколько их, неработающих или едва работающих, набивают брюхо ничуть не хуже, сейчас это легко. Работа — это то, что остается после тебя. Тебя нет, ты уже и сам становишься работой для других, а она долго-долго еще будет напоминать о тебе живущим вслед за тобой. Так говорят. Так оно и есть, тем более если работа твоя вливается в полезную реку. Есть две реки — с полезным и бесполезным течениями, и какое из них мощней, туда и сдвигается общая жизнь. Но это опять-таки в общем, в каких-то огромных, надчеловеческих понятиях, а что должен испытывать он, чуть свет выезжающий завтра за двадцать и тридцать километров, чтобы привезти за смену свои кубометры древесины? Конечно, уже сам язык: километры, кубометры, древесина — вроде бы должен определять чувства, наталкивая их на рубли. Но это не так. Не совсем так. Не рубли его подстегивают, заставляя перегружать «КрАЗ» и выкраивать лишний рейс, а сама работа, берущая единым

охватом сотни людей. В работе он не помнит, что это километры, кубометры и рубли, он возносится над ними в какую-то иную высь, где нет никакой бухгалтерии, а есть лишь движение, ритм и празднество. Там он постоянно двигается попутно, а потому двигаться легко. Чему попутно, он не мог бы сказать, похоже, попутно душе, ее изначальному наклону; там он весь превращается в ответ на чей-то стремительный зов, душа его выструнивается и начинает раскрыто и вольно звучать.

Да, он работник, он за собой это знает, и с той высоты, на которую он взмывает в работе, жизнь видится надежней всего.

Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьей, работа, люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре одна важней другой. Захромает какая — весь свет внаклон. Это только в детских глазах мир выглядит как чудесный подарок, сияющий солнцем и наполненный людским доброжелательством. Чем дальше от рождения, тем больше поднимающееся солнце высвечивает его расстроенность и разнобой. В младых летах Ивану Петровичу казалось, что эта недостроенность, незаконченность в долгой

и тяжелой работе, требующей продолжения, но затем стало видно, что, не будучи достроенным, он расшатался и на старых основаниях, а люди торопливо возводят все новые и новые, раскачивающиеся на незакрепленных низах.

Ни в какие времена люди не приближались, вероятно, к подавляющей добросклонности, и всегда на одного склонного приходилось двоетрое уклонных. Но добро и зло отличались, имели собственный четкий образ. Не говорили: зло — это обратная сторона добра с тем же самым лицом, косящим не вправо, а влево, а считалось, что зло — это еще не обращенная, вроде язычества, в лучшую нравственную религию сила, делающая дурно от своей неразвитой звериной натуры, которая не понимает, что она делает дурно. Если бы удалось между добром и злом провести черту, то вышло бы, что часть людей эту черту переступила, а часть еще нет, но все направлены в одну сторону — к добру. И с каждым поколением число переступивших увеличивается.

Что затем произошло, понять нельзя. Кто напугал их, уже переступивших черту и вкусивших добра, почему они повернули назад? Не сразу и не валом, но повернули. Движение через чер-

ту сделалось двусторонним, люди принялись прогуливаться туда и обратно, по-приятельски пристраиваясь то к одной компании, то к другой, и растерли, затоптали разделяющую границу. Добро и зло перемешались. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло — в силу.

Что такое теперь хороший или плохой человек? А ничего. Устаревшие слова, оставшиеся в языке как воспоминание о дедовских временах, когда с простотой и наивностью человека оценивали по его душевным жестам, по способности или неспособности чувствовать, как свое собственное, чужое страдание. В житейской же практике уже тот ныне хороший человек, кто не делает зла, кто без спросу ни во что не вмешивается и ничему не мешает. Не естественная склонность к добру стала мерилом хорошего человека, а избранное удобное положение между добром и злом, постоянная и уравновешенная температура души. «Хата с краю» с окнами на две стороны перебралась в центр.

Что прежде творилось по неразумению, сделалось искусом просвещенного ума. От чего веками уходили, к тому и пришли. Не пришли, а скоренько подъехали на моторе, объявив величайшей победой человека то именно, что

уходили пешком, а подъехали на моторе.

Так вот, о достатке. Есть достаток, и даже не маленький, а все не живется человеку с уверенностью ни в сегодняшнем, ни в завтрашнем дне, все словно бы бьет его озноб, и озирается он беспокойно по сторонам. Не весь, стало быть, достаток, чего-то недостает. Себя, что ли, недостает — каким мог он быть при лучшем исходе, и эта разница между тем, чем стал человек и чем мог он быть, взыскивает с него за каждый шаг отклонения.

В долгих и обрывистых раздумьях перебирая жизнь во всем ее распахе и обороте, пришел Иван Петрович к одному итогу. Чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома. Вот: дома. Поперед всего — дома, а не на постое, в себе, в своем собственном внутреннем хозяйстве, где все имеет определенное, издавна заведенное место и службу. Затем дома — в избе, на квартире, откуда с одной стороны уходишь на работу и с другой — в себя. И дома — на родной земле.

И нигде не получалось у него быть дома. На земле — что не затоплено, то опорожнено лесозаготовками, и ни заботы этой земле, ни привета. В себе полный тарарам, как на разбитом

и переворошенном возу. А коль нет приюта ни там, ни там, не будет его, как ни старайся, и посредине.

— Уезжаешь, значит? — спросил Афоня, вместе с которым вышли после работы из гаража. Слух уж прошел, что подал Иван Петрович заявление.

— Уезжаю.

— И что там, куда едешь?

— Хлебушко. Пашут, сеют, а уж после убирают. Помнишь, как в Егоровке было?

— А заработки как?

— Поменьше, наверно. Но мне теперь много не надо.

Не то спрашивал Афоня и не то отвечал ему Иван Петрович. Не то. Пока не сказал Афоня:

— Ты уедешь, я уеду — кто останется?

— Кто-нибудь останется.

— Кто? Кто — кто-нибудь, Иван Петрович? — на последнем голосовом дожиме не сказал — простонал Афоня. — Эх!.. Неужто так и бросим?! Обчистим до ниточки и бросим! И нате — берите, кому не лень!

— Устал я, Афоня. Исстервозился. Сам видишь, никакого от меня толку.

— А Егоровка?

— Что Егоровка?

Думал, скажет Афоня: в нас она, в нас. Думал, начнет говорить, что уедем мы отсюда — и будто не было ее, Егоровки нашей, никогда, а пока здесь — и память о ней живет. Потому что и сам так же рассуждал. Но сказал Афоня:

— Найдешь ты место на воде, где стояла Егоровка?

— Не знаю. Прикину — найду.

— А я вот хочу нонешним летом знак какой поставить на этом месте. Что стояла тут Егоровка, работницей была не последней, на матушку-Россию работала.

— Как же ты поставишь? Кто тебе позволит?

— А кто мне запретит? Нету такого запрета, Иван Петрович. Не слыхал, чтоб такой запрет был. Никогда не слыхал. Если на земле можно, почему на воде нельзя?

Иван Петрович опомнился:

— Игрушки все это. Маленький ты, что ли, такими игрушками играть? Кому от них легче?

— Эх, Иван Петрович, — как-то свободно, но не облегченно, от горькой души, рассмеялся Афоня. — Прикинь-ка: столько игрушек кругом… может, моя не лишняя будет?

Ему надо было сворачивать в свой заулок — он свернул.

17

Так оно и водится: пока без огня, тужились они с Афоней вдвоем, а налетел огонь — сбежались и люди. И густо их теперь кипело, как в котле, в последнем складе, откуда выплескивало беловатой накипью — летели без разбору мешки с мукой, с крупой и с сахаром. И все норовили туда, под жар и накал. Оно бы и не худо, хлеб же, не что иное спасают, да промелькивали среди спасателей пьяные. Одного — парня, с которым сбивали крышу, а после выкатывали масло, — Иван Петрович выхватил из пекла, когда уж он ничего не соображал. Выхватил и спустил под дорогу, где тот и пристроился с ночевой на муке. Другого, архаровца в подгоревшей телогрейке, кто-то выпихнул изнутри как мешок, и, пока валялся он среди мешков, возясь и устанавливаясь на ноги, заметил Иван Петрович на нем новые, неразношенные валенки.

Выбрасывали мешки сразу за дверь, выбрасывали, лишь бы выбросить, выхватить из огня. И здесь, в двух шагах от склада, было для них не спасение. Рухнет крыша, и там же, под огнем, все и останется. Иван Петрович взялся оттаскивать к забору. Он уже и не взваливал на плечи,

а натягивал на жидкий живот и с неловким подбегом сбрасывал под уклон. Там опять кто-то подхватывал и выносил на дорогу. И по тому, как подхватывал, косолапо загребая под бок, Иван Петрович определил, что то был однорукий Савелий.

Здоровый мужик однорукий Савелий, неизработанный и цепкий, не глядя на годы. И сегодня он ворочал и ворочал, несуетно и споро, и сильная его рука, как клешня, не срывалась, когда ухватывал он мешок.

Кто-то пьяным голосом звал Ивана Петровича. Если доходил голос, значит, не из огня, значит, не горит человек, — и не оборачивался Иван Петрович. Счет теперь пошел на последние минуты.

Зачем-то ему понадобилось: что сейчас — ночь или утро? Понадобилось больше желания упасть и отдышаться. Он вскинул глаза к горе, откуда выходит рассвет, и там, показалось ему, темь как бы сыреет, берется мутноватой влагой. Стало быть, близко к утру. С завороченными глазами он запнулся и едва не упал.

И странно: то вдруг все вокруг умолкало, и Иван Петрович оставался в полной тишине и безлюдье, то опять налетали звуки и начинали рядом метаться люди. И тогда оборванно отдавался

в нем каждый крик — будто в него он и метил и в нем оседал, и тогда, не глядя, видел он весь двор с горящими теперь уже полным охватом складами, раззявленными на месте заборов сторонами и беспорядочной круговертью внутри.

В углу, где загорелось, догорало низовым жаром. Там, казалось, и было поддувало, оттуда выносило огонь на два плеча широким и загнутым коромыслом, на концах которого сквозь пламя еще протемнивали, как подвесы, крайние склады. Тот, что был на пути к магазину, мужики наполовину раскатали, там опять командовал голос Козельцова. Они наскакивали и отскакивали, наскакивали и отскакивали, их отметало раскалом как комаров.

Не гуд, не свист и не вой был тем основным звуком, с которым буйствовал огонь, а треск, могучий треск — словно выламывалось пламя из дерева и, взметываясь, распарывало небо.

И все кричали и кричали во дворе.

Валя-кладовщица требовала у Водникова комиссию, чтоб, не откладывая, сделать опись спасенного. Борис Тимофеич сорванным голосом выкашливал:

— Какая комиссия?! Очумела ты?! Какая счас комиссия! Ты погляди!

— Нет, это ты погляди! — Валя выбрасывала руки и разводила их по кругу. — Тут че осталось, ты погляди! Ящики считаные были, — она показывала на штабеля из ящиков с водкой. — Шестьдесят восемь ящиков было сосчитано — где они, шестьдесят восемь?!

— Пропади они пропадом, твои ящики! Кто их вытаскивал? Я не давал распоряжения, чтоб их вытаскивали! Пускай горят.

— Нет, это пропади они пропадом, твои работники! Эти ящики у меня на шее сидят!

И как плеснуло из нее, что еще сидит у нее на шее, да как сдавило каленым обручем эту тонкую шею, зарыдала опять Валя. А когда отняла она от лица руки, Водникова рядом уже не было, а топтался рядом дядя Миша Хампо, порывающийся как-нибудь пожалеть беднягу.

— Ты смотри, дядя Миша, смотри, — в десятый раз сквозь слезы попросила она и принялась подтаскивать, ей помогал дядя Миша, развaленное и разбросанное к одному табору.

В мучном складу стали покрикивать громче и дурней — без крику, без того, чтобы не понужнуть и не рвануть себя, не получалось. И все чаще, выбрасывая мешки, стали задерживаться мужики — чтоб хватануть воздуха. Иван Петро-

вич по-прежнему стоял на перевале. Ни рук и ни ног он не чуял под собой, и в загонистом темпе потерялось и не взбрыкивало больше сердце. Одно лишь помнил: взвалить, удержать и свалить, и три этих нехитрых приема, повторенные без счету, на три дыха и делили его пробежки.

Выпуская из рук мешок, в общем движущемся беспорядке он почувствовал какой-то особый вывих. И верно, как бы не увидел, а почувствовал неладное и только потом посмотрел. И опять чья-то фигура ушла дальше, чем требовал беспорядок, и уходила она к бане, уходила туда и уносила мешок. Иван Петрович спустился к дороге. На обратном ходу фигура дернулась, заметив, что ее ждут, и прибавила шагу. Не из тех был Савелий, чтобы растеряться.

— Что ж ты делаешь? — встретил его Иван Петрович. — Оголодал?

— А ты видел?

— Видел.

— Ни хрена ты не видел. Ты заявление написал. Ты теперь туда смотри, куда написал. Понял?

И опустил свою единственную, тяжелую руку на плечо Ивану Петровичу.

Почему это, когда хотят внушить что-то недоброе, хлопают по плечу?

Успели. В последнем складу подобрали все и вывалились наружу — орущие, запаленные и бешеные. Кричал диким ревом и Афоня Бронников, всегда спокойный и уравновешенный мужик, похожий сейчас на матерого дьявола: в муке, в саже и расхлобыст. Иван Петрович смотрел на них удивленно и виновато, будто он здесь стоял руки в брюки. Бухнуло чем-то внутри опорожненного склада и завыло и вырвало огонь наверх, соединяя последним прихватом весь продовольственный ряд в одно высокое ревущее горение.

Кто-то, окончательно угорев, с отчаянным хрипом вырывал из себя:

Вра-гу не сда-ет-ся наш гор-дый «Варяг»!

По-ща-ды ник-то не же-ла-ет!

Дядя Миша Хампо, на всякое в этой жаркой суматохе наглядевшийся, все же протер для верности глаза: двое играли в мяч. Разбитый и разлохмаченный, похожий на большой рыхлый сверток, он отлетал от ноги одного к другому, отлетал от другого и так, под пинками и бросками, зигзагами подвигался к сваленному забору. Дядя Миша оглянулся, чтобы показать, и никого

поблизости не случилось. Мяч тем временем плюхнулся на забор, из него что-то вывалилось. Не раздумывая больше, Хампо кинулся к игрокам. Один из них подхватил мяч руками, перекинул на улицу и прыгнул сам. Дядя Миша прыгнул за ним. И когда тот нагнулся, чтобы поднять, дядя Миша настиг его, опустив на воротник здоровую руку, оторвал, как ребенка, от земли и успел рассмотреть, что мячом действительно был сверток с выглядывающими веером цветными тряпками. А тот, кто подымал его, был Соня.

Хампо только-только сумел рассмотреть, кто это и что, как сбоку на него обрушился удар. Он успел перебрать руку, огрести Соню за шею и притянуть к себе. Тот завизжал по-поросячьи, норовя подпрыгами поддеть дядю Мишу на калган. И снова и снова ударили его чем-то тяжелым — не руками. Дядя Миша тянул голову, чтобы увидеть, кто бьет, но никак не мог поднять ее и только выставлял правую, не подвластную ему руку, пытаясь защититься. И все били и били его, все били и били…

Так потом и увидел их Иван Петрович: лежат на истоптанном снегу в обнимку — маленький, скрюченный в три погибели Соня и навалившийся на него с вывернутой головой дядя Миша

Хампо. А в пяти шагах валяется колотушка.

18

Всему приходит конец. Отошла и эта страшная ночь, встало утро, и при белом свете опустился огонь вниз и приутих, устало добирая остатки. Утро встало теплое и сырое, и едкий дым, не подымаясь, обволок поселок и не сходил с него. И по берегу, и по льду темнели и чадили головешки, расквашенный грязный двор, резко очерченный с двух сторон широкой и дымящей полосой пожарища, представлял из себя что-то до жути окончательное и безнадежное. И уцелевший зелененький магазинчик ничуть не успокаивал, а добавлял, напротив, выбивающимся своим видом и горечи, и боли, и угара.

Под огромным новым брезентом так и лежало посреди двора спасенное орсовское добро. И под брезентом же лежали до сей поры не разлученные дядя Миша Хампо и Соня. И там и там стояла над брезентами охрана, никого не подпуская и не вступая в разговоры.

Ждали милиционера и следователя. Ждали комиссию — и одну, и вторую, и третью, которым теперь не будет конца… Ждали собственное начальство и высокое приездное. С первым

рабочим часом во все адреса посланы были телеграммы. Оставили всякие труды, тихо было в гараже и на улицах, и ни звука не доносилось с нижнего склада. Ждали.

Ждали: что будет дальше?

…Иван Петрович, воротившись с пожара, не прилег. Печь топилась, когда он пришел, Алена и под бомбежкой не забыла бы обиходить дом, и сразу подано было на скорую руку на стол. А подав, Алена горько-горько зарыдала и упала на кровать.

Иван Петрович посидел, посидел, не притронувшись к еде, потом переобулся, посмотрел в окно, как несет с берега дым, и вышел. Он пошел к Афоне, чтобы успеть до того, как Афоня свалится в сон. Но и Афоня не собирался ложиться. Дочь промывала и смазывала ему чем-то две глубокие, как раны, запекшиеся кровью ссадины на лбу и подбородке. Когда дочь отнимала руки, он прихлебывал из огромной металлической кружки чай.

Спросил Иван Петрович:

— Что будем делать, Афанасий? Ты знаешь, что теперь делать, нет?

— Жить будем, — морщась то ли от потревоженных ран, то ли от потревоженной души,

сказал Афоня. — Тяжелое это дело, Иван Петрович, — жить на свете, а все равно… все равно надо жить.

И тоже спросил, отхлебнув из кружки:

— А ты что решил делать?

— Будем жить, — только и, переставив те же самые слова другим порядком, ответил Иван Петрович.

19

Тихая, печальная и притаенная, будто и она страдала от ночного несчастья, лежала в рыхлом снегу земля. От горы открытым полем она полого соскальзывала вниз и за редкими сосенками переходила в лед. По горе стоял лес, из него выдвигались в поле две темные пустошки, лес чернел и впереди, куда шел от поселка Иван Петрович, но там и совсем редью, за которой начинался залив. На притыке к первой пустошке, тесня ее от дороги, положено было кладбище, куда отдавать на днях отстрадовавшегося егоровского мужика и потерявшего имя безвестного горемыку. Они, люди живые, отрядят, кого куда опустить, но ей, земле, решать, ей, вынашивающей правых и виноватых, своих и чужих, собственным поставом судить, что потом из кого

выйдет.

Тихо-тихо кругом — как в отстое, в котором набирается новое движение. Не достигал сюда дым из поселка, в обеднявшем приглушенном свету виделось далеко и чисто. Отяжелевшее, несвежей белизны небо, такое же, как подтаявшее под ним поле, длинным уклоном уходило за Ангару, где садится солнце. И там темнел лес, и там неплотно.

Но уже натягивались отзывчиво, поддаваясь первому отогреву, сосенки на берегу и пригарчивал воздух, уже вязко проседал под ногами снег и отмякал дальний речной раствор. Весна отыскала и эту землю — и просыпалась земля. Устраивать ей теперь переклик, что уцелело и что отмерло, что прибавилось от людей и что убавилось, собирать уцелевшее и неотмершее в одну живу и приготавливать к выносу. Разогреется солнышко — и опять, как и каждую весну, вынесет она все свое хозяйство в зелени и цвету и представит для уговорных трудов. И не вспомнит, что не держит того уговора человек.

Никакая земля не бывает безродной.

Иван Петрович все шел и шел, уходя из поселка и, как казалось ему, из себя, все дальше и дальше вдавливаясь-вступая в обретенное одиночество.

И не потому только это ощущалось одиночеством, что не было рядом с ним никого из людей, но и потому еще, что и в себе он чувствовал пустоту и однозвучность. Согласие это было или усталость, недолгая завороженность или начавшееся затвердение — как знать! — но легко, освобождение и ровно шагалось ему, будто случайно отыскал он и шаг свой, и вздох, будто вынесло его наконец на верную дорогу. Пахло смолью, но не человек в нем чуял этот запах, а что-то иное, что-то слившееся воедино со смоляным духом; стучал дятел по сухой лесине, но не дятел это стучал, а благодарно и торопливо отзывалось чему-то сердце. Издали-далеко видел он себя: идет по весенней земле маленький заблудившийся человек, отчаявшийся найти свой дом, и вот зайдет он сейчас за перелесок и скроется навсегда.

Молчит, не то встречая, не то провожая его, земля.

Молчит земля.

Что ты есть, молчаливая наша земля, доколе молчишь ты?

И разве молчишь ты?

1985

Рассказы

Что передать вороне?

Уезжая ранним утром, я дал себе слово, что вечером обязательно вернусь. Работа у меня наконец пошла, и я боялся сбоя, боялся, что даже за два-три дня посторонней жизни растеряю все, что с таким трудом собирал, настраивая себя на работу, — собирал в чтении, раздумьях, в долгих и мучительных попытках отыскать нужный голос, который не спотыкался бы на каждой фразе, а, словно намагниченная особым манером струна, сам притягивал к себе необходимые для полного и точного звучания слова. «Полным и точным звучанием» я похвалиться не мог, но кое-что получалось, я чувствовал это и потому без обычной в таких случаях охоты отрывался на сей раз от стола, когда потребовалось ехать в город.

Поездка в город — это три часа от порога до порога туда и столько же обратно. Чтобы, не дай Бог, не передумать и не задержаться, я сразу проехал в городе на автовокзал и взял на последний автобус билет. Впереди у меня оставался почти полный день, за который можно успеть и с делами, и побыть, сколько удастся, дома.

И все шло хорошо, все подвигалось по-задуманному до того момента, когда я, покончив с суетой, но не сбавляя еще взятого темпа, забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь мне очень обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожденный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею.

— Приехал? — по-взрослому спросила она и, часто взглядывая на меня, стала торопливо одеваться.

До дому было слишком близко, чтобы прогуляться, и мы мимо дома прошли на набережную. Погода для конца сентября стояла совсем летняя, теплая, и стояла она такой без всякого видимого изменения уже давно, всходя с каждым новым днем с постоянством неурочной, словно бы дарованной благодати. В эту пору и в улицах было хорошо, а здесь, на набережной возле реки, тем более: тревожная и умиротворяющая власть веч-

ного движения воды, неспешный и неслышный шаг трезвого, приветливого народа, тихие голоса, низкая при боковом солнце, но полная и теплая, так располагающая к согласию, осиянность вечереющего дня. Это был тот час, случающийся совсем не часто, когда чудилось, что при всем многолюдье гуляющего народа каждого ведут и за каждого молвят, собравшись на назначенную встречу, их не любящие одиночества души.

Мы гуляли, наверное, с час, и дочь, против обыкновения, почти не вынимала своей ручонки из моей руки, выдергивая ее лишь для того, чтобы показать что-то или изобразить, когда без рук не обойтись, и тут же всовывала обратно. Я не мог не оценить этого: значит, и верно соскучилась. С нынешней весны, когда ей исполнилось пять, она как-то сразу сильно изменилась — по нашему понятию, не к лучшему, потому что в ней проявилось незаметное так до той поры упрямство. Сочтя себя, видимо, достаточно взрослой и самостоятельной, дочь не хотела, чтобы ее, как всех детей, водили за руку. С ней случалось вести борьбу даже посреди бушующего от машин перекрестка. Дочь боялась машин, но, отдергивая плечико, за которое мы в отчаянии хватали ее, все-таки норовила идти своим собственным хо-

дом. Мы с женой спорили, сваливая друг на друга, от кого из нас могло передаться девочке столь дикое, как нам представлялось, упрямство, забывая, что каждого из нас в отдельности для этого было бы, разумеется, мало.

И вот теперь вдруг такие терпение, послушание, нежность… Дочь расщебеталась, разговорилась, рассказывая о садике и расспрашивая меня о нашей вороне. У нас на Байкале была своя ворона. У нас там был свой домик, своя гора, едва ли не отвесно подымающаяся сразу от домика каменной скалой; из скалы бил свой ключик, который журчащим ручейком пробегал только по нашему двору и возле калитки опять уходил под деревянные мостки, под землю и больше уже нигде и ни для кого не показывался. Во дворе у нас стояли свои лиственницы, тополя и березы и свой большой черемуховый куст. На этот куст слетались со всей округи воробьи и синицы, вспархивали с него под нашу водичку, под ключик (трясогузки длинным поклоном вспархивали с забора), который они облюбовали словно бы потому, что он был им под стать, по размеру, по росту и вкусу, и в жаркие дни они плескались в нем без боязни, помня, что после купания под могучей лиственницей, растущей посреди

двора, можно покормиться хлебными крошками. Птиц собиралось помногу, с ними смирился даже наш котенок Тишка, которого я подобрал на рельсах, но мы не могли сказать, что это наши птички. Они прилетали и, поев и попив, опять куда-то улетали. Ворона же была точно наша. Дочь в первый же день, как приехала в начале лета, рассмотрела высоко на лиственнице лохматую шапку ее гнезда. Я до того месяц жил и не замечал. Летает и летает ворона, каркает, как ей положено, — что с того? Мне и в голову не приходило, что это наша ворона, потому что тут, среди нас, ее гнездо и в нем она выводила своих воронят.

Конечно, наша ворона должна была стать особенной, не такой, как все прочие вороны, и она ею стала. Очень скоро мы с нею научились понимать друг друга, и она пересказывала мне все, что видела и слышала, облетая дальние и ближние края, а я затем подробно передавал ее рассказы дочери. Дочь верила. Может быть, она и не верила; как и многие другие, я склонен думать, что это не мы играем с детьми, забавляя их чем только можно, а они, как существа более чистые и разумные, играют с нами, чтобы приглушить в нас боль нашего жития. Может быть, она и не

верила, но с таким вниманием слушала, с таким нетерпением ждала продолжения, когда я прерывался, и так при этом горели ее глазенки, выдавая полную незамутненность души, что и мне эти рассказы стали в удовольствие, я стал замечать в себе волнение, которое передавалось от дочери и удивительным образом уравнивало нас, точно сближая на одинаковом друг от друга возрастном расстоянии. Я выдумывал, зная, что выдумываю, дочь верила, не обращая внимания на то, что я выдумываю, но в этой, казалось бы, игре существовало редкое меж нами согласие и понимание, не найденные благодаря правилам игры здесь, а словно бы доставленные откуда-то оттуда, где только они и есть. Доставленные, быть может, той же вороной. Не знаю, не смогу объяснить почему, но с давних пор живет во мне уверенность, что если и существует связь между этим миром и не этим, так в тот и другой залетает только она, ворона, и я издавна с тайным любопытством и страхом посматриваю на нее, тщась и боясь додумать, почему это может быть только она.

Наша ворона была, однако, вполне обыкновенная, земная, без всяких таких сношений с запредельем, добрая и разговорчивая, с задат-

ками того, что мы называем ясновидением.

С утра я забегал домой, кое-что знал о последних делах дочери, если их можно назвать делами, и теперь пересказал их ей якобы со слов вороны.

— Позавчера она опять прилетала в город и видела, что вы с Мариной поссорились. Она, конечно, очень удивилась. Так всегда дружили, водой не разольешь, а тут вдруг из-за пустяка повели себя как последние дикари…

— Да-а, а если она мне показала язык! — тотчас вскинулась дочь. — Думаешь, приятно, да, когда тебе показывают язык? Приятно, да?

— Безобразие. Конечно, неприятно. Только зачем ты ей потом показала язык? Ей тоже неприятно.

— А что, ворона видела, да, что я показывала?

— Видела. Она все видела.

— А вот и неправда. Никто не мог видеть. Ворона тоже не могла.

— Может быть, и не видела, да догадалась. Она тебя изучила как облупленную, ей нетрудно догадаться.

На «облупленную» дочь обиделась, но, не зная, на кого отнести обиду, на меня или на ворону, примолкла, обескураженная еще и тем, что каким-то образом стало известно слишком уж

тайное. Чуть погодя она призналась, что показала Марине язык уже в дверь, когда Марина ушла. Дочь покуда ничего не умела скрывать, вернее, не скрывала, подобно нам, всякую ерунду, которой можно не загружать себя и тем облегчить себе жизнь, но свое, как говорится, она носила с собой.

Мне между тем подступало время собираться, и я сказал дочери, что нам пора домой.

— Нет, давай еще погуляем, — не согласилась она.

— Пора, — повторил я. — Мне сегодня уезжать обратно.

Ее ручонка дрогнула в моей руке. Дочь не сказала, а пропела:

— А ты не уезжай сегодня. — И добавила как окончательно решенное: — Вот.

Тут бы мне и дрогнуть: это была не просто просьба, каких у детей на каждом шагу, — нет, это была мольба, высказанная сдержанно, с достоинством, но всем существом, осторожно искавшим своего законного на меня права, не знающим и не желающим знать принятых в жизни правил. Но я-то был уже немало испорчен и угнетен этими правилами, и когда не хватало чужих, установленных для всех, я выдумывал, как и

на этот раз, свои. Вздохнув, я вспомнил данное себе утром слово и уперся:

— Понимаешь, надо. Не могу.

Дочь послушно дала повернуть себя к дому, перевести через улицу и вырвалась, убежала вперед. Она не дождалась меня и у подъезда, как всегда в таких случаях бывало; когда я поднялся в квартиру, она уже занималась чем-то в своем углу. Я стал собирать рюкзак, то и дело подходя к дочери, заговаривая с ней; она замкнулась и отвечала натянуто. Все — больше она уже не была со мной, она ушла в себя, и чем больше пытался бы я приблизиться к ней, тем дальше бы она отстранялась. Я это слишком хорошо знал. Жена, догадываясь, что произошло, предложила самое в этом случае разумное:

— Можно первым утренним уехать. К девяти часам там.

— Нет, не можно. — Я разозлился оттого, что это действительно было разумно.

У меня оставалась еще надежда на прощание. Так уж принято среди нас: что бы ни было, а при прощании, даже самом обыденном и неопасном, будь добр оставить все обиды, правые и неправые, за спиной и проститься с необремененной душой. Я собрался и подозвал дочь.

— До свидания. Что передать вороне?

— Ничего. До свидания, — отводя глаза, сказала она как-то безразлично и ловко, голосом, который ей рано было иметь.

Будто нарочно, сразу подошел трамвай, и я приехал на станцию за двадцать минут до автобуса. А ведь мог бы эти двадцать минут погулять с дочерью, их бы, наверное, хватило, чтобы она не заметила спешки, и ничего бы между нами не случилось.

* * *

Дальше, как бы в урок мне, сплошь началось невезенье. Автобус подошел с опозданием — не подошел, а подскочил нырком, вывернув из-за угла со скрежетом и лязгом: вот, мол, как я торопился, — расхристанный весь и покорябанный, с оборванной половинкой передней двери. Мы сели и сидели, оседлав этот норовистый, подозрительно притихший под нами, как перед очередным прыжком, автобус, а шофер, зайдя в диспетчерскую, сгинул там и не появлялся. Мы сидели и десять, и пятнадцать минут, вдыхая запах наваленной на заднее сиденье в мешках картошки; народ подобрался молчаливый, отяжелевший к вечеру и не роптал. Мы сидели

безмолвно, удовлетворенные уже и тем, что сидим на своих местах, — как мало, не однажды я замечал, надо нашему человеку: пострашай, что автобуса до утра не будет, подымется яростный, до полного одурения крик, а подгони этот автобус, загрузи его и не трогай до утра — останутся довольны и поверят, что своего добились. Тут срабатывает, видимо, правило своего законного места, никем другим не занятого и никому не отданного, а везет это место или не везет, не столь уж и важно.

Была, была у меня здравая мысль сойти с этого никуда не везущего места и вернуться домой. Как бы обрадовалась дочь! Конечно, она бы и виду не подала, что обрадовалась, и подошла бы, выдержав характер, не сразу, но потом прилепилась и не отошла бы до сна. И я бы был прощен, и ворона. И какой бы хороший, теплый получился вечер, который потом вспоминай да вспоминай во дни нового одиночества, грейся возле него, тревожа и утишая душу, мучайся с отрадой его полной и счастливой завершенностью. Наши дни во времени не совпадают с днями, отпущенными для дел; время обычно заканчивается раньше, чем мы поспеваем, оставляя нелепо торчащие концы начатого и брошенного; над нашими

детьми с первых же часов огромной тяжестью нависает не грех зачатия, а грех не исполненного своими отцами. Этот день на редкость мог остаться законченным, во всех отношениях закрытым и, как зерно, дать начало таким же дням. Когда я говорю о делах, о законченности или незаконченности их во днях, не всякие дела я имею в виду, а лишь те, с которыми соглашается душа, дающая нам, помимо обычной работы, особое задание и спрашивающая с нас по своему счету.

И я уж готов был подняться и выйти из автобуса, совсем готов, да что-то удерживало. Место, на котором я усиделся, удерживало. Удобное было место, у окна с правой стороны, где не помешают встречные машины. А тут и шофер наконец подбежал чуть не бегом, показывая опять, как он торопится, быстро пересчитал нас, сверился с путевым листом и газанул. Я смирился, обрадовавшись даже тому, что у меня отнята возможность решать, ехать или не ехать. Мы поехали.

Поехать-то мы поехали, да уехали недалеко. Ничего другого и нельзя было ожидать от нашего автобуса и от нашего шофера. Шофер, маленький, вертлявый, плутоватый мужичонка, смахивал на воробья — те же подскоки и подпрыги,

резкость и кособокость в движениях, а плутоватость, та просматривалась не только в лице, где она прямо-таки сияла, но и во всей фигуре, и когда он сидел к нам спиной, то и со спины было видно, что этот нигде не пропадет. Я стал догадываться, почему он задерживался в диспетчерской: это был не его рейс, и не этот автобус должен был выйти на линию, но он из какого-то своего расчета уговорил кого-то подмениться, затем уговорил диспетчера — и вот мы, отъехав с глаз долой за два квартала, снова стоим, а шофер наш с ведерком в руке прыгает по-воробьиному посреди дороги, выпрашивая бензин, чтобы дотянуть до заправки. Там, значит, опять стой; я не на шутку стал тревожиться, дождется ли наш рейс, как это было принято, переправа. Мы уже опаздывали слишком. Не хватало еще, чтобы, выдержав все ради утренней работы, мне пришлось ночевать на виду своего домишки на другом берегу Байкала, не ночевать, а маяться всю ночь в ожидании утренней переправы и погубить тем самым весь предстоящий день. И тут еще я мог сойти, но и тут не сошел. «Вредность, парень, поперед тебя родилась», — говаривала в таких случаях моя бабушка. Здесь, однако, и не вредность была, а другое, приобретенное

от прежних судорожных попыток выковывать характер, которые нет-нет да и отзывались еще во мне. Характер, разумеется, тверже не стал, но та сторона, куда гнули его, иногда самым неожиданным образом выказывалась и требовала своего.

В конце концов мы с грехом пополам добрались до заправки, а там и тронулись дальше. Я боялся смотреть на часы: будь что будет. За городом сразу стемнело: лес, не потерявший еще листа, размашисто отваливался с моей стороны плотной черной боковиной. Свету в салоне не оказалось, и странно, если бы он оказался, хорошо хоть горели фары; мы ехали в темноте и все дремали. Автобус между тем, словно торопясь домой к себе, разбежался; взглядывая сквозь полудрему в окно, я видел быстро сносимое назад полотно дороги и мелькающие километровые столбики. В распоповиненную дверь задувало, и чем ближе к Байкалу, тем ощутимей, лязгало и дрызгало адскими очередями под ногами у шофера, когда он переключал скорости, но мы все мало что замечали и мало чем отличались от наваленных позади мешков с картошкой.

Везет — это не когда действительно везет, а когда есть изменения к лучшему по сравнению

с невезеньем. Тут градус отклонения обозначить нельзя. Я так обрадовался, увидев при подъезде огоньки переправы, что и внимания не обратил, что это не «Бабушкин», не теплоход, с апреля по январь выполнявший паромную работу и приспособленный не только для грузов, но и для пассажиров, а маленький катер, едва заметный под причальной стенкой. Шофер с набегу резко затормозил, дав нам почувствовать, что мы все-таки живые люди, и первым торопливо выскочил, склонился к катеру, что-то крича и размахивая руками, до чего-то докричался и кинулся обратно поторапливать нас.

Байкал шумел, и довольно сильно. В воздухе, однако, было совсем спокойно, даже глухо — стало быть, Байкал раскачало где-то на севере и вал гнало многие десятки километров, но и здесь он шел с такой мощью, прочерчивая раз за разом под тихим молодым месяцем огнистые полосы пены, и с таким гулом, что становилось ветрено и зябко от возникающего в тебе собственного холода. Бедный катерок подпрыгивал у стенки, словно силясь заскочить наверх. Мы опоздали почти на час, и команда катера, четверо или пятеро молодых парней (точно сосчитать их было невозможно), не теряла времени даром: все они были

распьянешеньки. Шофер проворно выносил из автобуса мешки с картошкой, подавал вниз, а они, принимая, бестолково суетились, кричали и, чувствовалось, заваливались вместе с мешками. Пассажиры разошлись, и только мы, три несчастные фигуры, которым предстояло переправляться на этом катере с этой командой через этот Байкал, жались друг к другу, не зная, что делать. Безветрие и грохот воды; ощущение было жутковатое — точно там, за краем причальной стенки, начинается другой свет. Парни оттуда, из преисподней, прикрикнули на нас, и мы неловко, подолгу прицеливаясь и примериваясь, в последней степени обреченности принялись прыгать вниз. Я прыгал первым. Уже снизу я сумел услышать сквозь грохот, как шофер весело наказывал, чтоб не вздумали дурить, дождались, пока он поставит автобус, и успокоился: с этим не пропадешь.

Припоминая потом обратную дорогу от начала и до конца, и особенно переправу, я думал о ней не как о чем-то ужасном или неприятном, а как о неизбежном, происшедшем во всей этой последовательности и во всех обстоятельствах только из-за меня, чтобы преподать мне какой-то урок. Какой? — я не знал и не скоро, быть может,

узнаю; да тут и не ответ важен, а ощущение своей вины. Это были не случайные случайности. Мне казалось, что и люди, которые ехали со мной, страдали и рисковали только по моей милости. А в последние полчаса, когда мы перегребали с берега на берег, риск, конечно, существовал — что и говорить! Они, эти полчаса, почти не остались ни в памяти моей, ни в чувствах; катерок наш то вонзался в воду, то взлетал в воздух, парни в рубке, а с ними шофер от восторга издавали какой-то один и тот же клич, а я, мокрый и продрогший, сидел на мешке с картошкой, который ездил подо мной, и безучастно ждал, чем все это кончится. Помню, мы долго не могли подойти к причалу, к этому времени я уже снова вошел в память; помню, когда наконец зацепились и стали выползать наверх, на твердую землю, один из четверки или пятерки отважных бросился нам вдогонку собирать по сорок копеек за переезд. Шофера нашего ждали и встретили на берегу шумно, с ласковыми матерками и толпой сразу куда-то повели.

Я так изнемог за этот день, что не стал, придя к себе, ни чай кипятить, ни даже разбирать рюкзак, а тут же повалился в постель. Было уже за полночь. В последний момент, на волосок ото

сна, меня вдруг поразило: зачем, почему он вез картошку из города сюда, в деревню, если все, напротив, как и должно быть, везут ее отсюда в город?

* * *

Не знаю, бывает ли у кого еще такое, но у меня нет чувства полной и нераздельной слитности с собою. Нет у меня, как положено, того ощущения, что все во мне от начала и до конца совпадает, смыкается во всех мелочах в одно целое, так что нигде не хлябает и не топорщится. Постоянно во мне что-нибудь хлябает и топорщится: то голова заболит, и не простой болью, которую можно снять таблетками или свежим воздухом, а словно бы от страдания, что не тому она досталась; то поймаешь себя на мысли или чувстве, которых никаким образом в тебе не должно бы быть; то подымешься утром, выспавшийся и здоровый, без всякого желания жить, то что-нибудь еще. Конечно, у нормального человека такого не бывает, это свойство людей случайных или подмененных. Относительно «подмененных» я думал особо: предположим, кто-то должен был родиться, но по какой-то (не нам знать) причине ему не выпало в свой

черед родиться, и тогда срочно из соседнего порядка на его место был призван другой.

Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого.

Похожие мысли, какими бы ни показались они вздорными, в минуты разлада с собой не раз приходили мне в голову.

А отсюда и другая моя ненормальность: я никак не привыкну к себе. Проживши немало лет, каждое утро, просыпаясь, я обнаруживаю себя с продолжающимся удивлением, что я — это действительно я и что я существую наяву, а не в донесшихся до меня (то, что могло быть передо мной или после меня) чьих-то воспоминаниях и представлениях. Это случается не только по утрам. Стоит мне глубоко задуматься или, напротив, забыться в приятном бездумье, как я тут же теряю себя, словно бы отлетаю в какое-то предстоящее мне пограничье, откуда не хочется возвращаться. Это небыванье в себе, этакая беспризорность происходят довольно часто, невольно я начинаю следить за собой, сторожить,

чтобы я был на месте, в себе, но вся беда в том, что я не знаю, чью мне взять сторону, в котором из них подлинный «я» — или в том, что с терпением и надеждой ждет себя, или же в том, что в каких-то безуспешных попытках убегает от себя? Убегает, чтобы отыскать нечто другое, но свое, родное, с кем произошло бы полное и счастливое совпадение? Или ждет, чтобы смирить своим подобием и невозможностью хоть на капельку что-нибудь поправить? Ведь должен же быть в каком-то из них «я», так сказать, изначальный, основной, которому что-то затем бы добавлялось, а не которым что-то добавлялось в случившейся неполноте.

* * *

Наутро после поездки в город я поднялся поздно.

Ночью я не закрыл ставни на окнах, и еще во сне меня терзало солнце, я спал и не спал под его натиском, мучаясь тем, что хочу и не могу проснуться. Беспомощность эта хорошо всем знакома: вот-вот, кажется, продерешься сквозь тягостную плоть к спасительному выходу, где можно очнуться, — нет, в последний момент какая-то сила сбрасывает тебя обратно. Я всякий

раз в таких случаях испытываю ужас перед тем пространством, которое надо преодолеть, чтобы снова приблизиться к черте пробуждения, а еще больше — приблизившись, угадать последнее движение так, чтобы встречным порывом тебя опять не сорвало вниз. Там, в этом неподвластном тебе глухом сознании, все имеет другие измерения: кажется, для того, чтобы проснуться, может уйти вся жизнь.

Изловчившись, я все же открыл глаза… Я открыл глаза и сразу, будто увидел перед собой, почувствовал свое нездоровье. И в груди, и в голове давила тяжелая пустота, слишком хорошо мне известная, чтобы отмахнуться от нее, из того разряда неурядиц с собой, которые я пытался объяснить. Но, странно, я нисколько не удивился этому своему состоянию, словно должен был знать о нем заранее, но отчего-то забыл.

Солнце, которое чудилось мне во сне сильным и ярким, лежало в комнате на полу размытым блеклым пятном, оконные переплеты подрагивали на нем едва приметной, далеко вдавленной тенью.

Домишко мой был некорыстный: маленькая кухня, на добрую треть занятая плитой, и маленькая же передняя комната, или горница,

с двумя окнами через угол на две стороны, из того и другого виден за дорогой Байкал. Третья стена, та, что под скалой, глухая, оттуда всегда несет прохладой и едва различимым запахом подгнившего дерева. Сейчас этот запах проступал сильней — верный признак того, что погода сворачивает на урон. И верно, пока я одевался, солнечное пятно на полу исчезло совсем; выходит, солнце не приснилось мне ярким, а на восходе действительно могло быть ярким, но с той поры его успело затянуть. Было тихо; я не сразу после мучительного сна осознал, что тишина полная, какой в этом бойком месте, где стоит мой домишко, рядом с причалом и железной дорогой, почти не случается. Я прислушался снова: тишина была — как в праздник для стариков, если бы таковой существовал, и это меня насторожило, я заторопился на улицу.

Нет, все оставалось на месте — и вагоны, длинной двойной очередью в никуда стоящие с весны на боковых путях неподалеку от дома, и большой сухогруз напротив на Байкале со склоненной к нему стрелой замершего портального крана, и сидящая на бревнышке у дороги старушка с сумками возле ног, с молчаливым укором наблюдавшая за мной, не понимая, как это можно

подниматься столь поздно… Байкал успокаивался. На нем еще вздрагивала то здесь, то там короткая волна и, плеснув, соскальзывала, не дотянув до берега. Воздух слепил глаза каким-то мутным блеском испорченного солнца; его, солнце, нельзя было показать в одном месте, оно, казалось, растекалось по всему белесо-задымленному, вяло опушенному небу и блестело со всех сторон. Утренняя прохлада успела к этой поре сойти, но день еще не нагрелся; похоже, он и не собирался нагреваться, занятый какою-то другой, более важной переменой, так что было не прохладно и не тепло, не солнечно и не пасмурно, а как-то между тем и другим, как-то неопределенно и тягостно.

И опять я почувствовал такую неприкаянность и обездоленность в себе, что едва удержался, чтобы, ни к чему не приступая, снова не лечь. Сон, из которого я не чаял, как вырваться, представлялся уже желанным освобождением, но я знал, что не усну и что в попытках уснуть могу растревожиться еще больше.

Мне удавалось иногда в таких случаях переламывать себя… Я не помнил, как это происходило — само собой или с помощью сознательных моих усилий, но надо было что-то делать и те-

перь. С преувеличенной бодростью принялся я растапливать печку и готовить чай, разбирая между делом рюкзак, выносил в кладовку банки и свертки. Я люблю эти минуты перед утренним чаем: разгорается печь, начинает посапывать чайник, на краю плиты томится на слабом жару в ожидании кипятка, испуская благостный дух, приготовленная заварка, а в открытую дверь дыханием наносит и, словно обжегшись о печь, относит обратно уличной свежестью. Я люблю быть в такие минуты один и, поспевая за разгорающимся огнем, чувствовать и свое поспевание к чаю, выстраданную и приятную готовность к первому глотку. И вот чай заварен, вот он налит, кружка курится душистым хмельным парком, над горячей густо-коричневой поверхностью низко висит укрывающей, таинственно пошевеливающейся пленкой фиолетовая дымка… Вот наконец первый глоток!.. Как не сравнить тут, что торжественным колокольным ударом прозвучит он в твоем одиноком миру, возвещая полное пришествие нового дня, и, ничем не прерываемый, дозвучит до множественных, как рассыпавшееся эхо, отголосков. И второй глоток, и третий — те же громогласные сигналы общей готовности разморенных за ночь сил.

Затем начинается долгое, едва не на час, рабочее чаепитие, постепенно подкрадывающееся и подлаживающееся к твоему делу. Для начала этакий барский, поверхностный взгляд со стороны: что это ты там вчера навыдумывал? Годится или нет? Туда или не туда заехал? В тебе словно бы и интереса нет ко вчерашней работе, а так, вспомнил ненароком, что делал что-то… Это направленное, но еще блуждающее внимание. Не торопясь ты пьешь чай, все глубже и глубже задумываясь с каждым глотком какой-то неопределенной и беспредметной мыслью, ощупью и лениво ищущей неизвестно что в полном тумане. И вдруг невесть с чего, как зрак, мелькнет в этом тумане первая ответная мысль, слабая и неверная, которой придется затем посторониться, но, мелькнув, она покажет, где искать дальше. Теперь уж близко, ты переходишь, прихватив с собой кружку с чаем, с одного стола за другой, ты для порядка просматриваешь еще старую, сделанную работу, а в тебе нетерпеливо начинает звучать продолжение.

Ничего похожего на этот раз у меня не было. Я даже двигался с усилием. Чай пил, как всегда, с удовольствием, но он нисколько не помог мне и не взбодрил, беспричинная холодная тяжесть

и не собиралась отступать. Из упрямства я подсел все-таки к столу с бумагами, но это было все равно что слепому смотреть в бинокль: ни единого проблеска впереди, сплошь серая плотная стена. Полным истуканом, с кирпичом вместо головы, просидел я полчаса и, до последней степени возненавидев себя, поднялся.

Что-то как бы пискнуло со злорадством за моей спиной, когда я отходил от стола…

* * *

Не находя себе места, я двигался бесцельно и бестолково — то выйду во двор и вслушиваюсь и всматриваюсь во что-то, сам не зная во что, то вернусь снова в избу и встану, истязая себя, подле горячей печки, пока не станет до дурноты жарко, и опять на улицу. Помню, я все пытался понять, как, откуда набралась столь полная, древняя тишина, хотя прежней, утренней тишины уже не было — уже стучало что-то время от времени на сухогрузе, командовал где-то над водой в мегафон крепкий, привыкший командовать голос, два или три раза прострочил мимо мотоцикл. Но глуше и мягче становилось в воздухе, словно укрывался, пытаясь запахнуться в себе от чужого простора, день, и глохли, увязали в плотном воз-

духе звуки, доносясь до слуха слабо и уныло.

Промаявшись так, наверное, с час и чувствуя, что облегчения не найти, я закрыл избу и пошел куда глаза глядят. И верно, как по выходе из калитки смотрелось, туда и пошел по выбитой рядом с рельсами сухой тропке и в минуту ушел далеко за поселок, в те звонкие по берегу Байкала и радостные места, которые бывают звонкими, радостными и полновидными в любую погоду — и летом, и зимой, и в солнце, и в ненастье. Но даже и здесь теперь почти осязаемо чувствовалось, как все ниже и ниже опускается день и как плотнее сходится он с краев. На Байкале без ветра не бывает, это как дыхание — то спокойное, ровное, то посильней, а то во всю моченьку, когда успевай только прятаться куда ни попало… и теперь дул ветерок, но словно бы не сквозной, словно бы все пытающийся разогнаться и все-таки застревающий… Солнце сморилось окончательно и затухало уже и в воздухе. Байкал лежал в сплошной и густой синеве.

Я постоял на берегу, выбирая без всякого желания, спуститься ли к воде или подняться в гору, и оттого, что спуск к воде был здесь пологим, легким, а гора крутая, как и везде почти, со страха перед Байкалом торопливо вставшая во весь

рост, оттого, что здесь она казалась особенно крутой, я начал подыматься в нее, стараясь дышать под шаг, чтобы растянуть дыхание на отрезок горы побольше. По голому каменному крутяку, переполошив каменную мелочь, я выбрался на траву, длинными и белыми космами выбивающуюся из-под редкой еще и тоже белой земли. И оглянулся. Надо мной кружилось низкое, склоненное широким краем к Байкалу небо — какое-то совсем бесцветное и выгоревшее, для чего-то разом из конца в конец приготовляемое и еще не готовое. Ветер на высоте был посвежей, но от камней и от земли несло сухим и глубинным, словно тоже для чего-то торопливо отдаваемым теплом. Я пошел дальше и за следующий переход выбрался на изломанную и узкую длинную поляну, которая прибиралась в сенокос, — сено с нее давно было спущено и увезено, и она в своей сиротливой и праздничной ухоженности лежала как-то уж очень грустно и одиноко. Пожалев ее, я сел здесь на камень и стал смотреть вниз.

Медленно и беззвучно продолжало кружиться небо, снижаясь все ближе и ближе и набираясь сухо-дымчатой безоблачной плоти. За горой, за редкими на вершине деревьями его уже не было, там зияла серая и неприятная пустота, все

небо стянулось и стало над Байкалом, точь-в-точь повторяя и цвет его, и форму. Но теперь и вода в Байкале, подчиняясь небу, начала движение медленными и правильными, не выплескиваясь на берег, кругами, будто кто-то, как в чане, размешал ее и оставил затихать.

Они закружили меня. Скоро я уже плохо понимал, что я, где я и зачем я здесь, и понимание этого было мне не нужно! Многое из того, что заботило меня еще и вчера и сегодня и представлялось важным, было теперь не нужно и отошло от меня с такой легкостью, точно в каком-то определенном порядке обновления это стало неизбежным и для этого подступил свой черед. Но это было и не обновление, а что-то иное, что-то совершающееся в большом, широко и высоко от меня отстоящем мире, внутри которого я очутился совершенно случайно и таинственное движение которого ненароком захватило и меня. Я чувствовал приятную освобожденность от недавней, так мучившей меня болезненной тяжести, ее не стало во мне вовсе, я точно приподнялся и расправился в себе и, примериваясь, знал каким-то образом, что это еще не полная освобожденность и что дальше станет еще лучше.

Я сидел не шевелясь, с рассеянной, как бы ожи-

дающей особенного момента, значительностью глядя перед собой на темное зарево Байкала, и слушал поднимающееся из глубины, как из опрокинутого, направленного в небо колокола, гудение. Тревога и беспокойство слышались в нем в движении, или они затихали, или, напротив, набирали силу — мне не дано было понять: тот миг, за который они родились, растягивался для меня в долгое и однозвучное существование. И не дано было понять мне, чья была сила, чья власть — неба над водой или воды над небом, но то, что они находились в живом и вышнем подчинении друг другу, я увидел совершенно ясно. В вышнем — для чего, над чем? Где, в какой стороне высота и в какой глубина? И где меж ними граница? Где, в каком из этих равных просторов сознание, ведающее простую из простых, но недоступную нам тайну мира, в котором мы остановились?

Конечно, вопросы эти были напрасны. На них не только нельзя ответить, но их нельзя и задавать. И для вопросов существуют границы, за которые не следует переходить. Это то же самое, что небо и вода, небо и земля, находящиеся в вечном продолжении и подчинении друг к другу, и что из них вопрос и что ответ? Мы

можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов, но переступить их и подать оттуда пусть слабый совсем и случайный голос нам не позволится. Знай сверчок свой шесток.

Я тщился и размышлять еще, и слушать, но все больше и больше и сознание, и чувства, и зрение, и слух приятной подавленностью меркли во мне, отдаляясь в какое-то общее чувствилище. И все тише становилось во мне, все покойней и покойней. Я не ощущал себя вовсе, всякие внутренние движения сошли из меня, но я продолжал замечать все, что происходило вокруг, сразу все и далеко вокруг, но только замечать. Я словно бы соединился с единым для всего чувствилищем и остался в нем. Ни неба я не видел, ни воды и ни земли, а в пустынном светоносном миру висела и уходила в горизонтальную даль незримая дорога, по которой то быстрее, то тише проносились голоса. Лишь по их звучанию и можно было определить, что дорога существует, — с одной стороны они возникали и в другую уносились. И странно, что, приближаясь, они звучали совсем по-другому, чем удаляясь: до меня в них слышались согласие и счастливая до самозабвения вера,

а после меня — почти ропот. Что-то во мне не нравилось им, против чего-то они возражали. Я же, напротив, с каждым мгновением чувствовал себя все приятней и легче, и по мере того, как мне становилось легче, затихали и выходящие голоса. Я уже готовился и знал каким-то образом, что тоже помчусь скоро, как только буду готов, как только она откроется передо мной в яви, по этой очистительной дороге, и мне не терпелось помчаться. Я словно бы нестерпимый зов слышал с той стороны, куда уходила дорога.

Потом я очнулся и увидел, что перед глазами моими, качаясь, висит одинокая паутинка. Воздух гудел все теми же голосами (я еще не потерял способности их слышать), творившими вокруг меня прощальный наставительный хоровод. Я сидел совсем в другом месте и, судя по берегу Байкала, далеко от прежнего. Рядом со мной три березки грустно играли, точно ворожили, сбрасываемыми листочками. Воздух совсем замер; в такой вот неподвижности, когда все предоставлено, кажется, только себе, и отлетает, отмирает более, чем под ветром, чему положено отмереть; это покой осторожного вышнего присутствия, собирающего урожай. Как радостно, должно быть, вольной и заказанной душе умереть осенью,

в светлый час, когда открываются просторы!..

И снова, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь далеко и от последнего места с березками. Байкала видно не было — значит, я успел перевалить через гору и по обратной стороне спуститься чуть не до конца. Смеркалось. Я стоял на ногах — или только что подошел, или поднялся, чтобы идти дальше. А как, откуда шел, почему шел сюда — не помнил. Где-то внизу шумела в камнях речка, и по шуму ее, бойкому и прерывисто-слитному, я, не видя речки, увидел, как она бежит — где и куда поворачивает, где бьется о какие камни и где, вздрагивая пенистыми бурунами, ненадолго затихает. Я нисколько этому зрению не удивился, точно так и должно было быть. Но это не все: я вдруг увидел, как поднимаюсь со своего прежнего места возле березок и направляюсь в гору. Я продолжал стоять там же, где обнаружил себя, для верности ухватившись рукой за торчащий от упавшей лиственницы толстый сук, и одновременно шел, шаг за шагом, взгляд за взглядом, выбирая удобную тропку; я ощущал в себе каждое движение и слышал каждый свой вздох. Наконец я приблизился к тому месту, где стоял возле упавшей лиственницы, и слился с собой. Но и этому я ни-

чуть не удивился, точно и это должно было быть именно так, лишь почувствовал в себе какую-то излишнюю сытость, мешающую свободно дышать. И тут, полностью соединившись с собой, я вспомнил о доме.

Было уже совсем темно, когда я подошел к своей избушке. Ноги едва держали меня — видать, все переходы, памятные и беспамятные, совершались все-таки на ногах. Возле ключика я отыскал в траве банку и подставил ее под струю. И долго пил, окончательно возвращаясь в себя — каким я был вчера и стану завтра. В избу идти не хотелось, я сел на чурбан и, замерев от усталости и какой-то особенной душевной наполненности, слился с темнотой, неподвижностью и тишиной позднего вечера.

Темнота все сгущалась и сгущалась, воздух тяжелел, резко и горько пахло отсыревшей землей. Я сидел и размягченно смотрел, как миликает напротив на ряжах красным светом маленький маячок, и слушал доносимые ключиком бессвязные, обессловленные голоса моих умерших друзей, до изнеможения пытающихся что-то сказать мне…

Господи, поверь в нас: мы одиноки.

* * *

Среди ночи я проснулся от стука дождя по сухой крыше, с удовольствием подумал, что вот и дождь, как подготовлялось и ожидалось весь день, наладился, и все же невесть с чего опять почувствовал в себе такую тоску и такую печаль, что едва удержался, чтобы не подняться и не заметаться по избенке. Дождь пошел чаще и глуше, и под шум его я так с тоской и уснул, даже и во сне страдая от нее и там понимая, что страдаю. И во всю оставшуюся ночь мне слышалось, будто раз за разом громко и требовательно каркает ворона, и чудилось, будто она ходит по завалинке перед окнами и стучит клювом в закрытые ставни.

И верно, я проснулся от крика вороны. Утро было серое и мокрое, дождь шел не переставая, с деревьев обрывались крупные и белые, как снег, капли. Не разжигая печки, я оделся и направился в диспетчерскую порта, откуда можно было позвонить в город. Мне долго не удавалось соединиться, телефон подключался и тут же обрывался, а когда я наконец дозвонился, из дому мне сказали, что дочь еще вчера слегла и лежит с высокой температурой.

1981

Наташа

Недавно я лежал в больнице в большом чужом городе, где мне сделали операцию, по моим ощущениям, довольно неприятную, которая прошла, однако, удачно и обошлась благополучно. Но не о том речь… Там, в больнице, я снова встретил Наташу.

«Снова встретил» — это так и не так. То, о чем я хочу рассказать, есть странное соединение сна, может быть, даже не одного сна, с реальностью, которая придала этой истории законченный, хоть и не вполне разгаданный, оставшийся, пожалуй, еще более таинственным, смысл. Но все разгадать нельзя, да и не надо: разгаданное скоро становится ненужным и умирает; погубив таким образом немало самого замечательного в своем мире и нисколько этим не обогатившись, мы снова с детской непосредственностью и необремененностью потянулись к предчувствиям и ко всему тому, что к ним близко.

Я увидел Наташу, кажется, на третий день моей больничной жизни. Почему не утром, когда медсестры заступают на дежурство, и не в течение долгого и однообразного дня, как удалось

мне за весь этот день не столкнуться с Наташей и дотянуть до вечера, не знаю, тут что-то было особое. Как обычно, перед отбоем дежурный врач обходил больных, его сопровождала по своему блоку медсестра. Я уже лежал в постели, читал, когда они вошли: плотный, с густым голосом, излишне энергичного вида мужчина на исходе молодости, которую он старательно оберегал, и совсем еще молоденькая девушка, рослая и пухлая, но в пухлости своей какая-то вся аккуратная, без излишеств, и заманчивая, словно бы так с самого начала и задуманная, с широким, мягким, цветущим добротой лицом, встретив которое даже где-нибудь в Австралии или Новой Зеландии можно без опаски заговаривать по-русски. Это и была Наташа. Войдя и увидев меня, она вдруг покраснела и смутилась. Я заметил это, а она заметила, что я заметил, и смутилась еще пуще. Отвечая на обычные вопросы врача о самочувствии, я наблюдал потихоньку за пытающейся скрыться за его спиной и никак не помещающейся за ней девушкой и узнавал ее все больше и больше. Не было никаких сомнений, что я прежде встречал ее, сталкивался не в уличной сутолоке, когда раз мелькнувшее лицо может надолго зацепиться в памяти, а в общении, вовсе

не случайном и не пустяковом для меня, которое должно было выйти из привычного порядка вещей. Но что это такое было, как ни напрягал я память, все же не вспомнил. Уходя, Наташа не выдержала и в дверях, пропустив вперед врача, оглянулась с робкой и обнадеживающей улыбкой, словно подтверждая, что да, я не ошибся и это она и есть.

Все последующие дни превратились для меня в мучение. Я вспоминал и не мог вспомнить, и чем старательнее перебирал я все, что случалось со мной в последние годы, тем большую чувствовал безнадежность. Где-то это было не там, что-то не оттуда. Наташа, казалось, ждала, тайком посматривая на меня с терпением и укором, но только поднимал я на нее глаза, ищущие вольную или невольную подсказку, она тотчас убирала свои и смущалась. Эта способность смущаться и краснеть, нынче почти изжитая в девушках, настолько была в ней приятна и естественна и так к ней шла, ко всему ее крупному лицу и крупной фигуре, что после первого удивления Наташу и представить нельзя было иной и наблюдать за ней доставляло удовольствие, словно сама душа затоплялась в тебе счастливым ответным смущением. Многие боль-

ные лечились здесь годами, в болезни своей были особенно несчастны, потому что ее нельзя скрыть и она в самом прямом смысле торчит на виду; постороннему человеку, не знающему, что это такое, она представляется ужасным уродством, перед которым не всякий сумеет сдержаться, и это отношение со стороны, это ощущение себя как невольного пугала, которому то ли повезет, то ли нет снова когда-нибудь стать здоровым и, как говорят, лицеприятным, сказывалось, конечно, на больных, работать с ними было непросто. Но перед робостью Наташи робели почему-то все. Ни разу я не слышал, чтобы кто-нибудь, даже самый отчаявшийся, взялся при ней грубить или капризничать, это показалось бы не только неприличным, но значило бы, что силы больного кончились и надо срочно, если позволяет болезнь, выписывать его, дать пожить и отдохнуть среди родных, а потом вызывать снова. Так уж само собой принялось, что молчаливая, стеснительная и безответная Наташа, которой в голову не пришло бы жаловаться, стала и для больных, и для врачей больше чем просто медсестра, исправно и с душой исполняющая свои обязанности. Как бы это назвать?.. Пожалуй, на нее смотрели как на человека немножко не от

мира сего, на одну из тех, без странностей, причуд и наивных глаз которых мы, люди мира сего, давно свихнулись бы в своем могучем поживательстве и пожинательстве, давно свернули бы себе шею, если бы нас не останавливало их робкое непонимание.

Наташа дежурила на неделе дважды, но не через равное количество дней, а по какому-то своему, ломаному графику и появлялась всегда возле своего столика в коридоре тихо и незаметно: только что не было — и тут неслышно двигается, что-то сверяет по бумагам в своем хозяйстве, открывает сейф с лекарствами, идет к больным в палаты. Всякий раз, увидев ее, я вздрагивал — так близко было до того, чтобы вспомнить: я делал уже порывистое движение к Наташе и замечал, что и она с готовностью поднимала навстречу мне лицо; все во мне замирало перед озарением, и я, казалось, уже вспоминал, но из-за спешки, из-за горячности или из-за чего-то еще не мог удержать воспоминания. Лицо Наташи, обиженно опускаясь, вспыхивало, я неловко здоровался и отходил. Снова и снова все было напрасно.

Дошло до того, что мы стали избегать друг друга — и я без крайней нужды не обращался

к ней, и она заходила в палату все реже. Но в нашем закутке, или блоке на шесть палат, совсем не встречаться было нельзя, а назначения врачей приходилось исполнять и ей, и мне. Наташа в таких случаях торопилась сделать свое дело и уйти, я же чувствовал себя вконец виноватым: она ведь могла считать, что я прекрасно все помню, но из какой-то своей корысти не хочу открываться, а спрашивать ее, что это было, что я не в состоянии вспомнить, тоже казалось мне неприличным — могло ведь ничего и не быть, я мог все это навыдумывать из болезненной фантазии, от одного лишь любопытного внимания.

Исподтишка я продолжал наблюдать за ней.

Задумавшись, она порой подолгу смотрела в окно в коридоре, куда-то поверх улицы и домов, и до того ей приятно было что-то там видеть, что лицо ее озарялось уже не краской смущения, а волнением только ей одной лишь доступного чувства. Затем я снова замечал ее взгляд на себе — то пытливый и проницательный, вызывающий тревогу, то отсутствующий, с потерянной мыслью, то быстрый, настороженно-лукавый…

В последнюю неделю Наташа дежурила почему-то часто — возможно, подменяла кого-нибудь из заболевших подруг. И ничего удивительно-

го, что ей же выпало везти меня на операцию. Сестра из операционной, направляя каталку со мной, шла впереди, Наташа подталкивала ее сзади. Укрытый простыней, я видел перед собой только ее большие, казавшиеся мне огромными глаза на опущенном лице, она избегала смотреть на меня и все-таки с испугом взглядывала и крупно, словно крестясь, принималась моргать. В это утро мне было не до воспоминаний. По яркому электрическому свету я догадался, что меня ввезли в операционную. Наташа осталась в дверях и, придерживая их, смотрела из коридора, как меня подкатывают к столу и помогают перебираться на него. Устроившись как надо, я повернул голову к дверям — Наташа продолжала смотреть на меня, но под моим взглядом закрыла двери.

Все, я остался один среди этих людей, никого из которых с закрытыми лицами нельзя было узнать. И даже голоса их, как подкрученные, звучали с одинаковым металлическим настроем. Я пытался прислушиваться к ним, но ничего не понимал, они говорили на незнакомом языке.

Минут через десять, не зная себя совершенно, я уже спал.

…Так трудно было потом проснуться. Иногда я почти приходил в себя, чтобы почувствовать, что

я есть, почувствовать в себе озноб и глухую боль, и снова впадал в тяжелое, тупое забытье. До меня доносились женские голоса, я различал и один голос, и второй, требовавшие, чтобы я не спал, но я не мог не спать, это было свыше моих сил. Все было свыше моих сил, мне по силам было только спать — даже и не спать, а находиться в удушливом беспамятстве, из которого, я все-таки дышал этим сознанием, должен когда-нибудь открыться выход.

И он постепенно приоткрывался во мне: я чувствовал уже, как берут мою руку, чтобы проверить пульс, как ставят градусник и делают уколы. Помню свое ощущение: я пытаюсь подняться из глубокого, закачанного угаром шахтного колодца, невесть как очутившегося на моем пути, я тороплюсь, чтобы не задохнуться в нем, но так медленно всплываю… дышать уже нечем. Оказалось, что я был обложен грелками. Я заворочался со стоном, меня каким-то образом поняли, и грелки были убраны. Стало легче. В темном тумане начали появляться обрывочные и бессвязные видения, настолько бессвязные и далекие один от другого, точно они слетались ко мне от разных людей, а может быть, и не только от людей. Одно из них я почему-то никак не хотел отпускать, оно

было чем-то мне приятно и о чем-то напоминало; я очень расстроился, когда оно все-таки исчезло.

Наконец я открыл глаза и увидел, что лежу лицом к просторному, во всю стену, окну. Там, за окном, был еще день — единственное, что я отметил, и снова забылся. Но теперь я владел собой и не позволял себе опускаться во сне глубоко. Я слышал, когда ко мне подходили и отходили, слышал голоса женщин, разговаривающих между собой и отвечающих кому-то на вопросы обо мне. Потом кто-то надолго остановился надо мной и стал ждать, когда я очнусь.

Это была Наташа. В сумерках ее фигура показалась мне выше и легче, точно парила в воздухе. Я сразу пришел в полную память. Обрадованным и слабым голосом, едва слыша себя, я с усилием проговорил:

— Наташа, я вспомнил, вспомнил… мы летали…

Она с волнением закивала мне, прикоснулась легкой и мягкой рукой к моему горячему лбу и отошла так быстро, что мне показалось, что она убежала.

* * *

То, что я вспомнил, жило во мне давно, и не знаю, откуда взялось. Вероятней всего, привиделось что-то во сне, но не в полной картине, а полная картина составилась затем, когда я думал об этом вольными представлениями, как и всегда, с заботой достраивающими в нас все неоконченное. Не думать же об этом было нельзя, мы невольно придаем значение и ищем вещий смысл в подобных видениях, тем более что здесь было в чем его и искать.

И почему я сразу не догадался, что это она и есть, та девушка из сна? Совпадение настолько полное и так часто это лицо стояло у меня перед глазами в плоти и крови, что я обязан был узнать его тут же, без промедления. А встретил — и растерялся, две недели мучился воспоминанием, которое находилось рядом. Оттого, вероятно, и растерялся, оттого и мучился, что рядом, — всему, что близко, мы и не привыкли доверять. Теперь, встревоженная этим досадным препятствием, вся картина ожила передо мной еще ярче и явственней, и я все меньше склонен верить, что она произошла из сна. Краски, запахи, ощущения — нет, многое во сне является совсем

по-другому.

Я и сейчас, как наяву, вижу большую поляну на горе (она, эта поляна, существует, и видеть ее не составляет труда), полную цветов — жарков, колокольчиков, белых и сиреневых ромашек. Я сижу среди них на земле в каком-то тревожном и восторженном ожидании, которое наполняет меня все больше и больше, так что я начинаю в нетерпении оглядываться и что-то искать. Прямо передо мной Байкал, широким и стремительным выносом уходящий вдаль и там подымающийся в небо, слева Ангара, внизу, под горой, мой домишко, из которого я был позван сюда неведомой повелительной силой. Солнце, небо чистое и глубокое, с Байкала тянет ровным влажным ветерком, вода внизу сияет пышущей голубизной — я продолжаю всматриваться вокруг с пристальным, предчувствующим что-то вниманием, беспокойство мое нарастает, я жду чего-то и сам не знаю, что это может быть, но жду в полной и ясной уверенности, что от этого изменится вся моя жизнь.

И вот позади меня слышится мягкий шелест травы, я оборачиваюсь и вижу приближающуюся с улыбкой девушку. Она в простеньком, плотно облегающем ее летнем платье и бо-

сиком, светлые волосы свободно распущены по плечам — если бы не босые ноги, в ней нет ничего необычного. Но тогда я принял босые ноги как само собой разумеющееся и только уж после, разбирая и обдумывая каждую подробность, споткнулся: почему босые? что это значит?

Она приближается, и я вскакиваю ей навстречу. Не может быть сомнений: это ее я и жду. Меня только удивляет немного, что она оказалась рослей и полней, чем я мог предполагать, хотя за минуту до того я ничего не мог предполагать. Чувствуя мое смущение, она улыбается. От улыбки ее широкое, с крупными чертами лицо озаряется светом удивительного согласия с собой и кажется на редкость красивым.

С ее появлением все вокруг незаметно меняется, точно перестраивается для какого-то действия. Поляна превращается в вытянутое к Ангаре поле, густо усеянное все теми же цветами, которые, как расчесанные с пробором волосы, с одной стороны поля наклонены к Байкалу, с другой — к горе. Мы стоим посредине. Солнце, только что державшееся над головой, упало близко к закату, и теплый свет его идет низко над землей. Байкал еще больше вычистило, выяснило, и еще заметней стала его дальняя вознесенность к небу.

Я смотрю на все это без удивления, будто так и должно быть. Но в душе моей возрастает тревога, мне страшно, что я чего-то не смогу и кого-то подведу, а если не смогу и подведу, то меня уже не станет. Но, странно, мне чудится, что меня не станет таким, как я есть, если даже я смогу и не подведу. И вместе с жалостью к себе меня охватывает гордость.

— Готов? — спрашивает девушка.

— Не знаю. Я не сумею.

— Как же не сумеешь, если ты уже умеешь, — говорит она озабоченно. — Если бы ты не умел, я бы не велела тебе прийти сюда.

— А это ты велела мне прийти? — Я не сомневаюсь, что это так, и спрашиваю, лишь бы оттянуть время.

— Пошли! — Она берет меня за руку и ставит у края поля лицом к Ангаре, так что солнечный свет бьет нам в спину. — Бежим! Ну, бежим, бежим!

Я чувствую, что бегу рядом с ней, бегу все быстрей и легче; она отпускает мою руку и остается где-то позади, но я слышу ее голос, требующий, чтобы я бежал еще быстрей. Я несусь огромными скачками, мне кажется, что я продолжаю бежать, когда замечаю проплывающую внизу че-

тырехскатную железную крышу дома, в котором живет мой товарищ. Я что-то кричу то ли ему, то ли всем, кто остался на земле, и прибавляю ходу. Ноги мои вытягиваются, руки выдвигаются вперед, солнечный свет сильным порывом подхватывает меня и возносит высоко вверх. Рядом с собой я обнаруживаю девушку, она улыбкой пытается успокоить мое волнение, но даже и ей это не под силу. Восторг распирает меня, вот-вот, кажется, оборвется от него сердце, и я двигаюсь неровно, подныривающими толчками, мне уже мало того, что я лечу, и хочется чего-то большего, окончательного, хочется, повернув к солнцу, от которого я ощущаю сладостную тягу, рвануться к нему и никогда не остановиться, но девушка настороже, она рукой показывает мне, куда править. Мы проплываем над Ангарой, делаем и круг, и второй над ее истоком и уходим далеко от берегов в Байкал. Я постепенно успокаиваюсь, восторг мой, отбушевав, становится мало-помалу разумным, и теперь я в состоянии со вниманием всматриваться и вслушиваться в творящуюся вокруг меня жизнь.

Мы парим на той пограничной высоте, докуда достает нагретый за день, настоявшийся воздух, на котором можно лежать, почти не шевелясь.

Он то приливно приподымается, волнуясь от закатного солнца, то опускается, и мы качаемся на нем, как на утомленной, затухающей волне, из далекого далека дошедшей до берега и теперь играющей возле него. Небо остывает, и я хорошо вижу в нем обозначившиеся тенями тропинки, талыми провисшими путками ведущие в разные стороны. Они пусты, но по легким вдавленностям заметно, что по ним ходили, и меня ничуть не удивляет, что они, точно от дыхания, покачиваются и светятся местами смутным, прерывистым мерцанием.

Солнце склоняется все ниже и ниже, и могучая торжественная музыка заката достигает такого согласия, что кажется тишиной. И в этой тишине громко и тяжело звучит шорох, с каким опускающийся воздух задевает о гладь воды. И еще — вон там, на берегу, в том лесу на сопке пискнула, я слышу, раскольничьим голоском, не в лад общей музыке, пичужка, пискнула и осеклась, с испугом оглядываясь, что с ней будет. Я вижу и слышу все и чувствую себя способным постичь главную, все объединяющую и все разрешающую тайну, в которой от начала и до конца сошлась жизнь… вот-вот она осенит меня, и в познании горького ее груза я ступлю на ближнюю тропинку…

И вдруг, оборачиваясь ко мне, девушка говорит:

— Пора.

И показывает на берег.

— Нет, нет, — волнуюсь я. — Еще. Я не хочу.

— Солнце заходит. Пора, — терпеливо и радостно, со сдерживаемым торжеством в голосе настаивает она.

И я понимаю: пора. Мы медленно плывем к берегу. Земля уже в сплошной синей тени, звуки, потеряв музыку, сливаются в одно глухое гудение. Мы приземляемся на ту же самую поляну, и я, пробуя ноги, делаю первые шаги, которые огромной тяжестью отдаются во всем теле. Девушка с усталой и неспокойной улыбкой наблюдает за мной.

— А дальше? — спрашиваю я.

— Что дальше? — Она делает вид, что не понимает.

— Если дальше ничего не будет, то зачем это было? Я хочу еще. Я дальше хочу. Там оставалось совсем немного.

Помолчав, она говорит:

— Я буду приходить.

На этот раз она говорит без улыбки, и я замечаю, что без солнца черты ее лица резко

обострились и напряглись, а фигура выглядит угловатой и неловкой. Она и сама, очевидно, знает, как изменилась, и, робкой рукой прикоснувшись ко мне, сделав последнюю попытку улыбнуться, начинает уходить.

Я смотрю ей вслед и такую чувствую в себе и в ней тревогу, загадочным выбором соединившую нас, но относящуюся ко всему, ко всему вокруг, такую я чувствую тоску и печаль, словно только теперь, полетав и посмотрев с высоты на землю, я узнал наконец истинную меру и тревоги, и печали, и тоски.

Она уходит, и быстро сгущающиеся сумерки скрывают ее.

Но она сказала: я буду приходить.

* * *

Через два дня из послеоперационной меня перевели обратно в свою палату. Ковыляя по коридору в сопровождении медсестры, я еще издали выглядывал: вдруг сегодня опять Наташа? Нет, ее не было, дежурила милая, но другая девушка, которая и приняла меня с рук на руки, уложила в постель и сообщила, сколько раз и в какие часы мне назначено давать лекарства и делать уколы. Я смиренно слушал и представлял, как мы с Ната-

шей встретимся, когда она придет и о чем станем говорить. Все-таки нам предстояла необычная встреча.

Я ждал и день, и два, и три — Наташа не появлялась. Конечно, у нее могли скопиться отгулы за внеочередные дежурства, она могла заболеть, много чего могло быть, но я уже чувствовал, что все это не то. Когда, наконец решившись, я спросил о ней, мне ответили, что Наташа уволилась и уехала из этого города.

Оказалось, она работала в больнице недолго.

1981

Не могу-у...

Мы с товарищем опоздали на электричку и сели на проходящий, взяв билеты в плацкартный вагон. Плацкартные ныне потускнели — или оттого, что возвращаться к ним приходится нам из купейных, а не подниматься, как в свою пору, из общих, или правда по всем статьям опустилась железная дорога. Этот, в который мы забрались, был замусорен, закопчен и как-то не расположен к уборке.

Проводнице, хорошенькой большеглазой девушке из студенток, конечно, казалось в нем неуютно, и она, едва поезд тронулся, скрылась, и больше мы ее за два с половиной часа не видели. Впрочем, и поезд был не дальнего следования, под трехзначным номером — кто на такой смотрит, кто к такому придирается? Лишь бы вез, а то ведь они, эти недальнего следования, горазды и стоять.

Мы устроились на свободной скамье напротив старушки с книгой и принялись осматриваться. Старушка читала без очков — это в ее возрасте надо выделять как особую примету. Она держала толстую и разбухшую книгу на коленях, накло-

нив аккуратно седую голову с широким гребнем в коротко остриженных волосах. Губы ее пошевеливались при чтении, подвижное чуткое лицо отзывалось той жизни, которая была в книге, с простодушным интересом. На верхней полке над старушкой ворочался и косился на нас красивыми серыми глазами на породистом длинном лице мужчина средних лет, одетый в спортивное трико — черное с белыми полосами; полосы, впрочем, посверкивали и на лысеющей голове. По его мнению, мы были несерьезные пассажиры: вдвоем с одной сумкой, да еще к тому же отчего-то веселые. Веселье под хмелем понять можно, а без хмеля оно подозрительно, особенно в поезде. Может быть, этого пассажира сверху смущали наши три свободных руки, может, что-то более серьезное, но мы ему явно не нравились.

Товарищ мой, по своему обыкновению всем интересоваться, поднялся и обошел вагон. Когда он вернулся, сообщив, что в вагоне, на удивление, не людно, и стал рассуждать, почему пассажир сейчас поредел (дело было в сентябре), послушать его к нашему купе придвинулись любопытные — мальчик и девочка лет пяти-семи, которых он успел за свой короткий выход

чем-то заинтересовать. Прервавшись, Олег (так звали моего товарища) полез в карман, нашарил там шариковую ручку и расческу и протянул их ребятам. Те, помявшись, взяли и, не зная, что с ними делать, остались стоять с подарками в руках, оторопело поглядывая друг на друга. Мужчина наверху усмехнулся, но, кажется, этот неумелый и искренний жест его успокоил — он отвернулся. Старушка, приподняв книгу и делая вид, что не отрывается от нее, смотрела на моего товарища с опасливым прищуром, боясь, как бы он не взялся одаривать чем-нибудь подобным и ее. Мы все больше сходили за ненормальных.

И тут до нас вдруг донесся не то стон, не то вскрик, да такой бедовый и тяжкий, что стало не по себе. Олег вскинулся:

— Что это?

— Это там дяденька плачет, — сказала девочка и показала рукой в глубину вагона.

— Дяденька плачет? Чего он плачет?

— Его хмель давит, — баском пояснил мальчик.

Теперь, когда они заговорили, стало видно, что мальчик старше девочки и кое-что знает в жизни.

Старушка оторвалась наконец от книги и, вы-

глянув в коридор, со вздохом подтвердила:

— Ой, надоел. Перед городом милицией припугнули, так затих. Теперь сызнова.

— Не могу-у! — истошно взревел неподалеку голос. — Не могу-у!

— Чтоб ты сдох! — отозвался сверху мужчина в трико и возмущенно сел, спустив над старушкой ноги. — Нет, дальше следующей станции ты у меня не поедешь! Хотел ведь, по-человечески хотел снять! Чтоб по-человечески ехать!

— Не могу-у-у! — еще отчаянней, еще горше перебил его голос.

Олег, не вытерпев, пошел посмотреть, я за ним. Через две перегородки от нашей, уронив лохматую голову и время от времени пристукивая ею о столик, корчилась в судорогах грязная и растрепанная фигура в засаленной, видавшей виды нейлоновой куртке и резиновых сапогах. Купе было свободно, видеть эти мучения никто не хотел. Олег присел напротив, по другую сторону столика, я сбоку. Человек, сидящий перед нами, уткнувшись в столик, ненадолго затих, словно прислушиваясь к себе или к тому, что происходит кругом; затем сдавленно, через силу сдерживаясь, испустил длинный утробный стон — нарочно так, с таким рвущим горло выдохом, изобразить

он не мог, так могло выходить наружу только бушующее страдание. Олег принялся тормошить беднягу за плечи, тот долго ничего не чувствовал, ничего не понимал, потом поднял все-таки голову, показав лицо, и бессмысленно уставился на нас.

Никто, никакой вражина не сумел бы сделать с ним то, что сделал с собою он сам. Прежний человек хоть и с трудом, но все же просматривался еще в нем. Голубые и, наверное, чистые когда-то глаза перетянуты были кровавыми прожилками и запухли, призакрылись, чтоб не видеть белого света… Белый свет они действительно видели плохо, но тем сильней и безжалостней всматривались они в свое нутро, заставляя этого человека кричать от ужаса. Светлые густые волосы на голове стали от грязи пегими и свисали лохмами; круглое, в меру вытянутое книзу аккуратным и крепким подбородком лицо со слегка вздернутым носом, которое затевалось во всей этой нетяжелой и немудреной форме для простодушия и сердечного отсвета, — лицо это, одутловатое, заросшее, тяжелое, полное дурной крови, пылало сейчас догорающим черным жаром. Даже ямочка на подбородке и та казалась затянувшейся раной. И сколько лет ему, сказать

было невозможно — то ли под тридцать, то ли за сорок.

А вспомнить — такие же мужички, прямые предки его, с такими же русыми волосами и незатейливыми светлыми лицами, какое чудесным и редким раденьем, показывая породу, досталось ему, — шли на поле Куликове, сбирались по кличу Минина и Пожарского у Нижнего Новгорода, сходились в ватагу Стеньки Разина, продирались с Ермаком за Урал, прибирая к хозяйству земли, на которых и двум прежним Россиям было просторно, победили Гитлера… И вот теперь он.

Мой товарищ продолжал тормошить его:

— Ну что? Что тебе?

— Не могу, — сорванным, обвисшим голосом прошептал он.

— Может, помочь чем? Чем помочь-то тебе?

— Не знаю.

— Ему бы куриного бульончику… желудок отмягчить, — посоветовала старушка из нашего купе; мы и не заметили, как вокруг нас собрались люди.

— Ему не куриный бульончик, ему хороший стопарь нужен, — громко, увесисто, зная, по-видимому, толк в этих делах, предложил рыжий верзила, возле которого держались побывавшие

у нас мальчик и девочка. Все разом загалдели:

— Ага, стопарь-то его и довел. На стенку лезет.

— Ему стопарь — его связывать надо. Рот затыкать надо.

— И так едем как в вытрезвителе. И ни одной власти нету, все разбежались. Бригадира вызывали — где он?

— А поедешь — как в морге, — пробасил верзила. — Не видите, какой у него хмель злой? Он задавит его. — После этих слов уже не оставалось сомнений, что верзила — отец мальчика и девочки. — Он окочурится здесь — кто будет виноват?

От нашего купе подскочил мужчина в трико:

— Поэтому и надо его немедленно снять. Я предлагал… Так ехать невозможно. Тут люди.

— У него и билета, поди-ка, нету. Он, поди-ка, открытую дверку увидал и полез. Он перепутал дверку-то.

— Он много чего перепутал.

Напротив меня оказалась ядреная, широкой кости, со свежего воздуха старуха с продубленным лицом. Она взмахивала могучими руками:

— Голики! Голики несчастные! Всех бы поганой метлой повымела! Измотали, измучили народ. У меня зять…

— Развели демократию для пьяниц. — Это

опять наше образованное трико. — Тут мы на высоте-с, тут мы сто очков кому угодно.

А тот, из-за кого разгорелся весь этот сыр-бор, уткнулся опять головой в столик и слабо, обморочно постанывал — на исходе, казалось, последнего духа.

Товарищ мой слушал-слушал, думал-думал и поднялся. Он решил внять совету верзилы.

— Работает сейчас ресторан, не знаете? — спросил он.

— Ступай, ступай, милок. Че другое, а эта завсегда в работе, — съязвила старуха с вольного воздуха. — Только свистни — все запоры падают. Коров, свиней не напоят, а для мужиков поилка денно и нощно, в любую непогодь бежит. Не сумлевайся. — Вредная, видно, была старуха, добавила: — Тебе, поди-ка, и самому невтерпеж.

Олег вернулся с бутылкой портвейна. Люди к этому времени разошлись, только верзила, чувствовавший ответственность за совет, сидел вместе со мной возле несчастного.

— Может, обойдется, не надо? — спросил его Олег.

— Глядите сами, — пожал плечами верзила. — Я бы дал. Ишь, он дышит как. Нехорошо дышит. Хмель, он, конечно, потом свое стребует, но пус-

кай маленько передохнет мужик. Сразу обрывать опасно, я знаю. Ему бы теперь потихоньку на тормозах спускать.

На этот раз долго расталкивать мужика не пришлось — наверно, он слышал наши приготовления. Он поднял голову и, увидев поставленный перед ним стакан с вином, долго и строго смотрел на него, словно что-то вспоминая, потом обвел нас донельзя угнетенным, измученным взглядом и, зажав в руках стакан, отвернулся к окну. Вагон потряхивало — слышно было, как стекло бьется о зубы. Он пил долго, как и все дошедшие до предела люди этого сорта, маленькими осторожными глотками, раздирая спекшееся горло. Выпил, поставил стакан, с трудом отцепил руки и прохрипел:

— Еще.

— Погоди, не гони, — остановил его верзила. — Поглядим на тебя. Послушаем, что скажешь.

Мужик замер, прислушиваясь к себе, и что-то услышал — сморщился и взялся растирать грудь.

— Достало? — спросил верзила.

— Нет.

— Давно это… в вираж вошел?

— Не знаю. Не помню. — Он говорил с трудом, хрипло и натужно, у него и слова выходили

как обугленные. Голова его норовила упасть, он рывками встряхивал ее и задирал, показывая короткую, скрученную толсто и мощно, мускулистую грязную шею.

— Сам-то откуда будешь, из каких краев?

— Из Москвы.

— Ой, трекало! Ой, трекало! — всплеснула руками вышедшая опять на разговор вольная старуха. — Ты уж ври, да не завирайся. Станут в Москве таких держать!

— А кто его там держит? — отозвался из соседнего закутка чей-то голос. — Мы с вами не в метро по Белокаменной едем.

— Всю биографию рисовать? — спросил мужик — в нем, похоже, начал продираться свой голос — и покосился на бутылку в руках у Олега.

— Налей, — позволил верзила. — Сердится — в пользу, стало быть, пошло. Только не полный, хватит ему половины.

Олег налил полстакана. Мужик выпил на этот раз попроворней, в глазах у него появился острый блеск. Чтобы не оставлять ему надежду, мы разлили остатки портвейна в три принесенные ребятишками посудины и тоже выпили. За здоровье москвича. Он посмотрел на нас проснувшимися крохами вялого любопытства,

но все в нем еще было тяжелым, малоподвижным и закаменевшим, и он никак не отозвался на наш тост.

— Как звать-то тебя? — продолжал допытываться верзила.

— Герольд.

— Как?

— Герольд. — Мужик закашлялся над собственным именем.

— Не русский, что ли?

— Русский.

— А пошто так зовут?

— Откуда я знаю? Отец с матерью назвали.

— Кажется, это скандинавское имя, — предположил мой товарищ.

Верзила подумал:

— Ты, мужик, с таким именем, однако, не за свое ремесло принялся. Тебе соответствовать надо. А вправду русский?

— А что ты — по роже не видишь?

— Господи! — тяжело вздохнула старуха. — Кого только не увидишь! С кем только не стакнешься! И чего ты мне на добрых людей не дашь поглядеть?!

— И давно ты, герой, или как там тебя, бичуешь? — не отставал верзила.

Мужик не ответил, занятый чем-то в себе, каким-то происходящим внутри опасным движением.

— Баба-то есть? — спросила старуха и, когда он и на этот раз не отозвался, уверенно сама себе сказала: — Выгнала. Кто, какая дура с этаким обормотом жить станет?!

— Выгнала, выгнала, — со злостью подтвердил мужик и добавил: — И сама спилась.

И так он это произнес, что ясно стало: правда, чистая правда.

— Вот те раз! — ахнула старуха. — А ребятишки? Ребятишки есть?

— Есть сын. И он сопьется.

— А вот это ты врешь, — возразил верзила. — Не сопьется.

— Сопьется.

— Врешь! — грохнул голосом верзила. — Ты что это, герой, плетешь?! Врешь! Ты спился, я сопьюсь, а им нельзя! — Он выкинул руку в сторону ребятишек, которые, ничему не удивляясь и ничего не пугаясь, стояли тут же. — Им надо нашу линию выправлять. Понял ты, бичина? И никогда больше про своего сына так не говори, понял? Кто-то должен или не должен после тебя, после нас грязь вычистить?!

На шум повыскакивали опять из всех закутков люди; укоризненно покачивала в нашу сторону головой старушка с книгой; подскочил и стал что-то частить мужчина в трико. Верзила, не понимая, как и все мы, слов, но прекрасно понимая, о чем они, смущенно и досадливо помахивал ему рукой: мол, извини и успокойся, больше не будем. Но трико не прощало и не отставало. Мужик наш, этот самый Герольд, уставившись на трепыхающееся перед его носом аккуратное брюшко, хлопал глазами и с гримасой кривил лицо.

— …только до следующей станции, — неожиданно четко закончило трико.

— Порож-няк! — звучно, со сластью кинул ему мужик — откуда и красоты такие взялись в этом голосе.

— Что-о?!

— Порожняк! Сворачивай в свой тупик и не бренчи. Надоел.

— Еще и оскорбления! Я долго терпел! — Трико закрутилось, соображая, куда бежать, в какой стороне поездное начальство.

— Ты погоди, не шебутись, — пробовал его остановить верзила.

— Мы с вами вместе свиней не пасли, — был ему известный ответ, который верзила, однако,

не понял и удивился.

— А что я — дурной, буду их пасти? У нас их сроду никто не пас. Сами в земле роются.

Мужчина в трико кинулся по ходу поезда.

— Вот и сграбастают, — назидательно сказала вредная старуха с вольного воздуха. — Десять але пятнадцать суток.

Мальчишка заволновался:

— Ты, папка, опять? Тебе что было говорено? С тобой прям никуда не выйди.

— Да вот, высунулся, — поморщился верзила, кивая на мужика. — Ты уж сиди и не высовывайся, тебе не положено высовываться. Понял?

— За это не забирают, — сказал мой товарищ. — Ничего же не произошло. Ни действия, ни мата — ничего не было.

— А пошто порожняк-то? — заинтересовался верзила. Слово ему понравилось, он, видать, и сам мастак был сказать коротко и любил это в других.

Мужик молчал — в нем опять что-то происходило.

— Я спрашиваю: пошто порожняк?

— Бренчит, бренчит! — вдруг зло, яро, едва не на крике сорвался мужик и крутанулся в ту сторону, куда убежало трико. — Я вижу — это он.

Это он, он! Я бич, я никто, я отброс, но я десять лет честно работал. Мой отец воевал. А этот… он всю жизнь честно бренчит. Это он, он!

— Кто-о-о? Чего ты раскричался? Кто — он?

— Порож-няк!

И, уткнув голову в столик, затрясся в рыданиях. Все — передышка кончилась, хмель снова брал его в оборот. Мы переглянулись, не зная, что делать. Больше помочь ему было нечем, да и прежняя наша помощь пошла, как видно, не впрок.

— А куда едешь? Где сходить тебе? — неловко и озадаченно спросил еще верзила.

Мужик вскинул голову и прокричал:

— Где сбросят. Понятно? Где сбросят. Отстаньте от меня, отстаньте! Не могу-у!

Да, никуда не годились у него нервишки, спалил он их. Мы с товарищем вернулись в свое купе. Старушка, отложив книгу и порываясь что-то спросить, так и не спросила и стала смотреть в окно. Там, за окном, за играющей сетью бесконечных проводов, тянулась матушка-Россия. Поезд шел ходко, настукивая на железных путях бодрым стукотком, и она, медленно стягиваясь, разворачивалась, казалось, в какой-то обратный порядок.

На следующей станции мы сошли. И, проходя вдоль своего вагона, увидели в окне повернутое к нам страшное, приплюснутое стеклом лицо в слезах, с шевелящимися губами. Нетрудно было догадаться, что выговаривали, мучительным стоном тянули изнутри губы:

— Не могу-у-у!

1982

Тетка Улита

Воспоминания иногда появляются, казалось бы, совсем ни с чего, без всякого внешнего повода и подчиняются какой-то собственной жизни.

Часто, очень часто вспоминаю я давний августовский вечер с густым и замлевшим солнечным воздухом, некорыстный наш двор уже в новой деревне, перенесенной от затопленной Ангары, и двух старух на крылечке. Я в ту пору уже вышел в работу и любил приезжать в августе — на ягоды, на грибы. Одна из старух — моя бабушка, человек строгого и справедливого характера, с тем корнем сибирского нрава, который не на киселе был замешен, еще когда переносился с русского Севера за Урал, а в местных вольных лесах и того боле покрепчал. Бабушка, обычно и ласковая и учительная, каким-то особым нюхом чувствовала неспокойную совесть и сразу вставала на дыбы. И не приведи Господь кому-нибудь ее успокаивать, это только добавляло жару, а успокаивалась она за работой и в одиночестве, сама себя натакав, что годится и что не годится для ее характера.

Вторая старуха — наша соседка через дорогу

тетка Улита, Улита Ефимовна. С бабушкой они в каком-то дальнем родстве, даже и не дальнем, а тредальнем, в котором не разберутся и сами. Впрочем, кто в наших старых деревнях обходился без общего родства, и хоть жили деревни гнездами, но и из гнезда в гнездо ниточки протягивались и в прежние, и в новые времена. Но держит рядом старух не это родство, а устоявшаяся привычка при любой страде каждый день хоть на минутку сойтись да побормотать.

Сегодня эта минутка затянулась надолго — уж больно хорош и уборист теплый, как-то по-особому радетельный ко всему живому тихий августовский вечер. Чувствуется, что и ему самому не хочется сходить с земли, вот он и остановился в раздумье, что бы еще такое хорошее сделать, чтобы завтрашнему дню было полегче. Старухи сидят на разных приступках, бабушка повыше, тетка Улита пониже, я сбоку от них на завалинке. Мы все от нечего делать наблюдаем, как кормится птица — курицы, голуби, воробьи. Бабушка время от времени подбрасывает им из подола зерно — они неиспуганно всплескиваются и затихают. И только когда среди общей дружной работы некстати вспомнивший о своем достоинстве петух бросился за курицей и после недолгой

погони настиг ее, бабушка, замахнувшись на петуха, язвительно пропела:

— Ох, Андрияша! Ох, Андрияша!

Я засмеялся:

— Почему Андрияша?

— Ну дак ишь до чего истрепал молодку! Ты погляди. Вытеребил ей и хвост и гриву. А пошто Андрияша, вот у нее, у Улиты, спроси.

Тетка Улита не ответила. И вид такой сделала, что не понимает, о чем разговор.

— Ты не помнишь рази криволуцкого председателя Андрияна? — Это бабушка мне. — Не помнишь, какой он был? Вот так же над бабами крылил опосле войны. Где какую разглядит — это хошь убегай из деревни. Хвост свой распушит, глаза заголит — и без оглядки. Так, нет я, Улита, говорю?

— Ты там не жила, ты там раз в году и бывала-то, тебе как не знать! — ровно, соглашаясь и не соглашаясь, ответила тетка Улита. — Ты об наших делах лучше всех должна знать!

— Ой, да об этом собаки и те в ту пору брехать перестали.

— Ну и ты не бреши.

— Вправду сказать, и любили они его, своего Андрияна, председателя своего, — не давая себе

сбиться на насмешку, сказала бабушка. — Каку холеру они в нем находили, а любили. Ну дак он и заступник, и кормилец, и один на всю деревню мужик. Мужиков-то ведь всех подчистую повыбили. Василий ишо ненадолго пришел… дак он пришел, на нем живого места не было… он и году, однако, не пожил?

— Пожил, может, и поболе, да че толку-то? Он с кровати не подымался.

— А этот атаман, ой атаман! Откуль че и бралось?! Они от его, как стрелы, разлетывались, когда он утром разнарядку на работу делал. Манька — туда, Санька — туда, Улита — сюда…

— Ты-то откуль че знаешь?! Ты бывала на них, на разнарядках-то наших? Ты слыхала, какой там крик стоял? «Как стрелы разлетывались». Эти стрелы-то не от него разлетывались, а в него слетывались. С нами воевать было… похлеще, однако, той войны.

— Ну дак, днем воюй, ночью воюй…

— А вот уж про это я не знаю.

Бабушка выразительно покосилась на тетку Улиту.

— А потом посадит их, войску-то свою, на коней… я за три версты у себя слышу: летит Мамай! Ой, спасаться куда-никуда надо — летит Мамай

со своей войской! И все в голос ревут. Праздники-то эти были… как их?.. новые-то?.. — сованье-то?..

— Какое сованье? — не понимал я.

— Ну, эти-то, бумажки-то в щелки совали, праздник делали…

— Голосованье, что ли? Выборы?

— Ну-ну, выборы. А ящики-то в нашей деревне ставили, тут сельсовет, сюда и народ из остатных деревень собирали. Все едут чином да ладом, и филипповские, и ереминские, и барановские, а этот с топотом, с гиком, с криком налетал. На ребятишек коней не хватало, они опосле отдельной ордой врывались. Но бабы, эти все округ него на конях, все верхами. У тебя, Улита, поди-ка, одно место по сю пору не зажило, без сиделок-то скакали! Сиделок-то на всех не хватало.

— Отвяжись ты!

— Ой, летит, летит! А как не успела затвориться да за огороды убежать — коня на дыбы поставит, он, конь-то, передние ноги за заплот свесит, а сам каким-то хлобыстьем по окошкам пройдется и кричит: «Марья-а!» Они все за ним дурноматом: «Марья-а!» — «Ежели четверть самогонки сей же час криволуцкому народу не представишь — раскатаем твою избенку

до бревнышка и тебя по миру пустим». И они тем же макаром.

— И представляла? — спрашивал я.

— А было. Два или три раза было, что представляла. Куды денешься?! Избенку, поди-ка, не раскатают, да ить не отступятся, всю скотину, всю животину до смерти перепугают, опосле ни шерсти, ни молока не дождешься. Вот она сидит тихоня тихоней, а поглядел бы ты тогда на эту тихоню. Глаза горят, волоса трещат, из ушей, из носов дым идет, сама вся напружится, вот-вот оборотится в кого. И все они таки же, нисколь не лучше. Представляла, как не представляла. Жить-то охота.

— Слушай ты ее, — с легкой досадой отмахивалась тетка Улита; воспоминание, пусть и подправленное в чужом пересказе, ее согрело, лицо ее как-то сразу разгладилось и зарделось. — Слушай, она нагородит. Сама за ворота выходила и сама зазывала. А наш, он в праздник разгулять-ся любил, он коня приворотит…

— Я сама зазывала?

— Да не я же… Я в Аталанке не жила, я к тебе потчеваться заезжала.

— Вытребуете, так и потчуетесь. Со дна Ангары выкричите.

— Кричали-то так, для потехи. А у тебя уже все готово, ты уж с утра ждешь.

— Ишь че! — оборачиваясь ко мне за поддержкой, приахивала бабушка. — У меня семья голодовала, а я на них наготавливала, на всю ихую рать. Ишь че!

— А ты такая всегда и была.

— Какая такая?

— Простодырая.

Бабушка помолчала, не решив, стоит или не стоит возмущаться, и, сбившись, оборванно досказала:

— И домой такой же рысью скачут, ни одну не потеряют. Сам-то уж сильно приустанет, головушку свесит, а они округ его, они округ его… Кто за руку, кто за ногу держит, коня со всех боков подпирают. Они бы, однако, волосья друг дружке повыдирали, если бы он свалился.

— И верно, ему нельзя, он председатель.

— Они при нем на нормальных баб нисколько не походили. Не знаю уж, на кого походили, а на себя не походили.

— Мы при нем работали. Так, скажу тебе, Марья, работали, как я больше и сама не рабатывала и не видела, чтоб работали. Много годов под один запал. А после-то уж че, после не работа была,

а так… хозяйство да заделье. После-то уж впрохладцу жили…

И это говорила она, тетка Улита, которая за всю свою жизнь ни дня единого не провела без плотной работы, которая до последнего часа в семьдесят с лишним лет не расставалась с коровой и накашивала на нее без помощников, обихаживала немаленький огород, чтобы по осени, десятки раз сбегав на берег и договорившись наконец с баржой, отправить сестре и племянницам в город картошку и все остальное, таскала, выгибая спину, мешки, помогала другим, кто с той же баржой тоже кому-то отправлял, а проводив баржу и перекрестив ее вслед, торопилась подхватить следующее дело. Мало того — она еще и в няньки нанималась, чтобы заработать копейку, потому что на колхозную пенсию, которой едва хватало на соль да на спички, учившейся в городе племяннице модные сапоги было не справить. Но это уж надо было видеть, как нянькается тетка Улита. Я по соседству видел, и я этого ввек не забуду. Притащив от молодых родителей мальчонку, которому, кажется, не исполнилось и годика, тетка Улита стянула с него штанишки, чтоб не портил добро, нажевала, припомнив собственное дет-

ство, хлеба, затолкала эту кашицу мальчонке в рот, сунула ему в руки сковородник и убежала к скотине. Меня поднял из своего дома напротив крик — сначала сильный, возмущенный, затем все более и более переходящий в жалкое попискивание. Я перешел через дорогу, заглянул в избу и натолкнулся на мальчонку возле самого порога, который он не мог преодолеть только потому, что вконец обессилел от крика. Оттащив его от порога, я попытался успокаивать — не тут-то было! Тетку Улиту я отыскал в стайке, где она что-то подправляла.

— Тетка Улита, ведь он же кричит. Ты что его бросила-то? Вот нянька!

— Кричит?! — Она выпрямилась и прислушалась. — А ты притвори дверку-то, притвори, его и не слыхать будет.

— Да ведь кричит же!

— Ну и че, ну и пускай покричит. Это ему в пользу, лучше спать будет.

На другой день мальчонка кричал поменьше, а на третий, когда я из интереса заглянул опять в избу, приметив, что тетка Улита копается в огороде, он уже водил перед собой сковородником, как щупом, и время от времени, что-то обнаружив, восторженно взвизгивал. Нечего

и говорить — спал он, конечно, отменно.

И еще помню: бежим мы с теткой Улитой в сенокосную пору на гребь, и бежим почему-то среди дня, по жаре. Потому, кажется, что я спускался в деревню за хлебом и ждал выпечки в пекарне, а тетка Улита припозднилась с коровой.

И вот, проходя мимо речки, я вздохнул:

— Эх, искупаться бы… Давно, поди, не купалась-то, тетка Улита?

— А я, парень, и вовсе никогда не купалась, — ответила она.

Я изумился:

— Никогда не купалась?! Почему?

— А некогда было. Один раз девки живьем в одежонке в воду столкнули, дак махом вымахнула и скорей за серп. Когда нам было раскупываться?

Тогда же я спросил:

— А ты почему замуж не выходила, тетка Улита?

— За кого? После войны не за кого было, потом женихи подросли, дак я уж сама изросла. А в чужую деревню уходить не хотела.

…В одно урожайное на грибы лето мы с соседом по два раза на дню плавали за речку за рыжиками. Здесь, в чистых криволуцких сосняках на заброшенных полях, их было особенно мно-

го. Однажды под вечер, нагрузившись во всю посудину, я тихонько вышел из лесу к поляне, на другом краю которой поблескивал залив и стояла наша лодка. Видно, я вышел совсем неслышно, и тетка Улита, сидевшая на колодине лицом в мою сторону, вернее, в сторону криволуцких полей, не успела смахнуть слезы. Она и не стала их смахивать, а сказала мне:

— Вот помру, думаешь, я на кладбище лежать буду? Нет, парень, я здесь буду бродить.

— Без работы?

— Кака-нить работа, поди, найдется.

Умерла тетка Улита зимой.

За три дня до того я приехал в деревню, растопил печку, и на дымок первой ко мне заглянула тетка Улита. Мы поговорили мало, она, как всегда, куда-то торопилась. «Как вы, тетка Улита?» — «Дак а я че, обо мне какой разговор? Топчусь». Приглашала «побормотать». И в тот же вечер слегла. Рассказывали, что закатывала в ограду бочку с замерзшей водой (водовоз налил, а она не заметила, вода замерзла), — стала закатывать, чтоб отдолбить, и в «грудях че-то сделалось». Два дня лежала. Да и не лежала; накануне вечером пошел к ней, а у нее за воротами два парня с бензопилой возятся над кряжами. Она, больная,

никто не знал, до какой степени больная, еще топталась, подавала им закуску. Когда ушли, закрылась, легла и больше не встала.

Так и лежат они неподалеку друг от друга: бабушка в среднем порядке разросшейся и успокоившейся деревни, а тетка Улита в верхнем. Кладбище высокое, словно вознесенное надо всем, что его окружает. От него хорошо видно во всю ее разлившуюся ширь Ангару, и, если встать лицом к воде, справа видны криволуцкие елани, а слева бабушкины, аталанские.

1984

Женский разговор

В деревне у бабушки посреди зимы Вика оказалась не по своей доброй воле. В шестнадцать годочков пришлось делать аборт. Связалась с компанией, а с компанией хоть к лешему на рога. Бросила школу, стала пропадать из дому, закрутилась, закрутилась… пока хватились, выхватили из карусели — уже наживленная, уже караул кричи. Дали неделю после больницы отлежаться, а потом запряг отец свою старенькую «Ниву» — и, пока не опомнилась, к бабушке на высылку, на перевоспитание. И вот второй месяц перевоспитывается, мается: подружек не ищет, телевизора у бабушки нет — сбегает за хлебом, занесет в избу дров-воды и в кровать за книжку. Темнеет мартовским вечером в восьмом часу, а электричество… прошли те времена, когда электричество всякую минуту было под рукой. Сковырнули за-ради него ангарские деревни, свалили как попало в одну кучу, затопили поля и луга, порушили вековечный порядок — все за-ради электричества, а им-то и обнесли ангарские деревни, пустив провода далеко в стороне. Выгоняли его при старых порядках для местных

нужд из солярки, а солярка теперь сделалась золотой, требует прорвы денег. Утром посветят, чтобы на работу отправить, а вечером — не всегда… Наталья по-старушечьи укладывается рано, вслед за солнышком; Вика поскрипит-поскрипит на продавленной пружинной кровати и тоже затихнет.

Девка она рослая, налитая, по виду — вправду в бабы отдавай, но умишко детский, несозревший, голова отстает. Все еще по привычке задает вопросы там, где пора бы с ответами жить. И вялая — то ли с ленцой, то ли с холодцой. Скажешь — сделает, не скажешь — не догадается. Затаенная какая-то девка, тихоомутная. Распахнутые серые глаза на крупном смуглом лице смотрят подолгу и без прищура, а видят ли они что — не понять.

В этот вечер не спалось. Бывает же так: как из природы томление находит, как не оконченное что-то, зацепившееся не дает отпущения ко сну. Вздыхала, ворочалась Наталья; постанывала, крутилась Вика. То принималась играть с котенком, то сбрасывала его на пол. За беленькими тонкими занавесками в двух окнах, глядящих на Ангару, мерцал под ранним месяцем ранний вечер. Сбилось со своего сияния электричество —

и опять увидели небо, запотягивались, как всякая Божья тварка, за солнышком, стали замечать, когда скобочка молодого месяца, когда полная луна.

День отстоял на славу — солнечный, яркий, искристо играли тугие снега, берущиеся в наст, звенькало из первых сосулек, загорчил первым подтаем воздух. За Ангарой, после заката, долго горело растекающееся зарево и долго томилось, впитываясь внутрь, долго потом уже новым, не зимним мягким пологом лежала по белому полю нежная синева. Но еще до темноты взошло и разгорелось звездное небо с юным месяцем во главе и пролился на землю капельный, росистый сухой свет.

Нет, не брал сон, ни в какую не брал. Истомившись, бабушка и внучка продолжали переговариваться. Днем Наталья получила письмо от сына, Викиного отца. Читала Вика: собирается отец быть с досмотром. Из-за письма-то, должно быть, и не могло сморить ни одну, ни другую.

— Уеду, — еще днем нацелилась Вика и теперь повторила: — Уеду с ним. Больше не останусь.

— Надоело, выходит, со мной, со старухой?

— А-а, все надоело…

— Ишо жить не начала, а уж все надоело. Что

это вы такие расхлябы, без интереса к жизни?

— Почему без интереса? — то ли утомленно, то ли раздраженно отозвалась Вика. — Интерес есть…

— Интерес есть — скорей бы съесть. Только-только в дверку скребутся, где люди живут, а уж — надоело!.. В дырку замочную разглядели, что не так живут… не по той моде. А по своей-то моде… ну и что — хорошо выходит?

— Надоело. Спи, бабуля.

— Так ежели бы уснулось… — Наталья завздыхала, завздыхала. — Ну и что? — не отступила она. — Не тошно теперь?

— Тошно. Да что тошно-то? — вдруг спохватилась Вика и села в кровати. — Что?

— Ты говоришь: уедешь, — отвечала Наталья, — а мы с тобой ни разу и не поговорили. Не сказала ты мне: еройство у тебя это было али грех? Как ты сама-то на себя смотришь? Такую потрату на себя приняла!

— Да не это теперь, не это!.. Что ты мне свою старину! Проходили!

— Куда проходили?

— В первом классе проходили. Все теперь не так. Сейчас важно, чтобы женщина была лидер.

— Это кто ж такая? — Наталья от удивления стала подскребаться к подушке и облокотилась на нее, чтобы лучше видеть и слышать Вику.

— Не знаешь, кто такая лидер? Ну, бабушка, тебе хоть снова жить начинай. Лидер — это она ни от кого не зависит, а от нее все зависят. Все бегают за ней, обойтись без нее не могут.

— А живет-то она со своим мужиком, нет? — Все равно ничего не понять, но хоть это-то понять Наталье надо было.

Вика споткнулась в растерянности:

— Когда ка-ак… Это не обязательно.

— Ну, прямо совсем полная воля. Как у собак. Господи! — просто, как через стенку, обратилась Наталья, не натягивая голоса. — Ох-ох-ох тут у нас. Прямо ох-ох-ох…

Вика взвизгнула: котенок оцарапал ей палец и пулей метнулся сквозь прутчатую спинку кровати на сундук и там, выпластавшись, затаился. Слышно было, как Вика, причмокивая, отсасывает кровь.

— А почему говорят: целомудрие? — спросила вдруг она. — Какое там мудрие? Ты слышишь, бабушка?

— Слышу. Это не про вас.

— А ты скажи.

— Самое мудрие, — сердито начала Наталья. — Без ума штанишки не скидывают. — Она умолкла: продолжать не продолжать? Но рядом совсем было то, что могла она сказать, искать не надо. Пусть слышит девчонка — кто еще об этом ей скажет. — К нему прижаться потом надо, к родному-то мужику, к суженому-то, — и подчеркнула «родного» и «суженого», поставила на подобающее место. — Прижаться надо, поплакать сладкими слезьми. А как иначе: все честь по чести, по закону, по сговору. А не по обнюшке. Вся тута, как Божий сосуд: пей, муженек, для тебя налита. Для тебя взросла, всю себя по капельке, по зернышку для тебя сневестила. Потронься: какая лаская, да чистая, да звонкая, без единой без трещинки, какая белая, да глядистая, да сладкая! Божья сласть, по благословению. Свой он и есть свой. И запах свой, и голос, и приласка не грубая, как раз по тебе. Все у него для тебя приготовлено, нигде не растеряно. А у тебя — для него. Все так приготовлено, чтоб перелиться друг в дружку, засладить, заквасить собой на всю жизнь.

— Что это ты в рифму-то?! Как заучила! — перебила Вика.

— Что в склад? Не знаю… под душу завсегда поется.

— Как будто раньше не было таких… кто не в первый раз.

— Были, как не были. И девьи детки были.

— Как это?

— Кто в девичестве принес. Необмуженная. До сроку. Были, были, Виктория, внученька ты моя бедовая, — с истомой, освобождая грудь, шумно вздохнула Наталья. — Были такие нетерпии. И взамуж потом выходили. А бывало, что и жили хорошо в замужестве. Но ты-то с лежи супружьей поднялась искриночкой, звездочкой, чтоб ходить и без никакой крадучи светить. Ты хозяйка там, сариса. К тебе просются, а не ты просишься ради Бога. А она — со страхом идет, со скорбию. Чуть что не так — вспомнится ей, выкорится, что надкушенную взял. Будь она самая добрая баба, а раскол в ей, терния…

— Трения?

— И трения, и терния. Это уж надо сразу при сговоре не таиться: я такая, был грех. Есть добрые мужики…

— Ой, да кто сейчас на это смотрит, — с раздражением отвечала Вика и заскрипела кроватью.

— Ну, ежели не смотрите — ваше дело. Теперь все ваше дело, нашего дела не осталось. Тебе лучше знать.

И — замолчали, каждая со своей правдой. А какая у девчонки правда? Упрямится, и только. Как и во всяком недозрелом плоду, кислоты много.

За окном просквозил мотоцикл с оглушительным ревом, кто-то встречь ему крикнул. И опять тихо. Наталья бочком подъелозилась к спинке кровати и отвела рукой занавеску. Еще светлее стало в спальне — отцеженным, слюдянистым светом.

— Зачем ты? Закрой! — встревоженно встрепенулась Вика.

Тонко, из звездной волосинки назревший, висел месяц. И скрадывал — где еще звездочка зазевалась. Полнится каждую ночь, полнится, пока не наберется в круглую сытую луну. Избы на другой стороне улицы стояли придавленно и завороженно — ни дымка, ни огонька, ни звука. Снежные шапки на крышах, подтаявшие за день, сидели набекрень и леденисто взблескивали под могучим дыханием неба. Такое там царило безлюдье, такая немота и такой холод, так искрилось небо над оцепеневшею землей и такой бедной, сиротливой показалась земля, что Наталье стало не по себе. Опустив занавеску и уползая под одеяло, она прошептала:

— Господи, помилуй…

— Что там, бабушка? — не поняла Вика.

— Везде там, внученька, Господи, помилуй…

— Ты что, больше ничего не видела?

— Нет. Спи.

Не сразу, через молчание, через вздохи, совсем по-бабьи:

— А у вас как с дедушкой было?

Наталья далеко была, не поняла:

— С дедушкой? Что было?

— Ну, как в первый раз сходились! Или ты забыла?

Наталья вздохнула так, что показалось — поднялась с кровати. Пришлось во-он откуда возвращаться, чтобы собраться с памятью. И сказала без радости, без чувства:

— Мы невенчанные легли. Это уж хорошего мало. Повенчаться к той поре негде было, церквы посбивали. Взяла я под крылышко свои восемнадцать годочков, перешила старое платье под новое — вот и вся невеста. Год голодный стоял. Выходили в деревне и в шестнадцать годочков, как тебе… Так выходили доспевать в мужних руках, под прибором… — Наталья сбилась и умолкла.

— Ну и что с дедушкой-то? — настаивала Вика.

— А что с дедушкой… Жили и жили до самой войны. У нас в заводе не было, чтоб нежности друг дружке говорить. Взгляда хватало, прикасанья. Я его до каждой чутельки знала.

— У вас и способов не было…

— Чего это? — слабо удивилась Наталья. — Ты, Вихтория, не рожала… Как пойдет дитенок, волчица и та в разум возьмет, как ему помогчи. Без дохторов, без книжек. Бабки и дедки из глубоких глубин укажут. У людей пожеланье, угаданье друг к дружке должно быть. Как любиться, обзаимность учит. Тяготение такое. У бабы завсегда: встронь один секрет, а под ним еще двадцать пять. А она и сама про него знать не знала.

— Это правильно, — подтвердила Вика. А уж что подтверждала — надо было догадываться. — Женщина теперь сильнее. Она вообще на первый план выходит.

— Да не надо сильнее. Надо любее. Любее любой.

— Бабушка, ты опять отстала, ты по старым понятиям живешь. Женщина сейчас ценится… та женщина ценится, которая целе-устремленная.

— Куда стреленая?

— Не стреленая. Целе-устрем-ленная. Пони-

маешь?

— Рот разинешь, — кивала Наталья, — так и стрелют, в самую цель. Об чем я с тобой всю ночь и толкую. Такие меткачи пошли.

Вика с досады саданула ногой по спинке кровати и ушибла ногу, утянула ее под одеяло.

— Ты совсем, что ли, безграмотная? — охала она. — Почему не понимаешь-то? Целе-устремленная — это значит идет к цели. Поставит перед собой цель и добивается. А чтобы добиться, надо такой характер иметь… сильный.

Устраиваясь удобнее, расшевелив голосистые пружины кровати, Наталья замолчала.

— Ну и что, — сказала потом она. — И такие были. Самые разнесчастные бабы. Это собака такая есть, гончая порода называется. Поджарая, вытянутая, морда вострая. Дадут ей на обнюшку эту, цель-то, она и взовьется. И гонит, и гонит, свету невзвидя, и гонит, и гонит. Покуль сама из себя не выскочит. Глядь: хвост в стороне, нос в стороне и ничегошеньки вместе.

— Бабушка, ну ты и артистка! При чем здесь гончая? И где ты видала гончую? У вас ее здесь быть не может.

— По тиливизиру видала, — смиренно отвечала Наталья. — К Гале, к соседке, когда схожу

вечером на чай, у ней тиливизир. Все-то все кажет. Такой проказливый, прямо беда.

— И гончую там видала?

— И гончую, и эту, про которую ты говоришь, целеустремленную… Как есть гончая на задних лапах. Ни кожи, ни рожи. Выдохнется при такой гоньбе — кому она нужна? Нет, Вихтория, не завидуй. Баба своей, бабьей породы должна быть. У тебя тела хорошая, сдобная. Доброе сердце любит такую телу.

— Все не о том ты, — задумчиво отвечала Вика. — Все теперь не так.

Котенок спрыгнул с ее кровати, выгибая спину, с поднятым хвостом вышагал на середину комнаты и, пригнув голову, уставился на окно, за которым поверх занавески играло ночное яркое небо. Звездный натек застлал всю комнату, чуть пригашая углы, и в нем хорошо было видно, как котенок поворачивает мордочку то к одному окну, то к другому, видна была вздыбившаяся пепельная шерстка и то, как он пятится, как неслышно бежит в кухню.

— Не о том, — согласилась с внучкой Наталья. «Хочешь не хочешь, а надо сознаваться: все теперь не так. На холодный ветер, как собачонку, выгнали человека, и гонит его какая-то сила,

гонит, никак не даст остановиться. Самая жизнь гончей породы. А он уж и привык, ему другого и не надо. Только на бегу и кажется ему, что он живет. А как остановится — страшно. Видно, как все кругом перекошено, перекручено…»

— Тебя об одном спрашиваешь, ты о другом, — с обидой сказала Вика, не отставая: что-то зацепило ее в этом разговоре, чем-то ей хотелось успокоить себя.

— Про дедушку-то? — вспомнила Наталья. — Ну так а что про дедушку? Твой-то дедушка и не тот был, с которым я до войны жила…

— Как не тот? — поразилась Вика.

— Ну а как ему быть тому, если того на войне убили, а твой отец опосле войны рожденный? Ни того ни другого давно уж нету, но сначала-то был один, а уж потом другой. Сначала Николай был, мы с ним эту избенку, как сошлись и отделились от стариков, в лето поставили. Здесь дядья твои Степан да Василий родились, Николаевичи. Отсюда он, первый-то дедушка, на войну ушел. А второго дедушку, твоего-то, он же, Николай, мне сюда послал.

— Как сюда послал? Ты что говоришь-то, бабушка? — Вика рванула кровать, как гармонь, и уселась, наваливаясь на спинку и подбивая

под себя подушку. — Ты расскажи.

Что делать: заговорила — надо рассказывать. Наталья подозревала, что младшие ее внуки мало что знают о ней. Одного совсем не привозили в деревню, Вика же была здесь лет пять назад и неизвестно когда приехала бы снова, когда бы не эта история. Знают только: деревенская бабушка; вторая бабушка была городская. Подозревают, что деревенской бабушке полагался деревенский дедушка, но его так давно не было, что о нем и не вспоминали. Легче было вспоминать того, первого, о нем хоть слава осталась: погиб на фронте.

— Как он мог прислать, если он погиб? — И голос звонче сделался у Вики, выдавая нетерпение, и кровать под нею наигрывала не переставая. — И как это вообще можно прислать?

— Вот так, — подтвердила Наталья и покивала себе. — Чего только в жизни не состроится. Ко мне Дуся на чай ходит… знаешь Дусю?

— Ну.

— Она опосле войны у родной сестры мужика отбила. У старшей сестры, у той уж двое ребятишек было, а не посмотрела ни на что, увела. Мужик смиренный, а взыграл, поддался. Та была путная баба, а у Дуси все мимо рук, все поперек дела. Ни ребятишек не родила, ни по хозяй-

ству прибраться… охальница, рюмочница… Ну, как нарочно, одно к одному. И терпел мужик, сам стряпал, сам корову доил. Теперь уж и его нет, и сестры не стало, а Дуся к тем же ребятам, которых она без отца оставила, ездит в город родниться, помочь от них берет. Приходит позавчера ко мне: «Наталья, я в городу была, окрестилася. Потеперь спасаюсь». — «Тебе спасаться до-ол-гонько надо, — говорю ей. — Не андел».

— Бабушка! — вскричала Вика. — Тебя куда опять понесло? Мне неинтересно про твою Дусю, ты про себя, про себя. Про второго дедушку.

— Ворочаюсь, ворочаюсь, — согласилась Наталья, вздыхая. — Я тоже ста-ла — куда понесет. Ну, слушай. С Николаем я прожила шесть годов. Хорошо жили. Он был мужик твердый. Твердый, но не упрямый… ежели где моя права, он понимал. За ним легко было жить. Знаешь, что и на столе будет, и во дворе, и справа для ребятишек. Меня, если по-ранешному говорить, любил. Остановит другой раз глаза и смотрит на меня, хорошо так смотрит… А я уж замечу и ну перед ним показ устраивать, молодой-то было чем похвалиться.

— И чем ты хвалилась?

— А своим. Все своим. Чем еще? Работой я в ту пору не избита была, из себя аккуратная, улы-

бистая. Во мне солнышко любило играть, я уж про себя это знала и набиралась солнышка побольше. Потом-то отыгра-ало! — протянула она, проводя границу. — Потом все. Сразу затмение зашло. Отревела опосле похоронки, пообгляделась, с чем осталась… Двое ребятишек, одному пять годков, другому три. А младшенький еще и слабенький, никак в тело не мог войти, ручки-ножки как прутики…

— А папы, значит, тогда еще не было? — пробовала Вика спрямить бабушкин рассказ.

— Папы твово не было. Он из другого замеса. Похоронку на Николая принесли зимой, вскорости война кончилась, а осенью, как поля подобрали, прихожу повечеру домой, какой-то мужик на бревнышках под окошками сидит. В шинельке в военной, в сапогах. Меня увидал — поднялся. «Я, — говорит, — вместе с вашим мужем воевал и был при нем, когда он от раны смертельной помер. Я, — говорит, — писал вам, как было… получали мое письмо?»

Письмо такое было, оно и потеперь у меня в сохранности. Зашли мы в избу, давай я чай гоношить. А сама все оглядываюсь на него, все думаю: зачем приехал? И ехать неблизко, из-под самого из-под Урала, гора поперек земли

так называется. Как снял шинельку — худой, длинный, шея колышком стоит, руки-ноги, как у мальчонки мово, у Васьки, болтаются. По всему видать, досталось солдатику. Один раз был раненый и другой раз — контуженый. Контузия получилась хужей раны, он никак не мог ее в докончательности снять.

— Ну и что? — не выдерживала Вика. — Вы пили чай, и он сказал, что его прислал первый дедушка вместо себя?

— Не егози, — одернула ее Наталья. — Это у вас раз — и готово. В первый день он только и сказал, что дал Николаю слово проведать нас. Я отвела его ночевать к старикам. Ты по воду ходишь по заулку… третья изба по правую руку на углу, совсем уж старенькая, под тесовой крышей… это наш был дом, у меня там отец с матерью жили. Ну и я там жила, покуль мы с Николаем здесь не построились. Отвела я его туда, забрала ребятишек… они, ребятишки, когда я на работе, у стариков оставались. Он ребятишкам гостинцы дал, по большому куску сахару. Приметила, как уходила: отец за-ради такого гостя из запасу бутылку достал, а он пить не стал. Мне, говорит, контузия не позволяет.

Набираясь сил, Наталья придержала рассказ.

Тишина стояла такая, что словно бы потрескивание звездочек доносилось с неба тонким сухим шуршанием. Спущенная с постели, болтающаяся рука Вики виделась несоразмерно большой и неестественно белой, окостеневшей. И уже не из левого, а из правого окошка смотрел на Вику запрокидывающийся серпик месяца.

— На другой день он пришел с утра, — без подталкивания продолжила Наталья. — «Я, — говорит, — вчера не все сказал. Его Семеном звали, твой отец Семенович. Прошу, — говорит, — меня выслушать до конца и не удивляться, а дать свою волю». Я так и закаменела, в голову что ударило: живой, думаю, Николай, но сильно покалеченный и боится показаться. А он говорит… он вот какую страсть говорит. Будто просил Николай прийти ко мне и передать его пожеланию. Сильно, мол, любил он меня и дал мне перед смертью вольную от себя. Какую вольную? Выдти за другого. Стоит в шинельке, я его и раздеться не позвала, голова дергается… это у него от контузии… как за нервы заденет, голову поддергивает… не так чтоб сильно, но заметно. И говорит… Мне, говорит, Николай сказал, что нигде, во всем белом свете не найду я бабу лутше и добрей, чем ты. А тебе от него завещания, что

будет тебе со мной хорошо. Вот такая смертная воля. Я так и села…

— Но тебе же приятно было, что он тебе предложение сделал? — спросила Вика, неумело подтрунивая.

Наталья не стала отвечать.

— «И ты за-ради этого поехал?» — спрашиваю его. «Поехал». — «Отец, мать есть у тебя?» — «Мать померла, отец есть». — «Что это за приказания такая, что от отца, от братьев, поди, от сестер пошел неведомо куда и про родню забыл?» Молчит. «Что за приказания такая лютая?» — «Что в ней, — говорит, — лютого? Ты Николая любила, а я ему верил. Я тебя не знал, ты меня не знала, а он знал и тебя, и меня. Он бы зря не стал нас сводить». — «Не-ет, ты голову, — говорю, — на место поставь и подумай: на что тебе брать чужую бабу с хвостами, когда теперь молодых девок невпересчет? На что? Во мне уж теперь ни одной сочинки для любовей не осталось, я тебе совсем даже негожая. Я, поди, и старше тебя». Стала спрашивать про годы — так и есть: на три годочка я старше. «Ты, видно, — говорю, — хороший человек, Николай плохого не подослал бы, но я твою милость принять не могу. Уходи, уезжай». Он постоял, постоял и ушел.

— Ушел?! — поразилась Вика. — Как ушел? Откуда же он потом взялся?

— Ушел, уехал, — подтвердила Наталья ровным голосом и перевела дух. — А недели через три или там через сколько, снег уж лег, с торбой обратно. Это он на зиму одежу привез. Ко мне не зашел, встал на постой у моих стариков. Прямо родня. Начал ходить на колхозную работу. Я на него не гляжу, будто его и нету, и он не глядит, будто не из-за меня воротился.

Вика опять не удержалась:

— Ну, бабушка, какие же вы раньше были забавные! А ты уж его полюбила, да?

— Да какая любовь?!

— У вас что — и любви в то время по второму разу не было?

— Слушай, — с досадой отвечала Наталья, недовольная, что ее перебивают, как ей казалось, глупостью. — Любовь была, как не быть, да другая, ранешная, она куски, как побирушка, не собирала. Я как думала: неровня он мне. Зачем мне себя травить, его дурить, зачем людей смешить, если никакая мы не пара? На побывку к себе брать не хотела, это не для меня, а для жизни устоятельной ровня нужна.

Наталья замолчала. Все-таки сбилась она с рас-

сказа, потеряла нитку, которую тянула, и теперь словно бы нашаривала ее, перебирая торчащие прихваты.

— Ну, живет, — повздыхав, повела она дальше. — Ребятишки там, у стариков, и он там. Стал их к себе приучать. Они уж и домой не идут. Сам же и приведет, уговорит, что до завтрашнего только дня расстаются, а со мной разговор самый посторонний. Борьба у нас пошла — кто кого переборет. Я упористая, и он на войне закаленный. Вижу, он мою же силу супротив меня сколотил: ребятишки души в нем не чают, а там и старики его сторону взяли. Особливо мать. Пошло на меня нажимание со всех сторон. Бабы в деревне корят: дура да дура. А сам вроде и ни при чем, даже и не подступает.

Вика рассмеялась:

— А тебе уже обидно, что не подступает. Ты уж ревнуешь…

— Я не ревную, а обложили. Это бы ладно, это бы я выдюжила, я баба крепостная…

— С чего ты крепостная? Крепостные при царе были. Крепкая, что ли, ты хотела сказать?

— Я любой приступ бы выдюжила, это мне нипочем, — повторила Наталья не без похвальбы. — Но я говорю: он был контуженый, больной.

А контузия такая: лягет — и весь свет ему не мил. Не слышит ниче и не видит, глаза страхом каким-то зайдутся. Койни-как оторвет себя от кровати, встанет, а идти не может. Потом опять ниче. Ну вот. Смотрела я, смотрела и высмотрела, что это я ему нужна, что без меня он долго не протянет.

— И ты его за это полюбила?

— Что ты все «полюбила, полюбила»… — без раздражения, спокойно ответила Наталья. — Это уж вы любитесь, покуль сердце горячее. А я через сколько-то месяцев — это уж вода побежала по весне — смирилась и позвала его. Без всяких любовей. Чему быть, того не миновать. Он пришел и стал за хозяина. Семь годов мы с ним прожили душа в душу, дай-то Бог так кажному. И в год потом загас. Не жилец он был на белом свете, я это знала. Но мне и семь годов хватило на всю остатную жизню.

— Он что — лучше был первого дедушки? — спросила Вика, уже теряя интерес и сползая в рост в постель: история кончилась.

— Отшлепать бы тебя за такие разговоры, — слабо возмутилась Наталья. — Так я тебе скажу, внученька. Я древляя старуха, столько годов прожила, что на две могилы хватит. Источилася вся от жизни. И отсюда, с высокой моей горуш-

ки, кажется мне: не два мужика у меня было, а один. В одного сошлось. На войну уходил такой, а воротился не такой. Ну так а что с войны и спрашивать? Война и есть война. Ты говоришь… молоденькая, без подумы говоришь… Когда он прикасался ко мне… струнку за стрункой перебирал, лепесток за лепестком. Чужой так не сумеет.

— Забавная ты, бабушка, — неопределенно сказала Вика и громко, со вкусом зевнула.

— Вот поживешь с мое, и даст тебе Бог такую же ночку поговорить со внукой. И скажет она тебе: забавная ты старуха. Не отказывайся: и ты будешь забавная. Куда деться? Ох, Вихтория, жизня — спаси и помилуй… Устою возьми. Без устои так тебя истреплет, что и концов не найдешь.

Наталья отлежала спину и со стоном повернулась на бок. Вика уже посапывала. Ее лицо, большое и белое, лежало на подушке в бледном венчике ночного света, склонившись чуть набок, на подставленную руку. Наталья вгляделась: нет, не спокойно засыпала девчонка — подергивались, одновременно вздрагивая, плечи, левая рука, ища гнезда, оглаживала живот, дыхание то принималось частить, то переходило в плавные неслышные гребки.

...С тихим звоном билась в стеклину звездная россыпь, с тихим плеском наплывал и холодно замирал свет. Стояла глубокая ночь, ни звука не доносилось из деревни. И только небо, разворачиваясь, все играло и играло мириадами острых вспышек, выписывая и предвещая своими огненными письменами завтрашнюю неотвратимость.

1995

Из цикла рассказов о Сене Позднякове

Сеня едет

Сеня Поздняков, в отличие от других, прозвищами себя награждал сам. Да так удачно, что они прилипали. Пока бродяжничал, бичевал — был Бродя, покончил в один прекрасный день с беспутной жизнью, отхватил лучшую в деревне невесту — стал «наш орел». А Заморы вдобавок окрестили его, как и всякого бы приставшего со стороны, «поселенцем». Каждое прозвище имело свое употребление: говорили хорошо и за глаза — «поселенец», посмеивались с издевкой в Сенином же присутствии — «наш орел». Но как-то так получалось, что в том и другом случаях — и когда похваливали, и когда на смех подымали, — относились к Сене, будто к сироте, с добродушием. Был он мужик безвредный, услужливый, улыбчивый. И только у Гали, у жены, вырывалось раза два или три:

— Погубил ты меня, Сеня. Такую бабу погубил!

Галя знала себе цену. Сене же цена была небольшая. Когда-то он читал книжки, вышел из приличной городской семьи, окончил школу

и готовился к жизни всерьез. Но после армии понесло его по романтической части, об уроках которой деревня знала наизусть из песни, распеваемой не однажды «нашим орлом» при его продвижении к дому:

Ах ты, сука-романтика!
Ах ты, Братская ГЭС!
Я приехала с бантиком,
А уехала – без.

Трагические эти строки продолжения не имели. Сеня выдирал их из груди с такой болью, с таким отчаянием, что они пронизывали всю улицу, откашливался громко избыточным страданием и начинал сначала. На пение выходила Галя, и тогда оно прекращалось на средине.

В Заморы он прибыл, разумеется, уже «без бантика». Не было при нем, кроме того, ни трудовой книжки, ни паспорта. Не было и рубахи. Его «явление» до сих пор не забыто, хотя и случилось оно больше четверти века назад, когда с рейсового теплохода вслед за прибывшими чинно и благородно пассажирами за руки, за ноги вынесли бездыханное тело неизвестного, бросили, как мешок, под молчаливые взгляды местного народа на берег и отчалили. Вопросы: кто, от-

куда, к кому, зачем? — появились лишь после того, как белый пароход, взбучивая воду, поддал жару на своем пути из Иркутска в Братск. Отвечать было некому, молодой мужик со следами безуспешной борьбы с пьянством не подавал признаков жизни. До того как расходиться, затащили его под дырявый навес для встречающих-провожающих и оставили под надзором собак. До сумерек перебывали у него чуть не от каждого дома и с облегчением отходили: не довел Господь до знакомства и уж тем более до родства с этой пропащей душой. В сумерки, чтобы не брать на себя грех за неприсмотр, заставили парней прибрать незнакомца в ближайшую баньку, которая и оказалась баней Стуковых.

Дело было по осени, в сентябре, а за два месяца до того Галя Стукова вернулась в родные Заморы, чтобы после трехлетней учебы принять от родной матери здешний фельдшерский пункт. Ей и выпало отваживаться с Сеней, возвращая его к жизни. Она первой и услышала скорбную историю его жизни, последняя страница которой осталась за границами памяти: поехал с такими же, как он, вербованными к месту очередной работы и вот… не доехал. Местные ухари, только-только начинавшие делать возле краса-

вицы Гали боязливые круги, и охнуть не успели, как сброшенное мертвяком с парохода тело поднялось на ноги, оделось в штаны и рубаху Петра Андреевича, начальника участка, и заявило, что оно — «наш орел». Заявило раньше, чем Галя, Петр Андреевич и Вера Васильевна, все вместе и каждый в отдельности, успели рассмотреть, что это за птица и с какой целью она спикировала на их семью. Галина мама до самой смерти не могла прийти в себя от изумления, что же это, что за наваждение нашло тогда на них, если на глазах у не слабых умом родителей было похищено дитя. Да так похищено, что его же, похитителя, еще и оглаживать пришлось, чтобы не позориться перед людьми.

Теперь Веры Васильевны в живых давно нет, Петр Андреевич доживал век у старшего сына в городе, а «наш орел» успел растерять свои перышки. Усохший, потрепанный водкой, с затухающей порывистостью, он сохранил лишь одно — чистые свои голубенькие глазки на морщинистом лице. Полгода назад, с укоротом леспромхозовских работ отправленный на пенсию, Сеня свершил подвиг жизни — бросил пить. Пить бросил, но бодрости не приобрел; следовало бросить раньше. И все чаще, откачиваясь от де-

ла, оцепеневал он по-каменному, уставившись куда-то перед собой без памяти и мысли.

И только Галя, по-прежнему красивая, прямая, выше Сени, с сильным телом, неразношенная, — только Галя была хоть куда. С медициной Гале пришлось расстаться, и не только Гале, а всему поселку: новые порядки, борясь со старыми, боролись и со всем, что было при старых, в том числе и с людьми, отказывая им в лекарствах. Полтора года назад медпункт закрыли. Сын и дочь у Сени с Галей, взяв годы, не задержались в деревне и жили в городе своими семьями, имея и от себя — наперекрест — мальчика и девочку. Ради горожан, задавленных ценами, приходилось держать большое хозяйство: две дойные коровы, две свиньи, пять овец, куриц, огород — крутежу хватало от зари до зари. В сорок пять «баба ягодка опять», а сама у себя в скотницах, в огородницах, кухарках. Сеня в рабочей упряжке и с рюмкой помогал лучше, чем теперь, освободившись от того и другого.

Хватила Сеню, как сказали бы раньше, лихоманка.

Телевизор включали редко. Когда полон двор животины и страда подгоняет страду, не до того, чтобы пялиться в телевизор. Его и в каждой избе

держали больше для обзаведенья, чем для применения.

А тут Сеня, на беду свою, как-то нажал на кнопку включателя. Началась эта история, когда он еще работал. Нажал на кнопку — и вдруг без всякой настройки, как там и сидела, наплыла на него такая картина, что Сеня попятился. Сдернул он ее с помощью той же кнопки и, глядя испуганно на затмевающийся экран, соображал: Китай, что ли, опять балуется?.. Одно время было: включаешь Москву, а попадаешь в Китай, на оперу. Сеня для проверки снова толкнул кнопку и снова вытолкнул напугавшее его зрелище. Китай или допился? Диверсия по средству массовой информации или чертики? До чертиков у него однажды доходило, но они чертиками и оставались, за границы не переходили. Тут же… Сеня заставил себя всмотреться. Тут же шла самая настоящая… Сеня знал, как это называется… да ведь как бы ни называлось, а дело это не для показу. Допился. Он отжал опять кнопку, выдернул шнур из розетки и, раздеваясь на ночь, набросил на мерцающее пучеглазие телевизора штаны. Пили в гараже какую-то дрянь из большой иностранной бутылки, даже и не забрало как следует, а вот поди ж ты, куда ударило.

Подмывало проверить видение на Гале, но Галя, когда являлся он под «братским бантиком», стелила себе отдельно.

Утром Сеня прислушивался в гараже: видели или не видели? Никто ничего. «Звоночек, — решил он. — Второй. Непростой, с поворотом. Нет, надо завязывать».

Но сомнение оставалось. Не давало согласиться это самое дело, куда произошел поворот. Никогда Сеня на него особенно не упирал, никогда оно ему белый свет не застило. Поддержать «фольклор» в мужских разговорах мог, но не до затмения ума. Что-то тут было не то. Сеня стал включать телевизор не просто так, чтобы охолонуть с работы под культурой и политикой, а чтобы поискать следы того, что ему померещилось. Теперь, когда он взялся всматриваться внимательней, то увидел много интересного, чего раньше, включаясь на минутку-вторую, не замечал. Из лесу далеко не углядишь, но ведь вот он, глаз-то: пока они жили по старинке, произошел форменный разворот на все градусы от указанного раньше направления жизни. Никто не работает, все веселятся. Никто не ходит пешком, все катаются на машинах. Длинные, членистые, как вздыбленные лохматые гусеницы, наплодились песенники,

которые, извиваясь и дергаясь, будто под током, выкрикивают под грохот техники какие-то страсти, а полоумная пацанва, огромная, дикая, из одних ревущих ртов, сплетясь голыми руками и раскачиваясь, катит встречный жуткий рев. Потом рев мотора — и трах-тарарах по мозгам: покупайте! покупайте! покупайте! А на что покупать, на какие шиши, зарплату третий месяц не дают! А тем хоть бы хны — светоизвержение! Покупайте, продавайте, прыгайте, стреляйте, война, кровь, замогильные голоса — и вот!..

— Галя! — взревел Сеня. — Галя! Быстро! — и вскочил навстречу. — Где ты?

— Чего орешь дурноматом! Что у тебя?

— Ты погляди.

Галя взглянула, сплюнула и выключила.

— Чего уставился-то на срамоту? Делать нечего? Совсем рехнулся!

— Но ведь показывают?

— Не смотри. Не для нас с тобой показывают.

— А для кого?

— Для шибко умных.

Можно, конечно, и не смотреть. Но ведь если показывают, то и смотрят. Город весь утонул в телевизоре, а у него там дети, внуки подрастают. Что же это происходит, почему стало позволено?

Ведь это же, ясное дело, не от недосмотра, это политика такая. Запрягли так и поехали. Куда? Не сегодня поехали, видно, что раскатились. Где ты летал, наш орел, куда смотрел, если главного не видел? Не смотри. Не заметишь, как под порог подкатит, нагишом по улице ходить заставят.

Нет, не мог успокоиться Сеня. Подступала, как он называл ее, «боевая готовность» — возбуждение, которое охватывало его, к примеру, в сенокос, пока не подобран последний клочок сена. До тех пор он ни о чем не мог подумать, никакой рюмкой его было не взять. И вот теперь входило в него то же самое, единственное, забиравшее полностью.

Вечером, как сели за ужин, Сеня не утерпел:

— А если бы нас с тобой так, а?

— Что у тебя опять такое?

— А если бы нас… Мы бы с тобой легли, а нас бы это хайло, это пучило, — Сеня кивнул на телевизор, и показалось ему, что тот еще больше залоснился от удовольствия, словно бы принял предложение, — на весь свет… Поглянулось бы тебе?

— Уймись, Сеня!

— Я понимаю, без этого нельзя. Но почему на люди-то? Это же наше с тобой. А они — как со-

баки, хуже собак. Ты посмотри…

Что заставило Сеню толкнуть телевизор, он и сам не знал. Но вышло к месту. Телевизор загудел-зашипел и накатил на Галю с Сеней картинку… они и ведать не ведали, что такое бывает: что-то, как огромный паук, белое, многоногое, многоголовое, голое, извивающееся и жуткое. Галя пропавшим вдруг голосом, на хрипе, вздымаясь над Сеней:

— Ты что себе позволяешь?! Ты что делаешь?!

— Я-то почему делаю? Это он, они делают…

— Ты что мне подстроил?

— Как я мог подстроить? Думай маленько. — Паук между тем разворачивался, показывая себя со всех сторон, опадал и вздымался. Сеня подумал: а почему он, собственно, оправдывается? Тут разве оправдываться надо? Тут разве между собой надо цапаться? Он заставил паука сгинуть, с трудом удержался, чтобы не отправить вслед за ним и весь телевизор, и провозгласил вслед:

— Ди-вер-сия!

— Чего-о?

— Диверсия на бытовом уровне. Берут сразу и через голову, и через это место. Нич-че, поглядим, — угрожающе добавил Сеня и поднялся, готовый ко всему.

В гараже он приступил к мужикам:

— Телевизор смотрите?

— А чего… там… смотреть? — тяжело вырубая изнутри слова, ответствовал Вася Сомов, угрюмый без бутылки, грубого, без отделки, покроя мужик из слесарей. Он и отозвался лишь потому, что сварганили бутылку. — Там… одна… — Вася матом обозначил два предмета интереса телевизора — политику и эту самую, в которую ударился лбом Сеня.

Видят, значит, все видят, не он один. Грубый народ, а не одобряет.

— Мужики, а почему мы терпим-то? Почему позволяем? Нас с головой туда… Это культура, что ли? Там культуру должны двигать, а они что?! Мы без них, что ли, с бабой не справимся?

— Справимся, — подтвердил Вася.

— Чего ты, дядь Сень, — вмешался Генка, парнишка, убивающий в гараже год от школы до армии. За работой на побегушках, а как до выпивки — чувствовал он себя среди мужиков ровней. Генка только что доставил бутылку и был еще на высоте подвига. — Разошелся, будто вчера в первый раз увидел. Давно кажут.

— Давно… кажут… — согласился Вася. — Лоханка.

— Как демократию провели — сразу. Уж все на десять рядов обказали. В кино еще больше кажут.

— И кино… лоханка!

Рогов, бригадир, добавил, открывая бутылку:

— На голову встали, а ноги задрали — вот она и заголилась, механика-то. Вот и навалились.

— Мужики, а что делать-то будем? — не унимался Сеня.

— А что делать? Что ты будешь делать? Ежели это государственный интерес наравне с тюменской нефтью. Ежели из этой скважины тоже деньги качают…

— Совсем ничего не делать? Водку пить?

— Ты водку, Сеня, не трожь. Не путай хрен с бутылкой.

Сеня как тронулся. Приходил с работы, наскоро, чуть не бегом, помогал по хозяйству и торопился к волшебной кнопке. Не терпелось знать, куда двигается дело, есть ли перемены. Двигалось оно вглубь и вширь, но не назад. Когда не было практических занятий, полным ходом шла пропаганда и агитация. Агитаторы, все из науки и культуры, все, как на подбор, черные и бородатые, соловьями заливались, ужами изворачивались, чтобы показать, где спрятано

счастье жизни. Для одного, уже немолодого, жмурящего глаза, собрали соплюшек, годочков по четырнадцать-шестнадцать, и он в каждую тыкал: живешь или нет половой жизнью? А если не живешь — пора жить, это, мол, полезно для здоровья.

— Галя! — кричал Сеня. — Ты посмотри! Ты посмотри, что он несет! Раньше языки за этакое-то вырезали!..

— Выключи! — свирепела Галя. — Не нравится — выключи.

— Я выключу, а ведь они-то, соплюшки-то, не выключат… Они слушают. Верят.

Потом, как результат, показывали этих самых соплюшек, которые, насмотревшись и наслушавшись, пошли по рукам. У Сени не хватало сердца смотреть на мордашки девчоночек, как на крючок с наживкой вытянутых из детства, где только в куклы играть, а они уж через такие игры проходят, через такое воспитание!.. Господи! Немцы, татары не трогали, давали подрасти, а тут свои… едва из колыбели — и на растяжку. А какие это свои, разве это могут быть свои? Но где тогда свои? Где они? Почему, как Змею Горынычу, отдают и отдают бессловесно дочерей своих малых? Двенадцатилетние рожают — Господи! Подряд,

одна за другой. Показывают их в каком-то приемнике — глаза свернувшиеся, нечеловечьи, а гонор друг перед дружкой держат. Кого они нарожают? Какой народ придет после этого?

Все больше твердел Сеня в убеждении: надо что-то делать.

Он пошел к начальнику участка. Тот с привычной болью выслушал — все они сейчас жили, как при параличе, с остывающей болью, — кивнул:

— Ну и что? Что ты предлагаешь?

— Протест от коллектива надо выразить. Мол, не согласны, не хотим.

— Какой протест? Куда? Некуда. Ничего не стало. Ты что, не видишь?

— Забастовку устроить. Детей же губим. Все к чертям собачьим губим.

— Какую забастовку? Нам ее давно уж устроили. Не видишь — все лесом забито, не вывозят. Третий месяц зарплату вам не дают — не заметил? Куда, в какую щель ты глядишь? Мне рабочих опять увольнять надо. И ты пойдешь, — мрачно добавил он. — Вот список. Собирайся, орел, через месяц на пенсию, отлетал. Вот и вся тебе забастовка.

На пенсию Сеня ушел, но не успокоился. Он

разом, как отрубил, бросил пить. Хватит в дерьме возиться, довозились до того, что и не видим, что оно — дерьмо. Мужики отнеслись к его трезвости как к очередной просушке перед новым решительным штурмом, но Галя, двадцать лет умолявшая Сеню расстаться с рюмкой и давно потерявшая надежду, на этот раз каким-то чутьем угадала: вылез мужик, вылез, но куда полезет дальше: не похоже, чтобы он собирался успокаиваться. С печалью и страхом она смотрела на Сенино дежурство перед телевизором, раздумывая, как бы от него избавиться.

Сеня съездил в райцентр, обновил очки и, насадив их на нос, вел перед телевизором какой-то протокол. Дважды он написал в Останкинскую башню, на одно письмо ему ответили, что принимают его тревогу, тревогу пожилого человека, воспитанного на иных идеалах, — и выходило, что ежели пожилой, то дурак. На второе и отвечать не стали. Но Сене их ответы больше были не нужны. Просидев неделю над какими-то записями и расчетами, он принял решение. И сразу легко, свободно вздохнул: все. Вперед!

— Еду в Москву, — заявил он.

Галю окатило.

— Тебя только там и не хватало! Ты посмотри,

что там делается, посмотри!

Посмотреть, верно, было на что. В Москве начиналась война. Когда услышал Сеня, что уличное войско из таких же, как он, взбунтовавшихся против «вниз головой — вверх ногами», но нестроевых, необученных, двинулось на Останкинскую башню, он закричал в телевизор сдавленно и бессильно, понимая, что не услышат:

— Не так! Не так! Подождите! Вы же все только испортите! Вас же положат!

Их и положили, как угадал Сеня. Весь день после этого он пролежал на диване в оцепенении, без еды, без питья и слов. Радио в кухне захлебывалось: враги народа, фашисты, штурмовики, а перед Сеней проплывали мордашки двенадцатилетних мам, снятых со школьной парты, чтобы… К вечеру Сеня успокоился и поднялся.

Он выехал только недавно. Задержала теплая осень — быка по теплу было не забить. Пока продал мясо на дорогу, пока собирался — билет на самолет взвинтился в такую высь, что только в бинокль и рассматривать. Пришлось переходить на железную дорогу. Но и там не дремали, и там билет бил уже не по карману, а по голове до сотрясения мозгов. Пришлось Сене вернуться в Заморы и вслед за быком вывести со двора

двух овец.

Остановить его ничто уже не могло.

Едет Сеня, едет. Ждите.

1994

Нежданно-негаданно

Расположились в скверике напротив дебаркадера. Скверик уже не походил на скверик: на бойком месте земля была вытоптана до камня, с одного бока его поджимала стоянка для машин, выдвинутая из-под моста и огороженная высокой металлической сеткой, с другого — теснила расползшаяся, в ямах, дорога к Ангаре, с третьего — асфальтовая дорога вдоль Ангары. Высокие тополя в скверике стояли редко, но раскидисто и тень давали. К ним и повел Сеня Поздняков свою группу, как только объявили, что «Метеор», на котором предстояло им ехать, подадут с опозданием на час. Группа была из своих, из своей деревни, и из соседей, из замараевских, возвращающихся из города. Поровну по три человека оттуда и оттуда. Свои: Сеня, Правдея Федоровна, потерявшая свое имя Клавдея еще в старые времена за пристрастие к правде, когда, высту-

пая на собраниях с разоблачительными речами против начальства, она повторяла: «Я правду люблю», — и Сенина соседка по деревенскому околотку бабка Наталья. Замараевские: муж и жена Темниковы, он инженер в леспромхозе, она — бывший врач. Но это еще по старой сдаче инженер и врач. Теперешняя жизнь сдала карты заново и козыри поменяла. И кто из них сейчас кто, они и сами не знали. Леспромхоз то работал, то не работал, больницу ужали до фельдшерского пункта и поговаривали, что закроют и фельдшерский.

Третья замараевская — молоденькая девчушка по имени Лена, сдававшая вступительные экзамены в один из новых университетов.

Сеня, как человек бывалый, рассмотрел неподалеку за разбитой дорогой торгующую пивом коммерцию и приволок от нее три картонные коробки. Их сплющили, разодрали и устроили под седево — чтоб не на землю. Вышло вполне культурно. Расселись и принялись за разговоры поджидать, когда стянется назначенный час.

Вот наступили времена: раньше, как лето, каждая деревенская изба полна городских гостей. Ехали и воздухом подышать, и стариков повидать, а у кого руки не отсохли — и помочь

старикам в их непрестанном битье-колотье по хозяйству. Теперь в деревню не едут: для одних дорого, для других неинтересно. Одни спасаются участком подле дачки, который не отпускает к отцу-матери, другим позарез стал нужен и берег турецкий, и Африка вместе с Америкой. Теперь и писем в деревню не пишут, а заказывают при случае: пусть мама приедет, пусть папа приедет — соскучились.

А что такое «соскучились» — понятно.

Вот и Сене Позднякову, по которому донельзя соскучились внуки, пришлось набивать снедью два мешка и отправляться как Магомету к горе. Правдея Федоровна прямо называла себя «савраской». Уже второй раз за лето впрягалась она и ехала. Бабку Наталью на старости лет заставила сниматься с лежанки другая, как говорила она, «везея». Гостила зимой внучка и оставила золотые сережки. И два месяца уже: бабушка, отправь, бабушка, отправь. А с кем отправишь золотые сережки какого-то фасонистого издела? Пришлось снаряжаться самой. А сын привез сегодня на пристань и посадки не дождался: некогда.

Зачем ездили замараевские, муж с женой, осталось еще не расспрошено. Впереди длинная дорога, и до дороги сидение в маете. Девчонка,

Ленка, сказала, что экзамены в университет сдала, но учиться, наверно, не будет, не понравились ни университет, ни преподаватели, а в общежитии и селиться опасно, там одни кавказцы.

Солнце нагревалось и начинало дышать горячо. По мосту через Ангару дребезжали трамваи и ползла из машин с краю с шипом огромная, во весь мост, разноцветная гусеница, то вздымаясь горбом, то опуская уродливые сочленения. А по другой боковине моста навстречу ей двигалась, поддергивая длинное членистое тело, точно такая же гусеница. И дух с моста сбрасывался едкий, злой. За Ангарой, вздымаясь в гору, продолжался город, сначала деревянный, низкий, закрытый зеленью, затем переходящий в коробчатые белые многоэтажки, нахальные и одновременно сиротски-печальные. В одной из них, с шестью рядами разноцветных балконов по фасаду, и жили Сенины дочь с зятем и семилетним внуком. Сын жил по эту сторону Ангары далеко, за плотиной. Только в Сенины наезды они и сходились, что-то у них меж собой не ладилось. Но ни одна, ни другая сторона, ни дочерняя, ни сыновья, сколько ни выспрашивал Сеня, не признавались, в чем дело, закатывая одинаково при расспросах глаза, будто Сеня

тронулся. Но не из тех был Сеня, кого можно оставить в неведенье надолго, и на следующее гостеванье у него появилась надежда на сватью, на невесткину мать, которую собирались осенью окончательно забрать в город. Деревня деревню поймет. Сеня видел однажды сватью, крупную старуху с больными ногами и пытливыми глазами; она без обиняков сразу же уставила их на Сеню с хитрым прищуром — будто Сеня когда-то до родства за нею приударял. Этого быть не могло. Сеня на всякий случай выспросил, где протекала ее жизнь. Не могло. Но, выспрашивая, убедился он, что сватья, которую звали Руфина Сергеевна, не поверху глядит на мир и все, что надо, выглядит. «Как вот в деревню залетают такие имена?» — подивился Сеня, знакомясь со сватьей, подбирая руку, которую она как-то быстро выронила, но имя еще больше его убедило: мимо Руфины Сергеевны ни одна семейная соринка не пролетит, она во все вникнет.

По скверику неприкаянно бродили люди, томившиеся ожиданием, натыкались на Сенин табор и отходили, морщась от убитого и захламленного угла, обманывающего сверху зеленью. У пивной за обнаженной земляной дорогой становилось веселей, оттуда доносились частый

звон и бряк, возбужденные голоса. Дебаркадер, хорошо видимый по сквозящему скверику, был совершенно безлюден, на деревянном помосте причала, с которого была перекинута на дебаркадер под ступенчатым спуском стремянка с поручнями, высилась гора из огромных полосатых баулов, известных всей России.

Девчонка отошла от табора и стояла неподалеку. Отошел и инженер, рассматривая за решетчатой оградой машины.

Правдея Федоровна достала из сумки яблоки, тугие, краснобокие, с глянцевым отливом, и принялась угощать. А чего не угощать на прошлогодние зубы, которые хорошо кусали только в воспоминаниях? Сеня и бабка Наталья отказались, яблоки даже с виду были неукусные. Отказалась и фельдшерица и принялась рыться в старой черной сумке с испорченным ездовым замком, застрявшим посреди хода. Склонясь над сумкой, фельдшерица вытянула ногу. Сеня смотрел на крепкую неодрябшую ногу с безобидным интересом: есть на ней чулок или нет? Чулки пошли под цвет кожи, не отличишь, а отличить зачем-то хотелось.

Ехали обратно, сумки были полупустые, с обвисшими боками. Что давалось в гостинцы

или что покупалось, шло в легкую укладку. Только инженер вез большой и плоский фигурный предмет, замотанный в целлофан. «Крыло для «жигуля», — еще при встрече догадался Сеня; по привычке всем интересоваться спросил, много ли отдано за крыло. Отдано было много, Сенина прикидка осталась далеко внизу. «Все в порядке, — решил он. — Никакого торможения». Он все угрюмей и терпеливей относился к загадке: если торможения нет и не предвидится, то куда же они взлетят?

Замараевская фельдшерица, елозясь на Сениной картонке, вытянула из-под замка прозрачный пакет, а в пакете небольшой глиняный горшочек с землей и торчащим зеленым отростком. Бабы заинтересовались: что такое? Можно было и не спрашивать: комнатный цветок. Но из каких-то особых, сказала фельдшерица, живучих настолько, что хоть забудь о нем на полгода. Она выговорила и название, уж больно чужое, так что никто не решился переспросить. И рассказала то, чего Сеня не знал. Оказывается, на комнатные цветы в их краю нашел мор. Да, и на цветы тоже мор. Хиреют и мрут. Хоть заухаживайся, хоть глаз не спускай — никакого спасенья. Уж на что геранька терпеливый цветок, та самая геранька,

без которой и солнышко не заглянет в окошко, а и на нее порча нашла. Не дает уж красного цветенья, корешок слабый, слизистый.

— А и правда! — громко подтвердила Правдея Федоровна. — То-то я все смотрю: что за казня на них, что за казня?! Правда, хворают цветы. Так это отчего? Это ежели у всех, должна быть серьезная причина.

— А у меня вроде ниче, — сказала бабка Наталья. — И геранька цвет дает. Вроде не жалобится.

— Где ты ее держишь? — Правдею Федоровну исключения не устраивали. По серьезной причине, а сейчас причины на все пошли только серьезные, цветы должны быть в опасности у всех.

— На подоконнике и держу, — отвечала бабка Наталья. — У меня подоконники широкие, я зимой подале от стекла отодвину.

Фельдшерица повторяла:

— У нас в деревне у всех, ну прямо у всех хозяек беда. А я не могу, когда окошки голые. Будто съезжать собрались. — Она подносила горшочек ко рту и ласково обдувала зеленце косолапого отростка. — Но уж этот-то, говорит, никакой заразе не поддастся.

Бабке Наталье сделалось неловко, что у всех

геранька болеет, а у нее не болеет:

— Мои-то, что говорить, они вековушные, у них и цвет старуший… А этот-то, ежели незаразливый, до чего хорошо!..

И вдруг Сеню осенило: ведь все просто! Проще пареной репы. Он молодецки вскочил на ноги, напугав резким движением подходящую Лену, и начал с Правдеи Федоровны:

— У тебя в какой комнате цветы стоят?

— Во всех стоят.

— Где телевизор — стоят?

— Телевизорная у нас большая, на три окна.

— Ясно. — Теперь Сеня взялся за фельдшерицу. — А у вас, Александра Борисовна, под телевизором стоят?

— Они не под телевизором стоят. Они на подоконнике стоят, под солнышком.

— Телевизор на них влияет?

— Откуда я знаю?

Сеня перешел к бабке Наталье:

— А у тебя, бабка, телевизор влияет?

— Нет, — опять виновато отвечала бабка Наталья. — Не виляет. Он у меня не вилятельный.

— Нету, что ли?

— Нету, Сеня. Одна доживаю.

Подошел, привлеченный страстным Сениным

голосом, инженер, прислушался. Сеня взглянул на него гоголем и начал разъяснения:

— Вот, Сергей Егорович, сделал открытие. — Взмахом руки в центр табора, как бы усаживающим, Сеня показал, что открытие тут, рядом. — Благодаря вот этому ма-аленькому вашему цветочку сделал открытие. Я вообще-то раньше его сделал, но не придал значение, что это открытие. Я ведь тоже комнатный огородник, лимоны выращиваю. Лимоны у меня — о-го-го! Все знают. За крупность балдуины называются. Приезжему кому покажешь — не верит.

— У нас сват тоже ростит, — сказала Правдея Федоровна.

— Не знаю уж, как твой сват теперь ростит, если меры не принял, — усомнился Сеня. — Не знаю. У меня, к примеру, полное процветание было до перестройки. А завозилась она — кто мог подумать, что на лимоны повлияет! А только лимоны мои все хужей, все мельче. Уж не балдуины… так, хреновина какая-то, на перец смахивает. Потом и этого не стало. Завязь возьмется — и обгнила. Только завяжется — отпала. А у меня книжка, я по книжке провожу уход, у меня ошибок быть не может. Какие ошибки, если я пятнадцать лет с этим делом вожусь! — еще решительней отмел

Сеня и придержал голос, принапряг для самого главного: — И только после, как выбросил я телевизор из дому!.. я по другой причине его выбросил… А почему по другой? — спохватился он. — Причина одна. Причина какая: что он преподносит. Я выбросил — такие номера он стал откидывать, что я… человек неконченый… возмутился!

— Возмутился! — слабо ахнула бабка Наталья.

— Я выбросил! — продолжал Сеня. — Выбросил и живу, на лимоны не гляжу. Я уж на них рукой махнул. Похоронил, можно сказать. А потом как-то ненароком глядь: лимоны-то мои, лимоны-то! — оживают! Я глазам не поверил. Неделя прошла — еще лучше. И пошли, и пошли!

— Телевизор виноват? — насмешливо спросил инженер, отмахиваясь от слетевшего на него желтого листа.

Сеня задрал голову: откуда взялся желтый лист среди сплошной зелени? — внимательно осмотрел тополевое верховье: нет, кое-где желтизной проблескивало… Август как-никак. И только после этого твердо ответил:

— Телевизор. Вот почему. Мы же читали все, кто с этим делом возится, что домашняя растения любит ласку. Спокойствие любит. Мужик на бабу

если рявкнет — тут твоей гераньке смертная казнь.

— Они музыку любят, — добавила Лена.

— Музыку любят. Но какую? Опять же ласкательную, она им рост дает. А какую музыку нам по телевизору показывают? Крапиву посади перед телевизором — и крапива сей же момент под обморок! А уж что там нагишом выделывают!.. Это мы, как червяки, глядим, а растения… она чувствительная. Она и «караул!» закричать не может, а то бы они все враз вскричали…

— Закон, значит, такой вывели? — посмеивается инженер.

— Закон! Вывел! — еще тверже отвечал Сеня.

Заморские бабы смотрели на него с уважением: ну, Сеня… наш Сеня любой спор выспорит, на любого ученого человека храбро пойдет.

Все чаще стали оглядываться на Ангару: не взбелеет ли «Метеор»? — и народ появился возле дебаркадера, торопя посадку. Подъезжали и машины, куда-то ненадолго отскакивавшие, запряженные для проводов. Ангара, взбученная мостовыми быками, бурлила, закручивалась в воронки, пенилась, звенела и, скатываясь мимо дебаркадера, уходила быстро и рябисто. Солнце, безрадостное от чадящего города, стояло почти

над головой. Шел только десятый час.

Неподалеку, за старым раздвоенным тополем, одним стволом сильно склонившимся в сторону моста, пристроились, заметил Сеня, женщина с девочкой. Девочка сидела спиной, видна была только белая головка с разлохмаченной косой; женщина, уже немолодая, видавшая виды, со встрепанным выражением на круглом нервном лице, беспокойно оглядывалась. Когда Сенин голос поднимался до накала, она вздергивала голову и морщилась.

Фельдшерица спрятала обратно в сумку отросточек, от которого у Сени вывелся закон, и вытянула взамен какую-то завертушку в красивой обертке, протянула мужу. Он отказался. Она принялась сама разворачивать завертушку. Но не тут-то было — та не давалась. С какого бока, с какого края ни тянула фельдшерица — хрустящая бумага только издевательски повизгивала. Все с интересом наблюдали, чья возьмет. Нет, не бралась штукенция. Не выдержав, фельдшерица применила зубы. Она вонзала их так и этак, испуганно поводя глазами за наблюдавшими, вот-вот, казалось, зарычит от нетерпения — и со стыдом отступилась, сплюнула.

— Там стрелка должна быть, — подсказала Ле-

на. — Указательная стрелка, куда тянуть.

Принялись всей компанией, передавая друг другу изжульканную завертушку, искать стрелку и не нашли, ее или забыли указать, или нарочно не указали, чтобы проверить смекалку деревенского народа. А что проверять! — инженер вынул откуда-то из-под куртки нож, с которым и на медведя не страшно идти, и с наслаждением, крякнув, будто от усилия, вспорол штукенцию.

— Вот так, — мстительно отозвалась бабка Наталья. — Дофунькалась.

— Пошто дофунькалась?

— Откуль я знаю? — Бабка Наталья тянулась рассмотреть, что было в хрустящей бумаге, до чего так мучительно добивались. — Ну и че? — спрашивала она. — Че там?

— Сама же говоришь: фунька. — Фельдшерица взяла в рот какое-то цветное крошево из красного, зеленого и желтого и, замерев, испытывала ощущения. — Попробуй, — она протянула в ладони крошево бабке Наталье. Та осторожно приняла, лизнула с руки.

— То ли едово, то ли ядово. Нет уж, — решительно отказалась она, — лутче знать, от чего помирать.

— И правда, — подтвердила Правдея Федоровна,

со страданием на лице наблюдавшая, как пробуют неизвестное вещество. — Его, может, для того и запечатывают крепко, что оно опасное.

— Написали бы, если опасное…

— Там че-то написано.

— Написано-то не по-русски.

— А не по-русски написано — русский человек не лезь, не разевай рот, — неожиданным басом сурово сказала Правдея Федоровна. — Там, может, от тараканов написано.

Фельдшерица сплюнула жвачку:

— Тьфу вас! Наговорите!

— Нисколь не проглотила? — полюбопытствовала бабка.

— Нет.

— Ну и слава Богу. От греха подале.

Помолчали, оглядываясь на реку.

— Ну а что такое все же «фунькать»? — заинтересовалась Лена. — Есть такое слово или нет?

Бабка Наталья с Правдеей Федоровной переглянулись, улыбаясь, остальные вопросительно смотрели на них.

— Ты вроде деревенская, а спрашиваешь как городевая. — Бабка Наталья рассмеялась мелконьким сухим смехом. — Маленькая была — воздух портила втихомолку али с музыкой?

— С тем и другим, — не растерялся Сеня.

Посмеялись, потом бабка Наталья закончила:

— Ежели втихомолку, так это оно и есть…

— Искомое насекомое, — отличился на этот раз инженер.

День разгорался жарким. Со стороны улиц, набегающих на мост, доносился дых города, сладковато-выжженный, сухой. С другой стороны набегала волной речная свежесть. То одним пахнет, то другим. Назначенное для «Метеора» время еще не вышло, но народ томился все пуще, запрудив асфальтовую дорогу возле Ангары. Машины музыкалили на разные голоса, прокладывая себе проезд.

— Пойду узнаю последние известия, — вызвалась Лена.

Последние известия были: еще на полчаса отсрочка.

* * *

Женщину под солнцем разморило: ночь она спала плохо, голова была тяжелой, и чувствовала она несвежесть во всем теле. Они с девочкой оказались здесь случайно. Случайно и не случайно, женщину всегда тянуло на вокзалы, откуда можно уехать, и сегодня они с девочкой уже по-

бывали на железнодорожном. Сегодня женщина задумала такое, что и вокзалы не помогут, и без них не обойтись. Проезжая в трамвае, она с моста заметила кружение пассажиров перед отправкой «Метеора» и на остановке потянула за собой девочку. Они побродили-побродили вокруг, ни с кем не заговаривая, выделяясь среди пассажиров своей вялостью, и приткнулись возле компании деревенских. Разговор их еще больше убедил женщину, что люди они невинные и настоящей жизни, которая теперь взяла силу, не знают. Ей тем и нравился речной вокзал, что пассажир тут был не из воронья и отдавался он теплоходу на подводных крыльях, чтобы поскорей добраться до семьи, до деревни и подольше оттуда не выглядывать.

Девочка грызла пряник, как белочка, держа его обеими руками. Женщина принялась укладываться, шурша газетами, которые поднимало речным поддувом, пока она не догадалась придавить их камнями. «Никуда не уходи», — сказала она девочке. Та не ответила. «Сегодня, сегодня!..» — как заклинание, повторяла женщина, закрывая глаза и подбирая под себя ноги, чтобы не выглядеть так, будто валяться на земле ей в привычку.

Голоса бубнили, то затихая, то усиливаясь, когда принимался говорить этот, петушистый… Женщина уже различала его голос — горячащийся, нервный и наивный. Острый голос — заснуть под него не удавалось, но и открывать глаза, смотреть на белый свет не хотелось.

— Вот объясни ты мне, Сергей Егорович, — шел на очередной приступ горячий мужичонка, — у меня ума не хватает понять. У нас ведь победа на культурном фронте дошла до всеобщей грамотности. Всеобщее среднее образование у нас было. Было или нет?

— Было, — соглашался с мукой второй мужик. Он что-то сказал еще, но в движении, должно быть, переходя под тень, — что-то не долетевшее.

— Но ведь среднее образование — это же много! — горячился первый. — Это по уши ума. А едва не половина народу — с высшим образованием. Дальше некуда. Так? Так, да не так. Вот тут и фокус. Если мы все были такие умные, почему мы вышли в такие дураки? Я об этот вопрос всю голову сломал. Почему, Сергей Егорович?

— Мы не дураки…

— Мы не дураки, мы теперь умные, — быстро, с удовольствием согласился спорщик. Этот, если

никого рядом не окажется, сам с собой будет спорить. — Очень хорошо, — продолжал он. — Но если мы сегодня такие умные, почему мы вчера были такие дураки? При всеобщем среднем образовании с заходом в высшее. И работу мы делали не ту, и ели не то, и спали не так, и ребятишек делали не с той стороны, и солнце у нас, у дураков, не оттуда всходило. Кругом мы были не те. Но почему? Говорят, нас специально учили так, чтобы и высшее образование было не выше дураков. Такая была государственная задача. Ладно, задача… Но почему?.. если мы все были такие дураки, как мы за один кувырк стали такие умные? И сразу взяли правильный курс — все делать с точностью до наоборот?

Второму мужику не хотелось спорить, он замолк, делая опять какие-то передвижения. Старуха вздохнула с жалостью и сказала:

— Почему ты у нас, Сеня, такой истязательный? Ну прямо сердце надрывается на тебя глядеть.

«Умные, дураки… — полусонной и безжалостной мыслью прошлась женщина по услышанному. — Нет теперь ни умных, ни дураков. Есть сильные и слабые, волки и овцы. Все наше образование пошло псу под хвост. У нас и профессора в лакеях служат или на цепи сидят».

У соседей началось шевеление, и женщина решила, что, должно быть, подходит их водный транспорт. Она села и огляделась. Нет, все было в том же томительном ожидании, все так же толокся народ, не знающий, чем себя занять. Солнце сразу стало горячей, едва она подняла голову. А зашевелились рядом — принесли пиво и воду и устраивали посреди круга стол.

— Дать еще пряник? — спросила женщина у девочки. Та отказалась и опять застыла, держа головку на поднятой шее, глядя без всякого чувства на дорогу, где, гоняясь друг за другом, играли в пятнашки мальчик и девочка ее лет.

«Надо что-то делать», — опять забеспокоилась женщина и покосилась на стоящего к ней вполоборота Сеню. С моста сорвался грохот трамвая, особенно тяжелый, оглушительный, над головой зашумела листва. Сеня взапятки сделал два шага и стоял с задранной головой.

— Эй! — окликнула его негромко женщина и еще раз, посильнее, пока он не оглянулся. И показала ему кивком головы, чтобы он подошел. Сеня подумал и подошел, со стаканом воды в руке облокотясь на изгибающийся ствол тополя. Женщина пригладила ладонями лицо, точно обирая с него усталость, вгляделась в Сеню, что-то

решая, и сказала:

— Угости пивом.

Ей было лет сорок, на круглом лице с большими, теперь припухшими глазами и большими синими подглазьями замечались следы не только бессонной ночи, но и приметы покатившейся жизни. Смотрело лицо угрюмо и растерянно. Женщина еще старалась держать себя, на ней была свободная и длинная серая кофта поверх тонкой полосатой рубашки и короткие, открывающие щиколотки, коричневые брюки хорошей материи. На ногах кроссовки. Женщина старалась держаться, и все же нельзя было не заметить, что каждый месяц жизни дается ей в год.

— Пивом я и себя не угощаю, — ответил Сеня, всматриваясь и не умея сдержать любопытство. Не походила она на попрошайку, играла какую-то роль.

— Тогда водой угости. Жарко.

— Ангара рядом.

— Девочка любит сладенькую, — играя лицом, что, должно быть, когда-то получалось у нее красиво, а сейчас — манерно, настаивала женщина.

Девочка, сидевшая спиной, обернулась, и Сеня ахнул.

Он узнал ее. Он видел ее только вчера.

* * *

Вчера они с Людмилой, с дочерью, пошли по базару посмотреть кой-какого товару. Требовалось самое необходимое для подступающей осени — телогрейка для Гали (старую, истрепанную недосмотрели в сенцах, в углу, и на ней кошка принесла котят) и ему, Сене, кирзовые сапоги. Любил он еще, бывая в городе, поискать «то, сам не зная что», как в присловье, в чем нет крайней нужды, а увидишь и загоришься, возьмешь. Так он купил однажды кофемолку за один только притягивающий взгляд ее вид — приглянулась и запросилась в руки, а потом долго не знал, что с нею делать, кофе он не пил. Простояла кофемолка в праздности, наверное, года с два, и вдруг слышит Сеня грохот из избы, будто там запустили дизель. А это Галя приспособила кофейную машину под помол сухой черемухи, и та от возмущения подняла крик. Сеня прикрутил винты — стала работать тише. С тех пор безотказно мелет. Вот и игрушка… любую игрушку, если имеется голова, можно пустить в дело.

У них в Заморах ничего подчистую не стало, и магазин о двух высоких крыльцах на две половины показывал замки уже года три. Бросили

деревню. Как ни ругай коммерцию, а приходится говорить спасибо одному приезжему парню, который муку с крупой и соль с сахаром изредка привозит и торгует из амбара. Торгует с наценкой, но делать нечего. Да и денег нет, чтобы скупиться. Что появится чудом или на милости — отнесешь этому парню, Артему, и живи без размышлений, что бы еще купить.

Покупают в Иркутске в «Шанхае». Так называется вещевой рынок, по-старому барахолка, расположившийся по обочинам рынка продовольственного, крытого. Название дано по китайскому товару, который гонят сотни и тысячи «челноков», снующих беспрестанно туда и обратно. Громадные полосатые сумки, раздувающиеся как аэростаты, способны вместить полцарства. Гвозди и спички, карандаши и нитки, шнурки и пуговицы, мертвые цветы и бегающие игрушки, не говоря уж о тряпках, о посуде, об обуви, о снеди, о всякой подручности, — все везется из Китая. И все непрочно, быстро дырявится, портится, расходится по швам, превращается в хлам, а значит, требует замены. И китайцы заинтересованы в плохом качестве, и «челноки», и, похоже, сам Иркутск, потому что иной работы он дать не может. Все свое сделалось в России

невыгодно.

В «Шанхай» и повезла Сеню Людмила. Они сошли с трамвая и сразу окунулись в светопреставление. Кругом все кричало, визжало, пищало, совало под нос какую-то раскрашенную дрянь, и все колыхалось, двигалось, полосатые баулы били Сеню по голове и по ногам, дюжие квадратные девки кричали на него и яро матерились — и он бы упал, его бы затоптали, но упасть в плотной движущейся массе людей и товара было некуда. Людмилу он быстро потерял, онемел и только покрякивал, когда толкали и сжимали особенно больно. Каким-то чудом вынесло его на отбой, несколько раз еще крутануло и остановило. Из последних сил Сеня отпрыгнул в сторону.

Деньги в кармане оказались на месте. Сеня отдышался, для верности еще раз ощупал себя, целы ли кости, приободрился своим спасением и стал наблюдать, что это такое — откуда он спасся и что называется торговлей. Покупать там невозможно, там происходило что-то иное. Полосатые, под видом матрасовок, баулы все двигались и двигались, их катили на тележках, несли на загорбках, на головах, выставляли перед собой в две, в три пары рук и таранили ими народ.

Сеня кумекал: значит, тут место перевалки. Одни привозят из Китая, другие съезжаются со всей области, а может, и шире, делают оптовую закупку, потом и у них появляются перекупщики — и так за несколько оборотов товар наконец добирается до Сени и таких, как он, кто выкладывает за него последние деньги. Увидев действие этой огромной крутящейся машины изнутри, Сеня поразился ее адовой простоте и изобретательности, какому-то беспрерывно громыхающему взрыву, раскидывающему полосатые тюки.

Они договаривались с Людмилой пойти после «Шанхая» в торговый центр на базарной площади; сапоги могли залежаться там. Туда и отправился Сеня, надеясь, что Людмила догадается, где его искать. Он подошел к главному ходу и стал прогуливаться, наблюдая тутошнюю жизнь. Везде, на каждом шагу, теперь сделалось интересно. Неподалеку, слева, мучили медведя, облезшего, полуживого и старого, выставив его как приманку для фотографирования. Медведь стоял на задних лапах, уронив голову и исподлобья косясь на окруживших его ребятишек; видно было, что он давно смирился и с цепью на шее, и с тем, что жизнь его кончилась; потом перевалился на все четыре лапы, цепь загреме-

ла, ребятишки завизжали, а медведь понуро, по-собачьи, ткнулся мордой в бетон, что-то там вынюхивая. Фотограф, толстый мужик с бабьим лицом, хозяин медведя, сидел на складном стуле возле щита с фотографиями и изображал улыбку на недовольном лице: на медведя глазели, а под фотокамеру не шли. От массивного здания магазина уже ложилась тень, и под нее пристроились прямо на бетонной плитке несколько цыганят и три старика, один совсем безногий, на каталке. Сеня и за ними понаблюдал: давали совсем плохо, но из малого больше всего перепадало безногому. Цыганята не выдерживали пустого видения, бросались канючить, хватали прохожих за руки — их отталкивали, зная, что цыганское племя нынче богаче русского. И гремело из ларька, торгующего музыкой, так оглушительно, что Сеня тряс головой и думал: а ведь этак недолго вызвать землетрясение.

Чтобы не разминуться с Людмилой, он поднялся по ступенькам и у самого входа в магазин присел над последней ступенькой на край мраморной широкой площадки. Туда и обратно, вверх и вниз сновал народ, это был субботний день, но после «Шанхая» суета здесь крутилась спокойно и люди шли своими ногами, могли

разговаривать и понимать друг друга.

Тут-то и увидел Сеня эту девочку, точно слетевшую из сказки. Она сидела прямо напротив, по другую сторону ступенчатого подъема. Сеня сначала не догадался, зачем она сидит среди этого хоть и затихшего по сравнению с «Шанхаем», но все-таки лежащего повсюду безобразия с нищими, медведем и бушующей музыкой, и только обратил внимание на ангельское личико лет пяти-шести, промелькивающее между проходящими. Не засмотреться на него было нельзя: дымно-белые волосы, какие называют льняными, сразу уходили назад в тугую косу с темно-красным бантом, и лицо, чуть вытянутое, чистое, нежного и ласкового овала, было открыто. Глаза, нос, губы, щеки — все было вылеплено на этом лице с удивительной точностью, чтобы ничто отдельно не выделялось, а вместе являло ангельский лик. Глаза небольшие, глубокие, голубые; курносинка, та самая изюминка, которая делает лицо занимательней; щеки без подушечек, ровные; рот правильный, со слегка оттопыренной нижней губой. Нет, не лепилось это лицо взаимным наложением родительских черт, а выдувалось, как из трубки стеклодува, небесным дыханием. Сеня так внимательно рассмотрел девочку, когда,

заметив, что возле нее приостанавливаются, подошел взглянуть, почему приостанавливаются. И увидел: на коленях девочки, зажатый ногами, уже и не лежал, а стоял раскрытый пакет. В него опускали деньги. Опускали и, отходя, оборачивались, чтобы полюбоваться. Девочка склоняла головку, острые плечики ее подавались вперед, и монотонно и печально повторяла:

— Спасибо. Спасибо. Спаси вас Бог. Спасибо.

На ней была синенькая курточка с большими накладными карманами и подвернутыми рукавами и плисовая оранжевая юбочка. То и другое старое, стираное, но чистое. Красные сандалики поверху потрескались.

Сеня тоже опустил в пакет бумажку в пять тысяч. Для него это были деньги. За такие деньги он встал сбоку, на ступеньку ниже, и, чувствуя второе после «Шанхая» потрясение, охваченный удивлением, жалостью и болью, смотрел неотрывно, как опускают и опускают деньги. Господи, что же это на свете делается?! Видит ли Бог? А может, это Он, Бог, послал от Себя это ангельское создание, чтобы иметь чистое свидетельство?

Не удержавшись, Сеня тронул за плечико девочку и спросил:

— У тебя мама есть?

Она торопливо и отрицательно, не поднимая глаз, замотала головой.

— С кем же ты живешь?

— Одна.

Едва он заговорил с девочкой, их стали обходить. Не зная, что сказать и чем унять свою боль, Сеня продолжал стоять рядом. Девочка вдруг попросила:

— Дядя, отойдите, пожалуйста, вы мне мешаете.

Он отошел. Нервно закурил, стоя на мраморной площадке, чтобы быть на виду, и смотрел куда-то поверх города. Здесь и нашла его дочь. Жадно хватая дым, Сеня показал Людмиле на девочку:

— Посмотри какая. Говорит, что одна живет.

— Я слышала про нее, — вспомнила Людмила. — Слышала, будто в коробках на базаре ночует. — Она всмотрелась в девочку. — Не похоже, чтобы в коробках. — И добавила: — Мы устали от грязной, оборванной нищеты, нам и нищету подавай красивенькую.

* * *

Сеня купил и пива для женщины, и для девочки подкрашенной воды в литровой пластмассовой бутылке, прогибающейся под рукой. Они ото-

шли от коммерции в глубь пустыря, который все другие старались обходить. Сеня еще помнил по старым наездам в город, что здесь стояли деревянные дома с заросшими зеленью двориками. Дома снесли, освобождая место для какого-то большого строительства, но тут упало нестроительное время, и так все и осталось в горьком запустении. Из земли выбило дождями гнилые деревянные оклады домов, кучами торчали кирпичи и глина от печей, до сих пор пахло гарью и затхлостью. Трава выбивалась кустистыми пучками, торчали обгоревшие доски, чернели следы кострищ.

Сесть было некуда, да Сене и некогдилось с посиделками, в любой момент мог показаться «Метеор». Он сам открыл банку с пивом и вздрогнул от тугого фырка, с каким выбросился из банки газ. С бутылкой провозился больше, пробка прокручивалась, и пришлось ее по-дикарски свернуть на сторону. Девочка приняла бутылку обеими руками, сказав вчерашним голоском «спасибо», и опустила на землю, присела на корточки рядом. Женщина отпила из банки без той жадности, которую можно было от нее ожидать. Она продолжала присматриваться к Сене, а он не мог отвести глаз от девочки и заметил на этот

раз, что ангельское лицо, с таким вдохновением слепленное, пожалуй, не вздуто изнутри свечкой, которая бы его освещала и теплила. Или она загасла уже при жизни; лицо казалось тусклым. И все же оно было красивым, очень красивым какой-то красотой иных краев. Одета она была по-иному, чем накануне: в платье мягкой зелени с отложным воротничком и вышитым на груди цветком; на ногах белые, со шнуровкой, низкие туфельки. Пригляд за девочкой был, в этом можно было не сомневаться.

— Купи девочку, — вдруг услышал Сеня.

Он обернулся, медля, раздумывая, что ответить на такие слова, и встретил прямой тяжелый взгляд припухших глаз.

— Очумела? С глотка пива повело? — только и нашелся он сказать.

— Я серьезно. Купи.

— А себя ты, конечно, давно продала? И не разбогатела?

— Себя… давно… — раздельно ответила она.

— Давай-ка отойдем, — сказал Сеня. Ему было стыдно говорить при девочке, и он отвел женщину шагов на тридцать. Девочка спокойно оглянулась на них и снова уставилась на Ангару, все так же сидя на корточках и держась обеими

руками за бутылку.

— Ну и что? — приступил Сеня. — Что ты за штука? Ты что — высмотрела деревню и решила кино показать?

— Нет.

— Нет, говоришь? А почему ты взялась детишками торговать? Коммерцию, что ли, такую открыла?

Женщина отпила из банки и откинула ее в сторону; пиво забулькало, выливаясь.

— Ты меня лишним не ляпай, Сеня, — сказала она все так же тяжело, не задираясь. И не удержала взятого тона, вильнула: — Тебя Сеня зовут? Мальчик Сеня. А перед тобой девочка Люся. Ту девочку зовут Катя. Детишками я не торгую.

— А что ты мне только что предлагала? Редиску с грядки купить?

— Мне надо срочно уехать.

— Ты не мать ей?

— Нет, матери у нее нет. Ни отца, ни матери.

— А кто ты ей?

— Тетя Люся. Я не первая у нее тетя.

— Тебе надо срочно уехать… с девочкой и поезжай. Или она тебе не нужна?

— Вместе нам далеко не уехать, нас поймают, — оглядываясь, торопливей заговорила

женщина. — И не на что ехать.

У нее была привычка: когда она умолкала, то принималась нервно терзать сомкнутые губы.

Сеня точно на землю опустился: о чем они говорят? Где он? Ведь она предлагает ему купить девочку! Не куклу, не котенка купить, а живого человека! И он, что же, выходит, торгуется с нею?! С этой женщиной, которую и знать не знает! Почему он с нею разговаривает, зачем?!

— Детей я не покупаю, у меня свои есть, — решительно сказал он, собираясь развернуться и уйти. — Ты что-то не то во мне высмотрела, тетя.

Женщина облизнула губы и покосилась на выброшенную банку.

— Так возьми, — мрачно сказала она.

— Ну дела-а! — восхитился Сеня. — То купи, то так возьми. Если дальше у нас туда же пойдет, ты мне еще и деньги большие дашь. — Он решил, что хватит играть втемную. — Она ведь, девочка твоя, кажется, неплохо зарабатывает. Я вчера видел ее…

— Где ты ее видел? — быстро спросила женщина.

— У торгового центра. С мешком денег.

Женщина кивнула с усмешкой:

— Все точно: там. И пас ее там вчера Ахмет. Из этих денег нам ни копейки не достается, все забирают. — Она встряхнулась всем телом, по-куриному. — Надо же: видел. Извини, Се-ня. — Она окликнула громко, уже не боясь: — Катя! Пошли! — И сказала для Сени: — Пошли в свою камеру, побег не состоялся. Там Олега уж добивают, что выпустил нас.

Девочка поднялась на ноги, но не двигалась. Ангара заворожила ее.

— Она не больная? — спросил Сеня, чувствуя, как заныло у него страдальчески сердце. — Вялая какая-то, замороженная.

Женщина еще и добавила:

— Жизнь такая. Одних цепь заставляет кидаться на людей, других в обморок кидает. Жалко ее, — без выражения сказала женщина и первой заметила: — Вон ваш пароход показался.

«Метеор» только выплывал из затона, сияя округленной и длинной, как у ракеты, белизной.

«Вот сейчас сяду, — подумал Сеня, — и не увижу больше никогда ни девочку эту, ни женщину. Сяду сейчас, закрою глаза и спрошу себя… И долго потом буду спрашивать, может, всю жизнь. Вот угораздило».

Они приближались к девочке. Она поверну-

ла к Сене лицо, настороженное, ожидающее, и смотрела, точно пытаясь угадать, договорились или нет.

— Слушай! — Сеня решительно затормозил. — Поехали вместе, — обращаясь к женщине, торопливо, горячо заговорил он. — Приедем, ты жене, Гале, все расскажешь. Это же рассказать надо, а не так, что привез и вывалил. Она поймет. И ты поживешь среди нормальных людей. Ну? Едем? Сама говорила, что тебе уехать надо. К нам и поедем. У нас надежней надежного.

Женщина, отказываясь, покачала головой.

— Се-е-еня! — в несколько голосов закричали из-за коммерции. — Где ты, Сеня? Па-е-хали!

Сеня встряхнул женщину за плечи:

— Если не врала ты, то дура. Быстро! Деньги у меня на дорогу есть.

— Сеня-а! — испуганно надрывалась бабка Наталья.

Он неотрывно смотрел на женщину. Она медленно нагнулась, чтобы поднять сумку, и второй, левой, рукой отерла лицо, показывая, что готова.

Первый и второй салоны уже разобрали, когда они, толкаясь, задевая друг друга сумками и свертками, влезли на «Метеор». Бабка Наталья от волнения слабо постанывала и все хваталась

за Сеню, Правдея Федоровна танком шла впереди. Замараевские инженер с фельдшерицей ушли раньше, но Лена осталась в Сениной группе. Новых знакомых Сеня не терял из виду, они отстали, но двигались вслед за ним.

За вторым, средним салоном они поднялись на пять ступенек, прошли по открытой площадке с высокими бортами и на пять ступенек за дверью спустились. Третий салон, в трюме, был и качества третьего, для простонародья, полутемный и прохладный, со скошенной вовне задней стенкой. Сеня выбрал места на левой половине, по ходу теплохода она становилась правой, обращенной к родному берегу. Он пропустил бабку Наталью к окну, рядом с нею ухнула в кресло Правдея Федоровна, потом аккуратно присела Лена. Себе Сеня взял место у прохода. Позади него устроились женщина с девочкой. Набились и в этот салон, окликая друг друга и друг ко другу переходя, уталкиваясь дружественней. Взревел двигатель, «Метеор» затрясло крупной дрожью, почувствовалось слабое и набирающееся скольжение. Все — отъехали. С опозданием почти на два часа, да дорога на семь часов.

И с неожиданными, упавшими как снег на голову, гостями.

Сеня перегнулся сбоку за свое кресло, проверяя, здесь ли они. У девочки на лице появилась тень спокойного удивления, она не понимала, как они здесь оказались, и бросала взгляды на женщину, словно спрашивая: что же мы делаем? Женщина, тоже озираясь, кивнула Сене, подтверждая: что сделано, то сделано. Лицо у нее пошло пятнами; Сеня принял это за жар от вчерашнего перегрева.

«Метеор» развернулся у самого моста, и Ангара подхватила его, понесла, затем он и сам поддал, разрезая воду, с шумом и плеском отваливая ее на стороны. Замелькали городские берега, сплошь застроенные, погребенные под бетоном, к которому и волна сбегала робко. Незаметно берега переменились, пошли дачи с длинной вереницей лодок, темных и раскрашенных, и уж на них-то волна пошла с лихостью, высоко их подбрасывая и заваливая. А потом и вовсе вырвались на волю.

Сеня поднялся, чтобы сходить за билетами. Для себя он билет взял загодя, требовалось позаботиться о новеньких. Но вслед за ним сразу же поднялась женщина, догнала его за дверью и остановила.

— Я сама, — решительно сказала она, не глядя

на Сеню. — На это у меня есть.

Он вернулся на место, размышляя; было о чем подумать. Дрожь всего корпуса теплохода в корме не прекращалась, а когда «Метеор» набегал на чужую волну, било о борт резко и гулко. Шум в салоне от разговоров и хожденья нарастал, от вареной курицы, которую несли из буфета, запахло с пресностью подсыхающей банной мочалки. Прошел наружу матрос, совсем молоденький и маленький большеголовый парнишка, оставив заднюю дверку открытой, и в нее было видно, как синим кипятком сквозь белую пену кипит за кормой вода. Бабка Наталья успокоенно вздыхала, по привычке деревенского человека интересуясь не берегами, а незнакомым народом; Правдея Федоровна сидела важно, еще не выбрав, чем заняться; Лена среди стариков скучала. Но все постепенно обтерпевались, втянутые в дорогу. Если тебя везут и ты семь часов можешь не отдирать задницы от кресла и отдаваться впечатлениям, это не значит, что тебе так уж беззаботно. Тушу твою везут, а душу везешь ты сам.

Воротилась женщина и, проходя, подмигнула Сене: все в порядке. Сеня слышал, как она за спиной говорит девочке:

— Вот твой билет.

— А твой? — спросила девочка.

— Мой у меня.

И завозилась в сумке, что-то отыскивая и перекладывая. Теперь поднялся Сеня, сходил в буфет, купил опять той же воды, которую оставили на пустыре, шоколадку, на обертке которой развевался парус российского происхождения, и несколько булочек. Больше ничего, кроме спиртного, в буфете и не было. Курицу уже растащили. Все это Сеня выложил перед девочкой, потрепал ее по льняной головке, а когда она подняла на него глаза, подмигнул.

— Давай-ка! — только и сказал он, чтобы не дырявить главный, предстоящий разговор торопливыми вопросами.

— Сеня-а! — позвала тут же бабка Наталья, только он уселся. — Это кто такие?

— Старые знакомые, — отговорился он.

— Я пошто не знаю?

— Я твоих знакомых из твоей молодости тоже не знаю.

Бабка Наталья подумала и удивилась:

— Ты-то пошто не знаешь? Они все в деревне. Кто в верхней, кто в нижней. — «Нижней деревней» называли кладбище. Бабка просунула

голову в проем между спинками кресел, подержала ее там.

— Бравенькая какая девочка! — похвалила она, возвращая голову на место. — Докуда едут-то?

— Докуда билет велит.

— Не к нам?

— Точно не знаю.

— Ну, хитри, хитри…

Поднялась прогуляться Лена, потом принялась подниматься Правдея Федоровна. Сеня, поленившись, не освободил для нее выход, вжался в кресло, заведя ноги на сторону, — и Правдея Федоровна застряла, выдираясь, уперлась рукою в слабую Сенину грудь и чуть не раздавила. Пришлось поохать обоим. Лена долго не возвращалась, гостила у своих, у замараевских, в среднем салоне. Воротилась возбужденная.

— У нас тетя умерла, — сообщила она, поводя расширенными глазами, оглядывая по очереди всех.

— Ну-у! — ахнула Правдея Федоровна. — Похоронили?

— Нет, завтра похороны.

— Гли-ка: как знала — к сроку-то едешь…

И только после этого вместе с бабкой Натальей принялись выяснять, какая из Лениных теток

скончалась, их у нее было много. Оказалось, тетя Дуся, отцова сестра, та, что жила на верхнем краю Замараевки рядом с Верой Брюхановой. Поохали, повздыхали, не утешая девчонку, опуская в своей памяти и еще один гроб из земного окружения и устанавливая себя на какое-то новое место в происшедшем передвижении. Правдея Федоровна вздыхала громко, мощно. Расспрашивая, перебирала в Замараевке своих знакомых, упомянула опять Веру Брюханову, подружку по молодости, с которой не виделась года два…

— И не увидишься, — сказал Сеня, не сумев сдержать удовольствия от ловко пришедшегося подхватного слова. — Переехала твоя Вера Брюханова.

— Куда переехала? Что ты буровишь?

Лена испуганно объяснила:

— Она же умерла! Еще зимой умерла!

— Вера умерла?! — выкрикнула Правдея Федоровна.

— Еще зимой. Кажется, в марте. По снегу.

Правдея Федоровна помолчала, приходя в себя.

— Что это за жизнь пошла?! — требовательно воззвала потом она. — Что за жизнь пошла! Вера померла — и за полгода слух по Ангаре за двадцать верст не сплыл. Это когда так бывало?!

О Господи!

— Сильно много народу помирать стало, — по-своему объяснила бабка Наталья.

Сеню тронули за плечо: над ним стояла женщина, его гостья, она спросила сигареты. Сеня протянул ей пачку; он курил, но все реже и реже. В одиночестве и за весь день мог не вспомнить про курево, а с мужиками, глотнув дыму, не утерпевал, травился.

Пока женщины не было, Сеня пересел к девочке, стал рассказывать, что ведется у него в хозяйстве.

— Во-первых, две коровы, — перечислял он. — Молоко будешь пить от пуза. Мы поросенка от некуда девать молоком поим. Во-вторых, бычок, уже с рожками. Стоит-стоит — да ка-ак взбрыкнет, будто шилом его ткнули, и давай носиться по телятнику. — Сеня наблюдал: девочка слушала внимательно, но ни до коров, ни до бычка не дотягивалась воображением, лицо ее оставалось безразличным. Шоколадку она не тронула, та нераскрыто лежала у нее на коленях, а булочку потеребила. — В-третьих, боров на подросте… Но боров он и есть боров, я, к примеру, уважения к нему не имею. Потом курицы… Цыплята теперь подросли, ты опоздала, чтобы

цыпляток кормить. Будешь кормить куриц, это будет за тобой. Курица — не такая глупая птица, как про нее говорят, за ней интересно наблюдать. Собака у нас одна, умная собака, Байкалом зовут, зря никогда не гавкает, а чужого не пустит. Еще есть овцы…

— Зачем так много? — спросила девочка, чуть скосив глаза в его сторону.

— Чего много?

— Коровы, курицы, овцы… Зачем так много?

— Но ведь жить-то надо! — с горячностью стал защищаться Сеня, будто девочка упрекала его. — Мы этим и живем. Деньги нам не дают, мы деньги другой раз по полгода не видим. Все свое. Я бы овцами, к примеру, попустился, они мне и самому надоели… Да ведь шерсть! Из шерсти носочки, рукавички, шапочку, свитерок… Мы там как в пятнадцатом веке живем. Вот увидишь, как интересно.

«Метеор» подчаливал; Сеня, пригнув голову, заглянул в окно. Подходили к Усолью.

— Хорошо идем, — сказал он вслух. — Расписание, конечно, не догнать, но подтянемся.

И отчалили без задержки. Снова поплыли берега, все расходящиеся и низкие, начиналось море. Сеня и об этом сказал девочке. На «море» она сла-

бо встрепенулась, но через минуту отвела глаза от окна, по-прежнему уставив их перед собой. Да и верно — какое море? Название одно. Огромная лужа, которая за полтысячи километров отсюда, набравшись в ленивую, но мощную силу, крутит турбины. «Метеор» вильнул раз и сразу же другой. Значит, по большой воде подняло с берегов лес, наваленный там баррикадами, и таскает его, подсовывает под винты теплохода.

Сеня взялся перебирать, что у них в огороде. Огород был большой, засевался он с умом — его, Сениным, умом велся севооборот и календарь посадок, но Сеня удержался от похвалы себе… Он перечислял грядку за грядкой и все чаще посматривал на дверь: женщина задерживалась. Взглядывала на дверь, он заметил, и девочка.

— Тебе никуда не надо? — спросил он.

Она помотала головой: не надо.

— Тогда посиди, я сейчас.

Он вышел на площадку, где толпились курящие, — женщины среди них не было. Медленно прошелся по одному салону, обводя глазами ряд за рядом, потом по другому, быстро вернулся в свой салон. Девочка вопросительно взметнула на него глаза, она заметила в нем тревогу. Сеня развернулся и за дверью прислонился к стенке

рядом с грудастой бабой, держащей на руках веселого, пускающего пузыри ребенка. Сеня подождал, пока выйдут из того и другого туалета, снова обошел салоны, заглянул даже в рулевую рубку. Больше искать было негде. Уже зная ответ, спросил у проводницы, у губастой полусонной девушки с темным лицом, не выходила ли в Усолье такая-то… Сеня обрисовал ее. Выходила: проводница вспомнила ее сразу. Видимо, такая растерянность была на лице у Сени, что она не удержала любопытства:

— Что случилось-то? Не там вышла?

— А куда у нее был билет?

— До Усолья.

Значит, не вдруг спрыгнула, рассчитала заранее. Был дураком и остался дураком.

Он сел возле девочки, перекинул руку ей за голову и, притягивая к себе, сказал глухо:

— Слушай, сбежала от нас твоя тетя Люся.

Девочка вздрогнула и замерла. Сеня боялся, что она заплачет, будет с рыданьем проситься обратно — нет, все осталось внутри. В оцепенении просидели они, должно быть, с полчаса. Потом девочка зашевелилась, показывая, чтобы он убрал руку, села бочком, отворачиваясь от Сени, и завозилась, шаря где-то под платьишком.

Выпрямилась и вложила Сене в руку какую-то пачку. Он глянул: это были деньги.

— Это она дала? — быстрым шепотком спросил Сеня.

Девочка показала головой: нет.

* * *

Так эта девочка по имени Катя оказалась в деревне у Сени с Галей, и, таким образом, Сене с Галей ничего не оставалось, как катькаться с этой девочкой.

Сеня потрухивал, ведя с пристани Катю, и, чтобы не показывать ее лишнему народу, шел берегом, с нижней улицы перелез через прясло в свой огород и двинулся с тыла. Галя — баба добрая, но первая реакция могла быть шумной. Но вышло совсем наоборот. Когда Сеня с Катей явились пред ее очи и она удивленно-вопросительно сказала «здра-авствуйте» и когда Сеня продуманным ходом завел Катю в летнюю кухню, а сам выскочил и торопливо принялся объяснять, откуда свалилось к ним это небесное создание, Гали достало только на то, чтобы приахивать:

— Да как ж это? Как же это, Господи!.. Как же это!..

Но потом пришли трезвые мысли, и Галя еже-

дневно окунала в них Сеню как слепого щенка в холодную воду.

— Дурак — он везде дурак. — Эти слова Сеня говорил себе и сам, они были справедливы. — От тебя за версту простотой несет. Какой простотой? А той, которая хуже воровства. — Галя подхватывала последнее слово. — Ведь ты украл ее — если разобраться! Укра-а-ал! — заглушала она слабые Сенины возражения. — Тебе воровка ее подкинула — значит, ворованное. Как ты знаешь, что у нее нет отца-матери? Отец-мать ее, может, ищут, может, уголовный розыск объявили… И найдут, пошто не найдут! Ведь ты бы подумал: тебе навязывают ее купить — нет!.. Навязывают дарма забрать — нет!.. Ум вроде поначальности проблескивал: «нет» говорил… — Особенно Галю пугали оказавшиеся при девочке деньги. — Ведь ты ее купил. — Она забывала, что только что уверяла его, будто «украл». — За свои деньги не стал покупать, а когда тебе их дали — с руками отхватил. На деньги ты позарился, Сеня. Ну, что вот ты пыхтишь? Господи! — И она принималась плакать.

В другой раз Галя вспоминала:

— Это беспородную кошку можно без документов принять. А ты не кошку принял. Чтобы

жила — надо удочерение сделать. Через неделю в школу отдавать — где у нее метрики? Какая у нее фамилия? Кто был у ней отец — министр какой или убийца… девять душ сгубил?

— Пошто девять-то? — цеплялся Сеня.

— А сколько тебе их надо — девятнадцать?

— Но пошто девять, а не десять, не семь?

— Мы с тобой будем восемь и девять.

Сеня вскипал:

— Да, подбросили, да, дурак! Но я должен был, по-твоему, в Ангару ее спихнуть, когда подбросили? Или что я был должен?

Галя обессиленно взмахивала рукой и уходила. А Сеня думал: «Надо было дать денег этой тете Люсе, чтобы убежала подальше. Или были у нее деньги?» Он вспоминал, много раз восстанавливал в памяти весь разговор с женщиной от начала до конца там, на причале, и все больше казалось ему, что не дурила она его, когда говорила, что собралась бежать. Что пройдоха — сомнений не было, но и пройдоха иной раз вынуждена выходить на правду. Сеня шел к Гале, вставал перед нею вплотную, как столб, чтобы ей не откачнуться и не отойти, и пробовал успокоить:

— Пусть будет как будет. Мы с добром к ре-

бенку — почему мы должны бояться? Теперь государства без метрик, без паспорта живут… а уж люди!.. великое переселение народов. Миллионы скитаются, все теряют… имена тоже. А мы с тобой об одной девочке… кому она нужна, кроме нас?

Он сам удивлялся: о любой бы он сказал «девчонка», а о ней не выговаривалось.

Катя поднималась поздно, спалось ей тут хорошо. Они завтракали в летней кухне, стоящей во дворе, иногда для уюта подтапливая ее: ночи пошли прохладные. Утренний распорядок у Гали с Сеней теперь изменился, они вставали, как обычно, до света, но перехватывали спозаранку только горячий чай, набираясь аппетита и раздвигая дела для неспешного общего завтрака. Сначала Галя заплетала девочке косу, поварчивая на Сеню, как река поварчивает на берег, катая волны. Сеня стал опять говорлив, что в последние годы, к утешению Гали, пошло на убыль, вспомнил свою страсть фантазировать, выдумывать всякие истории, оставленную с тех пор, как подросли дети. Усаживаясь за стол, прикрякивая для порядка, он говорил:

— Выхожу ночью на улицу, а ночь звездная, небо прямо полыхает, как в праздник. Выхо-

жу и любуюсь — хорошо ночью любоваться на звездочки. Вдруг слышу: шу-шу, шу-шу. Кто-то шушукается. Я подумал сначала, что, может, звездочки с неба. А незначай к огороду ближе подхожу — слышней. Если б звездочки — надо взлететь хоть сколько, чтоб ближе к ним. Крадучись продвигаюсь к огороду, спрятался вот за этим углом. А это огурцы на грядке шушукаются. Задумали они сегодня дать деру с гряды. О нас, говорят, забыли. И так жалобно повторяют: забыли, никому мы не нужны, а пропадать, сгнивать безвинно мы не желаем.

— Я позавчера, уж под вечер, три ведра сняла, — оправдывалась Галя.

— Так и говорят, — подхватывал Сеня, — хозяйка позавчера сняла и забыла, а нас надо каждый день обирать, мы в эту пору ходом идем. Сняла, говорят, и из памяти вон, а мы уж желтенькие, как старички, к нам надо уважение иметь. И договариваются, значит, чтоб в двенадцать ноль-ноль, ежели останутся они без женского внимания, совершить коллективный побег. А сейчас, — Сеня смотрел на круглые настенные часы, — половина десятого.

Катя слушала его внимательно и равнодушно, изредка поднимая глаза, пристально всматрива-

ясь в Сеню и словно говоря: а ведь я уже старше, мне эти сказки рассказывать поздно. На все она смотрела со стылым вниманием. Подадут ей варенье — возьмет, намешает в чай и уставится в стакан, наблюдая, как синеет или краснеет чай. А выпить, если не подтолкнуть, забудет. Скажут что-нибудь принести — на полдороге остановится и стоит, уставившись в одну точку. Сядет рядом с кобелем, а подружились они быстро, обнимет его за шею и, оттянув нижнюю губу, замрет. Кобель тычет ее — она дергается безвольно, тряпично, как неживая. Ела она медленно и мало, молоко не пила совсем. На вопросы отвечала односложно, чаще кивая или отмахивая головой, слова произносила с усилием.

Они шли с Галей собирать огурцы, и Катя чуть оживлялась, движения ее становились быстрее. Но каждый огурец она рассматривала, прежде чем опустить в ведро, перекатывала в руках, точно руки грея или его согревая руками. Подняла семенной огурец, и Галя ахнула с досады: огурцу полагалось еще полежать. Катя испугалась так, словно ее прошибло током, порывисто протянула большой желтый семенник Гале, быстро отдернула ручонку, когда Галя хотела принять, и заплакала. Галя кинулась ее успока-

ивать, говоря, что их, этих семенников, на гряде вылеживается на всю деревню — и чем горячей успокаивала, тем отчаянней плакала девочка — бескапризно, беззвучно, сжав ручонками горло, в сдавливаемом припадке. Не в силах видеть это, Галя опустилась на землю и тоже стала захлебываться в рыданьях. Выскочил Сеня, глянул и скорей убежал, чтобы не залиться третьим ручьем.

Девочке дали обязанности, она должна была наливать курицам в корыто воды и под вечер выносить им мешанку-толканку, как называла Галя какое-то варево из картошки пополам с комбикормом. Курицы, приседая на бегу, сбегались шумно, отпихивали молодых; петух, вскидываясь резким клекотом, принимался наводить порядок. Ему не подчинялись. Галя ворчала, что петухи, как и мужики, теперь не те, их перестали бояться. Катя особенно внимательно посмотрела после этих слов на Галю, словно и ей давая оценку, потом перевела пытливые глаза на Сеню. Петух и правда был в хозяина: неказистый и неяркий, с гребешком, сваливающимся на сторону, и голос имел негромкий.

Второй обязанностью Кати было делать салат для обеда. Она шла в огород и набирала луку,

петрушки, срывала три-четыре свежих огурца и долго выбирала среди только начинающих краснеть помидоров самые спелые. Лукового пера в салат клали много, и Галя научила девочку толочь его, не ударяя деревянной толкушкой, а вдавливая в мякоть и выжимая сок. Сеня нахваливал Катину работу, говоря, что он только теперь, на старости лет, попробовал настоящий салат. Но и Галя замечала, что девочка старается и хозяйка из нее выйдет хорошая.

На коров девочка смотрела с изумлением и опаской — будто раньше не видела. Обе коровы ступали важно и тяжело, ходили вместе и вместе же принимались трубно мычать, требуя корму или дойки. С изумлением же смотрела она на большое эмалированное ведро, по края с молоком, выставляемым вечером для прогонки через сепаратор. Сепаратор сыто и лениво жужжал, струйка сливок стекала в маленькую кастрюльку, а обезжиренный и посиневший отгон — в большую, и Катя с мучительным вниманием смотрела: как же это получается?

Телятник у Поздняковых был огорожен далеко, на горе за деревней. Идти приходилось по длинному заулку между огородами. По обочинам заулка лежали коровы и собаки. Провожал их

Байкал, он по очереди подбегал к каждой лежащей собаке, они обнюхивались, по-приятельски помахивая хвостами, и Байкал трусил дальше. Вот почему ни одна собака не взлаяла на Катю. Гавкал щенок, черный, с коротким хвостом, только-только начинающий разбираться, для чего он явился на белый свет. Сеня нес в ведре пойло для бычка, а Катя кусок хлеба. Бычок прежде кидался к Кате, она торопливо выбрасывала ему хлеб и пряталась за Сеню. Бычка звали Борькой, имя свое он знал и отзывался на него мычанием. Каждый раз повторялась одна и та же картина. Байкал давал Борьке наесться, затем прыгал к нему и застывал, заставляя и Борьку принимать защитную стойку, опустив голову и выставляя тупые рожки. Байкал начинал с лаем наскакивать — бычок еще ниже нагибал голову, сдавал взапятки и вдруг бросался на собаку. Она отскакивала, заливаясь восторженным лаем, а Борька шумно пыхтел, набираясь духу для нового приступа. У Кати раскрывался рот, нижняя губа оттопыривалась, и на лице появлялось что-то вроде забывшейся улыбки.

От телятника было недалеко до пустошки из молодых сосен в два-три человеческих роста, в которой последним урожаем пошли маслята.

Катя ступала с выставленным вперед, как против зверя, складным ножичком и в первые дни только натыкалась на грибы, потом стала, увидев издали, вприпрыжку к ним подбегать. Наступил день, когда Сеня поднял первый рыжик. Он так обрадовался, наглаживая его и жадно шаря вокруг глазами, так нахваливал рыжики, что Катя, налюбовавшись красной шляпкой с нежно и ровно расписанными кругами, долго потом исподтишка смотрела на Сеню. И когда минут через десять она закричала и кинулась к Сене, а он кинулся навстречу — она остановилась, испуганная его испугом, и, протягивая ручонку с найденным теперь уже ею рыжиком, опять заплакала. Он схватил ее на руки и держал до тех пор, пока она не успокоилась.

Прошла неделя после приезда, пошла другая… Решили не отдавать Катю в школу. Девочка считала, что ей шесть лет, но росточка она была небольшого и могла ошибаться. Да и с шестью разумней было погодить. Миновали те времена, когда школа следила, чтоб ни один ребенок не опоздал с учебой. Теперь хоть совсем не отдавай, никто не спросит. Но Галю с Сеней удерживала иная причина: они не знали, как надолго свалилась на них Катя, боялись думать об этом,

каждый новый день втайне начиная с оборонной молитвы: Господи, пронеси!

— Ты помнишь свою маму? — выбрав минуту, когда девочка казалась успокоившейся от затягивающихся где-то далеко внутри ран, спрашивала Галя, не нажимая на вопрос.

Катя замирала, опускала голову и уставляла глаза перед собой — как всегда, когда она замыкалась. Но нет — чуть слышно она отвечала:

— Помню. Маленько.

— Как ты ее помнишь?

— Мы ехали, — помедлив, сжатым голосом отвечала она.

— Куда ехали? Откуда?

— Не знаю. — И добавляла неуверенно: — К русским. Мы ехали в поезде. Там были большие горы.

— А папу не помнишь?

Папу она не помнила. И так умоляюще смотрела на Галю, что та поневоле оставляла расспросы.

В сумке, оставленной тетей Люсей в «Метеоре», находились два платья, одно тонкое, другое шерстяное, тонкий же ярко-желтый плащишко, трое колготок, кроссовки и вязаная шапочка — все летнее, городское. Но этот набор опять-таки под-

тверждал, что выводила женщина Катю в спешке и собирала за секунду. С этими расспросами девочку пока не трогали. Гале пришлось ехать в райцентр и срочно покупать спасение от холодов — теплую куртку, сапоги, две шерстяные кофты, рейтузы. Шерсть велась своя, от своих овец, но мукой смертной было чесать ее, прясть; пришлось искать охотницу для такой работы. Не охотницу, а невольницу, которая от бедности бралась за любое дело. Очень не хотелось трогать Катины деньги, поначалу так и решили: не трогать; но без них бы не поднять эту справу — половину истратили.

Стоял уже сентябрь, доспевали последние урожаи в огороде и тайге. Дни стояли сияющие, перекатливые от утренников с инеем до летнего зноя, небо распахивалось все шире, и, казалось, все глубже оседала земля. В Сенином огороде белела только капуста. Выкопали картошку; счет ведрам, в которые набирали картошку и высыпали на землю для сушки, вела Катя и громко объявляла его, ни разу не сбившись. И копать ей нравилось; почва была мягкая, унавоженная, погода сухая, урожай хороший. «Поросята какие!» — нахваливала Галя, поднимая из земли огромные клубни, белые и чистые, выставляя их

напоказ. «Поросенок какой!» — подхватывала Катя и бежала похвалиться, какой экземпляр она отыскала. Здесь же, в огороде, ходили курицы, для которых был снят наконец существовавший все лето запрет и думать забыть про огород, здесь же грелся на солнце Байкал. Когда ему надоедало лежать, Байкал подходил к Кате и тыкал ее носом в бок. «Байкал, — отбивалась она, — не мешай». Он смотрел на нее внимательно, скосив голову, точно любуясь.

— Откопались в леготочку! — удивлялась Галя. — Ой, так боялась я копки, а и не заметила, как управились. А без тебя, — приобнимала она Катю, — мы бы сколько провозились… — А про себя добавляла: «Мы бы сколько нервов друг дружке извели!»

Катя загорела и вытянулась. Или уж казалось, что вытянулась, потому что привыкли к ней и видели в ней то, что хотели видеть. Но живей она стала — точно. Но все еще странной, неожиданно срывающейся и так же неожиданно затухающей живостью. Прыгает со скакалкой в ограде, что-то замеряет, расчерчивает куском кирпича и вдруг застынет, не успев присесть, лицо сделается обмершим, взгляд куда-то утянется. Не дай Бог окликнуть ее в эту минуту — испугается. Сеня

не раз с болью наблюдал ее такую: стоит, а что стоит, что опять с нею, стоящей пусто, и что слетело куда-то от неожиданного всполоха в памяти или душе — поди пойми. И всегда в таких случаях что-то острое, знобящее перекатывалось в его груди, пугая предчувствиями.

— Сеня! — тревожно говорила Галя перед сном; они теперь обычно засыпали под думы и разговоры о Кате. — Мы с ней по-простому, а она как стеклянная. Не разбить бы.

Для деревни было сказано, что она внучатая Сенина племянница, родственников его никто не знал. Для деревни было сказано, а говорить Кате, за кого они ее пригревают, не решались. А она бы и не поняла ничего. Сколько катало ее по недобрым людям — не узнать, но пришлась эта злая доля на самые чувствительные годы, и теперь сердчишко ее, должно быть, ломается от тепла, как лед по весне… «А уж осень, осень…» — боялся додумать Сеня.

С лета он собирался в тайгу за орехом, который тоже нынче уродился, но не пошел. Показалось ненужным. Никуда из деревни уходить не хотелось, а Гале он объяснял, что это от старости. Засыпая, думал: «Скорей бы новый день, чтобы видеть вокруг себя далеко». Стены сжимали его,

воздух казался отжатым. Просыпался он быстро, с радостью и сразу вскакивал на ноги, первым шел ставить чайник. За завтраком, когда сидели все вместе, продолжал свои фантазии:

— Выхожу ночью на улицу, а ночь зве-ездная, ядреная. И слышу опять: шу-шу, шу-шу…

Катя отрывалась от еды:

— Да ведь огурцов на грядке нет. Кому шушукаться-то?

— Ты слушай. Слышу: шу-шу, шу-шу. И тоже невдомек: ведь огурцов на грядке нет, кому шушукаться-то? Прислушался получше, а это морковка. «Делать нечего, — переговариваются грядка с грядкой, — надо бежать. Бежать от лютой погибели в этом огороде, от этих людей. Ботву нам обрезали, оставили в земле для сохранения, а какое может быть сохранение, если наш враг, жадный крот, поедом нас споднизу ест. Нету нашей моченьки больше терпеть. Если завтра к восемнадцати ноль-ноль не придут нам на помощь, всем немедленно уходить». Шу-шу, шу-шу: всем, всем, всем.

Катя, склонившись, прячась за стаканом с чаем, хитренько поглядывает на Галю, понимая, что сказка эта больше сказывается для нее, для Гали.

— Уберем сегодня, — ворчит Галя. — Не мо-

жешь по-человечески-то сказать?

— А ты что — по-морковному услыхала?

Все трое смеются, потом Галя стучит ложкой по столу. Она не любит, чтобы последнее слово оставалось не за ней.

— Ну, Сеня! Ну, Сеня! Ты язык допрежь смерти сотрешь — посмотрим, по-каковски ты хрюкать будешь.

Катя прыскает, из набитого рта летят крошки и брызги; отряхиваясь, отираясь, она говорит совсем по-взрослому, по-деревенски:

— Ну вас! Уморили!

К ней стала приходить подружка, Ольги Ведерниковой заскребушка, девочка донельзя тихая, молчаливая, скидывающая обувку сразу же, как только выходила она из дому, и где попало эту обувку забывающая. Звали девочку Аришей, Сеня называл ее Ариной Родионовной.

— Ну что, Арина Родионовна, — встречал он ее, босоногую, — где сегодня сапоги оставила?

Сапоги могли аккуратно стоять вместе посреди дороги, могли быть в разлуке — один у своего дома, второй у чужого, а могли оттягивать спрятанные за спину руки. Аришу расшевелить было трудно, да Катя и не умела, ее самое надо было расшевеливать, но, как старшая, она понимала,

что игру должна предлагать она, и принималась прыгать через скакалку, подавала затем скакалку Арише — та брала и продолжала сидеть на широкой лавке возле крыльца, уставив свое тоже белесое, с низкой челкой, с мокротой под носом лицо на Катю. Игра Аришу не занимала, она приходила полюбоваться на девочку из какого-то другого мира — чистенькую, аккуратную, необыкновенно красивую. Все уже знали, что у Поздняковых живет красивая девочка. Бабка Наталья перебиралась через дорогу, прикрывала у Поздняковых за собой калитку и била о нее висячим чугунным кольцом, давая о себе знать.

— Где-ка тут наша бравенькая? — спрашивала она, не глядя, есть кто во дворе или нет. — Гли-ка, че я тебе принесла… — И уж после этого поднимала глаза. — Сеня, ты? А где-ка наша метеворка? Я седни сушки стряпала… — И высыпала в какой-нибудь тазик, которые всегда обсыхали на воздухе, кучу витых кренделей-баранок, еще теплых. — Покусай, покусай, — протягивала она первую Кате. — А поглянется — приходи, вместе чаю попьем.

В другой раз решительно тянула Катю к себе. Та возвращалась с маленьким, будто бы игрушечным, но изготовленным по полной форме

самоваром — с осадистыми ножками, с решетчатым низом, с раскинутыми по бокам фасонисто ручками и проворачивающимся в гнезде краником, даже с короткой, загнутой в колене трубой.

— Вот, — удивленно и таинственно объясняла Катя. — Это было в деревушном чабадане.

— Где?

— В деревушном чабадане. Это такой деревянный ящик, наверное, старинный чемодан.

И замирала с улыбкой, продолжая любоваться самоваром.

— Бравенький? — с хитрецой спрашивала она.

— Бравенький, — соглашалась Галя. — Только почистить надо.

И еще миновали неделя и вторая, а всего после приезда и месяц отошел. Началось ненастье с холодными дождями и длинными заунывными порывами северного ветра, который, казалось, испускал от затяжной натяги весь дух, затихал и, набрав его в какую-то могучую грудь, снова принимался дуть мощным выдохом. С лесов сбило последнюю листву, и они стояли черно и зябко; опушенное хвойное покрывало сосняков и ельников тоже смотрелось в мокроте безрадостно. По воде (море называли просто водой) ходили волны, взблескивая загибающимися остриями

белых барашков, вся земля гудела и стонала. Сеня влез в новые сапоги, привезенные из города, и, только натянув их на ноги, вспомнил, как они покупались и как он впервые увидел Катю. Вспомнил и долго сидел, тупо глядя на сапоги, размышляя, не лучше ли было их до весны не трогать.

Он принялся учить Катю азбуке, она, хорошо считая, не знала ни одной буквы. Катя послушно повторяла слоги, складывая их в слова, вскидывала глаза в удивлении от чуда получающихся слов, но занималась она без охоты. Быстро вскакивала из-за стола, едва Сеня объявлял конец уроку, и подходила к окну, глядевшему в улицу, подолгу смотрела на расставленные до горы тремя улицами избы, на побитый за деревней лес, на стоящих неподвижно под дождем коров, беспрестанно жующих жвачку, на пробегающую торопливо собаку и на редких прохожих, тоже торопящихся, высоко поднимающих ноги. А Сеня стоял в дверях прихожей и со стылым сердцем смотрел на нее, замершую у окна: что она там видит? о чем думает? куда отлетают ее желания? И с кем она — с ними или с кем-то другим?

Он пытался узнать о ней побольше:

— Ты помнишь, где вы жили в городе?

Она вся натягивалась, лицо становилось напряженным, чужим, менялись, тяжелея, глаза.

— В деревянном доме, — натягивая слова, выговаривала она. — На втором этаже.

— Ты с тетей Люсей жила?

— Тетя Люся потом пришла.

— А кто жил на первом этаже?

Девочка смотрела на Сеню и медлила.

— Ахмет… — с трудом произносила она. — Олег… Там много было. Приезжали и уезжали.

— А кто такой Ахмет?

— Он стрелял в тетю Люсю…

— Как стрелял, почему?

И снова молчание, потом тихо:

— Он стрелял, чтоб не попасть. Сказал: в другой раз прямо в сердце.

— А почему стрелял, не знаешь?

— Не знаю.

Сеня не перебарщивал с расспросами, он видел, что они даются девочке тяжело. Она после них затаивалась, старалась держаться в сторонке, ходила медленно, с оглядкой, снова принималась пристально всматриваться во все, что окружало ее, нижняя губка безвольно оттопыривалась, лицо бледнело. «Пусть обживется, привыкнет к нам, перестанет чего-то бояться… и уж тогда…

не сейчас...» — думал Сеня, прекращая такие разговоры. Да и так ли уж важно было разведать, что скрывалось за тем днем, когда девочка оказалась с ним рядом? Что это даст? Когда-то он шлепнулся в Заморы как кусок дерьма — его приняли, не спрашивая характеристику, отдали ему единственную дочь. Это зло выясняет подробности, добру они ни к чему.

Опять разгулялась погода, выглянуло солнышко, но уже без прежнего тепла, примериваясь к зиме. Высушило улицу, и показалось, что порядки домов развело еще шире. Когда Катя смотрела, как идет к ней через дорогу Ариша, уже не смеющая сбрасывать сапоги, чудилось, что идет она долго-долго. Они вместе принимались ставить самовар под навесом справа от летней кухни: большую, пузатую чурку застилали клеенкой, рядом притыкали две низенькие чурочки для сиденья, устанавливали самовар на «стол», заливали его водой и втыкали трубу. «Скипел?» — через пять секунд спрашивала Ариша. «Нет, так быстро не кипит», — вразумляла Катя. «Скипел?» — «Нет, говорят тебе, рано». — «Скипел?» — «Скипел». Начиналось чаепитие. «Мой-то, — сложив сердечком губы и дуя в пластмассовый стаканчик, сообщала Ариша косным лепетком, — опеть ве-

чор холосый пришел». — «Батюшки! — взахивала Катя и спохватывалась: — А какой хороший?» — «В стельку». — «В какую стельку?» — не понимала Катя. «В талабан». — «В какой талабан?» Наступало молчание. Катя спрашивала: «Ты ему все сказала?» — «Все сказала». — «Как ты сказала?» — «Остылел ты мне», — сказала».

— Ну и сказки у тебя, Арина Родионовна! — кричал от верстака под этим же навесом Сеня. — Заслушаешься!

Все нетерпеливей, все поспешней хотел жить Сеня: сначала он торопил ночи, чувствуя по ночам беспомощность, боязнь быть застигнутым врасплох и голым — войдет кто-нибудь, а он в трусах, босиком, и ничего под руками, ему казалось, что ночью и слов подходящих не найдется для защиты; теперь он стал торопить и дни. Будь его воля, он скоренько переметал бы их из стороны в сторону, добравшись до глухой зимы, когда заметет так, что ни пройти ни проехать и только ветер будет дымить по крышам. Торопясь сам, торопил Сеня и Галю. Раньше обычного сняли и засолили капусту, развез на тележке и разбросал он навоз под картошку, утеплил стайки для коров, первым в деревне привез с елани застогованное сено… Галя смотрела на него

с удивлением и опаской: всегда приходилось подгонять мужика, а тут поперед времени бежит. Но как вперекор Сене воротилось тепло, к обеду нагревалось до того, что хоть в рубашке ходи, на кустах смородины за летней кухней набухли почки, солнце, которое уже спустилось к южному полукружью и поблекло, смотрелось опять молодо.

Сеня считал: «Метеору» оставалось сделать пять ходок, четыре, три…

При Кате зажгли как-то вечером керосиновую лампу, потому что электричеством лишь дразнили, и лампа так понравилась девочке, что она взяла в привычку досиживать допоздна, нетерпеливо била кулачком в коленку, требуя, чтобы загасили скорей электричество, и, когда зажигали фитиль и втыкали в решетчатый металлический ободок стекло, Катя так и обмирала перед лампой. Она то прибавляла, то убавляла фитиль, по лицу ее ходили блики, глаза искрились. «Маленькая шаманка», — улыбался Сеня. И просветлел вдруг сам: да кто сказал ему, что у нее недвижное, холодное лицо, затуманенное изнутри? Ничего подобного. Не может быть, чтобы только от керосина переливались по лицу краски и под тайными толчками играла кожа.

Полюбилась лампа Кате — привык и Сеня наблюдать за девочкой, что-то нашептывающей, представляющей волшебное… И когда однажды по случаю именин начальника участка электричество все сияло и сияло и они вместе измаялись в ожидании темноты, Сеня скомандовал:

— Вырубай электричество! Запаляй керосин!

— Запаляй керосин! — закричала Катя восторженно, выбегая на середину комнаты и бросаясь в пляс.

* * *

С утра Сеня дал себе на день задание: вытащить, во-первых, лодку и поставить ее под бок. Под банный бок со стороны улицы. Оставлять лодки на берегу стало опасно. Никто на них зимой не уплывет, но взялись лодки калечить, пробивая днище. Во-вторых, перед зимой, перед плотной топкой, следовало прочистить печные трубы и в избе, и в летней кухне. Летняя кухня не выстуживалась, в ней зимовали курицы. И еще одно: давно договорились они с соседом, с Васей Тепляшиным, взять курганской муки, и по их заказу коммерсант вчера муку привез.

Не все быть лету; день всходил хмурым, солнце показалось и скрылось, с низовий потягивал пока

слабый, но колючий северный ветерок. Вторым, семейным, завтраком сидели, как всегда, поздно, и Сеня расслабленно, не торопясь подниматься, снова и снова подливал чаю. Из летней кухни они переехали в дом; сегодня в нем было прохладно, печь не топили из-за готовящейся чистки. Катя поднялась невеселая, придавленная переломной погодой и вяло тыкала вилкой в поджаренную с яйцами картошку. Галя поднялась из-за стола скоро и ходила шумно, покрикивая во дворе на скотину, ворча громче обычного на Сеню. Он понимал: она торопит его, но не хотелось подниматься — и все. Переговаривались с Катей тоже вяло, Сеня без всякой причины вздыхал, прикидывая, к кому пойти, чтобы помогли прикатить лодку. В таком порядке и предстояло ему сваливать дела: сначала лодка, потом печи, потом, если не запоздает Вася, мука. Надо было подниматься.

И в это время залаял кобель — зло, напористо, на чужого. Сеня вышел посмотреть, одновременно из кухни вышла Галя и встала — прямая, настороженная, со сжатыми губами. Кобель надрывался за оградой — Сеня открыл калитку и выглянул: перед домом, на узком тротуарчике, ведущем к калитке, стоял незнакомый мужик в толстой кожаной куртке и с короткой стрижкой

на голой голове.

— Ты Семен Поздняков? — спросил мужик требовательно, раздраженный собакой. Был он плотен, крепок, молод не первой молодостью, но еще не миновавшей окончательно, и, как сразу отметил Сеня, был он из горлохватов, из тех, кто любит идти напролом. Второй мужик пристраивался на лавочку возле избы бабки Натальи.

— Я Семен Поздняков, — сказал Сеня. — А ты кто такой будешь?

— Убери собаку! — негромко повелел мужик.

Сеня прикрикнул на Байкала; тот, отойдя, продолжал рычать.

— Теперь приглашай в гости, — тем же спокойным и властным тоном сказал мужик.

— А чего раскомандовался-то? — разозлился Сеня. — Пришел в гости — веди себя как гость. Я тебе сказал, кто я, говори теперь ты.

— Я дядя той девочки, которая живет у тебя, — с усмешкой, не спуская с Сени цепкого взгляда, сказал мужик. — Родной дядя. Понятно?

Увидев этого мужика и разглядев его, Сеня мог бы догадаться, по какой нужде тот искал его и зачем пришел. Он и догадался почти, его захлестнуло болью сразу же, как вышел, и все-

таки продолжал хвататься за соломинку: не то, не то, это не может быть то… Он потом тысячу раз спрашивал себя, как это он растерялся до того, что впустил мужика в ограду. Но — впустил.

— Подожди меня там! — крикнул мужик своему товарищу и прошел в калитку. Галя стояла все так же — прямо и неподвижно. — Где она? — спросил он теперь уже у Гали.

Сеня начинал приходить в себя.

— А почему ты думаешь, что я тебе ее отдам? — спросил он, стараясь сдерживаться, не закричать и невольно шаря глазами по двору — где что лежит…

Мужик усмехнулся откровенней, показав ровные белые зубы. Он держал себя все уверенней.

— А как бы ты это не отдал ворованное? — наигранно вздохнул он. — У нас это не полагается.

— Если ворованное — давай в суд! — закричал Сеня, не в силах больше сдерживаться. — В суд давай! И там посмотрим, кто украл! Дя-дя… А почему ты только дядя, а не папа родной? Родниться так родниться — чего ты смельчил?!

— Можно и в суд, — лениво согласился приезжий. — Да долго… Расходы тебе. Давай уж как-нибудь сами, своим судом. — И коротко добавил: — Давай без жертв.

— Ты меня не пуга-ай!..

Сеня обмер: вышла Катя. Она не вышла, а выскочила из избы, куда-то торопясь, и вдруг запнулась и закачалась, стараясь установить себя. Сеня смотрел в ужасе: точно волшебная злая пелена нашла на нее и сошла — перед ними стояла другая, до неузнаваемости изменившаяся, девочка. Лицо еще вздрагивало, еще за что-то цеплялось, но уже окаменевало, нижняя губка, дергающаяся лопаточкой вперед, прилипла к верхней, глаза затухли. Она медленно свела руки и сцепила их под животом.

— Ты знаешь меня? — подождав, позволив девочке опомниться от первого, непредсказуемого испуга, спросил приезжий.

Она долго смотрела на него, словно решая, узнавать или не узнавать, вздрогнула, когда кобель, наскочив с улицы на заплот и свесив лапы, зарычал… Узнала. Кивнула.

— Никуда ты, Катя, не поедешь! — ослабшим голосом крикнул Сеня. — Ты наша. Скажи ему, что ты наша.

— Скажи ему, что ты знаешь меня, — со спокойной угрозой отвечал приезжий. — Я фокусов не люблю. — Усаживаясь на скамейку возле крыльца, показывая, что препирательства беспо-

лезны, он похвалил девочку: — Ты всегда у нас была умница-разумница. Собирайся.

— Никуда она не поедет!

— Сеня! — остерегающе крикнула Галя.

Подобие виноватой улыбки мелькнуло на лице Кати.

— Как же бы я не поехала? — тихим голоском, стоившим многих разъяснений, сказала она. — Что вы!

И развернулась собираться.

Минут через пятнадцать они уходили. Катя собрала что-то в ту же сумку, с которой приехала и которую сразу же забрал у нее мужик. Галя, так и не отмершая, ткнулась в девочку головой и отступила. Сеня пошел проводить. За калиткой Байкал опять стал набрасываться на чужого, Катя приласкала его и успокоила. Со скамейки от дома бабки Натальи поднялся второй мужик, прихрамывая, присоединился к ним и насмешливо окликнул Катю:

— Здорово, красавица!

Она не обернулась к нему.

Катя с Сеней шли впереди, приезжие сразу за ними. Сеня не спрашивал, куда идти, — вот-вот «Метеор», последний в этом году. Ветер наддавал сильней, подталкивая в спины, по небу быстро

несло растерзанные, разлохмаченные облака, доносило приближающимся холодом. Катя догадалась одеться в теплые сапоги и куртку.

— А деньги-то? — вспомнил Сеня. — Твои деньги остались!..

Девочка сунула свою ручонку в Сенину руку и слабенько сжала: не надо.

— Не забудешь, где мы живем? — шепотом спросил он.

— Мы тоже не забудем, — предупредили сзади.

Девочка оглянулась на них и сказала, не таясь:

— Они били ее.

— Кого?

— Тетю Люсю.

Она додумала, как до нее добрались: разыскали своим розыском тетю Люсю, пытали, пока не сказала…

— Я всегда говорил, что ты у нас умница-разумница, — согласились позади.

Подскочил на волне «Метеор», его било о стенку причала и откачивало; отъезжающим приходилось прыгать, они толпились в страхе и кричали. Девочку стремительно оторвали от Сени, не дав попрощаться, он увидел ее взблеснувшую белую головенку уже в пасти теплохода, девочка, заворачивая, тянула ее, взмахивала руками,

но — тут же закрыло ее прыгающими фигурами и отчаянные крики прыгающих заглушили все.

Сеня не помнил, как он воротился домой.

У стола лицом к двери сидела Галя, не снимая телогрейку, и ждала его. Что было говорить! — Сеня тыкался слепо из угла в угол: нельзя было уйти от Гали и нельзя было оставаться, и одна только мысль так же слепо тыкалась в нем: как бы провалиться в тартарары? Галя следила за ним, словно все еще чего-то ожидая, потом в неожиданном припадке уронила голову на стол и, пристукивая ею, сдавленно, страшно, чужеголосо выкрикивала:

— Сеня! Сеня! Сеня!

Порывы ветра становились все сильней и злей, и к ночи земля ходила ходуном. Сеня лежал без сна и, пытаясь защититься, натягивая на себя одеяло, слушал, как гремит и стонет на разные лады:

— Сеня! Сеня! Сеня!

1997

В ту же землю…

Крайней улицей микрорайон выходил на овраг, обширный и пустой, лежащий огромной неров-

ной впадиной. Его можно было принять за заросший карьер, но нет, грунтовой выемки тут никогда не было, так устроилось природой. Вокруг этого города, блиставшего в свое время славой великой стройки коммунизма, земля перебучена и перелопачена на десятки километров, здесь вбили в русло гигантскую плотину для электрических турбин, построили огромный алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, до десятка других крупных заводов, но и здесь кое-где остались участки нетронутой земли. Одним из них и был этот овраг, заросший среди глинистых проплешин обдерганными кустами ольхи, осинником да крапивой. Город с двух сторон полукругом подступил к нему и остановился. На третьей, на южной стороне, где ходило солнце, противоположной микрорайону, сразу за оврагом тянулся в гору сосняк, вблизи города побитый, с частыми следами кострищ и палов, но все-таки живой, отрадно зеленеющий и зимой и летом.

В прежние годы, когда еще делались попытки приукрасить жизнь, у обрывистого края оврага, где микрорайон, соорудили трамплин для лыжников. И прыгали, пружинисто выбрасываясь в воздух, и летели на птичьей высоте выгнутыми

вперед фигурами, насаженными на лыжи, и, приземляясь, взрывали снег и долго катились под уклон. На трамплин со всего города собирались мальчишки, здесь всегда было шумно, весело и колготно. Потом, когда жизнь открылась сплошной раной, трамплин забросили, и металлическая ферма его теперь торчала голо и мертво, как скелет.

Как раз напротив трамплина через дорогу, в первом подъезде длинного пятиэтажного дома, делающего поворотный изгиб вместе с дорогой, глухой ночью горел на третьем этаже свет. В городе ночным светом никого не удивить. Но на этот раз весь огромный дом был темен, весь он утонул во мраке ночи, смешанном с мраком тумана, и два одиноко светящихся окна, едва пробивающихся сквозь туман, ничего, кроме тревоги, вызвать не могли. К этой поре все засыпают и в эту пору без беды или болезни не поднимаются.

Тяжелая фигура женщины с непокрытой головой выступила из тумана, обтекающего дом, еще раз бросила взгляд на окна, с усилием поднялась по каменным ступенькам к разверстому входу и полезла по лестнице. Дверь в подъезд была сорвана, свет внутри не горел, подниматься приходилось ощупью. Она открыла незапертую

дверь в квартиру, после свежего холодного воздуха потянула носом, принюхиваясь, и, пройдя мимо закрытой слева двери, вошла во вторую комнату, сбросила отсыревшую темную куртку на узкую продавленную кушетку, стоящую за дверью справа, упала на нее сама и только теперь, словно в назначенную минуту, тяжким прерывистым стоном заскулила по-собачьи, закрывая рукой рот, чтобы не услышали.

В первой, в маленькой комнатушке лежала покойница, мать этой женщины, самой ей было под шестьдесят, но не о матери, зажившейся на свете и скончавшейся несколько часов назад, плакала эта рыхлая мужиковатая женщина, не себя она жалела, никогда не снисходя до жалости к себе, а, сильной, ко всему привыкшей, не хватало ей сил, чтобы подступить к страшной тяжести приближающегося дня. Она и на улицу выходила, чтобы движением облегчить ее, эту тяжесть, и только сильнее еще придавилась. Не хватало воздуха, нечем было дышать.

Звали эту женщину Пашутой. Имя, как и одежда, меняется, чтобы облегать человека, соответствовать происходящим в нем переменам. Была Пашенька с тонкой талией и блестящими глазами; потом, войдя в возраст, в замужество,

в стать, — Паша; потом один человек первым подсмотрел — Пашута. Как фамилия. Так и стали называть, порою не зная, имя это или фамилия «Это сытно звучит. И сама ты баба сытная», — говорил в похвалу тот самый человек, который окрестил ее Пашутой.

Накануне вечером Пашута воротилась домой поздно, уже в темноте, доходил десятый час. Поехав в город, она не собиралась задерживаться. Но не утерпела и зашла в свою столовую, а там девчонки пригласили поработать вечером на спецобслуживании. Спецобслуживание — это когда снимают столовую для события. Какое было событие, Пашута не разобрала, как ни прислушивалась к тостам. Праздновала какая-то незначительная организация, гуляли и невесело, и скромно, но Пашуте пришлось возиться с посудой чуть не до конца, пока не понесли мороженое. Девчонки и ей сунули в баночке два комка мороженого. Девчонки — по привычке, по старой памяти, когда они действительно начинали девчонками, половина из них уже в бабках. В сумке у Пашуты лежал еще и пакет с пловом, выскребенным из остатков в котле. Приходилось не брезговать и этим. Тыкавшая себя постоянно в свое униженное положение, Пашута корилась,

что она и в столовую продолжает ходить ради подачек. Но это неправда. Всю жизнь проработавшая в столовых и почти десять лет проработавшая в этой, последней, она скучала без нее, никак не могла отвыкнуть от «ада», как дружно все они проклинали чад и смрад, жар и пар среди печей и котлов, густых и одуряющих запахов пищи, впитывающихся в тело, по нескольку часов на ногах. В столовых она сполна прошла весь трудовой путь от заведующей до посудомойки. Путь в обратном направлении. В двадцать лет, среди восемнадцатилетних, — заведующая, и два года, уже с пенсией, — посудомойка. Месяц назад ее рассчитали. Столовая была кормным местом, в нее напрашивалась и молодежь, а у Пашуты совсем стали отказывать ноги. Девчонки бы еще постояли за нее, но и их ожидала та же участь. Хозяином столовой становился казбек, гибкий, поигрывающий телом молодой человек из кавказцев, с пронзительными глазами на узком птичьем лице. Дело шло к приватизации и перестройке в ресторан — уж тогда в городе, кроме заводских, не останется ни одной столовой.

Девчонка была дома, когда Пашута вернулась. С нею жила внучка, учившаяся с сентября в педагогическом училище. Но родных детей у Пашуты

не было, она брала приемную дочь, когда жила семьей; внучка от приемной, родная и не родная, без кровной близости. Мать ее, Анфиса, ушла в замужество в леспромхозовскую деревню, за двести километров от города, там и осталась, потеряв мужа. В Пашуте она видела воспитательницу, но не мать, матерью и не называла. Но вот удивительно: чем больше она отдалялась от приемной матери, тем больше на нее походила. Такая же внешне вялая, но с твердым характером, так же тянет в разговоре слова, такой же замедленный шаг. И такое же безмужество, только от Пашуты муж ушел, а у Анфисы утонул, оставив ее с двумя маленькими ребятишками. Пашута догадывалась, что, обижаясь на свою неудавшуюся жизнь, Анфиса за это сходство в том, что она не любила в себе, не любила и ее, Пашуту.

Но за девчонку Пашута простила бы ей вдесятеро больше. За то, что она прислала на учебу пятнадцатилетнюю Таньку. С нею как-никак посветлела жизнь. Вот почему в семье нужны дети. Разве бы обрадовалась она так мороженому, доставшемуся с чужого стола, разве бы торопилась так домой, чтобы оно не успело растаять? Не мороженое она несла ей, а свою нежную душу, устроенную грубо, свою ласку, не умеющую себя

показать.

Танька была с подружкой из какого-то дальнего подъезда в этом же доме. Подружка по имени Соня хорошо шила, и Пашуту эта дружба не тревожила. Она вручила девчонкам мороженое, и те от восторга завизжали, запрыгали.

— Бабуля, ты где взяла? — приплясывала Танька. — Ты где украла?

— Украла и есть, — усмехнулась Пашута и пошла к матери, лежавшей за закрытой дверью.

Вернулась она скоро, спросила у Таньки:

— Ты давно дома?

— Уж скоро час. Мы у Сони были.

— К старенькой бабушке заглядывала?

— Заглядывала. Она спит.

Пашута ушла в кухню и, высматривая оттуда, ждала, когда девчонки доедят мороженое. И — обратилась к подружке:

— Ты Таню не сможешь на ночевку взять?

— Бабушка, зачем? — удивилась Танька. — Я не хочу никуда идти.

— Надо! — грубо оборвала ее Пашута. — Из бабушкиной деревни приехал один человек, мне некуда его положить.

Врала — и зачем врала? — с перепугу, что ли?

— Я могу на полу, — предлагала Танька.

— Нет, уходи! Уходи, Татьяна… Я тебе потом все расскажу. Не будут твои родители ругаться? — она не спрашивала у подружки, а поторапливала.

— Нет, нет, не будут.

И смотрела неотрывно, как девчонки испуганно и торопливо собираются. У двери Танька обиженно буркнула:

— Сначала мороженое, потом уходи…

— Погоди-ка! — Пашута задержала Таньку и отвела ее от подружки. — Дай ключи. Без меня не приходи. Я буду вечером. Ты все поняла?

* * *

Аксинья Егоровна скончалась тихо, во сне. Не пришлось и глаза закрывать. Так ее намаяла, так изъездила жизнь, что она в последний месяц и не знала, живет она или не живет. Оскудевшая телом, высохшая, с бескровным желтым лицом, с руками в обвисшей коже, похожими на перепончатые лапки, она лежала в кровати как в усыпальнице и по большей части спала. Сначала ее поднимали к столу, вели в кухню, Танька заговаривала с нею, пытаясь расспрашивать, но она в ответ только растягивала под глазами морщинки, что выходило прежде улыбкой, говорила тихо

и услужливо нитяным тонким голоском и просилась обратно в кровать. Эти выходы доставляли ей мучение, и ее оставили в покое, стали приносить еду в постель. Ела она так помалу, уже не испытывая потребности в пище, что тепло в ней со дня на день должно было дотлеть.

И вот оно дотлело. Пашута широкой большой рукой гладила мать по маленькой, быстро остывшей голове, по ввалившимся щекам, по подвязанному подбородку и думала, думала… Она и сама, казалось ей, постепенно закостеневает в мумию и уже не способна отдаться горю. Произошло то, что и должно было произойти. Но, как ни ожидала она его, как ни смирилась давно уже с ним, она не была к нему подготовлена. Ничего в ней не было готово к тому, чтобы встретить материнскую смерть. Не врасплох и все равно врасплох. Мать так долго оттягивала неприятность, которую она доставит дочери своей смертью, что Пашута и дальше собиралась оставаться в этом удобном ожидании. Впрочем, ничего она не собиралась. А безвольно тащилась по дням своей расползшейся фигурой, делая только самые необходимые движения. И к чему-то готовиться, что-то предупреждать она разучилась.

Не смерть матери ее ужасала, нет, а то тяжкое

и властное, что надвигалось теперь со смертью, то, как обладить двухдневные проводы до окончательного прощания. Но и после прощания — девятины, сороковины, полгода, год… Существуют давние, крепче всякого закона, календарь и ритуал проводов. В городе живых заведено немало служб, принадлежащих, в сущности, тому свету, в которых заняты люди, устраивающие туда дорогу. Мертвый не имеет права считаться мертвым, пока не выдано свидетельство о смерти. По этому свидетельству его отвезут в морг, там, окаменевшего и униженного в смерти последним, самым жестоким унижением, окатят из шланга водой, воткнут в принесенную одежду; по этому свидетельству на фабрике ритуальных услуг подберут гроб, украсят его по одному из пунктов ассортимента и подадут под тело; по этому же свидетельству на кладбище выроют могилу в такой тесноте мертвых, что на похоронах натопчешься всласть на соседях… И всюду заплати. В морг, наверное, можно не возить, а всего остального не миновать. Там миллион заплати и там миллион с полмиллионом, а там только полмиллиона и еще семь раз по полмиллиону. Меньше нигде не берут. Но откуда у Пашуты такие деньги? У нее

нет их ни в десятой, ни в сотой доли. Где она их возьмет?

Но и это еще не все. Чтобы быть прописанным на городском кладбище, надо при жизни иметь прописку в городе. А у Аксиньи Егоровны ее не было. Она не имела права здесь умирать. Пашута, как и до того трижды привозила ее, привезла мать на зимовку; одной ей в восемьдесят четыре года отапливать и обихаживать себя в деревне было непосильно. Но как только отогревалось солнышко и вскрывалась ото льда Лена, Аксинья Егоровна рвалась обратно. Никакими уговорами или запугиваниями удержать ее было нельзя — скорей, скорей на волю из ненавистной каменной тюрьмы, скорей взойти на свой порожек, надышать избу своим духом, и хоть букашкой ползать, да по натоптанным родным тропкам. Нынче, приехав за матерью, Пашута не могла не видеть, что матери едва ли суждено вернуться, но разве позволила бы Аксинья Егоровна себя из деревни выписать! Да и как Пашута стала бы ее выписывать, если деревня, продолжая еще стоять под небом, под государством больше не стояла?! Не было здесь ни колхоза, ни совхоза, ни сельсовета, ни магазина, ни медпункта, ни школы — все унесло неведомо куда при но-

вых порядках. Отпустили деревню на полную, райскую, волю, на безвластье, сняли подчистую вековые держи, выпрягли из всех хомутов — гуляй на все четыре стороны! Хочешь — объявляй свое собственное государство, хочешь — отдавайся под руку Китая. Не было сюда летом твердой проезжей дороги, а зимой заносило снегами так, что не пробиться и танкам. Мужики промышляли в тайге, брали в Лене рыбу — этим и жили. И пили, пили…

Земли, угодья здесь завидные. С этого воля и начиналась, что выглядели богатство, позавидовали и добились, чтобы колхозные земли отошли сначала в подсобное хозяйство крупного машиностроительного завода… Но завод по дальности и бездорожью не потянул. Передали новому хозяину — БАМу. БАМ тогда по своей силе мог осваивать Луну, не то что ленские просторы. Погнали в деревню технику, повезли кирпич, принялись строить новую ферму и овощехранилище, на берегу поставили причал, одарили местный народ бамовскими льготами. Что под таким хозяином не жить?! И никто не подозревал, в том числе и хозяин, что можно полететь в яму в считаные месяцы. Ничто стало не нужно — ни строительство дороги, ни подсоб-

ное хозяйство; рабочие кинулись врассыпную с великой стройки, а деревне куда деться? С землей, с волей, беспривязная, брошенная — залегла она под ленский берег и ждет, все меньше и меньше трезвясь с непривычки к свободе, кому бы отдаться, чтобы хлеб привозили?..

Тем паче из такой деревни надо было вывозить мать окончательно. Пашута это видела. Она и собрала ее на всякий случай так, что можно было не возвращаться… Но какая тут выписка, какая прописка, в какое государство обращаться? Должно быть, ехать требовалось в район, а это в обратную сторону, им с матерью предстояло спускаться по течению к железной дороге. Да и когда это бывало, если даже поехать, что поехал и справил дело?

Пашута сидела и сидела возле матери, словно советуясь с нею, что теперь делать, как быть, а рука все тянулась прикоснуться, приласкать. Немного в жизни досталось Аксинье Егоровне ласки от дочери. В восемнадцать лет убежала на стройку — и зачем? — щи варить да камбалу жарить веселым, дерзким и прожорливым строителям коммунизма. К матери приезжала редко и, сунув гостинец, сразу рвалась обратно, в шум и гам несусветной толчеи, без которой уже

не могла обходиться, в общежитие, не понять, мужское или женское, которое сделалось ближе родного дома. Почти десять лет то в общежитии, то в бараке, таком же веселом и холодном. Квартиры противоречили романтике, а когда через годы и годы стали даваться рабочим, давались, как и положено, в первую очередь детным семьям. А у Пашуты детей не было. Ее Бог наказал за аборт. В такой колготне, как тогда, в таком беспрерывном празднике труда и молодости, шумно плывущем «навстречу утренней заре по Ангаре, по Ангаре», семьи могли держаться только ребятишками. Пашута разошлась, не осознав толком, что выходила замуж, с первым мужем, с безалаберным бетонщиком из моряцкого отряда (на стройку приезжали бригадами, классами, выпусками, отрядами), путавшим жену с девчонками, только через три года вышла снова — за бригадира взрывников, человека много старше себя, с которым из барака переселились наконец в квартиру. Этому помогла приемная четырехлетняя девочка, взятая из приюта. Но не ради квартиры удочерила ее Пашута. А поняла, что своих детей ей не иметь, надо строить на будущее подпорки. Взрывник оказался мужиком едким, насмешливым, они часто ссорились, и она

мало удивилась, когда, уехав в командировку взрывать диабаз для котлована соседней стройки, он не вернулся.

Так что же делать?

Где-то пропищали сигналы, возвестившие наступление круглого часа. Одиннадцать или двенадцать? Все равно. Все равно надо подниматься. Пашута вышла в прихожую и с испугом увидела себя в зеркало. Тюха, даже зеркало не завесила! Вот тюха так тюха! Но перед тем как завесить, она вгляделась в себя: широкое, затекшее лицо, некрашеные пегие волосы, которые были когда-то черными до цыганской черноты с синим отливом, забитые тоской глаза, над верхней губой знак какого-то внутреннего неряшества — бабьи усы. Она никогда не была красавицей, но была добра, расположена к людям, и эта доброта вобрала в себя и обрисовала все черты лица, делая его привлекательным. И в возраст вошла — была миловидна, с блеском больших карих глаз и со спадающими на высокий лоб завитками волос, с чувственно оттопыривающейся нижней губой. Трудно поверить, что еще десять лет назад тело ее оставалось без всяких упражнений и диет подобранным и чутким. Девчонки в столовой завидовали: «Ты, Пашута, ртом дыши, ртом, из-

нутри вздувай фигуру, чтобы она загуляла».

Сейчас ее можно принять за сильно пьющую, опустившуюся, потерявшую себя. Но в водочку Пашута не окуналась. Так разве рюмку-две когда по случаю, и то без удовольствия. А что потеряла себя — да, потеряла. В одиночестве это происходит быстро. Человек не может быть нужен только самому себе, он — часть общего дела, общего организма, и когда этот живой организм объявляется бесполезным, обмирают и все его органы, существовать внутри своей функции они не в состоянии.

Выходя на улицу, Пашута вела себя, направляя — куда, по какой дороге идти, как обойти прохожего, куда поставить ногу, чтобы войти в автобус, но, как только необходимость наблюдать за собой отпадала, глаза обращались внутрь, в темноту и боль.

Приезжая за матерью в деревню, чтобы взять ее на зиму в тепло, она спрашивала, по обычаю, у окоченевшей в одиночестве Аксиньи Егоровны, сидевшей не в избе на кровати, а на крылечке под солнышком:

— Ну, как ты, мать?

Аксинья Егоровна отвечала:

— Сидю и плачу.

Глаза ее были сухи, она плакала в себя. Это там все болело и стонало в муке, которая уже становилась привычной. Пашуте нечем было ее утешить. Аксинья Егоровна и не поняла бы утешения. Не везде, не ко всем членам доставала теперь в ней кровь, но боль, продолжающая жизнь, обтекала каждую клеточку.

Господи, но как же просто было бы сейчас в деревне! Как близко там почившему от дома до дома! Снесли бы Аксинью Егоровну на руках, положили просторно среди своих, деревенских, и весь обряд был бы дорогой к родителям, а не хождением по мукам, по хищникам-разбойникам, наживающимся на смерти. Там бы и небо приспустилось над Аксиньей Егоровной, труженицей и страдалицей, и лес бы на прощанье помахал ветками, и дых ветра, пронесшись струнно, заставил бы склониться в прощальном поклоне всякую травку.

* * *

Но что-то уже стало собираться бессвязными обрывками в обмершем сознании Пашуты, что-то постукивало в его стенки. В материнской комнате она подняла крышку высокого сундука (это деревенское происхождение заставило Па-

шуту заказать такой сундук) с тряпками Аксиньи Егоровны и сразу же наткнулась на аккуратно и красноречиво уложенное в прозрачный полиэтиленовый пакет смертное. Пашута узнала его по темно-коричневому вельветовому платью с черным витым пояском, ею же, Пашутой, давным-давно купленному и ни разу не надеванному. Оно показалось матери при дарении настолько праздничным, что ни один из прижизненных праздников не мог до него подняться. И тогда же Аксинья Егоровна положила: это для смерти. Пашута напрочь забыла о существовании этого платья — и вот оно, во исполнение воли усопшей, сразу же ей под руки… Там было и все остальное: тонкие шерстяные чулки, чунчики, как их называла мать, — что-то вроде мягких низких сапожек с меховым отворотом, темный платок, нижнее… Мать готовилась к смерти. В восемьдесят четыре года как не готовиться!.. Но сложено и поднято наверх было недавно, в близком и ясном предчувствии — как для заказанной бани. Невольно начинало высматриваться то первое, что надо делать. Нет, никому она мать не отдаст, вымоет сама. Хотя это вроде не полагается — самой. Бог простит. Богу, похоже, придется прощать ей многое.

Без малого сорок лет в этом городе, а посмотреть вокруг — никого поблизости. Ни к ней никто, чтобы хоть изредка душу отвести, ни она к кому. Пашута теперь уже и не знала, почему это бывает, что человек остается один. В молодости сказала бы, что для этого нужно быть чересчур нелюдимым или гордым, не иметь тепла в душе к тем, с кем сводит жизнь. Сейчас все по-другому, обо всем надо судить заново. Сама ли виновата, по характеру своему, или это судьба всех уходящих в старость — ей не хотелось в этом разбираться, да и, пожалуй, не под силу было. Как медведи, в зимний гнет залегли по берлогам и высовываются редко, только по необходимости. В какой-то общей вине, в общем попущении злу прячут глаза. Невольно прячут — и те, кто считает себя виноватым, и кто не считает.

Редко-редко вспоминала Пашута свою молодость. Слишком далеко и нереально это было. Только встретит если смутно знакомое лицо и начнет в поисках его отлистывать назад годы, когда она знала здесь всех и все знали ее. Разве бы удалось в то время кому-то миновать котлован, эту огромную каменную утробу, где все гремело, светилось, кипело и кружилось? И разве, пройдя котлован, можно было миновать столовую на ле-

вом берегу при въезде в него? Столовая работала круглосуточно — и весь котлован, сотни и тысячи людей, кормился там. Плыли и плыли они с подносами мимо раздачи, голодные, веселые, нетерпеливые, и только и слышалось: «Паша, подгоняй своих девочек, пусть не заглядываются!», «Паша, разберись, почему у вас двойная порция входит в одну тарелку». «Паша, — громче всех кричал кто-нибудь один. — Значит, как договорились, да?!» Она успевала метаться по кухне, успевала отвечать и распоряжаться этой огромной алчущей волной так, что та вовремя откатывалась, чтобы через четыре-пять часов накатить снова. Когда перекрывали Ангару и в проран летели бетонные кубы с надписями, должными увековечить это событие, на одном из кубов голубой краской, под цвет ангарской воды, было выведено ее имя. Выводил кто-то один (она знала — кто), но как бы по общему мнению. Годы и годы она крутилась в счастливой карусели работы, дружеских сходок, походов, розыгрышей, в ушах постоянно стоял шум подъема и веселья, сердце билось возбужденно, захватываясь общим могучим ритмом, и, по-деревенски замкнутая, она раскрылась, разговорилась, научилась смотреть смело и отвечать дерзко.

Но, порывисто вознесшись в общем вихревом потоке, она, как только он начал спадать, почувствовала это и остыла вместе с ним.

Это началось с переезда из поселка гидростроителей в город, где на смену мятежной и окрыленной кочевой молодости собирался оседлый и расчетливый народ — эксплуатационники. Кочевье укатилось дальше, на следующую стройку. Оставались пожинающие плоды, они обзаводились машинами, дачами, дефицитом и, как и всюду, где жилось льготно, острили и напитывали ядом умы. Их оседлость была временной — до выработки стажа, до служебного возвышения, а там — на юг, где заранее возводились дома, или в столицы, куда отлетали избранным кругом вслед за одним, достигавшим высоты. К тому времени, когда окончательно вырисовалось, во что превратилась великая стройка, в городе из высокоинтеллектуального «золотого» общества, каковым считали себя его представители, никого не осталось.

Город постепенно приобретал другую славу. На дешевой электроэнергии выплавляли на самом крупном в мире заводе алюминий, на самом крупном в мире лесокомплексе варили целлюлозу. От фтора на десятки и сотни

верст вокруг чахли леса, от метилмеркаптана забивали в квартирах форточки, законопачивали щели и все равно заходились в удушливом кашле. Через двадцать лет после того, как гидростанция дала ток, город превратился в один из самых опасных для здоровья. Строили город будущего, а выстроили медленно действующую газовую камеру под открытым небом. Народ пошел на площади протестовать, эти протесты, как и всюду, были использованы, чтобы свалить старую власть, но пришла новая — и сами собой протесты прекратились, потому что новая знала самый верный способ борьбы с недовольством: не делать одно лучше, другое хуже, а развалить без сожаления все, и тогда в охоте за куском хлеба, хватаясь по-животному за любую жизнь, забудут люди о такой причуде, как чистый воздух и чистая вода.

Но это было позже. Позже и квартиру свою в городе, в хорошем доме, поменяла Пашута на микрорайон: отравлялась она в городе от аварийных выбросов с комбината до того, что лежала пластом, не в силах встать. Микрорайон же выстроили в стороне, верилось — там чище. Но разницы или не было вовсе, или она оказалась так мала, что ее нельзя было почувствовать. Поменялась

еще и ради приплаты за большую площадь, которую оставляла, но разошлась эта приплата за три месяца. В микрорайон стала Пашута привозить на зиму мать. И где-то далеко-далеко, как в другой жизни, осталось, что растила она девочку, взятую из приюта, что сразу же после вдохновенной молодости пришлось надеть тягло матери-одиночки: работа, детсад, потом школа, подмены во время болезней девочки, нескончаемое рысканье по городу в поисках то молока, то лекарства, то теплой одежды. С одиноких загнанных женщин молодость слетает быстро — и вот уже приходилось замечать, что все меньше и меньше остается желаний, все длиннее невидящий взгляд и все пустынней и мимолетней дни. Не стало у Пашуты близкого круга друзей, не стало ярких праздников, опьяняющих привязанностей… Что случалось — случалось как бы из милости. Все это еще словно бы расставлено было перед нею с раскрытыми дверями, но никто не зазывал из них, как раньше, а самой стучаться уже и не хотелось.

От одного удивления не могла она освободиться: как из того, что начиналось тут, получилось то, что есть…

Пашута принесла в тазу воды, нашла махровое

полотенце и раздела мать донага. Поворачивать, раздевая, было мукой, не окоченевшее до конца тело выгибалось в пояснице с сухим хрустом — будто косточки ломались. А ведь предстояло еще мыть, поворачивая с боку на бок, предстояло одевать, приподымая. Пашута накрыла голое тело простынью и торопливо вышла отдышаться.

Господи, что же она делает?! Можно же было, наверное, найти днем старушек, чтобы помыли и свершили обряд как положено!.. Но она не знала, где искать этих старушек. Обмывают знакомые, подруги по старости, возрастом и положением подготовленные для этой роли, а таких у Аксиньи Егоровны не было, никого она здесь, не выходя из квартиры, не знала. Не было их поблизости и у Пашуты, а ехать в город, зазывать женщин, с которыми она давно потеряла знакомство, не хотелось.

Но самое главное: если чужие руки будут обмывать, то и все остальное придется делать чужими руками. Нет, надо хоть сердце свое заменить, чтобы оно не пугалось, но справиться самой. И сразу сказать себе, что другого выхода у нее нет.

Матери совсем стало плохо месяца полтора назад. До этого она выходила к столу и с жалкой улыбкой ждала, когда ей нальют чаю. Все жалова-

лась на воду — вода не такая, как в Лене, чем-то травленная. Спрашивала робко, нет ли письма из деревни.

— От кого ты ждешь письмо? — Пашута не курила, но голос у нее был грубый, как прокуренный; меняется, становится бесформенной фигура, меняется и нутро. Этот голос пугал мать.

— Кто-нить, поди, напишет. Я Лизу просила написать. Как узнать без письма, че там деется.

— Никто нам, мать, не напишет. Не жди.

Не могла себя пересилить Пашута: «мама» не выговаривалось.

Это она подхватила месяца полтора назад, уже при Таньке, грипп и заразила мать. Та совсем перестала подниматься, ее приходилось таскать на руках. Две недели кормили ее с ложечки. Тело подсушилось, вжалось в кости и сделалось легким. Жила в это время Аксинья Егоровна в деревне и разговаривала не с Пашутой, которую не узнавала, а с Лизой, деревенской соседкой, расспрашивая ее про корову, про сильно пьющего зятя, про внуков… Всех их она помнила по именам. Спрашивала, как о живых, о давно умерших. И голос у нее в разговоре с Лизой становился крепче, и память наплывала из глубин, и лицо разминалось — нет, деревня, деревня по-

стоянно была у нее на уме, деревней она только и дышала.

В последнюю неделю она опять, пусть и с огромным трудом, стала подставлять под себя негнущиеся ноги, вошла в память. Но уже молчала — ни о чем не хотелось ей говорить, все умолкало в ней. В смерть входила тихо и незаметно (а Пашута считала, что это она возвращается в жизнь), подолгу спала, почти бездыханно, лежа на спине кверху заострившимся маленьким личиком.

Во сне и оттолкнулась последним вздохом.

Пашута обмыла мать, справилась и с этим. Вернее, не обмыла, а обтерла мокрым полотенцем. Кожа уже не краснела, оставаясь пергаментной, тело как бы налилось чем-то изнутри, разгладив лишнюю изношенность. И потом, когда одевала, ломая тело, почувствовала, как оно потяжелело.

Но перед тем как одевать в прощальные одежды, Пашута опять отдохнула. Каждое новое движение требовало все больше решимости и сил. А ведь это только начало. Но она управлялась пока почти бесчувственно, без страдания, с какой-то стылостью и глухотой, подгоняя себя: дальше, дальше… Не дочь это хлопотала над матерью, а какое-то неловкое и бездушное

обряжающее существо, взявшееся не за свое дело. Ей и самой становилось страшно за свою опустошенность: уж человек ли еще она? И страшно становилось, и нужно было пользоваться этой бесчувственностью, чтобы успеть.

Мать лежала прибранная, торжественная, со скрещенными на груди руками, с расчесанными волосами под темным платочком, завязанным под подбородком. Подвязаны были вместе и вытянутые, вдоволь набегавшиеся ноги. Такой покой был на ее лице, будто ни одного, даже маленького, дела неоконченным она не оставила.

* * *

Перед утром Пашута, не раздеваясь, прилегла ненадолго, чтобы обмануть отдыхом тело, особенно ноги, которые придется в этот день таскать без жалости. И почему-то до рези устали глаза, будто она часами неотрывно смотрела на яркий свет.

Она полежала, должно быть, с час, не шелохнувшись и на этом экономя силы. И за четверть часа до шести поднялась, поставила чайник. Ей надо было успеть до того, как пойдут на работу. А ехать далеко. Ехать надо было в железнодорожный поселок за тридцать километров от города,

но входящий в городскую черту; такие же взмахи своей чертой город делал не в одну сторону, будучи разбросанным и представляя из себя создание уродливое, бесформенное. На автобусе она доедет до вокзала, а там электричка. Должна успеть. Раньше не получится, она выйдет к первому автобусу. Но если все-таки не успеет, не застанет дома — пойдет искать на работу. Возвращаться ни с чем ей нельзя.

Только бы согласился Стас.

Она поехала к тому самому человеку, который впервые назвал ее Пашутой, который говорил, что она сытная баба, такая, стало быть, что возле нее чувствуешь себя сытно, успокоенно. А он знал ее. Лет восемь подряд, оба одинокие, потрепанные жизнью, грелись они друг возле друга. То она приезжала к нему, то он к ней. Было это давно; все, достойное памяти, было давно, последние годы только уродовали ее и унижали. Она и связь со Стасом порвала оттого, что ей стыдно стало показывать себя, больную, расплывшуюся тоже «за черту». Встречались они теперь совсем редко; раз или два в году по обязанности доброго сердца он заглядывал, пытался растормошить ее, упрекая за безволие, и уходил, она видела, расстроенным.

Стасом она называла его про себя, а перед ним — Стас Николаевич. Навсегда он остался для нее человеком другого круга — образованным, много знающим, собранным аккуратно в приятный порядок, так что не топорщилось ничто ни в одежде, ни в речи, ни в поведении. На стройке он начинал с диспетчерской, голос его разносился через громкоговоритель далеко — и всегда без крика. Потом как инженер поднимал алюминиевый завод. У него рано погибла жена, которую он очень любил, погибла у него на глазах во время спуска на резинках по горной реке, куда он ее затащил, оставив ему, кроме трехлетнего сына, незаживающее чувство вины. Сына пришлось отправить к своим родителям в Рязань; тот, выучившись, там и остался. А Стас надолго сник, переходил с работы на работу, чуть было не ушел в пьянку, но удержался и перебрался из города в этот пристанционный поселок, купил здесь небольшой деревянный домик и, уже оформив в прошлом году пенсию, подрабатывал в столярке.

Кроме Стаса, не осталось у Пашуты ни одного человека, кому бы она могла довериться.

Она вышла к автобусу в темноте, забитой сырым вонючим туманом. Шла к остановке

и билась в кашле. До чего же горазды они делать аварийные выбросы в туман — будто это туманом нанесло невесть откуда, а они здесь ни при чем. Но уже без возмущения вспомнила о них Пашута. Они и раньше были недосягаемы, хотя и признавалось открыто, что творят беззаконие, теперь же и вовсе превратились в небожителей, обращаться к которым можно только с мольбой, превратились в признанных богов, дарующих кусок хлеба. А за него простится все. И не к ним, как все вокруг, взыскивала Пашута, а к своему нездоровью, к своим грехам. За грехи наказываются.

Слабо толкнулось в нее: что-то мало народу в автобусе. Но как толкнулось: слава Богу, можно не давить тушей на ноги, а усадить ее, пусть еще ноги поберегутся. Но и в электричке было свободно. Пашута принялась рыться в памяти и вырыла с трудом, что сегодня суббота, день для нижнего густого народа нерабочий. Можно было и не торопиться. Сегодня жмут на свои педали, качающие деньги, всякие «кумерсанты», как выговаривала Аксинья Егоровна, да банкиры. Но они выходят позже и в автобусах не ездят.

Пашута не помнила, учится ли по субботам Танька.

В половине восьмого, на рассвете, когда чуть посинел туман, подошла она к дому Стаса с двумя окошками в переулок. За окнами стояла темнота. Досыпает Стас или нет дома? Она давно его не видела; у него был телефон, но ей и в голову не пришло позвонить. А когда бы она стала звонить? Еще полсуток не прошло, как отбыла мать; это кажется, что давно. И пришлись эти полсуток на ночь. Решения, которые принимала она, были не результатом работы мысли, не сигналы, посылаемые в мозг и возвращающиеся с ответами обратно, направляли ее — ничему она, оцепеневшая и затухающая, не сигналила, а словно бы отслаивалось что-то в нужный момент от корковатого сердца и подталкивало.

В восемь, не дождавшись из окон света от гидростанции, которую они со Стасом строили, Пашута позвонила. Нет, не зря строили: свет вспыхнул. Стас открыл без оклика. Вслед за ним, полуголым, ни о чем не спрашивающим, прошла она в дом, сбросила куртку и скорей убирать из-под тяжести ноги.

Они сидели за чаем в кухонке, в голом, без ставня, окне которой, засиженном мухами, летели космы тумана, путаясь в черных и острых ветках яблони, и виднелся навес с верстаком по левую

сторону и поленницей дров по правую. Все промозгло за сырую осеннюю ночь и стояло уныло. Рассвело мутным болезненным светом.

Пашута дорвалась до чая, пила и пила. Стас подливал уже дважды. Он был в старой меховой душегрейке-безрукавке, накинутой на майку, крепкие руки ходили с силой. Потрескивала остывающая конфорка электроплиты в углу, а рядом, возле двери, потрескивал в печи живой огонь. В деревянных домах все уживалось вместе — и старое, и новое. Передом печь выходила в кухонку, а задом в единственную и просторную комнату.

Пашута сказала о смерти матери, но о самом главном, ради чего приехала, молчала, ожидая подходящего момента. Встряхиваясь среди редкословного разговора, тревожно всматривалась она в окно: время шло. Время шло, а ничего не сделано, наступивший день начинал придавливать не снятым с него грузом. Так хорошо прежде бывало со Стасом! Она словно бы погружалась в другую, нереальную жизнь, даваемую за страдания, где все к ней благоволило, все приносило утешение, — и как из теплой обласкивающей воды выходила потом на берег, встречающий холодным безучастием. Здесь, в этих стенах,

она, казалось, и оставалась постоянно той своей частью, которая не потеряла радости, сюда приходила на свидание с нею, здесь пополняла свои душевные запасы. А Стас только устраивал эти встречи, проводил ее, приходящую, потайными ходами к живущей в счастливом затворничестве.

А теперь и здесь ее не сыскать.

Пашута наблюдала за Стасом: тот и не тот человек. Держался по-прежнему прямо и поэтому казался высоким, все так же коротко стриг седую крупную голову. Рядом с нею он выглядел хоть куда, и она правильно сделала, отойдя от него, избавив Стаса от неизбежно явившегося бы чувства жалости и брезгливости. Но и в нем еще глубже врезались морщины в продолговатое, мужественно вылепленное лицо с волевым подбородком — врезались густо и не подчеркивали, а скорее перечеркивали мужественность, оттеняли жизнь, потерявшую цель. И загас в глазах знаменитый высверк, вспыхивавший неожиданно и ярко, как молния, который умел сразить наповал. Глаза смотрели печально и терпеливо.

Тянуть было некогда. Пашута, как и по земле ходила тяжелой поступью, и здесь двинулась к цели без тонкостей. Ничего, что можно было

подостлать под просьбу, смягчить ее, не находилось, она спросила напрямую:

— Ты, Стас Николаевич, не сделаешь нам гроб?

— Гроб? — Нельзя было понять, удивился ли он. Но смотрел на нее длинным пристальным взглядом, забывчиво держа на весу кружку с чаем. — Разве *там* не сделают гроб? У них правило: покойник ваш, а гроб наш. Разве не так?

Она покивала: так. И сказала наконец то, к чему уже приступила за ночь. Сказала с замедлением, вдавливая слова:

— Я, Стас Николаевич, задумала мать сама похоронить. Без *них*. Мне к *ним* идти не с чем.

Он невольно перешел на тот же выговор, давя на каждое слово:

— Без них, дорогая Пашута, туда не попасть. Это не деревня. Сердце продавай, печень, селезенку, душу… теперь все покупают, но иди к ним.

— Мою печенку-селезенку никто не купит. Я бы продала… — И с отвращением отказалась: — Вру, не продам. И продавать не буду, и к *ним* не пойду.

— У многих не с чем идти, не у тебя одной, — продолжал он, не убеждая, а отыскивая выход, который можно было бы предложить. — Но собирают как-то. Теперь так и хоронят: с миру

по копейке. Соберем и тебе. Есть же у тебя родственники, друзья, знакомые…

Она освободила голос и — показалось — с облегчением ответила:

— У меня никого нет.

— У всех есть. Ты гордыню свою не выставляй. Не тот случай.

— А у тебя родственники, друзья есть? — спросила она, задетая «гордыней». — Что молчишь, Стас Николаевич? Есть они у тебя теперь? А сколько их увивалось возле тебя! Не разлей вода до гробовой доски! К многим ты пойдешь так, чтобы ноги несли?

— Ноги наши по другой причине не несут. Ты путаешь…

Пашута перебила его. На нее, намолчавшуюся, настрадавшуюся, с ворохом обид, унижений, недоумений и горечи, теснившихся безответно в груди, обжигая ее, нашло злое вдохновение — то самое, которое не выносит боль, а только ее обнажает.

— А чего тут путать?! — перебила она. — Чего тут путать, Стас Николаевич? Не мы с тобой стали никому не нужными, а все кругом, все! Время настало такое провальное, все сквозь землю провалилось, чем жили… Ничего не стало. Встре-

тишь знакомых — глаза прячут, не узнают. Надо было сначала вытравить всех прежних, потом начинать эти порядки без стыда и без совести. Мы оттого и прячем глаза, не узнаем друг друга — стыдно… стыд у нас от старых времен сохранился. Все отдали добровольно, пальцем не шевельнули… и себя сдали. Теперь стыдно. А мы и не знали, что будет стыдно. — Она помолчала и резко повернула, видя, что уводит разговор в сторону, где только сердце надрывать. — Дадут, — согласилась она. — Если просить, кланяться — дадут. Те дадут, кому нечего давать. Из последнего. Ну, насобираю я по-пластунски, может, сто тысяч. А мне надо сто раз по сто. Нет, не выговорится у меня языком — приходить и просить. А чем еще просить — не знаю.

Стас осторожно напомнил:

— У тебя ведь дочь есть.

— Дочь мне неродная, — глухо сказала Пашута. — И живет она с мальчонкой в последнюю проголодь. Девчонку мне отдала в учебу. Живет одна, без мужика. Это вся моя родня. Дальняя есть, но такая дальняя, что я ее плохо знаю. Нас у матери было четверо, в живых я одна. Все ненормально — верно ведь, Стас Николаевич?

— Не паникуй. Куда твоя твердость девалась?

— Остатки при мне. И то много. С нею-то хуже. Она не для воровства, не для плутовства у меня, скорей в угол загонит.

Туман разошелся, света за окном стало больше, но оставался он серым, утомленным. Поддувал ветер. Яблонька томилась такой тоской, высветившись еще черней и корявей и поскребывая ветками по стеклу, что на нее было больно смотреть. Никак не могла затянувшаяся осень проломиться в зиму, никак не набирался сухой мороз, чтобы упал снег. Слишком заморилось все.

«Но земля, слава Богу, талая», — подумала Пашута. И опять стеснило ее надвигающимся днем: ничего она пока не добилась. А пора, пора…

— Ну, сделаю гроб, — спрашивал Стас, — и куда ты с ним? Дальше-то что? В какую контору, под какую печать? Это же все потребуется!

Пашута и здесь кивнула: потребовалось бы… Но не потребуется.

— Я тебе еще не все сказала. — И, говоря, смотрела на него пристально, не отводя глаз. Он помянул о твердости — вот она, твердость. — Мне ничего не потребуется, Стас Николаевич. У нас не будет свидетельства о смерти, потому что не было прописки. И здесь, наверное, можно добиться… За деньги теперь всего можно добить-

ся. — Сделала паузу, говорящую, что не ей этого добиваться. И повторила: — Мне нужен гроб, Стас Николаевич. Я сама вырою могилу.

— Где?

— У нас за пустырем лес. Место сухое. И от меня недалеко.

На Стаса это произвело впечатление. Он поднялся, завис над столом на длинных руках.

— Но это же не похороны, Пашута. Это же — зарыть!.. — Он сдержался, не стал продолжать.

— Зарыть, — согласилась она.

— Взять и зарыть?! Ты с ума сошла, Пашута! Ведь она у тебя русского житья была человек. А ты — зарыть!

Он перешел на шепот. На шепот гремящий.

— Дай Бог, чтобы тебя не зарыли, Стас Николаевич. А мы — ладно. Я и на зарытье согласна. — И вернулась: не о ней сейчас речь. — Если будет гроб, все остальное я сделаю сама.

— Ка-ак? — добивался он. — Ты все продумала, но как? Как ты повезешь, как ты землю будешь бить? Там же, наверное, камень… В городе! Там же город, люди! Все это надо отставить, Пашута. Отставить! Это же человек, мать твоя, а не собака! — И еще одно со страхом вспомнил он: — Ты и попрощаться с нею людям не дашь.

— С ней тут некому прощаться. — Пашута смотрела в окно куда-то далеко-далеко, чувствуя, как в глаза наплескиваются слезы. Но нет, не заплакать, ни за что не заплакать. — Завезла я ее в такое чудесное место, что никто тут ее не знал. Она и на улицу почти не выходила. — Пашута встряхнулась. — Ладно, Стас Николаевич, нет так нет. Скажу я тебе самое последнее. Денег у меня нет, ничего нет… Но если бы и были… Знаешь, кажется мне: все равно надо было бы так сделать.

— Ты не была сумасшедшей, — хмуро ответил он.

— Ох, какой я была, Стас Николаевич! Разве теперь сравнить! — И выбило разом все запоры, хлынули слезы, и, не успев подложить руки, стукнувшись о стол головой, затряслась в рыданьях, вырывавшихся рваным некрасивым клекотом.

Стас растерянно ходил рядом, гладил ее по голове, по пегого цвета спутавшимся волосам, отходил и снова молча гладил, ощупывающе, с какой-то беспомощной слепотой в руках и глазах. И сам теперь, своим опытом и умом шел той дорогой, которую выбрала Пашута, всматриваясь, где могут быть непроходимые места. Они были всюду — от начала до конца.

Пашута заставила себя успокоиться и подняла

голову. Он спросил:

— Когда ты хотела это сделать?

Она не стала ломаться, понимая, что заставила его согласиться.

— Завтра воскресенье. Люди спать будут.

— Да ведь по обычаю на третий день?..

Что было объяснять? Все тут поперек обычаев, за все отвечать придется. Пашута после слез закаменела еще больше.

Стас перешел в комнату и кому-то звонил.

— Серега, — говорил он в телефон. — Подходи-ка ко мне. Очень ты мне нужен. Давай-давай, Серега, по пустякам я бы тебя не погнал. Подходи.

* * *

Пашута подковыливала к дому, когда заметила Таньку, стоявшую в отдалении, среди чахлых тополько в, которыми дом пытался закрыться от дороги. В синенькой курточке с откинутым капюшоном, с непокрытыми льняными волосами, как-то особенно чисто и грустно светившимися в пасмури дня, она бродила тут, должно быть, давно. Шел двенадцатый час. Пашута приостановилась, поджидая несмело приближавшуюся девчонку.

— Я тебе сказала — до вечера не появляться! Что ты тут делаешь?

Танька молчала, быстро и с испугом вскидывая на Пашуту и опуская глаза.

— В школе была? — Пашута училище называла школой. Да ей, малолетке, в школу бы еще и ходить, а не в заведение, где чего только не наберешься.

— Н-нет.

— А кто будет платить за твои «нет»? — В училище за каждый пропущенный урок и за каждую двойку полагалось платить — все мужающими тысячами. Ушинские и Сухомлинские, предлагавшие свои известные воспитательные системы, до этого не додумались. Чтобы додуматься — нужны были умы решительные, дерзкие, широкого государственного размаха, и время их немедленно представило.

Танька набралась духу, подняла на Пашуту свое белесое, в конопушках, круглое лицо, вздрагивающее от недоброго предчувствия:

— Что у нас случилось, бабушка? Почему ты меня выгнала?

Пашута тяжело думала, что сказать, как поступить с девчонкой. Вечером она не додумала — и вот Танька здесь.

— У нас что — старенькая бабушка померла?

— Пойдем, — подтолкнула Пашута девчонку поперед себя. Теперь уже ничего другого не оставалось.

В квартире стоял запах — еще не тления, но горя. В жилых стенах пахло запустением и горечью, в них поселилось бестелесое существо, приходящее в тяжелые дни, чтобы справить какой-то свой ритуал. Пашута принюхивалась, пахло как от овчины, из которой не вынашивается дыхание жизни, ее породившей.

Танька скинула курточку, прошла и села, приготовившись к разговору, на свою кушетку, нервно поводя глазами и сложив руки на сдвинутые колени. Кровать Пашуты стояла в той же комнате за шкафом. Теперь они смогут разъехаться, у каждой будет своя комната.

— Пришла так пришла — ладно, — начала Пашута, выходя от матери. — Может, оно к лучшему. Старенькая бабушка у нас умерла, это ты верно догадалась. — Голос ее при этих словах не изменился, не дрогнул, она думала о чем-то, чему появление девчонки все-таки мешало. — Бабушка наша правильно сделала, что не стала тянуть. Не смотри на меня так, я старуха грубая. А прикидываться разучилась. Бабушка и пору

выбрала самую подходящую — перед зимой. Она нам все устроила как лучше. А теперь, Татьяна, слушай. — Она опустилась с девчонкой рядом на кушетку. — Бабушку я буду хоронить наособицу. Крадучись буду хоронить, ночью, чтобы люди не видели. На кладбище везти — денег у нас с тобой нету. А побираться я не хочу. И еще слушай. Ни матери, ни кому другому я не дала знать. Потом скажем. И ты покуда молчи.

Танька сидела, замерев, уставив глаза в стену.

— С этого момента придется тебе стать совсем взрослой, — продолжала Пашута. — Некогда нам дожидаться, когда это само произойдет. Отгуляла детскую радость… хотя и такой радости, девочка ты моя, у тебя, однако, было не много… Принимайся-ка теперь за долю. Будет у тебя все, будут и радости… А пока придется нам горемычество принять. — И, помолчав, подтолкнула к первому шагу: — Иди, взгляни на бабушку.

Танька пошла. Пашута осталась сидеть: не вздымали ноги, ныли пронзающими тукающими ударами. Но можно было поддаться теперь ненадолго и слабости — после проявленной силы. Она вернулась от Стаса, добившись большего, чем ожидала. Теперь, если ничто не собьется с хода, а самое важное — если ничто не воспроти-

вится беззаконному ходу, будет легче. У могилы матери, когда встанет она перед могилой (а так далеко еще до этого и так ненадежно!), когда вглядится Судия Недремный, что же такое там бесславное происходит и кто это затеял, она не станет прятаться. Видит Бог, Стасу это было совсем не по душе.

Вышла Танька, присела рядом, вздрагивая и испуганно прижимаясь. Пронзило девчонку. С этого дня и без наставлений Пашуты ей станет не просто пятнадцать, а пятнадцать с этим днем, который потянет ой как много. Не мать жалко, не себя, а ее. Мать и грехи с собой понесла… Господи, какие у нее грехи! — вся жизнь в работе и робости; на себя Пашута давно махнула рукой, довлачиться бы только каким угодно ползком до конца… Но легче жить без надежды, чем умирать бессветно. Танька — девчонка ласковая, в лесу сохранилась. Надо не потерять ее, в городе на каждом шагу погибель. Господи, что это за мир такой, если решил он обойтись без добрых людей, если все, что рождает и питает добро, пошло на свалку?!

— А бабушка верила в Бога? — спросила неожиданно Танька.

Пашута обернула к ней лицо и внимательно

всмотрелась. Вот так недолетка! Она спросила то, что Пашута боялась додумать. «Там разберутся», — казалось ей. Там-то там, но и здесь, выходит, надо разбираться. Вот этого она и избегала — разбираться здесь. Одно дело — грубо, вопреки правилам, спровадить неприкаянную душу, и совсем иное — если и там у души дом родной, где ее ждут.

— Не знаю, — угрюмо ответила она. Ответила не только Таньке. — Как, поди, не верила — она старого житья была человек.

— Она просила, чтобы я ей в церкви иконку купила…

— А ты купила? — напряженно спросила Пашута.

— Маленькую такую. Богородицу. В ладошку входит.

— А как я не видела?

— Она на этажерке стоит. Ты не заметила.

Пашута задумалась. Она легко уходила от разговора и теперь думала о том, что надо подниматься и выстраивать в новый, более определенный порядок намеченное дело. Засиделась. Почти наяву она видела, как дело выгибается к ней странной, ненаполненной, схематической фигурой, чтобы поторопить. Но так не хотелось отлепляться

от девчонки, как никогда, ищущей сегодня ласки и слов!

— Крестить тебя надо, — вспомнив, о чем говорили, сказала она.

— А ты крещеная?

— Нет! — с такой легкостью, как сейчас, твердел у нее голос и с таким трудом мягчел. — Я выпала, обо мне нет разговора. А тебе жить.

— Но я видела: совсем старых крестят.

— Ты, значит, бываешь в церкви?

— Мы с Соней из интересу заходим. Совсем старые есть, которые от советской власти родились…

— От кого родились? — охнула Пашута.

— Ну, это так говорят.

— Говорят… Как это у вас все ловко говорится?.. Ладно, — решительно предложила она. — Поднимаемся, что ли?

И — промедлила. Танька вдруг прильнула к ней, обняла, ткнулась головой в грудь. Пашута растерялась:

— Ну, что ты! что ты!

— Бабушка, ты разговаривай со мной, разговаривай!.. — отчаянным шепотом рвалось из Таньки. — Ты молчишь, я не знаю, почему молчишь… Я не маленькая, пойму. Почему ты

вчера не сказала мне?.. Ты думаешь, что я неродная, а я родная… хочу быть родной. Хочу помогать тебе, хочу, чтобы ты не была одна! Мы вместе, бабушка, вместе!..

Пашута застыла. Сегодня она уже дала слабину — у Стаса, когда разрыдалась. Если еще раз пустит слезу — дело плохо. Она приказала себе замереть, чтобы ни звука не вырвалось из ее недр, пока не откатит волна сладкой боли, перехватившей горло, так давно не испытываемой. Что-то еще осталось в ней, что-то вырабатывает эти чувствительные приступы. Она успокоилась и лишь после этого в ответ обняла Таньку, прижала неловко и пообещала:

— С кем же мне еще разговаривать, как не с тобой! Больше у меня никого нет.

— Мне шестнадцать будет — я могу в подъезде мыть. Или телеграммы разносить — я узнавала. Я могу… я могу, бабушка! — сорвалась опять Танька на слезный шепот. Она выпрямилась и, моргая часто от слез и напряжения, искала, искала в Пашуте перемен, которые могли произойти от ее порыва. Она бы хотела, подняв голову, увидеть Пашуту совсем другой — ласковой и доступной. Пашута понимала ее и ненавидела себя еще больше.

Она сказала:

— Прокормимся, Татьяна.

Не выговорилось у нее: спасибо, милая девочка; вот мы и породнились еще ближе.

— Давай дверь откроем, — предложила Танька, поднимаясь первой. — Она там совсем одна.

Сама же и растворила дверь.

Как в жизни была Аксинья Егоровна незаметной, тихой, все старающейся спрятаться в закуток, так и теперь лежала она сиротинушкой, и в смерти, в единственный день, отпущенный ей для внушения остающимся, не взяла главного места. Ни одной обиде не оставила она попрека. Морщинистое лицо, еще вчера досуха обтянутое кожей, разгладилось от какого-то последнего посмертного дуновения. Вид матери, торжественный и смиренный, как бы подтверждающий, что ни за что она по лихой године не взыщет, ненадолго успокоил Пашуту: все должно получиться. Но уже у дверей, уходя, чтобы купить обивку для гроба и что-нибудь для завершающего дело стола, она опять ощутила нескончаемость и неподатливость своего вызова, который должен быть уложен в строгие рамки времени.

А ведь моросило. Не дождем еще, а мелким вязким бусом, налипающим на одежду. Все кругом

было затянуто угрюмой тяжелой завесью. Время обеденное, а дня уже нет.

* * *

В пятом часу постучал парень и, когда впустили его, коротко и угрюмо спросил:

— Сюда?

— Сюда, — ответила Пашута.

Ни он не знал их, ни они его, но никакой чужой человек прийти в эту квартиру не мог. Никто в Пашуте не нуждался, никто к ней давно уже не заходил, не пойдут и лихие люди, снаружи умеющие видеть, за какими дверями живет бедность и за какими богатство.

Это и был Серега, от Стаса Николаевича, — невысокий, широко и могуче сбитый, со щеткой усов, которые называют пшеничными. Невеселое предстояло ему дело, и всем своим видом он не скрывал, что «мобилизован», выглядывая из глубоко сидящих глаз с сочувствием и одновременно с досадой. Присесть отказался.

— Поедем, тетка, смотреть, куда что, — нетерпеливо сказал он. И в том, что назвал «теткой», как в автобусе или на базаре, тоже чувствовалось недовольство: день сорван, сорвана и ночь, а это значит, что завтрашнего дня тоже не будет. — Мо-

жет, света хоть немножко прихватим, — мрачно, в тон погоде добавил он.

А его уже и не было, света-то. Задернуло его низким сырым небом, забило все точащимся сеевом. В окне стоял полумрак. Размыто, как высокая гора, темнел лес за пустырем, куда предстояло ехать.

Пашута принялась торопливо одеваться. Танька из дверного проема в большую комнату смотрела на Серегу с испугом — как на вестника чего-то неземного, страшного. Ей жутко было остаться наедине с покойницей и жутко было напроситься поехать куда-то в надвигающуюся темноту вместе с этим суровым посланником происходящей вокруг неотвратимости. В полинявшей штормовке поверх свитера и разбитых кирзовых сапогах, плотный, сильный, Серега держался до того уверенно, прочно, что Пашута опять успокоилась. Она влезла в ту же куртку и те же сапоги, что и утром, других сапог для опухших ног у нее не было. Танька выслушала наказ сварить принесенное Пашутой мясо, а кроме того, сварить еще и кисель — беспрекословно, в этот момент и не понимая, что от нее требуется. Она бросилась к окну, когда вышли, и сквозь водянистый полумрак рассмотрела,

что садятся в зеленую «Ниву», которая тронулась сначала вправо, к соседнему микрорайону, но остановилась и принялась разворачиваться влево, к дороге, ведущей в аэропорт.

«Если ехать от микрорайона, с той стороны и в лесу еще могут шататься, — рассудила Пашута. — Лучше подняться от дороги, там от жилья далеко, там и в добрую погоду ходят меньше». Но кому в такую мокреть ходить? Что тут сейчас делать? Погода самая воровская, но для какого-то особого, как у нее, у Пашуты, воровства, от которого страдает не собственность чья-то, а сами человеческие устои. Против чего-то слишком серьезного и святого выступила Пашута; как знать, не держится ли сейчас, в эти минуты, всемогущий и справедливый совет: допустить ли, даже из милосердия, ее готовящееся покушение… На что покушение? — Пашута до сих пор не решалась додумать.

Они съехали с асфальта, как только сосняк справа из мелкого поднялся выше. Показывала, куда ехать, и сама не зная куда, Пашута. Оба микрорайона вокруг оврага лежали в сбившихся в кучу мелких дрожливых огнях. Пашуте хотелось, чтобы с места, которое они выберут, виден был ее дом. Она узнает его по трамплину, он

и сейчас изгибался над высоким берегом оврага как мостки, под которыми ходит, казалось, темная вода.

Но — если видеть дом, смотреть пришлось бы, откуда ни возьми, со свалки — так был захламлен, набит стеклом, завален банками и пакетами, зачернен кострищами, затоптан и загажен ближний к оврагу и городу лес. Надо отодвигаться дальше. Но отодвигаться так, чтобы не уехать. Иначе не достать потом Пашуте с ее неходячими ногами.

Выехали на полянку среди редколесья; Серега затормозил и первым вышел. Выбралась, уже видя, что нашли, и Пашута. Вокруг стояли сосны, а с темной, с северной стороны высоко и могуче вздымались из одного корневища, расходясь, как сиамские близнецы, на высоте человеческого роста две лиственницы. Других таких во всем лесу быть не могло. Будут стоять как сторожа над материнской могилой. Да, здесь разводить могилу, ничего другого можно не искать. Полянка небольшая, но, должно быть, веселая и приветливая при свете и солнце, в мягкой хвойной подстилке с негустой травой. Из города слабо промелькивали сквозь лес огни, но город оставался недалеко, и утробный гул его стоял

в воздухе. Но он слышен и на кладбище; для тех, кто переезжает туда, есть, кроме расстояния, еще одна защита. Будет она и здесь. Надо только поглубже ее сделать.

Серега сбросил с машины лопату и ломик, велел Пашуте оконтурить «работу». Он так и сказал — «работу», не прибегая к слову, которое не хотелось произносить. По городским огням Пашута сориентировалась, где восток и где запад, чтобы правильно развернуть могилу, и сделала надрез. Пока совсем не стемнело, Серега поехал вмять в землю напрямую к дороге след. Пашута слышала, как на обратном пути он метит деревья затесами, показывающими дорогу. Вернулся, отнял у нее лопату и заработал, как машина.

Стемнело до чуть сквозящей темноты и остановилось. Небо по-прежнему было глухо затянуто, по-прежнему моросило, уж не бусом, а мелким тихим дождиком, но различимый отсвет чего-то огромного, излучающегося сквозь любую преграду стоял над землей подобно свечению единой всечеловеческой жизни. Непогода пригасила электрическое зарево города, придавила многие и многие тысячи огней, взмелькивающих как-то сиротливо и обреченно, а этот неизвестный и глубокий подтай ночи загасить была не в со-

стоянии.

Продернуло сквозь лес холодным ветерком, шумнуло в соснах и стихло, через минуту опять.

Серега сгибался и разгибался, сгибался и разгибался, уже по пояс в яме. Ему приходилось капывать, и вел он углубление соступами, аккуратно складывая землю с левой от себя стороны. Почва оказалась слоеная, вслед за черной землей шла глина, в которую лопата входила вязко, но податливо, затем глина с песком, и зашуршало, зашуршало, стекая с холмика обратно, затем заскреблись камни. Серега выбрался за ломиком, осветил фонариком дно. Там лежал плитняк. Он снова спустился и пошел крушить плитняк ломиком, вымахивая удары мощными движениями. Плитняк поддавался лому, но не брался саперной лопатой. Серега стал выбрасывать его руками.

Ветер трогал все чаще и чаще, нахлестывая дождем. В соснах от дождя и от ветра шумело не переставая, и этот шум тоже был кстати, без него удары железа о камень раздавались бы далеко. Все было до везения кстати. Прятаться в машину, куда отправлял ее Серега, чтобы не мокла, Пашута не хотела. Почему-то надо было мокнуть и мерзнуть, но быть рядом с этой все углубляющейся прямоугольной ямой, присут-

ствовать при ее творении. Никаких чувств она не испытывала, а только присутствовала. Холодность, безразличие, равнодушие пугали ее все больше; она спрашивала себя, понимает ли, что это могила матери со стуком разверзается перед нею, бездна, которой мать будет поглощена навсегда, и казалось ей, что не понимает. Не хватало для этого ни ума, ни чувств, ни представлений, все укорачивалось, слабело, отмирало. Похоронит мать, и надо будет думать, как быть с собой.

Серега вылез и отряхнулся.

— Поехали, — сказал он.

— Мало, — решительно возразила Пашута и взяла у него фонарик, осветила. — Мало, парень.

— Знаю, что мало, — ответил он без раздражения. — Остальное потом. Сейчас надо ехать.

Спустились на асфальт, и он остановил машину, вышел, что-то примечая, затем для верности снял на бумажку цифру со спидометра. Работа примирила его с выпавшей ему ролью, и, мокрый, измазанный грязью, он повеселел, воодушевился, готов был разговаривать.

— Место мы с тобой хорошее выбрали…

— Хорошее, — согласилась Пашута.

— Вот думаю: не забронировать ли у тебя ря-

дышком? Не люблю толкотню, тоже на выселки не отказался бы.

— Тебе до этого далеко… — В машине с включенной печкой Пашута стала согреваться, нагрелись в ней и чувства, она говорила искренне. — Было бы кому передать свою волю, мне-то рядышком с матерью Бог велел.

Серега понял это по-своему:

— Припекло тебя?

— Припекло.

— А ты сопротивляйся.

— А я что делаю? Зачем ты мне землю долбил, если не сопротивляюсь?! Только как: одни сопротивляются — хочу жить. А я не хочу так жить, не умею. У меня ноги больные — на колени падать. И спина не гнется.

— Бабы должны быть нежные или такие, как ты, — сделал Серега вывод. — Можно пополам. А они вздорные пошли, дерганые.

— Сказать тебе, какие мужики пошли?

— Я знаю. Мужики пошли как танки — для выполнения боевого задания. Без мозгов. Кто заплатит, тот и стреляет из такого мужика.

Высаживая Пашуту возле дома, Серега предупредил:

— Я у Стаса сосну часок, потом приедем, если

у него готово.

…Танька спала, свернувшись клубком на кушетке. Мясо на электроплите уже и не варилось, а жарилось в выкипевшей кастрюле. До киселя дело не дошло. Девчонка уснула со страха, и взыскивать с нее было бы грешно. Не стала и Пашута возиться с киселем. Разве можно одним киселем обмануть отвергнутый порядок?! Столько было хлопот, что она не знала, за что взяться, но все это могли быть хлопоты из старой обрядности, а Пашута шла мимо, не заботясь о ней, поэтому можно было, казалось, ничего не делать.

Она только и смогла заставить себя почистить картошку. Мужиков, когда вернутся они из леса, надо накормить. Поминками это назвать нельзя, а накормить, налить рюмку надо. Картошка была мелкая, чистить ее приходилось, заперев и мысли, и сердце, уткнувшись в одно только это занятие. Мелкая — придется жарить в духовке. Кажется, это называется: картофель по-французски. Русское горе по-французски звучит красиво.

* * *

Стас с Серегой приехали только под утро. Первым прокрался Стас, постучал тихонько, и следом за ним, обхватив сбоку руками длинный прямой

предмет, обернутый в мешковину, поднялся Серега. Он подал этот предмет в дверь Стасу, тот принял и поставил стоймя к стене направо. Запахло деревом, смольем.

Чтобы не топотить, скинули сапоги, говорили вполголоса. Вдвоем — не загремело бы — развязали мешковину, скинули ее, цепляющуюся за углы, и приняли гроб на руки, почтительно держали его с двух концов, пока Пашута не подставила табуретки. И как только здесь же, в маленькой прихожей установили его, новенький, из свежей золотисто-янтарной сосновой доски, остро и сладко пахнущий, не просто скаляканный в четыре доски, а высокий и просторный, солнечный, к изголовью расходящийся, а в ногах поуже, с горбатой крышкой, да как только сняли эту крышку и открылась телоприимная обитель Аксиньи Егоровны — это было уже не изделие рук Стаса, над которым он провозился весь день, а нечто явившееся по высочайшей воле, огромное, важное, заполнившее не одну лишь квартиру, но весь дом. С незапамятных времен называют эту обитель человеческой бренности домовиной. Боковые ребристые стены ее, под углом расходящиеся, чтобы не тесно было в локтях и не давило грудь, и снова сдвинутые, шатровый

потолок, общая ее форма, «архитектура» — все внушало почтение и трепет, от всего замирало сердце.

Домовина для Аксиньи Егоровны была выстроена по первому разряду, ничего не скажешь. Грех обижаться. Но эту домовину нужно было еще выстелить теплом и убранством. Красный материал для обивки Пашута купила. Залезла в долг, истратилась, но материал был под стать гробу — праздничный и суровый. Им она и принялась выстилать ложе, закрепляя его кнопками. Стас помогал ей. Разговаривали шепотом. Серега попросил чаю, Пашута отправила его в кухню распоряжаться самому. Опоздали из-за него: он, заехав домой, уснул.

Ничего не умела, ничего не знала Пашута из обряда, на похороны ходила в провожающих, не заглядывая в правила. И сейчас она выстилала домовину по своему разумению: обила тряпкой ложе и крышу, под спину подложила легонькое стеганое одеяло — не из новых, под голову подушечку — как для сна.

И надо было торопиться, и не торопилось, движения сдерживались сами, отмеряя положенный ритм.

А много ли прибора? Пашута выпрямилась

и кивнула Стасу. Вдвоем, не отрывая от табуреток, они перенесли гроб, поставили его рядом с кроватью Аксиньи Егоровны. Подняли ее, подхватывая с двух сторон под спину, опустили в новую хоромину. Удобно легла Аксинья Егоровна, не тесно. Пашута поправила ей руки, платок на голове; вспомнив об иконке, сняла ее с этажерки и положила под руки.

Вот теперь дома. Теперь дома, Аксинья Егоровна, и вместе с домом поедем прибавлять земли. Поедем в истинные отчие пределы, где тебя заждались. Только это и выскреблось из сердца Пашуты, ворочающегося медленно, гулко, как из-под гнета.

Проснулась Танька и стояла в дверях, глядя на происходящее расширенными от ужаса глазами. Старенькая бабушка лежала лицом к ней, и так много за полминуты сказало ей это лицо в раме гроба, успокоенное, освещенное нездешним светом, обращенное к ней одной, что чувствительная душа девчонки опалилась. Не бездыханно лежала Аксинья Егоровна перед Танькой, а стояла, как и она, в раме выходной двери, обернувшись всем телом для прощания. Сколько потом придется пытать себя — всю жизнь! — чтобы понять то обосветное, что гово-

рилось ею.

Пашута укрыла мать сверху белым, аккуратно подоткнула со всех сторон, постояла с минуту и пошла собирать сумку. Стас с Серегой опустили на домовину крышку и вдавили наживленные гвозди. Все без стука, с редкими приглушенными словами. Наблюдая, как они обуваются, Танька вдруг поняла, что сейчас уйдут, уйдут все, вместе со старенькой бабушкой, и только ее собираются оставить здесь. Она закричала, не сдерживаясь:

— И я! И я! С вами! Вместе!

На нее зашикали, Танька испугалась еще больше, со стоном повторяя:

— И я! И я!

— Куда ее? — тяжелым шепотом спросила Пашута.

— Некуда, — пожал плечами Серега. — Заднее сиденье мы убрали.

Танька умоляюще смотрела на Стаса, чувствуя в нем главного. Вот что значит: нет лица — один страх, одни слезы, одна мольба. Стас сдался.

— Как-нибудь поместимся, — сказал он.

Собрались, приготовились. Насторожили Аксинью Егоровну ногами вперед. Зашли слева, подняли ее на длинных полотенечных жгутах, приобнимая гроб правыми руками, открыли

дверь, тронулись. Пашута придержала Таньку — пусть снесут — и встала у окна, чтобы видеть, когда выйдут. Все тайком, все как у татей.

На улице серело. В холодном предсветье было сыро, но без дождя. Похватывал порывами ветер. Пашуту усадили на переднее сиденье рядом с Серегой, Стас с Танькой устроились позади, рядом с Аксиньей Егоровной, домовина которой высовывалась наружу. Потянут в гору — начнет она скатываться… Но сейчас важно было скорей отъехать с глаз долой, укрепят потом. Скорей, скорей!..

«А ведь везет. Пока везет», — думала Пашута, уставившись в раскрывающуюся перед светом фар дорогу. И уже не ее — посторонней мыслью продолжилось: «Можно было все это среди бела дня делать. Никто бы внимания не обратил. Никто сейчас ничего не видит».

На выезде из города остановились, подвязали заднюю дверцу, накинули на гроб петлю из того же полотенечного материала, концы ее Стас намотал на руку. Танька с ужасом смотрела, как он садится на гроб верхом, точно взнуздав его, точно собираясь подстегивать. Но, должно быть, и Стас разобрался, что сидит он нехорошо, и встал на колени рядом.

Серега все-таки потерял сворот. Отметил, до метра отметил, сколько от него до подъезда Пашутиного дома, а обратно, включив скорость, память не включил. Остановился и раз, и другой, но в нечистой мешанине тьмы и света, угарных городских выбросов и морока след разглядеть было невозможно, а лес справа возвышался сплошной, глухо ворчащей под ветром стеной. Шепотом выругавшись, Серега решительно повернул назад.

Обратно поехала Аксинья Егоровна, должно быть, первая из покойников.

— Шесть километров четыреста метров, — мрачно, как пригрозил, уже громче объявил Серега.

Пашута не приняла разворот за дурной знак. Если все от начала до конца не так, то по нетаку и это так. Но светало, светало, над городом обозначилось небо. Она прикрыла глаза, прислушиваясь, как ездит в просторной домовине мать.

Через шесть километров четыреста метров от подъезда Серега остановился, сделал вперед шагов десять и красноречиво вскинул руки в сторону леса. Нашел. Теперь в гору, в гору… На вымокшем скользком подъеме натужно ревел мотор.

И били, били камень, теперь уже вдвоем, сменяя друг друга. Били кайлом и ломом, от могучих, на весь вынос сил, ударов Сереги сотрясалась полянка. Рассвело мутно, день опять обещал быть слепым. В соснах ходил гул ветра; накатывался с запада, где стояла тайга, и здесь, возле поляны, обрывался в пустоту, точно разбивался о берег, скатываясь слабым выдохом обратно. Снова вал и снова с отдачей назад и срываемыми с неба мелкими редкими брызгами.

Аксинью Егоровну оставили в машине одну. Танька ушла в лес, Пашута топталась возле мужиков, то подходя взглянуть, то отходя присесть на выбросанные из машины доски. Когда спускался вниз Серега, казалось, что осталось только подчистить, но вот он, вспотевший, взлохмаченный, с набившейся в усы землей, выбрасывал свое тело наверх, наступала очередь более высокого, едва не на голову, Стаса — и видно было: мало. Без огорожи, без догляда опустить следовало дальше. Сидя на коротких, сложенных одна на другую досках и глядя на торчащий из машины гроб, прислушиваясь к гулким размеренным ударам заостренного железа о камень, Пашута раз за разом забывалась до беспамятства от напряжения и двух подряд бессонных

ночей, с трудом приходила в себя, еще пытливей и еще тупей всматривалась в гроб, ждала, когда ее проберет стыд за неспособность к боли, и, не дождавшись, встряхиваясь от онемения, поднималась. Поднявшись в очередной раз, она заметила, что Стас удлиняет могилу новым надрезом в изножье, чтобы отступить от неподатливого огромного камня в изголовье. Просторной вышла для Аксиньи Егоровны домовина, но еще просторней выходила могила. А вокруг такой простор под солнцеходом, что лежи не тужи, такой перебор ветра в тяжелых тугих ветках, что днем и ночью будет звучать музыка.

Господи, как хорошо не видеть того, что делается на этой земле!

Пашуту подтолкнули: рядом с могилой на деревянных брусках, нарезанных для полатей, уже стояла домовина с Аксиньей Егоровной, ее открытое, успокоенное, сухое лицо было подставлено небу. На лицо падали снежинки. Они взволновали Пашуту больше, чем все происходившее здесь до сих пор. Она клохтнула неразборчиво и обрадованно, звуком, в котором смешались горечь и утешение, боль и порыв, опустилась перед матерью на колени, только для нее одной выдохнула «прости» и прикоснулась к холодно-

му твердому лбу поцелуем. Ткнулась и Танька в старенькую бабушку и отпрянула, не отводя оцепеневшего взгляда, попятилась.

Дали еще полежать Аксинье Егоровне под небом, с которого, набираясь, спадал снег. До чего кстати этот снег — словно всем им даровалось прощение за беззаконные действия. Словно высшая сила сникала над человеческой слабостью и своевольством. Ветер затихал, прохаживаясь остывающими порывами, небо белело, и лиственницы-близнецы, возвышающиеся над соснами, стояли в нем красиво и грозно.

Пашута пристально смотрела, как опускают гроб, как вытягивают из-под него веревки; беззвучный стон пронзил ее, когда Серега спрыгнул сверху на гроб и принялся наставлять стояки для полатей, которые ненадолго защитят тело Аксиньи Егоровны от каменного гнета. Днем, как она представляла, вместе с матерью и половина ее, Пашуты, отделится и уйдет в могилу. Что ушло, понять было нельзя. Но ушло, меньше ее стало, и стучащие о доски камни, осыпающийся, плотно закрывающий поры песок начинали давить и ее, она хватала ртом воздух, жадно подставляла лицо под снежинки.

Не похожи лицами были они с матерью, но Па-

шута сейчас видела только сходство. Дышала, дышала учащенно и жадно — и не хватало воздуха.

… — А что, — громко и облегченно говорил Серега, со стаканом водки в руке оглядывая оставляемый холмик. — Хоронят же при дорогах шоферов, когда погибают при исполнении обязанностей. Какая разница — где?! В ту же землю… Правда, Танька?

Танька торопливо закивала. В освещенных недетским прозрением глазах ее стояли слезы. Решительно вступала в свои права зима — снег шел густо, небесный свет его должен был проникать глубоко.

* * *

Зимой по богатому снегу Пашута не добрела бы до могилы. Добралась она до нее лишь по весне, когда в лесу еще томились снежные обтаи. Подковыляла к полянке и ахнула: по обе стороны от материнской могилы вздымались еще два холмика. Аксинья Егоровна лежала не одна. Такое славное сыскали место, что появились соседи. Но как и кто среди тучных снегов мог обнаружить ее последнюю обитель?

Удивление Пашуты было настолько велико,

что она не выдержала и отправилась к Стасу. Он вышел к ней мятый, с резко обострившимся лицом из тех, которые несут на себе весть, совсем больной.

— Заболел, что ли? — от порога спросила она.

— Вроде того, — ответил он.

Прошли опять в кухню. Стас принялся расчищать неприбранный стол, с бряком сваливая посуду в мойку. Все так же черно и коряво заглядывала в окно яблоня, все так же терзал ее ветер. В доме было прохладно и неуютно.

Пашута не стала тянуть.

— Стас Николаевич, не забыл, как за городом мать мою перед зимой хоронили? — спросила она, внимательно в него вглядываясь.

— Как же забыть?.. Не забыл…

— Я вчера пошла… и что нашла?.. Рядом с матерью еще две могилы. Целое кладбище. Целую нахаловку, выходит, мы тогда расчали…

Стас глухо сказал:

— Одна могила Серегина. Чья другая — не знаю.

— Как Серегина?! — ужаснулась Пашута. — Ты что говоришь, Стас Николаевич?

— Убили Серегу, после Нового года. Остался я без товарища. Я и подсказал туда свезти, к хоро-

шему человеку. Вместе веселей. И себя заказал туда же.

— Кто убил, почему?

— Он в органах работал, — с нарочитым покашливанием, чтобы не выдавал голос слабость, говорил Стас. — Внедрили его к бандитам в охрану. И сами же выдали на растерзание. Вот так, Пашута. Такая теперь жизнь и смерть.

Последние слова заставили Пашуту всмотреться в него еще внимательней. Не его это были слова, не его интонация, какая-то манерная, жалкая.

— Пьешь ты, что ли, Стас Николаевич? — спросила она.

— Пью, — признался он. — Пью, Пашута. — И, округлив рот, со шлепом бил изнутри по щекам языком.

Она не пожалела его:

— Сильных убивают, сильные спиваются… Кто же останется, Стас Николаевич?

— Кто-нибудь останется…

— Но кто? Ты знаешь их?

— Нет. Все, кого я знаю, не те.

— А где те?

— Я тебе скажу, чем они нас взяли, — не отвечая, взялся он рассуждать. — Подлостью,

бесстыдством, каинством. Против этого оружия нет. Нашли народ, который беззащитен против этого. Говорят, русский человек — хам. Да он крикун, дурак, у него средневековое хамство. А уж эти, которые пришли… Эти — профессора! Академики! Гуманисты! Гарварды! — Ничего страшней и законченней образованного уродства он не знал и обессиленно умолк. Молчала и она, испуганная этой вспышкой всегда спокойного, выдержанного человека.

Он добавил, пытаясь объяснить:

— Я алюминиевый завод вот этими руками строил. От начала до конца. А двое пройдох, двое то ли братьев, то ли сватьев под одной фамилией… И фамилия какая — Черные!.. Эти Черные взяли и хапом его закупили. Это действует, Пашута! Действует! Будто меня проглотили!

— Стас Николаевич, да ты оправдания себе ищешь… Не может того быть! Чтобы взяли… всех взяли! Ты же не веришь в это?

Стас улыбался и не отвечал. Странная и страшная это была улыбка — изломанно-скорбная, похожая на шрам, застывшая на лице человека с отпечатавшегося где-то глубоко в небе образа обманутого мира.

…На обратном пути Пашута заехала в храм. Впервые вошла одна под образа, с огромным трудом подняла руку для креста. Под сводами нового храма, выстроенного лет пять назад, в будний день и в час, свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. В высокое окно косым снопом било солнце, чисто разносилось восторженное ангельское пение — должно быть, в записи; истаивая на круглой медной подставе, горели свечи. Неумело Пашута попросила и для себя свечей, неумело возжгла их и поставила — две на помин души рабов Божьих Аксиньи и Сергея и одну во спасение души Стаса.

1995

Новая профессия

На работу Алеша Коренев собирается долго и с тем тщанием, с тем тревожным волнением и нетерпением, которые и должны сопровождать подготовку к делу нерядовому. Как только обозначается рабочий день, примерно раз в месяц, иногда чаще, иногда реже, а случается, что и два дня подряд, к Алеше подкрадывается сладкая и неопределенная истома; как перед встречей с женщиной, редко соглашающейся на свидания,

он невольно начинает холить себя и нежить, дает себе выспаться, книги читает спокойные, эпического и чистого письма, окунаясь то в «дворянские гнезда» с их теплой и возвышенной жизнью под просторным небом, то в размеренное и ленивое существование старых городов, настроен в такую пору, несмотря на волнение, приподнято, по утрам вскакивает с постели быстро и радостно, то и дело застает себя за мурлыканьем какого-нибудь лирического мотива, волны вдохновения наплескивают в сердце, и сами собой являются первые слова, которые он скажет и от которых заранее хмелеет. Только в эти дни накануне работы испытывает он что-то похожее на уважение к себе — на уважение, смешанное с удивлением; его, этот поднимающийся парок от более свободного и уверенного дыхания, который можно назвать уважением, не в состоянии испортить ни ирония, ни насмешки, полезные для здоровья, ни раз и навсегда выставленная своей личности нелестная оценка. Себя — такого, каким он бывает на работе, Алеша еще знает плохо, не понимает, откуда он, *такой*, взялся, ему не хочется разбираться, хорошо ли то, что он делает, и, доверяясь всякий раз приятному горению в себе, с каким входит в роль, оконча-

тельный разговор с собой вот уже несколько месяцев все оттягивает и оттягивает.

Живет Алеша в общежитии, в угловой комнате, темной, неряшливой и состарившейся до предела. Напротив входной из коридора двери единственное окно, большое, тусклое и заваленное влево, глядящее подслеповатыми стеклами во двор, грязный и замусоренный; справа от двери шкаф, громоздкий и стонущий на разные голоса, отзывающийся на каждый Алешин шаг; стоит шкаф на двух ножках и на двух подставках, одна из которых коробка с книгами, а вторая — поднятая на ребро шахматная доска. Шкафом отгорожен закуток, вмещающий тумбочку и низкую, провисшую до пола, лежанку. С левой стороны от двери металлическая, изъеденная бурыми пятнами раковина под краном, за нею двухконфорочная газовая плита, имеющая счастливый вид еще полезной вещи, подобранной со свалки, в углу сооружение, называвшееся когда-то трюмо, на котором родное зеркало отсутствует, а на прямоугольной фанерной спинке прикреплено посредине круглое, почти новое, которое глядит недовольно и от несчастной жизни искажает Алешины черты. В правый передний угол, где света больше, подоткнут наперекосяк такой же

громоздкий, как шкаф, стол с двумя тумбами для выдвижных ящиков; поперечной рейкой он поделен хозяином на две половины — на письменную и столовую. И комната, и меблировка в ней прошли жизнь такую долгую и суровую, что в потолок, в стены, в пол, в вещи она впечаталась навсегда. Горький и затхлый запах, запах курева и нездорового дыхания отсюда уже нельзя изгнать, печаль и тяжесть легли на все унылой пленкой. Въехав сюда два года назад, Алеша и побелил, и покрасил, и наклеил на прокопченные стены светленькие обои с нежным узором, на котором в ряды пузатеньких ваз заглядывают слева и справа изгибающиеся розовые цветочки, а уже через полгода все опять потемнело и утонуло в безысходной тоске.

В общежитии Алеша Коренев начинал свою городскую жизнь, приехав сюда восемнадцать лет назад, и общежитием, тем же самым, теперь продолжает ее. Ему тридцать пять лет, дважды был женат, поменял две квартиры. Он теперь уже не стал бы, как прежде, улыбаться снисходительно, если бы зашел разговор о том, что всякое имя, даваемое по святцам ли, или, казалось бы, наугад, из воздуха, не бывает случайным, а есть звуковой и образный оттиск личности, это имя

носящей. Вот и он: он мягок и чуток характером, на светлом лице, без азиатчинки скуластом, чуть вытянутом, все расчерчено правильно и все мужское, но без мужской продавленности и крепости черт, а подбородок, вздернутый и наплывший шишкой, уже и совсем не ставит под сомнение его мужественность. Имя его подходит даже к голосу — несильному, чистому и чувственному. Голос в его новых занятиях не последнее дело, им, то приспуская, то приподнимая, то заставляя трепетать, можно увлечь за собой слушателей куда угодно. Было время, когда после защиты диссертации называли его в лаборатории, где он недолго начальствовал, Алексеем Васильевичем, но почти у всех, даже у совсем молоденьких лаборанток, даже у студенток-первокурсниц, это полное имя выговаривалось с кокетливой веселостью и с одолжением, и он сам понимал, что по избытку ли чего-то в нем или по недостатку на полное имя он не тянет.

А теперь оно и вовсе ни к чему.

В торжественный день, называющийся у него рабочим, который, как правило, выпадает на выходные и праздники, приступает он к обязанностям далеко за полдень, часов в пять-шесть. Накануне, утомленный ожиданием, он бывает

рассеян и вял, все чувства в нем приспущены, мысли несобранны, все караулы спят, чтобы легче было проникнуть внутрь чему-то постороннему, хорошо его знающему, что способно завтра навести в нем безупречный порядок. После этого всласть отсыпается, а поднявшись, сделав вторую и решительную побудку крепким чаем, начинает чувствовать тревожное и приятное томление, уже знакомое по прежним таким же дням и всякий раз новое, всякий раз заполняющее его непостижимым огненным током. С удовольствием опуская и подталкивая за собой общежитскую дверь, чтобы она с силой, как первый удар гонга, хлопнула, он выходит на улицу, заставленную старыми деревянными домишками, сгорбленными и глазастыми, где обитают, кажется, одни только старики, все развлечение которых — смотреть в окна, зная едва не каждого прохожего. Автобусная остановка рядом. Алеша Коренев, сильнее обычного отмечающий каждый свой шаг, через десять минут садится в автобус и едет в центр.

Он еще не готов к работе, далеко не готов. В центре живут его друзья, муж и жена Сидейкины, Игорь и Ольга, неразлучные с первого курса в университете. Благодаря им Киевскую Русь

на физмате знали не хуже, чем на историческом факультете. У Сидейкиных в квартире Алеша держит некоторые свои вещи, которые не решается окунать в общежитский быт и дух. Там его уже ждут, он долго плещется в ванне, до боли и красноты натирая тело, бьет себя упругой и колкой душевой струей, вспоминая при этом общежитский душ в подвале на грязном и скользком цементном полу с цементными же лавками для одевания. Здесь его белье прошло сквозь стиральную машину, он одевается во все чистое, хрустящее и бодрящее, ощущая застывший запах утюга и терпкость можжевельника, который держат в гардеробе от моли. Квартира у Сидейкиных просторная, он находит место, чтобы отдохнуть, полностью уйдя в себя, покачивая себя, как в люльке, в блаженной истоме, затем, еще вялый, изнеженный, идет полюбоваться на трех дочерей Сидейкиных, когда они дома, девиц четырнадцати, десяти и восьми лет, черноволосых, глазастых и смешливых, остающихся всякий раз недовольными им, потому что он не может удовлетворить их любопытство к своей работе. Старшие, его друзья по университету, когда и они дома, стараются не обращать на него внимания, зная, что он здесь не робеет и занят собой, своими

приготовлениями.

Наконец он решительно поднимается, повязывает перед зеркалом в прихожей темно-красный, не слишком яркий галстук, натягивает холстинковый костюм из ткани, похожей на мелкую серую вязку, уже у дверей сует ноги в черные парадные туфли со шнуровкой и — готов! Подбадривая себя, он воздевает руки и громко возглашает:

— Только любовь спасет мир!

Хозяева смеются, девчонки повизгивают от досады, что опять он уходит, не рассказав ничего интересного, но, после того как за ним закрывается дверь, Ольга, крупнотелая, с розовым лицом хозяйка дома, плавающей походкой приближается к окну, чтобы видеть, с какой решимостью и обреченностью он вышагивает через улицу, и долго стоит, от жалости к нему знобко подергивая пухлыми плечами.

Алеша Коренев идет в сторону набережной, навстречу тому неминуемому, что будет сегодня, и постепенно успокаивается. Суббота, день неяркий и теплый, с утра было пасмурно, еще и час назад тучи сплошной песочно-серой наволокой закрывали небо, а теперь лишь остатки их ребристым раскрытым веером, упирающимся

в западный горизонт за рекой, заслоняют солнце и ало трепещут под ним. Тополя только-только опушились, зелень на них еще бледненькая и нежная, а в безветренном воздухе она мелко и порывисто вздрагивает, беззвучно и перебористо, листочек за листочком, от какого-то внутреннего волнения; воздух, напитанный молодой зеленью, нагретым камнем и близкой рекой, кажется вязким. Из университета, мимо которого идет Коренев, выпархивает стайка студенток, одна красивей другой, но ни одна из них не задерживает на нем взгляда; как-то быстро они затихают и деловито направляются в лабиринты города.

Алеша выходит на набережную, засаженную всем, что растет в этих краях, — сосной, лиственницей, березой, кедром, черемухой, рябиной, сиренью, шиповником… Река струится мощно и бесшумно, отливая чистой изумрудной зеленью. Выгибаясь и далеко выбрасывая из-за плеча снасть, хлещут воду рыбаки. Отсюда, из-за бетонного парапета, где собаки всех пород тянут за поводки людей, на рыбаков не обращают внимания, и только какой-нибудь заблудший в городе, тоскующий по сельской родине недоросль часами не сводит глаз с тянущейся из глубины

лески.

В последний раз Алеша был здесь в марте. Тогда было мокро и грязно от подсыпавшего снега, снег налип на сосновые и кедровые ветки и тяжело гнул их, освобождая по капле. Теперь стоит май… Но почему май «стоит»? Тысячи и тысячи раз подставляется это слово, и вдруг однажды в свежую минуту обнаруживается, что оно совсем некстати. Ни май, ни январь стоять не могут, время не бывает неподвижным. Если уж на то пошло — январь лежит, взбугриваясь снегами и отдыхиваясь вьюгами-метелями, но и лежит не в оцепенении, а медленно и валко перекатываясь в февраль. А март уж поднимается в рост и на затекших хмельных ногах расхаживает не спеша, заплетаясь и делая кругаля… Но май!.. Май, набрав крылья, уже плывет над землей, он невесом и воздушен, радостен и победен, юн и красив. Всему, что живет на земле, он дает токи, все преображает, волнует, пьянит. Нет ни молодца, ни старика, ни девицы, ни вдовицы, которые бы устояли перед его колдовством, собирающим их в какой-то общий хоровод и кружащий, кружащий…

В городах, где мало сеют да много жнут, стало принято теперь играть свадьбы в мае. То и дело

кавалькады машин, одна породистей другой, разукрашенных отнятыми у троек дугами, колокольцами и шелковыми разноцветными лентами, звенящими и трепещущими на ходу, да вдобавок и куклами, кричащими с лакированных капотов машин, что некому ими играть, — брачные эти кавалькады мчатся к Байкалу, с ревностью сталкиваясь со встречными «поездами» еще богаче, нарядней, длинней и породистей, мечутся по городу, разметывая по сторонам движение мещан, и, после того как на Байкале «побрызгают» из бутылок языческому богу Бурхану, поворачивают к православному храму на венчание. Весь чин требовательно просит батюшку ускорить «это дело», а во время обряда делают нетерпеливые знаки, не догадываясь, что до возложения венцов на головы брачующихся завершить венчание никак нельзя. Торопятся к главному — к столам.

Алеша Коренев взял себе за правило приходить к месту торжества до прибытия «поезда» и оставаться незамеченным, потерявшись среди обслуги и первых гостей. Чем гость незначительней, тем раньше он является. Сегодня место торжества — нижний ресторан «Интуриста» — дорогое, но рядовое, без выдумки. Выдумка теперь значит

многое, она стиль жизни, апофеоза, как говорят философы, витрина успеха, водружение знамени над рейхстагом. Выдумка в своих хитрых ходах и смелых решениях доходит до того, чтобы больше нечем на нее отозваться, кроме как с восхищением и завистью ахнуть. Алеше со скромным его стажем приходилось уже знавать свадьбы и в научной библиотеке, и в музыкальном театре, и на теплоходе, качающемся на байкальской волне, а слышал он, не будучи очевидцем, что гуляла свадьба и в самолете, в огромном «Ту-154», бравшем курс на Владивосток и обратно. Покорив все мыслимые вершины, утвердившие тщеславие и авторитет первых сердец, выдумка вдруг кинулась в низины: недавно один сказочно богатый нувориш (оказывается, это слово происходит от новоруса: нувориш — новорус — совсем рядом, а мы и не подозревали) с небывалым размахом громыхнул свадьбу своей дочери в рабочей столовой, непромытой, темной, пропахшей хлоркой и кислыми щами. На толстосумов это произвело столь сильное впечатление, что ничего затмевающего эту находку они пока еще не придумали.

У входа в ресторан Алеша покупает две белые розы и три красные, думая не о чистой и красивой жизни молодоженов, а о том, что розы

обошлись ему в недельный бюджет, а через час будут завалены коробками цветов, может быть, прямо из Голландии, и что они-то, эти голландские возы, один краше другого, и поедут ночью в апартаменты новой четы, а его помятые и полумертвые бутончики в лучшем случае подберет утром уборщица. Но… выглядывает, продравшись из-за туч, солнце и косым стрельчатым лучом озаряет его розы, и Алеша успокаивает себя тем, что заработать сегодня он может на месяц, да и просто неприлично являться на свадьбу с пустыми руками. Он встряхивается и выше задирает свой сразу приободрившийся букет, достает и показывает дюжему молодому дверо-начальнику в тесном темном костюме писанное золотом приглашение и без заминки, не обращая внимания на подозрительную оглядку стража, вступает внутрь.

Из прихожей, где раздевалка и зеркальная стена, по которым это помещение называется чепурильней, двери в ресторанный, приготовленный под торжество зал широко распахнуты, а лестница справа на второй этаж перекрыта. Алеше не надо ни дух переводить, ни охорашиваться, он сразу проходит в чрево события с накрытыми столами, замершее в ожидании, в котором гулко

цокают каблуки пробегающих официанток и пузырятся от сквозняка на высоких окнах тяжелые, еще зимние, голубые атласные шторы. Гостей немного, это, как всегда, ответственные за что-то, что-то достраивающие в избранном ритуале. Четверо из них хлопочут над мальчиком и девочкой лет десяти-двенадцати; мальчик с красивым писаным лицом под черными кудрями одет в оранжевый костюмчик по моде благополучного старшего поколения, а девочка, как юная невеста, — в голубой газ и белые туфельки, личико у нее живое, смышленое и плутоватое, и «не бойся, не бойся» ей, приплясывающей и крутящейся, говорят совершенно напрасно. Среди наставляющих выделяется энергичный, освобожденный глубоким декольте сиреневого платья голос поджарой черной дамы с узким, выдвинутым вперед лицом. Спорят, где поставить мальчика и девочку — перед дверями в зал или за дверями в зале? Но перед дверями будет тесно, решают, что лучше в зале. По знаку энергичной дамы в четыре руки бегом оттаскивают откуда-то справа два столика на гнутых ножках, совсем новых, пахнущих деревом, сияющих полировкой, устанавливают справа и слева от дверей, возле столов пристраивают мальчика и девочку,

ставят перед девочкой хрустальную корзиночку, а перед мальчиком хрустальное глубокое блюдо. И, уже с облегчением, смеясь и набираясь удали, опускают что-то со звоном в корзиночку, шелестят чем-то в блюде. Слышится первая мужская шутка из свадебного репертуара, слишком ранняя, чтобы быть смешной, но и ее принимают с милостивым хохотком.

Боковые столы сегодня не сдвинуты и стоят по отдельности, каждый на четыре персоны. Широко расставленные ромбовидные их ряды под белыми накрахмаленными скатертями, низко свисающими и топорщащимися, так и плывут торжественно в счастливую гавань. Завершием соединяющий боковые ряды главный стол, под новобрачных и их близкую родню, под дружков и предводителей торжества, как и положено, един и стоит на возвышении в две ступеньки, которое в обычную пору служит сценой. Сейчас что-то вроде сцены в виде круга установлено меж рядами, но неудачно — как ни встань, к кому-нибудь окажешься спиной. Словом, если смотреть от подножия застолья, от кухни, откуда появляются официанты, оно напоминает высокую букву П с резными фигурными боковинами и нахлобученной на них верхней цельной пере-

кладиной, а внутри П какая-то странная шишка.

Предусмотрены и два широких прилавка за спинами мальчика и девочки — для неформатных подарков. Они еще пусты, их будут заваливать позже, а пока Алеша, подвернув край бордового застила, устраивается на одном из них, на том, который ближе к главному столу и где пока безлюдно. Он все еще не потерял интереса к некоторым свадебным подробностям и привык замечать, что дарят и как меняется ассортимент подарков, хотя и знает — будет все то же, вся та же бедность роскоши. Исключения и сюрпризы редки. Сделалось обычаем находить среди родственников мальчика и девочку, наряжать их херувимчиками и приставлять к двум хрусталям или подносам — один под золото и другой под доллары. Обычаем сделалось преподносить всякую закружившую человеческую голову технику: от компьютера до кухонного комбайна и от кухонного комбайна до сотового телефона или телевизионного дверного глазка. Бедные изобретательней. Ключи от квартиры и машины теперь не дарят, то и другое приобретается собственным вкусом. Но в тот памятный случай из прошлого лета, когда свадьба плавала по Байкалу, один подарок — само плаванье, — как пасхальное

шоколадное яйцо, внутри которого спрятана игрушка, содержал другой, не менее блестящий: посреди волны к теплоходу вдруг приблизился катер свежей оснастки типа «Ярославца», и с него в мегафон прокричали, чтобы жених принимал «борт» в свою собственность. Это было, как говорят теперь дети, «не слабо». Но вспоминать о такой свадьбе Алеше не хочется. С сюрпризами там все-таки перебрали, и кончилось все печально. После того как теплоход в обнимку с катером причалили к берегу и свадьба высыпала на камни, а Алеша рассмотрел, что почему-то нет в ней ни родителей жениха и невесты, ни дедушек с тетушками, началось что-то невообразимое. Одни плескались в воде сначала голышом, потом в одежде и там же, в воде, закусывали с тарелок, другие ползли по каменистому откосу с редкими кустами вверх на скалы, третьи обкладывали друг друга на берегу камнями, чтобы торчали только головы… И все это визжало и вопило, но уже не «горько» и не «сладко», а что-то беспорядочное и беспамятное. Через час после причаливания жених, мертвецки пьяный, спал на обретенной им «посудине», а покинутой невесте, пристроившейся под кустом, долго заснуть не давали и путали ее то с одной подружкой, то

с другой…

Говорить о любви тут было некому, и Алеша сбежал от этого бедлама. Всю ночь шел он по шпалам к переправе. Вот это вспоминается с радостью и даже гордостью — тем, что присутствовал, видел. Он, точно от ада, был отведен и перенесен в рай. Дорога тянулась по краю широкой излуки, километров в десять-пятнадцать, с высокими, темно-синими в июльских сумерках берегами, от поспевших трав поднималось душистое тепло, тепло же стекало и с нагретого за солнечный день камня, то и дело встающего слева стеной, а в Байкале спокойной была вода, спокойным было и дыхание его, чуть трогающее свежестью. Но тронет тихой воздушной волной и откатит, и уж с другого бока ответный легкий порыв. Так и шел в первые часы Алеша: с правой щеки потеребливает прохладцей, с левой ласкает теплом.

Стемнело поздно, к полуночи, но стемнело только в закрадках, в которые опускалась или отворачивала дорога, жгуче темно и прохладно было в тоннелях, частых и коротких, как каменные бусины на низке… А Байкал в остывающем, меркнущем свете все больше погружался не во мрак, а в сияние. Алеша шел, и огромное водное

полотно справа, стоящее от переполненности горкой, «перелистывало» цвета: только что было оранжевым и бликующим, играющим с зарей, затем фиолетовым, кладущим длинные мутные тени, затем изумрудным, с самоцветными вспышками, и становилось все глубже, все ярче. Уже весь исполинский небосвод, разбрызгивая и трепеща, лежал внизу, уже тысячи дрожливых и коротких огненных дорожек торились там, уже однобокая луна в нижней бездне была полней и полыхала, полыхала искрами, а дальние горы, опрокидываясь, давали таинственные очертания. А надо всем этим нескончаемая музыка — и от ласкового чмока воды о камни, и от небесной натуги, и от слабого потрескивания горящих звездочек, и от неслышного трепетания трав и листьев. И от немой песни камня, в эту пору кого-то зовущего, точно тихо и сладко играли рядом склянки.

Когда дорога поворачивала к берегу слишком близко, Алеша садился на рельс и смотрел, смотрел, уже не видя, не различая ничего, а только всеми порами открывшись, как губка, и натекая, томясь творящимся преображением. И чудилось ему, что душа, по-матерински убаюкав его и не притворив дверей, чтобы при первом же зове

вернуться, где-то чистится рядом, освобождаясь от всего чужого и низкого, что он неосторожно занес в нее; и чудилось, что и прежде повторялось в нем это чувство не однажды, что он древний, вечный человек…

Жизнь научила Алешу Коренева, что принимать за счастье; в ту ночь, растворившись в байкальской игре и неге, где воедино и мощно сошлись земное и небесное, он был счастлив. Что все написанные книги, что все своды мудрости пред этой несказанностью присутствия там, где он был! И что все богатства, все победы, все измышления ума! Ликуя, кувыркаясь, подныривая верхним под нижнее, играл перед ним мир, ликованием своим обжигал Алешу — и так хорошо было, точно свечке под огнем, истаивать под этим всеобъемлющим праздничным сиянием, так хорошо было чувствовать свою неотрывность, вместе с камнями и водой, от всего, от всего, что окружало его и было звано на это великолепное зрелище! И хорошо было думать, что, чем бы ни стал он после жизни мирской, во что бы ни превратился, он не потеряет счастья в том же товариществе видеть все это снова; и хорошо было додумываться даже до такого внушения, что потом-то он и станет значить

в этом мире неизмеримо больше, что если теперь самой крохотной песчинкой он входит в мир среди мириад подобных же песчинок, то потом, после этой жизни, в жизни другой, весь огромный мир легко сможет поместиться в нем одном, ибо тогда-то он и станет миром больше видимого мира. Что-то новое вошло в Алешу, что-то, чего в нем не было. И когда ранним утром в серых туманных сумерках подошел он к поселку, откуда отправлялся паром, и, пройдя поселок из конца в конец, не встретил ни одного человека и ни один звук не окликнул его, показалось Алеше, что его все еще нет, должно быть, нельзя ни видеть и ни слышать, что, как в физической жизни происходит обмен веществ, произошел в нем обмен чего-то незнаемого.

Следующую свадьбу после этого он провел так вдохновенно, что все огромное и богатое застолье онемело, а невеста расплакалась и уткнулась в плечо жениху. На него смотрели как на иноземца, привезшего новые слова. В кругах, где все новое и необычное ловят на лету, о нем прошел слух. Пришлось давать телефон Сидейкиных, а сидейкинских девчонок просить записывать заказы. «Что, свадьба?! Тебя, дядя Алеша, зовут на все свадьбы, без тебя никак! Ты расскажи!..»

Пришлось рассказывать и, конечно, выдумывать, чтобы каждая невеста была феей, а каждый жених принцем.

— Ты что им головы морочишь? — послушав, растерянно сказал Игорь, отец девчонок, высокий тренированный крепыш Алешиных лет, работающий в университете на американском факультете. — Ты их, златоуст дырявый, без женихов оставишь! Они будут твоих женихов искать, а где их теперь взять? Ты там ври, где тебе не верят!

Алеша ответил, он думал об этом:

— Если меня они, на ком клейма негде ставить, если они зовут, значит, Игорь, и они теперешней атмосферой давятся, значит, им кислородная подушка нужна. Хоть в редкие, хоть в святые дни, да нужна. А что я еще там вижу, твои девчонки успеют узнать.

Он жалел Ольгу с Игорем: не позавидуешь родителям, у которых на подросте три невесты.

Приехали. Зал, в который набралось уже десятка четыре гостей, переминающихся группами и заглядывающих в окна, вдруг тряхнуло и накренило — все бросились в прихожую, загалдели, заговорили отрывисто, завскрикивали восхищенно, но, перебивая этот горячий голосовой

клубок, раздался твердый мужской речитатив, провозглашающий здравицу при встрече новобрачных. Ресторанный зал на несколько минут опустел, только мальчик и девочка, вытягивая шеи, стояли на посту у хрустальных чаш, девочка нервно подпрыгивала. Алеша Коренев тоже заглянул в прихожую, но оттуда уже выдавливало крайних обратно в зал, там над головами плыли цветы и сыпалось конфетти. Из прихожей был ход во внутренние службы, туда и увели жениха с невестой, чтобы после машины они могли отдышаться.

Вот теперь на пять минут перед мальчиком и девочкой собирается очередь, все еще шумная, порывистая, похлопывающая и чмокающая друг друга, из очереди церемонно и медленно вытягиваются руки и опускаются то влево, то вправо с наклоном, как при книксене, несут коробки в цветной бумаге с ленточными бантами, раздается и захлебывается резкий музыкальный вскрик, продолжения ему долго нет, а затем льется что-то нежное и идиллическое. Появляются официанты в алых жилетках поверх белоснежных рубашек с черными бабочками, они катят приставные столики с закусками и ловко, в едином наклоне, стопорят их у боковых рядов.

Алеша опытным глазом присматривается к приглашенным: свадьба собирается богатая, но, по неуловимым признакам, не склонная показывать свое богатство. Тут цвет какого-то нового общества, еще не устоявшегося, еще кипящего в водовороте отбора, еще в этом водовороте не выработались окончательные правила, говорящие «да» и «нет», но уже вознесенного на гребень успеха. Почти все знакомы и все держатся на равных, но как бы знают какую-то тревожную тайну, которая свела их вместе и никак не может освободить от беспокойства.

Странно: никого из них Алеша не знает. Никого из них он не видел. Он живет в этом городе около двадцати лет, ходит по улицам, заглядывает в телевизор, еще не в столь отдаленные времена и сам был не из последних. Многие из его приятелей пошли далеко, кроме того, городская верхушка, управляющая и стоящая в очереди за властью, всегда на виду — эти же точно с луны свалились целым десантом и сразу взяли свое положение. Вчера их еще не было, и неизвестно, будут ли завтра, но сегодня вот они, здесь, никто из них не решится отказаться от приглашения, чтобы не вызвать к себе подозрительности и не накликать напротив своей фамилии галочку, по-

хожую на курок, который, если он даже никогда не будет спущен, всегда будет взведен.

Тут много молодых, лет до тридцати, коротко знакомых. Но «коротко» — не близко, а недавно. Так же «коротко» они здороваются, не вкладывая чувства в приветствие, «коротко» перебрасываются фразами. И кружат, кружат, то отзываются на сигналы сотовых телефонов, то в задумчивости, требующей движения. Молодые женщины затаены, если они при мужьях, или громки и навязчивы, те и другие блистают драгоценностями, в которых только они и разбираются. Стайка девиц, по всей видимости, подруг невесты, показывают длинные ноги и дисциплинированные, еще не вздыбившиеся груди и держатся особняком, с прелестным любопытством шушукаясь и наблюдая за передвижением фигур.

Средний возраст чувствует себя уверенней, среди него заводятся разговоры и слышится сытый смех, дамы без подозрительности изучают костюмы одна другой и добродушно нахваливают, имея такт не удивляться вслух драгоценностям. Но и здесь, если присмотреться внимательней, ни голоса, ни натуры не отдаются полной воле; конечно, воспитанность никогда этого и не позволит, тем более на подступах к застолью,

но тут не воспитанность высматривается первой причиной, а какая-то удручающая неполнота, точно они недавно только узнали, что для важного проходного балла куда-то им недостает двух или трех сантиметров удачи.

Голоса все гуще и плотней, гости все чаще задирают головы, высматривая начало. Но, взглянув на часы, Алеша Коренев убеждается, что задержка ничтожная, всего в пять-семь минут, а свадьбы из какого-то неписаного суеверия никогда в назначенный час не начинаются. Наконец кто-то решает, что пора, в отдалении, за прихожей, раздается заливистый, захлебывающийся звон, он приближается, ликующе бьет мелкими толчками, и в зал вбегают мальчик и девочка, поменявшие хрустальные чаши на хрустальные колокольчики, и наяривают в них что есть мочи. Им не успевают дать проход, они тычутся в большие и неповоротливые фигуры, вырываются к столам и обегают их, словно разбрызгивая благословение. Как только звон стихает — в зал вступают жених и невеста, перед ними сам собой образуется коридор, слышатся восклицания, аплодисменты, к невесте бросаются подруги для поцелуев, но жених не дает ей отвлечься и вслед за порхающим сбоку рас-

порядителем в белом костюме ведет к столу. С опозданием гремит что-то вроде свадебного марша, звучного и полетного, как на тройке с бубенчиковыми переборами. Его заглушает грохот стульев при рассаживании и те бодрые, ничего не значащие слова, которые невольно срываются при повороте застоявшегося дела.

Алеша видит, что свадьбе не быть игровой, проходящей по обряду. Может, это и к лучшему. Когда в ресторане с черными шишковатыми стенами из какой-то вулканической породы и общим холодно-пренебрежительным видом начинают прятать невесту и требовать за нее выкуп, когда подружки невесты фальшиво и завистливо голосят над судьбой пропащей головушки, зыркая по сторонам ведьминими накрашенными глазами, когда дружки жениха с кривыми ухмылками делают деревянные два притопа, три прихлопа — все это похоже на балаган и шутовство. Для цельного, для сочного обряда нужна деревня, простор, живые лица, нестесненные души — чтоб распахнуться так распахнуться! Но не быть сегодняшней свадьбе и гулевой до распущенности и беспамятства, до куража и безобразия — не тот народ. Все тут будет в меру, все как положено. И сама свадьба

играется — потому что положено тряхнуть событием, а заодно и карманом. Но тряхнуть осторожно, без перебора, чтобы событие не выплеснулось за края.

Волнение пощипывает Алешу, в голове неразборчивый, не выстроенный в порядок гул. Ничего, ему вступать в свою роль еще не скоро, а одна-две рюмки коньяку успокоят его и придадут смелости. Он уже не сомневается, что на этот раз его выдадут за родственника невесты, за молодого дядю или троюродного брата — этого никто никогда не замечает.

Жених редкостно, приметно белобрыс, и если бы Алеша хоть раз его встретил, он бы его не забыл. Белые волосы на большой голове, белое лицо, широкое и тяжелое книзу, совсем белые брови над мелкими серыми глазами. Прекрасно сшитый двубортный костюм от какого-нибудь итальянского Марко еще больше оттеняет дымную белизну лица с проступившей дряблостью. Он молод, ему нет еще, должно быть, тридцати, но чувствуется, что опыта и уверенности в нем больше, чем лет, и смотрит он без смущения. Смотрит он самоуверенно и устало, точно на это событие и не хватает ему сил. Невеста совсем юна, ее белое и легкое подвенечное платье, си-

яющее чистотой и новизной, словно не шито, не надето, а столь же нагое, как тело, и есть продолжение тела. Она испугана той торжественной казнью, которая предстоит ей при стечении огромного числа людей, собравшихся требовать ее публичных мук, на ней нет лица, а лицо было прехорошенькое и полудикое, в котором славянская томность сошлась с азиатской дерзостью. Но в непогоду срывай плод прежде, чем он обвис, и под большими, часто моргающими глазами невесты тень, выдающая, что из нее уже испили любовь не вприглядку.

— Господа! Господа! — пытается начать тот, кто должен быть дружкой, а здесь он что-то вроде предводителя свадьбы, и по голосу Алеша узнает, что с ним он и разговаривал по телефону, ему и обязан своим присутствием здесь. Вспоминает он и его фамилию — Сокольский. Это высокий лощеный господин с аккуратно подстриженной окладистой бородой и сияющими глазами. Сокольский вынужден прерваться, ему показывают, что официанты еще не успели разлить напитки. — Господа! Господа! — снова всплескивает он приятным влажным голосом, но тут ему, сидящему слева от жениха, что-то говорит жених, и Сокольский, прислушиваясь, во второй раз

вынужден присесть. — Господа! — Наконец он поднимается решительно и бесповоротно. — Господа! Я прежде всего хотел бы огласить радость, которую каждый из нас здесь испытывает. Я хотел бы прежде поздравить вас, еще до нашего общего поздравления, которое будет обращено к виновникам торжества… хотел бы, вопреки традиции, поздравить гостей с честью находиться здесь и присутствовать при событии, которого никогда не было и не будет. Да, утверждаю: не было и не будет. На свете случались миллионы, миллиарды свадеб, человек тем и отличается от животного, что он сознает важность этого акта… скажем так: бракосочетательного акта. Были и канули в вечность миллионы и миллиарды свадеб, но никогда еще не бывало… я хочу сказать, что все эти миллионы и миллиарды за тысячи лет были только приготовлением к событию, которому мы сейчас свидетели. Все прошлое на земле было только для того, чтобы встретились наконец они, — Сокольский торжественно поднимает руку и устремляет ее к жениху и невесте, — чтобы встретились наш друг Георгий, по имени победитель, и наша красавица Елена, по имени царица. Звезды на небе сошлись наконец так, чтобы это произошло.

Мы не можем, не в состоянии преувеличить значение этого события. Оно величественно и великолепно. Ура, господа! Всякое дело требует ухаживания — поухаживаем же за нашей общей радостью! Ура — шампанским!

— Ура-а-а! — гремит в полтораста глоток, в тон высоко взятой ноте, поднимаясь и вызванивая гимн.

Алеша сидит за первым левым столиком вблизи той половины общего стола, которая занята невестиной родней. Рядом с невестой мать, женщина моложавая, но блеклая, с лицом учительницы, строгим, усталым и беспомощным; она сидит потупившись, так же как дочь, по внутреннему окрику вскидывает голову, с натянутой улыбкой смотрит на огромный зал, полный чужих людей, затем искоса смотрит на дочь, закаменевшую, ставшую вдруг чужой, уходящую с этого вечера неведомо куда, и с жалостью прислоняется к ней. Отец невесты с лицом простоватым и устроенным весело, неунывно, напротив, радостно и быстро перебирает масленистыми, уже пьяненькими глазами и восторженно крутит головой с вдавленной на волосах полоской от кепки или шляпы. Можно не сомневаться, что он-то своим недюжинным интересом к жиз-

ни и утомил жену и прежде времени подвел ее к старости.

Столик Алеши «служебный». Он не сразу догадывается об этом, обычно его устраивают где-нибудь с краешку за главным столом, чтобы придать родственное положение, или уж среди гостей. Но сегодня два соседа Алеши явно гости особого назначения, которого они не скрывают: плотные фигуры в сажень в плечах, чесучовые пиджаки с одного прилавка, спокойная напряженность, выдаваемая лишь взглядами в одну и ту же сторону, куда-то поверх голов вправо. У них никак не получается, чтобы один взглянул, а спустя десять или двадцать секунд взглянул второй, — нет, головы поворачиваются одновременно, с секундным опозданием. Четвертое место за столиком занято молодою женщиной, маленькой и хрупкой, заметной только достоинством, с каким она себя держит. Над бдением гвардейцев она посмеивается не улыбкой, а принимающимися лучиться глазами, когда она откидывается на спинку тяжелого стула и приподнимаются под черной кружевной кофточкой горки грудей.

«Господи!! — думает Алеша. — До чего мы все совсем еще недавно были просты и до чего зага-

дочными сделались теперь!»

Приподнимается предводитель.

— Господа! — начинает он свой разбег. — Господа! — Но взлететь на высоту красноречия ему не дают, кто-то кричит басисто:

— Ну чего ты, Сокольский?! Ложка в рот не лезет. Все пересолено, все переперчено. Кто заказывал эту кухню? Так не пойдет.

— Рано, — возражает Сокольский. — Что вы сразу быка за рога?

— Такого быка и надо сразу за рога. Чего тянуть? Горька-а!

И все-таки рано: подхватывают недружно.

Сокольский разводит руками, склоняется к жениху с невестой:

— Мне ничего не остается, как призвать вас к исполнению воли народной…

Жених непринужденно поднимается, помогает подняться невесте, осторожно приобнимает ее сзади и чмокает в полумертвые холодные губы. Когда невеста опускается, ее приобнимает с другой стороны мать.

— От вашего воздушного поцелуя слаще не стало, — басит тот же голос. — Безобразие!

«А ведь скоро свадеб не будет, — думает Алеша. — Не будет свадеб в их лирической красоте

и торжественности, когда не дяди кричат, а хор ведет от действия к действию, от поворота к повороту. Они и теперь редки. Все превращается в чахохбили…» Почему в чахохбили, он не знает и улыбается над собой.

Потом наклоняется к соседке и спрашивает, понимая, что не с этого следовало начинать знакомство:

— Вам уже кричали «горько»?

— Нет, — отвечает она без кокетства неожиданно струйным, переливающимся голосом. — Я этого не заслужила. А вам кричали?

— Тоже нет.

В первый раз Алеша Коренев женился еще в университете, женой его стала студентка на курс младше его с филологического факультета, девушка очень начитанная и красивая какой-то томной, загадочной красотой, которая могла превращаться, как выяснилось позже, в слепое и отсутствующее выражение. Она всегда была спокойна и чуть флегматична, говорила неторопливо и правильно, без обычных для большинства возвратов, чтобы пояснить мысль, глядела пристально и завораживающе. Эта способность завораживать была у нее природной, она смотрела так, как Бог устроил — без наро-

читости и вопросительности, с мистической и требовательной мягкостью, под которой тебе становилось неловко, словно ты не весь здесь, перед нею, и что-то важное скрыл. Казалось, что и скрыл-то не худшее, а лучшее. Это и озадачивало, и пугало, и тянуло. В читальном зале научной библиотеки каждый завсегдатай привязывался к одному и тому же месту, и Алеша больше месяца придвигался к ней, сидящей у окна, всякими хитроумными способами отодвигая всех, кто оказывался на пути. Когда это удалось и он победно шлепнулся рядом, она взглянула на него с печальной снисходительностью, будто знала каждый шаг его приближения и говорила, что цель привлекательней, когда она вдали. «Ну вот теперь мое место здесь, — сказал он тоном, засталбливающим золотую жилу, и, не дождавшись ответа, продолжал: — Я бы на вашем месте сказал: «Не упадите»...» — «Да падайте, — дружелюбно засмеялась она. — Не жалко». — «А вы знаете, меня хоронить будут с почестями». — «Конечно, вас похоронят вместе», — нашлась она и каким-то образом сумела накрыть свое лицо печалью.

Его известность в университете на последнем курсе была не спортивной и не музыкальной:

за год до того в научных трудах была опубликована статья за подписью студента физмата и профессора-специалиста по теоретической физике по теме, в которой, оказалось, рылись военные. Когда имена профессора и студента стоят рядом, студента невольно ставят на первое место, и слух об Алеше, как о будущей звезде, разошелся по всему университету. Его подогрела заявка на Алексея Коренева в закрытый «ящик» при распределении. Из полутора тысяч ежегодных выпускников 1490 выходят в общие ворота, и только за десятью ненормальными, протирающими до дыр лучшую пору молодости в библиотеках и лабораториях, охотятся заранее и уводят через особые калитки.

Но в «ящик» Алеше поехать не пришлось. Жена, та самая девушка, к которой он продирался в читальном зале сквозь вереницу в шахматном порядке уткнувшихся в книги фигур, не захотела, чтобы его и ее спрятали в золотую клетку. Он пошел в лабораторию, от месяца к месяцу все ярче сияя своим именем, через полтора года у них родился сын, а через два они получили трехкомнатную квартиру в новом доме улучшенной планировки в центре города. К тому времени, защитив диссертацию и став завлабом,

он взлетел на первую высоту, его приглашали на конференции, на конференциях дважды делали заманчивые предложения, но надо было покидать город, уже обжитый, уже привечающий его, и он не решился.

Жену звали странно — Дагмара, что-то не то скандинавское, не то цыганское. Подтрунивая над ним, она говорила, красиво откидывая голову: «Ты так же прост, как твое имя, — и как я раньше не обратила на это внимания? Знаешь ли ты, что человек рождается с именем, вернее, он рождается под имя, которое само нашептывает себя?» С этим Алеша готов был согласиться, демоническое в ней, звучащее и в имени, прорывалось часто. Да, свадьбу они не играли и «горько» им не кричали, она не захотела свадьбы, на которой настаивали ее родители, любившие Алешу. Теперь ему кажется, что она с самого начала не верила в прочность их брака и поостерегалась свадьбой, как завязываемой при рождении пуповиной, закреплять надежность их общей жизни.

Они прожили вместе семь лет. И то много. Прожили мирно, с редкими и безгрозовыми ссорами, не оставляющими ран на сердце, прожили ровно. Алеша любил жену и продолжает, несмотря

на недоумение, что же это было между ними, любить до сих пор. С первого дня она была чуть снисходительна к нему, чуть капризна, чуть лукава, но совсем незаметно, горячилась до искр, ничего не делала до самозабвения и, бывая игривой, покладистой, ни с того ни с сего вдруг усмехалась над собой и возвращалась в себя, принималась смотреть на Алешу, приоткрыв губы от внимания, длинным тревожным взглядом, точно измеряя снова и снова. Нисколько не желая обидеть его, а только из неумения держать в себе то, что просилось наружу, однажды сказала: «Мужчина должен быть грубым и сильным, как зверь, у него должно быть имя Трувор или Рюрик». — «Уж не хочешь ли ты, чтоб тебя поколачивали?» — в недоумении спросил Алеша. И нельзя было понять, соглашается ли она, когда отвечала с затаенным, обращенным в себя смешком: «Хочу, чтоб от меня пух и перья летели!» Мягкость его она принимала, должно быть, за слабость, самоуглубленность — за неуверенность; теперь, оказавшись в своем пиковом положении и зарабатывая на хлеб занятием явно не мужского происхождения, Алеше невольно приходится соглашаться, что не так уж его Дагмара была и не права. Прочность человека проверяется, в конце

концов, на дыбе, а не в спокойной обстановке. Он в чувстве своем уходил в нее без остатка, она и в любви была раздвоенной и снисходительной. Эта заметная несоразмерность и раздражала, и пугала Алешу, но он замечал, что от нее страдает и она и что дело не в разных темпераментах, не в разных чувственных фигурах, а в каком-то дальнем, глубинном несходстве, уходящем в неизвестно какие дебри.

Потому Алеша не удивился, когда Дагмара коротко и спокойно сказала, что им надо бы разойтись. И добиваться разъяснений не стал. Правда, неприятно было то, что пришелся их развод на ту пору, когда делилось и разрушалось все — государство, земля, вера, история, законы и взгляды. Оказывалось, таким образом, что и семья их попадала под те же общие развалы, свалившие полмира, и можно не искать виноватых внутри семьи. Да и что толку искать? Все рушилось и разбегалось, все. Рожденные под разными звездами пришли в неистовство друг против друга, когда заканчивающееся тысячелетие неосторожно показало начало тысячелетия нового, и общая тревога обуяла всех, кто волею судеб оказался под этими роковыми знаками.

Они разменяли квартиру, Алеше досталась

однокомнатная за плотиной. В то же время Алешину лабораторию закрыли, и он остался без работы. От двух крушений кряду он растерялся, пошел в один научный институт, в другой, третий, все они еще недавно сманивали Алешу к себе, и все теперь беспомощно разводили руками. В четвертый из милости взяли, но заниматься там пришлось не своим делом, и работал он без души, в постоянном оцепенении, по вечерам пытаясь читать, подолгу вспоминал, был сегодня на работе или нет, и без сожаления попал под вал сокращений. Все шло неумолимым своим ходом, меняющим местами великое и низкое.

Так же пошло и дальше.

Во второй своей женитьбе винить, кроме себя, Алеше было некого. Ни ход звезд, ни ход чисел до столь ничтожного и миллионы раз происходившего во все времена случая опускаться не стали. Однажды его застала наедине с собой в постели низенькая, с резиновым упругим телом девица с гортанным голосом и принялась этим голосом выговаривать, что это он себе позволяет, а уже через пять минут напевать веселую и пошлую песенку. Потом застала там же, в его квартире, во второй раз, в третий, в пятый, сочла, что это неудобство терпеть дальше нельзя, и доставила

чемоданчик. Алеша ахнуть не успел, как на него медведь насел. Не лучше, не легче медведя. Эта неказистая женщина, ходившая нараскоряку, выворачивая носки, играющая при ходьбе пухлыми ягодицами, в которой не водилось ни ума, ни обаяния, ни нежности даже по забывчивости, а одно только упорство, — женщина эта была до того проста и откровенна, что надо было не потерять голову, как говорят в тех случаях, когда происходит затмение от любви, а не иметь головы вовсе, заложить ее в ломбард или по рассеянности где-то забыть, чтобы не разгадать ее с первого же взгляда. С налитым бесстрастным телом, не пропускающим женского электричества, без чувственных изгибов и тех переливов, от которых замирает беспамятно сердце, с прямыми плечами и короткими ногами, сделанная уж очень беззатейливо и устало — и это после Дагмары! — она ничуть и не заботилась исправлять в себе ничего ни упражнениями, ни диетой. Звали ее Вера; пред нею вся теория Дагмары об именном выражении сущности человека разлеталась в прах. По жизни Вера шла напролом и одерживала победы. Всего три года назад приехала она с десятью классами из небольшого поселка, выучилась в городе на массажистку,

успела поработать в наспех сбежавшейся оздоровительной команде, которая вскоре распалась, после этого устроилась в одну из новых и бесчисленных страховых контор, работающих только с долларами. Ей нужна была квартира, чтобы принимать пациентов для массажа, и телефон при квартире, чтобы обзванивать страхклиентов. Спикировав на Алешу, она получила и то и другое. Затем получила законный брак, на который Алеша пошел уже с трезвым, но обожженным умом, как бы из мести самому себе за головотяпство и все свалившиеся на него неудачи. Неудивительно, что новой хозяйке после этого показалось в квартире кое-что лишним, начались скандалы с криками и визгом, толпящиеся за массажем люди заполняли единственную комнату, донельзя вульгарный, со слащавыми ужимками голос по длинному и неубывающему списку уговаривал простаков застраховать свою жизнь в старинной французской компании.

Все это стало невыносимо, он сбежал. Из милости дал ему проректор университета в общежитии комнату. К середине жизни остался Алеша совсем без ничего. Где-то есть деревянная родина с заброшенными могилами бабушки с дедушкой и отца, которым уже ни от кого не услышать на-

следный шепоток — все разъехались. Где-то есть мать, доживающая свои сухие годки в другом городе, у его сестры. Где-то есть сын, ничего от него не взявший, совсем чужой, при редких встречах томящийся от скуки. И где-то были призвание, работа, Россия — теперь оборванные, занесенные непогодой… И где-то он… иногда так трудно отыскать себя по утрам, после сна; все кажется, что он должен быть где-то в другом месте.

— Горька-а-а! — требовательно раз за разом кричит свадьба, уже распаренная и азартная, уже несущаяся вскачь и криком этим подгоняющая движение. Уже стоит веселая галда, гремит посуда, на которой идет немилосердная расправа после великолепного выхода официантов с подносами, уже со стороны комментируют поцелуи новобрачных и подходят с дальних столов обняться с ними. Уже невеста глядит смелее и на лице ее разгорается румянец, а губы начинают вздуваться, и она, прикрываясь, облизывает их и пытается вдавить внутрь. И все же свадьба так и не нашла крылья и не взлетела порывисто и красиво, сияя удалью и разноцветьем обряда, не превратилась в красочный въезд в новую и преображенную жизнь, она так и осталась в ресторанных стенах, нанятых для сидения. Все еще

после «горько» мать невесты с лицом учительницы пугается и сжимается, наклонясь к мужу и пытаясь, должно быть, остановить его от излишней лихости, когда «горько» оглушительно кричит он ей в самое ухо. Сокольский, правивший свадьбу, стал незаметнее, зато на первой ее боковине, столика за три от Алеши, явился басистый заводила, подающий команды, кому подниматься со здравицами, и всякий раз после его решительного голоса гвардейцы за Алешиным столом с облегчением берутся за ножи и вилки.

Уже и Алеша оглядывается на Сокольского: пора бы, потом будет поздно.

Но еще поднимается сам жених с по-прежнему бескровным, точно напудренным, лицом и подламывающейся улыбкой.

— Друзья! — обращается он, приспуская на глаза веки, бесстрастным и сильным голосом. Странно слышать от него это слово, никак здесь не подходящее, но, произнесенное дальше в другой интонации, оно все расставляет по местам. — Чего так навалились-то? Друзья!.. Дело только начинается, а вы уж нас с Еленой заездили. «Горько» да «горько» без передышки! А чего «горько»-то?! Давно уж сладко. Это нам горько.

Смотрите, как бы мы не заставили вас сластить.

Все смеются — и откровенно, и нарочито громко. Бас кричит:

— Начинай с меня, свет ты наш жених Иванович. Я первый на очереди.

— Ты не умеешь.

— Я-то?! Я-то?!

Бас, оказавшийся огромным дядей с огненной лысиной, легко приподнимает над столом завизжавшую, забившую руками и ногами соседку, ловко перехватывает ей руки и размашисто, гулко чмокает прямо в ядовитые красные губы. Смех переходит в грохочущее стенание.

— Умею? — перекрывая без усилия шум и красноречиво вытягивая губы со следами краски, интересуется бас.

Жених, не отвечая, наклоняется к невесте, она, вмиг поняв, что от нее требуется, кокетливо подставляет ему лицо, но он медлит, и тогда она, вытягивая шею, а затем и тело, вся выструниваясь и приподнимаясь, не переставая улыбаться, сама целует его в подставленные губы и, отрываясь, хватая воздух, ахает.

Удивительно: это вроде бы и показной, но не разыгранной, пойманной на лету сцены оказывается достаточно, чтобы разгоряченный зал

притих.

— Это еще не вся любовь! — таинственно провозглашает Сокольский, дожевывая и вытирая рот салфеткой, также на лету ловя удачный момент. Он только чуть приподнимается, чтобы встретиться глазами с Алешей, кивает ему и продолжает: — Со стороны невесты имеет честь сказать напутственное слово молодоженам… — Алешино имя он забыл и смотрит на Алешу с укоризной. — Мы все тут, господа, сегодня друзья или родственники, — выкручивается Сокольский. — Послушаем нашего друга и родственника.

Ну вот, пришел и его черед. Алеша поднимается. Он замечает, с каким удивлением смотрит на него невеста и мелконько качает головой ее мать, отвечая на молчаливый вопрос. Никто тут Алешу, своего друга и родственника, не знает, едва ли и жених с невестой были предупреждены о его номере.

Стоит сделать паузу, и ее опять заполнит гвалт. Алеша должен начать сразу.

— Да, было, все было… — вдруг выхватывает он первое попавшееся, чувствуя, что потерял приготовленное начало, и торопливо и безрезультатно роясь в памяти. — Были свадьбы, была

любовь. Всякая бывала любовь… И мелкая, которая и следа не оставит, и такая, что солнце любуется и греется. Само солнце греется. Мы все дети любви, и уж от этого одного так ее, кажется, должно быть много, что только ею и дышать, ею с утра до вечера и жить. А поглядишь внимательно — нет, на всех любви не хватает… на всех не хватает, — в полной растерянности повторяет он.

— На кого любви не хватает, тот пускай картошку чистит, — перебивает бас и получает свою порцию смешков.

Алеша без обиды косится на него, уже скинувшего пиджак и поводящего короткой мощной шеей над синим воротничком, на котором победоносно сидит круглая голая голова со сдвинутым ко лбу лицом; крупные черты на лице сложены в откровенную и счастливую ухмылку. Взглянув на это лицо, Алеша вдруг понимает, что нет, не дадут ему сказать здесь приготовленное, уже вспомнившееся и подвинутое памятью на первый план, что публика эта, многоопытная и всем пресыщенная, пышущая самомнением, как отменным здоровьем, таит в себе, похоже, еще и трещину соперничества. Свадьбой ее, эту трещину, хотели, должно быть, загладить, чтобы

привести впоследствии дело к полной мировой, но на винных парах она заупрямилась. Нет, не будут здесь слушать ни оды, ни баллады о любви, снова и снова будет обрывать Алешу бас, сделает из него козла отпущения.

И Алеша вдруг решается. Была у него одна то ли сказка, то ли притча, сказавшаяся сама собой в один из вечеров, когда он искал какие-нибудь связные и свежие слова, которые могли бы обратить на себя внимание, как обращает его в любую минуту невинность в подвенечном платье. Об этом Алеше и мечталось: сказать — как в душу невесты в минуту свершающегося счастья заглянуть, поймать хоть несколько слов из непередаваемого чувства. Он искал эти слова, слова нежности и тревоги, но неожиданно и строго нашепталось ему совсем другое и сложилось в картину, печальную, взыскующую и неразгаданную, которую Алеша старался держать при себе, боясь, что он может передать ее неверно, но сегодня делать нечего, сегодня у него другого выхода нет. Или пан, или пропал.

— Послушайте, — говорит Алеша, вдруг совершенно успокаиваясь и обращаясь к жениху и невесте, а затем и ко всему застолью. — Я хочу рассказать вам притчу, надеюсь, она будет

здесь кстати. Эта история касается всех нас. — Он делает короткую паузу, и, когда начинает свой рассказ, голос его звучит строже и таинственней.

— Там, в дальних и скрытых просторах Господа Бога, — говорит он, устремив глаза поверх столов на трепещущую под сквозняком штору на большом окне напротив, — в тех чертогах, где находится небесная канцелярия, заседает совет, как всегда по понедельникам, отданный земным делам…

— Господи! — вдруг закатывается кто-то мельконьким, донельзя удивленным неудержимым смехом. — Господи-и! Это ж надо!

— О-хо-хо! — уныло, без всякой бравады, отзывается бас. Но Алешу уже не сбить. Он продолжает:

— Да, проходит совет. И решается на нем, представьте себе, женский вопрос. Господу давно уже докладывали, что от женщин поступают странные заявления, навеянные новым духом последнего времени, но Господь, не доверяя духу последнего времени, все медлил. Но дальше откладывать становилось нехорошо, надо было решаться. И Господь дал наконец указание собрать всех, кто занимался в поднебесной этим деликатным делом.

— Начинай, — кивает Он французской святой, больше всех досаждавшей ему приставаниями по женским запросам. — Что они просят?

— Французские женщины, — с улыбкой отвечает святая, — хотят быть красивыми.

— Разве они не красивы?

— Через одну, Господи, через одну. А от этого много обид и ссор. А они бы все хотели быть счастливыми.

— Где я для них красоты наберусь? — бурчит Господь, размышляя, хорошо ли это будет — всех француженок сделать красивыми. От них и так много беспорядка в мире, и так многие отвращения от образа и подобия.

— А они, Господи, все учли, все учли, — тараторит французская святая. — Тебе хлопот не сделают. Они хотят быть такими же красивыми, как Симона Синьоре.

— На одно лицо?

— Да, они избрали его идеалом.

Господь замирает в невеселом раздумье. Что там, внизу, в самом деле, происходит? Какая их муха укусила? Сплошь одни Симоны Синьоре! Но ведь это же, в конце концов, некрасиво! Почему они не понимают? Кто их там мутит?

— Как тебе это нравится? — спрашивает Гос-

подь у секретаря, сидящего за протоколом сбоку и очень похожего на Иоанна Златоуста, который при земной жизни не однажды откровенно высказывался о женском поле. — Одни Симоны Синьоре! Куда она там у нас определена, эта Симона Синьоре?

— Куда полагается, туда и определена! — сурово отвечает секретарь.

— Ладно. Пиши: удовлетворить просьбу французских женщин. Пересмотру не подлежит. Заявления на пересмотр не принимать, — наказывает Он французской святой. — Что еще у нас?

Поднимается итальянская святая…

Алеша делает паузу и осторожно оглядывает зал. Жених сидит набычившись, со скрещенными на груди руками, откинувшись на спинку стула, прищурив один глаз, и смотрит на Алешу прицельно, словно давая ему оценку сквозь мушку наведенного ружья. Невеста часто-часто моргает черными накрашенными ресницами и хмурит лоб, пытась понять, к чему ведет этот странный человек, выдавший себя почему-то за ее родственника, и кажется ей, что от самозванца ничего хорошего ждать не приходится. Сокольский тревожно и таинственно улыбается, наигрывая головой под какой-то веселый мо-

тив. Соседка Алеши, неудобно задирая голову, слушает его со спокойным и грустным вниманием и отрывает глаза, только чтобы свериться, как принимает его слова зал. Зал возится, побрякивает, пошумливает вполголоса, но все-таки слушает: всякое чудачество невольно вызывает интерес.

— Поднимается итальянская святая, — продолжает Алеша. — Поднимается и говорит: итальянские женщины также просят о красоте.

— Этим-то зачем?! — еще больше поражается Господь. — Они же красивы!

— Красивы через две на третью. Хотят все. Под Софи Лорен.

Господь тяжело вздыхает и, нахмурив от напряжения лоб, устремляет свой взор за великие тыщи километров, разостлавшиеся до Италии, которую Он любит в особенности. И смотрит неотрывно минут пять. А вернув взгляд, с болью говорит:

— Удовлетворить.

Поднимается английская святая:

— От английских женщин такое же заявление. Красивы через девять на десятую.

— Под кого? — устало спрашивает Господь.

— Под принцессу Диану.

— Развратница! — с чувством докладывает секретарь. — Мужу изменяла и на весь мир бахвалилась. Опозорила королевскую семью и всю английскую нацию.

— Удовлетворить! — решительно повелевает Господь. — Всех удовлетворить! Кто там еще у нас — занести в протокол, волю свою я даю. И записать, кто какую красоту выбирает. Продолжайте, я слушаю.

Наступает молчание. Никто больше не поднимается для принесения просьб. Господь ждет, полагая, что Он, может, своим решительным и рассерженным голосом напугал находившихся перед Ним заступниц тех земных народов, среди которых они просияли и которыми были посланы на небесное заступничество.

— На кого хотят походить русские женщины? — спрашивает Он.

За Русь предстательствует на совете княгиня Ольга, первая русская святая. Она поднимается с поклоном и говорит:

— От русских женщин таковых пожеланий не поступало.

— Почему? — спрашивает Господь. — Или Русь не родила такой красоты, которая желанна была бы для всякой женщины?

— Русь Твоей милостью, Господи, рождает дивную красоту. Ты это знаешь. На Русь за невестами ездят со всех концов земли. Но на Руси испокон веку почитается та красота, которая украшается душой. Нам идольское наваждение перенимать негоже. Не для того мы, Господи, тысячу лет назад к Тебе обратились своею душой.

Господь долго сидит в задумчивости, ни на кого не глядя и не усаживая княгиню Ольгу. Тяжелы Его думы, печальны глаза, и обозревает Он за эти минуты, должно быть, из края в край всю Россию. Наконец Он встряхивается, находит собрание неоконченным и рассеянно роняет:

— Удовлетворить.

— Как так? — пугается княгиня Ольга. — Мы не просили. Мы ни о чем не просили, Господи!

Господь кивает ей со слабой улыбкой и диктует для секретаря:

— Дать удовлетворение русским женщинам, чтобы они оставались одна другой краше. Все. Заканчиваем с женским вопросом. Всем сестрам по серьгам. Всем сестрам по серьга-ам! — повторяет Он напевно и жестом отпускает от себя небесное сестричество.

Он задерживает одного секретаря. Когда все расходятся, спрашивает у него, как у равного:

— Чем все это закончится?

— Господи! — пугается тот. — Почему Ты спрашиваешь у меня? Мне страшно.

Господь кивком головы соглашается с ним и произносит:

— Жалко их. Если они не удержат возле себя любовь, у них ничего не останется. Это последнее. Запиши в своих книгах: я с трудом нашел последнюю надежду. Это уже не та любовь, которая заповедовалась две тысячи лет назад. Это всего десять капель от той. Десять капель. Но если бы они нашли нужным снова начать с этих десяти капель… — Согбенно, под тяжестью ноши, которую неустанно несет Он, Господь выходит за дверь.

…Алеша делает шумный выдох, показывая, что наконец-то рассказ его окончен, обводит зал вызывающим взглядом смельчака, готового принять за свою дерзость любое наказание, и голосом, также спустившимся с небес на землю, отрешенно добавляет:

— Мораль, по-моему, ясна. Любви, любви и любви нужно пожелать новой семье. Пусть вам всегда будет вместе хорошо, — с неловкостью обращаясь к жениху с невестой, невыразительно говорит он. Слишком велик переход, совершен-

ный им за две-три минуты от свидетельства высочайшего, в которое он невольно поверил и сам, пока говорил, до самого рядового, где все кажется незначительным и давящим. И вдруг Алеша чувствует, что его снова возносит горячечным порывом, неудержимо тянет досказать, перевести на язык юности, и пусть наивно, пусть по-ребячьи, но надо, надо! И, торопясь, захлебываясь, пугаясь, пугаясь своей смелости, занявшей и без того слишком много времени, он восторженно и болезненно выстанывает: — Знали бы вы, какое это счастье — любить, испытывать влечение… да нет, какое там влечение! — испытывать постоянную потребность друг в друге, когда одному не хватает без другого ни света, ни воздуха. Как это назвать: тебя нет без него, и нет его без тебя, совсем нет, будто так и задумывалось с самого начала: быть вместе. Это второе рождение — от любви, от близости, преображение в лучшее… Волшебное наваждение: все поет в тебе, в тебе и восторг, в тебе и слезы, и обещания, и тысячи лет жизни на земле, и такое прозрение, что становится тесно в себе! Все небо по ночам выписывает только два имени, твое и его, и нашептывает вслух, все звезды хором повторяют ваши имена. А уснешь — сны какие!

прямо величественные, будто твоя любовь объяла всю Вселенную и отныне только ею и будет строиться мир. С какой радостью и нетерпением просыпаешься по утрам! как сердце бьется! как подгоняешь солнце, чтобы скорее его увидеть! Его, его увидеть; без него нет уже и минуты в жизни! Все. Извините! — на ходу обрывает Алеша себя, чувствуя, что душа просит пощады, и с незрячими глазами опускается на стул.

На него смотрят и с неловкостью, и с сочувствием. Невеста с матерью, бросая на него взгляды, переговариваются, невеста на чем-то настаивает, мать не соглашается. Официантки в расшитых передниках, дождавшись паузы, ловко и бесшумно убирают грязную посуду и наставляют чистую — и как только исчезают они, выплывают торжественным выходом с поднятыми тяжелыми блюдами официанты и Сокольский кричит:

— Все! Принимаемся за гуся! Тоже, бедняга, любил!

— Полагается! Горь-ка-а! — объявляет бас и пытается опять расцеловать соседку, но над ним кто-то нависает, и два гвардейца за столом Алеши немедленно привстают, потом медленно опускаются.

— Горь-ка-а!

Потом с круга между боковыми рядами поет толстушка, загорелая до черноты, вертлявая, играющая микрофоном в руке, как циркачка, в открытом со всех сторон переливающемся огнями красном платье, и резкий голос ее, перекрывающий гитару, скребет Алешу по сердцу. Он смотрит на гитариста, высокого румяного парня с запорожскими усами, пританцовывающего перед певичкой, вприсядку ходящего перед нею кругами, пытается собрать в единый смысл выбрасываемые с лихостью певичкой слова, но в ушах стоит лишь разудалый гик. Потом пытаются петь все вместе, начинают песню, вторую, третью, но ни одной закончить не могут. Потом танцуют под магнитофонные записи, но все шейки да брейки, которым Алеша не обучился, и он, как старообрядец, невпопад новым ритмам, ходит поодаль, приобняв соседку по столу, в танговой раздумчивости. Соседка ему по плечи, он задевает подбородком ее голову и дышит каким-то тонким и дурманящим запахом. Она назвалась Асей.

— Это Таисья, Анастасия, Агнесса, Евпраксия? — пытаясь придать своему голосу иронию, спрашивает он.

— Анастасия.

Жених, не покидая своего места, разговаривает с Сокольским, тот волнуется и выбрасывает перед собой, что-то доказывая, руки. Невеста и ее мать заняты отцом, уже давно пьяненьким, всем улыбающимся, с веселой досадой он отпихивается от них. Длинноногие девицы разобраны самыми удалыми молодцами и отдельным кругом, хвалясь гибкой, чувственной и порывистой молодостью, ходят, едва не выдергиваясь из себя, в страстном полуживотном танце. Наконец и жених с невестой врываются в этот круг, и танец становится еще горячей и отчаянней. Из чепурильни с восторгом выглядывают мальчик с девочкой, которых собрались уводить по домам, плечи их подергиваются, ноги приплясывают, лица нервно и развязно, как у театральных кукол, ходят ходуном.

Алеша выговорился, недоволен собой, представ в роли проповедника, опоздавшего с проповедью, и говорить ему ни о чем не хочется. Но рядом с этой девушкой ему уютно, он качается в танце, как на волне, ни к чему себя не понуждая, и чувствует, как успокаиваются и сердце и мысли. «Ну их!» — думает он сразу обо всех и обо всем уже без раздражения, примиряясь и с сегодняшним вечером, и с самим собой, и с тем, что будет зав-

тра и послезавтра.

— А ко мне на свадьбу вы придете? — спрашивает девушка, явно заинтересованная его ролью на свадьбе и поднимая на него широко раскрытые, спокойно лучащиеся глаза.

— У вас скоро свадьба?

— Придется поторопиться, — с наигранной лукавостью говорит она. — Вы пользуетесь популярностью — как бы мне вас не потерять.

— Ой, да говорите что угодно! — с легким раздражением отзывается он. — Мне не хочется больше ни на что обижаться.

— А я не хотела вас обидеть, честное слово.

Музыка перестает бить, сменяя кувалду на напевные рожочки, и опять слышен гомон, стоящий над полупустыми столами. Жизнерадостный бас среди танцующих по-охотничьи крадется к своей партнерше, тоже веселой, повизгивающей, приседающей на месте толстушке с маленькими глазками и вывернутыми губами, и вдруг отпрядывает от нее и начинает заходить с другой стороны. Ищут какого-то Васю, по-видимому шофера, громко выкликая его, под руки уводят отца невесты, в распахнутую дверь от реки нахлестывает сырой свежестью. Когда Ася, улыбаясь, поднимает лицо, на нем проступают бледные

затертые веснушки.

— А вы здесь как, с какой стороны? — спрашивает Алеша вяло, кавалер в нем не проснулся.

— Я так же, как и вы, с десятой стороны. Я здесь никого, кроме одной дамы, не знаю.

— Кто же вы?

— Ни за что не угадаете.

— О, помилуйте! — Алеше впервые удается без усилий рассмеяться. — Ныне гадать… таких кроссвордов еще никогда не было. Новое на новом и новым погоняет. Кто же вы? — уже свободней и настойчивей переспрашивает он. Смеется и она, совсем без игры:

— За нашим столом двое… вы догадались, кто они?

— Гадать не надо. На них написано.

— На мне, значит, не написано. Я оттуда же.

Алеша невольно отстраняет ее на вытянутые руки и замирает:

— Вы?

— Я.

— Господи! Ну что вы можете? Такая… Вы что — комаров от своей дамы отгоняете?

— Вот такая, — она снова приводит его в движение и ничуть не обижается на «комаров». — Еще какая! — добавляет она не без гордости. — Вы

что-нибудь слышали об ушу?

— Какие-то восточные бои.

— Да, примерно.

Потом они снова сидят за столом, уже одни, без гвардейцев, и едят мороженое. Свадьба пошла на убыль, поредела, она всплескивает еще то смехом, то вскриком, то песней, но все заняты собой, и стоит сытое, с неряшливым подзвоном, животное ворчание. Алеша слизывает с чайной ложечки розовую студенистую сладость, переводит взгляд с утомленной, нахохлившейся невесты на свежую, как в начале вечера, Асю и задумчиво говорит:

— Вы не вы, и я не я. Чудеса в решете. Но скажите, свадьба-то сегодня была настоящая или нет?

Поздний вечер, дозревают и уплотняются сумерки, но еще не темно и видно хорошо, разборчиво. Алеша доходит по набережной до моста через реку, любуясь темной синевой быстрого бугристого течения, в котором струи ни с того ни с сего вдруг бросаются с наплеском в сторону и опять выравниваются. Над низовьем реки, ныряющей за поворотом в деревянный окраинный город, бархатно стелется над фарватером серый дым и приглушенно постукивают берега.

Тепло, мягко, ощущение себя растворено в воз-

духе, точно в этот только час ты можешь оставить знакомую фигуру и поплавать в высоте. В этот час город не превращается еще в тоскливые руины, каким он кажется ночью, но и не выставляется таинственной громадой, каким кажется днем. В его полной вялой очерченности выстраивается что-то уже окончательно отошедшее, глядящее безмолвно. Сегодня это уже не тот город, что был вчера, и завтра будет не тот, что сегодня. В нем так многое меняется, что, если бы удалось подсчитать, выстроить эти перемены в один ряд и окинуть взглядом, от удара долго не пришел бы в себя. Но они растеряны среди прежнего и среди прежнего принимаются за естественное и неизбежное обновление клеток одного и того же организма, хотя, может быть, это уже другой организм. Может быть, раком страдают не только люди, но и города, государства, только «раковые» города живут дольше.

А как хорошо, верно, как славно пройтись по городу в такой час! Прохожих мало, теперь боятся темноты и прячутся заблаговременно, но, если кто решился остаться в улицах, страшное не кажется ему страшным. Он доверяет чувству безопасности как честному слову, звучащему в воздухе, и под его защитой, если город будет

заминирован, пройдет и сквозь мины. Как хорошо не знать ни о чем плохом, что здесь сегодня случится, и просто шагать и шагать, полагаясь на силу своей безвинности и доверчивости, и думать, вспоминать, строить несбыточные планы.

К Сидейкиным стучаться поздно, в общежитие не хочется. Но если не ехать, а так вот и идти неторопливо и по-свойски, так вот и остаться в состоянии усталой и чувствительной пытливости, он дойдет незаметно и не раньше чем через час. Алеша соглашается: так и надо сделать. Вечер субботний, и машин мало, город наполовину разъехался по дачам. Можно пойти обходной дорогой, где он давно не бывал и по которой когда-то бегал в университет.

Университет… да, тогда был один университет, и это был университет, а теперь каждый техникум, каждое училище из недорослей зовется университетом. Как будто ворованное чужое им прибавляет учености. Алеша идет вдоль трамвайной линии, вслед за нею поворачивает влево, огибая четырехэтажный зеленый дом, в котором он когда-то часто бывал. Здесь жила с родителями Дагмара, отец ее, Вячеслав Романович, с насупленными бровями и сухими глазами, имевший мрачноватый вид, но человек добрый,

говоривший ровно столько, сколько требуется, ни слова больше и ни слова меньше, — отец Дагмары, начальствующий энергетик, в городе был известен и ездил на «Волге». Кого теперь удивить «Волгой»; «самый быстроходный в мире трактор», с усмешкой говорят о ней, но тогда «Волга» кое-что значила и кое-что о хозяине говорила. Алеша потому вспоминает о «Волге», что во дворе для нее стоял высокий кирпичный гараж, чистый, просторный, пахнущий деревом от вагонки, сложенной в нижнем полуподвальном этаже, где мастерская. В этом гараже Алеша несколько раз ночевал. Дагмаре нравилось приводить его сюда вечерами, уже после того, как приезжал отец, подолгу сидеть в машине, играя с ним, ласкаясь и отпрядывая, испытывая себя на прочность, томно щурить колодезной темноты глаза, в которых стояли звездочки, говорить с изнеможением, а потом весело заявить: «Ты знаешь, я после этой пытки лучше сплю», — и убежать, замкнув его снаружи на два тяжелых замка. Утром она прибегала чуть свет, наскоро прибранная, зябко поводящая плечами, но язвительная, и поторапливала: «Быстрее, быстрее, Ромео из гаража. Тебя же за вора примут».

Давно уехали родители Дагмары, сама она

живет неподалеку в доме хоть и из старой эпохи, но по-прежнему завидном как во мнении народном, так и во мнении богачей, на задворки не задвинешь. А этот, недавно еще барский, совсем захирел и ссутулился, зеленая краска облезла, обнажив коростяные, красного кирпича язвы, и вдруг обнаружилось, что нет в нем ни балконов, ни лоджий, а раскрытые форточки выглядят как отваливающиеся заплатки.

Дагмара Вячеславовна, была ли ты? И звучит уже заграничнo, по-чужому, а раньше казалось, что по-дворянски: Дагмара Вячеславовна… И воспоминания надо вызывать издалека-издалека, из какой-то другой жизни, после которой успел умереть, восстать и снова оказаться на грани смерти.

Опять Алешу при возвращении в сегодня задевает о свадьбу: ни одного знакомого лица. И это почти всегда — ни одного знакомого лица. На свадьбах гуляют, выходя вперед, новые люди — да, это так. Иначе не призывали бы его, как акушерку, принимать недоношенное дитя, которое есть самое любовь; дети любви пойдут позже. Не с луны же, в самом деле, сваливаются эти новые, среди них есть люди пожилые, а Алеше тридцать пять. Свадьбы — ладно, им не задают вопросы,

они не жизнь, а вспышки жизни, но ведь и на улицах он все реже встречает знакомых и часто, не страдая выпадением памяти, останавливается в недоумении: что-то мелькнуло стершейся приметой, что-то окликнуло — но нет, проходят мимо не узнающие его и не желающие, чтобы узнавали их. Точно земная кора сдвинулась и все поменялось, натянув сверху пленку похожести, на которой изредка что-нибудь мелькнет из старого.

Надо завтра зайти к Сидейкиным. Оставить костюм для нового выхода в свет и подождать звонка Аси. Она спросила, и Алеша дал ей этот телефон, договорившись о часе, когда она позвонит.

— Вы мне нравитесь, — сказала она при прощании, подавая маленькую твердую руку.

Он ответил:

— Вы мне, кажется, тоже. Но я не привык, чтобы женщины говорили мне это так скоро и раньше меня.

— Ой, простите, я многого не умею. — Ее растерянность показалась ему искренней.

Можно бы, конечно, ею увлечься… Но подумать только: как любить ушуистку? Женщина ли она? Он был все-таки старого покроя и не представ-

лял: как можно любить, к примеру, фотомодель, брокершу, дилершу, феминистку — всю эту путану-мутану, — если бы даже удалось до них возвыситься?! Они казались новым, скоростным происхождением человека, рванувшегося из каких-то тайных и смелых, прежде природой отвергаемых зародышей. Вызывающая недоношенность целого вида… все ли у них на месте?

По длинно и мертвенно отсвечивающим путям катят с визгом и электрическими брызгами торопящиеся в депо трамваи, заляпанные яркими чужими буквами рекламы. Где-то вдали что-то огромное, тяжкое протяжно отпыхивается; воздух теплый и сладковатый, стоит неподвижно, осевшей толщей. Плачут за рекой гудки электровозов, редкие прохожие смеются и говорят нарочито громко — как в незнакомой тайге, остерегаясь зверя; и из каждого окна, мимо которых проходит Алеша, из закрытого ставнями и задернутого шторами, гремят, отдаляясь и приближаясь, очереди выстрелов, за которыми отдыхают граждане перед телевизором.

Алеша поднимается по ветхой деревянной лестнице в гору, пробуя ногами каждую ступеньку и чувствуя себя неуютно, как бы под пристальным взглядом. Быстро и неожиданно стемнело

до вязкой черной пестроты, и Алеша не сразу догадывается: здесь, на крутом подъеме изжитой, неимоверно старой улицы нет электричества. Деревянные дома по взгорью, и один, и второй, и третий, скособоченные, наполовину утянутые в землю, давно поддерживающие друг друга только единственным строем и единой жизнью, жутко и неотрывно, наползая и приближая черные провалы, смотрят пустыми глазницами окон. С другой стороны улицы то же самое.

Наверху свежée, можно отдышаться и оглядеться. Но и здесь темно, в темноте на фоне рдеющей пустоты, где должно быть небо, высится новое, недостроенное здание донельзя изломанных форм и ощетинившееся всеми своими остриями — и тоже жуткое. И оттуда, из этой хищно нависающей архитектуры, негромко, но внятно, с воркующей глумливой нежностью догоняет наконец Алешу песня, которая преследует его уже давно:

Ах, киса, киса, киса,
Ты, моя Лариса…

Алеша убыстряет шаг, чтобы не слышать продолжения, и, дойдя до парка, поворачивает вправо. Веселье в парке, разбитом на месте кладбища,

на сегодня закончено, теперь там другая, затаенная и мрачная, жизнь. Лучше от греха подальше обойти ее стороной. Алеша идет вдоль высокой металлической ограды с белыми, беленными известкой, рядами тумб, тяжелым форменным строем наступающими на него, задевающими его ветерком полого дыхания. Небо натужно и тускло тлеет отбрасываемым снизу заревом слабого ночного освещения. Из-за ставен в трех-четырех окнах на Алешиной улице пробивается свет, остальные темны; здесь, в этих старых, изношенных избах, как в деревне, ложатся рано. Только торопливо прошмыгивают машины. В общежитии дверь еще не закрючена, сонный парень в дежурке едва заметно кивает Алеше, смотрит на часы, прислушивается к какому-то шуму на верхних этажах, но не находит в нем ничего тревожного и вволюшку, похлопывая себя по щекам, зевает. Уже из коридора Алеша слышит, как на пробой щелчком ложится крюк, звук этот словно требует ответа, и Алеша с облегчением вздыхает. Все, тяжелый день позади, и можно уснуть со спокойным сердцем.

Но ему не спится. Возбуждение еще не прошло, он лежит в темноте на продавленной кушетке, изогнувшись скобкой и пытается подступающие

к нему мысли спровадить обратно. Получается плохо. Разве это жизнь? Конечно, не жизнь. Еще недавно он верил, что вот-вот должно что-нибудь произойти, что непременно вытащит его и из этой комнаты, и из этой жизни и поместит в приличное положение, но проходили месяцы и месяцы, и ничего не менялось. Ни счастливый случай, ни богатый дядюшка не являлись. И он научился не отвечать на неприятные вопросы. Что-нибудь да будет, так продолжаться долго не может.

На деньги, заработанные сегодня, Алеша мог бы, наверное, купить новую лежанку и не мучиться по ночам, задирая ноги, как в гамаке. Но менять в своей комнате ему ничего не хочется. Конечно, это не жизнь, но, украшая эту не-жизнь, он никогда из нее не выберется. Этот вывод Алеше нравится, но он знает, что за ним не медля может последовать вопрос. Нет, вопросов он не допустит. Не сейчас. Иначе он не заснет. Люди оттого и маются по ночам, что не умеют по ночам ограждаться от вопросов.

Уже слабой, уже совсем затмевающейся скользящей мыслью он успевает отметить: а ведь это открытие — одно из тех, к каким его привела жизнь. Когда не потребуются больше его слова

о любви, он может заняться лечением бессонницы. Тысячи, миллионы людей спят сейчас все хуже. Он может им пригодиться.

«Все хуже, все хуже, все хуже…» — под эти убаюкивающие слова Алеша засыпает.

1998

Изба

Изба была небольшой, старой, почерневшей и потрескавшейся по сосновым бревнам невеликого охвата, осевшей на левый затененный угол, но оставалось что-то в ее поставе и стати такое, что не позволяло ее назвать избенкой. Без хозяйского догляда жилье стареет быстро — постарела до дряхлости и эта изба с двумя маленькими окнами на восток и двумя на южную сторону, стоящая на пересечении большой улицы и переулка, ведущего к воде, прорытого извилисто канавой и заставленного вдоль заборов поленницами. Постарела и осиротела, ветер дергал отставшие на крыше тесины, наигрывал по углам тоскливыми голосами, жалко скрипела легкая и щелястая дверь в сенцы, которую некому и не для чего было запирать, оконные стекла забило пылью, нежить выглядывала

отовсюду — и все же каким-то макаром из последних сил изба держала достоинство и стояла высоконько и подобранно, не дала выхлестать стекла, выломать палисадник с рябиной и черемухой, просторная ограда не зарастала крапивой, все так же, как при хозяйке, лепили ласточки гнезда по застрехам и напевали-наговаривали со сладкими протяжными припевками жизнь под заходящим над водой солнцем.

Считалось, что за избой доглядывает сама хозяйка, старуха Агафья, что это она и не позволила никому надолго поселиться в своей хоромине. Мнение это, не без оснований державшееся в деревне уже много лет, явившееся чуть ли не сразу же после смерти Агафьи, отпугивало ребятишек, и они в Агафьином дворе не табунились. Не табунились раньше, а теперь и некому табуниться, деревня перестала рожать. Заходили сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда виден был весь скат деревни к воде и все широкое заводье, по теплу старухи, усаживались на низкую и неохватную, вросшую в землю чурку и сразу оказывались в другом мире. Ни гука, ни стука сюда, за невидимую стену, не пробивалось, запустение приятно грело душу, навевало покой и окунало в сладкую и далеко

уводящую задумчивость, в которой неслышно и согласно беседуют одни только души. «Ходила попечалиться к старухе Агафье», — не скрывали друг перед другом своего гостеванья в заброшенном дворе живые старухи. Ко всем остальным из отстрадовавшегося на земле деревенского народа следовало идти на кладбище, которое и было недалеко, сразу за старым аэродромом, поросшим теперь травиной, а к старухе Агафье в те же ворота, что и при жизни. Почему так сложилось, и сказать нельзя.

Агафья до затопления нагретого людьми ангарского берега жила в деревне Криволуцкой, километрах в трех от этого поселка, поднятого на елань, куда, кроме Криволуцкой, сгрузили еще пять береговых деревушек. Сгрузили и образовали леспромхоз. К тому времени Агафье было уже за пятьдесят. В Криволуцкой, селенье небольшом, стоящем на правом берегу по песочку чисто и аккуратно, открывающемся с той или другой стороны по Ангаре для взгляда сразу, веселым сбегом, за что и любили Криволуцкую, здесь Агафьин род Вологжиных обосновался с самого начала и прожил два с половиной столетия, пустив корень на полдеревни. Агафья в замужестве пробыла всего полтора года —

за криволуцким же парнем Ефимом Мигуновым, прозванным за бесстрашие Чапаем, грубоватым, хорохористым, во все встревающим, с лихостью выкатывающим на всякое приключение свои круглые зеленые глаза на белобрысом лице. Его взяли в армию, там он задолго до войны и пропал смертью, может быть, и храброй, но бестолковой. От него осталась дочь, названная Ольгой, девочка затаенная, самостоятельная, красивая, в пятнадцать лет сразу после войны она уехала в город в няньки, в семнадцать устроилась на конфетную фабрику, перешла квартировать в общежитие и попала под безжалостные жернова городской перемолки. Сладкая ее жизнь возле конфет, которой так завидовали криволуцкие девчонки, скоро стала горькой: прижила без замужества девчонку, закружилась в бешеном вихре, пока не сошла красота, и спилась… еще одно доказательство того, что у одного стебля корни дважды не отрастают. В то время это было редкостью, а для деревни и вовсе невиданное дело — бабье пьянство. От боли и работы Агафья рано потускнела и состарилась, похоронила вскоре друг за другом отца с матерью, одного брата убила война, второй уехал вслед за женой на Украину, сестра тоже вышла замуж за даль-

него мужика и уехала — к сорока годам осталась Агафья в родительском доме одинешенька.

Была она высокая, жилистая, с узким лицом и большими пытливыми глазами. Ходила в темном, по летам не снимала с ног самошитые кожаные чирки, по зимам катанки. Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрейки, летом, закутываясь от мошкары, от которой не было житья, пока не вывели ее, чтоб не кусала наезжих строителей Братской ГЭС. Всегда торопясь, везде поспевая, научилась быстро ходить, прибежкой. Говорила с хрипотцой — не вылечила вовремя простуду, и голос заскрипел; что потом только ни делала, какие отвары ни пила, чтоб вернуть ему гладкость, — ничего не помогло. Рано она плюнула на женщину в себе, рано сошли с нее чувственные томления, не любила слушать бабьи разговоры об изменах, раз и навсегда высушила слезы и не умела утешать, на чужие слезы только вздыхала с плохо скрытой укоризной. Умела она справлять любую мужскую работу — и сети вязала, и морды для заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила в сенокосы зароды, и стайку могла для коровы срубить. Только что не охотилась, к охоте, даже самой мелкой, ее душа не лежала. Но ружье,

оставшееся от отца, в доме было. Невесть с каких времен держался в Криволуцкой обычай устраивать на Ангаре гонки: на шитиках от Нижнего острова заталкивались наперегонки на шестах против течения три версты до Верхнего острова, и дважды Агафья приходила первой. А ведь это не Волга, это Ангара: вода шла с гудом, взбивая нутряную волну, течение само себя перегоняло. На такой воде всех мужиков обойти… если бы еще 250 лет простояла Криволуцкая, она бы это не забыла.

Но дни Криволуцкой были сочтены. Только-только после войны встали на ноги, только выправились с одежонкой и обужонкой, досыта принялись стряпать хлебы, а самое главное — только избавились от мошки и коровы вдвое-втрое прибавили молока, а люди стянули с голов сетки из конского волоса и с надеждой заоглядывались вокруг, что́ бы такое еще сыскать для справного житья, — вдруг перехват всего прежнего порядка по Ангаре, вдруг кочуй! И все деревеньки с правого и левого берегов, стоявшие общим сельсоветом, сваливали перед затоплением в одну кучу.

Агафья хворала, когда пришло время переезжать. Болезнь у нее была одна — надсада,

от других она выкрепилась в кремень. В те же годы накануне затопления впервые за всю ангарскую историю стали проводиться медосмотры, на специальном пароходе с красным крестом сплавлялись от деревни к деревне в низовья врачи и каждого-то поселянина в обязательном порядке выстукивали и высматривали. Агафью и выявили как больную. И все лето, как муха о стекло, билась она о больничные стены в районе, запуганная докторами, которые продолжали настаивать на лечении, стращая последствиями, но не меньше того снедаемая бездельем. Криволуцкая ставилась на новом месте своей улицей, но вставали дома в другом порядке, и этот порядок все теснил и теснил ее запаздывающую избу неизвестно куда. Агафья еще больше похудела, на лице не осталось ничего, кроме пронзительных глаз, руки повисли как плети. Вот это была надсада так надсада! Иногда она вскидывалась, пробовала бунтовать, но ее уже знали, знали, что на нее можно прикрикнуть, и тогда она, лишенная здесь всякой опоры, унизительно распластанная на кровати, как на пыточном ложе, опять смирялась и умолкала. Здесь, в больнице, приснился Агафье сон, поразивший ее на всю оставшуюся жизнь: будто хоронят ее в ее же избе,

которую стоймя тянут к кладбищу на тракторных санях, и мужики роют под избу огромную ямину, ругаясь от затянувшейся работы, гора белой глины завалила все соседние могилы и с шуршанием, что-то выговаривающим, на что-то жалующимся, обваливается обратно. Наконец избу на тросах устанавливают в яму. Агафья все видит, во всем участвует, только не может вмешиваться, как и положено покойнице, в происходящее. Избу устанавливают, и тогда выясняется, что земли выбрано мало, что крыша от конька до половины ската будет торчать. Мужики в голос принимаются уверять, что это и хорошо, что будет торчать, что это выйдет памятником ее жизни, и Агафья будто соглашается с ними: труба и должна находиться под небом, по ней потянет дым. Там тоже согреться захочется.

На грубых тракторных санях, точно таких, какие снились, представлявших из себя настил на двух волочимых по земле бревнах, спереди затесанных, чтобы не зарывались в дорогу, и везла она разобранную избу на новопоселенье уже в конце августа, едва воротясь из больницы и еще не набегав залежавшиеся ноги. Но и когда было набегивать? На свою улицу она уже опоздала и за дурной знак приняла, что приходилось

ей отпочковываться от криволуцких. День после сердитого холодного утренника был ярким и звонким, дорога шла меж лоскутных полей, засеянных ячменем и горохом, и развозюкана была такими же поездами широко и безжалостно — хоть пять саней выстраивай в ряд. Да и то сказать — в последний раз приносили урожай эти поля. Каждую выбоинку, каждый бугорок на них Агафья знала лучше, чем родинки и вмятинки на своем теле, — вручную пахала, вручную жала рожь и ячмень и крючила горох, вручную, обдирая и обжигая руки, тянула осот. Нет, родное скудным не бывает. И вот последнее, все последнее, и стыдно смотреть на золотистые переливы ячменя с пузатыми тугими колосьями, точно от него, от хлебного дела, убегала деревня, сманенная заработками на лесе.

Есть события, которые человек не в состоянии вместить в себя осознанно, в которые он вталкивается грубо, неудержимо, как всякое малое в большое. Тупо сидела Агафья в кабине старого громыхающего трактора без дверок, тупо, оглушенно, высовывая и задирая голову, оглядывалась на ползущий позади, стянутый тросами воз с тем, что было ее избой и что оказалось теперь таким жалким и дряхлым, что

и поверить нельзя было, как из этой груды хлама можно опять поднять дом. Тракторист, рябой мужик из Ереминой, из деревни с левого берега напротив Криволуцкой, что-то время от времени кричал ей, спрашивая, — она не слышала и не хотела слышать, тоже разбитая, бесчувственная, сдавленная во все тело грубыми стяжками, и только вздыхала часто, дыша одними вздохами, и рукой показывала трактористу, чтобы он не торопился. С трудом вспомнила Агафья его имя — Савелий Ведерников, и то лишь после того, как представила его избу, стоявшую с ангарской стороны улицы, возле ручья под двумя громадными темными елями, вспомнила, что жена его, баба задумчивая, снулая, принялась рожать поздно, к сорока, и при третьих родах умерла.

Так давно это было, что и веры нет воспоминаниям. Все было давно вплоть до этого дня, взошедшего с какой-то иной стороны, чем всегда.

Перебрались через речку, подъезды и дно которой уже без Агафьи были вымощены гатью, высоко запрокинув перед саней, ставя их чуть не на дыбы, вползли на умятый яр. Агафья с зачастившим и пропадающим сердцем запросила остановку. Савелий, не заглушая трактора, пошел

в кусты, а Агафья взобралась на воз, пристально и бессмысленно глядя, как с плах и бревен стекает грязная вода, с той же бессмысленностью переводя взгляд на речку, которая никак не могла успокоиться и все гоняла и гоняла взбученную рваную волну поперек от берега к берегу.

Подошел Савелий, сладко зевнул, показывая, как у молодого, ровные крепкие зубы, завернув голову к солнцу, медленными движениями пополоскал в нем свои рябины, пятнавшие лицо. Занося одни ноги, не прихватывая руками, как при всходе на бугор, поднялся на сани и присел рядом с Агафьей. Был он старше Агафьи лет на пять, но был еще крепок, не истрепан жизнью. Про него нельзя было сказать, что он среднего роста, — рост в нем не замечался, а замечалась ладная, вытянутая точно по натягу фигура, ловкая и удобная. Ему, должно быть, близко было к шести десяткам, при шаге он заметно вдавливал ногу в землю, с головы не снимал брезентовой самошитой кепки пролетарского покроя, придающего вид мастера своего дела, вглядываясь, щурил глаза, имел привычку ладонями натирать лицо, взбадривая его, во всем же остальном, не показывая усталости, тикал да тикал как часы.

После удачной переправы и прогулки в кусты Савелий повеселел, его потянуло на разговор.

— Не попала, говоришь, на Криволуцкую улицу? — в который раз за дорогу спрашивал он, закуривая и заглядывая куда-то за Ангару.

— Не попала.

— По больницам отлеживалась? Че лечила-то?

— Не приведи больше Господь такой отлежки! — пусто, не впервые за последние дни одними и теми же словами отвечала Агафья, тоже глядя на Ангару; всю жизнь так бывало: поглядишь на нее, и силушки, терпения прибудет. — Не приведи Господь! Пошла туда с одной хворобой, там належала все десять. Нет, не по нам, парень, леченье. Кому, может, и леченье, а нам мученье. Мы люди нелечимые. Как кони.

— А че ж кони!.. Коней тоже лечат. Ветеринары-то на что?

— Много они налечили, твои ветеринары? — без охоты, думая о другом, о том, как изловчиться убежать на ночь обратно в Криволуцкую, в свою амбарушку, чтобы пускай в разоре, но в своем разоре, среди остатков родного духа хватить сна. — Ветеринары твои только и приучены, что поросят легчить да браковку делать. Ой, а надо мной-то чего вытворяли! — вдруг спохватилась

и заговорила живей, отчаянней: — Че вытворяли! Я тебе расскажу. Вот несут вот этакую кишку, из резины, потертую, я уж потом догадалась, что жеваную… Несут — глотай! — на чужой голос требовательно вскричала она. — У меня глаза на лоб. Глотай! — кому говорят! А как ее глотать?! Как, грят! Видала, как воробей червяка глотает? Маленький воробей большого червяка — р-раз! — и нету! И ты так. Воробей червяка может, и ты моги. Глотай! Да я-то не воробей. Я давлюсь, из меня свои кишки вон лезут.

— Для чего глотай-то?

— Сок из нутра качают. Там сок есть.

Савелий кивнул:

— Желудочный сок.

— Кишочный. Глотай! — приступают. Делай глотанья. Без твово соку мы ниче опознать не можем. Они мне силой туды, я выдерьгиваю обратно. Они — туды, я — обратно. Все горло изодрали. Я после неделю ниче, окромя маненькой кашки, пропустить не могла.

— Проглотила кишку-то?

— С третьего разу затолкали. Как вомзили. Не шевельнуться. Я вся омлела, сидю, и уж дыху не стает. Экая, думаю, смертушка мне выпала несуразная. Через каку-то пору выдерьнули, а он,

коло-то, все стоит. Подымайся, грят, и иди, а я сдвинуться не могу. Охнуть не могу. Нет, парень, лутше рожать, чем глотать. — От мысли, что то и другое осталось теперь навсегда позади, она протяжно вздохнула, припомнив, что никакая боль, никакая беда не бывает последней, а только следующей да следующей. Припомнила и стала спускать ноги с воза, пора было ехать.

Но Савелий не торопился. Агафьин рассказ остался незаконченным.

— Сок-то дала, че он показал? — спросил он, чудя, пристально, на вытянутой руке рассматривая, прищурив один глаз, окурок.

Посмеиваясь над своей простотой, Агафья сказала:

— А только меня и спрашивать, че он показал. Показал: че-то есть, че-то нету. Как ребятенка похвалили: ты, грят, баба сокастая. А боле ниче не знаю. Ты почто все время щуренишься-то? — спросила она, тоже невольно приспуская веки. — В глаз че попало?

— Попало. То-то и оно, что попало. Мушки маленькие в его залетели и никак не вылетят. — От улыбки, от приятного оживления рябинки на его круглом, подсушенном желтоватом лице тоже задвигались-заходили, сплясали плутова-

тый танец и затихли опять в ожидании. Было в этом местном мужике, никогда не видавшем иной жизни, кроме войны, что-то неместное, податливое, мягкое. Агафья его знала плохо, знала больше по собраниям, на которые съезжался весь колхозный народ раз в году, помнила, что бригадир он в Ереминой, но земли на левом берегу были еще беднее, чем на правом, и теребился он на собраниях со взыском, критику принимал спокойно и даже как-то благодушно. Ни разу Агафья и не разговаривалась с ним больше нескольких слов, а приглядевшись теперь, разговорившись, она бы, пожалуй, и удивилась ему сильнее, если бы не это общее светопреставление на Ангаре, на которое не хватало никакого удивления.

Но она догадалась:

— Боишься, что снимут тебя с машины с глазами-то?

— Могут. Леспромхоз усядется, комиссовку будут проводить.

Вблизи поселка, еще не поднятого в рост, неохватно, торопливо наваленного, пугающего своей бесформенностью, прокричал Савелий, перекрывая гуд мотора:

— Давай я тебя на Еременскую улицу завезу? А?

— Где я там буду?

— Рядом со мной. Я потеснюся, места хватит.

— Нет уж, парень, я свое буду обживать. Какое-никакое, а свое будет.

Агафьину улицу, на которой собирались такие же, как она, отделенцы, не попавшие в свою деревню или приткнувшиеся совсем со стороны, быстро назвали Сбродной. Сбродная так Сбродная, в горячке врастания в новую жизнь никого это не задевало. Скатывалась Сбродная под горку по правому боку поселка, если смотреть от Ангары, через четыре поперечные, широко распахнутые улицы-деревни — и в первую же весну шальная талая вода пробила по ней канаву. Сколько потом ни засыпали ее, сколько ни трамбовали, другого хода вода знать не хотела и каждую весну, каждое ненастье с грохотом выпетливала от забора к забору, но как-то не зло, не обрушивая городьбу и постройки. Поэтому оказалось у Сбродной еще одно название — Канава, которое со временем, когда стало забываться, кто откуда наехал в поселок, сделалось единственным. Так и говорили: живу на Канаве. Машинный проезд по ней из конца в конец был невозможен, получился пеший проулок. Избы встали по углам, выходящим на большие улицы,

а от угла до угла тянулись стайки да огороды.

Агафье повезло с огородом, ее огород попал на край колхозного поля и ни вырубок, ни корчевки не потребовал. Корчевки ей бы не одолеть. А ограда вся оказалась в пнях, она выдрала их только лет через пять, оставив один — матерый, от ели, по колена высотой, огромный, как столешница, вырисованный, как цветок, лепестковыми овалами, отростками от уходящих в землю могучих лап, взбугривающих пол-ограды. До самой смерти, глядя на этот пень, присаживаясь на него и отирая тряпочкой от грязи и пыли, жалела Агафья, что нет у нее внуков мал мала меньше, которые с восторгом, криками и ссорами, отталкивая друг друга, громоздились бы на пень и в конце концов умещались бы на нем все, сколько бы их ни было.

Привезли они избу, и та еще две недели непочатым возом лежала на волокушах. Походила Агафья, посмотрела, надрывая сердце, — везде стучат, у всех нескончаемая страда: кто поставил избу, надо ставить жило для скота, хлопотать баньку, огораживаться, класть в избе печь, раздирать огород, пятое, десятое, двадцать пятое. Все заново, все единым навалом, никаких рук не хватает, чтобы успеть. Деревней переезжать —

все равно что без огня погореть, а уж когда вся волость, вся долина на полтысячи верст попятилась с насиженных мест в тайгу, бросая могилы и старину, — такое переселение и сравнивать не с чем. Подъем воды обещали через год, но ведь зима на год не отставится, она на носу.

Не раз припомнила Агафья, как говорилось про одиночек: захлебнись ты своим горем. Из глубокой старины пришли они, эти слова, а все никак в прошлое не отойдут. Все к каждой вдовушке подсватываются.

А ведь, проживши на свете пятьдесят лет, она захватила еще старину. Краешком, но захватила. Электричества в Криволуцкой не было, жили с керосиновыми лампами, десятилинейная лампа считалась богатством. Но и керосинки завелись уже при ней, она хорошо помнит, как в детстве жгли лучину и полуночничали возле камелька, как трещало, брызгая искрами, смолье и по лицам, собиравшимся возле огня, играли колдовские всполохи. Ну как тут было на вечерках не подать начин песне, как было не подхватить ее, печальную и сладкую для сердца, и не растаять в ней до восторженного полуобморока, не губами, не горлом выводя слова, да и не выводя их вовсе ничем, а вызваниваясь, вытап-

ливаясь ими от чувственной переполненности. Ничто тогда, ни приемник, ни телевизор, этого чувства не перебивало, не убивало родную песню чужеголосьем, не издевалось над душой, и души, сходясь, начинали спевку раньше голосов. Считается, что душа наша, издерганная, надорванная бесконечными несчастьями и неурядицами, израненная и кровоточащая, любит и в песне тешиться надрывом. Плохо мы слушаем свою душу, ее лад печален оттого лишь, что нет ничего целебнее печали, нет ничего слаще ее и сильнее, она вместе с терпением вскормила в нас необыкновенную выносливость. Да и печаль-то какая! — неохватно-спокойная, проникновенная, нежная.

В одной избе песня, а в другой, где собиралась ребятня, сказка да «ужасти», которые напрашивались сами собой под деревенскую ворожбу каминного огня. Чего только не придумывалось, чего не рассказывалось то затаенными, то гробовыми голосами, до чего только не доходило разыгравшееся воображение! Не будь этого живого сопровождения огня, то завывающего, то стонущего, то ухающего, да разве мог быть у историй, рассказываемых не Петькой или Васькой, а их оборотнями, и непременно

выдаваемых за «правдашние», такой жуткий накал, такая непереносимая страсть! «Вот воротился без памяти дядя Егор и лег… не верите мне, спросите у дяди Егора… вот лег он вдругорядь, и вдругорядь стук в окошко. «Выходи, дядя Егор!» — нечеловечьим голосом вызывают его. Он бы и рад не выдти, да как не выдешь! — в избе достанут, ребятишек до родимчика напужают. Перекрестил он детишек, а себя перекрестить забыл. Выходит. Выходит ни живой ни мертвый. Темень — глаз выколи! Чует: кто-то дышит над ухом. Вдруг ка-а-ак!..» — И тут из камина раздавался выстрел, пулей взлетал огнистый уголек, и вырывался испуганный вскрик. И не раз вот так же от треска, от шорохов, от тяжких вздохов, от мертвенно искаженных заревом лиц сердце обрывалось в пропасть, но и оттуда просило: еще, еще! — чтоб уж ахнуть, так от макушки до пяток!

Агафья помнила лучину, а отец рассказывал, что помнит не только бычьи пузыри на окнах вместо стекол, но и то, как печную трубу затыкали сверху, с крыши, и добавлял при этом с тяжелым недоумением: «Чего уж не могли догадаться изнутри заслонки делать, тут никакой особой хитрости не требуется».

Зато потом закипела такая смекалистая жизнь, что только успевай поворачивайся. И казалось Агафье, когда она раздумывала об этой жизни, что не похоже, чтобы ее и сто лет спустя можно было назвать стариной, что все больше выкореняется она, выходит на поверхность и не вниз ляжет, как века до нее, плотным удобренным пластом, а выдуется в воздух.

Надо было с чего-то начинать, чтобы не изнурить себя бездельем, — принялась Агафья таскать мох. Все равно пригодится, без мха, без конопата и стайка не ставится. Но вблизи уже подчистую выдрали его по речкам да по ельникам, на полтораста с лишним построек надо было его где-то набраться, и ходить пришлось далеко, с двумя туго набитыми мешками, один на плече, другой в обнимку сбоку, скатывающимися и сползающими, она ухайдакивалась не меньше, чем если бы встала за бревешки. Но прежде чем встать за бревешки, надо было положить вниз под венцы лиственничный оклад. Листвяки из лесу на плечах не доставишь. Делать нечего — пошла она опять к Савелию. Пошла уже в сумерках и не застала дома. Обошла кругом его избу и не узнала ее. Изба Савелия, сдернутая со своего родного места, от речки с ее неумолчным серебристым

говорком, из-под двух громадных елей, сказочно стоявших сторожами по углам, с поляны, которая заботливо уводила ее в свою глубину с проезжей дороги и выставляла картинкой, — здесь, в общем ряду на солнцепеке теремок Савелия превратился сразу в почерневшую обдергайку с подслеповатыми окнами, откнувшуюся, где ей было велено. «А ведь он хозяин, у него руки золотые, — с тоской думала Агафья. — Что же у меня-то будет?»

Не застала она Савелия и рано утром; потом выяснилось, что он плавал в Еремину и тоже маял там душу, уже чужим человеком глядя на уютный и величавый убор, среди которого жил, — и на осиротевшие сразу ели, и на скорбную, потерявшую вид полянку. Даже речка лопотала теперь по-другому. Заночевал он в брошенном сеннике, от тоски видел во сне скончавшуюся давно жену, которая не захотела с ним разговаривать и все отводила глаза. Агафья подкараулила, когда затарахтел, сбиваясь на отрывистый больной кашель, трактор Савелия, вышла навстречу и остановила.

— Ну так че, — согласился Савелий, задумчиво выслушав Агафью. — Привезем. И валить не надо, я знаю, где мужики с эстакады берут. Оклад,

ясно дело, нужно листвяковый. — И, прищурив по обыкновению левый глаз, вглядываясь в нее, помолчал и добавил с чуть заметным нажимом: — Съездим. Может, завтра и съездим. Приди вечером, я тебе верней скажу.

«Простота, — посмеивалась она потом над собой. — Он по-особому это сказал, можно бы и догадаться. Ой, простота с пустого куста».

Вечером Агафья, отворив калитку, которая на скорую руку запиралась бесхитростной вьюшкой, наткнулась на Савелия во дворе. Маленьким топориком с крашеным желтым топорищем он вел по доске такую ровную стружку, что не надо и рубанка. И, оставляя дело, не воткнул топорик в чурку, а ласково положил поверх доски.

Все у него было уже на месте — высокое крылечко, и сени, заваленные всяким шурум-бурумом, среди которого Агафья рассмотрела конский хомут и детскую зыбку. То и другое едва ли могло пригодиться, но ведь жалко, жалко бросать! — И Агафья как укололась о хомут и зыбку, вспомнив, что хотела она оставить в Криволуцкой кросна. Им тоже скорей всего не бывать в деле — кто теперь садится за тканье! — да ведь не все же для рук, надо что-то и для сердца. Изба у Савелия изнутри смотрелась просторней, чем

показывала с улицы, но и была она нараспах — ни заборки, ни печи. По полу чернели полосы от заборки, в левом дальнем углу, где стояла русская печь, сияли гладкой упругой белизной свежие половицы. Значит, и Савелий, как все почти в поселке, отказался от глинобитной печи, будет класть из кирпича. Железная кровать с панцирной сеткой, застланная лоскутным одеялом, стол, накрытый стершейся клеенкой, три табуретки — вот и вся обстановка. Возле стен навалом тоже шурум-бурум из лопоти, посуды, утвари, из того неисчислимого подручья, что запрягается и объезжается в дому постоянно.

— Вот, — растерянно и мрачно сказал Савелий, пряча глаза, — такая моя хоромина. Сверху, видишь, не капает, тепло будет. — Он вдруг удивленно хмыкнул, точно ему удалось увидеть себя со стороны, в одно мгновенье переломил себя, скрываясь за шутовской тон, весело предложил: — Перебирайся-ка ты сюда, дева. Чего мы будем вторую избу ставить!.. Перезимуешь… не поглянется — весной поставим.

— Ты никак меня сватать задумал? — от неожиданности растягивая слова, спросила она.

— Задумал. Сватаю уж…

— Ой, да ты куда это заехал? Из меня какая баба!

Ты че это? Ни сварить, ни обшить. Я все на бегу. Я вся на бегу, — поправилась она. — Ниче не умею. Ты че-то во мне не то увидал. Я выхолостилась уж не знай когда.

Это была не игра, не ломанье бабы, любящей узор и силу напора, сомневаться в этом было нельзя, и Савелию ничего не оставалось, как отступить. А ведь и не обидела даже баба. Он без натуги рассмеялся, прекращая «сватовство»:

— Глаза плохо видят, вот и не увидал.

На другой день, когда поехали за листвяками, Агафья расспросила подробно, с чем остался он, вступая в новую жизнь. Но говорили они не в продолжение вчерашнего разговора, о котором молчаливым согласием постановлено было раз навсегда забыть, а совсем отдельно от него, совсем самостоятельно. Попытку Савелия сойтись постановлено было забыть, и все же, странное дело, после нее, ни к чему не приведшей, ничего не оставившей, кроме неловкости, стали они ближе, каким-то утешением, невесть откуда взявшимся, связались теснее, и все, что узнавала Агафья о Савелии, расспрашивая его, укладывала она в свою душу поближе. Старшая его дочь по накатанной всеми деревенскими девчонками дорожке уже укатила в город,

поступила в поварскую школу, младшая, четырнадцати лет, которой оставалось доучиваться в восьмиклассной школе год, вострила глаза туда же, а пока в учебные месяцы жила у тетки в райцентре. Старшая в мать, быстрая, легкая, смелая, а младшая тоже в конопушках, задумчивая, приземистая. И любит отца, и обижается на него за рябь на лице. Почти десять годочков помогала Савелию поднимать девчонок вместо матери взятая им за себя из райцентра, как он называл ее, «моя молодайка». Тогда, после войны, это было нетрудно — привести в детную семью молодую вдовицу с мальчишкой. Агафья видела ее, помнила: высокая, волоокая, красивая, глаза поднимала лениво, смотрела в упор. И себя, и ребятишек, и избу содержала в чистоте, в деревенскую маяту впряглась без понукания, но к затянутой дремучими лесами Ереминой так и не привыкла. Еремина и из Криволуцкой смотрелась глухим углом, жизнь поживее шла правым берегом. Звали «молодайку» Пана. Умела она держать на расстоянии деревенских баб, за это они недолюбливали ее, но за ласковое обращение с девчонками прощали ей все, а за то, что водила она девчонок на могилу матери, еще и не удерживались от чувствительной слезы. Так

и жила — не своя и не чужачка; должно быть, так же, как деревенских, держала она на расстоянии и Савелия. Как в отпуск, уезжала на неделю, на две на аборты в райцентр, возвращалась осунувшаяся, неразговорчивая, отмякала не сразу. Баба в ней тянулась к Савелию, к его спокойному и красивому нраву, к сильным и умелым рукам, а неуступчивая, тоскующая по чему-то другому душа тянула к разрыву. Как раз начался переполох с переселением, сковыриваемый народ заметался, еще за год до того уехал в город в ремесленное сын Паны, потом поехала старшая Савельева дочь — и однажды утром в начале лета встала перед Савелием с окончательным решением и его «молодайка». Он ждал этого, чуял и удерживать не стал. «За десять лет возле девчонок я поклонился ей в ноги», — сказал он, и Агафья знала, что это не пустые слова, что так он и сделал; нет, было, было в нем что-то дальнее.

Теперь вот перебрался на людное место, а один. Жить ожиданием дочерей, которые изредка станут приезжать гостьями на показ родителю? Но еще будут ли приезжать? Едут к матери, там неодолимая тяга плода, помнящего вынашивающую, утробную колыбель, к отцу такой тяги

не бывает. А одиночество мужик выдерживает недолго.

Доставили листвяки, намаявшись с ними меньше, чем боялась Агафья, и в тот же вечер, не обрывая везенья, оконтурили гнездо для избы. Можно сказать, что зачали ее, голубушку, оставалось выносить да родить. Развернули хорошо: два окна будут смотреть на восход солнца и два — на дневной его ход. Впервые за последние месяцы, с той поры как угодила она в больницу, сердце ночевало у Агафьи на месте. И утром вскочила она весело, жадно, в нетерпении побежала к Савелию, чтобы раньше леспромхоза снять его на свою работу, застала его прежде чая, который только гоношил он на железной печурке во дворе, потом присела вместе с ним за стол и, подливая в кружки себе и Савелию, погружаясь в тепло от чая и от близости к нему, стала рассказывать:

— Я три дни назад на корову свою ходила поглядеть. Корову я ишо летом в общее стадо сдала… не насовсем, до подыма рук. Дом и корову в один обхват мне бы нонче не осилить. Я свою силу знаю. Ну и отвела, леспромхоз такое предложение сделал: кто на себя не надеется, ведите к нам, мы будем содержать ваших коров до новой

травки, до тепла, а молоко в столовую, в детский сад. Для меня это большое пособие вышло. Семь коров отвели, они на дальней елани стоят, гумно там под коровник приспособили.

Я пошла, перед коровой уж стыдно, что избавилась и глаз не кажу. Приходю, у прясла стала. «Марта, Марта!» — зову, она у меня мартовская. Марта моя услыхала меня, я вижу, что голос узнала. А стоит, не идет. Голову к земле пригнула, набычилась, в характер уперлась и никак, осердилась на меня, что я с хозяйства ее сняла. «Марта, Марта!» — Я к ней с лаской, а она отвернулась и пошла от меня в дальний угол. Вот какая честная корова! Нет, перезимую, даст Бог, и надо за стайку браться. Ой, да когда бы не эта беда, не больница, разве бы я счас такая была? У меня бы разве две руки было?!

В тот день уложили они оклад. На разделке провозились с лиственницами долго, пришлось подворачивать на подмогу проходившего мимо парня с полным ртом металлических зубов, прогуливавшегося по поселку в майке и высоких резиновых сапогах… Подворачивали на пять минут, только чтобы пособил надвинуть влипший в глинистую землю комель на слегу, а парень разохотился и остался часа на три. Когда лег оклад,

как тут и был, и Савелий, отпыхиваясь, опустился на еловый пень и потянулся за папиросами, а парень, как показалось Агафье, в ожидании ходил вокруг сделанной работы и, постукивая по лиственницам топором, слушал с восхищением тугой звон, сказала Агафья виновато:

— А мне вас и угостить нечем.

— Нечем — обратно вытащим! — развеселился парень. — Обратно в лес увезем. Заводи, друг Савелий.

После этого Савелий пропал. Агафья не искала его, но ждала, распрямляясь на каждый стукоток мотора. Нету — значит, нету в поселке, значит, турнули куда-то вместе с трактором. Леспромхоз о садившихся на его землю бывших колхозниках не особенно горевал, они — как мухи: если и пристынут от морозов, так оттают, но у леспромхоза уходило время, чтобы поставить гараж, мастерские, пекарню, подвести электричество, пригнать, пока есть дороги, технику, а работнички расползлись все по собственным стройкам, и выковыривать их приходилось чаще всего облавой: кого поймали, того и запрягли.

И принялась Агафья ворочать бревнышки в одиночку. Попробовала — ничего: тянем-потянем — вытянем. Она была уже не та, что воро-

тилась из больницы: не дрожали мелконькой нутряной дрожью от натуги руки, пугающая эта дрожь не перебрасывалась на лицо, набралась терпения поясница. Эх, на десять бы лет пораньше, она бы эту избеночку в леготочку скатала, они, бревешки-то, высохшие в стенах лет за пятьдесят от солнца и русской печины, не упрямые. Но не упрямые для матерого мужика, а для бабы? «Какая я баба? — одергивала она себя. — Одна затея бабья».

Еще поперед главного дела сколотила она каморку от дождя и зноя, пустила на нее старую драньевую крышу от избы. Савелий же подсказал, что крыша эта свое отслужила, в леспромхозе можно выписать тес, лесопилка пилит денно и нощно. Потом, позже, поставит Агафья в каморку железную печурку, чтобы погреться и сварить. Но ночевать она по-прежнему убегала в Криволуцкую… ой, да не на ногах убегала, а лётом улетала. До упади изматывалась, но только нацелит ногу на Криволуцкую дорогу — и себя не помнит, как добежит. Возле русской печи, брошенной под небом, и разберется, и успокоится как на родной могилке. Все свои страхи убаюкает сном, вскочит, придет в память, а они, страхи-то, снова ворохом наседают, и надо то-

ропиться, чтобы укладывать их в стены. Зато как хорошо потом, насадив на свое законное место венец, сесть без сил подле, прислонясь спиной к бревешкам, вытянув ноги в кирзовых сапогах, и чувствовать, как тукает-тукает в спину легкими толчками: оживали бревешки, врастая в одну плоть, начинали дышать. «От своих-то рук теплее будет», — и не различить уже было, от нее шли эти слова или они шли к ней.

Вот уже и покатá задрала она вверх и взялась за веревки: подтянет бревно с одного конца, закрепит и тянет за другой, помучится, насаживая выемкой на нижний слой, чтобы не сбить мох, покорячится, чтобы плотно легло оно в углах в замок, но уложит и порадуется… Вот уже пошли на две стороны оконные проемы и способней стало наваливать из-под рук — от живота рывком вверх, и там! Вот уже и дверной проем, обороченный к Ангаре, поднялся Агафье в рост, и вот уже принялась она разбирать на две укладки, где потолочные плахи и где половые… Все на виду — ни огорожи, ни куста; торопится мимо мужик, наткнется глазами на бабу, муравьем тянущую на загорбке «щепку» втрое больше себя, выругается невесть на кого, но подворачивает и на час, на другой застрянет. А застряв раз, идет в другой

раз проверить, как там ладится у отчаянной бабы, не завалилась ли она с надрыву, и опять застрянет… Ищет на закате солнца холостежь место для сборища и приостановится в нерешительности, кто-нибудь побойчее крикнет:

— Что, тетка, пропустишь мимо своей стройки али нет? Какое будет твое указание?

Агафья оботрет пот со лба, ей и этот окрик в помощь:

— Седни-то уж так и быть. Проходите, щ-щупайте своих девок… А завтра этак же гаркни меня, я вам здесь работу найду.

— Ты шибко-то не ищи. Мы малолетки.

— А малолетков дома на привязи держат. Поворачивай домой.

И уж потом дня не проходило, чтобы кто-нибудь не заглянул. Один плечо подставит, другой даст совет, третий пройдется брусочком по топору и натешет клиньев и штырей, четвертый на ходу крикнет, чтоб звала ставить стропила, когда дойдет до них очередь, пятый везет мимо свежий лес и сбросит с машины с откинутым задним бортом несколько сутунков: «Это тебе на стояки под печку — будешь класть печку-то?», а Агафье до печки, до подполья и до стояков — еще как до второй жизни.

Но уже поверила она, что будет зимовать в своей избе. Упаси Бог вслух сказать об этом, она боялась даже ближние планы городить, все убывающее беспрестанно пространство до белых мух окидывая торопливо и суеверно — не сбилось бы что-нибудь в его ходе, не скомкалось бы… Зарядят, к примеру, проливные дожди — и нет недели, а то и двух. Всего боялась, а между тем сердце стучало все ровней и уверенней, все снисходительней к этим страхам, принимая их за выставляемую наперед по привычке защиту: где подстелена соломка, туда лихо не упадет. Погода стояла как на заказ, после колючих утренников разливалось во всю поднебесную тучное, ленивое тепло, с избытком оставшееся от лета, после обеда с низовий Ангары добродушно погромыхивал гром, но отводил дожди в сторону и стояло сухо, томительно-хорошо. Гром наладился греметь точно бой небесных часов, не могущих замедлить свой ход и поторапливающих, поторапливающих… С Ангары ему откликались и вторили протяжными тоскливыми гудками суда, уходящие на зимний отстой.

У Агафьи перепутались дни, принялись, оттесняя ночи, наползать один на другой, и она не могла припомнить, спала ли, и где спала, и ка-

кая работа была вчерашней, какая сегодняшней. Все реже бегала она на ночевку в Криволуцкую, дотягивая до последней минуты, когда уже и бежать было незачем, и все чаще в темноте подогревала чай в старой закопченной манерке, прихлебывала его без вкуса, заливая саднящий, долго не остывающий огонь внутри, ненадолго задумывалась, а уж в щелястую дверь каморки опять пробивался свет. Она перестала чувствовать свое тело, оно затвердело в грубое и комковатое орудие для работы; нельзя было поверить, что еще полтора-два месяца назад она лечила это тело от какой-то надсады. Кроме своей избы, она больше ничего не видела, оглядываясь на поселок, где по-прежнему царил беспорядок, но подросший, тянущийся вверх, выкидывающий, как на грядках, одинаковые заостренные головки крыш; прислушиваясь к дробному, неумолчному стукотку топоров, визгу пил, она забывалась до того, что во всем ей мерещилась своя изба, двоящаяся, троящаяся, сотящаяся под слепящим солнцем в усталых глазах, и везде слышался разносимый эхом свой стукоток. Никогда, ни в какую жару не потевшая, носившая свое сухое тело легко и быстро, она стала потеть, высохла еще больше и выострилась грудью вперед. Сама

себе говорила голосом Савелия: «А ведь ты, девка, лопнешь, ежели не дашь себе продыху. Вот так пополам и лопнешь». И сама же себе отвечала: «Но-о, лопну! Я посередь воза никогда не лопну. Не имею такого права».

И вдруг, ночуя в Криволуцкой, не смогла утром подняться. Нигде не болело, внутри была одна пустота, не держали ноги, нечувствительными плетями повисли руки. Агафья лежала на деревянной кровати, грубо сколоченной еще ее Чапаем, которую она держала как память о нем, лежала, только и сумев толкнуть в улицу низкую амбарную дверку, и слышала, прислушиваясь к себе, как в пустоте ее тела от дыхания ходит ветер. «Вся, че ли, вышла?» — с ясностью думала она, совсем просто и коротко, без досады и страха. В амбаре было прохладно, стены завешены одежонкой, углы завалены всяким скарбом, от чугунов и кринок до деревянной лопаты для хлебов, от керосинового фонаря до резиновых сапог — все это ждало переезда, все прежде поторапливало хозяйку, а теперь скорбно притихло. Отдаленно и кисло тянуло запахом от мышей — еще с той поры, как в амбаре были сусеки с мукой. Солнечный свет не заходил за порожек. Там, за порожком, стояла нежилая,

погасшая тишина, быстро дичающая, горчащая от брошенных печей, потом опять несердито зарокотал гром, научившийся не взбивать грозу, а ограждать от нее, на этот раз словно окликающий Агафью — и она в ответ послала ему слабый и виноватый вздох. Закрыло солнце, дунуло коротким ветерком, зашумело сносимой листвой, и опять все стихло. Солнце не показывалось долго. Воздух в проеме стеклянно посинел, лес за ним стоял вогнутой искривленной стеной. И в дреме поплыла, поплыла от всего этого Агафья на другой берег, наклоняясь вперед и гребя руками, досадливо взмахивая, когда руки не доставали до воды.

Не поднялась она и на второй день, но полночи проспала в полном забытьи и проснулась со слабой занывающей болью в теле. Вспомнив, что за сутки маковой росинки не брала она в рот, Агафья заставила себя спустить на пол ноги, заставила подняться, со стоном, кряхтением и кашлем сделала два шага до фанерного ящика, где давно черствела буханка хлеба, уже казенного, из пекарни, отломила кусок, зачерпнула из ведра ангарской воды и выпила полон ковшик. Хлебушек она хотела пощипать на порожке, но ни кусок не лез в горло, ни высидеть пяти

минут не могла. Пришлось снова лечь — так, с куском хлеба на груди на темной мужской рубахе, и заснула опять, с особой остротой чувствуя во сне, как сереет, становясь пористым, небо и подкрадывается дождь. Просыпалась, убеждаясь, что и верно набухает видимый край неба над горой, и опять неудержимо утягивалась в сон, снова просыпалась, слушала с минуту жесткое шуршание дождя о землю и крышу и еще стремительнее забывалась.

Изба к тому времени стояла у Агафьи под стропилами и был настлан потолок. Некстати свалилась она, некстати пошел и дождь, но когда ж в такую страду это вышло бы кстати? Дождь начался крупным и резким боем и точно взбил тепло от нагретой земли — через час не по-осеннему помякло, смиренно и скучно притихло и замаяло, занудило сверху липким сеевом. Промаяло сутки, затем подула холодная низовка, и дождь отступал уже злее, с белыми мухами. В Криволуцкую притарахтел на своем тракторе Савелий и застал Агафью сидящей на кровати. На полу валялись хлебные крошки, перевернутый ковш лежал на постели в ногах. Сидела Агафья, склонившись вперед, опершись вытянутыми руками о колени, точно приготовившись

к рывку. Обута в сапоги, на плечи накинута телогрейка. Лицо еще больше заострилось и в то же время разгладилось, доболела она до кости, на которой морщины не держатся. Савелий тотчас поставил диагноз:

— Надорвалась. Дурная ты баба!

— Споткнулася, — поправляя, сказала Агафья.

— Обо что споткнулася?

— А об эту кровать. Зачем было ложиться? Я до того сидючи спала. Р-раз! — и на ногах!

— Ты научись стоючи спать, — подхватил он. — Научись-ка! Как кобыла, которую не распрягают. Или того лутше — на ходу!

— Так а че… — неопределенно вздохнула Агафья, как будто и соглашаясь. — Я так-то не сонливая. Упаду да вскочу, упаду да вскочу. Я ни один сон, однако что, не досмотрела. А тут как в пропасть утянуло, как в болото.

— Встать-то сможешь?

— Вста-а-ну! Это мне нипочем. Седни же встану. А завтри на избу. Видал ты мою избу?

— Видал.

— Ну и че?

— Вся в хозяйку. Хвалится на всю округу, а ее, безголовую, бескрышую, во все дыры мочит. Ты, Агафья, баба храбрая. Но ты баба неумная, ты

алчная до работы. Ты погляди: че ты за те дни сверх мочи из себя выгнала, за эти дни потеряла. Не выгадала, а прогадала. Избу свою ты, конечно, возвысила… А ведь все равно: там начать да кончить. Ты там здоровая нужна.

— Начать да кончить, это верно, — согласилась она, кивнув и надолго оставшись с мелко кивающей головой. — Это уж верней верного.

Утром она сумела подставить под себя ноги и в три приема одолела дорогу из Криволуцкой. После обеда Савелий привез на лесовозе тес, выгрузил его вместе с шофером лесовоза, напугав кинувшуюся помогать Агафью решительным окриком, но потребовалось обрезать доски, и уже она не менее решительно прикрикнула на Савелия, когда он попытался отнять у нее ножовку. Дул холодный порывистый ветер, в лицо бросало лиственничную хвою с недалеких лесов, и Агафья все вскидывала глаза, все вглядывалась с опаской, не снег ли опять. По небу быстро несло леденистые тучи, в поселке топились печи и с крыш сбивало в несколько дней полинявшие белесые дымы. Топилась железная печурка и в каморке у Агафьи. Савелий дважды в приказном порядке отправлял ее подогревать чай, шел вслед за нею, чтобы тут же не выскочила обратно,

и мучился от безвкусной распаренной жидкости. Толку в чае Агафья не знала и подогревала его вместе с заваркой. Мучился и все больше убеждался, что, не умея угодить себе, не угодила бы она в хозяйках и ему и что была она умнее его, не согласившись на общую жизнь.

На другой день, а день уже тихо, задумчиво, но прохладно и тускло золотился под солнцем, закрыли они избу. Тес был сырой, Савелий вздыхал со стыдом, набивая тяжелые молочнистые доски, — но когда же их было сушить? — и набивал внакладку, ведя крышу сразу с двух боков. Агафья подавала тесины снизу, подпрыгивала, набрасывая их на потолок, и, когда Савелий спрашивал, не умаялась ли, радостно, возбужденно выкрикивала:

— С чего? С чего умаяться-то? Ты уж меня совсем-то за клячу не принимай.

Сырой тес, а лег доска к доске на два блестящих, играющих белизной и новизной ската, как засиял уже в сумерках, когда, пристукнув в последний раз по крыше топором, спустился Савелий вниз, — будто свет заструился над избой, и встала она в рост, сразу вдвигаясь в жилой порядок. Шел мимо Кеша Осоргин, как он сам называл себя, «бессрочный старик», по той при-

чине, что не знал своего года рождения, был, как всегда к вечеру, пьяненький, переживая невиданную славу, неслыханный спрос на себя: никогда еще не случалось, чтобы всем сразу потребовались печи, но тут так и вышло, а Кеша был печником, притом печником хорошим. Шел он и, наткнувшись на новую крышу на старых стенах, пронзительным голоском, соответствующим маленькому сухому телу, заявил:

— Как седло на корове!

— Зато какое седло! — не растерялся Савелий. А Агафье, сконфуженно посмеиваясь, сказал: — Через год почернеет, новое на старом старится скоро. Зато счас... сверху, с самолетов, будут глядеть: чья это такая бравая хоромина? Не иначе — большого начальника.

Агафья и ночью выходила постоять возле избы. Мелконько, притушенно мигали звезды, луна с поджатым боком устало продиралась сквозь дымную наволоку, в свинцовой неподвижности стыла Ангара, разворачиваясь вправо, к Криволуцкой... В глубоком сне лежал поселок, лес по горе чернел остистым и вытертым воротниковым опухом... А над ее, Агафьиной, избой висело тонкое, прозрачное зарево из солнечного и лунного света. «Ну и поживу ишо, — оброчно

и радостно думала Агафья, соглашаясь с чем-то, пахнувшим на нее с такой легкостью, что не осталось и следа. — Ой, да че ж не пожить-то, ежели так!..» Она поискала в небе — Стожары стояли еще высоко, и ночи впереди было много; знобко зевнула, прикрываясь ладонью, похлопывая ею по рту, и вернулась в каморку, легла. И как в детской колыбели, чего не бывало давным-давно, унесло ее, как на мягких руках укачало — вскочила уже при солнце, непритворно заахала, набрасываясь на себя с попреками, но чувствовала уже, что выспалась не своим изношенным сном, когда вся ночь в заплатах да дырах, а сном свежим, здоровым, и выспалась впрок.

И опять она заторопилась, заторопилась. Зима подгоняла — это само собой, но и помимо того подхватил ее опьяняющий порыв, сродни любовному, какой бывает у девчонки, когда только одного она и видит во всем свете, только к одному и влечется, а вся остальная жизнь — как кружная дорога, чтобы переполниться тоской. Только одно и знала Агафья — скорей, скорей к избе, только там она и успокаивалась. Просыпалась среди ночи, пронзенная нетерпеливым толчком, и не могла дождаться: «Где же это утро-то заблудилося?», отрывалась от работы, чтобы сбегать

в магазин за хлебом, а там очередь, хлеб из пекарни обещают «вот-вот», но десяти-пятнадцати минут не в силах она была выдержать и бежала обратно: «Че ж я, без обеда, че ли, не перетерплю?» Не успевала закончить одно дело, а руки уже просили другое, и чувствовала она, как придвигается к ней новая мера работы.

Савелия снова угнали надолго на лесосеку, но Агафья совсем без страха, даже с тайной радостью осталась одна на стройке. Она натаскала на потолок землю, отрывая одновременно яму для подполья, одна поставила дверную и оконные коробки, настелила черный пол, а потом и верхний, чистый, изредка зазывая с улицы кого-нибудь из мужиков для короткой подмоги и совета. И успокойлась, стала лучше спать, заставляла себя отрываться на варево, чтобы не ссохся желудок. В ясные вечера полюбила, одевшись потеплее и устроившись на высокий еловый пень, показывать себя рядом с избой, заговаривать с прохожими, узнавать у незнакомых баб, кто откуда, полюбила, греясь под вниманием, чтобы окликали и ее, но упаси Господь, чтобы засиживалась она дольше, чем вскипеть чайнику.

Настал день, когда и чайник закипел в избе, куда Агафья перенесла из каморки железную

печурку. Но к той поре она и в улицу выглядывала из застекленных окон. К той поре впритык к стене под окнами у нее уже был сложен кирпич, за которым гоняться не пришлось: услыхал об отчаянной бабе, в одиночку собиравшей избу, директор леспромхоза и приказал доставить ей кирпич без очереди. Зато потом три дня ходила она за Кешей Осоргиным, зазывая его на кладку своей печи, терпела Кешино балагурство и пьяненькую похвальбу, уже на другой день обнаружила себя в подручных у него, замешивающей раствор и подающей кирпич, но при этом зорко высматривала, как ведет Кеша печные ходы, а высмотрев, отстала и сложила печь сама.

Затопила она ее уже в ноябре. Уже остыло солнце, не грея, а гладя бледными лучами, уже налетали с низовий ветры в белых рядах и нещадно трепали оголенные леса, уже тускло опустилось небо, а по Ангаре несло шугу, когда пустила Агафья дым. Среди дня набрались сумерки, предвещая снег, из-за окон доносилось, с какой порывистостью дышит вступающая в мир зима. И гудела печь, выбрасывая из дверцы трепещущие блики. Агафья придвинула табуретку, села подле дверцы, протягивая к ней руки, и, ощутив первое тепло, пробежавшее по рукам

и лицу, сказала в окно:

— Ты не обробела, да ведь и я, матушка, успела. Так-то.

Ночью она лежала без сна, слушала, как крях-тят в углах набирающие тепло стены, как тяжко отдыхивается после топки печь, вспоминала детские страхи от рассказов о леших и домовых и хозяйской, ничего не упускающей мыслью решила: «Ниче, я сама буду домовым».

Прожила Агафья после этого без одного года двадцать лет. Безвылазная работа никого не щадит, и Агафья состарилась рано, но не так, как в себя впускают старость каплю за каплей, а точно переодевшись в нее однажды раз и навсегда и до-таскивая до последней мочи. И верно — ходила она постоянно в темном, обходясь двумя-тремя длинными юбками и двумя кофтами фабричной вязки под телогрейкой, тонкие кожаные чирки после переезда заменила на кирзовые сапоги, бессменные в сушь и грязь, с головы не снимала подвязываемого под подбородком то ситцевого платка по теплу, то шерстяного. Лицо у нее тоже потемнело и выткалось бисером частых и тон-ких морщинок, по которым, умей кто читать, прочитались бы однообразные подробности жизни. Руки в те короткие перерывы, когда они

не были заняты делом, держала Агафья у живота, в укладку, давая им покой. До последних дней ходила быстро, прямя высокую сухую фигуру, с поднятой головой, и никогда не говорила «пойду», только «побегу». Не жаловалась ни на глаза, ни на зубы, перед нею выставляли три мелкие иголки кряду, и она в мгновение нанизывала их на нитку. Сначала пугалась, а потом привыкла к приступам «лихоманки», которая налетала на нее раза два в году и подсекала безжалостно, так что Агафья не в состоянии была подняться ни к корове, ни к печи. В первые годы после переезда она пробовала работать в леспромхозе и пошла на лесосеку жечь сучья, пока не хватила ее однажды «лихоманка» в лесу. Позднее пожалели Агафью и снова взяли на лесосеку, на этот раз в кашевары, да, попробовав Агафьиных каш и раз, и другой и видя искреннее простодушие, с каким не понимала она, чего от нее хотят, нагрузили ей в откуп полрюкзака тушенки и уже навсегда проводили из леса. Пришлось садиться на колхозную пенсию в 24 рубля.

Она держала корову, каждую весну брала двух поросят и кормила их до поздней осени. Под стайки на другое лето после избы успела вывезти из Криволуцкой сначала свой амбар, а потом

и чужой, совсем худенький, брошенный. Опять катала бревешки, опять тянула жилы, подтаскивая из леса то жерди, то слеги, вытягивая из грязи вокруг мастерских и гаража бесхозные доски. Разодрала огород и загородила его, в первые годы накапывала картошки по пятьдесят-шестьдесят кулей. Поставила ограду — тыновую, высокую, что тебе крепостная стена. Все из-под Агафьиных рук выходило не по линейке, вразнобой и вразнохлыст: столбы не держали строя, тын то приседал, то вытягивался — зато прочно: те же столбы уходили в землю на полтора метра, сени смотрелись жилым пристроем. Экономить силы она не умела, но каким-то загадочным круговоротом они возвращались к ней, и, не мешкая, она устремлялась на новую цель. Да ведь и обиходный круговорот со скотиной и огородом, с избой и тайгой шел беспрерывный. Один сенокос чего стоил! Ни одной копенки ни разу она не прикупила, всегда обходилась своим, и каждую осень два зародчика вставали за стайками в огороде, будто там и росли. А тайга! Агафья не охотница была до ягод, но за десять-пятнадцать верст, пока носили ноги, бежала колотить кедровую шишку, в три раза далее того по Криволуцкой тропе шла брать чистую рыбу в Илиме, потому что

в подпруженной Ангаре добрая рыба вывелась, рвала черемшу, ставила петли на ушканов, покуда не распугали их леспромхозовской войной против леса.

Агафья не была скупой, напротив, считалась простушей и могла не пожалеть последнего, но к деньгам у нее было старинное отношение, не дающее им воли. Ей удавалось продавать понемножку то молоко, то мясо, реже картошку, но, с другой стороны, и хлеб надо было теперь покупать, а не из квашонки наставлять в русскую печь, и за простенькой мануфактурой отправляться в сельпо, а не шить из самотканой холстины, и сено из-за хребта, где сенокос, на лошадках теперь было не привезти, потому что вывели тех лошадок, и расчет пошел на бутылки. Не добыть комбикорма, не засветить электричество после шквального ветра, замкнувшего провода, не забить борова, не раскряжевать на дрова хлыст… Воду и ту, качая ее из скважины, стали привозить за деньги. Тут деваться некуда, тут хочешь не хочешь, а расплачивайся. Но с удивлением и стыдом смотрела Агафья на мужика, покупающего в магазине топорище, или на разъевшуюся, поперек толще, бабу, нанимающую работницу копать на трех сотках картошку. Не карман этого

мужика и этой бабы она жалела, а сами деньги, попавшие в несерьезное место, где им не знают цены. Полоруких развелось — через одного, и, как всегда, когда полость обнаруживается в неположенном месте, в другом неположенном месте появляется у человека язвенный нарост, вроде пьянства. Никаким новым обычаем было не сбить Агафью: деньги должны идти только на нужду, быть только пособием в недостатке, все, что сверх того, пользы не принесет.

Со своим хозяйством колхозных 24 рублей Агафье хватало вполне, из этого же прихода она умела выкроить избыток, который два раза в году отправляла по почте дочери в город. Дочь в ответ откликалась на Рождество открытками. Прочитать их было невозможно ни грамотному, ни безграмотному! Агафья узнавала руку, выводившую три или четыре короткие и размашистые волнистые линии, подолгу изучала цветную картинку на обороте, отдаваясь этому занятию с приливающей нежностью к чему-то неизведанному, прошедшему мимо ее жизни, с неясным вздохом укладывала открытку сверху в ту же пачку, что и все остальные, хранившуюся на посудной полке за горкой фарфоровых тарелок. Дочь не изъявляла желания приехать,

а Агафья и не звала, не зная самого простого — как звать и зачем? В молодости она умела писать, научившись рядом с дочерью, когда та бегала в школу, потом забыла. Читала тоже с трудом и по печатному, печатными же заученными буквами крупно выводила половину своей фамилии, когда требовалось расписаться за пенсию.

У Савелия, пока он оставался в поселке, бывала часто. Угощаться не любила, она и везде-то, в любом доме чувствовала себя за столом стеснительно, а усаживалась у Савелия подле дверей на лавочке, ревниво убеждалась, что обихожена изба мужиком лучше, чем ею, бабой, и начинала разговор с одного и того же:

— Ну, так че решил?

Савелий долго жил в раздумье, переезжать или не переезжать в райцентр. После перетряски ангарского народа там, в райцентре, оказались у него два двоюродных брата из ереминского рода, там жила свояченица, младшая сестра умершей жены, не переставшая считать его за близкую родню, звавшая особенно настойчиво, оттуда было ближе до дочерей, там подворачивалась подходящая избенка для купли, вполне по карману, если здесь продаст он свою в леспромхоз. Со всех сторон выходило, что прямой резон

ему, одинокому и стареющему, перебираться. Но он медлил. Медлил еще два года и после того, как ушел на пенсию. Присмотренную им избенку продавали, находилась другая — продавали и ее, и он, ругая себя, но и успокаиваясь, снова и снова застревал. Сойдя с трактора, взялся Савелий столярничать, попробовал себя в тонкой работе, которая ведома краснодеревщикам, и смастерил себе буфет на загляденье, не надо и фабричного: точно пойманный по размеру и рисунку, аккуратный, ладный, светящийся отшлифованной белой доской, игриво пестрящий, под хозяина, конопушками сучков, сверху с остекленными узкими дверцами, снизу с дверцами глухими, но изукрашенными по краям лепной змейкой. Смастерил и поставил его в чистой комнате в красном углу. Агафья, увидев красавец буфет в первый раз, так и ахнула:

— Нет, парень, тебе в рай-ен надо, в рай-ен. — «Райен» выговаривался у нее с таким почтением, точно указывалось прямо на райское обитание. — Об таких руках тебе тут делать нечего… — и несколько раз за вечер подходила погладить буфет, понежить руку.

Агафье Савелий заменил на новые все табуретки и лавки, вся изба пропахла сладким смоляным

духом. Потом, не спрашивая, привез курятник. Агафья к той поре решила не знаться больше с курицами — возни и без них доставало. Но привез Савелий курятник — с широкой столешницей, на которой удобно вести стряпню, с узорной, радующей глаз решеткой, с длинным и узким корытцем, долбленным из березы, придерживаемым березовыми же красиво раскоряченными лапками, с двумя круглыми седалами внутри, одно выше, другое ниже, — ну и что? — ну и запросил у клохчущей от растерянности бабы курятник куриц, ну и завозились они опять, как при старом житье, ну и не вышло куриного облегчения.

Уезжал Савелий поздней осенью, когда сбило лист, индевели по утрам совсем по-зимнему заморозки и до колючей пустоты высветился воздух. Только что пробили наконец дорогу по горе вместо старой, затопленной, а до того шесть лет водой и тайгой были отрезаны от мира. Савелий взял в леспромхозе бортовую машину, еще с вечера загрузил ее, оставив на ночь в своем дворе, и уже в темноте постучал Агафье, чтобы она зашла попрощаться.

А она и не знала, что он наизготовке, что осталась последняя ночь.

Ярко светила голая лампочка под потолком, освещая пустые углы, о нее с бешенством бились злые последние мухи. Изба была хорошо вытоплена и чисто прибрана в своей пустынности. Чай пили за кухонным столиком, вынесенным в прихожую, этому столику отказано было в переезде. На плите тягучею мирною песней посапывал чайник ветеранского, закопченного вида, тоже никуда не собиравшийся. К печке после приборки прислонены веник и совок, рядом горка дров, на полке справа от печи несколько туесов с каким-то припасом. Как в таежном зимовье перед уходом, чтобы следующий путник мог почувствовать гостеприимство.

Агафья угощалась карамелью, наваленной на столе, хрумкала и вздыхала, хрумкала и вздыхала. Савелий, оставив возле двери сапоги с коротко обрезанными голенищами, ходил в толстых шерстяных носках и в толстой же, навыпуск, старой вытертой рубахе, сшитой из шинельного сукна; лицо изжелта-красное, сквозь дряблость разогретое, неспокойное. Он подливал себе чаю и рассказывал о двух молодых учительницах, приходивших днем, которые будут жить в его избе. Одна показалась ему совсем ребенком, и, на износе своей жизни разучившись

угадывать, где шестнадцать лет и где двадцать, он удивлялся:

— Ручки тоненькие, ножки тоненькие, личико вострое, как у зверушки… Конфорку с плиты подняла и чуть не всю головенку туды затолкала. Француженка, ребятишек будет не по-нашему обучать. Я говорю: у меня печь жаркая, вы трубу не торопитесь закрывать, не дай Бог угорите. А вторая, посерьезней будет, поглаже… эта арихметику будет давать. «Вы, говорит, эта-то, говорит, — сколь раз на дню, ежели по зиме, печку топите?» — «Когда мороз, два раза топлю, а чуть отпустил мороз — одного раза хватит». Француженка, из себя вся тоненькая, а голос ниче, голос с натягом, говорит: «Каковая, значит, продолжительность топки?» — «Продолжительность топки, отвечаю, до ломоты в косте». — «Нам леспромхоз, — они мне докладывают, — должен бесплатно топливо доставлять… мы, значит, интересуемся, сколь кубометров заказывать…» — «Э-э, — говорю, — девоньки, у меня дров года на четыре наготовлено, вам эстолько и вполовину не сжегчи. То ли обзамужитесь, то ли ишо какой поворот. Вам леспромхоз свою обязанность не успеет оказать. Живите со спокоем».

Агафья смотрела на Савелия печально: он

не был разговорчивым, и, если разговорился, да еще как-то не по-мужицки, с подробностями, стало быть, не по себе ему. Только-только начали привыкать к новому месту, только разобрались, что впереди, что позади, — снова срывайся и кочуй, снова вместо прямого хода жизни завал в сторону. Агафье этого ни за что бы больше не вынести. Но про Савелия Агафья считала, что ему надо переезжать. Из местных, из корневых, был он как-то не по-местному одинок и грустен. Мужики в деревне горазды драть горло и на баб, и на ребятишек, на скотину, на тяжелую лесную работу, на самих себя, но если бы таким же макаром, выбрасывая зло, хоть раз крикнул Савелий, кругом онемели бы от неожиданности.

— Там тебе климатней будет, — сказала и на этот раз Агафья.

— Везде хорошо, где нас нету.

— Это так, — согласилась Агафья, наблюдая, как Савелий разворачивает уже третью конфетку и оставляет их нетронутыми. — Во мне, парень, скажу я тебе, Криволуцка по сю пору стоит. Здесь я не дома. И мало кто, кажется мне, дома. Я как эта… как русалка утопленная, брожу здесь и все кого-то зову… Зову и зову. А кого зову? Старую жисть? Не знаю. Че ее, поди-ка, звать?

Не воротится. Зову кого-то, до кого охота дозваться. Когда бы знала я точно: не дозовусь — жисть давно бы уж опостылела.

Ни одному-то сердечному делу она не научилась. Не сумела и попрощаться с Савелием. Только и сказала обвисшим голосом, мелкими шажками отступая к порогу:

— Я русалкой-то бродить здесь буду, кого-нить ишо покличу.

Через два года из райцентра дошло известие, что Савелия уже нет в живых. В несколько месяцев его загрыз рак. Агафья решила: «На мягких, на покладистых людей и болезни накидываются легче. Они и для болезней слаще». И без жалости подумала о себе: «Ты-то вся из одной людской запусти, на тебя и там спросу нету».

Много спустя, уже когда умерла дочь и где-то торилась и для нее самой дорожка к отбытию, приснился ей сон, поразивший ее откровенным своим смыслом. Сон такой: у себя в избе сидит она на полу, неловко подвернув ноги на одну сторону и кренясь на другую, и сморит, смотрит неотрывно перед собой, ничего не видя… Справа от нее лежит дочь, слева Савелий.

— Ты, мама, лежишь? — спрашивает дочь.

— Нет, сидю.

Чуть позже голос Савелия слева:

— Ты легла, Агафья?

— Ишо сидю.

Через полгода под самый Покров, укрывающий землю белым саваном, накрыли и Агафью в домовине белым полотном и снесли на погост, поставили над нею тяжелый лиственничный крест. Скончалась она со спокойным лицом. Скончалась ночью в постели, а утром разгулялся ветер и громко, внахлест бил и бил ставнем по окну, пока не обратили внимания: что ж это хозяйка-то терпит? Стали окликать ее, а она уж далеко.

Изба осталась сиротой, наследников у Агафьи не оказалось. Зиму простояла она безжизненной — ни дымка, ни огонька, с закрытыми наглухо окнами, оцепеневшая, безуходная, холодная, скорбная. Снег завалил ее снизу и сверху, только ставнями и чернела она, уткнувшись в сумет. Люди отводили от нее глаза и, избегая ненужных размышлений, торопились пройти мимо. Ходило над нею холодное солнце, выли метели, с грохотом проносились по улице лесовозы, звучали голоса ребятишек, возвращающихся из школы, — ни на что Агафьина изба отозваться не могла, умершая безмогильно, наводящая

на живых тяжелую тоску. Соседние избы невольно отжимались от нее, нахоженная по снегу тропка по переулку делала стыдливый отворот.

Где жизнь, туда и весна приходит раньше. Уже вовсю бежала капель, булькали по улицам ручьи, уже и канава в переулке вздыхала томно и нетерпеливо оседающим снегом, а Агафьина изба по-прежнему коченела все в той же стылой неподвижности. Она и на избу перестала походить — так, строение, выпятившееся на глаза, неуместное, отягощенное собою, вызывающее неловкость.

Потом кто-то догадался открыть ставни. Всего-то и надо было — дать свет в окошки. И задышала изба, очнулась, натянулась вся, подставила солнцу маленькие ослепшие глаза, заслезилась, принимая тепло, и за два дня скинула с себя смертный вид.

— Господи! — крестились бабы, оборачиваясь на избу. — Будто Агафья воротилась.

В те годы леспромхоз был в силе, работники зарабатывали хорошо, и ни парни, ни девки из поселка не убегали. Летом в Агафьиной избе поселилась молодая семья Горчаковых с годовалым парнишкой, решившая жить самостоятельно, отдельно от родителей. Вася Горчаков,

сутулый неразговорчивый парень с длинными, постоянно тревожными руками и с втянутой в плечи большой головой, был золотой работник в лесу, на трелевке, но не лежали у него руки к чужой избе, которая требовала то доски на замену оторванной, то поправы завалинки, а то просто молотка. Дождь мочил в сенцах, непогода бухала чем-то на крыше; пол-огорода запустили сразу же, стайки, сарайки оказались вовсе без надобности, курятник, тот самый, от Савелия, выбросили. У молодых были свои вкусы, а от курятника пахло. С месяц пролежал он на боку под открытым небом, пока кто-то не пожалел и не прибрал. Стеша, Васина жена, мясистая и медлительная 18-летняя деваха, не нажившая еще привязанности к своей семье, какая-то отвлеченная, часто уходившая с ребенком ночевать к матери, и не пыталась наводить уют в этом временном и случайном жилье. Только покрасили полы, у Агафьи они были не крашены, Агафья по старинке скребла половицы косарем и натирала песочком. И все равно держался в избе какой-то древний, словно бы и не человеческий, пропитавший стены, острый даже в своей угасшести, мускусный запах, вызывающий у Стеши аллергию.

— Смертью, что ли, пахнет? — постоянно морщилась она, напрягая большие открытые ноздри и вздрагивая чутко, по-животному, с пробегающей по всему телу дрожью.

Она и не заметила, не пытаясь привыкнуть к избе, что в сенцах перестало мочить. Вася заметил. «Затянуло чем-нибудь дыру, — решил он. — Обошлось без меня». И забыл. Но однажды, уже осенью, когда Вася ночевал один, его разбудил среди ночи стук — будто в чьих-то руках молоток погуливает по крыше. Он не поленился, вышел — никого, в мозглом сыром рассвете, как в трясине, едва проступали очертания домов, стояла вязкая тишина. Приблазнилось. Но ложился обратно в постель Вася с мыслью, что надо сегодня же, не откладывая, поговорить со Стешей и соглашаться на половину двухквартирного дома, который скоро достраивают, не ждать, как они собирались, следующего, получше.

Но и этот, первоочередной, сдали только к лету. Последние два месяца Стеша доживала у своей матери, Вася у своей. Не слепилось гнездо в Агафьиной избе — ругались, болел парнишка, Вася сломал ногу, притом совершенно по трезвому делу, направляясь к теще за молоком; Стеша давилась воздухом, не могла спать. Съехали.

Въехали, не спросившись, и съехали, не поблагодарив, не прибравши за собой как положено, хлопнув дверью… Вздохнула Агафьина изба, прощаясь, — так тяжко и больно вздохнула, что заскрипели все ее венцы, вся ее изможденная плоть.

Следующие постояльцы прожили года три. Эти — пили. Пили зло, беспощадно и тихо. Неведомо где провели они первые свои жизни, каждый по отдельности, отвели, должно быть, вторые и третьи, и только после этого судьба столкнула их и направила сюда. На работу их здесь уже не брали, изредка нанимались они то картошку окучивать или копать, то наколотые дрова складывать в поленницы, в пожарных случаях, когда уходит сенокосная страда, зазывали их на гребь. Летом ходили за ягодой и продавали, зимой искали мелких поручений: воды с берега на чай принести, потому что из скважины вода в чае была невкусной, выбросать из стайки из-под коровы шевяки, отгрести снег. На ежедневное истребление зелья заработков от такой работы не могло хватать и в десятой доле — выручал большой пьющий поселок. Тихие, всегда страждущие, безымянные (за неразлучность звали их в насмешку Катя-Ваня), собачьим нюхом

они чуяли, где собирается компания, наперечет знали каждого загулявшего, держащегося подальше от дома. Мужики из куража поиздеваются, но нальют, а потом командируют в магазин, и не однажды. На одни бутылки, засеянные на обширных леспромхозовских владениях, выпадали безбедные недели. Летом они собирали их в лесу, на берегу, вокруг клуба, гаража и в особенности много вокруг нижнего склада, куда свозился с лесосек лес. Считалось за последний грех и позор работающему мужику сдавать порожнее стекло, подмигнет он Кате-Ване и ведет разгребать кладовку.

Чем не жизнь! — так и жили Катя с Ваней возле добрых людей, слыли за безвредных, чем-то навсегда испуганных, нуждающихся в сочувствии, доили с краешку, с трех-четырех грядок, Агафьин огород, разобрали у нее на дрова стайки и сенник, и все темнели и темнели изнутра их покорные лица, превращающиеся от постоянного жара в головешки, все мельче, запинистей становился шаг, когда, наваливаясь друг на друга, выкатывались они на улицу. Любое тягло требует отдыха, а это, которому подчинились они, не давало ни дня покоя. Долго такой жизни они выдержать не могли.

В ноябрьские праздники, всегда отличающиеся застольным изобилием, но и тем еще, что на них выпадали первые крепкие морозы, воротились Катя с Ваней в Агафьину избушку в беспамятстве и свалились на свои дерюжки. Глухой ночью кто-то из них взялся растапливать печку. Растапливал тоже без памяти, печная дверца потом оказалась распахнутой. Изба загорелась. Не над тем долго судачили затем в поселке, что загорелась, а над тем, что сама же и управилась с огнем. Полностью выгорела заборка, отделявшая кухоньку от прихожей, не уцелела и стоявшая возле нее деревянная кровать. Катю с Ваней нашли в сенцах едва живых, долго не приходивших в себя от ожогов и хмеля. Они лежали кулями, вытянуто, будто кто волочил их. Из районной больницы они не вернулись.

С тех пор Агафьина изба пустовала. Для поселка начались другие времена — лес брать становилось все труднее, везли его издалека, заработки упали. Есть предел и Божьему, если выбирать его без меры. Одною зимой делали возле нижнего склада сплотку прямо на льду, переложили тяжелой лиственницы, и весь плот в тысячу с лишним кубометров ушел весной на дно. Это как знак был: осторожней! — и его не распознали. И стала

год от года ужиматься в поселке жизнь: меньше давала тайга, безрыбней становилась распухшая, замершая в бестечье Ангара, все реже стучали топоры на новостройках. А потом и вовсе ахнула оземь взнятая ненадежно жизнь и покалечилась так, как никогда еще не бывало.

Агафьина изба встречала и провожала зимы и лета, прокалилась под жгучей низовкой с севера стужею, стонала и обмирала до бездыханности и опять отеплялась солнышком. Заходили в ограду люди — изба стояла как на пупке, и видно от нее было на все четыре стороны света. Особенно хорошо был виден разлив воды в понизовьях — могучий, широко раздвинувший берега и какой-то захлебисто-мерклый, без игры и радости. Тут, в Агафьиной ограде, было над чем подумать, отсюда могло показаться, что изнашивается весь мир — таким он смотрелся усталым, такой вытершейся была даже и радость его. Здесь можно было и вволюшку повздыхать, и столько здесь скопилось невыразимых воздыханий, что тучки на небе задерживались над этим местом и полнились ими, унося с собою жатву людских сердец.

Если же кто из приходящих заглядывал в избу, то замечал, что изба прибрана, догляд за ней есть. Обугленный после пожара возле печки пол и закопченные стены обтерлись, точно в особую красу, в печальный цвет, гарь как будто даже поскоблена, головешки и хлам от постояльцев вынесены, печка ничуть не пострадала, окна, как у всякого живого существа, смотрят изнутри. Дышится не вязко и не горкло, воздух не затвердел в сплошную, повторяющую контуры избы, фигуру. И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажется, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры.

1999

Под небом ночным

Друзьям-ягодникам
Альберту Гурулеву и Николаю Есипенку

Приехали в самое скрытное, мало кому известное в Тункинской долине место неподалеку от монгольской границы, самое уютное и удобное, спокойное и для небольшой компании богатое. Съезд влево с тракта за линию элек-

тропередачи едва приметен, в заросли среди валунов чужой человек не осмелится направить машину, а тому, кто знает, куда едет, покачаться на колесах по камням придется всего-то с километр, а там открывается на взлобке ровная поляна с огромной ядреной елью в конце ее, где тропка ныряет в тальниковые кусты, — сухая, чистая, не обросшая травой, с неумолчной музыкой от речки справа. Один бок у поляны подле горушки в золотистой сосне, другой, противоположный, со стороны речки — в черемухе поперед невысокого строя кедрушек и елей. Лучшего места для табора не найти: давно нажжено тут кострище, наготовлен таганок, дров вокруг сколько угодно, а для вечернего сидения у костра лежит чуть приподнятая над землей, обкорнанная гладкая сосна, которая одновременно может служить и столешницей. Если же выпадет непогода — по извилистой тропке за елью через пять минут будет зимовейка, некорыстная на вид, но высоконькая, аккуратная, обставленная внутри тем немногим, что и требуется поночевщику: слева за дверями маленькая железная печурка, а справа в переднем углу неширокие, на двоих-троих, нары.

А уж от зимовейки вверх по речке тропу и во-

все не разглядеть, она перекидывается с берега на берег, скользит по камням, ныряет в заросли, карабкается по завалам, чуть держится на скользком прижиме. И ведет эта тропа в кедрачи. До них, смешно сказать, километра три, не больше, но запоминаются они надолго. Другой тут идет счет, когда то прыгаешь, то ползешь, то подтягиваешься на руках, чтобы взобраться на каменный откос, то с суковатым шестом в руке перебираешься по скользкой лесине на противоположный берег. Нечего и говорить, что ни на какой машине сюда и не сунешься. Шишка в этих местах крупная, тугая, в смолянистом наплыве; когда орудуешь колотом, хоть зимнюю толстую шапку надевай, чтобы уберечь голову. День в кедраче — и позаглаза, если не для рынка. А на другой день и ходить никуда не надо: здесь же, рядом с зимовьем, по скату к речке, по камням и редколесью брусника, какая-то особая, удлиненной формы, крупная, чистая, глянцевая, так и катится, так и катится в посудину. По речке везде черная смородина: лист по студеной воде облетает быстро, уже в августе, и она голо висит на кустах гроздьями, как виноград, и манит к себе еще издали. Совсем рядом, на вырубках вдоль линии электропередачи, заросли жимолости, она

из ранних, скороспелых, и брать ее можно уже с середины июля, а висит она на кусте, не морщась, до самого конца лета. Жимолость, конечно, и поближе к городу есть, она ягода не капризная, а если уж гнал машину за две сотни километров сюда, то ноги сами собой после шишки и брусники подворачивают к облепихе. Вот это уж верно золотая ягода, по всем статьям золотая. Не имеет она замены ни для больного, ни для здорового организма про запас, чтобы не худилось здоровье; и по виду янтарная, так и брызжущая солнцем на реках и островах по Иркуту. Стоит лишь перейти дорогу и натянуть резиновые сапоги. Брать ее по теплу, пока она не превратилась в ледышки, мука: облепиха цепко лепится к колючим веткам сплошным обростом, она мнется, если ее обрывать, мнется, когда принимаешься тянуть, и только чувствительные пальцы знают, как с нею обращаться, чтобы не повредить. Брать ее, конечно, мука, но уж набрал — душа ликует, и старательское твое дело начинает греть тебя слаще любой выгоды.

Словом, такое это славное и фартовое место, что, в какую сторону ни пойди, что-нибудь да возьмешь, а в хорошие годы глаза разбегаются, ноги заплетаются, куда воротить и что брать, —

так всего много.

И вдруг не оказалось ничего. Приехали рано, в обеденную пору, и полдня потратили на торопливые и безрезультатные обеги. Брусничник не родил совсем, только на замшелых кочках вокруг догнивающих пней висит по две-три ягодки, смородинник и ягодки не показал, жимолость была реденькой, мелконькой и скукоженной, успела ее высосать букашка-козявка, на островах и случайного взблеска не выглядели. Все ясно: пали заморозки на цвет, потом прошлась долгая и жестокая засуха, не миновавшая и этого благодатного места. Поднялись к кедрачам — там кедровка, как саранча, добивает остатную шишку и встретила их злым и пронзительным криком. Даже шиповника на просеке не оказалось, даже курильский чай рвать не хотелось — до того он стоял квелый и примятый каленым летом. Но самый большой удар ожидал их, когда спустились в низинку, где стояла зимовейка. Зимовейки не было. Ничего не осталось — будто и никогда ее здесь не было. Густая высокая трава дурниной покрыла нагретую ее землю да в сторонке жердь-сушило, протянутая от сосны к сосне. Злые ли люди раскатали от усердия черных сердец или какой корыстный мужичонка увез на стайку, чтоб

не махать топором, — поди разберись. И разбираться не захотелось, не было зимовейки. И сразу почужела и отвернулась тайга.

Делать нечего — надо было устраиваться на ночлег, а утром поворачивать оглобли. Обидно, конечно, но ничего, не в первый раз. Не в первый-то не в первый, однако на этот угол, куда по дальности дороги выбирались редко и который никогда еще не подводил, надежда была столь же бесшаткая, как на наступление августа, а затем и сентября для созревания таежных урожаев. Ломался какой-то извечный и неукоснительный порядок, образовывалась пустота там, куда нога привыкла ступать уверенно, отворачивалась удача, на которую они имели какое-то родственное право. Разводя костер, гоноша ужин, выставляя из машины горбовики и ведра, вытряхивая мешки, невесело подтрунивали над собой, кто больше набрал пустобряка и напугал тайгу жадностью. Сварили хлебово и чего только в него не намешали — и картошку, и вермишель, и брикет гречневой каши, и копченое сало, и тушенку, и помидоры. Знали по опыту: чем беспорядочней и смелей, тем слаще. Открыли бутылку «Байкальской», с воодушевлением посетовали на то, что «Байкальскую», еще недавно в мировой табели

о рангах занимавшую в конкурсных дегустациях неизменно первое место, с приходом нового начальства и с подлазом в местное водочное дело всюду расторопных кавказцев хоть переименовывай в «Болотную». И с еще большим воодушевлением выпили. Потом долго и расслабленно пили чай, сладко и сыто вздыхали на подстеленных спальниках, образовав кружок между костром и елью и нежа перед сном свои немолодые кости.

Нет, не только за ягодами и орехами ехали они сюда и не о них томились долгими зимами, вымаливая в тоске и нетерпении вот эту пору. И везли они сюда не только посуду под ягоды, но кое-что еще и в себе, требовавшее утоления. Не стало зимовья, но остался этот бугор между сосняком и речкой, обжитый многими наездами и почти родной, устроившийся так, что нельзя его ни сжечь, ни снести, и, должно быть, тоже помнящий их, потому что никогда и ни в чем не принесли они ему урона. Здесь даже грубое слово не выговаривалось. Остался этот неумолчный и нежный, хрустальный звон речки, это обрезанное горами и изгибающееся небо, эта высокая дородная ель с зеленью до синевы и широким, загнутым по краям изладом борчатого

подола, и дикая, в сумерках совсем мрачная картина уходящей вверх по речке тайги с высоко и мертво торчащим сухостоем, и грубый крик козла где-то неподалеку, похожий на рев медведя, и ночное звездно-трепещущее небо, и предутренний, короткий, как выдох, шум верхового ветра, тронувший верхушки сосен и ели и тут же загасший… Остался этот вязкий и хмельной запах всего-всего, что есть вокруг, — от муравейника, расположившегося рядом с тропкой на спуске с бугра, от вызревшей травы, клонящейся и отдающей сухостью, от порыжевших грузных сосен и согбенной от старости черемухи, от камней, поросших мхом и наполовину ушедших в землю, от вывороченного соснового корневища, от нагревшейся за жаркое лето горы. Остались это умиротворение, этот покой, в которых сейчас лежит тайга, это желанное и щедрое отпущение грехов…

Их было трое, больше двадцати лет ездили они вместе, не пропускали ни одного сезона, то за ягодами и орехами, как теперь, то на подледный лов на Байкал, а то просто на ночевку без всякого заделья куда-нибудь подальше от города. Ездили без спешки, не так, чтобы рвануть что под руку попало и бегом обратно, а начи-

ная томиться по воле еще с начала зимы, и дни на нее отводили без укорота. Приходит болезнь и забирает столько времени, сколько унесет; опалит ни с того ни с сего какая-нибудь душевная травма, вроде любви или тоски, и тоже весь чеканный распорядок жизни насмарку, не дни, а недели, месяцы губятся напропалую. А лень-матушка какие подати берет! Так неужели же среди этого нескончаемого мотовства нельзя высвободить себе в награду за нешуточный героизм в беспрерывной борьбе за сносную жизнь четыре законных дня, чтобы из сплошных ран собрать себя в приличный вид?! А потом еще четыре, а потом еще — всего и наберется за год на две недели. Зато никаких отпусков не надо. Да и какой отпуск?! Один геолог, работал сторожем на лодочной станции; второй, редактор книжного издательства, превратился в надомника и выпускал в год по одной-две книжки с текстами по народной медицине и народной кухне, а также о народных развлечениях, вроде кулачных боев и трактирных посиделок, и книжки эти превратили двухкомнатную квартиру в склад: все народное вместе с народом не пользовалось больше спросом. Третий, математик, кандидат наук, имевший к тому же философский

уклон, зарабатывал тем, что писал для студентов курсовые и дипломные работы, взращивая законченных неучей и лоботрясов. У всех троих, таким образом, время было в личном распоряжении, и ритмом своей жизни они могли заведовать сами. Но это только казалось, что сами. Новые скорости пустили в карусель всех, сильных и слабых, хватов и нехватов. Чтобы не исчез со стола кусок хлеба, усилий требуется не меньше, чем иному, разворотом повыше, для строительства виллы. У всех троих были семьи, со всех троих не снялась обязанность кормить их и одевать. До пенсии они еще не дожили, а надежд на то, что вспомнят о них и призовут, как гребцов за весла, чтобы снять громоздкий корабль с мели, — таких надежд не осталось. И потому неуклюже, неуверенно, сбиваясь с шага и теряя цель, все равно постоянно куда-то торопились.

Но наступал желанный час — и все: снималась обуза, распрямлялась грудь, в глазах появлялся азарт. Они садились в старенькую «Ниву», принадлежавшую издателю, выдирались из города, из уличных его теснин, загаженных пошлыми рекламными щитами, и точно взмывали в воздух под попутный ветер. Доставался «бортовой журнал» в виде потрепанной ученической тетра-

ди, свернутой пополам, и в зависимости от того, куда, в какую сторону держался маршрут, зачитывались прежние записи о своротах и тропах, об урожае и вновь открытых «месторождениях», о слухах, будто там-то и там-то, на таком-то километре, если свернуть вправо, такие ждут угодья, что хоть косой коси и лопатой греби. Но они старались не обманываться красивыми слухами и близкими километрами: что доступно — любое богатство вытаптывается, выдирается и вминается колесами в землю быстро, оскорбляется криками и музыкальным ревом. Там и ягоде не рад будешь. А у них «Нива», на ней забирайся в любую непролазь, можно даже и потолкать, чтобы еще дальше, но зато в безлюдье и тишине, под стук дятла и игривые набеги любопытного бурундука, посверкивающего полосатой спинкой, под натужный скрип раскачиваемой ветром лиственницы и треск костра, под стрельчатые лучи низкого закатного солнца, пробивающиеся сквозь купу высоких гладкоствольных сосен, под тяжкий гуд важно продирающего в плотном воздухе жука и легковесную, плавающую, раскачивающуюся в этом воздухе, как на волне, печальную скинь листа. Эх, да что говорить! Разве может быть что-нибудь радостней такого

свидания!

Вот и в этот раз солнце не заходило долго, обходя, чтобы не напороться, острые, как пики, четко торчащие на горизонте верхушки елей. Сидя у костра, они и наблюдали за солнцем сквозь густо осыпанные янтарными блестками сосны. Было совсем тихо и торжественно — словно все вокруг замерло, отдаваясь этому магическому прощанию, этой сладкой и тревожной перемене в мире. Только журчала речка, обвевая камни, и только трепетали в безветрии под дыхом солнца на черемухе листья.

А ушло оно — сразу потянула от речки прохлада и оборотилась вся в терпеливом внимании в ту сторону, откуда подступала ночь.

* * *

Издатель, высокий, плотный, медлительный и основательный, был из белорусов, пришедших в Сибирь еще при Столыпине, и порывистый, шумный геолог не однажды задирал его:

— На тебя посмотреть — понятно, как немцу удалось в войну перестрелять третью часть белорусов. Вы пока один раз ружжо свое перезарядите, он пять раз выпалит.

— Ну да, — спокойно и иронично отвечал изда-

тель, — а на тебя посмотреть — понятно, как вы без оглядки залетели в пропасть. А белорусы и себя сохранили, и вокруг себя сохранили.

Он и в городе ходил в кожаных сапогах с высокими голенищами, начищенных до блеска и отбрасывающих солнечные зайчики, и в спортивной куртке. Костюмы не признавал, а в туфли его поднятые во взъеме ноги не вмещались. В этом не было ничего нарочитого, так ему было удобней. Но, пожалуй, и прав был тот же геолог, называя издателя разночинцем, демонстрирующим, что ничего общего с интеллигенцией он иметь не желает. Интеллигенцию они не любили. Считали, что во всем том, что произошло с Россией за 90-е годы, виновата она, что это был ее «звездный» поганый час, после которого ей суждено только одно — зачахнуть от избытка яда, разлившегося по ее внутренностям. Кандидат наук, единственный из них, был умеренней в этом взгляде, как-никак ученая степень, пусть и не ахти какая, успела на него повлиять. Но он, единственный из них, продолжал походить на интеллигента и внешне: ухоженное брюшко, вялое утомленное лицо с быстрыми глазами и привычка, говоря, теребить рукою подбородок. Когда они вставали на изготовку перед тем,

как двинуться на ягоду, геолог, большой и длиннорукий, с остатками рыжих волос на голове, нетерпеливо перебирал ногами в кроссовках, не боящихся никаких ям и завалов, издатель проверял в последний раз бесчисленные карманы штанов и куртки — все ли веревочки, проволочки и ножички при нем, а кандидат наук охорашивался, как перед выходом на кафедру, оглаживая себя по рукам и ногам. Он меньше всех обычно и набирал; чище всего ягода была у издателя; геолог пер на тайгу как медведь, руки у него ходили как лопасти, но его жене дома предстояла нелегкая работенка извлекать ягоду из таежного хлама.

И вот — ни у кого ничего. Устали они в пустой беготне больше, чем если бы весь день махали колотом, сытый ужин и вовсе пригвоздил их к земле, не было сил подняться, чтобы подкинуть в костер. О неудаче, как договорившись, не вспоминали, все равно было хорошо и отрадно, а вволюшку набегавшись, они словно до конца очистились от городского нагара и теперь чувствовали себя обновленными, живущими в такт здоровому и могучему дыханию тайги. Но вспомнили старика, хозяина погубленной зимовейки. Старик этот был из местных, из приграничного

поселка, не больно-то шумного и людного, но и им почему-то он стал тяготиться и срубил здесь, километрах в пяти от людей, избушку, притащил печку. Забираться в дальние и совсем уж глухие дебри старик не решился, не надеясь на здоровьишко, а здесь и в последней немочи можно было выползти на дорогу и не остаться без гробовой доски. Так оно в конце концов, вероятно, и вышло, потому что старик исчез. А до того лет семь с ранней весны и до ноябрьских морозов и снежных заносов обретался тут в полном одиночестве, находя в нем, по-видимому, последнее утешение. Высокий, чуть пригнутый, как и полагается лешему, заросший, не снимавший с плеч телогрейки, с желтым, до борозд пропаханным морщинами лицом, ступавший с приклоном, но уверенно, полным шагом. Встретив его здесь в первый раз, зазвали к своему костру, угостили — и кружку с водкой взял, и закусил, ел неторопливо и равнодушно, говорил неохотно. Не без труда выудили из него, что живет на ягоду, на орехи, на черемшу и грибы, всю эту лесную добычу доставляет пограничникам, они дают взамен свою пайку. Пенсию не хлопотал, товарищ не требуется. Обирючился после смерти старухи, да, хорошая была старуха, одна на тысячу. Зачем

вам, как ее звали, это я ее звал, а вам ни к чему. Долго и всласть пил с ними чай, взял и с собой пачку, вот тогда и сказал, где орешник. Но идти с ними отказался.

За зиму вспоминали о нем не однажды и подготовились к встрече: привезли и с огорода, и с прилавка, и от домашней стряпни. Старик принимал свертки с кивками еще больше присевшей головы, но по-прежнему безучастно. Спросили, как здоровье, — ответил каким-то давним складом: «Здоровье добровье». Впускать в свою душу не хотел, да и жива ли она была, душа-то, не запустил ли он ее в зарослях и дремоте? Чай пил опять с охотой, до пота на дряблом лице; за чаем рассказали ему о семье Лыковых, сбежавшей от людей в пустынные верховья Енисея и десятилетия обходившейся тем, что давала тайга. Не удивился — может быть, знал о Лыковых, а может быть, нечем было удивляться, но ответил вдруг живей и тверже, в духе старинных отшельников-прорицателей: «Побежит человек от человека. Везде побежит». — «Как побежит? Почему побежит?» — заторопились узнать, но старик опять ушел в себя, взглядывая непонимающе на их непонимание, и не стал объяснять, объяснения ему не давались. Собиралась гро-

за, гром перебежками околачивал огромную, вполнеба, темно-лиловую тучу то с одной стороны, то с другой, прыснуло тревожно по кустам ветерком, и старик заторопился под свою крышу. Утром, как поднялись, его в зимовейке уже не оказалось, дверца была приткнута батожком, показывающим, что хозяин на своих еще крепких ногах далеко.

И еще раз довелось увидеться — года через три. На этот раз дверь зимовейки была распахнута, старик среди бела дня лежал на нарах под телогрейкой. Он узнал их, тяжело, с кряхтением поднялся, подковылял к порожку и опустился на него, щуря от солнца глубоко запавшие глаза. Лицо его обострилось и еще больше замшело, свалявшиеся волосы лежали на голове сильно потертой шапкой.

— Занемог, — сказал. И не стал тянуть, попросил: — Отвезите меня повечеру в поселок.

— Давай сразу и отвезем, пока не растаборились.

Согласился, кивнул, дал себя под руки поднять в горку к машине.

Зимовал он, выяснилось, когда привезли его, в баньке. Избу, огород не то продал кому-то, не то отдал, а баньку оставил: почти то же зимовье —

железная печурка, фанерный ящик на лавке перед окном — стол, невысокий темный полок — кровать. В маленьком предбаннике в углу куча износи, на деревянные костыли на стеночке поддеты старый-престарый овчинный полушубок с потрескавшимся морщинистым верхом и связка кирзовых сапог. Для него опять привезли пакеты с разной провизией — от всего отказался, попросил только курево. Отказался и от всяких услуг и заметно тяготился теми пятнадцатью минутами, на которые они задержались, пытаясь хоть сколько-нибудь вызнать обстоятельства его жизни.

И все, больше они его не видели. Однажды брали облепиху на Иркуте вместе со стайкой поселковых ребятишек лет двенадцати-пятнадцати и стали спрашивать о нем, но ребята пожимали плечами: они о таком даже не слыхали. А ведь вроде не букашка. Но так редко он, должно быть, попадался на глаза и с таким постоянством избегал всякого общения, отсиживаясь то в летней берлоге, то в зимней, что о нем стали забывать еще при жизни его, а по смерти и вовсе из памяти переселили в бесконечную общую могилу, где покоится и все великое, и все малое.

Но была же у этого старика какая-то тайна,

которую он не захотел разделить с людьми, была же у него особая и тяжелая страсть, какое-то главное извлечение из жизни, которым он подчинился весь и до конца! Может быть, в коротко оброненных однажды словах: «Побежит человек от человека» — это извлечение и состояло? Или в чем-то другом? Если он сказал это, он мог сказать и больше, когда бы его осторожно попытать, мог открыть такую бездну пережитого и уложенного в определенный и бесшаткий порядок, направлявший его поступки, которая им и не снилась. Эх, пустоболты, пустоболты, за годы несчастного старика не смогли разговорить. Даже имя не узнали!

И долго еще в этот вечер снова и снова теребили в памяти старика.

— Не мы не спросили, а он не сказал свое имя, — уверен был кандидат наук. Он лежал на локте и, вытягиваясь, переваливаясь на живот, обирал вокруг по земле разбросанные сосновые шишки и метал их в костер. — Я спрашивал, я помню. А он сделал вид, что не слышит. И старухино имя не назвал. Ему почему-то нужно было остаться в неизвестности, уйти из жизни еще при жизни. К нам у него расположение было. Если кому он открылся бы, он открылся бы нам. Потому что нам

рассказать — это все равно что никому не рассказать. Мы приехали и уехали, были и нету. А все равно держал себя взаперти. Может, обет такой дал? Обидели его, а он держал эту обиду на всех, сделал из нее и религию, и философию.

— Он просто не принял эту новую жизнь-подлянку, — задумчиво предположил издатель. — Даже дышать ею не захотел. Гордый был человек. Как всякий отшельник.

— Отшельник не значит, что гордый, — проквакал набухшим голосом геолог, раз за разом гулко зевавший, исходящий от сытости и блаженства.

— Кому он относил свою добычу, свой урожай? Пограничникам. И только им. Не торчал с горбовиком возле магазина, не хватал за руки, чтобы навязать, не заискивал, не торговался, а шел прямо на заставу. Что давали, то и брал. Две банки тушенки и две буханки хлеба. Он не каких-то там частностей, как мы, он полностью этого мира не принял. Поэтому и ушел.

— Не далеко же он ушел…

— А куда можно далеко уйти?

— Не знаю. Но куда-то можно. Нет, тут другое дело, — не согласился кандидат наук и с издателем, и с собой, с тем, что говорил только что. — Тут личное.

— Он внутренне ушел, — стал объяснять издатель, неторопливо поднялся, осторожно ставя ноги в толстых шерстяных носках, подошел к костру, разрыл в нем, уже затухающем, чадящий уголек и, взбодрив его, перекатывая с ладони на ладонь, прикурил, затянулся всласть и продолжал благодушно, возвращаясь на спальник: — Не за тридевять земель ушел, а внутренне. Ничего отменить вокруг себя он не мог и понял, что отменить нельзя, уже приросло. Ну и живите как хотите, а я так не могу, я в плен не сдаюсь.

Но кандидату наук уже понравилось свое толкование, он вообще стоял за решительное и только личное, в противовес безнадежно лживому обществу, исправление человека, только в таком перерождении видел кандидат наук условие притяжения положительных частиц, из которых составится спасительная энергия, и он настаивал:

— С порядками старик не согласился, это верно… кто из нас согласился? Но это у него было на втором плане, может, даже на третьем. Больше всего, мне кажется, он был не согласен с собой. Что-то он такое сделал, с чем во всю оставшуюся жизнь не мог согласиться. И за это себя в ссылку отправил. Он с собой не ужился, сам в себе пре-

ступника нашел. Может такое быть? Очень даже может. Вспомните, он ни разу о себе ни одного оправдательного слова не сказал.

Издатель от удивления присвистнул:

— Зачем бы, скажи на милость, он стал говорить о себе оправдательные слова? Мы ему приговора не выносили.

— Это неважно.

— Как это неважно? Старик не настолько близко нас к себе подпускал, чтобы терпеть от нас упреки. Да их и быть не могло!

— Эх, мужики, мужики! — вмешался опять геолог. — Вы как будто и не мужики. Такую вы ахинею развели! А дело-то проще, дело-то ближе лежит.

— Давай его сюда, раз ближе.

— Вот вам и давай! У старика была старуха! Была у старика старуха? Была. И такая это была старуха, такая была старуха!..

— Рябая, кривая, косая, хромая!.. — в тон подхватил кандидат наук и засмеялся — до того ловко у него получилось.

— Да, — решительно согласился геолог, — рябая, кривая, хромая. Ну и что? Он тоже был не красавец. Но между ними было что-то такое, такое, чего мы и знать не можем, к чему мы даже

и не приближались!

— И он осиротел — ты это хочешь сказать?

— Он не просто осиротел, он себя вместе с нею похоронил. Только тень свою оставил. Ему все неинтересно стало, все не нужно. Много ли надо тени? Люди над ним насмехались — он ушел от них, за хлеб потребовалось душу отдавать — он мог без хлеба обходиться, на одних вершках и корешках, которые брал здесь. А зимой он пограничникам снег отгребал от складов еще потемну. Приходил потемну и уходил потемну.

— Идеалист ты! — отозвался кандидат наук и поднялся, шагнул в темноту, забрызгал там в траву. И, пока раздавались отзывы о нем, что-то напевал. Потом вернулся, встряхнул свой спальник, все еще напевая, постоял на нем, раздумывая и почесываясь, надумал плеснуть в кружку из котелка с чаем. После этого снова улегся, набросив согнутые в коленях ногу на ногу и придерживая кружку на груди. Совершенно умиротворенная душенька в нем простонала:

— Эх, хорошо!

После первой, натянутой из чащи, темноты под звездосеем развиднелось, поднявшуюся сразу после захода солнца холодную волну утянуло в землю, и стало мягче, теплей. Ель-великанша

выставилась еще выше и грозней, луна-половинка, взошедшая от горы, с той стороны, где кедрач, никак не могла выдраться из лесных зарослей, возилась, дробилась в них и в изнеможении исчезала. Речка дзинькала чистым повторяющимся перебором, который то приближался, то отдалялся, только он и наигрывал в тишине. Поры всего живого, всего тянувшегося вверх и разостланного по земле, раскрылись для обратного тока, для выдыха, и воздух полнел и томился пьянящим настоем.

Они враз блаженно вздохнули и в сладком оцепенении затихли. Стало слышно, как с шуршанием возятся в небе звезды. Издатель негромко и вкрадчиво рассмеялся.

— Как птички, — сказал он.

— Птички? — хмыкнул, и тоже с осторожностью, словно боясь что-то вспугнуть, кандидат наук. — Какие птички?

— Как мы теперь застыли, так и птички. Это в природе что-то такое бывает. Что-то завораживающее. — Издатель приподнялся и, подбирая под себя ноги и усаживаясь на них по-монгольски, заговорил свободнее. — Я на даче птичек кормлю, — продолжал он. — По весне… они за зиму наголодаются… это такая забава — наблюдать,

как они кормятся. За окном у меня стоит чурка, прямо неохватная. Насыплю хлебных крошек, сальца мелкими кусочками нарежу, маслица с мороза настрогаю. На все вкусы. Они уже стригут под окном — вверх-вниз, вверх-вниз. Синицы, воробьи, поползни. По часу можно смотреть и не устанешь.

— Воробья накормить — все равно что корову, — посочувствовал геолог.

— Воробей, хочешь знать, — самая симпатичная птичка, — решительно встал на защиту воробья издатель. — И нисколько не жадная. Самая аккуратная, дружная, незлобливая. На него напраслину возвели — вором назвали. Никакой он не вор. Или в старину был вором, но, в отличие от нас, переменился к лучшему. В сенцы воробей не полезет, шнырить где попало не будет. Он не назойливый, место свое знает. Кормится со всеми вместе — воробей у другой птички, у синицы там или еще у кого, из-под носа вырывать не станет. И сгонять с кормушки не станет. Столкнет случайно хлебную крошку на землю — обязательно слетит и подберет. Повздорят между собой, но как-то без зла, играючи, и опять рядом. Погонится один воробышек за другим, когда тот улепетывает с добычей, и по дороге забудет,

чего ради гнался. Остановится, головкой потянет во все стороны, осмотрится добродушно и прыгскок опять к стайке. Поползень, а он мельче воробья, тот рвет и мечет, ему хоть воз вывали, он все будет хватать и таскать. Синица тоже не успокоится, пока все до последнего кусочка не вытаскает. Воробей другой: он поел, сколько ему надо, тут же и поел, где дали, и вся стайка дружно снимается, летит по другим делам.

— И свободу любит, — похвалил геолог. — Воробей, как цыган, в неволе жить не может.

— К тому же вегетарианец, скоромного в рот не берет.

— Сколько качеств! — засмеялся кандидат наук. — Не поет ли он еще ко всему прочему как соловей? Не слыхали?

— Он прекрасно чирикает — зачем ему петь? — готов был обидеться за воробья издатель. — Но, хочешь, из воробья прекрасный актер. Мне одна парочка однажды в благодарность концерт устроила. Наелись, день теплый, солнышко разогрелось, а у меня под стоком полным-полнешенька бочка с водой. Они давай в ней хлюпаться. Я неподалеку был, сижу, смотрю на них. Так они что… они поняли, что я за ними наблюдаю, что я, значит, зритель и мне это в удовольствие,

и давай стараться, и давай! Чего только не выделывали! Окунаются, взлетают, шлепаются обратно, пляшут на воде, крылышками бьют. А потом сядут отдохнуть на край бочки и глаза на меня: нравится мне или нет? Я им аккуратно так поаплодирую — они и в восторге, и опять за свои номера.

— Гляди-ка ты! — Геолог, казалось, действительно огляделся и удивился: — Так мы где — на даче у тебя или в тайге?

— Я не досказал, подожди.

— Ну-ну?

— Дважды я наблюдал… я потом спрашивал у орнитологов, они не могут объяснить. Дело происходит так. Утром я выношу корм, птицы мои набрасываются на него. С утра все голодные, работа идет полным ходом. И вдруг в самый разгар, в самый жор наступает момент — вдруг все замирают. Все. В момент. Сидят окаменевшие и не шевелятся. Как придавленные, как пригвожденные. Даже поползень… а это непросто представить, чтобы поползень, эта шныра, этот хват-перехват, хоть на секунду задумался? А тут и он со всеми вместе. Все в каком-то глубоком обмороке.

— Медитируют!

— Пошел ты! — отмахнулся издатель, не прерываясь. — И это продолжается минуту или полторы. Минуту или полторы они не шевелятся. Я тоже не шевелюсь, потому что ничего не могу понять, а что это такое, понять охота. Потом вдруг наступает какой-то сигнал, что-то такое происходит — они оживают. Враз. Одномоментно. И принимаются как ни в чем не бывало наперегонки долбить клювами. Что это? Как это объяснить? Может, повелительный глас сверху, он говорит что-то важное и говорит для всех тварей на одном языке?

— Вполне может быть, — согласился геолог. — Только у птичек есть такой слуховой аппарат, а у нас нет…

Что им до воробья, до этой неказистой птички, лепившейся к жилью, от которого они убежали и которое невольно казалось им теперь кандальными колодками, когда такая бескрайняя и заповедная разверзалась перед ними благодать: пылало небо, огромной птицей, широко раскинувшей лохматые крылья, лежала тайга, дышавшая могучим спокойствием!.. Что им было до случайных встреч и совсем уж мелких пустяков, на которые в суете постоянно натыкается городская жизнь, если она осталась

далеко-далеко за опустившейся, навсегда закрывшей все вчерашнее вечностью! Но легко и в охотку говорилось и о воробьях, и о пустяках, с удовольствием беззаботной отрешенности подтрунивалось друг над другом, переливалось из пустого в порожнее, дотрагивалось до любовных похождений, соскальзывало на обсуждение вопроса о тонкостях женской психологии — и все было кстати, все умиротворенно баюкало и тешило душу. А когда геолог пристыдил: «Да о чем вы? Что — нам одним здесь плохо? Не поминали бы на ночь глядя...» — это он о женщине, — готовы были и вовсе, отдавшись тишине и благодати, отчалить ко сну, но, пристыдив друзей, геолог сам же и возбудился от неосторожного прикосновения к этому бьющему током предмету. И уже через минуту напористо докладывал:

— Я прихожу домой, никакого зла у меня к ней нет, никаких претензий нет. Я прихожу к ней...

— К кому — к ней? — кандидат наук не мог, чтобы не уточнить.

— К медведихе. К кому еще! Но я прихожу к ней как к человеку, у меня к ней ничего такого. Ну, может, небольшой осадок. Но попробуй сейчас пройди по улице и не нахватай осадка. Не грубо, совсем не грубо, просто голос у меня на две

октавы ниже… И эти две октавы спокойно интересуются: ну, что у нас сегодня новенького? Она выходит, природа, вы считаете, наградила ее удивительно тонкой организацией, и она грудным, мелодичным, любящим голосом отвечает: «Все у нас, милый, хорошо, не волнуйся, пожалуйста». Я спохватываюсь: что это я свои октавы распустил? И мы, как голубки, принимаемся ворковать. Да! — вколотив это восклицание, геолог сделал значительную паузу. — Я, конечно, прихожу. И она, конечно, выходит. И на мой чуточку расстроенный тон взрывается! Ну, не обязательно взрывается…

— Это значит, что одна жена у тебя взрывалась, а другая не обязательно взрывалась?

— Ну да, одна взрывалась как мина немедленного действия, другая — как отсыревший порох. Третья и вовсе: чадит, дымит, а взорваться не может. Но лучше бы уж взрывалась. У нее такой вид, будто она в секунде от потери сознания. Конечно, от моих варварских пыток, от моего таежного дикарства. А ведь всего только и требовалось — минуту потерпеть! На минуту разоружиться! Одна минута, и бери меня голыми руками!

Где-то далеко-далеко в вершине речки ухнул козел, и тут же еще, и два этих взрева одним

лохматым клубком прокатились по тайге и отозвались мирным стоном за Иркутом.

— Не спит! — по-охотничьи, по-животному насторожившись, встав на колени и подаваясь с втянутой в плечи головой вперед, прошептал издатель. — Эх, хорош! По голосу видать. Да-а! Вот чего бы: козел крикнул! А сердце зачастило.

— Пободаться зовет, — хотел сыронизировать кандидат наук, но не хватило в голосе ни соли, ни перца.

Сбили геолога, как птицу в полете сбили, с его вдохновенного рассказа о трудностях семейной жизни — и он не стал продолжать. Только вздохнул — как горе смахнул — и лег на спину, чувствуя, как начинает его осторожно зыбать вверх-вниз, вверх-вниз, вздымая и опуская под круговое движение неба.

Ночь вызрела и вызвонилась до конца. Небо искрило, пыхало, пылающей бездной текло между деревьев. Со всех сторон оно было огорожено лесом и горами, но за дремотно воркующей речкой и за невысокой лесной заставой уклон земли к монгольской границе продолжался, и туда же вытягивалось и небо. Огромная ель пропорола его над поляной выше звезд; снизу казалось, что они висят на ветках как новогодние лампочки.

Невызревшая луна все еще робела за соснами и была едва видна, а звезд высыпало так много, что они не умещались на небесном пологе и подталкивали друг дружку; огненные полосы от зазевавшихся и сорвавшихся прочерчивались раз за разом, оставляя за собой тонкий зыбистый дымок. Все это множественное огнище переливалось, кипело, перекатывалось над головами, струилось и порхало. Глаза тоже слышат: опустишь их — и торжественная тишина понизу, а поднимешь — шуршание, сухой мелодичный треск, вздохи и высоко стоящий, медленно и осторожно снизывающийся гул огромного, во весь свод, колокола.

Костер загас окончательно, изредка что-то спекшееся в нем насвистывало томной фистулой; в глухом и неверном мертвенном свете стоящая боком в двадцати метрах белая «Нива» виделась вздыбившимся, поросшим седым мхом валуном, отбившимся от группы таких же, лежащих в покое подле горы. Временами, точно плотная ночная завеса приоткрывалась и закрывалась, доносило глухой слитный шум Иркута за дорогой, и тогда мерещилось шевеление ветвей на кустах и деревьях по притоку этого шума.

— Вы знаете такой народ — саами? — спросил

вдруг кандидат наук.

— Саами? Сами саами, — сложилось у издателя. — Они живут где-то на европейском севере. Кажется, в Финляндии.

— Они есть и в Финляндии, и в Швеции, и в Норвегии, и у нас, в Карелии. Очень симпатичный народец. И вот в нем я однажды встретил ангела. Это было в Швеции.

— Ангела? В Швеции? Ты? — засмеялся геолог, оборачиваясь к издателю: как, мол, тебе нравится то, куда наш приятель заехал? Издатель что-то внимательно изучал в небе и не отозвался. — Ну конечно, каждому свое, — рассудил геолог. — Я сейчас вспоминал свою бабушку, казачку из даурских степей… она качала меня в зыбке и напевала одну и ту же песню: «Скакал казак через долину». Я вспоминал бабушку, а ты, оказывается, вспоминал ангела. Из Швеции. Я, конечно, горжусь, что у моего друга такие связи. Ну-ну, давай дальше.

Но издатель попросил погодить две минуты. Он поднялся, припадая на затекшие ноги, подковылял к машине, долго там рылся, перегибаясь с заднего сиденья в багажник и выставив за дверцу оттопыренную, обутую в толстый шерстяной носок ногу. И вернулся с извивающимися и повизгивающими резиновыми сапогами.

— А это зачем? — удивился геолог.

— Пускай будут рядом.

— Думаешь, натянет?

— Не должно бы, — сам себе отвечая, сказал геолог с запрокинутым вверх лицом. — Если бы что, смеркаться бы стало. Не должно. Ну так что, — подтолкнул он кандидата наук, — что там с твоим ангелом? Один рассмотрел в небе полуночи дождь, второй ангела. Каждому свое. Давай договаривай, да спать будем.

— Я могу и завтра.

— Не набивай себе цену. Завтра ты что-нибудь другое расскажешь. Про ангела давай сегодня.

Кандидат наук выдержал паузу, ровно такую, чтобы не пострадало его достоинство, и начал с некоторой чеканностью в голосе:

— Это давно уж было, вскоре после Чернобыля. Поездка в Швецию готовилась еще до Чернобыля, и отменять ее не стали, а шведы даже настаивали, чтобы не отменять.

— Это когда ты экологистом был, что ли?

— Ну да, именно был и именно экологистом. Примкнувшим и отставшим. На большее нас не хватило. А там этим делом занимаются всерьез, там они собираются жить долго. — Кандидат наук заговорил живей и стал подхмыкивать

себе, показывая, что он и теперь удивляется некоторым подробностям этого воспоминания. — В Стокгольме нас разделили на группы, а нас было человек двенадцать, и повезли в разные места. Я угодил на север. Чуть не весь день ехали вдоль Ботнического залива, и вся автострада на сотни километров обтянута заградительной металлической сеткой. Вот как они к этому относятся.

— Зачем обтянута-то?

— Чтобы лоси, олени не выскакивали. Лосей берегут. Ну и себя тоже. Люди там сплошь активисты, с нашим братом не сравнить. Женщина… ну чтоб в сердце ударило, магнит в ней был… таких женщин и нет почти, феминистка на феминистке.

— Ой, бяда, бяда, бяда! — игриво и искренне пропел геолог голосом своей настрадавшейся судьбы. — Ты встретил среди сухостоя, среди этого войска сержантов освободительной армии один живой экземпляр — и она показалась тебе чудом. Так ведь? Признавайся.

— Нет, она и вправду была чудом. И она была бы чудом где угодно. Ни длинных, как у цапли, ног, ни титек с арбуз, росточку малого, лицо круглое, обыкновенное, и волосы почему-то

не черные, как полагается по природе, волосы почему-то пепельные… Тут, может, какая шведская примесь, только давняя…

Геолог со знанием дела подтвердил:

— Эти чуды всегда так: они не от папы с мамой, а от разных народов.

— Саами в Швеции, кажется, тысяч пятнадцать, — продолжил кандидат наук, устанавливаясь на колени и принимая чуть лекторский тон. — Живут в горах, пасут оленей. Но в том-то и штука, что живут они в городах. Ну, скажем, в городках перед горами, а на стойбища, на пастбища в горы летают на вертолетах. Олень хорошо, а вертолет лучше. Неплохо живут, да? И все было неплохо, пока не выстрелил наш Чернобыль. Чернобыльскую тучу ветром обнесло мимо южной Швеции, а на севере она возьми да и заверни. И выброси вместе с дождем свой заряд. Бедным саами пришлось чуть ли не всех своих оленей забивать и сжигать. Компенсации там, то, другое — все это у них на месте. Но это же не все. Что делать: или уходить с родовых земель, или неизвестно сколько собирать заразу? Это не просто ах-ох… без родовой земли все эти северные народцы быстро вырождаются.

— Без родовой земли все мы вырождаемся, —

сказал геолог.

— Ну да, но маленькие народы вырождаются быстрей. Они дети природы, любимые дети. А мы так, на общих основаниях. На нас можно рукой махнуть: делайте что хотите, убивайтесь, калечьтесь, выскакивайте прочь из себя, как из старой дерюжки. Вы сильные, и если ваша сила пошла вам во вред, туда вам и дорога. А какие-нибудь юкагиры или эвенки… Господь держит их возле себя как последнюю надежду на человека. Он не позволяет им мучиться. И если они выпадают из родового гнезда… если они выпадают, то исчезают совсем. Никем больше, кроме как юкагиром, юкагир быть не может.

— Ну и как ты повстречался со своим ангелом? — совсем на манер геолога поторопил издатель; он не спал, оказывается, лежал неподвижно, на спине, с разбросанными широко ногами.

— А мы ехали, ехали и приехали в один городок. Называется Вилельмина. Видите, я даже название помню, — не удержался, воздал себе должное кандидат наук. — Встреча с защитниками природы, как везде. Народу не много, человек пятьдесят-шестьдесят. Помню, на встречу притащили оленьи рога, радиация на них больше

нормы в тысячу раз. Но меня спрашивали еще и о Байкале. Байкал они знают, наслышаны.

Ущербная луна выбралась наконец из лесных зарослей и, не поднимаясь высоко, по южному небесному скату, висящему над Монголией, двинулась напролом по затыканному звездами полю. По-прежнему было тепло и тихо, растопыренные лапы ели лежали в воздухе тяжелым навесом и, чудилось, подталкиваемые небесным дыханием, каруселью двигались по кругу. И видно было, как на черемухе вздрагивали листья — точно от звездных уколов.

— Она подошла ко мне уже после встречи, когда народ стал расходиться, — негромко говорил кандидат наук. — Как всегда — одни в двери, другие с вопросами. Но она, кажется, ни о чем и не спрашивала. Она рассказывала, что у них происходит там, в горах. И о том, что никто не знает, что делать. Но я и не помню, что она говорила, она могла говорить что угодно, все равно бы я ничего не понял. Я бы все равно слушал только ее голос. Какой у нее, братцы, был голос, какой голос!

— Это, кажется, участь старости — влюбляться в голос! — с той легкой и летучей ревностью, о которой нельзя определенно сказать, была она или нет, сказал издатель.

— Само собой, — согласился кандидат наук и не стал отвлекаться. — Это был какой-то чудный музыкальный инструмент — мягкий, нежный, ласковый, чистый. Он ее всю преобразил. Она не говорила, а пела. Лицо, это самое обыкновенное полудикарское лицо с беспородным носом, это лицо вдруг зацвело и затрепетало, щеки порозовели, глаза заплескались светом, сиянием, зарей. Оно сделалось удивительно красивым, ангельским, все в нем было вылеплено как-то не по-земному: маленькие грудки взлетали, когда она говорила, руки, как в заклинании, всплескивались, поднимались одновременно к щекам и опускались. Она пела и пела, а я только бессмысленно кивал, не в силах отвести от нее глаз, и ничего не понимал из ее слов. Не можем же мы сказать, о чем поет соловей. И не всегда он, наверное, поет о любви, иногда он, наверное, жалуется на что-то, но эти самые переливы, где у него восторг и где грусть, нам недоступны.

— Да-а-а, проняла она тебя, — удивленно отозвался геолог, когда кандидат наук умолк на мгновение. А издатель вспомнил:

— Одиссея, кажется, заманивали подобные же создания со сладкими голосами? Это было опасно.

— Ну да, ну да, сирены. Знаем. Мифические полудевы-полурыбы. Но я-то видел перед собой иное создание. Не испорченное ни природой, ни цивилизацией. Совершенное, трепетное, ангелоподобное, не выродившееся, а рожденное еще на остатках восхождения человека к своему совершенству. И вот его выплеснуло на берег уже и безрадостной земли. Случайно? А вдруг не случайно, вдруг чтобы показать нам, от чего мы ушли в своем цивилизованном уродстве?! Ведь она же не где-нибудь появилась, а среди феминисток! Чтобы видно было то и другое. А что, если на заре человечества, когда на земле только и были, что саами да юкагиры, таких, как она, было много?! Если все такие были?! Они так доверчиво радовались и так доверчиво печалились, с таким восторгом встречали воротившегося с охоты мужика и с таким чувственным испугом произносили слова оберега, когда провожали его на охоту! Сердца и головушки не были еще затуманены, кровь была свежей и чистой. Да и все вокруг купалось в необъятной весне…

Кандидат наук прервался: невидимой механической пилой, остро и уверенно частящей, звездное небо прорезал звук реактивного самолета. Задрав головы, они искали с земли

проплывающие где-то там, пониз звезд, его бортовые огни, но тысячеглазое око неба, все еще яркое и трепещущее, мечущее искры, ничему постороннему не дало показаться. И через минуту все ушло опять в тишину, загустевшую еще больше. Но рассказ уже был сбит, пропорот этим сорвавшимся невесть откуда гулким звуком, и весь воздух, все волнение из рассказа вышли. Только и сказано было вослед:

— Ну и что она — попела, попела и ушла?

— Попела, попела и ушла.

— А тебе не захотелось побежать за ней?

— А куда бежать? Некуда нам бежать.

— А это хорошо или плохо, что некуда бежать?

— Откуда я знаю, хорошо или плохо?

Кандидат наук поднялся в рост, потянулся, хрустнув телом, прислушался к себе, с усталым вниманием склонив голову, и принялся расправлять спальник. Поднялся и геолог, потоптался на месте, растирая ноги, потом исчез ненадолго в темноте и, возвращаясь, возвестил:

— Это мы, мужики, о себе тоскуем.

— О чем ты?

— Я, к примеру, очень даже о себе тоскую. Вот был человек, — с нажимом говорил геолог и выуживал из спальника какие-то тряпки, поднимал

и узнавал их под ночным светом. — Вот был человек, и все вроде при нем было!.. И куда сплыло? Хоть в розыск подавай. И такая тоска возьмет, такая тоска!

Еще поговорили вдвоем, не окликая издателя, затихшего опять в неподвижности, но все слабей и короче, все невесомей становились голоса, пока не затихли совсем.

А издатель не спал. Небо отликовало, звездный фейерверк утомленно пригас, искрило меньше и суше, луна, пряча откус, плыла как-то бочком, толчками, по краю восточного горизонта натягивалась дымчатая пелена, дыхание далеко рождающегося рассвета. Речка слабо всхлипывала, тайга, потемнев, стояла слитной и безбрежной громадой, отливающей тонким глянцем, будто посыпана была серебристой росой небесного нагара.

Издатель баюкал свое сердце, то открывая, то закрывая глаза, и слабым движением головы отмахивался, как от комаров, от подступающих мыслей, по ночам особенно тревожных и болезненных. Но и это было хорошо — открывать и закрывать глаза, погружаться в колыбель высокой и яркой бесконечности, а потом спадать невесомо на темное дно, из зарослей которого

являются образы и представления, все скорбные и немо вопрошающие, не ждущие ответа. И хорошо было бояться бессонницы, ее сторожевой неудержимой ступи по приглушенным чем-то мягким коридорам, Бог весть откуда и куда ведущим, и хорошо было чувствовать себя ее мучеником. И мыслей бояться, и с наслаждением ждать их, прокрадывающихся по тем же коридорам с внезапным появлением: шли, мол, мимо и зашли, у вас дверка была не заперта. И знать, что ничего утешительного в эту пору они принести не могут.

Иногда совсем близко было ко сну, и он не знал, спит или не спит. Находил туманный оболок и пригашал сердце, укутывал сознание. И только душа-горемыка продолжала принимать подаяние, страдая оттого, что оно не вмещается в нее, — так оно было велико и с такой щедростью оно распахнуло необъятность милости и так она сама была мала и слаба, с таким опозданием приотворились перед нею неземные врата! И, раздираемая тем и другим, стучащимся в нее сияющим величием и собственной малостью, плакала она тихими и уже неплодоносными слезами.

Он опять открыл глаза и вгляделся. И не мог

понять, что это перед ним: разноцветными кругами, тянущимися из одного радужно-качающегося мотка, небо снизывалось и затухало в тайге. Сон это или не сон? Над темными волоками лесов колыхались мерцающие волны. Затем осторожно, как от неведомого вздоха, прошелся ветер и чуть слышно куда-то постучал. Издатель поднял голову и прислушался. Что-то будто медленно наползало на него по земле, притаенными толчками раздвигая траву и листья. Он еще всматривался, замерев, еще искал, что это может быть, пока не зашуршало со всех сторон.

Пошел дождь.

2002